

Анатоль Франс



*Государственное
издательство
художественной
литературы*

Анатолий Франс

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в восьми томах



Под общей редакцией
*Е. А. ГУНСТА, В. А. ДЫННИК,
Б. Г. РЕИЗОВА*

Государственное *издательство*
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

Анатоль Франс

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ



СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ

ПОД ГОРОДСКИМИ ВЯЗАМИ

ИВОВЫЙ МАНЕКЕН

АМЕТИСТОВЫЙ ПЕРСТЕНЬ

ГОСПОДИН БЕРЖЕРЕ В ПАРИЖЕ

Переводы с французского

Государственное

издательство

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва

1958

ANATOLE FRANCE
ŒUVRES

HISTOIRE CONTEMPORAINE

L'ORME DU MAIL

LE MANNEQUIN D'OSIER

L'ANNEAU D'AMÉTHYSTE

MONSIEUR BERGERET A PARIS

*Фронтиспис работы
художника Г. Г. Филипповского*

***ПОД ГОРОДСКИМИ
ВЯЗАМИ***

Перевод *И. С. Татариновой*
под редакцией *В. А. Дынник*

I

Гостиная, где кардинал-архиепископ принимал посетителей, была отделана еще при Людовике XV деревянной резной панелью, окрашенной в светло-серый цвет. Фигуры сидящих женщин, окруженные военными доспехами, украшали карнизы по углам. Зеркало над камином, составленное из двух стекол, было задрапировано понизу малиновым бархатом, на котором выделялась белая статуэтка Лурдской богородицы в красивом голубом покрывале. По стенам висели эмалевые медальоны в красных плюшевых рамках, цветные литографии, изображающие пап Пия IX * и Льва XIII *, и вышивки — сувениры из Рима и подношения благочестивых прихожанок. На позолоченных консолях стояли гипсовые модели готических и романских храмов: кардинал-архиепископ любил архитектуру. С розетки стиля рококо спускалась люстра в духе Меровингов, исполненная по рисункам г-на Катрбарба, епархиального архитектора и кавалера ордена св. Григория.

Монсеньер подобрал сутану, выставил свои короткие и крепкие ноги в красных чулках и, грея их у камина, диктовал пастырское послание, а его викарий, г-н де Гуле, сидя под распятием слоновой кости за большим столом, инкрустированным медью и черепахой, писал: «Дабы ничто не омрачало в наших душах благочестивого ликования...»

Архиепископ диктовал равнодушным голосом, без

всякой умиленности. Это был коренастый человек, прямо державший свою большую голову с квадратной, уже обрюзгшей физиономией. Его грубое, простонародное лицо выражало хитрость и вместе с тем какое-то величие, выработанное привычкой и любовью к власти.

— «...благочестивого ликования...» Здесь вы разве те мысли, что я высказывал уже в своих прежних посланиях: о необходимости умиротворения умов, о покорности властям предержавшим, столь нужной ныне.

Господин де Гуле поднял продолговатое, бледное и тонкое лицо, обрамленное прекрасными вьющимися волосами, словно париком времен Людовика XIV.

— Не следует ли на этот раз, — сказал он, — повторять прежние призывы, соблюсти сдержанность, которую дозволяет настоящее положение светской власти, потрясенной междоусобными раздорами и неспособной дать своим союзникам то, чего нет у нее самой, — я разумею длительность и прочность. Ибо вы не можете не видеть, монсеньер, что упадок парламентаризма...

Кардинал-архиепископ покачал головой.

— Не надо сдержанности, господин де Гуле, не надо никакой сдержанности. Вы исполнены знаний и благочестия, но ваш старый пастырь может еще преподать вам кое-какие уроки благоразумия, прежде чем умереть и предоставить вам проявлять свое молодое рвение, управляя епархией. Разве можем мы пожаловаться на префекта Вормс-Клавлена? Он благосклонно относится к нашим школам и богоугодным заведениям. Разве не будем мы принимать завтра за своим столом дивизионного генерала и председателя суда? Кстати, покажите-ка мне меню!

Кардинал-архиепископ просмотрел меню, кое-что изменил, кое-что прибавил и распорядился, чтобы дичь обязательно была заказана Ривуару — местному браконьеру.

Вошел слуга и подал на серебряном подносе визитную карточку.

Прочитав на карточке фамилию аббата Лантеня, ректора духовной семинарии, монсеньер обратился к своему викарию.

— Бьюсь об заклад, — сказал он, — что господин Лантень опять пришел с жалобами на господина Гитреля.

Аббат де Гуле встал, чтобы выйти из комнаты. Но монсеньер удержал его.

— Оставайтесь! Я хочу, чтоб вы разделили со мною удовольствие от речей господина Лантенья; он, вы сами это знаете, слывет первым проповедником в епархии. Ведь, если доверять общему мнению, его проповеди лучше ваших, дорогой господин де Гуле. Но я думаю иначе. Между нами говоря, я не поклонник ни его напыщенного красноречия, ни его путаной учености. Он ужасно скучен, и я прошу вас остаться и помочь мне поскорее его спровадить.

Высокий, широкоплечий священник, мрачный, очень скромный, с обращенным внутрь себя взором, вошел в гостиную и поклонился.

При виде его монсеньер радостно воскликнул:

— А, господин аббат, добрый день! Мы с господином викарием как раз говорили о вас, когда мне доложили о вашем приходе. Мы говорили, что вы самый выдающийся проповедник в епархии и что ваши великопостные проповеди в храме святого Экзюпера несомненно свидетельствуют о великом даровании и великой учености.

Аббат Лантень покраснел. Он был чувствителен к похвалам, и враг рода человеческого мог проникнуть к нему в душу только через врата гордыни.

— Монсеньер, — ответил он, и лицо его на мгновение просияло улыбкой, — благосклонное одобрение вашего высокопреосвященства доставляет мне радость, тем более драгоценную, что она облегчает начало очень тягостного для меня разговора, ибо в качестве ректора семинарии я вынужден огорчить ваш отеческий слух жалобой.

Монсеньер прервал его:

— Скажите, господин Лантень, ваши великопостные проповеди были напечатаны?

— Им была посвящена статья в «Религиозной неделе» нашей епархии. Я тронут тем вниманием к моим апостольским трудам, которое вы, монсеньер, соблаго-

волили проявить. Да! Я уже давно служу истине с церковной кафедры. Уже в тысяча восемьсот восьмидесятом году я отдавал свои проповеди, когда у меня бывали лишние, господину Рокету, который с тех пор достиг епископского сана.

— Ах, бедный наш господин Рокет, — улыбаясь, воскликнул монсеньер. — В прошлом году, отправившись *ad limina apostolorum*¹, я впервые встретил господина Рокета, спешащего в Ватикан и полного радостных упований; неделю спустя я увидел его в храме святого Петра, где он черпал утешение, столь нужное ему после того, как ему было отказано в кардинальской шляпе.

— Но разве подобало, — спросил г-н Лантень голосом, свистящим, как бич, — разве подобало возложить пурпур на плечи этого недостойного человека, не выдающегося чистотою нравов, не блещущего ученостью, вызывающего улыбку ограниченностью своего ума, человека, вся заслуга которого в том, что он откушал телятины за одним столом с президентом республики на франкмасонском банкете? Если бы господин Рокет мог взглянуть на себя со стороны; он сам бы удивился тому, что стал епископом. В наши дни испытаний, пред лицом грядущего, полного сладких посулов и страшных угроз, следовало бы создать духовенство, сильное своей волей и знанием. И сейчас, монсеньер, я как раз собираюсь говорить с вашим высокопреосвященством о пастыре, неспособном нести бремя столь великих обязанностей, можно сказать, о втором господине Рокете. Преподаватель красноречия в духовной семинарии, аббат Гитрель...

Монсеньер прервал его с напускной рассеянностью и, смеясь, спросил, не собирается ли аббат Гитрель тоже добиваться епископского сана?

— Что за мысль, монсеньер! — воскликнул аббат Лантень. — Да если бы этот человек волей случая попал в епископы, мы вернулись бы ко временам Каутиновым, когда недостойный священнослужитель осквернял престол святого Мартина.

¹ В пределы апостольские (*лат.*).

Кардинал-архиепископ, уютно устроившийся в своем кресле, сказал с добродушием:

— Каутин, епископ Каутин (он впервые слышал это имя), Каутин, который занимал престол святого Мартина. А вы уверены, что этот самый Каутин был такого зорного поведения, как утверждают? Это интересная страничка истории галликанской церкви, и мне было бы очень любопытно узнать на этот счет мнение такого сведущего человека, как вы, господин Лантень.

Ректор семинарии выпрямился.

— Монсеньер, свидетельство Григория Турского * о епископе Каутине не вызывает сомнений. Этот преемник блаженного Мартина вел такую роскошную жизнь и так расточал церковные сокровища, что к концу второго года его епископства все священные сосуды перешли в руки турецких евреев. И я недаром сопоставил имена Каутина и недостойного аббата Гитреля. Аббат Гитрель расхищает произведения искусства, деревянную резьбу, сосуды художественной чеканки, еще уцелевшие в сельских храмах, где они отданы на попечение невежественных членов приходского совета, и занимается он подобными грабежами ради евреев.

— Ради евреев? — переспросил монсеньер. — Да что вы, не может быть!

— Ради евреев, — повторил аббат Лантень, — и ради обогащения гостиных префекта Вормс-Клавлена, иудея и франкмасона. Госпожа Вормс-Клавлен интересуется стариной. Через посредство аббата Гитреля она приобрела облачения, триста лет хранившиеся в ризнице люзанской церкви, и, как мне передавали, пустила их на обивку мебели, на так называемые пуфы.

Монсеньер покачал головой.

— На пуфы! Но если отчуждение этих неупотребляемых нынче облачений было произведено согласно закону, я не вижу, в чем провинился епископ Каутин... то бишь аббат Гитрель, взяв на себя посредничество в этой законной сделке. Нет никаких оснований чтить как священные реликвии ризы благочестивых люзанских кюре. Какое же это святотатство продавать их обноски на обивку пуфов?

Господин де Гуле, уже некоторое время покусывав-

ший перо, не мог подавить вздох недовольства. Его огорчало, что неверующие разоряют церкви, расхищая их художественные сокровища. Ректор семинарии с твердостью продолжал:

— Хорошо, монсеньер, если вам так угодно, оставим вопрос о торговле, которой занимается друг префекта-иудея Вормс-Клавлена; дозвоьте мне изложить вполне обоснованные жалобы на преподавателя красноречия в духовной семинарии. У меня два основных обвинения. Я ставлю ему в вину: *primo*¹ — его убеждения, *secundo*² — его образ жизни. Я говорю, что ставлю ему в вину, *primo* — его убеждения, и это по четырем основаниям: *primo*...

Кардинал-архиепископ протянул обе руки, как бы умоляя избавить его от стольких пунктов.

— Господин Лантень, смотрите, мой викарий уже давно покусывает перо и делает мне отчаянные знаки, напоминая, что в типографии дожидаются нашего пастьерского послания, ведь в воскресенье оно должно быть оглашено по всем церквам епархии. Позвольте же мне окончить мое послание, которое, надеюсь, принесет некоторое утешение и духовенству и пастве.

Аббат Лантень поклонился и вышел в большой печали. После его ухода кардинал-архиепископ обратился к г-ну де Гуле:

— А я и не знал, что аббат Гитрель в дружбе с префектом. И я очень признателен, ректору семинарии за эти сведения. Господин Лантень само чистосердечие; я ценю его искренность и прямоту. С ним знаешь, куда идешь... — Он поправился: — куда мог бы прийти.

II

Аббат Лантень, ректор духовной семинарии, работал у себя в кабинете, выбеленные стены которого на три четверти были закрыты простыми некрашеными

¹ Во-первых (лат.).

² Во-вторых (лат.).

полками, уставленными унылыми рядами рабочих книг в кожаных переплетах — творениями отцов церкви в издании Миня, дешевыми изданиями св. Фомы Аквинского Барония, Боссюэ. Мадонна в стиле Миньяра * висела над дверью, из-за старой позолоченной рамки торчала запыленная буксовая веточка. На полу, выложенном красными плитками, вдоль окон, в ситцевых занавесках которых застоялся въедливый запах трапезной, чинно выстроились негостеприимные стулья, обитые волосяной материей.

Согнувшись над ореховым письменным столиком, ректор перелистывал классные журналы, которые показывал ему стоявший тут же аббат Перрюк, семинарский наставник.

— Я вижу, — сказал аббат Лантень, — что на этой неделе у одного воспитанника в спальне опять обнаружили припрятанные сласти. Подобные нарушения дисциплины повторяются слишком часто.

Действительно, семинаристы имели обыкновение прятать плитки шоколада в учебники. Они называли это «богословием Менье» *. Ночью они собирались по нескольку человек то в одном, то в другом дортуаре и устраивали пир.

Аббат Лантень предложил наставнику искоренять это зло без всякой жалости.

— Такое нарушение дисциплины опасно, ибо может повлечь за собой гораздо более тяжкие проступки.

Он попросил журнал класса риторики. Но когда аббат Перрюк его подал, ректор отвратил взор. Мысль, что духовное красноречие преподает Гитрель, не отличавшийся строгостью нравов и стойкостью убеждений, была ему противна. Он вздохнул про себя: «Когда же спадет пелена с очей кардинала-архиепископа и он узрит ничтожество сего пастыря?»

И, отогнав от себя одну горькую мысль, он обратился к другой, не менее горькой.

— А Пьеданьель? — спросил он.

Фирмен Пьеданьель уже два года доставлял ректору непрестанное беспокойство. Это был единственный сын башмачника, ютившегося со своей лавчонкой между Двумя контрфорсами церкви св. Экзюпера. Фирмен

выделялся среди воспитанников семинарии своим блестящим умом. Характер у него был спокойный, и отметки по поведению он получал неплохие. Застенчивость и физическая слабость как будто служили порукой его нравственной чистоты. Но ум его был не богословского склада, и сам он не чувствовал влечения к духовному званию. Даже в вере он был нетверд. Аббат Лантень, великий знаток человеческой души, не так уже опасался для будущих священнослужителей бурных кризисов, подчас целительных, умиротворяемых божьей благодатью; напротив того, вялость духа, спокойного в своей непокорности, пугала его. Он считал почти безнадежно погибшей душу, которая не терзается своими сомнениями и совершенно естественно приходит к неверию. Таким был даровитый сын сапожника. Однажды ректору удалось, прибегнув к одной из своих уловок, познать сущность этой натуры, скрытной и деликатной. Он с ужасом понял, что из всей семинарской премудрости Фирмен усвоил только красоты латинской речи, искусство софизмов и какой-то лирический мистицизм. С тех пор он считал его существом слабым и опасным, несчастным и дурным. И все же он любил этого мальчика, любил с нежностью, доходившей до слабости. Вопреки всему он ценил его как красу и гордость семинарии. Он любил его за обаятельный ум, изысканную и мягкую речь, даже за ласковость его бесцветных, близоруких, болезненно мигающих глаз. Порой ему хотелось видеть в нем жертву аббата Гитреля, умственная и душевная нищета которого несомненно оскорбляла и огорчала (он был в этом твердо убежден) способного и проницательного ученика. Он льстил себя надеждой, что в будущем, под лучшим руководством, из Фирмена, слишком слабого, чтобы пополнить ряды ревностных пастырей, столь необходимых сейчас церкви, все же выйдет Перейва или Жербе, один из тех пресвитеров, которые вносят в свое служение чисто материнскую любовь. Но аббату Лантенью не было свойственно долго пребывать в приятном заблуждении. Он быстро отказался от такой слишком неверной надежды и сейчас видел в этом мальчике будущего Геру или Ренана *. И холодный пот выступал у

него на лбу. Он боялся выпестовать опасного врага истины.

Он знал, что молот, потрясший основы храма, был выкован в самом храме. Он часто говаривал: «Сила богословского образования такова, что только оно может породить великих нечестивцев: неверующий, который не прошел через наши руки, бессилен и не вооружен для насаждения зла; ведь в наших стенах преподается вся наука, даже наука богохульства». От посредственных семинаристов он требовал только прилежания и правдивости и был уверен, что сделает из них хороших священнослужителей. У избранных же он опасался пытливости, гордыни, порочной дерзости ума и даже слишком больших достоинств, ибо они-то и погубили ангелов.

— Господин аббат, — вдруг сказал он, — покажите-ка отметки Пьеданьеля.

Семинарский наставник, послюнив большой палец, перелистал журнал, а потом подчеркнул толстым черным ногтем указательного написанные на полях строки:

«Г-н Пьеданьель ведет легкомысленные речи».

«Г-н Пьеданьель склонен к унынию».

«Г-н Пьеданьель избегает всяких физических упражнений».

Ректор прочел и покачал головой. Он перевернул страницу и прочел дальше:

«Г-н Пьеданьель написал плохую работу о единстве веры».

Тут аббат Лантень не выдержал:

— Единство веры, вот чего ему никогда не постичь! А между тем этой мыслью пресвитер должен проникнуться прежде всего, ибо я без всякого колебания утверждаю, что эта мысль всецело от бога и что она, так сказать, ярче всего выражает его для людей.

Он посмотрел на аббата Перрюка своим глубоким и мрачным взглядом.

— Единство веры, господин Перрюк, — мой пробный камень для испытания умов. Люди, пусть даже самые недалекие, но правдивые, делают из идеи единства логические выводы, а люди наиболее тонкие строят

на этом принципе прекрасную философию. Я трижды говорил проповеди на тему о единстве веры, и богатство материала все еще приводит меня в трепет.

Он снова принялся за чтение:

«В парте у г-на Пьеданьеля найдена тетрадь, которая содержит переписанные собственной рукой г-на Пьеданьеля отрывки из различных эротических стихотворений, сочиненных Леконт де Лилем и Полем Верленом, а также и другими вольнодумными стихотворцами, и выбор стихотворений указывает на крайнюю разнужданность мысли и чувства».

Он захлопнул журнал и в сердцах отодвинул его от себя.

— В наши дни и учености и ума достаточно, — вздохнул он, — а вот богословского духа нет.

— Господин ректор, — сказал аббат Перрюк, — эконоом спрашивает, можете ли вы его принять не откладывая. Договор с мясником Лафоли истекает пятнадцатого числа этого месяца; будет ли ваше распоряжение возобновлять условия, которыми нашей семинарии хвалиться не приходится. Ведь вы, конечно, заметили, какую плохую говядину поставляет мясник Лафоли.

— Попросите сюда эконома, — сказал аббат Лантьен.

И, оставшись один, он схватился за голову и вздохнул:

— O, quando finieris et quando cessabis, universa vanitas mundi? ¹ Вдали от тебя, господи, мы только тени блуждающие. Нет большего прегрешения, как грех против единства веры. Помоги, господи, миру вернуться к этому благословенному единству.

Когда после полудня, во время большой перемены, ректор проходил по двору, семинаристы играли в мяч. Над усыпанной песком площадкой быстро мелькали головы с раскрасневшимися физиономиями, словно шарики, насаженные на черные перочинные ножички. Отрывистые, как у паяцев, движения, выкрики на всех

¹ O, когда ты кончишься и когда прекратишься, всеобщая мирская суэта? (лат.).

деревенских говорах епархии. Наставник аббат Перрюк, подоткнув сутану, принимал участие в игре, внося в нее весь пыл вырвавшегося на волю деревенского парня, охмелевшего от воздуха и движения; мощным ударом своего башмака с пряжкой он далеко посылал огромный кожаный мяч. Заметив ректора, играющие остановились. Г-н Лантень кивнул им, чтобы они продолжали игру. Он пошел по дорожке, обсаженной чахлыми акациями и окаймлявшей двор со стороны крепостного вала и поля. По пути ему повстречались три семинариста, которые прогуливались, взявшись под руки и разговаривая. Они обычно проводили так все перемены, и за это их прозвали «перипатетиками» *. Ректор окликнул одного из них, невысокого, бледного чуть-чуть сутулого подростка, с тонким насмешливым ртом и застенчивым взглядом. Тот сперва не расслышал, соседу пришлось подтолкнуть его локтем: — Пьедангель, ректор зовет.

Тогда Пьедангель, подойдя к аббату Лантенью, поклонился ему — неловко и все же с какой-то грацией.

— Дитя мое, — сказал ему ректор, — вы будете прислуживать мне завтра за мессой.

Подросток покраснел. Прислуживать ректору за мессой считалось завидной честью.

Аббат Лантень с молитвенником под мышкой отворил калитку и вышел в поле на прогулку обычной своей дорогой, пыльной дорогой, идущей вдоль вала и поросшей по обочинам чертополохом и крапивой.

Он думал: «Что станется с бедным мальчиком, если его выгнать отсюда? Никакому ремеслу он не обучен, здоровья он слабого, хил и застенчив! А как будет горевать его калека отец!»

Он шел по сухой, каменистой дороге. Дойдя до креста у миссионерского дома, он снял шляпу, отер платком пот со лба и прошептал:

— Господи, вразуми меня, дабы я сотворил волю твою, как бы это ни было горько моему отеческому сердцу!

На следующее утро, в половине седьмого, аббат Лантень кончал службу в пустой и безлюдной семинар-

ской церкви. Только в боковом приделе старик причетник вставлял бумажные цветы в фарфоровые вазы у подножья позолоченной статуи св. Иосифа. Свет пасмурного дня уныло струился вместе с дождем за потускневшими окнами. Аббат Лантень, стоя слева от главного алтаря, читал последнее евангелие.

— «Et Verbum caro factum est»¹, — возгласил он, преклоняя колени.

Пьедангель, прислуживавший за литургией, тоже опустил на колени на ступеньке, где стоял колокольчик, потом поднялся и после заключительных возгласов прошел впереди священника в ризницу. Аббат Лантень поставил чашу с антиминсом и подождал, пока прислужник поможет ему снять облачение. Фирмен Пьедангель, поддавшись воздействию окружающей обстановки, переживал таинственное очарование этого момента — такого простого и в то же время торжественного. Душа его, умиленная и растроганная, с каким-то упоением отдавалась привычному величию обряда. Никогда еще не чувствовал он такого глубокого влечения стать священником и самому совершать литургию. Приложившись к стихарю и нарамнику, он аккуратно свернул их и, прежде чем уйти, подошел под благословение. Ректор, надевавший стеганую сутану, сделал ему знак повременить и посмотрел на него таким хорошим и ласковым взглядом, что юноша воспринял этот взгляд как благодеяние и благословение. После долгого молчания аббат Лантень сказал:

— Дитя мое, за литургией, во время которой вы по моей просьбе прислуживали мне, я молил господа бога ниспослать мне силы, дабы исключить вас из семинарии. Просьба моя услышана. Вы больше не принадлежите к числу воспитанников нашего заведения.

Фирмен оторопел от этих слов. Ему почудилось, будто пол уходит у него из-под ног. Сквозь слезы, застилавшие его глаза, ему смутно мерещилась безлюдная дорога, непогода, беспросветная жизнь, полная труда и лишений, участь брошенного мальчика, которая пугала его, слабого и робкого. Он посмотрел на аббата Лан-

* И слово стало плотью (лат.).

тень. Полная решимости нежность, умиротворенная твердость, душевный покой этого человека возмутили его. Внезапно в нем зародилось и выросло чувство, которое поддержало и укрепило его, — чувство ненависти к духовенству, ненависти несокрушимой и чреватой последствиями, ненависти, которая может заполнить всю жизнь. Не произнеся ни слова, он быстро вышел из ризницы.

III

Аббат Лантень, ректор духовной семинарии в городе ***, писал монсеньеру кардиналу-архиепископу следующее письмо:

«Монсеньер, 17-го числа сего месяца, когда я удостоился чести быть принятым вами, я побоялся злоупотребить вашей отеческой добротой и пастырским долготерпением, изложив с должной обстоятельностью дело, по которому я пришел докучать вам. Но поскольку дело это зависит от вашего высокого и мудрого решения и касается управления нашей епархией, которая числится одной из наиболее древних и славных провинций христианской Галлии, я почитаю своим долгом, зная вашу неусыпную справедливость, сообщить факты, судить о которых вы призваны со всей полнотой данной вам власти и с присущей вам мудростью.

Доводя эти факты до сведения вашего высокопреосвященства, я исполняю долг, который был бы тягостен моему сердцу, ежели бы я не знал, что исполнение долга всегда доставляет нашей душе неистощимый источник отрады и что повиноваться воле божьей подобает с готовностью и радостью.

Факты, с которыми мне, монсеньер, надлежит вас ознакомить, касаются аббата Гитреля, преподавателя духовного красноречия в нашей семинарии. Я перечислю их по возможности кратко и точно.

Факты эти относятся:

- 1) к убеждениям,
- 2) к образу жизни аббата Гитреля.

Сперва я перечислю факты, относящиеся к убеждениям аббата Гитреля.

Читая записки, по которым он ведет курс духовного красноречия, я усмотрел там утверждения, расходящиеся с религиозной традицией.

1. Аббат Гитрель, осуждая выводы, к которым пришли, комментируя Священное писание, неверующие и так называемые реформаты, не осуждает самого факта толкования, вследствие чего впадает в глубокое заблуждение, ибо очевидно, что если неприкосновенность Священного писания доверена церкви, то только церкви дано право толковать книги, которые она одна хранит.

2. Соблазненный недавним примером некоего богослова, домогавшегося похвал века сего, аббат Гитрель прибегает для объяснения евангельских событий к так называемому «местному колориту» и к ложной «психологии», которую прославляют немцы; а сам того не замечает, что, следуя по стезе неверующих, ходит по краю поглотившей их бездны. Я злоупотребил бы милостивым вниманием вашего высокопреосвященства, ежели бы утруждал ваше зрение чтением тех мест, где аббат Гитрель с достойным жалости простодушием изучает по рассказам путешественников «судоходство на Тивериадском озере» * или же с недопустимой дерзостью описывает то, что называет «душевыми состоянием» и «психическими кризисами» господина нашего Иисуса Христа.

Эти нелепые новшества, достойные порицания даже у добропорядочного мирянина, нетерпимы у лица духовного, которому вверено воспитание будущих пресвитеров. Вот почему я был скорей огорчен, нежели удивлен, когда узнал, что один способный воспитанник семинарии, которого я вынужден был затем исключить за вредное направление мыслей, называл преподавателя красноречия «пастырем в стиле модерн».

3. Аббат Гитрель с пристрастием, достойным порицания, опирается на шаткий авторитет Климента Александрийского *, не причтенного к лику святых. Это свидетельствует, насколько недалек преподаватель красноречия, соблазненный примером так называемых спиритуалистов, которые полагают, будто в «Stroma-

tes»¹ дано исключительно аллегорическое толкование самых основных таинств христианской веры. Тем самым аббат Гитрель если и не впадает в полное заблуждение, то проявляет непоследовательность и легкомыслие.

4. А так как одним из следствий шаткости убеждения является порча вкуса и ум, отказываясь от здоровой пищи, насыщается легкой едой, то аббат Гитрель и предлагает своим ученикам образцы красноречия, которые черпает даже в духовных беседах г-на Лакордера * и в проповедях г-на Гратри *.

Далее я изложу факты, относящиеся к образу жизни аббата Гитреля.

1. Аббат Гитрель посещает г-на префекта Вормс-Клавлена тайно, однако усердно, забывая о сдержанности, которую лицо духовное низшего ранга всегда обязано соблюдать по отношению к светским властям, о сдержанности, нарушать которую при существующих обстоятельствах, да еще по отношению к чиновнику-иудею, нет никаких оснований. Уж одно то, что г-н Гитрель старается проскользнуть в префектуру с черного хода, указывает, что он сам сознает свое ложное положение, и тем не менее продолжает пребывать в оном.

К тому же общеизвестно, что аббат Гитрель оказывает супруге префекта услуги скорее коммерческого, чем религиозного порядка. Эта дама очень интересуется стариной и, несмотря на свое иудейское происхождение, никогда не упустит случая приобрести предмет церковного обихода, если это предмет старинный или художественной работы. К несчастью, можно с достоверностью утверждать, что аббат Гитрель за бесценок скупает по деревенским церквам для г-жи Вормс-Клавлен старинную церковную утварь, которая находится на попечении невежественных приходских советов. Вот как, монсеньер, деревянная скульптура, церковное облачение, дароносицы, чаши изымаются из ризниц сельских храмов вашей епархии и перекочевывают в префектуру для украшения личной квартиры г-на Вормс-Клавлена и его супруги. И ни для кого не тайна, что г-жа Вормс-Клавлен обила великолепными и всеми чтимыми

¹ «Стромать» — «Ковры» (греч.).

ризами Сен-Поршерской церкви мебель, в общежитии именуемую «пуфами». Я не утверждаю, что аббат Гитрель извлекает из этой коммерции какую-либо непосредственную материальную выгоду для себя лично, но ваше пастырское сердце, монсеньер, должно быть опечалено уже тем обстоятельством, что священнослужитель вверенной вам епархии способствует расхищению именно тех церковных сокровищ, которые даже в глазах неверующих являются доказательством превосходства христианского искусства над искусством мирским.

2. Аббат Гитрель не опровергает и не пресекает все более и более распространяющийся слух, будто возведение его на пустующий престол епископа туркуэнского желательно министру юстиции и культов, председателю совета министров. Слух же этот оскорбителен для министра, ибо хоть он и вольнодумец и франкмасон, все же, будучи поставлен светским защитником церкви, он должен принимать близко к сердцу ее интересы и поэтому не может посадить на престол блаженного Лупа такого пастыря, как аббат Гитрель. А если проследить, откуда идут эти слухи, то как бы не оказалось, что распустил их сам аббат Гитрель.

3. В свое время аббат Гитрель посвящал досуги стихотворным переводам на французский язык «Буколик» латинского поэта, именуемого Кальпурнием *, которого лучшие знатоки единогласно относят к числу самых пошлых и напыщенных стихотворцев, и теперь аббат Гитрель с беспечностью (хотелось бы думать — совершенно не злостной) втихомолку распространяет этот труд своей юности. Экземпляр «Буколик» был послан в радикальную и вольнодумную газету нашего округа «Маяк», опубликовавшую некоторые выдержки, где имеется, например, такая строчка, что я краснею, предлагая ее отеческому взору вашего высокопресвященства:

И грудь возлюбленной — вот наши небеса!

Эту цитату «Маяк» сопроводил весьма нелестными комментариями, относящимися к личной жизни и литературным вкусам аббата Гитреля. И редактор,

вредное направление мыслей которого вам, монсеньер, слишком хорошо известно, воспользовался этой злощастной строчкой, чтобы обвинить в сладострастных помыслах и непристойном поведении всех преподавателей духовной семинарии без исключения и даже вообще все духовенство нашей епархии. Вот почему, не вдаваясь в рассуждения о том, имел ли аббат Гитрель в качестве латиниста основание заниматься переводами из Кальпурния, я скорблю об огласке, которую получила его работа, ибо это повело к соблазну, что, я уверен, горше желчи и полыни для вашего сердца, исполненного христианской любви.

4. Аббат Гитрель завел привычку заходить ежедневно в пять часов пополудни в кондитерскую некоей Маглуар, что на площади св. Экзюпера. И там он внимательно и усердно разглядывает тарелки и блюда со сладостями, расставленные на прилавке, на полках и столах. Затем, остановившись около пирожных, которые, как мне сказали, именуются «эклерами» и «ромовыми бабами», он касается кончиком пальца сперва одного, а затем другого пирожного и просит завернуть ему эти лакомства. Я далек от мысли обвинять его в чревоугодии за то, что он с такой смешной тщательностью выбирает пирожные с кремом или какое-нибудь другое печенье. Но, если принять во внимание, что он захаживает к кондитерше Маглуар как раз в тот час, когда модная публика обоего пола наполняет лавку, и что таким образом он выставляет себя на посмешище светского общества, то невольно задаешь себе вопрос, не оставляет ли преподаватель красноречия некоторую толику своего достоинства у кондитерши. И в самом деле, от внимания недоброжелательных наблюдателей не ускользнуло, что выбирает он именно два пирожных, и в городе уже поговаривают — с основанием или без основания, судить не берусь, — будто аббат Гитрель берет одно пирожное для себя, а другое для своей служанки. Разумеется, он может, не вызывая тем ни малейшего нареkania, делиться сладостями с женщиной, ведущей его хозяйство, тем более если эта женщина уже достигла канонического возраста. Но злые языки истолковывают в самом нежелательном смысле подобные простые,

домашние отношения, и я, монсеньер, никогда не позволю себе повторить в присутствии вашего высокопреосвященства то, о чем судачат в городе по поводу аббата Гитреля и его служанки. Я не хочу вникать в эти пересуды. Все же вы, ваше высокопреосвященство, согласитесь, что непростительно аббату Гитрелю таким зазорным поведением придавать клевете подобие истины. Я изложил факты. Теперь мне остается только сделать выводы.

Имею честь просить вас, ваше высокопреосвященство, отрешить аббата Гитреля (Иоахима) от должности преподавателя духовного красноречия в семинарии города***, основываясь на признанной за вами государством (декрет от 17 марта 1808 года) духовной власти.

Соблаговолите, монсеньер, не лишать вашей отеческой любви того, на кого возложено управление вашей семинарией и кто от всей души желает дать вам доказательство безграничной преданности и глубокого уважения, с коими имею честь пребывать вашего высокопреосвященства покорным и послушным слугою.

Лантень».

Окончив письмо, ректор семинарии запечатал его своей печатью.

IV

Аббат Гитрель, преподаватель духовного красноречия в семинарии города ***, действительно постоянно виделся с префектом Вормс-Клавленом и его супругой, урожденной Кобленц. Все же аббат Лантень ошибался, полагая, что аббат Гитрель бывает в гостях у префекта; его присутствие там в одинаковой мере обеспокоило бы и архиепископство и масонские ложи, — префект был председателем ложи Восходящего солнца.

В самом деле, аббат Гитрель заходил каждую субботу в пять часов в кондитерскую Маглуар на площади св. Экзюпера и покупал два пирожных по три су каждое, одно для своей служанки, другое для себя; там-то он и встретился с супругой префекта, которая в обще-

стве г-жи Лакарель, жены правителя канцелярии, кушала ромовую бабу.

Обходительностью и в то же время скромностью своих манер, суливших очень многое и ничем не отпугивающих, преподаватель церковного красноречия сразу понравился г-же Вормс-Клавлен, напомнив ей и внутренним и даже внешним своим обликом, несколько бабьим, торговков подержанным платьем, дружески опекавших ее в тяжелые дни молодости, прошедшей в Батиньоле и на площади Клиши, когда она, Ноэми Кобленц, была уже на возрасте и прозябала в посреднической конторе своего отца Исаака, которого донимала полиция то описью имущества, то обысками. Мадам Вашри, одна из этих комиссионерш, оценившая Ноэми по достоинству, свела ее с молодым, энергичным и подающим надежды кандидатом юридических наук, г-ном Теодором Вормс-Клавленом, который, найдя, что она особа положительная и может быть полезной спутницей жизни, женился на ней после того, как она родила ему дочь Жанну. Ноэми в свою очередь легко продвинула его на служебном поприще. Аббат Гитрель очень напоминал мадам Вашри: тот же взгляд, тот же голос, те же движения. Это сходство, которое г-жа Вормс-Клавлен восприняла как хорошее предзнаменование, сразу внушило ей симпатию. Впрочем, она вообще уважала католическое духовенство, видя в нем одного из властителей мира сего. Она взяла под свое покровительство аббата Гитреля и замолвила за него словечко мужу. Г-н Вормс-Клавлен признавал за женой добродетель, для него самого так и оставшуюся таинственной и непостижимой, — житейский такт, — и верил в ее умение устраивать дела, поэтому он с первого же раза благосклонно отнесся к аббату Гитрелю, встретив его в ювелирной лавке Рондоно-младшего, что на улице Тентельри.

Префект зашел туда посмотреть модели кубков, заказанных государством для призов на бегах, которые устраивало Общество поощрения рысистого коннозаводства. С тех пор он частенько заглядывал в ювелирную лавку, куда его влекла врожденная любовь к благородному металлу. Аббат Гитрель тоже не упустил

случая зайти к Рондоно-младшему, золотых дел мастеру, торговавшему церковной утварью: паникадилами, лампадами, дароносицами, чашами, дискосами, потирами, ковчежцами для мощей и дарохранительницами. Префект и аббат не без удовольствия встречались в помещении второго этажа, вдали от любопытных взоров, перед прилавками, заставленными слитками металла, церковной утварью и статуэтками святых, которые г-н Вормс-Клавлен называл «божественностями». Развалившись в единственном кресле Рондоно-младшего, префект помахивал ручкой аббату Гитрелю, который шмыгал от витрины к витрине, жирный и черный, пожилой на откормленную крысу.

— Здравствуйте, господин аббат! Рад вас видеть!

И он не лгал. Он смутно чувствовал, что около этого священнослужителя, вышедшего из недр крестьянства и по своему духовному сану и по типу такого же исконно французского, как почерневшие от времени камни церкви св. Экюпера и вековые деревья на городском в а л у, — что около этого священнослужителя он сам офранцузится, натурализуется, стряхнет с себя тяготеющее над ним наследие Германии и Азии. Близость с представителем духовенства льстила чиновнику-иудею. Сам того не сознавая, он упивался возмездием. Ему представлялся пикантной и лестной победой тот факт, что он, еврей, оказывал свое высокое покровительство тонзурованному, одному из тех людей, которые вот уже восемнадцать веков и небом и землей поставлены гнать и уничтожать обрезанных. Кроме того, этот всеми уважаемый аббат в поношенной лоснящейся сутане, который почтительно склонялся перед ним, бывал в дворянских усадьбах, где префект не был принят. Местные аристократки чтили сутану, в данный момент смирявшуюся перед чиновничьим мундиром. Уважение представителя духовенства в какой-то мере заменяло ему уважение все еще монархически настроенного провинциального дворянства, холодное презрение которого обижало префекта-иудея, хотя его и не так-то легко было пронять. Аббат Гитрель при всем своем смирении был себе на уме и знал цену своей почтительности.

Этому церковному дипломату, почитающему мирскую власть, префект платил за почет благоволением в ронял примирительные слова:

— Ну, конечно, бывают хорошие священники, преданные своему делу и разумные. Если духовенство не выходит за пределы того, что подлежит его ведению...

И аббат Гитрель поддакивал.

Господин Вормс-Клавлен продолжал:

— Республика не ведет систематической войны с духовенством. И если бы конгрегации * подчинились закону, они избегли бы многих неприятностей.

И аббат Гитрель возражал:

— Тут можно подойти с точки зрения права. Я бы покончил с этим вопросом в пользу конгрегаций. А можно подойти и с точки зрения дела. Конгрегации делали много добра.

Префект, окутанный дымом сигары, изрекал:

— Что там говорить о прошлом! Зато новый дух — это дух примирения.

И аббат Гитрель опять поддакивал, меж тем как Рондоно-младший склонялся над своими конторскими книгами, а мухи садились ему на лысину.

Однажды г-жа Вормс-Клавлен зашла с мужем к Рондоно-младшему: префект хотел знать ее мнение о кубке, который он должен был собственноручно передать победителю на бегах. В лавке ювелира она встретила с аббатом Гитрелем. Он сделал вид, что собирается уходить. Но его попросили остаться. Поинтересовались даже его мнением о нимфах, изогнутые тела которых служили ручками кубку. Префект предпочел бы амазонок.

— Ну, разумеется, амазонок, — пробормотал преподаватель духовного красноречия.

Супруге префекта больше бы нравились кентаврессы.

— Ну, конечно, кентаврессы, — поддакнул аббат, — или, пожалуй, кентавры.

А Рондоно-младший с улыбкой восхищения на лице показывал присутствующим восковую модель.

— Господин аббат, — спросил префект, — церковь все еще запрещает наготу в искусстве?

Аббат Гитрель ответил:

— Церковь никогда не запрещала пользоваться обнаженной натурой, но она всегда разумно ограничивала это увлечение.

Госпожа Вормс-Клавлен взглянула на аббата и подумала, что он поразительно похож на комиссионершу Вашри. Она призналась ему, что обожает всякие безделушки, сходит с ума по парче, рытому бархату, золотым позументам с церковных одеяний, вышивкам и кружеву. Она не утаила той жадности к вещам, которая накопилась у нее в душе еще со времен ее нищенской молодости, когда она часами простаивала в квартале Бреда перед витринами лавок, торгующих случайными вещами. Она поведала ему, что спит и видит обить свою гостиную старыми ризами и облачениями и что она также равнодушна к старинным драгоценностям.

Аббат ответил, что церковные облачения действительно незаменимые образцы для художников и что этим опровергается мнение, будто церковь враждебна искусству.

С этого дня аббат Гитрель пустился на розыски остатков пышной старины по ризницам сельских храмов, и не прошло недели, чтобы он не выманил у какого-нибудь простодушного кюре и не принес за пазухой к Рондоно-младшему ризы или нарамника. Впрочем, он был очень щепетилен и тут же вручал ограбленному церковно-приходскому совету сто су, уплаченные префектом за шелк, парчу, бархат или золотое шитье.

Через полгода гостиния г-жи Вормс-Клавлен походила на соборную ризницу, в ней даже стоял упорный запах ладана.

Однажды летним днем аббат Гитрель поднялся, как обычно, по лестнице в ювелирную лавку и увидел там г-на Вормс-Клавлена, благодушно покуривавшего сигару. Накануне префект провел своего кандидата — конзаводчика, молодого монархиста из «присоединившихся» *, и рассчитывал на одобрение министра, который в душе предпочитал старым республиканцам новых, менее требовательных и более смиренных. Префект был так упоен своей удачей, что похлопал аббата по плечу.

— Господин аббат, вот бы нам побольше таких пастырей, как вы, просвещенных, терпимых, без предрассудков, — ведь у вас-то нет предрассудков! — понимающих требования нынешнего дня и нужды демократического общества. Если бы епископат, если бы все французское духовенство прониклось прогрессивными и в то же время консервативными началами, которые проводит республика, оно могло бы еще играть значительную роль.

И, попыхивая толстой сигарой, он стал высказывать о религии мысли, свидетельствующие о таком невежестве, что аббат Гитрель внутренне ужаснулся. Между тем префект считал себя большим христианином, чем многие христиане, языком масонских лож восхвалял этическое учение Иисуса и отвергал, без разбору валя в одну кучу, местные суеверия и основные догматы религии, иголки, которые девушки на выданье бросают в купель св. Фала, и пресуществление во время евхаристии. Аббат Гитрель, вообще сговорчивый, но не уступавший там, где дело касалось догматов, пролепетал:

— Надо различать, господин префект, надо различать.

Чтобы перевести разговор на другую тему, он вытащил из кармана своей стеганой сутаны свернутый в трубочку пергамент и развернул его на прилавке. Это был большой лист из книги церковных песнопений с готическим текстом под четырьмя нотными линейками, с красными заглавными буквами и украшенным виньеткой инициалом.

Префект уставился на лист большими, выпуклыми, как стеклянные шары, глазами. Рондоно-младший поднял свою розовую лысую голову.

— Миниатюра на инициале довольно тонкой работы, — сказал он. — Ведь это святая Агата?

— Мучение святой Агаты, — подтвердил аббат Гитрель. — Вот палачи терзают раскаленными щипцами сосцы святой.

И он прибавил медоточивым голосом:

— По достоверным свидетельствам, блаженную Агату подвергли по приказанию проконсула именно

такому мучительству. Это листок из книги антифонов, господин префект, — так, пустячок, но, может быть, и ему найдется местечко в коллекциях вашей супруги, ведь она очень любит древности нашей христианской церкви. Эта страничка — отрывок из службы в день святой Агаты.

И он прочитал латинский текст, особенно выделяя ударные слоги:

«Dum torqueretur beata Agata in marmila graviter dixit ad iudicem: «Impie, crudelis et dire tyranne, non es confusus amputare in femina quod ipse in matre suxisti? Ego habeo mamillas integras intus in anima quas Domino consecravi»¹.

Префект, имевший звание бакалавра, с грехом пополам понял и, всячески стараясь блеснуть галльским остроумием, заметил, что это пикантно.

— Наивно, — мягко возразил аббат Гитрель, — наивно!

Господин Вормс-Клавлен согласился, что средневековая речь действительно отличалась наивностью.

— И также величием, — заметил аббат Гитрель.

Но префект по-прежнему был склонен усматривать в этой церковной латыни какую-то игривость; усмехнувшись хитро и упрямо, он сунул лист в карман и поблагодарил своего дорогого Гитреля за находку.

Затем, отведя аббата к окну, шепнул ему на ухо:

— Дорогой Гитрель, при первом же удобном случае я что-нибудь для вас сделаю.

V

В городе была партия, которая открыто называла аббата Лантеня, ректора духовной семинарии, пастырем, достойным епископского сана и могущим с честью занять пустующую туркуэнскую кафедру, а затем,

¹ Пока терзали сосцы блаженной Агаты, она сказала степенно судье: «Нечестивый, жестокий и безжалостный злодей, не стыдно ли тебе отрезать у женщины то, что сосал ты у матери своей? Я же обладаю сосцами духовными, нетронутыми, кои посвятила господу моему» (лат.).

после смерти монсеньера Шарло, вернуться, в митре, с посохом в руке и с аметистовым перстнем на пальце, в главный город епархии, бывший свидетелем его деяний и достойной жизни. Таков был проект всеми уважаемого г-на Кассиньоля, бывшего председателя суда, вот уже целых двадцать пять лет носящего звание почтенного советника. К нему присоединялись г-н Лерон, товарищ прокурора; уволенный в эпоху декретов *, а теперь адвокат городского суда, и аббат де Лалонд, бывший полковой священник, ныне священник в женском монастыре; все трое принадлежали к самым почтенным, но не самым влиятельным лицам в городе и представляли собой почти всю партию аббата Лантеня. Ректор семинарии был зван на обед к председателю суда Кассиньолю, и тот сказал ему в присутствии аббата Лалонда и г-на Лерона:

— Господин аббат, выставяйте свою кандидатуру. Кем надо быть, чтобы колебаться, когда встанет вопрос о выборе между господином Гитрелем и вами? Ведь вы, аббат Лантень, так благородно служили церкви и христианской Франции и словом и пером, вы со всей силой своего дарования и энергии поддерживали столь часто попираемые в церкви католической права галликанской церкви. И если уж правда нашему городу на этот раз выпала честь дать Туркуэну епископа, верующие согласны временно расстаться с вами ради пользы епархии и нашей христианской родины.

И почтенный г-н Кассиньоля, которому пошел семьдесят шестой год, прибавил с улыбкой:

— Мы еще увидимся, я в этом твердо уверен. Из Туркуэна вы вернетесь к нам, господин аббат.

Аббат Лантень ответил:

— Господин председатель, добиваться этой чести я не буду, но не буду и уклоняться от выполнения своего долга.

Он мечтал и надеялся получить престол всеми оплакиваемого епископа Дюклу. Но честолюбие умерялось в нем гордыней, и он ждал, чтобы митру ему предложили.

Как-то утром г-н Лерон зашел к нему в семинарию и сообщил, что кандидатура аббата Гитреля может

рассчитывать на успех в министерстве культов. По общему предположению, префект Вормс-Клавлен усердно хлопочет за аббата Гитреля в министерских канцеляриях, где все франкмасоны уже в заговоре. Так ему сказали это в редакции «Либерала», религиозной и умеренной местной газеты. Планы же кардинала-архиепископа пока никому не известны.

И в самом деле, монсеньер Шарло не решался еще высказаться за или против той или иной кандидатуры. Его врожденная осторожность с годами возросла. Может быть, он кого-либо и предпочитал, но предпочтения своего не выказывал. Он уже давно привык к притворству, которое стало для него таким же легким и приятным занятием, как ежедневная партия в безик с г-ном де Гуле. В сущности ему было все равно, кто из священников его епархии станет невикарным епископом. Но его всячески старались вовлечь в эти интриги. Он почувствовал это, беседуя с префектом, г-ном Вормс-Клавленом, с которым вовсе не хотел портить отношения. Монсеньер ценил в аббате Гитреле хитрый ум и дух терпимости, которые тот не раз проявлял. С другой стороны, он считал этого Гитреля способным на все. «Кто знает, — думал о н , — а что, как он вовсе не собирается в эту захолустную епархию Северной Галлии, а замышляет стать здесь моим коадьютором? * И если я заявлю, что он достоин епископского сана, пожалуй, подумают, что я прочу его себе в коадьюторы?» Страх, как бы ему не назначили коадьютора, отравлял старость монсеньера Шарло. Что же касается аббата Лантеня, то у монсеньера были веские основания молчать и не высказывать своего мнения. Он не стал бы поддерживать его кандидатуру уже по одной той причине, что не верил в ее успех. Монсеньер Шарло не хотел быть в стане потерпевших поражение. Кроме того, он не жаловал ректора семинарии. По правде говоря, эта неприязнь в душе человека, такого кроткого и покладистого, как монсеньер, могла быть даже полезна честолюбивым замыслам аббата Лантеня. Монсеньер Шарло согласился бы, чтоб ректор семинарии стал епископом и даже папой, только бы от него избавиться. Добродетель, ученость и красноречие аббата Лантеня стя-

жали ему громкую славу; высказываться против него было как будто не совсем пристойно. А монсеньер Шарло, пользовавшийся всеобщим расположением и старавшийся никого не восстановить против себя, дожил мнением людей почтенных.

Господин Лерон не догадывался о тайных мыслях архиепископа, но он знал, что тот еще не сказал своего слова. Он полагал, что на старика можно повлиять и что обращение к его пастырским добродетелям не пропадет даром. Он настаивал, чтоб аббат Лантень, не откладывая, пошел к архиепископу.

— Вы с сыновней почтительностью попросите у его высокопреосвященства совета на случай, если вам будет предложена туркуэнская епархия. Шаг этот вполне корректен и произведет прекрасное впечатление.

Аббат Лантень запротестовал:

— Мне подобает подождать более торжественного предложения.

— Что же может быть торжественнее, чем голос стольких ревностных христиан, которые называют ваше имя с единою душою, напоминая тот всенародный согласный выбор, которым в древности почтили Медара и Реми!

— Но, сударь, — возразил честный Лантень, — выбор, по обычаю, ныне уже отмененному, исходил от верующих той епархии, управлять коей были призваны названные вами святые мужи. А туркуэнская паства, насколько мне известно, меня не выбирала.

Тогда адвокат Лерон сказал то, что следовало сказать с самого начала:

— Если вы не преградите дороги аббату Гитрелю, он получит епархию.

На следующее утро аббат Лантень накинул на плечи парадную мантию, складки которой развевались за его широкой спиной, как крылья, и направился в архиепископский дворец, по дороге моля господина бога уберечь французскую церковь от незаслуженного позора.

Монсеньер только что получил письмо из нунциатуры с просьбой дать конфиденциальный отзыв об аббате Гитреле. Нунций не скрывал своего расположения к

пастырю, который слыл умным и ревностным, да к тому же еще хорошо ладил со светской властью. Монсеньер тут же продиктовал г-ну де Гуле благоприятный отзыв о кандидате нунция.

Как раз в эту минуту аббат Лантень подошел к нему под благословение. Монсеньер воскликнул своим приятным старчески дрожащим голосом:

— Аббат Лантень! Как я рад вас видеть!

— Монсеньер, я пришел попросить у вашего высокопреосвященства пастырского совета на тот случай, если святой отец обратит на меня свой благосклонный взор и укажет меня...

— Очень рад вас видеть, господин Лантень. Как к стати вы пожаловали!

— Осмелюсь попросить, если вы, ваше высокопреосвященство, не сочтете меня недостойным канди...

— Господин Лантень, вы выдающийся богослов и лучше других осведомлены в каноническом праве. Ваше слово — закон во всех запутанных вопросах благочиния. В вопросах литургических и вообще богослужбных ваши советы поистине драгоценны. Не приди вы сейчас, я сам послал бы за вами, — господин де Гуле может это подтвердить. Именно сейчас мне так нужно ваше просвещенное суждение!

И своей подагрической рукой, привыкшей благословлять, монсеньер указал ректору семинарии на стул.

— Господин Лантень, будьте добры, выслушайте меня. Только что от меня ушел почтенный настоятель церкви святого Экзюпера господин Лапрюн. Надо вам сказать, что он, бедняга, нашел сегодня утром у себя в храме удавленника. Можете судить о его волнении! Он совсем потерял голову. Да я и сам нуждаюсь при подобных обстоятельствах в совете наиболее ученого пастыря моей епархии. Как быть? Скажите!

Аббат Лантень собрался с мыслями. Затем стал перечислять наставительным тоном церковные обряды, относящиеся к очищению храмов.

— Маккавей, омыв храм, оскверненный Антиохом Епифаном в сто шестьдесят четвертом году до рождества Христова, торжественно освятили его. Таково про-

исхождение праздника, именуемого «ханиша», что значит — обновление. И в самом деле...

И он начал развивать свою мысль.

Монсеньер слушал его с восторженным видом. А г-н Лантень без конца извлекал из неиссякаемого источника своей памяти тексты, относящиеся к обряду очищения храмов, примеры, доводы, толкования.

— От Иоанна, глава десятая, стих двадцать второй... Римский архиерейский обрядник... Бэда Достопочтенный, Бароний...

Он проговорил добрых три четверти часа, а затем кардинал-архиепископ добавил:

— Надо вам сказать, что удавленник был найден в тамбуре боковой двери, справа от алтаря.

— А внутренняя дверь тамбура была закрыта? — спросил аббат Лантень.

— Гм, гм! Не то, чтобы совсем открыта, — ответил монсеньер, — но и не плотно закрыта.

— Приотворена, монсеньер?

— Вот именно! Приотворена.

— А удавленник, монсеньер, был в самом тамбуре? Это очень существенный пункт, его необходимо установить. Вы, монсеньер, понимаете все его значение.

— Ну, конечно, господин Лантень... Господин де Гуле, кажется, одна рука удавленника высунулась из-за двери в самый храм?

Господин де Гуле покраснел и пробормотал в ответ что-то невнятное.

— Мне помнится, — сказал монсеньер, — рука высунулась, во всяком случае часть руки.

Аббат Лантень пришел к выводу, что в таком случае церковь св. Экзюпера была осквернена. Он привел подобные же примеры и рассказал, как поступили после вероломного убийства монсеньера архиепископа парижского * в церкви св. Стефана. Он спустился в глубь веков, проследил эпоху революции, когда храмы были превращены в склады оружия, упомянул Фому Бекета * и нечестивого Гелиодора *.

— Какие познания! Какая замечательная ученость! — сказал монсеньер.

Он встал и протянул аббату руку для поцелуя.

— Вы оказали мне неоценимую услугу, аббат Лантень. Поверьте, я очень высоко ставлю вашу ученость. Примите же мое пастырское благословение. Прощайте.

И аббат Лантень, отпущенный ни с чем, спохватился, что он не успел вымолвить ни слова о важном деле, ради которого пришел. Но он был так полон отзвуками собственных речей, так горд своей ученостью и умом, так польщен, что, спускаясь по парадной лестнице, продолжал сам с собой рассуждать об удавленнике и доказывать необходимость неотложного очищения приходской церкви. И по дороге он размышлял все о том же.

Идя по кривой улице Тентельри, он повстречал настоятеля церкви св. Экзюпера, почтенного аббата Лапрюна, который, стоя перед лавкой бочара Ланфана, рассматривал пробки.

У него прокисало вино, и он приписывал такую напасть тому, что бутылки были плохо закупорены.

— Какая жалость, — бормотал он, — какая жалость!

— Ну что, как ваш удавленник? — спросил аббат Лантень.

При этом вопросе достойный настоятель церкви св. Экзюпера вытаращил глаза и с удивлением спросил:

— Какой удавленник?

— Да ваш удавленник, тот несчастный самоубийца, которого вы нашли сегодня утром у себя в церкви, в тамбуре.

Кюре Лапрюн, не понимая после того, что услышал, кто из них двух рехнулся — он или аббат Лантень, — отпрянул в испуге и ответил, что не находил никакого удавленника.

— Как! — воскликнул аббат Лантень, в свою очередь удивившись, — разве не нашли нынче утром человека, повесившегося в тамбуре, в правом притворе?

Кюре Лапрюн в знак отрицания два раза решительно мотнул головой, и на лице его отразилась святая правда.

Теперь уже аббат Лантень был сбит с толку.

— Но ведь мне только сейчас кардинал-архиепископ сам сказал, что у вас в церкви нашли удавленника!

— А-а! — протянул аббат Лапрюн, сразу успокоившись. — Монсеньер изволил шутить. Он большой охотник до шуток; он знает в них толк, но умеет держаться в границах приличия. Он так остроумен!

Но аббат Лантень, подняв к небу взор, пылающий мрачным огнем, воскликнул:

— Архиепископ обманул меня! Неужели же этот человек говорит правду только на ступенях алтаря, когда, держа в руках святые дары, возглашает: «Domine, non sum dignus!»¹

VI

С тех пор как генерал Картье де Шальмо потерял охоту к верховой езде и стал домоседом, он завел фишки на свою дивизию и разложил их по картонным коробочкам, которые каждое утро расставлял у себя на письменном столе и каждый вечер убирал на простые деревянные полки над своей железной койкой. Он вел счет фишкам с педантичной аккуратностью и радовался, глядя на их образцовый порядок. Каждая фишка изображала человека. Вид, который приобрели теперь его офицеры, унтер-офицеры и солдаты, удовлетворял его врожденную любовь к аккуратности и соответствовал его миропониманию. Картье де Шальмо всегда был на хорошем счету. Генерал Паруа, под началом которого он служил, сказал: «Капитан де Шальмо умеет в равной мере и повиноваться и приказывать. Это редкое и драгоценное качество, отличающее подлинного военного».

Картье де Шальмо всегда был человеком долга. Он был добросовестен и застенчив, обладал прекрасным почерком и теперь, наконец, нашел систему, соответствующую его духу, и применял ее с непреклонной строгостью, командуя своей картонной дивизией.

Проснувшись сегодня, как обычно, в пять часов утра, он после обливания сел за письменный стол, и, меж тем как солнце с величавой медлительностью вставало над вязами архиепископского сада, генерал командовал

¹ Недостоин я, господи! (лат.).

маневрами, передвигая свои картонные фишки, заменявшие живых людей и в его глазах ничем от них не отличавшиеся, ибо он весьма почитал всякого рода значки.

Генерал уже три часа трудился над своими фишками, напрягая чело и мысли, столь же бледные и печальные, как и самые фишки, когда слуга доложил ему о приходе аббата де Лалонда. Тогда он снял очки, вытер покрасневшие от напряжения глаза, встал, повернулся к двери, и на его лице, когда-то красивом и до старости сохранившем определенность черт, появилось что-то вроде улыбки. Он протянул гостью свою широкую руку с почти гладкой ладонью и отрывистым и невнятным голосом, что одновременно указывало на его застенчивость как человека и на его непогрешимость как командира, поздоровался с входившим священнослужителем.

— Как поживаете, дорогой аббат? Очень рад вас видеть.

И он пододвинул ему один из двух стульев, обитых волосистой материей, которые составляли вместе с письменным столом и койкой скудную обстановку его чистой и светлой спальни.

Аббат сел. Это был удивительно живой старичок. На его морщинистом лице, напоминавшем выщербленный кирпич, как два драгоценные камня, сияли голубые детские глаза.

Минутку они, ничего не говоря, любовно смотрели друг на друга. Они были давнишними друзьями, товарищами по военной службе. Аббат де Лалонд, ныне священник в женской общине, раньше был полковым священником в том же гвардейском полку, которым в 1870 году командовал Картье де Шальмо; полк этот входил в N-скую дивизию и вместе со всей армией Вазона * был окружен под Медом.

Эти эпические и печальные дни оба друга вспоминали всякий раз, как они виделись, и всякий раз они говорили одни и те же слова.

На сей раз первым заговорил аббат:

— Помните, генерал, как мы тогда стояли под Медом без медикаментов, без фуража, без соли?..

Аббат Лалонд был самым непритязательным человеком в мире. Наверяд ли он сам тогда ощущал недостаток соли, но он очень страдал оттого, что не мог раздавать соль солдатам, как он раздавал им табак в старательно свернутых пакетиках, и он часто вспоминал об этом тяжелом лишении.

— Ах, генерал, соли не хватало!

Генерал Картье де Шальмо ответил:

— До некоторой степени этот недостаток восполняли, примешивая к пище порох.

— Что ни говорите, — продолжал аббат де Лалонд, — а война — ужасная вещь.

Этот бесхитростный друг солдат говорил так в простоте душевной. Но генерал не был согласен с осуждением войны.

— Позвольте, дорогой аббат! Война, конечно, — жестокая необходимость, но на войне офицеру и солдату представляется случай проявить высочайшую доблесть. Не будь войны, никто бы не знал, что нет предела людскому терпению и мужеству.

И он прибавил со всей серьезностью:

— Библия установила законность войны, и вы лучше моего знаете, что бог назван в ней Саваофом, то есть богом воинств.

Аббат улыбнулся с простодушным лукавством, сверкнув тремя белыми, хотя и последними зубами.

— Ну, я по-еврейски не понимаю... А у бога есть столько других более прекрасных имен, что я, пожалуй, как-нибудь обойдусь и без этого имени... Увы, генерал, что за армия погибла под командованием этого несчастного маршала!..

При этих словах генерал Картье де Шальмо в сотый раз повторил одно и то же:

— Маршал Базен... Поймите же! Несоблюдение устава касательно места военных действий; нерешительность в командовании, достойная порицания; колебания в виду неприятеля, — а в виду неприятеля колебания недопустимы; капитуляция в открытом поле... Он заслужил свою участь. А потом нужен был козел отпущения.

— Что касается меня, — возразил аббат, — я никогда ни единым словом не позволю себе очернить память этого злополучного маршала. Не мне судить о его действиях. И не мне, конечно, разглашать его ошибки, даже самые явные. Ведь он оказал мне благодеяние, которого я ему ввек не забуду.

— Благодеяние? — спросил генерал. — Он? Вам?

— О, такое большое, такое замечательное благодеяние! Он даровал мне помилование одного бедняги солдата, драгуна, приговоренного к смерти за ослушание. В память этого благодеяния я каждый год служу мессу за упокой души бывшего маршала Базена.

Но генерал Картье де Шальмо не сдавался.

— Капитулировать в открытом поле!.. Поймите... Он заслужил свою участь.

И, чтобы отвести душу, генерал заговорил о Канробере * и о том, как стойко держалась N-ская бригада при Сен-Прива.

Аббат принялся, вспоминать разные случаи, забавные и не лишённые поучительности:

— Да, Сен-Прива! Накануне боя приходит ко мне рослый детина, стрелок. Как сейчас его вижу: черный, в овчине. Кричит: «Завтра жарко придется. Чего доброго, и я живым не выйду. Отпустите мне грехи, господин кюре, да поскорей! А то мне еще лошадь почистить надо». Я ему: «Не хочу тебя задерживать, голубчик. Но все же тебе придется покаяться в своих грехах. Ну, в чем грешен?» Он воззрился на меня с удивлением: «Во всем грешен!» — «Как во всем?» — «Да, во всем. Во всех грехах грешен». Я покачал головой: «Во всем, не многовато ли?.. Скажи, мать бил?» Тут мой кавалерист как разволнуется, как замашет руками, как начнет ругаться на чем свет стоит, как раскричится: «Господин кюре, за кого вы меня принимаете?» Ну, я ему в ответ: «Успокойся, голубчик, сам теперь видишь, что не во всем ты грешен...»

Так аббат добродушно вспоминал назидательные случаи из полковой жизни. А затем выводил мораль. Из хороших христиан выходят хорошие солдаты. Не следовало изгонять религию из армии.

Генерал Картье де Шальмо согласился.

— Я всегда так говорил, дорогой аббат. Уничтожая религию, вы уничтожаете воинский дух. По какому праву можно требовать от человека, чтобы он жертвовал жизнью, раз вы отнимаете у него надежду на загробное существование?

И аббат сказал с доброй, бесхитростной и радостной улыбкой:

— Вот увидите, к религии еще вернутся. К ней уже понемногу возвращаются. Люди не так испорчены, как кажется, а господь бог бесконечно милосерд.

И только теперь он изложил цель своего прихода.

— Я пришел попросить вас о большом одолжении.

Генерал Картье де Шальмо насторожился; его лицо, и без того грустное, омрачилось. Он любил и уважал старичка аббата и хотел бы сделать ему приятное. Но даже мысль об одолжении пугала его, так как он был до крайности щепетилен.

— Да, генерал, я пришел попросить вас потрудиться на благо церкви. Вы знаете аббата Лантеня, ректора нашей духовной семинарии. Это пастырь, выдающийся добродетелью и ученостью, великий богослов.

— Я несколько раз встречался с аббатом Лантенем. Он произвел на меня приятное впечатление. Но...

— О генерал, если бы вам довелось слышать его духовные беседы, вы были бы, как и я, поражены его ученостью. А ведь я мог оценить далеко не все. Тридцать лет жизни провел я, напоминая о госпде бже бедным солдатам, лежащим на лазаретных койках. Утешал их табачком да словом божим. А теперь вот уже двадцать пять лет как исповедую благочестивых монахинь; ничего не скажешь, они добродетельны, но характер у них куда хуже, чем у моих солдатиков. Мне некогда было читать отцов церкви; у меня ни ума, ни богословских знаний не достанет, чтоб оценить по заслугам аббата Лантеня. Он ходячая библиотека. Во всяком случае, могу вас уверить, генерал, что у него слово не расходится с делом и дело со словом.

И старик священник, хитро подмигнув, прибавил:

— К сожалению, не все духовные лица таковы.

— И не все военные, — поддакнул генерал с невестной улыбкой.

И они сочувственно взглянули друг на друга, так как оба не терпели происков и лжи.

Однако аббат де Лалонд не забыл, зачем пришел, и такими словами закончил похвалу аббату Лантеню:

— Он превосходный пастырь. Будь он военным, из него вышел бы превосходный солдат,

Но генерал вдруг спросил:

— Но что же я могу для него сделать?

— Помочь ему Надеть фиолетовые чулки, которые он вполне заслужил. Выставлена его кандидатура на пустующий епископский престол в Туркуэне. Я прошу вас поддержать ее в министерстве юстиции и культов, мне говорили, что вы лично знакомы с министром.

Генерал покачал головой. Он никогда и ничего не просил у правительства. Картье де Шальмо, монархист и христианин, относился к республике с глубоким, молчаливым и непоколебимым осуждением. Он не читал газет, ни с кем не разговаривал и принципиально презирал гражданскую власть, действиями которой не интересовался. Он повиновался и молчал. Окрестных помещиков восхищала его скорбная покорность, порожденная чувством долга, подкрепленная глубоким презрением ко всему невоенному, еще подчеркнутая затрудненностью мысли и речи, которая становилась все заметнее и трогательнее по мере того, как усиливалась его болезнь печени.

Все знали, что в глубине души генерал Картье де Шальмо остался верен королевской власти. Но не все знали, что однажды, в 1893 году, он был поражен в самое сердце, поражен, как сказали бы христиане, той благодатью, которая молнией озаряет душу человека и в то же время переполняет ее глубоким и неожиданным умилением. Событие это случилось 4 июня в пять часов вечера в зале префектуры, убранном цветами, которые собственноручно поставила в вазы супруга префекта. Там президент Карно *, бывший проездом в городе, принимал офицеров гарнизона. Генерал Картье де Шальмо, присутствовавший со своим штабом, впервые увидел президента и вдруг без логических оснований, без видимых причин был охвачен потрясающим восторгом. Спокойная важность и целомудренная чопорность

главы государства сразу сломили все его предрассудки. Он забыл, что перед ним штатский правитель. Он ощутил благоговение и любовь. Он вдруг почувствовал, что связан узами взаимного понимания и уважения с этим человеком, таким же, как и он, желтым и грустным, но величественным и невозмутимым, как монарх. По-военному проглатывая слоги, быстро пробормотал он официальное приветствие, выученное наизусть. Президент ответил: «Благодарю вас от имени республики и родины, которой вы неподкупно служите». И тут вся преданность отсутствующему монарху, накопившаяся у генерала Картье де Шальмо за двадцать пять лет, хлынула из его сердца на президента, кроткое лицо которого поражало своей неподвижностью, — он говорил печальным голосом, не шевеля ни щеками, ни губами, словно запечатанными черной бородой. В его восковом лице, с тусклыми честными глазами, в чахлой груди, через которую торжественно протянулась красная орденская лента, во всем его облике больного автомата генерал почувствовал величие главы государства и невзгоды несчастливца, не умеющего улыбаться. И восхищение соединилось в нем с нежностью.

Год спустя он узнал о трагической кончине президента, ради спасения которого охотно пожертвовал бы жизнью, и с тех пор мысленно представлял себе его неподвижным и черным, как знамя, скатанное вокруг древка, покрытое чехлом и поставленное в угол в казарме.

С той поры он потерял интерес к гражданским правителям Франции. Он знал только свое непосредственное начальство и повиновался ему с мрачной пунктуальностью. Его тяготило, что приходится отказывать аббату де Лалонду, поэтому он призадумался, а затем объяснил свои основания:

— Это вопрос принципа. Я никогда ничего не прошу у правительства. Вы со мной согласны? Правда? Ведь когда поставишь себе что-либо за правило...

Аббат посмотрел на него, и грусть, словно облачко, набежала на его старческое, блаженно улыбающееся лицо.

— Ну, как я могу с вами согласиться, генерал, когда сам только и знаю, что о чем-нибудь прошу?

Я ведь закоренелый попрошайка. Ради господ бога и ради бедных я обращался ко всем сильным мира сего, к министрам короля Луи-Филиппа, временного правительства, Наполеона Третьего, к министрам правительства нравственного порядка * и к теперешним республиканским властям. Все они помогали мне сделать доброе дело. И раз вы знакомы с министром культов...

В это мгновение в коридоре раздался крикливый голос:

— Цыпонька! Цыпонька!

И в комнату ураганом ворвалась дородная дама в пеньюаре, в венце из папильоток на седой голове. Это была жена генерала, звавшая его завтракать.

Она с властной нежностью встряхнула мужа, еще раз крикнув: «Цыпонька!» — и тут только заметила старика аббата, прижавшегося к двери.

Она извинилась за небрежность туалета. По утрам хлопот не оберешься! Три дочери, два сына, сирота-племянник и муж — семеро детей на руках!

— Ах, сударыня, сам бог вас послал! — воскликнул аббат. — Вы мой ангел-хранитель!

— Я ваш ангел-хранитель?

Под серым капотом величественно вздымались могучие формы многолетней матери. Ее лоснящаяся усатая физиономия сияла гордостью почтенной матроны; по непринужденным движениям в ней сразу можно было признать рачительную хозяйку, у которой в руках все спорится, и в то же время светскую даму, привыкшую к знакам внимания. Она заслоняла собой генерала. Полина была его домашней фортуной и добрым гением; мужественной и твердой рукой вела она его бедный, но пышный дом, работала за прачку, за кухарку, за портниху, за горничную, воспитательницу, сиделку, даже за модистку, правда с несколько наивным пристрастием ко всему кричащему, а на званных обедах и приемах импонировала всем гостям непогрешимо хорошим тоном, величественным профилем и все еще красивыми плечами. Вся дивизия в один голос утверждала, что, ежели бы генерала сделали военным министром, генеральша не посрамила бы супруга, принимая гостей в особняке на Сен-Жерменском бульваре.

Кипучая деятельность генеральши не ограничивалась собственно семьей: она не жалела своих трудов на богоугодные дела и благотворительность. Генеральша Картье де Шальмо была попечительницей трех приютов и двенадцати богоугодных заведений, на которые ука- зал ей кардинал-архиепископ. Монсеньер Шарло питал к ней особое расположение и не раз говорил с любезной улыбкой: «Вы командуете армией христианского милосердия». И, как добрый католик, монсеньер Шарло неизменно добавлял:

— А иного милосердия, кроме христианского, нет. Ибо только церковь может разрешить социальные проблемы, которые поражают наш ум своей трудностью и непрестанно заботят мое пастырское сердце.

Так же думала и генеральша Картье де Шальмо. Она была благочестива свыше всякой меры, всем напоказ, и часто в ее благочестии было что-то крикливое, как в цветах на ее шляпках и в звуке ее голоса. Ее шумная вера неудержимо выпирала наружу, как и грудь ее, вмещающая эту веру, и расцветала особенно пышным цветом в гостиных. Пылкостью своих религиозных чувств генеральша часто вредила мужу. Но ни он, ни она не обращали на это внимания. Генерал тоже был религиозен, что не помешало бы ему арестовать кардинала-архиепископа, будь на то приказ за подписью военного министра. Тем не менее демократы ему не доверяли. Даже сам префект, отнюдь не отличавшийся фанатизмом, считал генерала Картье де Шальмо человеком опасным. Виновата в этом была генеральша. Она была честолюбива, но исполнена чувства долга и неспособна отречься от господа бога.

— Как же я могу быть вашим ангелом-хранителем, господин аббат?

И, узнав, что вопрос шел о кандидатуре на туркуэнскую епископскую кафедру аббата Лантеня, человека твердой и высокой добродетели, она оживилась и тут же проявила готовность взяться за это дело.

— Вот такие епископы нам и нужны. Аббат Лан- тень должен получить епархию.

Старик аббат не дал остыть такому похвальному рвению.

— Сударыня, убедите генерала написать министру культов, он ведь с ним в хороших отношениях.

Она энергично тряхнула венцом из папильоток.

— Нет, господин аббат. Муж не станет писать. Незачем и настаивать. Он полагает, что военный не должен ни о чем просить. И он прав. Отец мой держался тех же взглядов. Вы знавали его, господин аббат, и помните, что он был достойным человеком и хорошим солдатом.

Бывший полковой священник хлопнул себя по лбу.

— Полковник де Бальни! Ну, как же, разумеется, знавал. Он был герой и христианин.

Тут в разговор вмешался генерал:

— Мой тесть, полковник де Бальни, славился главным образом тем, что помнил наизусть весь кавалерийский устав тысяча восемьсот двадцать девятого года. Устав этот был так сложен, что мало кто из офицеров помнил его наизусть. Впоследствии он был отменен, и полковник де Бальни впал в уныние, что ускорило его кончину. Затем были введены новые уставы, значительно более простые, и это надо считать их неоспоримым преимуществом. И тем не менее я постоянно задаю себе вопрос, не лучше ли было при прежнем положении дел. Надо быть требовательным к кавалеристу, иначе ничего от него не добьешься. То же самое и с пехотинцем.

И генерал принялся заботливо передвигать свою картонную дивизию, разложенную по коробочкам.

Генеральша не впервые слышала эти слова. Она неизменно отвечала на них одним и тем же. И на этот раз она опять сказала:

— Цыпонька! Ну, как ты можешь говорить, будто папаша умер с горя, когда с ним случился удар во время смотра.

Старик аббат с простодушной хитростью перевел разговор на интересующую его тему:

— Ах, сударыня, ваш почтенный батюшка несомненно оценил бы аббата Лантеня по заслугам, и возведение этого пастыря в епископский сан отвечало бы его желаниям.

— И моим также, господин аббат, — сказала генеральша. — Муж не может и не должен предпринимать никаких шагов. Но я, если только вы думаете, что мое вмешательство может принести пользу, шепну словечко монсеньеру. Нашего архиепископа я не боюсь.

— Конечно, одно слово из ваших уст... — пробормотал аббат. — Монсеньер Шарло отнесется к вашей просьбе благосклонно.

Генеральша заявила, что увидит архиепископа на освящении богоугодного заведения «Хлеб святого Антония», попечительницей коего она состояла, и что там...

Вдруг она спохватилась:

— Котлеты!.. Простите, господин аббат!..

Она выскочила на лестницу и оттуда громко отдала распоряжение кухарке. Потом вернулась в комнату.

— И там я отведу его в сторонку и попрошу замолвить нунцию словечко за аббата Лантеня. Ведь это как раз и требуется?

Старичок аббат сделал движение, как бы собираясь пожать ей обе руки.

— Именно это, сударыня. Да пребудет с вами святой Антоний Падуанский и да поможет вам убедить монсеньера Шарло. Это великий святой. Я имею в виду святого Антония... Напрасно дамы думают, будто он только и знает, что разыскивать потерянные драгоценности. У него на небесах есть дела поважнее. Куда лучше просить его о хлебе насущном для бедняков. Вы это поняли. «Хлеб святого Антония» — угодное господу дело. Надо будет поближе с ним познакомиться. Но упаси меня бог заикнуться об этом моим сестрам.

Он имел в виду сестер женской общины, где был духовником.

— У них и без того много богоугодных заведений. Они жены достойные, но они мелочны и придают слишком большое значение обрядам.

Он вздохнул, вспомнив то время, когда был полковым священником, трагические дни войны, вспомнив, как он сопровождал раненых, лежащих на лазаретных носилках, и вливал им в рот глоток водки, ибо обычно осуществлял свое апостольское служение,

раздавая водку и табак. И снова он поддался соблазну поговорить о битвах под Мецом и стал рассказывая разные случаи из военной жизни. Большинство их относилось к саперу по имени Лармуаз, уроженцу Лотарингии, малому, неистощимому на выдумки.

— Я не рассказывал вам, генерал, что этот самый пройдоха сапер каждое утро притаскивая мне мешок картошки. Вот как-то я и спрашиваю, где он ее раздобыл. А он мне в ответ: «В неприятельских окопах». Я говорю: «Сумасшедший!» Ну вот он и объяснил, что среди немецких караульных отыскивались у него свои. «Свои?» — «Да, свои, земляки. Нас только граница и разделяет. Ну, обнялись, покалякали про родных, про знакомых. Они и говорят: «Бери картошки сколько душе угодно».

И аббат прибавил:

— Этот простой случай лучше всяких рассуждений убедил меня в несправедливости и жестокости войны.

— Да, — сказал генерал, — такое нежелательное общение наблюдается иногда, когда две армии стоят в непосредственной близости одна от другой. Это надо сурово пресекать, считаясь, конечно, с обстоятельствами.

VII

В этот вечер аббат Лантень, ректор духовной семинарии, гуляя по крепостному валу, встретил г-на Бержере, преподавателя филологического факультета, слывшего человеком умным, хотя и большим оригиналом. Аббат прощал ему скепсис и охотно с ним беседовал, когда они встречались на валу под вязами, если только там не было других гуляющих. И г-ну Бержере тоже было интересно заглянуть в душу умного священника. Они оба знали, что их беседы на скамейке под вязами не нравились ни декану факультета, ни архиепископу. Но аббат Лантень презирал житейскую осмотрительность, а г-н Бержере, усталый, разочарованный, грустный, пренебрегал бесполезной осторожностью.

Он был неверующим, но, как человек со вкусом, не щеголял своим неверием; а из-за богомольной жены

и из-за дочерей, усердно изучавших закон божий, в министерстве его считали клерикалом; добрые же католики и ревностные патриоты вменяли ему в вину кое-какие приписываемые ему речи. Обманувшись в своих честолюбивых надеждах, он хотел по крайней мере жить на свой лад и, не сумев стать приятным для своих сограждан, находил удовольствие в том, что понемногу старался стать для них неприятным.

В этот тихий и светлый вечер г-н Бержере, увидев ректора семинарии, вышедшего на свою обычную прогулку, отправился ему навстречу до первых вязов городского сада.

— «Благоприятны мне места, где вас я встретил», — сказал аббат Лантень, позволявший себе невинное кокетство — блеснуть знанием литературы перед профессором университета.

В нескольких неопределенных фразах они высказали друг другу ту глубокую жалость, которую внушал им сей мир. Только аббат Лантень оплакивал упадок этого древнего города, славившегося в средние века ученостью и философской мыслью, а ныне подпавшего под власть нескольких лавочников и франкмасонов; г-н же Бержере, наоборот, сказал:

— И тогда люди были такими же, как и сейчас, не очень хорошими и не очень плохими.

— Нет! — возразил аббат. — Люди были сильны духом и крепки в вере в ту пору, когда Раймунд Великий *, прозванный «доктор Бальзамикус», преподавал здесь в городе весь свод человеческих знаний.

Аббат и профессор сели на каменную скамейку, на которой уже молча сидели два бледных и унылых старика. От скамейки до самых прибрежных топей шел пологий зеленый склон, подернутый легкой дымкой.

— Господин аббат, — сказал профессор, — я, как и все, перелистал в городской библиотеке «Hortus»¹ и «Thesaurus»² Раймунда Великого. Кроме того, я прочитал только что выпущенную книгу аббата Казо,

¹ «Сад» (лат.).

² «Сокровище» (лат.).

посвященную Раймунду Великому. И вот что поразило меня в этой книге...

— Аббат Казо мой ученик, — перебил аббат Лантень. — Его книга о Раймунде Великом насыщена фактическими данными, что очень ценно; она опирается на догматы христианской веры, что достойно еще большей похвалы и что редко теперь встречается, ибо вера слабеет в нынешней грешной Франции, которая была самой великой страной, пока она была и самой богословской.

— Книга господина Казо, — продолжал г-н Бержере, — заинтересовала меня с нескольких точек зрения. Не располагая богословскими познаниями, я многого не понял. Но, по-моему, блаженный Раймунд, монах, строго придерживавшийся учения церкви, требовал признания за учителем права высказывать два противоположных суждения по поводу одного и того же предмета — одно богословское, согласное с божественным откровением, другое — чисто человеческое, основанное на опыте и рассуждении. Доктор Бальзамикус, суровая статуя которого украшает двор архиепископского дворца, утверждал, насколько я понял, будто один и тот же человек, исходя из опыта и рассуждений, может отрицать истины, которые как христианин он признает и исповедует. И мне показалось, что ваш ученик, господин Казо, одобряет такую странную теорию.

Аббат Лантень, взволнованный этими словами, вытащил из кармана цветной шелковый платок, развернул его наподобие стяга и, широко раскрыв рот, высоко подняв пылающее чело, ринулся в предложенный ему словесный бой.

— Господин Бержере, я решаю в положительном смысле вопрос о том, можно ли иметь об одном и том же предмете два различных суждения: одно — богословское, то есть божественного происхождения, другое — чисто рассудочное или основанное на опыте, то есть человеческого происхождения. И я берусь доказать законность этого кажущегося противоречия на самом простом примере. Иной раз, сидя в кабинете за столом, заваленном книгами и бумагами, вы говорите: «Уму

непостижимо! Сейчас только положил на этот самый стол нож для разрезания бумаги, а теперь не нахожу его. Я его так и вижу перед собой, вот так, кажется, и вяжу, и все-таки я его не вижу». Размышляя так, господин Бержере, вы высказываете об одном и том же предмете два противоположных суждения: одно, что ваш нож на столе, потому что должен там быть, — суждение, основанное на рассудке, другое — что ножа на столе нет, раз вы его там не находите, — суждение, основанное на опыте. Вот два несогласуемых суждения об одном и том же предмете. И они одновременны. В одно и то же время вы утверждаете присутствие и отсутствие ножа. Вы говорите: «Он тут, я в этом уверен», — и в то же время ваш опыт устанавливает, что его здесь нет.

И, закончив доказательство, аббат Лантень потряс своим клетчатым, испачканным в табаке платком, как ярким стягом схоластики.

Но он не убедил преподавателя филологического факультета. Тот без труда доказал всю порочность приведенного софизма; он ответил не громко, так как берег свой слабый голос, что, разыскивая нож, он ощущал не одновременно, а последовательно страх и надежду, из-за неуверенности, которая не могла быть продолжительной; ибо в конечном счете он обязательно установил бы, есть на столе нож или его там нет.

— В вашем примере с ножом, господин аббат, нет ничего общего с тем противоречивым суждением, которое блаженный Раймунд, или господин Казо, или вы сами могли бы высказать о том или другом событии, изложенном в Библии, одновременно утверждая и его достоверность и его ложность. Позвольте и мне привести пример. Я сошлюсь, — конечно, не потому, что хочу смутить вас, а просто потому, что этот пример сам собой напрашивается, — я сошлюсь на историю Иисуса Навина, остановившего солнце...

Господин Бержере облизнул губы и улыбнулся, — в глубине души он был вольтерьянцем.

— ...на историю Иисуса Навина, остановившего солнце. Можете вы утверждать и то, что Иисус Навин остановил солнце, и то, что он его не останавливал?

Ректор семинарии, превосходный софист, нисколько не смутился. Он обратил на противника пламя очей и дыхание уст своих:

— Со всеми особыми оговорками относительно истинного толкования, одновременно буквального и духовного, того места из «Книги Иисуса Навина», которое вы имеете в виду и на котором уже до вас опрометчиво споткнулись многие малoverы, я без колебания отвечу: «Да, у меня два разных суждения об этом чуде. Как человек, знающий физику, я верю, что земля вращается вокруг неподвижного солнца. А как человек, изучавший богословие, я верю, что Иисус Навин остановил солнце. Здесь есть противоречие. Но противоречие, легко устранимое. Я вам это сейчас докажу. Наше представление о солнце чисто человеческое; оно относится только к человеку и не обязательно для бога. Для человека солнце не вращается вокруг земли. Согласен и всецело присоединяюсь к Копернику. Но не буду же я принуждать господа бога стать, как и я, последователем Коперника, и не буду же я доискиваться, вращается или не вращается для бога солнце вокруг земли. По правде говоря, я и без «Книги Иисуса Навина» знаю, что человеческая астрономия необязательна для бога. Теории времени, числа и пространства не охватывают бесконечность, и нелепо ловить духа святого на физических или математических трудностях.

— Значит, — спросил г-н Бержере, — вы допускаете, что даже в математике возможны два противоположных суждения — человеческое и божественное?

— Я далек от такой крайности, — ответил аббат Лантень. — Точность математики сближает ее с абсолютной истиной. Числа же опасны только постольку, поскольку разум, видя в них первопричину, может впасть в заблуждение и рассматривать всю вселенную лишь как систему чисел. Подобное заблуждение было осуждено церковью. Во всяком случае, я без малейшего колебания утверждаю, что есть математика человеческая и математика божественная. Конечно, между ними не должно быть противоречия, и вы, надеюсь, не ожидаете услышать от меня, что для бога три плюс три

равно девяти. Но нам неизвестны все свойства чисел, а богу они известны.

Я знаю духовных лиц, которых считают выдающимися и которые утверждают, что между наукой и богословием не должно быть противоречий. Мне противна такая дерзость, я сказал бы даже: такое богохульство, потому что разве это не богохульство — заставлять вечную, абсолютную истину применяться к несовершенной и временной истине, именуемой наукой? Это безумное стремление уподобить видимый мир невидимому, тело — душе породило множество жалких и пагубных идей, в которых обнаружилось все безрассудство и слабость современных его апологетов. Один видный член ордена иезуитов допускает многочисленность обитаемых миров; он готов признать, что на Марсе и Венере живут разумные существа, лишь бы за землей сохранилось преимущество христианской веры, что делает землю исключительной и единственной в мироздании. Другой ученый богослов, с достоинством занимавший в Сорбонне ныне упраздненную кафедру богословия, допускает, что геологи могут найти следы преадамитов, и сводит сотворение мира, о котором учит библия, к устройству небольшой области вселенной для пребывания там Адама и его потомства. О тупое безумие! О жалкая дерзость! О древнее, как мир, и уже сто-крат осужденное новшество! Посягательство на божественное единство! Не лучше ли, подобно Раймунду Великому и его историографу, утверждать невозможность слияния науки и религии, так же как относительного и абсолютного, конечного и бесконечного, тени и света?

— Господин аббат, — сказал профессор, — вы презираете науку.

Аббат покачал головой.

— Вовсе нет, господин Бержере, вовсе нет! Наоборот, я, по примеру святого Фомы Аквинского и всех великих учителей церкви, считаю, что науке и философии должно быть отведено почетное место в школах.

Нельзя презирать науку и не презирать разума; нельзя презирать разум и не презирать человека;

нельзя презирать человека и не оскорблять бога. Безрассудный скептицизм, который нападает на человеческий разум, — первая ступень к тому преступному скептицизму, который восстает на божественные тайны. Я почитаю науку за благодеяние, ниспосланное нам богом. Но, если бог дал нам науку, это не значит, что он дал нам *свою* науку. Его геометрия — не наша геометрия. Наша ограничена плоскостью и пространством, его же безгранична. Он нас не обманул, — вот почему я полагаю, что существует истинная человеческая наука. Он нам не все открыл, — вот почему я утверждаю, что даже истинная наука бессильна и не может быть в полном соответствии с предвечной истиной. И каждый раз, как мне приходится сталкиваться с этим несоответствием, я подхожу к нему безбоязненно: оно не доказывает ничего противного небу или земле.

Господин Бержере признался, что такая теория представляется ему столь же остроумной, сколь смелой, и во всяком случае соблюдающей интересы религии.

— Но, — прибавил он, — наш архиепископ мыслит иначе. В своих пастырских посланиях монсеньер Шарло охотно распространяется об истинах религии, подтвержденных научными открытиями, например опытами Пастера.

— О, его высокопреосвященство соблюдает евангельскую нищету, по крайней мере в философии, — ответил аббат гнусавым, свистящим от презрения голосом.

И в тот момент, как эти слова бичом рассекли воздух, по аллее мимо скамейки проплыла пузатая стеганая сутана, увенчанная широкополой шляпой.

— Говорите тише, господии аббат, — сказал преподаватель филологического факультета, — вас слышит аббат Гитрель.

VIII

Префект Вормс-Клавлен беседовал с аббатом Гитрелем в лавке Рондоно-младшего, ювелира и золотых дел мастера. Он развалился в кресле и положил ногу на

ногу, задрал носок чуть не к самому подбородку смиренного аббата.

— Господин аббат, что там ни говори, а вы просвещенный пастырь; религия для вас — свод моральных предписаний, необходимых правил, а вовсе не отжившие догматы, не таинства, просто нелепые и совсем не таинственные.

Аббат Гитрель усвоил правила поведения, превосходные для духовного лица. Одним из этих правил было молчать во избежание соблазна и не выставлять на посмеяние безбожников истинную веру. И так как подобная осмотрительность соответствовала его душевному складу, он неуклонно соблюдал ее. Но префект не отличался деликатностью. Его большой, мясистый нос, его толстые губы казались какими-то мощными насосами, все в себя вбирающими и поглощающими, а его срезанный лоб и бесцветные навывкате глаза говорили о полном отсутствии душевной чуткости. Он не унимался, выдвигал против догматов христианской религии аргументы, бывшие в ходу в масонских ложах и литературных кофейнях, и в заключение заявил, что умный человек не может поверить ни единому слову катехизиса. Потом он опустил свою большую руку, унизанную перстнями, на плечо аббата и сказал:

— Вы молчите, дорогой аббат, — значит, вы со мной согласны.

Господину Гитрелю, в известной мере мученику за веру, пришлось исповедовать свои убеждения:

— Простите, господин префект; катехизис, эта тоненькая книжка, к которой в известных кругах считают нужным относиться с пренебрежением, содержит больше истин, чем толстые философские трактаты, на шумевшие на весь мир. Умозрительная ученость соединяется в катехизисе с поразительной простотой. Это не мое мнение; оно принадлежит выдающемуся философу, господину Жюлю Симону *, который ставит катехизис выше платоновского «Тимея».

Префект не осмелился оспаривать мнение бывшего министра. К тому же он вспомнил, что его непосредственный начальник, нынешний министр внутренних дел, — протестант. Он сказал:

— В качестве лица должностного я в равной мере уважаю все вероисповедания: и протестантское и католическое. В качестве частного лица я человек свободомыслящий, и если уж говорить о предпочтении той или другой религии, то, с вашего разрешения, господин аббат, я предпочел бы реформатскую.

Аббат Гитрель ответил елейным голосом:

— Разумеется, среди протестантов есть люди высокой нравственности, осмелюсь даже сказать, люди, могущие служить примером, если судить о них с мирской точки зрения. Но так называемая реформатская церковь отсечена от живого тела церкви католической, и рана еще сочится кровью.

На префекта не подействовала выразительная цитата, заимствованная из Боссюэ; он взял толстую сигару, закурил, затем протянул портсигар Гитрелю:

— Не угодно ли, господин аббат?

Префект предложил сигару г-ну Гитрелю, желая смутить его и ввести в соблазн, ибо не имел ни малейшего понятия о церковных правилах и полагал, что курение запрещено духовенству. По своему невежеству он думал, что, угостив аббата сигарой, введет его в грех, толкнет на ослушание, возможно даже на святотатство, чуть ли не на вероотступничество. Но г-н Гитрель спокойно взял сигару, бережно спрятал в карман своей ватной сутаны и добродушно сказал, что выкурит ее после ужина у себя в спальне.

Так беседовали в конторе ювелира префект Вормс-Клавен и аббат Гитрель, преподаватель красноречия в духовной семинарии. Рондоно-младший, поставщик архиепископства, работавший также и на префектуру, молча присутствовал при их беседе, из деликатности не вмешиваясь в разговор. Он был занят деловыми письмами, и его гладкая лысина поблескивала над торговыми книгами и образцами ювелирных изделий, наваленными на столе.

Вдруг префект встал, отвел аббата Гитреля в другой конец комнаты, к окну, и шепнул ему на ухо:

— Дорогой Гитрель, вам известно, что место епископа туркуэнского вакантно?

— Да, — ответил аббат, — я слышал о смерти монсеньера Дюклу. Для французской церкви это тяжелая утрата. Монсеньер Дюклу при всех своих достоинствах был чрезвычайно скромен. Он был превосходным проповедником. Его пастырские поучения — образцы назидательного красноречия. Осмелюсь упомянуть, что знавал его в Орлеане; тогда он был еще аббатом Дюклу, настоятелем церкви святого Эверта; в то время он удостаивал меня своей благосклонностью и дружбой. Известие о его преждевременной кончине было для меня тяжелым ударом.

Он замолк, опустив в знак скорби углы губ.

— Не об этом сейчас речь, — сказал префект. — Он умер; речь о том, что ему надо найти заместителя.

Господин Гитрель мгновенно преобразился. Глаза у него стали маленькими и круглыми, как бусинки, а сам он сделался похож на крысу, увидевшую в кладовой салу.

— Вы понимаете, дорогой Гитрель, — продолжал префект, — что все это меня нисколько не касается. Не я назначаю епископов. Я, слава богу, не министр юстиции, не нунций и не папа.

И он расхохотался.

— Кстати, в каких вы отношениях с нунцием?

— Нунций, господин префект, смотрит на меня с благосклонностью, как на послушное и почтительное чадо его святейшества папы. Но, принимая во внимание то скромное положение, которое я занимаю и которое меня вполне удовлетворяет, я не льщу себя надеждой, что он особо отличает меня.

— Дорогой аббат, если я заговорил с вами об этом деле — но это останется между нами, не правда ли? — так только потому, что в Туркуэн будет послан священник из главного города вверенного мне департамента. Я знаю из достоверного источника, что на этот пост прочат аббата Лантеня, ректора духовной семинарии. Не исключена возможность, что мне предложат дать конфиденциальный отзыв о кандидате. Он ваше непосредственное начальство. Что вы о нем скажете?

Господин Гитрель ответил, опустив глаза:

— Не подлежит сомнению, что выдающиеся добродетели господина аббата Лантеня и свойственный ему драгоценный дар слова послужили бы украшением епископского престола, некогда освященного святым Лупом, просветителем Галлии. Его великопостное слово в церкви святого Экзюпера было оценено по заслугам за последовательность мыслей и силу выразительности, и все согласно утверждают, что некоторые его проповеди были бы верхом совершенства, будь в них только больше умиленности, больше, если можно так выразиться, того благовоного и благословенного елеса, который проникает в сердца людей.

Настоятель церкви святого Экзюпера первый заявил, что господин Лантень, произнося слово с амвона наиболее почитаемого храма епархии, рвением и усердием, самый избыток которых находит себе оправдание в их благом источнике, достойным образом послужил делу великого просветителя Галлии, заложившего первый камень этого храма. Он сожалел лишь о том, что проповедник вторгнулся в область современной истории. Ибо надо признать, что господин Лантень не боится ступить по еще не остывшему пеплу. Господин Лантень известен своим благочестием, ученостью и дарованиями. Как жаль, что этот пастырь, достойный занять место на высших ступенях иерархической лестницы, почему-то считает нужным разглашать свою преданность к облагодетельствовавшей его изгнанной династии, — преданность, разумеется, по существу весьма похвальную, но неумеренную в своих проявлениях. Он часто показывает экземпляр «Подражания Христу» в малиновом с позолотой переплете, подаренный ему графиней Парижской, и очень охотно распространяется о своей верности и признательности. Какая жалость, что в своем высокомерии, может быть и простительном у столь одаренного человека, он забывается до такой степени, что во всеуслышание на городском валу говорит о его высокопреосвященстве кардинале-архиепископе в выражениях, которые я не решаюсь воспроизвести! Увы! Если не я, то все деревья городского сада возопиют и повторят вам слова, слетевшие с уст господина Лантеня в присутствии господина Бер-

жере, преподавателя филологического факультета: «Его высокопреосвященство соблюдает евангельскую нищету только в отношении собственного разума». Такие речи для него обычны. Известно, что во время последнего рукоположения, когда монсеньер появился в архипастырском облачении, которое он, несмотря на свой маленький рост, носит с таким достоинством, аббат Лантень сказал: «Посох-то золотой, да епископ дубовый!» В таких неподобающих словах он выражал свое порицание торжественному великолепию, с которым монсеньер Шарло любит совершать богослужение и устраивать званные обеды, — взять хотя бы обед, данный командиру девятого корпуса, на который были приглашены и вы, господин префект. Доброе согласие между префектурой и архиепископством особенно раздражает аббата Лантеня, к сожалению слишком склонного, вопреки заветам святого Павла и поучениям его святейшества папы Льва Тринадцатого, раздувать огорчительные недоразумения, от которых одинаково страдают и церковь и государство.

Префект сидел с разинутым ртом, так как имел обыкновение слушать ртом. Он вскипел:

— Этот Лантень весь пропитан отвратительным духом клерикализма! Он мной недоволен? В чем он меня упрекает? Разве я недостаточно терпим, недостаточно либерален? Разве я не закрывал глаза, когда в монастыри и школы со всех сторон стекались монахи и монахини? Правда, мы решительно поддерживаем основные законы республики, но ведь мы их не применяем. Духовенство неисправимо. Все вы на один лад: кричите, будто вас угнетают, а сами угнетаете других. А что ваш Лантень обо мне говорит?

— Против вашего управления, господин префект, возразить нечего, но господин Лантень непримирим, он не прощает вам ни вашей принадлежности к франкмасонам, ни вашего иудейского происхождения.

Префект отряхнул пепел с сигары.

— Я вовсе не друг евреев. У меня нет связей в еврейском обществе. Но будьте спокойны, дорогой аббат, бьюсь об заклад, что господину Лантеню не видать

туркуэнского епископства, как своих ушей. Я пользуюсь достаточным влиянием в министерстве и сумею его провалить... Выслушайте меня, Гитрель. Я вступил в жизнь без гроша в кармане; я постарался приобрести знакомства. Знакомства — это тот же капитал. Теперь у меня их много, и очень неплохих. Положитесь на меня, господин аббат, — Лантень сломает себе шею в министерстве. К тому же у моей жены свой кандидат на туркуэнское епископство. И этот кандидат — вы, Гитрель.

При этих словах аббат Гитрель опустил глаза и воздел руки.

— Как, чтобы я занял престол, освященный блаженным Лупом и многими другими благочестивыми просветителями Северной Галлии! Неужели вашей супруге могла прийти на ум такая мысль?

— Дорогой Гитрель, она хочет, чтобы вы надели митру. А она кого угодно сделает епископом, уверяю вас. Да я и сам был бы рад дать республике епископареспубликанца. Решено, дорогой Гитрель. Повидайте архиепископа и нунция; мы с женой берем на себя министерство.

Но аббат Гитрель тем временем шептал, умиленно сложив руки:

— Древний и высокочтимый туркуэнский престол!

— Третьеразрядная епархия, дыра, дорогой аббат, но с чего-нибудь надо начинать. Взять хотя бы меня: знаете, где я начал свою административную карьеру? В Сэрэ! Я начал с должности супрефекта в Сэрэ, в Восточных Пиренеях. Просто не верится!.. Но я теряю время на разговоры... Прощайте, монсеньер!

Префект протянул аббату руку. И г-н Гитрель пошел домой по кривой улице Тентельри, смиренно согнув спину, обдумывая всякие мудрые ходы и давая себе слово — с того дня, как наденет митру, возьмет в руки посох и станет князем церкви, не отступать перед светской властью, ополчиться на франкмасонов и предать анафеме принципы свободомыслия, республики и революции.

IX

Статья в «Либерале» возвестила городу *** что объявилась пророчица. Это была девица Клодина Денизо, дочь владельца рекомендательной конторы для прислуги. Самый внимательный наблюдатель не обнаружил бы ни малейшей ненормальности ни в рассудке, ни в здоровье девицы Денизо до тех пор, пока ей не минуло семнадцати лет. Это была коренастая полная блондинка, не хорошенькая и не дурнушка, но привлекательная и с жизнерадостным характером. «Либерал» писал, что она получила хорошее домашнее воспитание и была благочестива, но в меру. На восемнадцатом году жизни, в шесть часов вечера 3 февраля 189* года, накрывая на стол, она вдруг услышала голос, — как ей показалось, голос матери: «Клодина, ступай к себе в спальню». Она пошла туда и увидела между кроватью и дверью яркий свет и услышала голос, вещавший из света. «Клодина, для нашей страны настал час покаяния, — произнес голос. — Лишь покаяние отвратит от нее большие бедствия. Я — святая Радегунда, королева Франции». И тут девица Денизо различила в этом свете лучезарный и как бы прозрачный лик в золотом венце с драгоценными камнями.

С тех пор св. Радегунда ежедневно приходила беседовать с девицей Денизо, открывала ей тайны и пророчествовала. Она предсказала заморозки, от которых погиб виноград в цвету, предрекла, что отец Рие, настоятель церкви св. Агнесы, не доживет до пасхи. Действительно, его преподобие отец Рие скончался в чистый четверг. Она непрестанно возвещала близкие бедствия, угрожающие республике и Франции, пожары, наводнения, убийства. Но бог, говорила она, устав карать нечестивый народ, ниспошлет ему, наконец, короля, а вместе с ним мир и благоденствие. Св. Радегунда узнавала и исцеляла болезни. Действуя под ее внушением, девица Денизо указала дорожному сторожу Жоблену мазь, излечившую его от ревматизма в колене. Жоблен снова начал работать.

Привлеченные такими чудесами, любопытные толпой валили в квартиру, занимаемую семейством Денизо

на площади св. Экзюпера, над трамвайной конторой. Девушку посетили и духовные лица, и отставные чиновники, и врачи. Было замечено, что, когда она возвещала слова св. Радегунды, голос ее крепчал, лицо становилось суровым и все тело напрягалось. Указывали также и на то, что она употребляла выражения, необычные для молодой девицы, и что речи ее не находили естественного объяснения.

Префект сначала не интересовался девицей Денизо и подсмеивался над ней, но вскоре его начал беспокоить небывалый успех провидицы, возвещавшей гибель республики и возврат Франции к христианской монархии.

Господин Вормс-Клавен вступил на административное поприще в период скандалов в Елисейском дворце, при президенте Греви *. С тех пор он не раз был свидетелем дел о взяточничестве, которые, как их ни старались замять, всплывали все снова и снова, к великому ущербу для парламента и государственной власти. И это явление, бывшее, как ему казалось, в порядке вещей, породило в нем чувство глубокой терпимости, с которой он стал относиться ко всем своим подопечным. И сейчас один сенатор и двое депутатов от его департамента находились под угрозой судебного преследования. Самые влиятельные члены правящей партии, инженеры и финансисты, сидели в тюрьме или скрывались. При таких обстоятельствах он удовлетворялся верностью населения республиканскому строю и не требовал особого рвения и почтительности, ибо считал такие чувства устаревшими и ненужными символами минувших веков. События расширили его кругозор, от природы довольно узкий. Вопиющая ирония того, что происходило вокруг, проникла к нему в душу, он стал покладистым, веселым и легкомысленным. Кроме того, поняв, что избирательные комитеты представляют единственную реальную власть, сохранившуюся еще в департаменте, он подчинялся им с видимым усердием, но с внутренним протестом. Он выполнял их строгие распоряжения, однако сильно их смягчал. Словом, из умеренного он превратился в либерала и прогрессиста. Он не придирался к тому, что говорили и делали, но был достаточно рассудителен и недопустимых выходов не

допускал. Как честный чиновник, он стоял на страже и следил, чтобы правительству не было нанесено какое-либо слишком явное оскорбление и чтобы министры могли безмятежно пожинать плоды общего равнодушия, которое охватило как их друзей, так и их врагов и тем самым обеспечивало власть и покой.

Он был доволен, что и правительственные и оппозиционные органы, одинаково скомпрометированные в финансовых делах, уже не пользуются доверием, ни когда хвалят, ни когда ругают. Единственная газета, ничем себя не запятнавшая, — социалистическая, — была и единственно смелой. Но у нее не было средств. Ее боялись и потому поддерживали правительство. И г-н Вормс-Клавлен не кривя душой доносил министру внутренних дел, что вверенный ему департамент в политическом отношении вполне благонадежен. И вдруг ясновидящая с площади св. Экзюпера нарушила это благоденствие. Она предсказывала со слов св. Радегунды падение кабинета, роспуск парламента, отставку президента республики и гибель правительства, погрязшего в нечестии. Она была гораздо смелее «Либерала», и ее гораздо охотнее слушали. «Либерал» выходил небольшим тиражом, у девицы же Денизо перебивал весь город. Духовенство, крупная буржуазия, дворянство, клерикальная пресса прислушивались к ее речам и жадно ловили каждое ее слово. Св. Радегунда собрала рассеявшихся врагов республики и объединила «консерваторов». Объединение, по правде говоря, безобидное, но нежелательное. Г-н Вормс-Клавлен больше всего опасался, как бы не подняла шума какая-нибудь парижская газета. «Раздумют эту историю, получится скандал, — думал он, — и мне влетит от министра». Он решил каким-либо незаметным способом зажать рот девице Денизо и прежде всего навел справки насчет нравственности ее родителей.

Родня ее со стороны отца не пользовалась в городе особенным почетом. Денизо ничего собой не представляли. Отец девицы Денизо держал рекомендательную контору для прислуги, которая считалась не лучше и не хуже других таких же контор. И хозяева и прислуга были недовольны, но прибегали к ее помощи.

В 1871 году Денизо провозгласил на площади св. Экзюпера Коммуну. Позднее, когда изгоняли трех доминиканцев *manu militari*¹, он оказал сопротивление жандармам и был арестован. Потом на муниципальных выборах он выставил свою кандидатуру от партии социалистов, однако собрал незначительное число голосов. Он был горяч, но не умен. Его считали честным человеком.

Мать была урожденная Надаль. Семья Надаль, пользовавшаяся большим уважением, чем семья Денизо, принадлежала к мелким землевладельцам и была на очень хорошем счету. Одна представительница семьи Надаль, тетка девицы Денизо, страдала галлюцинациями и несколько лет провела в больнице для умалишенных. Все Надали отличались набожностью и имели связи среди духовенства. Г-ну Вормс-Клавлену не удалось узнать ничего больше.

Как-то утром он завел разговор на эту тему со своим правителем канцелярии г-ном Лакарелем, который принадлежал к старинной местной фамилии и хорошо знал весь департамент.

— Дорогой Лакарель, надо покончить с этой помешанной. Ведь ясно же, что мадемуазель Денизо помешанная.

Лакарель ответил с важностью, даже с какой-то гордостью, которая была очень под стать его длинным белокурым усам.

— Господин префект, на этот счет мнения расходятся, и многие полагают, что мадемуазель Денизо вполне нормальна.

— Послушайте, Лакарель, ведь не думаете же вы, что святая Радегунда беседует с ней по утрам и поносит главу государства и все правительство.

Но Лакарель был того мнения, что это преувеличено и что недоброжелательно настроенные люди хотят извлечь выгоду из такого необычайного явления. И в самом деле, необычайно то, что девица Денизо прописывает безошибочно действующие средства против неизлечимых болезней: она исцелила дорожного сторожа Жоб-

¹ Вооруженной силой (*лат.*).

лена и бывшего судебного пристава по фамилии Фаврю. И это еще не все. Она предсказывает события, и все совершается по ее слову.

— Я лично могу засвидетельствовать один факт, господин префект. На прошлой неделе мадемуазель Денизо сказала: «В Нуазеле на поле Фефе зарыт клад». Стали рыть на указанном месте и напали на большую каменную плиту, закрывавшую вход в подземелье.

— Но, повторяю, нельзя же допустить, чтобы святая Радегунда...

Префект вдруг замолчал, стараясь что-то припомнить; он был совершенно незнаком с жителями святых христианской Галлии и с национальной стариной. Но в школе он проходил историю. Он постарался восстановить в памяти прежние знания.

— Святая Радегунда — это мать Людовика Святого?

Господин Лакарель, лучше знакомый с преданиями, поразмыслил минутку.

— Нет, — сказал он, — мать Людовика Святого — Бианка Кастильская. Святая Радегунда — более древняя королева.

— Ну, так нельзя же допустить, чтобы она давала пищу для толков всему городу. И вы, дорогой Лакарель, должны внушить ее отцу, — я имею в виду Денизо, — что ему надо задать хорошую порку дочери и посадить ее под замок.

Лакарель погладил свои галльские усы.

— Господин префект, советую вам, сходите взглянуть на мадемуазель Денизо. Это очень любопытно. Она примет вас особо, без посторонних.

— Что вы, Лакарель! Стану я напрашиваться, чтобы какая-то девчонка поносила при мне правительство!

Префект Вормс-Клавлен ни во что не верил. Религию он рассматривал с административной точки зрения. От родителей, лишенных не только суеверий, но и коренной связи с какой бы то ни было страной, он не унаследовал никакой веры. Его беспочвенный ум не был вскормлен древними традициями, он был пуст, ничем не окрашен, ни к чему не привязан. По неспособ-

ности к отвлеченному мышлению и по инстинктивной любви к действию и наживе он признавал только осязаемую истину и искренне считал себя позитивистом. В свое время он встречался за кружкой пива в монмартрских кабаках с химиками, занимавшимися политикой; с той поры он проникусь почитательной верой в научные методы и теперь в свою очередь превозносил их в франкмасонских ложах. Ему нравилось придавать красивый вид своим политическим интригам и административным ухищрениям пышными ссылками на экспериментальную социологию. Науку он ценил тем больше, чем полезнее она ему была. «Я исповедую, — говорил он в простоте душевной, — абсолютную веру в факты, свойственную ученому и социологу». И именно потому, что он верил только фактам и считал себя поборником позитивизма, история с ясновидящей начинала его беспокоить.

Господин Лакарель сказал: «Эта молодая особа излечила дорожного сторожа и судебного пристава. Это факт. Она указала место, где зарыт клад, и в этом месте действительно обнаружили люк над входом в подземелье. Это факт. Она предсказала, что погибнет виноград. Это факт». У префекта было развито чувство смешного, инстинктивное чутье нелепостей, но слово *факт* имело над ним особую власть; он смутно припоминал, что врачи, хотя бы Шарко, наблюдали в больницах пациентов, одаренных странными способностями. В памяти всплывали необычайные явления истерии и случаи ясновидения. И он задавал себе вопрос, не страдает ли девица Денизо довольно интересным случаем истерии, нельзя ли поручить ее заботам психиатров и таким образом избавить от нее город.

Он думал:

«Я мог бы собственной властью поместить эту девицу в психиатрическую лечебницу, как всякого, чье психическое состояние нарушает общественный порядок и опасно для окружающих; но противники существующего строя подымут вопль; вот так и слышу голос адвоката Лерона, обвиняющего меня в самоуправстве. Нет, если уж вправду клерикалы сплели интригу, нужно эту интригу распутать. Нельзя же допускать, чтобы

святая Радегунда устами какой-то мадемуазель Денизо изо дня в день поносила республику. Прискорбные деяния имели место, не отрицаю. Необходимы частичные изменения, ну, скажем, среди народных представителей, но существующий строй, слава богу, еще достаточно силен, и потому есть смысл его поддерживать».

Х

Аббат Лантень, ректор духовной семинарии, и г-н Бержере, преподаватель филологического факультета, сидели в городском саду и по своему обыкновению беседовали. На все они держались противоположных взглядов; не было еще двух людей, более различных по складу своего ума и по характеру. Но во всем городе только они двое и интересовались общими вопросами. И этот интерес сближал их. Философствуя в ясную летнюю пору в тени деревьев, они отвлекались, один — от тоски холостой жизни, другой — от семейных дразг, и оба — от служебных неприятностей и от одинаковой своей непопулярности.

Со скамьи, где они сидели, был виден памятник Жанне д'Арк, еще покрытый холстом. Как-то девственнице довелось заночевать в здешнем городе у одной почтенной дамы по прозванию Врунья, и вот в 189 * году было решено в ознаменование этого события воздвигнуть памятник иждивением города и государства. Двое художников, местные уроженцы, один — скульптор, другой — архитектор, создали памятник, где на высоком пьедестале стояла во весь рост Дева, «облаченная в латы и задумчивая».

Открытие памятника было назначено на ближайший воскресный день. Ожидали министра народного просвещения. Рассчитывали на щедрую раздачу орденов Почетного легиона и академических знаков отличия. Жители ходили в городской сад поглазеть на холст, покрывавший бронзовую статую и каменный цоколь. На валу разбивали ярмарочные балаганы. К киоскам, выросшим в тени аллеи, торговцы прохладительными напитками приколачивали коленкоровые вывески,

гласившие: «Лучшее пиво «Жанна д'Арк». — «Кофейня Девственницы»».

При виде этого г-н Бержере сказал, что такое рвение горожан, желающих почтить освободительницу Орлеана, весьма похвально.

— Департаментский архивариус, господин М а з ю р , — прибавил он, — особенно отличился. Он написал статью, доказывающую, что знаменитый исторический гобелен, изображающий свидание в Шиноне, выткан не в Германии около тысяча четыреста тридцатого года, как полагали, но приблизительно в те же годы в одной из мастерских французской Фландрии. Выводы статьи он представил на суд господина префекта Вормс-Клавлена, который признал их весьма патриотическими и одобрил, выразив при этом надежду, что автор такого открытия будет почтен перед статуей Жанны д'Арк высшими знаками академического отличия. Уверяют также, будто в речи на открытии памятника господин префект скажет, устремив взор к Вогезам, что Жанна д'Арк — дочь Эльзас-Лотарингии.

Аббат Лантень, не понимавший шуток, ничего не ответил и даже не улыбнулся. В принципе он одобрял торжества в память Жанны д'Арк. Два года тому назад он сам произнес в церкви св. Экзюпера слово в честь Орлеанской девы и изобразил эту героиню как истинную француженку и истинную христианку. Он не видел повода к насмешке в торжествах во славу родины и веры. Как патриот и христианин, он сожалел только об одном: что первая роль принадлежит в них не епископу с духовенством.

— Французская нация непреходяща, — сказал о н , — и этим она обязана не королям, не президентам республики, не правителям провинций, не префектам, не королевским должностным лицам, не чиновникам нынешнего правительства, а епископской власти, неизменной, непрерывной, неослабной, которая существует с первых просветителей Галлии и до сего дня и образует, так сказать, крепкую основу истории Франции. Власть епископов — по своей природе — духовная и постоянная. Власть королей — законная, но временная, немощная уже от рождения. Нация не кончает

своего существования с падением этой власти. Нация — понятие духовное и всецело зиждется на нравственной и религиозной основе. И хотя духовенство и не будет присутствовать во плоти на готовящихся здесь торжествах, оно будет присутствовать на них в духе и в истине. Жанна д'Арк принадлежит нам, и напрасно неверующие пытаются отнять ее у нас.

Б е р ж е р е . Но ведь так естественно, что все патриоты считают своей эту деревенскую девушку, ставшую символом патриотизма.

Л а н т е н ь . Я вам уже сказал, что не понимаю родины без религии. Всякий долг исходит от бога, долг гражданина так же, как и все другие. Без бога рушится всякий долг. Если защищать от иноплеменных родную землю — наше право и наш долг, то не в силу мнимого, никогда не существовавшего людского права, но согласно воле господней. Подчинение воле господней ясно видно из истории Иахили и Юдифи. Оно еще разительней в книге Маккавеев. Его же можно обнаружить и в подвигах Орлеанской девы.

Бержере. Значит, господин аббат, вы верите, что Жанна д'Арк была послана самим богом? Но ведь это чревато всякими затруднениями. Я предложу вашему вниманию всего один факт, ибо он относится к тому, во что вы верите. Я имею в виду голоса и видения, которые чудились крестьянке из Домреми. Думаю, те, кто признает, будто святая Екатерина в обществе святого Михаила и святой Маргариты действительно являлась дочери Жако д'Арк, будут очень смущены, когда им докажут, что святая Екатерина Александрийская вовсе не существовала и что ее жизнеописание попросту довольно неудачный греческий роман. Это было доказано уже в семнадцатом веке и не тогдашними вольнодумцами, а весьма ученым доктором Сорбонны, Жаном де Лонуа, человеком добродетельной жизни и богобоязненным. Рассудительный Тильмон *, во всем послушный церкви, отверг как нелепую сказку биографию святой Екатерины. Как тут не смутиться тем, кто верит, что голоса, слышанные Жанной д'Арк, шли с неба?

Л а н т е н ь . Жития святых, как бы мы их ни чтили, все же не предмет веры; и можно, по примеру доктора

де Лонуа и Тильемона, усомниться в существовании святой Екатерины Александрийской. Я лично не впадаю в такую крайность и считаю слишком смелым отрицать все начисто. Я допускаю, что жизнеописание этой святой пришло к нам с Востока сильно приукрашенным легендарными подробностями; но я полагаю, что эти узоры были вышиты по достоверной канве. И Лонуа и Тильемон могут ошибаться. Утверждать, что святая Екатерина никогда не существовала, нельзя, а если случайно этому и есть исторические доказательства, их опровергают доказательства теологические, основанные на чудесных явлениях этой святой, засвидетельствованных епископатом и торжественно подтвержденных папой. Ибо совершенно логично, чтобы истины научные уступали высшей истине. Но мы еще не знаем мнения церкви о видениях, являвшихся Девственнице. Жанна д'Арк не причтена к лику святых, и чудеса, совершенные ради нее или ею самой, еще подлежат обсуждению, — я не отрицаю и не признаю их, и лишь чисто человеческим зрением я различаю в истории этой чудесной девушки десницу Божию, простертую в защиту Франции. Правда, зрение у меня сильное и острое.

Бержере. Если я вас правильно понял, господин аббат, вы не считаете достоверно доказанным чудом странное происшествие в Фьербуа, когда Жанна, как говорят, указала меч, скрытый в стене. И вы не уверены, что в Ланьи девственница воскресила, как она сама утверждала, младенца. Мой образ мыслей вам известен; я даю этим двумя фактам естественное объяснение. Я допускаю, что меч был вделан в церковную стену в качестве *ex voto*¹, следовательно, виден. А по поводу младенца, воскрешенного девой, чтоб совершить над ним обряд крещения, и снова умершего, когда его вынули из купели, я просто напому вам, что неподалеку от Домреми было изображение богоматери дез'Авио, специальностью которой было воскрешать мертворожденных младенцев. Я подозреваю, что здесь не обошлось без самообмана, и воспоминание о богоматери дез'Авио возбудило фантазию Жанны д'Арк,

¹ Приношение по обету (*лат.*).

вообразившей, будто это она сама воскресила в Ланьи новорожденного.

Лантень. Ваши объяснения слишком неопределенны. И я предпочту не принять их и воздержаться от высказывания собственного мнения, хотя, по правде говоря, я склонен признать чудо, по крайней мере в случае с мечом святой Екатерины. Ибо в текстах совершенно точно сказано: меч был в стене, и, чтоб извлечь его, пришлось проломить стену. Возможно также, что господь бог внял угодным ему молитвам девы и вернул жизнь младенцу, умершему до крещения.

Бержере. Вы сказали, господин аббат, «угодным ему молитвам девы». Значит, вы допускаете согласно с средневековыми верованиями, что в девственности Жанны д'Арк была особая сила?

Лантень. Девственность несомненно угодна господу, и Иисус Христос радуется торжеству девственниц. Дева отвратила от Лютеции Атиллу с его гуннами, дева освободила Орлеан и в Реймсе помазала на царство законного государя.

Услыхав слова аббата, г-н Бержере истолковал их по-своему.

— Вот это верно! — сказал он. — Девичье сокровище Жанны д'Арк — это национальное сокровище Франции.

Но аббат Лантень не расслышал. Он поднялся и сказал:

— Миссия Франции в христианском мире не завершена. Я предчувствую, что близко то время, когда господь призовет еще раз свой народ, который был и самым верным ему и самым неверным.

— Вот потому-то сейчас и появляются пророчицы, как в тяжелые времена короля Карла Седьмого, — ответил г-н Бержере. — И в нашем городе тоже объявилась пророчица, но ей повезло больше, чем Жанне: ведь дочку Жако д'Арк собственные родители считали помещанной, а мадемуазель Денизо нашла верного последователя в своем отце. Все же не думаю, чтобы счастье улыбалось ей долго. Нашему префекту, господину Вормс-Клавлену, не хватает известной деликатности в обращении, но он не так прост, как Бодрикур *, да

теперь и не принято, чтобы глава государства давал аудиенцию одержимым. Духовник не посоветует господину Феликсу Фору * испытать мадемуазель Денизо. Впрочем, вы можете мне возразить, господин аббат, что дела Бернадетты Лурдской * в наши дни куда значительнее, чем были в свое время дела Жанны д'Арк. Та разбила несколько сотен голодных и обезумевших англичан. Бернадетта же сняла с места и привела на гору в Пиренеях бесчисленные толпы паломников. А мой почтенный друг, господин Пьер Лафит, еще уверяет, будто мы вступили в эру позитивной философии!

— Я не хочу изображать вольнодумца, не хочу также впадать в легкоеверие, — сказал аббат Лантень, — и потому воздержусь от каких бы то ни было суждений по поводу Лурда, ибо этот вопрос не разрешен еще церковью. Но уже сейчас я усматриваю в стечении паломников торжество религии, так же как и вы усматриваете в этом поражение материалистической философии.

XI

Кабинет пал. Для г-на префекта Вормс-Клавлена это не было ни неожиданностью, ни огорчением. В глубине души он считал его слишком беспокойным и слишком беспокоящим, вполне резонно не внушающим доверия ни помещикам, ни крупным промышленникам, ни мелким вкладчикам. К огорчению г-на префекта, кабинет этот, не смущая блаженного равнодушия населения, оказывал пагубное влияние на франкмасонов, в руках которых за последние пятнадцать лет сосредоточилась вся политическая жизнь департамента. Префект Вормс-Клавлен сумел превратить масонские ложи своего департамента в канцелярии, облеченные полномочиями предварительно выдвигать кандидатов на общественную службу, на выборные должности и на представление к наградам. Выполняя таким образом широкие и точные функции, ложи, как умеренно, так и радикально настроенные, объединялись, сливались в общем деле и работали в добром согласии во славу

республики. Префект был счастлив, что честолюбие одних умеряется вожделениями других, и набирал по общим указаниям лож весь персонал: сенаторов, депутатов, членов муниципального совета и дорожных смотрителей, одинаково преданных существующему строю и исповедующих в достаточной степени различные и в достаточной степени умеренные взгляды, чтобы всем прийти по вкусу и успокоить все республиканские группировки, за исключением социалистов. Г-н префект наладил такое доброе согласие. И вдруг радикальный кабинет нарушил эту счастливую идиллию.

К несчастью, представитель одного не имеющего особого значения министерства (не то земледелия, не то торговли), объезжая департамент, остановился на несколько часов в городе. Достаточно было ему произнести на одном собрании философскую и нравоучительную речь, чтобы взбаламутить все собрания, перессорить ложи, разъединить братьев и восстановить гражданина Мандара, аптекаря с улицы Культуры, председателя ложи «Новый союз», радикала, против г-на Трикуля, турнельского винодела, председателя ложи «Святая дружба», умеренного.

В глубине души г-н Вормс-Клавлен упрекал павший кабинет еще и за другое: тот щедро оделял академическими знаками отличия и жаловал орденами за земледельческие заслуги только радикал-социалистов, отнимая таким образом у префекта удобную возможность управлять при помощи орденов и посулов, исполнения которых приходилось долго ждать. Именно эту мысль выражал в горьких словах префект, сидя один у себя в кабинете: «Эти господа полагали, что перевернуть вверх дном мои послушные ложи и нацепить столь полезные ордена всем департаментским собакам на хвост называется делать политику. Нечего сказать, умники!»

Итак, он не без удовольствия узнал о падении кабинета.

Впрочем, такие наперед предвиденные перемены никогда не заставляли его врасплох. Вся его административная политика строилась на том соображении, что министры сменяются. Он боялся переусердствовать

и не служил с особым рвением министрам внутренних дел. Он поставил себе задачей не угождать ни одному из них и избегал всякого случая попасть в милость. Умеренность, которую он соблюдал за все время существования одного кабинета, обеспечивала ему расположение следующего, уже достаточно подготовленного в его пользу и довольствовавшегося его не слишком большим усердием, а это в свою очередь служило залогом расположения третьего кабинета. Г-н префект Вормс-Клавлен не утруждал себя администрированием, не обременял площадь Бово * перепиской, считался с канцеляриями министерства и пребывал на своем посту.

Сидя у себя в кабинете, куда через полуоткрытые окна доносился запах цветущей сирени и чирикание воробьев, он благодушествовал, спокойно размышляя о том, что постепенно забываются скандалы, уже дважды грозившие оставить его партию без главарей. В будущем, правда еще отдаленном, ему уже виделся день, когда снова можно будет делать дела. Он думал, что муниципальные выборы пройдут вполне удачно, несмотря на временные затруднения и злосчастную искру раздора, раздутую в масонских ложах и в избирательных комитетах. Здесь, в земледельческом округе, мэры были превосходные. Население отличалось таким добродушием, что два депутата, скомпрометированные в разных финансовых аферах и со дня на день ожидавшие судебного преследования, все же не потеряли своего престижа в округе. Он думал, что голосование кандидатов по спискам не дало бы столь же благоприятных результатов. Он даже слегка расфилософствовался на ту тему, как нетрудно управлять людьми. Ему смутно мерещилось человеческое стадо, в неизменной тупой покорности терпеливо бредущее под бдительным оком овчарки, куда ему укажут.

В кабинет вошел г-н Лакарель с газетой в руке.

— Господин префект, в «Правительственном вестнике» сообщается об отставке кабинета, принятой президентом республики.

Префект продолжал предаваться ленивым мечтаниям, а г-н Лакарель крутил свои длинные галльские

усы и выкатывал голубые, словно фаянсовые, глаза; это означало, что он собирается высказать какую-то мысль. И он действительно высказал следующую мысль:

— Падение кабинета расценивается по-разному.

— В самом деле? — спросил префект, не слушая.

— Так как же, господин префект, теперь уже нельзя отрицать, что Клодина Денизо предсказала скорое падение кабинета?

Префект пожал плечами. Он рассуждал трезво и понимал, что в исполнении подобного предсказания нет ничего чудесного. Но Лакарель, хорошо осведомленный во всех местных делах, поразительно склонный к глупой болтливости и падкий на всякие несурезицы, сейчас же рассказал ему три или четыре новые басни, ходившие по городу, и, между прочим, случай с г-ном Громансом, которому св. Радегунда сказала, угадав его тайную мысль: «Не тревожьтесь, граф, ребенок, которого ваша супруга носит под сердцем, действительно ваш сын». Затем Лакарель снова заговорил о кладе. В указанном месте были найдены две римские монеты. Поиски продолжались. Были также и случаи исцеления, по поводу которых правитель канцелярии пустился в сбивчивые и пространные объяснения.

Префект тупо слушал. Уже сама мысль о дочери Денизо огорчала и смущала его. Воздействие ясновидящей на местное население не укладывалось у него в голове. Он боялся, что не сможет разобраться в таком деле чисто психологического порядка. Эта боязнь смущала его рассудок, достаточно крепкий в делах житейских. Слушая Лакареля, он вдруг испугался, что тоже уверует, и невольно крикнул:

— Не верю, не верю таким вещам!

Но его одолевали сомнения и беспокойство. Ему захотелось узнать, что думает об ясновидящей аббат Гитрель, которого он считал человеком образованным и умным. Сейчас он как раз мог встретить аббата в ювелирной лавке. Он отправился к Рондоно-младшему, которого нашел в помещении за магазином, где тот забивал ящик, а тем временем аббат Гитрель разглядывал позолоченный сосуд на высокой ножке, с овальной крышкой.

— Что, господин аббат, красивая чаша?

— Это дароносица, господин префект, дароносица, сосуд, предназначенный *ad ferendos cibos*¹. Так и есть, в дароносице находятся святые дары, наша духовная пища. Некогда дароносицу хранили в серебряном голубе, подвешенном над купелью, над аналоем или над ракой с мощами святых мучеников. Эта дароносица выполнена в стиле тринадцатого века, стиле строгом и великолепном, очень подходящем для церковной утвари, особенно для священных сосудов.

Господин Вормс-Клавлен, не слушая аббата, рассматривал его хитрый настороженный профиль. «Вот кто расскажет мне о провидице и о святой Радегунде», — думал он. И представитель республики в департаменте уже настраивал к сопротивлению и ум и душу, боясь, как бы представитель духовенства не счел его человеком недалеким, суеверным и доверчивым.

— Да, господин префект, — продолжал свою речь аббат Гитрель, — это прекрасное произведение ювелирного мастерства изготовлено уважаемым господином Рондоно-младшим по старым рисункам. Я склонен думать, что лучше бы не сработали и в Париже на площади святого Сульпиция, где помещаются самые крупные ювелирные магазины,

— Кстати, господин аббат, что вы скажете о ясновидящей, которая объявилась у нас в городе?

— О какой ясновидящей, господин префект? Вы имеете в виду ту несчастную девушку, которая утверждает, будто она общается со святой Радегундой, королевой Франции? Увы, господин префект, не может быть, чтобы благочестивая супруга Клотария внушала бедняжке все те жалкие, ни с чем не сообразные слова, которые не вяжутся ни со здравым смыслом, ни с богословием. Вздор, господин префект, сущий вздор!

Господин Вормс-Клавлен, державший наготове несколько остроумных выпадов против легковерия духовенства, остолбенел.

— Ну, кто же поверит, — продолжал с улыбкой г-н Гитрель, — что святая Радегунда внушает такую

* Для содержания пищи (*лат.*).

ерунду, такие глупости, все эти суетные, легковесные, порой даже еретические речи, которые мы слышим из уст девицы Денизо. Голос пресвятой Радегунды, поверьте мне, звучал бы иначе.

Префект. В общем, святая Радегунда, видимо, мало популярна?

Гитрель. Что вы, что вы, господин префект! К святой Радегунде, чтимой всем католическим миром, особенно привержены в епархии Пуатье, бывшей некогда свидетельницей ее добродетелей.

Префект. Да, господин аббат, именно в епархии Пуатье...

Гитрель. Неверующие, и те преклонялись перед этой замечательной женщиной. Какое величественное зрелище, господин префект! Славная супруга Клотария, после того как ее родной брат был убит ее мужем, отправилась в Нуайон, к епископу Медару, и настойчиво просила постричь ее в монахини. Святой Медар удивлен, он колеблется, ссылается на нерасторжимость брака. Но Радегунда сама покрывает себе голову пеленой затворницы, преклоняет колени перед епископом, и тот, побежденный благочестивой настойчивостью королевы, не побоявшись послушаться грозного государя, посвящает господу богу эту благостную жертву.

Префект. Но, господин аббат, неужели вы оправдываете епископа, послушавшегося светской власти и поддержавшего непокорную супругу своего властелина? Черт возьми! Я был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вы подтвердили мне, что исповедуете такие взгляды.

Гитрель. Увы! господин префект, я не озарен свыше, как блаженный Медар, и не сумел бы различить при таких исключительных обстоятельствах волю господню. К счастью, в наши дни совершенно точно установлены обязанности епископа по отношению к светской власти. И я льщу себя надеждой, что, когда пойдет разговор о туркуэнском епископстве, вы замолвите за меня словечко в министерстве вашим друзьям и при этом случае упомянете, что я соблюдаю все обязательства, вытекающие из конкордата *. Но не будем отвлекаться из-за меня, смиренного, от великих историче-

ских событий! Святая Радегунда приняла постриг и основала в Пуатье монастырь Честного креста, где и провела больше пятидесяти лет истинной затворницей. Она так строго соблюдала пост и воздержание...

Префект. Рассказывайте эти сказки своим семинаристам, господин аббат. Вы не верите, что святая Радегунда является мадемуазель Денизо. Вот и отлично! Хотелось бы, чтоб все департаментские священники рассуждали столь же разумно. Но стоило этой истеричке, — а она истеричка, — начать поносить правительство, как все духовенство валом повалило к ней, слушают разинув рот и радуются всем мерзостям, которые она изрыгает.

Гитрель. О, духовенство осторожно, господин префект, очень осторожно. Церковь учит относиться с чрезвычайной осмотрительностью ко всему, что напоминает чудо. И уверяю вас, что я лично очень недоверчиво отношусь ко всяким новым чудесам.

Префект. Дорогой аббат, между нами: вы не верите в чудеса?

Гитрель. Действительно, я не склонен верить в чудеса, которые не установлены с полной достоверностью.

Префект. Мы одни. Признайтесь же, что чудес нет, никогда не было и не может быть.

Гитрель. Напротив, господин префект, чудеса вполне возможны, их следует признавать, они полезны для укрепления веры, и польза их доказана обращением язычников в христианство.

Префект. Словом, вы признаете, что смешно верить, будто святая Радегунда, жившая в средние века...

Гитрель. В шестом веке, в шестом веке.

Префект. Прекрасно, в шестом веке... приходится в тысяча восемьсот девяносто таком-то году почесать язык с дочерью владельца рекомендательной конторы по поводу политической линии кабинета и парламента...

Гитрель. Общение между церковью торжествующей и церковью воинствующей вполне возможно; * история знает тому многочисленные и несомненные при-

меры. Но еще раз повторяю, я не верю, чтобы молодой особе, о которой идет разговор, была ниспослана благодать такого общения. На ее речах, если можно так выразиться, не лежит печать небесного откровения. Все что она говорит, скорей похоже...

Префект. На вранье.

Гитрель. Пожалуй... А может быть, она и одержима.

Префект. Помилуйте! Вы умный священник, будущий республиканский епископ, и вдруг верите в одержимых! Да ведь это же средневековое суеверие! Я читал книгу Мишле * на эту тему.

Гитрель. Одержимость, господин префект, — явление, признанное не только богословами, но и учеными, в большинстве случаев неверующими. Да и Мишле, на которого вы ссылаетесь, сам верил в Луденских одержимых.

Префект. Что за вздор! Все вы на один лад!.. Ну, а если Клодина Денизо, как вы говорите, одержимая, тогда что?

Гитрель. Тогда надо изгнать из нее беса.

Префект. Изгнать беса? А вам не кажется, господин аббат, что это было бы смешно?

Гитрель. Нисколько, господин префект, нисколько.

Префект. А как это делается?

Гитрель. Существуют правила, господин префект, определенный устав, обряды для такого рода действий, которые никогда не выходили из употребления. Из Жанны д'Арк и то изгоняли бесов, — если не ошибаюсь, в городе Вокулере. Этим надлежало бы заняться господину Лапрюну, настоятелю церкви святого Экзюпера, — ведь девица Денизо его прихожанка. Он весьма достойный пастырь. Правда, его личные отношения с семьей Денизо таковы, что могут оказать некоторое воздействие и в известной мере отразиться на нем, несмотря на то, что он человек рассудительный и трезвого ума, не ослабленного годами и, по-видимому, еще вполне справляется с бременем лет и тяготами долгого и ревностного служения. Я хочу сказать, что факты, кое-кем истолкованные как чудеса, имели место

в приходе всеми уважаемого кюре Лапрюна; в своем усердии он мог впасть в заблуждение и счесть, что приход святого Экзюпера взыскан самим господом, потому что божья воля проявилась именно в этом, а не в каком-либо другом приходе нашего города. Лелея такие надежды, он, возможно, ввел в обман и самого себя и свой причт. Заблуждения эти и соблазны вполне извинительны, если принять во внимание все обстоятельства. И в самом деле, какую благодать озарило бы это новоявленное чудо приходскую церковь святого Экзюпера! Прихожане стали бы усерднее к церкви, щедрые вклады потекли бы под древние своды славного, но ныне обедневшего храма. И милость кардинала-архиепископа скрасила бы последние дни господина Лапрюна на склоне его пастырского и жизненного пути.

Префект. Насколько я вас понимаю, господин аббат, выходит, что дельце-то с ясновидящей обстригал тщедушный настоятель церкви святого Экзюпера со своим причтом. Положительно, духовенство сильно. В Париже в министерствах этому не верят, но это так! Духовенство сильно, ух, как сильно! Итак, ваш старикашка Лапрюн организовал сеансы церковного спиритизма, на которые стекается весь город, чтоб послушать, как бесчестят парламент, правительство, а заодно и меня, — я-то ведь отлично знаю, что мне тоже достается на тайных сборищах у Денизо.

Гитрель. Что вы, господин префект! Я далек от мысли заподозрить уважаемого настоятеля церкви святого Экзюпера в каких бы то ни было интригах! Напротив того, я искренне убежден, что если он в какой-то мере и покровительствовал этой неудачной затее, то скоро сам поймет свою оплошность и приложит все старания, дабы не допустить нежелательных последствий... Но можно бы, конечно, ради его собственной пользы и ради пользы епархии предупредить события и представить его преосвященству в правильном свете факты, вероятно ему еще неизвестные. Узнав о таких непорядках, он их несомненно тут же пресечет.

Префект. Вот это мысль!.. Не возьмете ли вы на себя эту миссию, дорогой аббат? Мне как префекту

не полагается знать о существовании архиепископа за исключением предусмотренных законом случаев, в связи с колокольным звоном или крестным ходом. Собственно говоря, положение дурацкое, раз уж архиепископы существуют... Но, что поделаешь, у политики есть свои требования. Ответьте мне откровенно: вы в милости у архиепископа?

Гитрель. Его высокопреосвященство изволит иногда благосклонно меня выслушивать. Снисходительность его высокопреосвященства поистине безгранична.

Префект. Ну, так скажите ему, что нельзя позволять святой Радегунде восставать из мертвых и пакостить сенаторам, депутатам и префекту департамента и что пора в интересах и церкви и республики заткнуть глотку супруге грозного Клотария. Так и передайте его высокопреосвященству.

Гитрель. Передам, господин префект, передам самую суть.

Префект. Это как вам будет угодно, только убедите его, господин аббат, что надо запретить духовенству ходить к Денизо, надо публично отчитать аббата Лапрюна, опровергнуть в «Религиозной неделе» речи этой помешанной и неофициально предложить редакторам «Либерала» прекратить кампанию, которая ведется в пользу чуда, противного конституции и конкордату.

Гитрель. Приложу все старания, господин префект. Поверьте, приложу все старания. Но что значу я, смиренный преподаватель духовного красноречия, что значу я в глазах его высокопреосвященства кардинала-архиепископа?

Префект. Ваш архиепископ — человек умный, он поймет, черт возьми, что его собственные интересы... и честь святой Радегунды...

Гитрель. Ну, конечно, господин префект, ну, конечно. Но, возможно, монсеньер, ревнуя о духовных интересах епархии, сочтет такое необычайное стечение христиан к этой простой девушке знамением, которое указывает на потребность в вере молодого поколения, свидетельством того, что вера в народе жива, как

никогда, примером, над которым надлежит поразмыслить правителям государства. И, возможно, эти мысли удержат монсеньера, и он не станет спешить с запретом такого знамения, с уничтожением такого свидетельства и такого примера. Возможно...

Префект. ...что ему на всех наплевать? Это на него похоже.

Гитрель. О господин префект, для такого предположения нет никаких оснований! Но моя миссия была бы куда легче и куда вернее, если бы я, как голубь Ноева ковчега, принес оливковую ветвь, если бы я был уполномочен сказать, — не сказать, а только шепнуть! — монсеньеру, что оклад, положенный семи бедным юре пашей епархии и отмененный бывшим министром культов, будет восстановлен!

Префект. Понимаю, услуга за услугу! Подумаю... Протелеграфирую в Париж и дам вам ответ у Рондоно-младшего. Будьте здоровы, господин дипломат!

Прошла неделя после этого тайного совещания, и аббат Гитрель благополучно выполнил свою миссию. Около ясновидящей с площади св. Экзюпера, не признанной архиепископом, покинутой духовенством и опровергнутой «Либералом», остались только два члена-корреспондента Академии психологических наук, из которых один считал ее объектом, достойным изучения, а другой — ловкой симулянткой. Отделавшись от этой помешанной и будучи вполне удовлетворен муниципальными выборами, которые не выдвинули ни новых мыслей, ни новых людей, г-н префект Вормс-Клавлен ликовал в глубине души.

XII

Господин Пайо держал книжную лавку на углу площади св. Экзюпера и улицы Тентельри. Площадь окружали по большей части старинные дома; на тех, что прилепились к церкви, вывески были резные и раскрашенные. У многих домов были кровли щипцом и фасады старинной кладки. Одним таким домом, на

котором сохранились резные перекладыны, знатоки восхищались как достопримечательностью. Выступающие вперед балки опирались на деревянные кронштейны, изображавшие либо ангелов с гербовыми щитами либо низко пригнувшихся монахов. Налево от двери находился столб с попорченной временем фигурой женщины, в короне с крупными зубцами. Местные жители утверждали, будто это королева Маргарита. И дом был известен под названием «дома королевы Маргариты».

Считалось, со слов отца Мориса, автора «Сокровищницы древностей», напечатанной в 1703 году, что в этом доме провела несколько месяцев в 1438 году Маргарита Шотландская *. Но г-н де Термондр, председатель Земледельческого и археологического общества, доказал в научно обоснованной статье, что дом этот был построен в 1488 году для знатного горожанина по имени Филипп Трикульяр. Местные археологи водят к этому зданию людей, интересующихся стариной, и, улучив минутку, когда дамы чем-нибудь отвлекутся, обязательно показывают выразительный герб Филиппа Трикульяра, вырезанный на щите, который держат два ангела. Этот герб, вполне основательно сопоставленный г-ном де Термондром с гербом Колеони Бергамского *, изображен на консоли над входной дверью, под левой перекладной. Резьба стерлась, и разобрать, что там изображено, могут только посвященные. Фигуру женщины в короне, прислоненную к перпендикулярной балке, г-н де Термондр также без труда определил как святую Маргариту. Действительно, у ног святой еще видны остатки уродливого туловища, несомненно принадлежащего дьяволу, а в правой, ныне обломанной, руке статуи было, вероятно, кропило, которым святая обрызгала врага рода человеческого. С тех пор как г-н Мазюр, департаментский архивариус, опубликовал статью, устанавливающую, что в 1488 году Филипп Трикульяр, тогда уже семидесяти лет от роду, женился на Маргарите Лариве, дочери заместителя судьи по уголовным делам, стало понятно, почему здесь находится изображение святой Маргариты. По ошибке, впрочем вполне понятной, небесная покровительница

Маргариты Лариве была принята за молодую принцессу Шотландскую, пребывание которой в городе жило еще в местных преданиях. Не многие женщины оставили по себе такую грустную память, как эта дофина, умершая двадцати лет от роду со словами: «Плевать на жизнь!»

Дом книгопродавца Пайо примыкал к «дому королевы Маргариты». Первоначально он был построен так же, как и соседний, с таким же фасадом старинной кладки, из дерева и кирпича, с любопытной резьбой на выступающих балках. Но в 1860 году г-н Пайо-отец, епархиальный издатель и книгопродавец, сломал его и построил новый — в современном стиле, простой, без всяких претензий на роскошь или красоту, зато удобный и хорошо приспособленный под торговлю и под жилье. Родословное древо Иессеево в стиле эпохи Возрождения, которое шло вдоль всего угла дома Пайо, от земли до крыши, в том месте, где улица Тентельри выходит на площадь св. Экзюпера, было снесено вместе со всем остальным, но не уничтожено. Г-н де Термондр отыскал его потом где-то на дровяном складе и приобрел для музея. Это был прекрасный художественный памятник старины. К сожалению, пророки и патриархи, зрешие на каждой ветке, словно чудесные плоды, и дева Мария, расцветшая на верхушке родословного древа, были изувечены террористами в 1793 году; в 1860 году древо снова пострадало при перевозке на склад, куда его взяли на дрова. В интересной брошюре, озаглавленной «Современные вандалы», г-н Катрбарб, епархиальный архитектор, ополчился на такое варварство. Он писал: «Содрогаешься при одной мысли, что драгоценный памятник глубоко религиозного века могли расколоть на дрова и спалить у нас на глазах».

Такая мысль, высказанная человеком, клерикальные симпатии которого были хорошо известны, вызвала резкую отповедь в «Маяке», в анонимной заметке, автором которой — с основанием или без основания — признали департаментского архивариуса г-на Мазюра. «В двадцати строках, — говорилось в заметке, — господин епархиальный архитектор подает немало пово-

дов к удивлению. Во-первых, как можно содрогаться при одной мысли, что могли уничтожить резную балку посредственной работы и сильно попорченную, на которой уже нельзя разобрать деталей; во-вторых, как может эта балка быть для г-на Катрбарба, просвещенный ум которого всем известен, памятником глубоко религиозного века, раз она относится к 1530 году, то есть к году, ознаменованному протестантским собором в Аугсбурге; в-третьих, почему г-н Катрбарб позабыл сказать, что драгоценная балка была снесена и отправлена на дровяной склад его же собственным тестем, г-ном Николе, епархиальным архитектором, приведшим в 1860 году дом г-на Пайо в тот вид, в котором он сейчас находится; в-четвертых, неужели г-ну Катрбарбу не известно, что именно архивариус г-н Мазюр обнаружил эту резную балку на дровяном складе Клузо, где она гнила целых десять лет под самым носом у г-на Катрбарба, и указал на нее г-ну Термондру, председателю Земледельческого и археологического общества, который и приобрел ее для музея».

В своем теперешнем виде дом книгопродавца Пайо представлял собой трехэтажное здание с ровным белым фасадом. Над лавкой с деревянной панелью, покрытой зеленой краской, значилось золотыми буквами: «Книжная лавка Пайо». На витрине были выставлены географические и астрономические глобусы различных размеров, готовальни, молитвенники, четки, учебники и краткие руководства для гарнизонных офицеров, а также и кое-какие новые романы и мемуары, — их г-н Пайо называл «литературой». На другой витрине, поуже и не такой глубокой, выходящей на улицу Тентельри, красовались сельскохозяйственные и юридические книги, завершавшие собой комплект всех предметов, необходимых для духовной жизни города. В самом магазине на прилавке лежали разные книги по литературе, — романы, критические работы, воспоминания.

Полки были заставлены «классиками в должном количестве», а в дальнем углу, у двери на лестницу, было отведено место для антикварных книг. Ибо г-н Пайо торговал и новыми и «случайными» книгами.

Темный угол с букинистическими книгами привлекал местных библиофилов, которым в свое время посчастливилось разыскать здесь редкостные издания. Рассказывали, что в 1871 году г-н де Термондр, отец нынешнего председателя Земледельческого общества, раскопал у Пайо, в букинистическом углу, хорошо сохранившийся экземпляр первого издания третьей книги «Пантагрюэля» *. С более таинственным видом поговаривали о книге Меллена де Сен-Желе * со стихотворным автографом Марии Стюарт на оборотной стороне титульного листа; книгу эту якобы нашел примерно в то же время и в том же месте нотариус г-н Дютийель, купивший ее за три франка. Но с тех пор ничего не было слышно о чудесных находках. В букинистическом углу, сумрачном и спокойном, все оставалось в неизменном виде. Все так же стояли пятьдесят шесть томов «Краткой истории путешествий», разрозненные тома Вольтера в издании Келя, большого формата. Многие сомневались в находке г-на Дютийеля, другие ее решительно отрицали. Они исходили из той мысли, что покойный нотариус мог и прихвастнуть, и из того факта, что после его смерти в его библиотеке не отыскалось никакого томика стихов Меллена де Сен-Желе. Однако местные библиофилы, завсегдатаи лавки Пайо, не забывали хоть раз в месяц перерывать весь букинистический угол. Особенно привержен к книжной лавке Пайо был г-н де Термондр.

Он был здешним помещиком, имел большие родственные связи, занимался коневодством и слыл знатоком по части искусства. Он делал рисунки исторических костюмов для торжественных кавалькад, он председательствовал в комитете по открытию памятника Жанне д'Арк на городском валу. Четыре месяца в году он проводил в Париже. Его считали дамским угодником. Несмотря на свои пятьдесят лет, он сохранил еще стройность и изящество. Он пользовался уважением во всех трех кругах местного общества, и уже не раз ему предлагалось баллотироваться в депутаты. Но он всякий раз отказывался, ссылаясь на то, что дорожит своим покоем и независимостью. И все старались разгадать причину его отказа.

Господин де Термондр думал купить «дом королевы Маргариты», устроить там местный археологический музей и пожертвовать его городу. Но домовладелица, вдова Усье, не согласилась на его предложение. Ей перевалило за восемьдесят, она одна занимала старинный дом, где жила в обществе десятка кошек. В городе ее считали богатой и скупой. Приходилось дожидаться ее смерти. Каждый раз, входя в лавку г-на Пайо, г-н де Термондр спрашивал хозяина:

— Ну, как, королева Маргарита еще не отправилась на тот свет?

И г-н Пайо отвечал, что в одно прекрасное утро ее несомненно найдут мертвой, поскольку она уже в таком преклонном возрасте и живет одна. А пока он дрожал, как бы она не подожгла дом. Он вечно мучился этим страхом. Он боялся, что старуха спалит свой деревянный дом, а заодно сгорит и его лавка.

Господин де Термондр очень интересовался вдовой Усье. Его занимало все, что говорила и делала королева Маргарита, как он прозвал старуху. Последний раз, когда он был у нее, она показала ему плохую гравюру эпохи Реставрации, на которой была изображена герцогиня Ангулемская, прижимающая к сердцу медальон с портретами Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Эта гравюра в черной рамке висела в гостиной первого этажа. Вдова Усье тогда сказала:

— Это портрет королевы Маргариты, когда-то жившей тут в доме.

И г-н де Термондр задавал себе теперь вопрос, как мог портрет Марии-Терезы-Шарлотты, дочери французского короля, сойти за портрет Маргариты Шотландской даже в глазах самых невежественных людей. Он раздумывал над этим уже целый месяц.

Сегодня, входя в книжную лавку, он воскликнул:

— Догадался!

И объяснил своему приятелю книгопродавцу весьма правдоподобные причины такой странной ошибки.

— Поймите же, Пайо! Маргариту Шотландскую, подменившую Маргариту Лариве, спутали с Маргаритой Валуа, герцогиней Ангулемской, а ее в свою очередь спутали с герцогиней Ангулемской, дочерью

Людовика Шестнадцатого и Марии-Антуанетты. Маргарита Лариве — Маргарита Шотландская — Маргарита, герцогиня Ангулемская — герцогиня Ангулемская. Я горжусь своим открытием, Пайо; всегда следует обращаться к историческим преданиям. Но, когда мы получим «дом королевы Маргариты», мы понемногу восстановим память о славном Филиппе Трикульере.

Тут в лавку вошел доктор Форнероль с обычной своей стремительностью неутомимого утешителя страждущих, приносящего с собой надежду и силы. Гюстав Форнероль был дороден и усат. Он получил в приданое за женой небольшую усадьбу и теперь строил из себя помещика, ходил по больным в мягкой шляпе, в охотничьей куртке, в кожаных гетрах. Хотя все его пациенты принадлежали к мелкой буржуазии и к окрестному сельскому населению, он считался в городе лучшим врачом-практиком.

Он был в хороших отношениях с Пайо, как, впрочем, и со всеми своими согражданами, но зря к нему не ходил и в лавке не засиживался. Однако на этот раз он плотно уселся на один из трех соломенных стульев, стоявших в букинистическом углу и создавших книжной лавке Пайо славу гостеприимного, изящного и ученого литературного салона.

Он отдышался, помахал ручкой Пайо, поклонился более почтительно г-ну де Термондру и сказал:

— Выдохся!.. Ну, как, Пайо, довольны вы вчерашним спектаклем? Как понравились вашей супруге актеры и пьеса?

Книгопродавец промолчал. Он полагал, что в собственной лавке коммерсанту благоразумнее не высказывать своих мнений. В театре он бывал редко и всегда с женой. Доктор же Форнероль, служивший театральным врачом и получавший контрамарки, не пропускал ни одного спектакля.

Вчера гастролирующая труппа играла «Супругу маршала», и Полина Жири исполняла главную роль.

— Полина Жири все еще превосходна, — сказал доктор.

— Это общее мнение, — согласился книгопродавец.

— Она уже не первой молодости, — заметил г-н

де Термондр, перелистывая XXXVIII том «Всеобщей истории путешествий».

— Какое там! — отозвался доктор. — Знаете, ведь она совсем не Жири!

— На самом деле ее фамилия Жиру, — авторитетным тоном подтвердил г-н де Термондр. — Я знал ее мать Клеманс Жиру. Лет пятнадцать тому назад Полина Жири была очень хорошенькой брюнеткой.

И все трое, сидя в букинистическом углу, принялись высчитывать, сколько может быть лет этой актрисе. Но они пользовались неточными или неверными данными и потому приходили к разноречивым, а порой совершенно нелепым выводам, которыми не могли удовлетвориться.

— Совсем выдохся! — сказал доктор. — Вы-то после театра легли спать. А меня среди ночи вызвали к старому виноделу с холма Дюрок, у которого сделалось ущемление грыжи. Работник сказал: «Его рвет всякой дрянью. Криком кричит. Не выкрутится». Я велел заложить экипаж и покатил к холму Дюрок, на самый край слободы Трамайль. Большой лежит в постели и воет. Лицо — как у покойника, рвота калом. Отлично! Жена говорит: «У него все нутро изныло».

— Полине Жири сорок семь лет, — перебил г-н де Термондр.

— Вполне возможно, — сказал Пайо.

— Самое меньшее сорок семь, — подхватил доктор. — Грыжа была двухсторонняя и ущемленная. Отлично! Начинаю вправлять надавливанием. Нажимаешь только слегка, но все же поупражняешься так с полчаса, и у тебя и руки и спину ломит. А я добрых пять часов возился, десять раз принимался, пока вправил.

Когда доктор Форнероль дошел до этого места повествования, книгопродавец Пайо отлучился в лавку к покупательницам, которые спрашивали занимательные книги для чтения на даче. И доктор продолжал свой рассказ, обращаясь теперь к одному г-ну де Термондру:

— Меня точно избили. Говорю пациенту: «Надо лежать по возможности на спине, пока бандажист не сделает вам бандаж по моим указаниям. Лежите на

спине, а то опять будет ущемление! Сами знаете, как это весело! Уже не говоря о том, что в один прекрасный день совсем окачуритесь. Поняли?» — «Да, господин доктор». — «Вот и отлично!»

Ну, пошел я во двор помыться под краном. Понимаете, после таких упражнений требуется привести себя в порядок. Разделся до пояса, с четверть часа терся простым мылом. Оделся. Выпил стаканчик белого вина, который мне вынесли в палисадник. Рассвет чуть брезжит, жаворонок поет, ну пошел я опять в дом к больному. Там еще совсем темно. Обращаюсь в тот угол, где стоит кровать: «Вы меня поняли? Не подыматься, пока не получите новый бандаж. Старый ни к черту не годится. Слышите?» Ответа нет. «Вы спите?»

Тут слышу у себя за спиной голос старухи: «Господин доктор, его дома нет. Терпения не было лежать, пошел на виноградник».

— Узнаю крестьян, — сказал г-н де Термондр.

Он призадумался и добавил:

— Доктор, Полине Жири сейчас сорок девять. Она дебютировала в тысяча восемьсот семьдесят шестом году в театре «Водевиль»; тогда ей было двадцать два. Я точно знаю.

— В таком случае, — сказал доктор, — ей теперь сорок три, поскольку сейчас тысяча восемьсот девяносто седьмой год.

— Не может быть, — возразил г-н де Термондр, — во всяком случае она на шесть лет старше Розы Макс, а той сейчас за сорок.

— Старше Розы Макс? Не отрицаю, но она все еще очень хороша, — отозвался доктор.

Он зевнул, потянулся и сказал:

— Возвратившись с холма Дюрок в шесть часов утра, я застал у себя в передней двух учеников из булочной с улицы Тентельри, которых прислали за мной, так как булочница собралась родить.

— Неужели же недостаточно было прислать одного? — спросил г-н де Термондр.

— Их послали одного вслед за другим, — ответил доктор. — Спрашиваю, были ли уже характерные симптомы. Молчат, но тут прикатил на хозяйской таратайке

третий посланец. Сажусь с ним рядом. Поворачиваем, и через минуту трясемся по мостовой улицы Тентельри.

— Вспомнил! — воскликнул г-н де Термондр, думавший о своем. — Она дебютировала в «Водевиле» в шестьдесят девятом году. А в семьдесят шестом с ней познакомился мой кузен Куртре и... стал бывать у нее.

— Вы имеете в виду Жака Куртре, драгунского капитана?

— Нет, я имею в виду Аженора, скончавшегося в Бразилии... У нее есть сын, в прошлом году его выпустили из Сен-Сирской военной школы.

При этих словах г-на де Термондра в лавку вошел г-н Бержере, преподаватель филологического факультета.

За г-ном Бержере признавалось неотъемлемое право на одно из академических кресел фирмы Пайо, так как он был самым усердным участником бесед в букинистическом углу. Любящей рукой перелистывал он старые и новые книги и, хотя сам никогда ничего не покупал, боясь, что ему достанется от жены, все же встречал радушный прием у г-на Пайо, который его уважал, ибо видел в г-не Бержере кладезь премудрости и горнило той науки и той изящной словесности, которыми живут и кормятся книгопродавцы. Букинистический угол был единственным местом в городе, где г-н Бержере мог спокойно сидеть в полное свое удовольствие, потому что дома жена то и дело гоняла его из комнаты в комнату под разными хозяйственными предлогами; на факультете невзлюбивший его декан спровадил Бержере вести семинар в темный и сырой подвал, куда неохотно шли слушатели, а во всех трех кругах городского общества на него дулись за его каламбур о Жанне д'Арк.

Итак, г-н Бержере прошел в букинистический угол.

— Здравствуйте, господа! Что нового?

— Ребеночек у булочницы с улицы Тентельри, — сказал доктор. — Двадцать минут тому назад я извлек его на свет божий. Я как раз собирался рассказать об этом господину де Термондру. И должен признаться, я намучился.

— Ребенок, видимо, раздумывал, стоит ли родиться, — заметил г-н Бержере. — Будь у него ум и дар предвидения и знай он наперед, что ожидает человека на земле, а особенно в нашем городе, он бы ни за что не согласился.

— Родилась прехорошенькая девочка, — сказал доктор, — прехорошенькая девочка с родимым пятном, похожим на малину, под левым соском.

Между доктором и г-ном де Термондром завязался разговор.

— Вы сказали, доктор, прехорошенькая девочка с родимым пятном, похожим на малину, под левым соском? Будут говорить, что булочницу потянуло на малину, когда она снимала сорочку. Ведь недостаточно матери только захотеть чего-нибудь для того, чтобы получилось соответствующее родимое пятно на плоде, который она носит под сердцем. Надо еще, чтоб она дотронулась до своего тела. И тогда ребенок будет отмечен родимым пятном на том же месте. Ведь так, кажется, верят в народе, доктор?

— Верят глупые бабы, — ответил доктор Форнероль. — Хотя я знавал мужчин и даже врачей, которые в данном отношении были не лучше баб и разделяли суеверия кормилиц. Мне же мой многолетний опыт, знакомство с опубликованными наблюдениями ученых, а главное общий взгляд на эмбриологию не позволяют присоединиться к этому народному поверью.

— Значит, доктор, по вашему мнению, родимые пятна ничем не отличаются от других пятен, которые появляются на коже по неизвестным причинам?

— Позвольте! Родимые пятна — особый случай. В них нет кровеносных сосудов. Они не растягиваются, как наросты, с которыми их иногда путают.

— Вы утверждаете, что они особого свойства. Делаете ли вы из этого какие-либо выводы относительно их происхождения?

— Абсолютно никаких.

— Но если эти пятна не вызваны реальными желаниями, если вы им отказываете в... как бы лучше выразиться?... в психологическом основании, то как понять, почему так повезло поверью, о котором упо-

минается в библии и которое до сих пор еще разделяют очень многие? Моя тетка Пастре была очень умной и несусеверной женщиной. Умерла она прошлой весной на семьдесят восьмом году жизни — и до конца дней своих считала, что три белые смородинки на плече ее дочери Берты были августейшего происхождения и зародились в парке Нельи, где она гуляла во время беременности осенью тысяча восемьсот тридцать четвертого года и где была представлена королеве Марии-Амалии *, которая прошлась с ней по дорожке, обсаженной кустами смородины.

Доктор Форнероль ничего не ответил. Он был не особенно расположен противоречить богатым пациентам. Но г-н Бержере, преподаватель филологического факультета, склонил голову на левое плечо и устремил взор вдаль, как обычно делал, когда собирался говорить. Затем сказал:

— Господа, известно, что пятна, называемые родимыми, сводятся к нескольким типам, по цвету и форме напоминающим клубнику, смородину, малину, вишневые или кофейные пятна. Может быть, сюда же следует отнести расплывчатые желтые пятна, в которых пытаются усмотреть сходство с куском пирога или телячьим паштетом. Ну, как можно поверить, будто беременных женщин только и тянет что на вино да на кофе с молоком или на красные ягоды, ну, скажем, еще на телятину? Такая мысль не вяжется с философией природы. Желание, которое, по мнению некоторых философов, создало мир и на котором этот мир зиждется, проявляется у беременных женщин так же, как и у всех живых существ, в бесконечно разнообразных формах. Оно возбуждает в них тайный жар, скрытое иступление, непонятное волнение. Не вдаваясь в разбор того, как действует их особое положение на вожделения, свойственные животному и даже растительному миру, мы признаем, что это положение отнюдь не вызывает безразличия, оно скорей извращает и берedit глубоко скрытые инстинкты. Если бы на тельце новорожденного действительно запечатлевались материнские желания, то можно не сомневаться, что у него на коже появились бы не только безобидные ягоды или капельки

кофе, о которых так любят толковать словоохотливые кумушки.

— Согласен с вами, — сказал г-н де Термондр, — женщины равнодушны к драгоценностям, и многие дети рождались бы с сапфирами, рубинами и изумрудами на пальцах и с золотыми браслетами на руках; жемчужные ожерелья, брильянтовые кольца покрывали бы им шею и грудь. Но это еще куда ни шло, таких детей не надо было бы прятать.

— Вот именно, — подтвердил г-н Бержере.

И, взяв со стола XXXVIII том «Всеобщей истории путешествий», оставленный г-ном де Термондром, преподаватель филологического факультета уткнул нос в книгу, открывшуюся на 212-й и 213-й страницах, на которых вот уже шесть лет с какой-то роковой неизбежностью неизменно открывался этот том, словно подчеркивая монотонность жизни, словно символизируя однообразие университетской работы и захламленных будней, за которыми следует смерть и гление. И на этот раз г-н Бержере прочитал, как уже читал много раз, первые строчки 212-й страницы XXXVIII тома «Всеобщей истории путешествий»: «...искать проход на север. «Именно этой неудаче, — сказал он, — мы обязаны тем, что имели возможность вновь посетить Сандвичевы острова и обогатить наше путешествие открытием, которое, хотя оно и было последним по времени, по-видимому, во многих отношениях окажется наиболее значительным из открытий, до сих пор сделанных европейцами на всем протяжении Тихого океана». Счастливым предположениям, о которых, казалось, возвещали эти слова, к сожалению, не суждено было осуществиться...»

И опять, как и всегда, чтение этих строк нагнало на него тоску. Покуда он предавался ей, книгопродавец Пайо пренебрежительно и свысока разговаривал с молодым солдатом, зашедшим купить на одно су почтовой бумаги.

— Почтовой бумагой на листы не торгуем, — отрезал г-н Пайо и повернулся спиной к солдату.

Затем он стал жаловаться на Леона, своего приказчика, — никогда-то его нет на месте, как пошлешь куда,

так и пропадет. И приходится самому отрываться по пустякам. Вот и сейчас: не угодно ли — дай почтовой бумаги на одно су!

— Я вспоминаю, — сказал доктор Форнероль, — что как-то в базарный день к вам зашла крестьянка за пластырем и вы едва уговорили ее не задирать подол и не показывать вам больное место, куда надо было наклеить пластырь.

Книгопродавец Пайо ответил на этот анекдотический рассказ молчанием, означавшим оскорбленное достоинство.

— Бог мой! — воскликнул великий книголюб г-н де Термондр. — Спутать высоконаучную лавку нашего Фробейна, нашего Эльзевира *, нашего Дебюра * с жалкой медицинской кухней Фомы Диафуария * — какое оскорбление!

— Женщина, конечно, не видела ничего плохого в том, что хотела показать Пайо, где у нее болит, — сказал доктор Форнероль. — Но судить по ней о крестьянках вообще нельзя. Обычно они чрезвычайно неохотно показываются врачу. Мои сельские коллеги не раз на это жаловались. Seriously больные крестьянки противятся осмотру, чего никак не скажешь о горожанках и уж, конечно, о светских дамах. Я сам знаю случай, когда фермерша из Лусиньи умерла от опухоли на внутренних органах, так и не дав ее исследовать.

Господин де Термондр, будучи представителем нескольких местных ученых обществ, отличался академической предвзятостью и прицепился к этим замечаниям: он стал обвинять Золя в позорной клевете на крестьян в его книге «Земля». Такое обвинение вывело г-на Бержере из его меланхолической задумчивости, и он сказал:

— Смотрите, как бы крестьяне действительно оказались кровосмесителями, пьяницами и отцеубийцами, какими их изобразил Золя. Нелюбовь к медицинскому осмотру нисколько не доказывает целомудрия. Она доказывает только, как сильны предрассудки у людей ограниченных. Чем они примитивнее, тем сильнее в них предрассудки. Предрассудок, по которому считается, что показаться в голом виде стыдно, силен

в крестьянской среде. У людей интеллигентных и с художественно развитым вкусом он ослаблен привычкой к ваннам, душам и массажу, а также эстетическим чувством и склонностью к чувственным ощущениям и потому легко уступает соображениям гигиены и здоровья. Вот все, что можно вывести из слов доктора.

— Я заметил, — сказал г-н де Термондр, — что хорошо сложенные женщины...

— Таких нет, — возразил доктор.

— Доктор, вы напоминаете мне моего мозольного оператора, — продолжал г-н де Термондр. — Он мне как-то сказал: «Если бы вы, сударь, были мозольным оператором, то не сходили бы с ума по женщинам».

Книгопродавец Пайо, стоявший у стены, уже несколько минут к чему-то прислушивался и вдруг сказал:

— Не понимаю, что творится в «доме королевы Маргариты» — какие-то крики, двигают мебель...

И в нем пробудились привычные опасения:

— Старуха, чего доброго, подожжет дом, и весь квартал выгорит: тут все дома деревянные.

Никто не отозвался, никто не подумал успокоить его нудные жалобы. Доктор Форнероль тяжело поднялся, с усилием расправил затекшие мускулы и пошел по визитам.

Господин де Термондр натянул перчатки и направился к дверям. Потом, заметив длинного сухощавого старика, переходившего площадь четким, твердым шагом, сказал:

— Вон идет генерал Картье де Шальмо. Не посоветовал бы я префекту попадаться ему на глаза.

— А почему? — спросил г-н Бержере.

— Потому что эти встречи не очень приятны для господина Вормс-Клавлена. Прошное воскресенье префект, ехавший в коляске, повстречал генерала Картье де Шальмо, который шел пешком с женой и дочерьми. Откинувшись на спинку сиденья, не снимая шляпы, он помахал рукой старику, крикнув: «Здрасьте, здрасьте, генерал!» Генерал покраснел от гнева. У людей застенчивых гнев бывает ужасен. Генерал Шальмо не помнил себя. Он был страшен. На глазах у всего города

он передразнил фамильярный жест префекта и крикнул громовым голосом: «Здрасьте, здрасьте, префект!»

— Ничего больше не слышать в «доме королевы Маргариты», — сказал г-н Пайо.

ХIII

Полуденное солнце метало свои жгучие белые стрелы. В небе — ни облачка, в воздухе — ни дуновения. Вся земля была погружена в глубокий покой; только солнце в небе свершало свой пламенный путь. Короткие тени тяжело и недвижно лежали у подножья вязов в безлюдном городском саду. На дне канавы, идущей вдоль вала, спал сторож. Птицы умолкли.

Сидя под тенистыми древними деревьями на кончике скамьи, на три четверти залитой солнцем, г-н Бержере забывал в любезном его сердцу уединении о жене, о двух дочках, о скромной жизни в скромной квартирке и, подобно Эзопу, наслаждался свободным полетом фантазии, дав волю своей критической мысли, которая касалась то живых, то умерших.

Тем временем по широкой аллее проходил аббат Лантень, ректор духовной семинарии, с молитвенником под мышкой. Г-н Бержере поднялся и предложил аббату место в тени на скамье. Г-н Лантень сел не спеша, с подобающим его сану достоинством, которое никогда его не покидало и было для него вполне естественным. Г-н Бержере сел рядом, там, где тень перемежалась со светом, пробивающимся сквозь более редкую листву на концах веток; теперь его черный сюртук был весь в золотых кружочках, и г-н Бержере зажмурился, так как свет слепил его.

Он приветствовал аббата Лантеня в следующих выражениях:

— Господин аббат, повсюду говорят о том, что вас назначат епископом туркуэнским. «Я этой вести рад и жду ее свершенья». Но такой выбор был бы слишком хорош, а потому я в нем сомневаюсь. Вас считают монархистом, и это вам вредит. Разве вы не республиканец, как и сам папа?

Лантень. Я республиканец, как и сам папа. Это значит, что я соблюдаю мир и не вступаю в войну с республиканским правительством. Но мир еще не любовь. Я не люблю республики.

Бержере. Догадываюсь о причинах. Вы ставите ей в упрек неприязнь к духовенству и свободо-мыслие.

Лантень. Разумеется, я ставлю ей в упрек безбожие и враждебное отношение к священникам. Но и безбожие и враждебность не обязательно ей присущи. Они — от республиканцев, не от республики. Они ослабевают и усиливаются в зависимости от перемены лиц. Сегодня они меньше, чем были вчера. Завтра, возможно, возрастут. Возможно, наступит день, когда их не будет вовсе, как не было их в правление маршала Мак-Магона * или по крайней мере при первых притворных шагах этого президента и при обманувшем нас правительстве шестнадцатого мая *. Они от людей, а не от порядка вещей. Но даже если бы республика и чтילה религию и ее служителей, я все же ненавидел бы ее.

Бержере. За что?

Лантень. За многоликость. Это — ее исконный порок.

Бержере. Я не совсем вас понимаю, господин аббат.

Лантень. Все оттого, что у вас не богословский ум. В прежние времена богословие накладывало свой отпечаток даже на мирян. В тетрадах, сохранившихся у них со школьных лет, они черпали основные понятия философии. Особенно справедливо это по отношению к людям семнадцатого века. Тогда всякий образованный человек, даже поэт, умел философски мыслить. «Федра» Расина опиралась на учение Пор-Рояля *. Теперь же, когда богословие загнано в семинарии, никто уже не умеет философски мыслить, и светские люди теперь почти так же глупы, как поэты и ученые. Ведь говорил же мне вчера господин де Термондр, с полным убеждением в своей правоте, будто церковь и государство должны сделать взаимные уступки. Люди теперь ничего не знают, ни о чем не думают.

Пустые слова зря колеблют воздух. Мы живем в Вавилоне. Вот и вы, господин Бержере, гораздо больше занимались Вольтером, чем святым Фомой *.

Б е р ж е р е . Это правда. Но вы как будто говорили, что республика многолика и что в этом ее исконный порок? Очень прошу вас пояснить вашу мысль. Может быть, я и пойму. В богословии я смыслю больше, чем вы полагаете. Я читал Барония * с пером в руке.

Лантень. Бароний только летописец, правда, величайший; я уверен, что вы сумели вычитать у него лишь исторические анекдоты. Будь вы хоть в какой-то мере богословом, вас несколько не удивили бы и не смутили мои слова.

Многоликость отвратительна. Зло всегда многолико. Это же свойство присуще и республиканскому образу правления, более далекому от единства, чем всякий другой. А где нет единства, там нет и независимости, нет постоянства и силы, нет и понимания окружающего. Об этом правительстве можно сказать, что оно само не ведает, что творит. Хотя оно и существует нам в наказание, долго оно не просуществует. Ибо понятие долговечности включает в себя понятие тождества, а республика, что ни день, меняется. Даже ее мерзость и пороки не принадлежат ей. Вы сами видели, что они ее не позорят. Срам и позор, которые сгубили бы самую могучую империю в мире, покрывают республику, а она не потерпела от этого никакого ущерба. Она нерушима, ибо она сама — разрушение. Она — разъединенность, она — непостоянство, она — многоликость, она — зло.

Б е р ж е р е . Вы говорите о республике вообще или только о нашей?

Лантень. Разумеется, я не имею в виду ни Римской, ни Батавской, ни Гельветической республики *, а только Французскую республику. Ибо у всех этих государств нет ничего общего, кроме названия, и не подумайте, пожалуйста, что я сужу о них по тому слову, которым их обозначают, или по тому, что они как будто все одинаково враждебны монархии, что само по себе еще, пожалуй, не предосудительно; но во Франции республика не что иное, как отсутствие монарха и недостаток сильной власти. Народ же был дряхл уже

в то время, когда произвели ампутацию, и теперь приходится опасаться за его жизнь.

Бержере. Как-никак Франция уже на двадцать семь лет пережила империю, на сорок восемь — буржуазную монархию и на шестьдесят шесть — легитимную монархию.

Лантень. Скажите лучше, что Франция, раненная насмерть, вот уже целое столетие влачит остаток своих жалких дней, попеременно впадая то в неистовство, то в уныние. И не подумайте, что я пристрастен к прошлому или грущу по обманчивым видениям некогда не существовавшего золотого века. Жизнь народов мне известна. Каждый час грозит им опасностями, каждый день — бедствиями. Это справедливо, и так оно и должно быть. Жизнь народов, как и жизнь отдельных людей, не имела бы смысла, если бы они не знали испытаний. Древняя история Франции полна преступлений и расплат. Господь в неусыпной своей любви не уставал карать наш народ и в своей благодати взыскал его страданиями во времена королей. Но Франция тогда была страной христианской, и страдания эти были ей полезны и дороги. Она видела в них карающую десницу божью. Она черпала в них назидание, доблесть, спасение, силу и славу. Теперь ее страдания бессмысленны; она не понимает и не приемлет их. Переноса страдания, она их отвергает. И она, безумная, еще хочет быть счастливой! С утратой веры в бога утрачивается не только идея абсолютного, но и понимание относительного и даже чувство истории. Только господь устанавливает логическую связь земных событий, без него их последовательность была бы и неуловима и непонятна. И вот уже сто лет история Франции — загадка для французов. Однако и на нашей памяти был торжественный час ожидания и надежды.

Всадник, который появляется в положенный богом срок и имя которому то Сальманасар, то Навуходоносор, то Кир, то Камбиз, то Мемний, то Тит, то Аларих, то Атилла, то Магомет Второй *, то Вильгельм *, огнем прошел по Франции. Униженная, израненная, истекая кровью, возвела она очи горе. Да зачтется ей эта мигота! Казалось, теперь она поняла, обрела вместе с ве-

рой и разум, познала цену и смысл великих ниспосланных ей богом страданий. Она воздвигла людей праведных, верующих христиан, образовавших верховное собрание. Это собрание восстановило торжественный обычай посвящения Франции сердцу Иисусову. Как и во времена Людовика Святого, на горах перед взорами кающихся городов вырастали храмы; лучшие граждане готовили восстановление монархии.

Бержере *(тихо)*. Первое — Национальное собрание в Бордо *. Второе — церковь Сердца Иисусова * на Монмартре и церковь Фурвьерской богородицы в Лионе *. Третье — комитет девяти и миссия господина Шенлона *.

Лантень. Что вы сказали?

Бержере. Ничего. Пробую продолжать «Рассуждения о всемирной истории».

Лантень. Не смейтесь и не отрицайте. Уже прислушивались на дорогах к топоту белых коней, везущих во Францию короля. Генриху Богоданному * предстояло восстановить принцип власти, обуславливающий две силы, на которых зиждется общество: приказание и повиновение; ему предстояло восстановить человеческий порядок одновременно с порядком божеским, политическую мудрость одновременно с религиозным духом, иерархию, законность, устав, истинную свободу, единство. Народ, вернувшись к своим традициям, снова обрел бы вместе с сознанием своей миссии и тайну своего могущества и знамение победы. Господь не пожелал этого. Великие замыслы, перехваченные врагом, который, и утолив свою ненависть, все еще ненавидел нас, враждебно встреченные самими французами, не нашедшие настоящей поддержки даже у тех, кто сам их взлелеял, рухнули в один день. Перед Генрихом Богоданным закрыли границу родины, и народ предался республике; иными словами — он отрекся от своего наследия, отказался от своих прав и обязанностей ради того, чтоб управлять собой по собственной воле и жить, как ему вздумается, наслаждаясь свободой, которая в боге видит помеху, а потому и свергла его образ и подобие на земле — порядок и законность. С этих пор зло взошло на престол и стало

издавать свои эдикты. Церковь, терпевшую непрестанные ущемления, коварно поставила перед выбором: или невозможное для нее отречение, или преступный бунт.

Бержере. К ущемлениям вы относите, разумеется, и такие меры, как изгнание конгрегаций?

Лантень. Совершенно очевидно, что изгнание конгрегаций — порождение злой воли и следствие нечестивого расчета. Совершенно несомненно также и то, что изгнанные монахи не заслужили такого обращения. Наносся удар им, думали нанести удар церкви. Но удар был плохо рассчитан и только укрепил организм, который желали расшатать, ибо к приходским церквям вернулись влияние и доходы, отошедшие от них. Наши враги не знали церкви; а их тогдашний глава, менее невежественный, нежели они, но стремившийся скорее ублагоутворить их, чем уничтожить нас, вел с нами притворную и чисто внешнюю борьбу. Ибо я не могу считать действительным нападением изгнание недозволенных конгрегаций. Разумеется, я чту жертвы этого неумного преследования, но я полагаю, что французская церковь обойдется и без монахов и белого духовенства само сумеет наставить и направить верующих. Увы! Республика нанесла церкви более глубокие и более скрытые раны. Вы слишком хорошо знакомы с вопросами преподавания, господин Бержере, и сами видите многие из этих ран, но самая тяжелая рана нанесена тем, что сан епископа дается пастырям, нищим умом и духом... Я сказал достаточно. Христианин еще находит утешение и силы в том, что церковь не пройдет. А в чем найдет утешение патриот? Он видит, что все государство поражено гангреной и гниет живо. И как быстро пошло разложение за последние двадцать лет! Во главе государства — человек, единственное достоинство которого бессилие и которого объявляют преступником, как только заподозрят, что он что-то делает или хотя бы мыслит; министры, подчиненные неспособному и, по общему мнению, продажному парламенту, членов которого, с каждым днем все более невежественных, намечают, избирают и обрабатывают на нечестивых франкмасонских сборищах,

дабы они содеяли зло, на которое они даже неспособны, хотя зло, содеянное их суесловным бездействием, еще горше; чиновничество, с каждым днем все разрастающееся, огромное, жадное, зловерное, в котором республика думает найти опору, тогда как на самом деле она кормит себе на погибель толпу туенядцев; судейская братия, набранная вопреки правилам и справедливости, которая слишком часто испытывает давление со стороны правительства, и потому сомнительно, чтобы она не потворствовала преступникам; армия, которую, как и весь народ, заражают пагубным духом своеволия и равенства, дабы затем весь народ, пройдя через армию, возвратился в города и веси развращенным казармой, неспособным к ремеслам и мастерству, презирающим труд; учительство, которому вменено в обязанность учить безбожию и безнравственности; дипломатический корпус, который предоставляет заботу о нашей внешней политике и заключение союзов лавочникам, продавщицам и журналистам, ибо сам не имеет на то времени и не пользуется авторитетом. Все власти — законодательная и исполнительная, судебная, военная и гражданская — спутаны, смешаны, одна уничтожает другую. Словом, режим смехотворный, который в своей разрушительной слабости дал обществу два наиболее могущественных смертоносных орудия, когда-либо изобретенных нечестием, — развод и мальтузианство. И весь этот беглый перечень зол неотъемлем от республики и естественно из нее вытекает, ибо республика, по самой природе своей, — зло. Она — зло, ибо восхотела свободы, которой не восхотел господь, потому что он наш владыка и передал частицу своей власти духовенству и королям; она — зло, ибо восхотела равенства, которого не восхотел господь, потому что он установил иерархию на небесах и на земле; она — зло, ибо установила терпимость, которой не может восхотеть господь, потому что нельзя быть терпимым ко злу; она — зло, ибо считается с волей народа, как будто толпа невежд значит больше, чем несколько людей, подчиняющихся воле божьей, которая простирается на правительство и на все мелочи управления, как великое начало,

последствия коего неотвратимы; она — зло, потому что провозглашает религиозный индифферентизм, иными словами, нечестие, неверие, богохульство, наличие коих даже в самой малой степени — смертный грех, провозглашает свою приверженность к многоликости, а многоликость — зло и смерть.

Бержере. Господин аббат, а ведь только что вы говорили, будто вы, как и папа, республиканец и хотите жить в добром согласии с республикой?

Лантень. Ну, конечно, я буду жить в смиренности и послушании. Восстав на нее, я поступил бы согласно ее принципам и противно своим. Если бы я стал мятежником, я походил бы на нее, а не на себя.

Не дозволено быть злым со злыми. Власть принадлежит ей. Если она плохо властвует или не властвует вовсе — это ее преступление. Да пребудет оно с ней. Мой долг — в послушании. Я выполню его. Я не выйду из послушания. И в сане священника и, если это будет угодно господу богу, в сане епископа я ничем не нарушу своего долга по отношению к республике. Я всегда помню, что святой Августин в осажденном вандалами Гиппоне * умер епископом и римским гражданином. Я, недостойный член славной галликанской церкви, по примеру величайшего учителя церкви молившего господу отвести вандалов, умру во Франции священником и французским гражданином.

Тень от вязов стала передвигаться на восток. Свежее дуновение отдаленной грозы коснулось листьев. По рукаву г-на Бержере ползла божья коровка, а он приветливым тоном говорил аббату Лантеню:

— Господин аббат, с красноречием, в наши дни свойственным только вашим устам, вы нарисовали в главных чертах демократический строй. Строй этот примерно таков, каким вы его изображаете. И все-таки я предпочитаю его всякому другому. Все связи в нем распались, это ослабляет государство, но облегчает жизнь людям и создает известную нетребовательность и свободу, которую, к сожалению, подавляет тирания на местах. Коррупция проявляется при нем несомненно сильнее, чем при монархии. Это зависит от того, что у власти стоит слишком много людей и притом различ-

ных. Но эта коррупция не так бросалась бы в глаза, если бы лучше соблюдалась тайна. Неумение соблюдать тайну и недостаточная последовательность сводят на нет любое действие демократической республики. Но, памятуя, что действия монархии чаще всего были пагубны для государства, я доволен, что живу при правительстве, не способном на великие замыслы. Что меня особенно радует в нашей республике, так это ее искреннее желание не затевать войн с Европой. Военщина ей по душе, но воинственность — нет. Другие правительства, взвешивая возможный исход войны, опасаются только поражения. Наше — с полным основанием опасается в одинаковой мере и победы и поражения. Этот спасительный страх обеспечивает нам мир — величайшее благо.

Самый большой недостаток современного режима в том, что он слишком дорого стоит. Он не пускает пыль в глаза, роскошью похвастаться не может, женщинами и лошадьми не блещет. Но, несмотря на свой скромный вид и пренебрежение к внешности, он расточителен. У него на попечении слишком много бедных родственников и друзей. Он мот. Но хуже всего то, что он живет за счет утомленной страны, переставшей богатеть, теряющей силы. А режим нуждается в деньгах. Он начинает осознать свое затруднительное положение. Но положение это более затруднительно, чем он думает. И затруднения будут еще расти. Болезнь эта не новая. От нее скончался старый режим. Господин аббат, я скажу вам великую истину: пока государство довольствуется средствами, которые ему доставляют неимущие, пока ему хватает налогов, которые с точностью машины обеспечивают ему те, кто живет трудами рук своих, до тех пор оно живет в покое, в довольстве, в чести. Экономисты и финансисты охотно признают его безукоризненно честным. Но пусть только несчастное государство, побуждаемое нуждой, попробует обратиться за деньгами к тем, у кого они есть, и вытряхнуть из богачей какой-нибудь жалкий налог, ему сейчас же поставят на вид, что оно совершает ужасное посягательство, нарушает все законы, не уважает священных прав, разрушает торговлю и промышленность и, про-

тягивая руку к богачам, утесняет бедняков. От него не будут скрывать, что оно само себя бесчестит. И искреннее презрение добропорядочных граждан ему обеспечено. А между тем разорение надвигается медленно, но верно. Государство начинает растрачивать свой основной капитал. Оно погибло.

Министры издеваются над нами, крича о клерикальной или социалистической опасности. Опасность только одна — финансовая. Республика начинает это понимать. Я ей сочувствую, и я буду жалеть о ней. Я был воспитан при империи в любви к республике. «Республика справедлива», — говорил мне отец, преподаватель риторики в лицее Сент-Омер. Он не знал республики. Она несправедлива. Но она не требовательна. Если бы не ваш возвышенный образ мыслей, не ваша серьезность, не ваша нелюбовь к легкой игре ума, я признался бы вам, господин аббат, что нынешняя республика, республика тысяча восемьсот девяносто седьмого года, мне нравится и трогает меня скромностью. Она согласна, чтобы ею не восхищались, не претендует на особый почет и даже не требует к себе уважения. Она довольствуется тем, что живет. Это ее единственное желание; оно законно. Самые маленькие козявки, и те хотят жить. Как дровосек в басне *, как Мантуанский аптекарь *, который так поразил молодого безумца Ромео, она страшится смерти, и это ее единственный страх. Она не доверяет монархам и военным. Под угрозой смерти она может рассвирепеть. Под влиянием страха она может выйти из своего обычного состояния и впасть в ярость. А это было бы очень печально. Но пока не покушаются на ее жизнь, а посягают лишь на ее честь, она не теряет добродушия. Такое правительство как раз по мне, с ним спокойнее. Сколько было правительств, безжалостных из-за самолюбия! Сколько правительств утверждало жестокостями свои права, могущество и процветание! Сколько правительств кровью добивалось первенства и величия! У нашей республики нет чувства самолюбия, у нее нет чувства величия. И это большое счастье, ибо, пока у нее нет этих чувств, она безвредна! Не мешайте ей жить, это все, что требуется. Управляет она мало. В моих глазах

она заслуживает за это самой большой похвалы. А раз она управляет мало, я прощаю ей то, что она управляет плохо. Я подозреваю, что люди во все времена преувеличивали необходимость в управлении и благоденствия сильной власти. Безусловно, сильная власть обеспечивает народу величие и благоденствие. Но в течение веков народы столько натерпелись из-за этого самого величия и благоденствия, что отказ от них мне понятен. Слава обошлась им слишком дорого; как же нам не быть благодарными нашим теперешним правителям за то, что они не ищут иной славы, кроме колониальной. Если бы люди, наконец, поняли, что от правительства нет никакой пользы, то на это неоценимое открытие их натолкнула бы республика господина Карно. И за это ему надо быть благодарным. По зрелом размышлении я пришел к выводу, что очень привязан к нашему строю.

Так говорил г-н Бержере, преподаватель филологического факультета.

Аббат Лантень встал, вынул из кармана синий клетчатый носовой платок, вытер губы, положил платок обратно в карман, улыбнулся против своего обыкновения, поправил под мышкой молитвенник и сказал:

— Речи ваши приятны, господин Бержере. Так говорили римские риторы, когда Аларих со своими вестготами вступал в Рим. Однако риторы пятого века обменивались под соснами Эсквилина * менее суетными мыслями. Ибо Рим в те времена был городом христианским. А вы уже не христианин.

— Господин аббат, — ответил преподаватель филологического факультета, — я буду рад, если вас сделают епископом, только бы вас не сделали министром просвещения.

— Верно, господин Бержере, — ответил аббат, громко рассмеявшись, — будь я министром просвещения, я запретил бы вам обучать молодежь.

— И отлично бы сделали. Тогда бы я стал писать в газетах, как господин Жюль Леметр *, и, кто знает, может быть, как и он...

— Что же, вы были бы как раз на месте среди всех этих остроловов. Вольнодумцы в чести во Французской академии.

Он сказал и удалился, прямо, твердо и тяжело ступая. Г-н Бержере остался один на скамейке, на три четверти покрытой теперь тенью. Божья коровка доползла до его плеча, расправила крылышки и улетела. Он сидел и думал. Он не был счастлив. У него был тонкий ум, острия которого не всегда были направлены только наружу, и часто г-н Бержере сам наткался на колючки своей язвительной критики. Он был малокровен, желчен, отличался капризным желудком и вялостью чувственных восприятий, доставлявших ему скорее неприятности и страдания, нежели радость и удовольствия. Он был несдержан на язык и часто проявлял неловкость, которая по точности и безошибочности действия не уступала самой изощренной ловкости. С редким искусством ловил он всякий случай повредить себе. Большинству людей он внушал инстинктивную антипатию и страдал из-за этого, ибо от природы был разговорчив и любил общество себе подобных. Ему никак не удавалось вырастить учеников. Он читал курс римской литературы в темном, сыром и пустом подвале, куда в своем запальчивом недоброжелательстве загнал его декан. А здание университета было достаточно просторно. Оно было построено в 1894 году, и «это новое помещение, — как сказал на его открытии префект Вормс-Клавлен, — свидетельствовало о том, что республиканское правительство заботится о распространении знаний». Там была аудитория амфитеатром, расписанная аллегорическими фигурами кисти г-на Леона Глеза, изображающими различные науки и искусства, в ней г-н Компаньон с большим успехом читал курс математики. Остальные красивые тогносыцы * преподавали различные науки в прекрасных, светлых аудиториях. Один г-н Бержере, преследуемый ироническим взглядом педеля, спускался в сопровождении трех слушателей в мрачный подвал. Там, в спертом, нездоровом воздухе, он толковал «Энеиду» с немецкой эрудицией и французским остроумием; там повергал он в уныние своим литературным и моральным пессимизмом г-на Ру, родом из Бордо, своего лучшего ученика; там высказывал он взгляды, отпугивавшие своей оригинальностью, там изрек он однажды

вечером ставшие знаменитыми слова, которым лучше было бы навсегда замереть во тьме подвала: «Илиада» и «Одиссея» составлены из неумело спаянных отрывков различного происхождения. Вот образцы, которым подражали в своих сочинениях Вергилий, Фенелон и вообще классические авторы, как прозаики, так и поэты».

Господии Бержере не был счастлив. Он не имел никаких почетных званий. Правда, он презирал почести. Но он чувствовал, что куда прекрасней презирать их, когда они у тебя есть. Он был непопулярен и менее известен в городе своими научными работами, чем г-н де Термондр, автор «Путеводителя для туристов»; менее, чем генерал Милер, плодовитый сочинитель, пользующийся славой в департаменте; даже менее, чем г-н Альбер Ру, собственный ученик г-на Бержере, родом из Бордо, автор «Нирея» *, поэмы, написанной свободным стихом. Он, разумеется, презирал литературную славу, зная, что европейская слава Вергилия покоится на двух нелепостях, одной несурзности и одной нескладице. Но он страдал оттого, что не общается с такими учеными, как Фаге *, Думик * или Пелисье *, которые, по его мнению, были близки ему по духу. Он мечтал познакомиться с ними, жить в Париже, писать в тех же журналах, спорить, сравняться с ними, быть может, даже превзойти их. Он сознавал, что умен, и был уверен, что кое-какие написанные им страницы весьма недурны.

Он не был счастлив. Он был беден, жил с женой и двумя дочерьми в тесной квартирке и чрезвычайно болезненно ощущал неудобства совместной жизни; огорчался, когда находил у себя на письменном столе папилютки или когда обнаруживал, что его рукописи подпалены щипцами для завивки. Нигде на всем свете не чувствовал он себя спокойно и уютно, разве только тут, на скамейке в городском саду, иод тенью древнего вяза, да в букинистическом углу у книгопродавца Пайо.

Он поразмыслил еще немного о своей печальной доле, потом встал со скамейки и побрел по дороге, ведущей к книгопродавцу.

XIV

Когда г-н Бержере вошел в лавку, книгопродавец Пайо, засунув карандаш за ухо, просматривал «возвраты». Он складывал в стопки книжки в желтых обложках, выгоревших на солнце и засиженных мухами, — залежавшиеся экземпляры, которые он отсылал обратно издателем... Г-н Бержере увидал в «возвратах» книжки, которые любил. Его это не огорчило, ему не хотелось бы, чтобы любимые им авторы пользовались успехом у толпы, для этого у него был слишком тонченный вкус.

По своему обыкновению он забрался в букинистический угол, взял по привычке XXXVIII том «Всеобщей истории путешествий». Книга в зеленом сафьяновом переплете сама раскрылась на странице 212-й, г-н Бержере еще раз прочел неизбежные строки: «...искать проход на север. «Именно этой неудаче, — сказал он, — мы обязаны тем, что имела возможность вновь посетить Сандвичевы острова...»

И на г-на Бержере напала тоска.

Господин Мазюр, департаментский архивариус, и г-н де Термондр, председатель Общества земледелия и археологии, за которыми было закреплено право на плетеные стулья в букинистическом углу, зашли в это время в лавку. Г-н Мазюр был выдающимся палеографом, но жил он весьма неприглядно. Он был женат на кухарке своего предшественника архивариуса и ходил по городу в продавленной соломенной шляпе. Он принадлежал к радикалам и публиковал документы, относящиеся к истории города во времена революции. Он любил бранить департаментских роялистов, но с тех пор как ему было отказано в знаках академического отличия, о которых он хлопотал, он начал бранить и своих политических друзей, главным образом префекта Вормс-Клавлена.

Он был ругатель по природе, а профессиональная привычка раскапывать тайны предрасполагала его к злословию и клевете. Тем не менее он был приятен в обществе, особенно за ужином, когда пел застольные песни.

— Слыхали? — сказал он г-ну де Термондру и г-ну Бержере. — Префект встречается с женщинами в лавке у Рондоно-младшего. Его там застали. И аббат Гитрель тоже там свой человек. А в описи недвижимости за тысяча семьсот восемьдесят третий год этот дом так и значится домом двух сатиров.

— Но в лавке Рондоно-младшего, — возразил г-н де Термондр, — женщин легкого поведения нет.

— Их туда приглашают, — отпарировал архивариус Мазюр.

— Кстати, — сказал г-н де Термондр, — я слышал, дорогой господин Бержере, будто в городском саду вы повергли в ужас моего старого приятеля, аббата Лантеня, циничным признанием своей политической и социальной аморальности. Говорят, что вы не признаете ни права, ни устава...

— Это не так, — ответил г-н Бержере.

— ...что вам безразличен образ правления.

— Вовсе нет! Но, откровенно говоря, я не придаю особого значения форме правления. От смены режима в жизни людей ничего не меняется. Мы зависим не от конституций и хартий, а от собственных инстинктов и нравов. Изменение названий общественных учреждений ни к чему не ведет. Революции устраивают дураки и честолюбцы.

— Десять лет тому назад, — сказал г-н Мазюр, — я бы голову положил за республику, а теперь пусть летит себе кувырком, я буду смотреть сложа руки и посмеиваться. Старыми республиканцами пренебрегают. В чести только «присоединившиеся»; речь, конечно, не о вас, господин де Термондр. Но мне все опостылело. Я начинаю думать, как и господин Бержере. Все правительства неблагоприятны.

— Все они бессильны, — сказал г-н Бержере. — Я захватил с собой небольшой рассказ и очень хотел бы вам его прочитать. В основу я положил историю, которую не раз слышал от отца. Из рассказа явствует, что абсолютная власть — это полное бессилие. Мне хотелось бы знать ваше мнение насчет этого пустячка. Если он вам понравится, я пошлю его в «Парижское обозрение».

Господин де Термондр и г-н Мазюр пододвинула стулья поближе к г-ну Бержере, а тот достал из кармана тетрадь и начал читать слабым, но внятным голосом:

«Товарищ

прокурора

Министры собрались...»

— Позвольте и мне послушать, — сказал книгопродавец г-н Пайо. — Я жду Леона, а его все нет. Пошлешь его за чем-нибудь, а потом никак не дождешься. Самому приходится и за лавкой смотреть и покупателям отпущать. Но хоть сколько-нибудь послушаю. Тоже хочется ума понабраться.

— Очень хорошо, Пайо, — сказал г-н Бержере. И он снова начал:

«Товарищ

прокурора

Министры собрались на совет под председательством императора в одной из зал Тюильрийского дворца. Наполеон III молча делал пометки карандашом на плане рабочего квартала. Его бледное продолговатое лицо выделялось своей унылой задумчивостью среди квадратных краснощеких физиономий людей деловых и практических. Он приоткрыл веки, обвел овальный стол неопределенным взглядом и спросил:

— Больше нет дел к рассмотрению, господа?

Его негромкий голос, как бы приглушенный густыми усами, казалось, доносился издалека.

Тут министр юстиции мигнул министру внутренних дел, чего тот как будто не заметил. Министром юстиции был тогда господин Деларбр, из судейской семьи, проявивший на высоких юридических постах гибкость и умеренность, иногда неожиданно сменявшиеся сознанием своего профессионального достоинства и непреклонностью. Говорили, будто с тех пор как он стал сторонником императрицы и ультрамонтанов *, он часто преисполнялся духом янсенизма *, которым отличались великие адвокаты, его предки. Но те, кто знал его ближе, считали его человеком придиричвым, несколько взбалмошным, не интересующимся делами государственной важности, недоступными его понима-

нию, зато настойчивым в мелочах, ибо он был недалек и падок на интриги.

Император оперся обеими руками на золоченые локотники своего кресла и собрался встать. Деларбр, видя, что министр внутренних дел уткнул нос в бумаги и избегает его взгляда, сам обратился к нему:

— Простите, дорогой коллега, что я подымаю вопрос, который касается вашего ведомства, но тем не менее он интересует и нас. Вы сами выразили желание предложить на рассмотрение совета вопрос о чрезвычайно щекотливом положении, в какое попал известный нам судейский чиновник по вине префекта одного из западных департаментов.

Министр внутренних дел пожал своими широкими плечами и несколько нетерпеливо поглядел на Деларбра. У него был довольный и в то же время брюзгливый вид, свойственный вершителям человеческих судеб.

— О х , — вздохнуло н , — это болтовня, бабьи сплетни, выдумки, которые я постеснялся бы доводить до сведения вашего величества, если бы мой коллега из министерства юстиции не придавал им значения, какого я лично в них не нахожу.

Наполеон III снова принялся что-то чертить.

— Дело идет о префекте департамента Нижней Луары, — продолжал министр. — Этот чиновник пользуется у себя в департаменте славой Дон-Жуана. И утвердившаяся за ним репутация волокиты, а также всем известная его любезность и преданность существующему строю немало способствовали его популярности в округе. Его ухаживание за госпожой Мери, супругой прокурора, всем известно и обсуждается на все лады. Согласен, префект Пелиссон дал пищу скандальной нантской хронике; в кругах местной буржуазии, особенно в домах, где бывают судейские, его строго осуждают. Разумеется, было бы нежелательно, чтобы продолжалось такое поведение господина префекта Пелиссона в отношении госпожи Мери, само положение которой, казалось бы, должно было ее оградить от всяких двусмысленных притязаний. Но, по моим сведениям, госпожа Мери не была определенно скомпрометирована, и я смею утверждать, что нет

оснований опасаться скандала. При некоторой предусмотрительности и внимании это дело не будет иметь неприятных последствий.

Окончив свою речь, министр внутренних дел закрыл портфель и откинулся на спинку кресла.

Император молчал.

— Позвольте, дорогой коллега, — сухо сказал министр юстиции, — жена прокурора нантского суда состоит в любовницах префекта Нижней Луары; это обстоятельство, известное всему ведомству, бросает тень на судейское сословие в целом. Вот на это-то положение вещей и следует обратить внимание его величества.

— Конечно, — заметил министр внутренних дел, устремив взор к аллегорическим фигурам на потолке, — конечно, подобные факты прискорбны; однако не надо преувеличивать: я допускаю, что префект Нижней Луары был несколько легкомыслен, а госпожа Мери несколько неосторожна, но...

Окончание своей мысли министр предназначил мифологическим фигурам, парившим в лазури потолка. На минуту воцарилось молчание, стало слышно наглое чириканье воробьев, сидевших на деревьях в саду и на карнизах дворца.

Господин Деларбр покусывал тонкие губы и дергал свои корректные, однако не лишённые кокетливости бакенбарды. Он снова заговорил:

— Простите мою настойчивость; полученные мной секретные сведения не позволяют сомневаться насчет характера отношений между господином Пелиссоном и госпожой Мери. Уже два года как установились эти отношения. Дело в том, что в сентябре 18** года префект Нижней Луары достал господину прокурору приглашение на охоту к графу де Моранвиллю, депутату от третьего округа департамента Нижней Луары, и в отсутствие мужа проник в спальню к госпоже Мери. Он прошел через огород. Наутро садовник заметил следы и уведомил полицию. Начались розыски; арестовали даже какого-то бродягу, которому не удалось доказать свою непричастность, и посему он несколько месяцев просидел в предварительном заключении. Впро-

чем, он вообще был на плохом счету и никого особенно не интересовал. И еще по сей день прокурор вместе с небольшой кучкой людей упорно обвиняет его в покушении на кражу со взломом. Но это не меняет положения; я повторяю, оно все так же неприятно и подрывает престиж судебного ведомства.

По своему обыкновению министр внутренних дел бросил несколько веских фраз, под давлением которых прекращались все споры. Он сказал, что крепко держит в руках префектов, что сумеет внушить господину Пелиссону правильный взгляд на вещи и что незачем принимать строгие меры против умного и старательного чиновника, пользующегося любовью у себя в департаменте и незаменимого «с точки зрения выборов». Кто же больше министра внутренних дел заинтересован в том, чтобы департаментские власти и судебный мир жили в добром согласии?

Меж тем император слушал и молчал с обычным для него отсутствующим видом. Вероятно, он думал о давно минувшем, потому что неожиданно сказал:

— Бедный господин Пелиссон, я знал его отца. Его звали Анахарсис Пелиссон. Он был сыном республиканца тысяча семьсот девяносто второго года. И сам он был республиканцем, и при Июльской монархии сотрудничал в оппозиционных газетах. Когда я сидел в заключении в крепости Гам *, он прислал мне ласковое письмо. Вы не можете себе представить, сколько радости приносит заключенному малейшее проявление участия. Затем наши пути разошлись. Мы так и не увиделись. Он умер.

Император закурил папиросу, на минуту задумался. Затем сказал, вставая:

— Господа, я вас больше не задерживаю.

И нескладный, как большекрылая птица, когда она переступает по земле, он удалился в свои личные покои, а министры один за другим прошли длинной анфиладой зал, сопровождаемые унылым взглядом лакеев. Маршал — военный министр — протянул портсигар министру юстиции.

— Господин Деларбр, пройдемся немного? Мне хочется размять ноги.

Идя по улице Риволи вдоль решетки, окружающей террасу Фельянов, маршал сказал:

— Сигары я люблю только дешевые, очень крепкие. Все остальные кажутся мне приторными, как варенье. Можете себе представить?..

Он забыл, о чем говорил. Затем начал снова.

— Скажите: Пелиссон, о котором вы говорили сейчас на совете, — это сухонький чернявый человек, лет пять тому назад бывший супрефектом в Сен-Дие?

Деларбр ответил, что Пелиссон действительно был супрефектом в Вогезах.

— Так я и думал, я знаю этого самого Пелиссона. И госпожу Пелиссон я тоже отлично помню. Я сидел рядом с ней за обедом в Сен-Дие, куда приезжал на открытие какого-то памятника. Можете себе представить?..

— Что это за женщина? — спросил Деларбр.

— Небольшого роста, черная, тоненькая. С виду худая. Утром, в закрытом платье, она показалась мне совсем не интересной. А вечером, за столом, декорированная, с цветами на груди, — очень приятной.

— А в нравственном отношении?

— В нравственном?.. Я ведь, кажется, не дурак, а вот нате же! Ничего не понимаю в женской нравственности. Одно могу сказать, что госпожу Пелиссон считали чувствительной особой. Говорили, будто она равнодушна к красивым мужчинам.

— Она дала вам это понять?

— Нисколько. За десертом она сказала: «Я обожаю людей, обладающих даром слова. Возвышенные речи приводят меня в восторг». Я не мог отнести это на свой счет. Правда, утром я произнес речь. Но сочинить ее приказал своему адъютанту, близорукому артиллерийскому офицеру. Она была написана таким бисерным почерком, что я ничего не мог разобрать... Можете себе представить?..

Они дошли до Вандомской площади. Деларбр протянул маршалу маленькую сухую руку и нырнул под своды министерства.

На следующей неделе, по окончании совета, когда министры уже собирались уходить, император, положив руку на плечо министру юстиции, сказал:

— Дорогой господин Деларбр, я случайно узнал, — в моем положении все узнается случайно, — что в нантской судебной палате освободилось место товарища прокурора. Прошу вас иметь в виду на этот пост молодого, весьма достойного доктора прав, который написал замечательную диссертацию о тред-юнионах. Фамилия его Шано. Это племянник госпожи Рамель. Сегодня он собирается просить у вас аудиенции. Если вы мне предложите это назначение, я с удовольствием подпишу его.

Император с нежностью произнес имя своей молочной сестры, которую продолжал любить, хотя она — заядлая республиканка — отвергала его авансы и, несмотря на то, что была вдова, что бедствовала, что жила в мансарде, отказывалась от помощи монарха и, нисколько того не скрывая, возмущалась государственным переворотом. Но спустя пятнадцать лет, уступив, наконец, настойчивому расположению Наполеона Третьего, она в знак примирения обратилась к нему с просьбой, не для себя лично, а для своего племянника Шано, молодого доктора прав, — красы университета, как говорили профессора. К тому же в просьбе, с которой госпожа Рамель обратилась к своему молочному брату, не было ничего исключительного: назначение господина Шано в судебную палату было вполне законно. По госпоже Рамель страстно желала, чтобы ее племянника послали в департамент Нижней Луары, где жили его родители. Наполеон, вспомнив об этом обстоятельстве, сообщил его министру юстиции.

— Было бы очень желательно, — сказал он, — чтобы мой кандидат был назначен именно в Нант: он сам оттуда, там живут его родители. Это соображение весьма важно для молодого человека, небогатого и склонного к семейной жизни.

— Шано... трудолюбивый, знающий и небогатый... — начал министр.

Он прибавил, что приложит все усилия и постарается исполнить волю его величества. Он боится

только одного: как бы прокурор уже не представил списка кандидатов, в котором, понятно, не мог быть упомянут Шано. Прокурор — это тот самый господин Мерио, о котором шла речь на предыдущем заседании. Не хотелось бы, конечно, действовать против планов прокурора. Но он постарается дать этому делу ход соответственно желанию, выраженному его величеством.

Он поклонился и вышел. Был его приемный день. Войдя в кабинет, он тотчас же спросил Лабарта, своего секретаря, много ли народу в приемной. Там ожидали два председателя суда, советник кассационной палаты, кардинал-архиепископ никоидийский, много судей, адвокатов и духовных лиц. Министр спросил, нет ли там некоего Шано. Лабарт порылся в визитных карточках, лежавших на серебряном подносе, и отыскал карточку Шано, доктора прав, удостоенного премии Парижского юридического факультета. Министр распорядился просить его первым, но провести через служебное помещение, дабы не обидеть представителей судебного ведомства и духовенства.

Министр сел к столу и пробормотал про себя: «Чувствительная особа, по словам маршала, неравнодушна к красивым мужчинам, обладающим даром слова...»

Служитель ввел в кабинет долговязого сутулого молодого человека в очках, с вытянутым черепом; все нескладное его существо выражало одновременно застенчивость человека, привыкшего к уединенной жизни, и дерзость мыслителя.

Министр юстиции осмотрел вошедшего с головы до ног и обратил внимание, что в лице у него есть что-то детское и что он узкогруд. Он пригласил его сесть. Проситель присел на краешек кресла, закрыл глаза и заговорил, не жалея слов:

— Господин министр, обращаюсь к вам с просьбой оказать мне благоволение и принять в судейское со-слобие. Быть может, вы, ваше превосходительство, сочтете, что отметки, полученные мною на различных экзаменах, и премия, присужденная за работу о тред-юнионах, могут служить достаточным основанием и что племянник госпожи Рамель, молочной сестры императора, не совсем недостоин...

Министр юстиции прервал его движением своей сухонькой желтой руки.

— Разумеется, господин Шано, разумеется, вам оказано высочайшее покровительство, которое не может пасть на недостойного. Я знаю, император принимает в вас большое участие. Вы хотели бы получить пост товарища прокурора, господин Шано?

— Ваше превосходительство, — ответил Шано, — я был бы больше чем удовлетворен, если бы вы назначили меня товарищем прокурора в Нант, где живет моя семья.

Деларбр посмотрел на Шано своими свинцовыми глазами и сухо сказал:

— В нантской прокуратуре нет вакансий.

— Извините, ваше превосходительство, но мне казалось...

Министр поднялся:

— Вакансий нет.

Шано уже пошел к двери, отвешивая неловкие поклоны, и стал искать выхода, но тут министр сказал ему убедительным и почти конфиденциальным тоном:

— Поверьте, господин Шано, отсоветуйте вашей тетушке обращаться с новыми просьбами, они вам не помогут, а, возможно, даже и повредят. Помните, что император принимает в вас большое участие, и положитесь на меня.

Как только дверь закрылась, министр позвал своего секретаря:

— Лабарт, приходите с вашим кандидатом.

Вечером, в восемь часов, Лабарт вошел в дом на улице Жакоб, поднялся по лестнице под самую крышу и крикнул с площадки:

— Лепарда, готов?

Открылась дверь в крошечную мансарду. На полке лежало несколько юридических книг и растрепанных романов; над кроватью висели черная бархатная полумаска с кружевом, букетик засохших фиалок и рапиры. На стене — плохой портрет Мирабо, гравированный на меди. Посреди комнаты высокий молодой брю-

нет упражнялся с гантелями. У него были курчавые волосы, низкий лоб, карие, поразительно ласковые смеющиеся глаза, нос с трепетными, как у лошади, ноздрями, полуоткрытый красивый рот и волчьи зубы.

— Я ждал тебя, — сказал он.

Лабарт стал торопить его, чтоб он одевался. Он был голоден. Когда же, наконец, обед?

Лепарда, положив гантели на пол, снял пиджак; у него были широкие плечи и шея Геркулеса, на которой сидела круглая голова.

«Меньше двадцати шести ему не дашь», — подумал Лабарт.

Как только Лепарда надел сюртук, под тонким сукном которого вырисовывалась его могучая мускулатура, Лабарт вытолкал его за дверь.

— Через три минуты мы будем у Маньи. У меня министерская карета.

В ресторане они заняли отдельный кабинет, чтобы переговорить на свободе.

После камбалы и баранины Лабарт кратко и точно изложил дело:

— Слушай хорошенько, Лепарда. Завтра ты увидишь моего министра, в четверг твое назначение будет предложено нантским прокурором, а в понедельник — представлено императору на подпись. Ему подсунут его в то время, как он будет занят с Альфредом Мори * вопросом о местоположении Алезии. Когда император изучает топографию Галлии времен Цезаря, он подпишет все что угодно. Но помни хорошенько, чего от тебя ждут. Ты должен снискать благоволение супруги префекта. Ты должен снискать его до конца. Только в таком случае судебное ведомство почтет себя отомщенным.

Довольный Лепарда уписывал за обе щеки и слушал, улыбаясь с наивным самомнением.

— Но, — сказал он, — что за мысль зародилась в голове у Деларбра? Я считал его ригористом.

Лабарт остановил его, подняв нож.

— Прежде всего, мой милый, пожалуйста, не скомпрометируй моего министра, он должен стоять совершенно в стороне от этого дела. Но раз ты упомянул о Деларбре, позволь тебе сказать, что его ригоризм —

ригоризм янсенистский. Он внучатый племянник дьякона Париса *. Дядя его матери — тот самый господин Карре де Монжерон, который выступал в суде в защиту фанатиков из монастыря святого Медара. А янсенисты при всем своем ригоризме любят смаковать альковные истории, у них есть склонность к дипломатическим и каноническим шалостям. Это следствие их строжайшего целомудрия. А потом они ведь читают Библию. В Ветхом Завете сколько угодно историй вроде твоей, дорогой Лепарда.

Лепарда не слушал. Он весь был погружен в наивную радость. Он вспоминал своих родителей, малостоятельных аженских лавочников, и думал: «Что скажет отец? Что скажет мать?» И мысленно он уже как-то сближал свою только еще намечающуюся карьеру со славой Мирабо, любимого своего героя. Еще в коллеже мечтал он о жизни, в которой будет много женщин и красивых речей.

Лабарт вернул к действительности своего молодого друга.

— Вам известно, господин товарищ прокурора, что вас можно сменить. Если в течение положенного срока вы не сумеете снискать симпатию — я имею в виду полную симпатию — госпожи Пелиссон, то попадете в немилость.

— Но, — простодушно спросил Лепарда, — сколько времени мне дается на то, чтоб снискать безграничную симпатию госпожи Пелиссон?

— До каникул, — серьезно ответил секретарь министра. — Кроме того, мы всячески облегчим тебе дело, дадим секретные поручения, отпуска и тому подобное. Все, за исключением денег. Мы прежде всего правительство честное. Этому не верят. Но впоследствии узнают, что мы не обдeldывали своих личных делишек. Взять хотя бы Деларбра: про него не скажешь, что он не чист на руку. Притом секретные фонды принадлежат министерству внутренних дел, ведомству ее мужа. Чтобы соблазнить госпожу Пелиссон, можешь рассчитывать только на две тысячи четьреста франков жалованья и на собственную смазливую физиономию.

— А что, супруга моего префекта — хорошенькая? — спросил Лепарда.

Он задал этот вопрос небрежно, не придавая ему особого значения, спокойно, как очень молодой человек, для которого все женщины красивы. Вместо ответа Лабарт положил на стол карточку худой дамы в круглой шляпе, с двойными гладкими начесами, спускающимися на смуглую шею.

— Вот карточка госпожи Пелиссон — сказал он. — Министерство юстиции затребовало ее из полицейской префектуры, откуда она отправлена нам, как видишь, со штемпелем охранного отделения.

Лепарда схватил карточку своими квадратными пальцами.

— Красивая, — сказал он.

— Есть у тебя план, — спросил Лабарт, — продуманная система обольщения?

— Нет, — просто ответил Лепарда.

Лабарт, человек рассудительный, заметил, что следует все предусмотреть, все взвесить, дабы не попасть впросак при любых обстоятельствах.

— Разумеется, — прибавил он, — тебя будут приглашать в префектуру на балы и ты будешь танцевать с госпожой Пелиссон. Ты умеешь танцевать? Покажи, как ты танцуешь.

Лепарда встал и, обняв стул, сделал тур вальса; он смахивал на добродушного медведя.

Лабарт с чрезвычайной серьезностью глядел на него в монокль.

— Тяжеловат, неловок, нет в тебе той неотразимой грации, которая...

— Мирабо танцевал плохо, — возразил Лепарда.

— Впрочем, — сказал Лабарт, — возможно, что стул тебя не вдохновляет.

Когда они вновь очутились на сырой и узкой улице Контрэскарп, навстречу им стали попадаться девицы, прогуливающиеся от перекрестка Бюси до кофейни на улице Дофины. При свете фонаря они увидели дебелую, грузную девицу, в дешевеньком черном платье, шедшую угрюмо, едва волоча ноги. Лепарда вдруг обнял ее за талию, приподнял и, прежде чем она успела опом-

ниться, сделал с ней несколько туров вальса по грязной мостовой и лужам.

Придя в себя от изумления, она разразилась самой отборной руганью по адресу своего кавалера, уносившего ее в неудержимом порыве. Оркестр изображал он сам, его теплый баритон возбуждал, как военная музыка, они вертелись так яростно, что во все стороны разлетались брызги и грязь; и вместе с девицей он наткнулся на оглобли ночных извозчиков и ощущал у себя на шее дыхание лошадей. После нескольких туров гнев ее остыл, она склонила голову на грудь молодого человека и шепнула ему на ухо:

— А ты красивый мальчик! Уж и любят тебя, верно, женщины! А?

— Хватит, голубчик! — крикнул Лабарт. — А то еще попадешь в участок. Я спокоен, ты отомстишь за судебное ведомство!

Четыре месяца спустя министр юстиции и культов, проходя как-то золотистым сентябрьским днем под аркадами улицы Риволи, увидел господина Лепарда, нантского товарища прокурора, в ту минуту, когда молодой юрист быстро входил в гостиницу «Лувр».

— Лабарт, — обратился министр к бывшему с ним секретарю, — вы знали, что ваш протеже в Париже? Значит, его ничто не удерживает в Нанте? Последнее время вы что-то не делаете мне никаких конфиденциальных сообщений на его счет. Первые его шаги меня заинтересовали, но я не уверен, вполне ли он отвечает тому лестному мнению, которое вы о нем составили.

Лабарт стал защищать товарища прокурора; он напомнил министру, что Лепарда был в законном отпуску, что в Нанте он с первых же дней завоевал доверие начальства и в то же время снискал благосклонность префекта.

— Господин Пелиссон, — прибавил он, — обойтись без него не может. Концерты в префектуре устраивает Лепарда.

Меж тем министр с секретарем продолжали свой путь по направлению к улице Мира, вдоль аркад, изредка останавливаясь перед витринами фотографов.

— Слишком много наготы выставляют в витринах, — сказал министр. — Следовало бы обуздать эту распушенность. Иностранцы судят о нас по внешнему виду, а подобные выставки могут повредить доброй славе нашей страны и правительства.

Вдруг на углу улицы де л'Эшель Лабарт обратил внимание министра на женщину под вуалью, быстро идущую им навстречу. Но Деларбр, окинув ее взглядом, нашел, что она весьма заурядна, слишком худа и неизящна.

— Она носит плохую обувь, — заметил он. — Это провинциалка.

Когда она прошла мимо, Лабарт сказал:

— Вы, ваше превосходительство, не ошиблись: это госпожа Пелиссон.

Услышав эту фамилию, министр заинтересовался и тут же повернул обратно. Смутное чувство собственного достоинства удерживало его. Но взгляд его светился любопытством.

Лабарт подзадорил его:

— Держу пари, господин министр, что она идет не очень далеко.

Они ускорили шаг, госпожа Пелиссон прошла вдоль аркад, очутилась на площади Пале-Рояль и, спокойно оглянувшись по сторонам, исчезла в гостинице «Лувр».

Тогда министр расхохотался во все горло. Его маленькие свинцовые глазки загорелись. И он процедил сквозь зубы слова, которые секретарь скорее угадал, чем расслышал:

— Судебное ведомство отомщено!

В тот самый день император, имевший тогда пребывание в Фонтенебло, курил у себя в библиотеке. Он сидел неподвижно, словно меланхоличная морская птица, прислонившись к шкафу, где хранилась кольчуга Мональдески *. Его приближенные, Виоле ле Дюк * и Мериме *, были тут же.

Он спросил:

— Господин Мериме, почему вы любите произведения Брантома? *

— Государь, — ответил Мериме, — я узнаю в них французскую нацию с ее хорошими и дурными чертами. Самые дурные ее свойства проявляются тогда, когда у нее нет главы, который бы мог указать ей благородную цель.

— Вот как? Это явствует из Брантома? — сказал император.

— Из Брантома явствует также и то, — продолжал Мериме, — что женщины оказывают огромное влияние на государственные дела.

В это время госпожа Рамель вошла в галерею. Наполеон приказал допускать ее к себе без доклада. Когда он увидел молочную сестру, он проявил радость, насколько это было возможно при его унылых, неподвижных чертах.

— Дорогая госпожа Рамель, — обратился он к ней, — как чувствует себя ваш племянник в Нанте? Доволен?

— Но, государь, его туда не послали, — ответила госпожа Рамель, — на его место был назначен другой.

— Странно, — задумчиво пробормотал монарх.

Затем, положив руку на плечо академика, он сказал:

— Дорогой господин Мериме, думают, что я вершитель судеб Франции, Европы и всего света. А я не могу по своему усмотрению назначить товарища прокурора шестого класса на жалованье в две тысячи четыреста франков.

XV

Окончив чтение, г-н Бержере сложил рукопись и убрал ее в карман. Г-н Мазюр, г-н Пайо, г-н де Термондр — все трое молча покачали головой.

Затем г-н де Термондр сказал, дотронувшись до рукава г-на Бержере:

— То, что вы нам прочли, дорогой профессор, действительно...

Тут в лавку влетел взволнованный Леон и громко крикнул:

— Госпожу Усье нашли задушенной в постели!

— Странно, — сказал г-н де Термондр.

— По состоянию трупа, — прибавил Леон, — предполагают, что смерть наступила три дня назад.

— Значит, — заметил архивариус Мазюр, — преступление было совершено в субботу.

Книгопродавец Пайо, стоявший с разинутым ртом и до сих пор не проронивший ни слова из уважения к смерти, стал припоминать:

— В субботу, около пяти часов пополудни, я хорошо слышал приглушенные крики и шум как будто от падения тела. Я даже сказал здесь присутствующим господам (он поглядел на г-на де Термондра и на г-на Бержере), что в «доме королевы Маргариты» творится что-то неладное.

Никто не выразил восхищения остротой чувств и тонкой сообразительностью, которые приписывал себе книгопродавец, заподозривший преступление в тот момент, когда оно совершалось.

Почтительно помолчав, Пайо прибавил:

— В ночь с субботы на воскресенье я сказал жене: «Больше ничего не слышать в «доме королевы Маргариты»».

Господин Мазюр спросил, сколько лет было жертве преступления. Пайо ответил, что вдове Усье было лет семьдесят девять — восемьдесят, что она овдовела пятьдесят лет тому назад, что у нее были земли, ценные бумаги и много денег, но она была скупа и чудаковата, не держала прислуги, сама стряпала в камине, у себя в спальне, и жила одна, окруженная старой мебелью и посудой, за четверть века покрывшимися густой пылью. Действительно, уже более двадцати пяти лет «дом королевы Маргариты» не подметался. Вдова Усье выходила редко, закупала провизию сразу на целую неделю и никого к себе не пускала, кроме приказчика из мясной да двух-трех мальчишек, бывших у нее на посылках.

— Считают, что преступление было совершено в субботу, после полудня? — спросил г-н де Термондр.

— Так предполагают по состоянию трупа, — ответил Леон. — Говорят, на него смотреть страшно.

— В субботу, после полудня, — продолжал г-н де Термондр, — мы были здесь, только стена отделяла нас от ужасной сцены, и мы беседовали о разных пустяках.

Снова наступило долгое молчание. Затем кто-то спросил, известно ли хотя бы, кто убийца или, может быть, он уже задержан? Но Леон при всем желании не мог ответить на эти вопросы.

В книжной лавке стало темновато от сплошной толпы зевак, собравшихся на площади перед домом, где произошло преступление. И темнота все сгущалась, в ней было что-то зловещее.

— Должно быть, ожидаютя полицейский комиссар и следственные власти, — сказал архивариус Мазюр.

Пайо, отличавшийся замечательной предусмотрительностью, приказал Леону закрыть ставни: он опасался, как бы любопытные не разбили стекол в витрине.

— Оставьте открытой только витрину, выходящую на улицу Тентельри, — сказал он.

В этой мере предосторожности все почувствовали известную деликатность. Завсегдатаи букинистического угла одобрили это. Но улица Тентельри была узкая, а окно с внутренней стороны было залеплено афишами и рисунками, и лавка погрузилась в полумрак.

Гул толпы, до сих пор малозаметный, в темноте стал как-то слышнее и разливался по лавке, глухой, властный, пожалуй даже грозный, выражая единодушное нравственное возмущение.

Взволнованный г-н де Термондр вновь повторил поразившую его мысль.

— Странно! — сказал он. — Тут совсем рядом совершалось преступление, а мы спокойно беседовали о разных пустяках.

Тогда г-н Бержере склонил голову к левому плечу, посмотрел вдаль и сказал так:

— Дорогой господин де Термондр, позвольте вам заметить, что тут нет ничего удивительного. Вовсе не обязательно, чтобы в момент совершения преступного деяния сами собой обрывались разговоры на несколько миль или хотя бы на несколько шагов в окружности,

Действие, внушенное даже самой мерзостной мыслью, приводит лишь к естественным результатам.

Господин де Термондр ничего не ответил на эти слова, а остальные присутствующие отвернулись от г-на Бержере со смутным чувством неловкости и осуждения.

Тем не менее преподаватель филологического факультета продолжал:

— Да и может ли столь естественный и заурядный факт, как убийство, привести к необычным и сверхестественным результатам? Убивать свойственно животным, в особенности — человеку. В человеческом обществе к убийству долгое время относились одобрительно, и в наших нравах и учреждениях еще сохранились следы этого древнего одобрения.

— Какие следы? — спросил г-н де Термондр.

— Ну, хотя бы тот почет, каким пользуются военные, — ответил г-н Бержере.

— Это совсем не то, — возразил г-н де Термондр.

— Конечно, — согласился г-н Бержере, — но всеми человеческими поступками движут голод и любовь. Голод научил варваров убийству, подвинул их на войны и вторжения. Цивилизованные нации похожи на охотничьих собак. Извращенный инстинкт толкает их на бессмысленное и бесцельное разрушение. Бессмысленность современных войн именуется династическими или национальными интересами, европейским равновесием, честью. Последний довод, пожалуй, наиболее странный, ибо нет на свете нации, которая не запятнала бы себя всевозможными преступлениями и не покрыла всяческим позором. Нет нации, которая не испытала бы всех унижений, какие судьба посылает жалкой кучке людей. Если у наций все же сохранилось еще чувство чести, то странно поддерживать эту честь при помощи войны, то есть совершая все те преступления, которые бесчестят любого человека в отдельности: поджоги, грабежи, насилия, убийства. А действия, которыми движет любовь, в большинстве случаев такие же насильственные, такие же неистовые и жестокие, как и действия, вызванные голодом; таким образом невольно приходишь к выводу, что человек —

животное зловредное. Остается выяснить, откуда я это знаю и почему испытываю чувство горечи и возмущения? Если бы существовало только зло, мы бы его не замечали, все равно как и ночь не имела бы названия, если бы ее не сменял день.

Однако г-н де Термондр отдал уже религии кротости и человеколюбия достаточную дань, упрекнув себя за легкомысленный и веселый разговор в тот момент, когда совершалось преступление, да еще так близко. Теперь трагический конец вдовы Усье начинал казаться ему случаем житейским, на который можно взглянуть совершенно трезво, взвесив все его последствия. Он подумал, что отныне ничто не помешает ему приобрести «дом королевы Маргариты», разместить там свои коллекции, мебель, фарфор, гобелены и устроить таким образом нечто вроде городского музея. За свои труды и щедроты он рассчитывал получить не только благодарность сограждан, но еще и орден Почетного легиона, а может быть, и звание члена-корреспондента Французского института*.

В Академии надписей у него было два-три приятеля, таких же старых холостяка, как и он сам. Когда он бывал в Париже, они завтракали вместе где-нибудь в кабачке и рассказывали друг другу пикантные анекдоты о женщинах. Члена-корреспондента от его округа в Академии не было.

Он уже подумывал о том, что надо бы сбить цену на вождеденный дом.

— «Дом королевы Маргариты», — сказал он, — еле держится. Балки накатов прогнили и трухой осыпались на бедную старуху. Придется затратить огромные средства, чтобы привести его в должный вид.

— Самое лучшее было бы снести его, — заметил архивариус Мазюр, — а фасад отправить во двор музея. Шаль будет, если герб Филиппа Трикульера пойдет на слом.

С площади донесся гул толпы: полиция разгоняла народ, чтобы очистить следственным властям проход к месту преступления.

Пайо высунул нос в приоткрытую дверь и сказал:

— Вот следователь, господин Рокенкур, со своим секретарем, господином Сюркуфом. Они вошли в дом.

Ученые мужи из букинистического угла по одному проскользнули вслед за книгопродавцем на улицу Тентельри и оттуда стали наблюдать за возбужденной толпой, наводнившей площадь св. Экзюпера.

Пайо узнал в толпе председателя суда Кассиньоля. Старик совершал свою ежедневную прогулку. Ходил он мелкими шажками, видел плохо и теперь, попав в возбужденную толпу, никак не мог оттуда выбраться, но держался он еще прямо и твердо, гордо нося свою высохшую седую голову.

Увидев его, Пайо побежал ему навстречу, снял свою бархатную ермолку и, подав ему руку, пригласил зайти посидеть в лавку.

— Ну, разве можно, господин Кассиньоля, быть таким неосторожным! Попали в самую давку. Настоящий бунт.

При слове «бунт» перед стариком встал как бы призрак революционного века, трех четвертей которого он был свидетелем. Ему шел восемьдесят седьмой год, и уже двадцать пять лет он пребывал в звании почетного советника.

Поддерживаемый под руку книгопродавцем Пайо, он переступил через порог лавки и сел на соломенный стул, среди почтительно расступившихся ученых мужей. Тросточка с серебряным набалдашником, которую он зажал между худыми коленями, дрожала у него в руке. Он сидел, не сгибаясь, прямой, как спинка его стула. Он снял свои черепаховые очки, протер их и снова не спеша надел. Память на лица он потерял и, хотя был туг на ухо, узнавал теперь людей по голосу.

Он осведомился в немногих словах о причине скопления народа на площади и не дослушал ответа г-на де Термондра. Его крепкий, одеревенелый, словно мумифицированный мозг не воспринимал уже новых впечатлений, зато старые мысли и чувства глубоко врезались в него.

Де Термондр, Мазюр и Бержере стояли вокруг. Они не знали истории его жизни, затерянной в незапамятном прошлом. Знали только, что он был учеником,

другом, товарищем Лакордера * и Монталамбера *, что в границах, дозволенных должностью, он оказывал сопротивление империи, что в свое время снес обиду от Луи Вейо * и теперь каждое воскресенье ходит к обедне с толстым молитвенником под мышкой. Для них, как и для всего города, его окружал ореол давней неподкупной честности и славы человека, всю жизнь ратававшего за свободу. Но никто не мог бы сказать, в чем состояли его свободолюбивые убеждения, ибо никто не прочел изданной г-ном Кассиньоном в 1852 году брошюры о римских делах, где было напечатано следующее: «Свобода дает только вера во Христа и в нравственное достоинство человека». Рассказывали, что, сохранив до преклонного возраста ясность ума, он приводил в порядок свою корреспонденцию и трудился над книгой об отношениях между церковью и государством. До сих пор еще он был словоохотлив.

Когда в разговоре, которого он почти не слушал, кто-то упомянул фамилию г-на Гаррана, прокурора республики, он сказал, глядя на набалдашник своей трости, как на единственного уцелевшего свидетеля минувших дней:

— В тысяча восемьсот тридцать восьмом году я знал в Лионе одного королевского прокурора, который высоко ставил свое звание. Он утверждал, что один из атрибутов прокурорского надзора — непогрешимость и что королевский прокурор не может ошибаться, так же как и сам король. Именовался он господином де Клавелем, и после него остались ценные работы по уголовному судопроизводству.

И старик умолк, пребывая среди людей наедине со своими воспоминаниями.

Пайо с порога лавки смотрел на улицу.

— Вот господин Рокенкур выходит из дома.

Господин Кассиньоль, вспоминая прошлое, сказал:

— На первых порах я служил в суде. Я служил под началом господина де Клавеля, который непрестанно твердил: «Хорошенько усвойте следующее правило: интересы обвиняемого священны, интересы общества дважды священны, интересы правосудия трижды

священны». В то время отвлеченные принципы имели больше влияния на умы, чем теперь.

— Справедливо изволили заметить, — подтвердил г-н де Термондр.

— В ручной тележке вывозят ночной столик, посуду и белье, — сказал Пайо, — верно, вещественные доказательства.

Господин де Термондр, не выдержав, пошел посмотреть, как нагружают тележку. Вдруг он воскликнул, нахмурившись:

— Черт возьми!

И в ответ на вопросительный взгляд Пайо прибавил:

— Так, ничего!

Он был тонким знатоком и сразу заметил среди взятых следователем предметов старинный фарфоровый кувшин, о котором он решил справиться по окончании следствия у секретаря Сюркуфа, человека весьма обязательного. Он часто прибегал к хитрости, составляя свои коллекции. «Ничего не поделаешь, времена тяжелые», — оправдывался он сам перед собой.

— Двадцати двух лет я был назначен товарищем прокурора, — снова повел речь г-н Кассиньоль. — У меня были тогда длинные кудри, розовое и безбородое лицо, и я выглядел совсем юным, что очень меня огорчало. Чтобы внушить окружающим уважение, я напускал на себя важность и был строг в обхождении. Я выполнял свои обязанности с должным усердием, за что и был награжден. Тридцати трех лет я уже был прокурором в Пюи.

— Весьма живописный город, — заметил Мазюр.

— По роду моей новой службы мне пришлось выступать обвинителем по одному делу, малоинтересному с точки зрения самого преступления и характера обвиняемого, но не лишенному значения, ибо оно могло кончиться смертным приговором. Некого довольно зажиточного фермера нашли убитым в его постели. Я опущу обстоятельства преступления, хотя они и запечатлелись у меня в памяти, — в них нет ничего особенного. Достаточно сказать, что с самого начала следствия подозрение пало на работника с этой фермы.

Ему было лет тридцать, звали его Пудрай, Гиацинт Пудрай. На другой же день после убийства он исчез. Отыскался он в каком-то кабаке, где пропивал довольно крупные деньги. Веские улики указывали на него, как на виновника преступления. При нем была найдена сумма в шестьдесят франков, происхождение которой он не мог объяснить; на одежде обнаружили следы крови. В ночь убийства два свидетеля видели его около фермы. Правда, другой свидетель подтверждал его алиби, но этот свидетель славился своим безнравственным поведением.

Следствие вел чрезвычайно умелый следователь. Обвинительный акт был составлен с большим искусством. Но Пудрай не сознавался. На суде в продолжение всех прений он отрицал все начисто, и ничем нельзя было его заставить отказаться от такого систематического заперательства. Я приготовил обвинительную речь со всем тщанием, на какое был способен, и с добросовестностью молодого человека, желающего быть на высоте своего призвания. Я произнес ее с пылом, свойственным моему возрасту. Алиби, устанавливаемое женщиной по фамилии Корто, которая утверждала, будто Пудрай был у нее в Пюи в ночь преступления, очень меня смущало. Я постарался его опровергнуть. Я пригрозил этой женщине наказанием за лжесвидетельство. Один из моих аргументов особенно поразил присяжных. Я им напомнил, что, по словам соседей, дворовые собаки не лаяли на убийцу. Значит, они его знали. Значит, это был свой. Это был работник, это был Пудрай. Словом, я требовал его казни. И я добился своего. Пудрай был приговорен к смерти большинством голосов. По прочтении приговора он громко крикнул: «Я не виновен!» Тогда мной овладело ужасное сомнение. Я подумал, что в конце концов это, возможно, и правда, ведь у меня самого нет той уверенности, которую я внушил присяжным. Мои сослуживцы, наставники, начальники, все вплоть до защитника осужденного, поздравляли меня с блестящим успехом, наперебой хвалили мое молодое и грозное красноречие. Похвалы были мне приятны. Вам, господа, известна тонкая мысль Вовенарга * о первых

лучах славы. И все же у меня в ушах звучали слова обвиняемого: «Я не виновен!»

Я не мог отделаться от сомнений и то и дело повторял сам себе свои аргументы.

Просьба о помиловании была отклонена, а между тем сомнения мои усилились. В то время отмены смертных приговоров бывали чрезвычайно редко, не то что теперь. Пудрай напрасно ходатайствовал о смягчении наказания. Утром того дня, который был назначен для казни, когда эшафот был уже воздвигнут в Мартурэ, я отправился в тюрьму, велел впустить меня в камеру осужденного и, оставшись с ним наедине, сказал: «Ничто не в силах изменить вашу участь. Если у вас сохранились добрые чувства, то ради спасения своей души и ради моего спокойствия, скажите мне, Пудрай, виновны ли вы в преступлении, за которое вас осудили?» Мгновение он смотрел на меня молча. Как сейчас вижу его плоское лицо и большой крепко сжатый рот. Я пережил ужасную минуту. Наконец он медленно опустил голову и тихо, но внятно проговорил: «Теперь, когда ждать больше нечего, я могу сказать, что это мое дело. И повозился я порядочно, старик-то был силен, да еще и злющий вдобавок». Услыхав это последнее признание, я вздохнул с облегчением.

Господин Кассиньоль умолк и долго не сводил своих угасших, тусклых глаз с набалдашника трости, потом изрек:

— За всю мою долгую судебную практику мне ни разу не пришлось столкнуться с судебной ошибкой.

— Такое утверждение радует, — сказал г-н де Термондр.

— А меня приводит в ужас, — пробормотал г-н Бержере.

XVI

В этом году, как и в прежние годы, г-н префект Вормс-Клавлен отправился на охоту в Валькомб к г-ну Делиону, горнозаводчику и члену департаментского совета, у которого была лучшая охота во всей

окрестности. Префекту очень нравилось в Валькомбе; ему льстило, что он встречается там с местной знатью, а именно с Громансами и Термондрами, и он с искренним удовольствием стрелял фазанов. Довольный и сияющий, разгуливал он по лесным просекам. Стреляя, он отставлял ногу, поднимал плечи, наклонял голову, прищурился и хмурил брови, подражая своим первым товарищам по охоте, букмекерам и содержателям кофеен, жителям Буа-Коломб. Громко, с нескрываемым удовольствием возвещал он о каждой убитой им птице; иногда присваивал себе подстреленную соседом, что, конечно, раздражало окружающих, но он безоруживал всех неизменно хорошим настроением и полным непониманием того, что он мог кого-нибудь рассердить. Во всех его манерах приятно сочетались достоинство государственного чиновника и простота веселого сотрапезника. Титулы в его устах звучали, как дружеские прозвища, и так как ему, как, впрочем, и всему департаменту, было известно, что жена г-на де Громанса часто наставляет супругу рога, он при каждой встрече без всякой видимой причины сочувственно хлопывал по плечу этого чопорного господина. Он полагал, что в валькомбском обществе ему рады, и, пожалуй, не совсем в этом ошибался. Поскольку он не попадал в присутствующих дробью и не говорил им в лицо дерзостей, его находили достаточно ловким и даже вежливым, несмотря на его невоспитанность и обжорство.

В этом году с ним были особенно любезны в мире капиталистов. Стало известно, что он противник введения подоходного налога, который в своей компании он остроумно назвал мерой инквизиционной. В Валькомбе признательное общество всячески ему льстило, а г-жа Делион, смягчив для него выражение своих синих стальных глаз и высокого чела, обрамленного седующими волосами, ласково ему улыбалась.

Выйдя из отведенной ему комнаты, где он переоделся к обеду, в неосвещенный коридор, он увидел, как мелькнула, шурша платьем и звеня драгоценностями, г-жа де Громанс, обнаженные плечи которой в сумерках казались еще более обнаженными. Он

бросился за ней, догнал, обнял за тонкую талию и поцеловал в шею. Она поспешила высвободиться из его объятий, и он сказал тоном упрека:

— А мне почему нельзя, графиня?

Тогда она дала ему пощечину, что его весьма озадачило.

На площадке нижнего этажа он встретил Нозми, выглядевшую настоящей дамой в своем черном атласном платье, покрытом черным же тюлем; она медленно натягивала длинные перчатки. Он ласково подмигнул ей. Он был хорошим мужем, очень уважал свою жену и в известной мере даже восхищался ею.

И она того заслуживала. Нужно было обладать необыкновенным умением, чтобы понравиться антисемитскому валькомбскому обществу. А к ней там относились неплохо. Она даже завоевала себе симпатии. И что всего удивительнее — она не казалась там чужой.

Сидя в холодном зале большого помещичьего дома, она делала удивленное лицо и держалась чрезвычайно скромно; это заставляло сомневаться в ее уме, но создавало впечатление, что она честная, кроткая и добрая женщина. В обществе г-жи Делион и прочих дам она восторгалась, соглашалась и молчала. Если же ей выказывал внимание остроумный и светский человек, она напускала на себя еще большую скромность и застенчивость и, робко потупив взор, вдруг бросала игривое замечание, которое было особенно пикантно своей неожиданностью и воспринималось как выражение особой симпатии, так как исходило из столь сдержанных уст и из столь скрытной души. Она покоряла сердца старых волокит. Не кокетничая, не меняя позы, не прибегая к игре веером, только чуть прищулив глаза и сделав быструю гримаску губами, она внушала им лестные для их самолюбия мысли. Она увлекла самого г-на Моррисе, великого знатока женщин, который так отзывался о ней:

— Она всегда была дурнушкой, не похорошела и теперь, но это — женщина!

Господин Вормс-Клавен сидел за столом между г-жой Делион и г-жой Лапра-Теле, супругой сенатора.

Г-жа Лапра-Теле была миниатюрной бледной особой; казалось, будто смотришь на нее сквозь дымку, такие у нее были неопределенные черты. В девушках она вся была пропитана благочестием, как елеем. Выйдя замуж за ловкого человека, женившегося на ней ради денег, она изнуряла плоть в умиленной набожности, а супруг меж тем обделывал дела, спекулируя на своем антиклерикализме и грея руки на передаче церковного имущества светским властям. К церкви она была очень усердна. Когда в сенате было возбуждено ходатайство о разрешении привлечь к судебной ответственности Лапра-Теле и нескольких других сенаторов, г-жа Лапра-Теле, как преданная супруга, поставила две свечи св. Антонию, раскрашенная статуя которого находилась в церкви св. Экзюпера, моля этого великого подвижника даровать мужу прекращение дела за отсутствием улик. Дело именно так и окончилось. Г-н Лапра-Теле, ученик Гамбетты *, имел в руках кое-какие бумажки, фотографический снимок с которых он послал в нужный момент министру юстиции. В порыве благодарности г-жа Лапра-Теле поместила в качестве ех voto на стене часовни мраморную доску со следующей надписью, сочиненной его преподобием отцом Лапрюном: «Святому Антонию в благодарность за нечаянную радость от благочестивой супруги». С тех пор г-н Лапра-Теле пошел в гору. Он дал серьезные доказательства своей преданности консерваторам, которые рассчитывали на его великие финансовые способности для борьбы против социализма. Его политическое положение понемногу восстанавливалось, ему только было поставлено условие не форсировать событий и не добиваться личной власти. И г-жа Лапра-Теле своими восковыми пальцами вышивала пелену на алтарь.

— Ну-с, сударыня, — обратился к ней после супа префект, — как дела благотворительности? Преуспевают? Знаете, после генеральши Картье де Шальмо вы возглавляете наибольшее число богоугодных заведений в департаменте.

Она ничего не ответила. Он вспомнил, что она туга на ухо, и повернувшись к г-же Делион:

— Сударыня, расскажите-ка, что это за благотворительные учреждения в память святого Антония. Меня навела на эту мысль наша милая госпожа Лапра-Теле. Жена уверяет, будто это новая форма почитания святых пользуется громадным успехом у наших дам.

— Ваша супруга права, дорогой господин префект. Мы все — почитательницы святого Антония.

В это время раздался голос Морисе, который, отвечая на слова, затерявшиеся в шуме разговора, говорил г-ну Делиону:

— Вы льстите мне, дорогой друг. Ну как можно сравнивать охоту в Пюи-дю-Руа, где со времен Людовика Четырнадцатого все в полном запустении, с охотой в Валькомбе! В Пюи-дю-Руа мало дичи. Правда, браконьер по фамилии Ривуар, редкий мастер своего дела, не оставляет своими ночными посещениями Пюи-дю-Руа и настрелял там порядочно фазанов. И знаете, из какой рухляди он их бьет? Прямо музейный экспонат. Как-то он разрешил мне хорошенько рассмотреть это оружие, за что я ему очень благодарен. Представьте себе такой...

— Меня уверяли, сударыня, — сказал префект, — будто почитательницы святого Антония посылают ему просьбы в запечатанном конверте и платят лишь по получении желаемого.

— Не смейтесь, — ответила г-жа Делион, — святой Антоний оказывает множество милостей.

— ...такой ствол старой солдатской винтовки, — продолжал г-н Морисе, — обрезанный и укрепленный на особого рода шарнире, чтобы он мог наклоняться, и...

— Мне казалось, — возразил префект, — что специальность святого Антония — отыскивать потерянные вещи.

— Вот потому-то к нему и возносят столько просьб, — ответила г-жа Делион. И прибавила со вздохом: — Кто здесь на земле не потерял какого-либо драгоценного блага? Душевный покой, чистую совесть, дружбу, сложившуюся с детства, или... привязанность мужа? Тогда и обращаются к святому Антонию.

— Или к его четвероногому сподвижнику *, — прибавил префект, повеселевший от вина горнозаводчика и спутавший по неведению святого Антония Падванского со святым Антонием Отшельником.

— Скажите, — спросил г-н де Термондр, — ведь Ривуар, кажется, носит звание браконьера префектуры?

— Вы ошибаетесь, господин де Термондр, — возразил префект. — На него возложены более высокие обязанности епархиального браконьера. Он поставляет дичь монсеньеру.

— Он не отказывается также обслуживать и суд, — сказал председатель суда г-н Пелу.

Господин Делион и генеральша Картье де Шальмо разговаривали вполголоса.

— Моему сыну Гюставу, сударыня, в этом году предстоит отбывать воинскую повинность. Мне очень бы хотелось, чтобы он попал под начало к генералу Картье де Шальмо.

— Не желайте этого. Муж — враг всяческих поблажек и скуп на отпуска: он считает, что молодые люди из хороших семейств должны подавать пример усердной службы. Всем своим полковникам он внушил те же правила.

— ...и этот ствол, — продолжал г-н Морисе, — не соответствует ни одному из установленных калибров, так что Ривуару приходится пользоваться неподходящими по размеру гильзами. Вы легко поймете...

Префект развивал перед г-жой Делион свои соображения, которые должны были окончательно примирить ее с существующим строем, и закончил их следующей возвышенной мыслью:

— Теперь, когда царь собирается посетить Францию *, необходимо, чтобы республика объединилась с высшими классами, дабы установить чрез них связь с нашей великой союзницей Россией.

Тем временем Ноэми со спокойствием мадонны принимала ухаживания председателя суда Пелу, пожимавшего ей под столом ножку.

А молодой Гюстав Делион тихонько шептал г-же де Громанс:

— Надеюсь, сегодня вы не поставите меня в такое глупое положение, как тогда, когда вы кокетничали с этим молодящимся старичком Морисе и мне ничего больше не оставалось, как портить для собственного развлечения часы у вас в желтой гостиной.

— Что за превосходная женщина госпожа Лапра-Теле! — воскликнула г-жа Делион во внезапном порыве дружбы.

— Превосходная, — согласился префект, запихивая в рот четверть груши. — Жаль, что она глуха, как тетерев. Муж у нее также превосходный человек и очень умен. Я с удовольствием замечая, что он вновь входит в силу. Он пережил трудное время. Враги республики хотели его скомпрометировать, чтобы подорвать доверие к существующему строю. Он стал жертвой происков, целью которых было изъять из парламента видных представителей делового мира. Подобное изъятие понизило бы уровень народного представительства и было бы печально во всех отношениях.

На минуту он задумался, затем сказал с грустью:

— Впрочем, скандалов больше не будет; дел больше не делается. Это одно из наиболее досадных последствий той кампании клеветы, которая велась с такой неслыханной наглостью,

— Очень может быть! — прошептала г-жа Делион вдохновенно и задумчиво. И вдруг в сердечном порыве она воскликнула: — Господин префект, верните нам монахов, откройте монахиням двери госпиталей, а богу — двери школы, откуда вы его изгнали! Не препятствуйте нам воспитывать наших сыновей в духе истинной религии, и... мы с вами быстро придем к согласию.

Услыхав эти слова, г-н Вормс-Клавен поднял руки вместе с ножом, к которому пристал кусочек сыру, и воскликнул в простоте душевной:

— Господи боже мой! Да ведь улицы в нашем городе черным-черны от кюре, да и монахов у нас сколько угодно. А если ваш Гюстав, вместо того чтобы ходить в церковь, бегаёт за девицами, так я тут ни при чем.

А г-н Морисе под шум голосов, взрывы смеха и стук серебра по фарфору заканчивал описание чудесною ружья.

Префект, торопившийся покурить, первый прошел в бильярдную. Вскоре к нему присоединился председатель суда Пелу, которому он предложил сигару:

— Возьмите, пожалуйста. Сигара прекрасная.

И на благодарность г-на Пелу он ответил, указывая на ящик гаванских сигар:

— Не благодарите, это сигары хозяина дома.

Подобные шутки были для него обычны.

Наконец явился г-н Делион вместе с большинством гостей, которые оказались более галантными и еще несколько минут поболтали с дамами. Он снисходительно слушал г-на де Громанса, который доказывал ему, как важно для охотника уметь точно определить расстояние.

— Например, — говорил он, — на неровном месте вам представляется, будто заяц еще сравнительно далеко, а на ровном кажется, что можно в него попасть, когда он более чем за пятьдесят метров от вас. Этим объясняется...

— Ну-ка, — предложил префект, беря кий, — ну-ка, Пелу, сыграем разок?

Префект Вормс-Клавлен хорошо играл на бильярде, но председатель суда Пелу мог дать ему несколько очков вперед. Когда-то он был скромным стряпчим в Нормандии, но после одной неудачной земельной сделки ему пришлось продать контору; он был назначен судьей в ту эпоху, когда республика производила чистку судебного ведомства. Его посылали в разные концы Франции по судам, где почти не осталось знатоков права и где он был полезен как специалист по части крючкотворства, а благодаря связям в министерстве он получал повышения по службе. Но повсюду за ним следовал слух о его темном прошлом, и уважением в обществе он не пользовался. Он умел с завидным благоразумием сносить долголетнее презрение. С невозмутимым спокойствием пренебрегал, обидами. Г-н Лерон, товарищ прокурора в отставке, а ныне адвокат при суде в городе ***, говорил: «Это человек умный, он понимает, что расстояние от его кресла до скамьи подсудимых не так уж велико». Однако общественное уважение, которого г-н Пелу не добивался, да и не мог бы добиться,

было ему неожиданно возвращено. Уже в течение двух лет весь судебный мир считал председателя суда Пелу безупречным чиновником. Все были в восхищении от его мужества: в то время как заседатели побледнели от страха, он спокойно, с улыбкой приговорил к пяти годам тюремного заключения трех анархистов, обвиняемых в распространении в казармах воззвания, призывавшего ко всеобщему братству народов.

— Двенадцать и четыре, — объявил председатель Пелу.

Он долгое время практиковался на бильярде в мирном кабачке в главном городке сельского кантона и играл как профессионал — осторожно и с расчетом. Он собирал свои шары в пирамидки и вел непрерывную игру карамболом. Префект Вормс-Клавен играл в более широком, величественном и смелом стиле игроков артистических кофеен Монмартра и Клиши. Он сваливал на бильярд неудачу своих излишне азартных ударов и жаловался, что борта слишком тверды.

— У моего кузена Жака, в Тюильер, — сказал г-н де Термондр, — есть бильярд времен Людовика Пятнадцатого, он стоит в сводчатом, очень низком зале с выбеленными стенами, где еще можно разобрать следующую надпись: «Милостивые государи, покорнейше просим не мелить кии о стену». Просьба эта осталась втуне, ибо своды испещрены круглыми дырочками, происхождение которых и объяснено надписью.

Несколько человек сразу стали расспрашивать председателя суда Пелу о подробностях преступления в «доме королевы Маргариты». Убийство вдовы Усье, взволновавшее всю округу, продолжало возбуждать любопытство. Всем было известно, что тяжкие подозрения падали на приказчика из мясной лавки, девятнадцатилетнего Лекера, который два раза в неделю приносил старухе мясо. Знали также, что следственные власти арестовали как соучастников двух учеников из обойной мастерской, подростков лет четырнадцати — шестнадцати; говорили еще, будто обстоятельства, при которых было совершено преступление, таковы, что рассказывать о них неприлично.

В ответ на расспросы именно по этому поводу председатель суда приподнял над бильярдом свою круглую рюжку и сказал:

— Следствие закончено. Обстоятельства убийства выяснены полностью. Не думаю, что может быть хоть какое-либо сомнение относительно гнусностей, которые предшествовали убийству и облегчили его совершение. — Он взял рюмку, глотнул арманьяку и, прищелкнув языком, сказал: — Ну и шельмец! Настоящий бархат!

И так как к нему со всех сторон приставали с расспросами, он вполголоса сообщил кое-какие подробности, вызвавшие шепот удивления и взрыв негодования.

— Неужели это возможно? — сказал кто-то. — Восемидесятилетняя старуха!

— Случай не единственный, — возразил председатель суда Пелу. — Поверьте моему судейскому опыту. А парнишки с окраин осведомлены по этой части лучше нашего. Преступление в «доме королевы Маргариты» относится к известному, определенному виду, можно сказать — к классическому типу. Я нюхом почувствовал тут старческий разврат и сразу понял, что Рокенкур, которому поручено было следствие, пошел по ложному пути. Он, конечно, тут же распорядился арестовать всех бродяг и оборванцев на несколько миль кругом. Все казались ему подозрительными, а что его окончательно сбilo с толку, так это признание одного из них, Сиэрина, по прозванию Подорожник, неисправимого бродяги.

— Как так?

— Ему надоело сидеть под арестом. За признание ему пообещали трубку табаку. Он признался. Рассказал все, что от него требовали. Этот Сиэрин, которого тридцать семь раз судили за бродяжничество, и мухи не убьет. Он ни разу ничего не украл. Он дурачок, существо безобидное. В момент преступления он был на холме Дюрок, жандармы видели, как он мастерил там фонтаны из соломинок и пробочные лодочки для школьников.

Председатель суда снова принялся за игру.

— Девяносто и сорок... Меж тем Лекер рассказывал всем девицам квартала Карро, что это его рук дело, а содержательницы публичных домов передали полицейскому комиссару серьги, цепочку и кольца вдовы Усье, которыми приказчик из мясной оделил девиц. Лекер, как это часто случается с убийцами, сам отдался в руки правосудия. Но взбешенный Рокенкур оставил Сизрина, именуемого Подорожник, под арестом. Он и сейчас сидит... Девяносто девять... сто!

— Нечего сказать, красавица! — заметил префект Вормс-Клавлен.

— Значит, — пробормотал г-н Делион, — у этой восьмидесятилетней старухи были еще... просто невероятно!..

Но доктор Форнероль, присоединившись к мнению председателя суда Пелу, подтвердил, что это не столь уж редкий случай, как кажется, и привел физиологическое объяснение, выслушанное с большим интересом. Затем он перечислил различные случаи извращения и заключил такими словами:

— Если бы Хромой бес * поднял нас на воздух и приоткрыл крыши домов, нашим взорам представилось бы страшное зрелище, и мы с ужасом обнаружили бы среди своих сограждан множество маниаков, развратников и безумцев, как мужчин, так и женщин.

— А стоит ли к ним присматриваться? — сказал префект Вормс-Клавлен. — Все эти люди, взятые в отделимости, быть может, действительно таковы, как вы говорите, но в целом они образуют превосходный ансамбль моих подопечных и население великолепного департаментского центра.

Меж тем сенатор Лапра-Теле, взгромоздясь на скамью, возвышавшуюся над бильярдом, поглаживал свою длинную седую бороду. В нем было величие полноводной реки.

— Что касается меня, я верю только в добро, — сказал он. — Куда бы я ни кинул взгляд, всюду я нахожу добродетель и честность. Я могу подтвердить множеством примеров, что со времени революции французские женщины, особенно среднего класса, имеют все основания считаться образцом добродетели.

— Я не смотрю так оптимистично, — возразил г-н де Термондр, — но, конечно, я не подозревал, что в «доме королевы Маргариты» за облупившимися стенами и занавешенными паутиной окнами кроются такие постыдные тайны. Я не раз навещал вдову Усье. Она казалась мне недоверчивой и скаредной старухой, чудаковатой, но в общем довольно обыкновенной. Впрочем, как говорили во времена королевы Маргариты:

Она свою сгубила плоть,
Да примет душу ее господь!

Больше она не будет позорить своим развратом герб славного Филиппа Трикульера.

При этом имени на повеселевших лицах заиграли радостные улыбки. Герб, украшенный эмблемами, свидетельствующими о тройной доблести и силе предка здешних горожан, которая равняла его с великим бергамским кондотьером *, был тайной радостью и предметом гордости местного населения. Жители города*** любили своего могучего предка, современника короля из «Ста новых новелл» *, своего древнего бургомистра Филиппа Трикульера, по правде говоря, известного им лишь своим природным физическим превосходством, которому он и был обязан своим славным прозвищем.

В дальнейшем разговоре доктор Форнероль сказал, что зарегистрировано несколько случаев подобной аномалии и что некоторые писатели утверждают, будто нередко это почтенное уродство передается по наследству и укореняется в семье. К несчастью, род славного Филиппа прекратился уже более двухсот лет назад.

По этому поводу г-н де Термондр, бывший председателем Общества археологии, рассказал следующую историю, действительно имевшую место:

— Наш департаментский ученый архивариус, господин Мазюр, недавно обнаружил в префектуре, на чердаке, бумаги, относящиеся к процессу о прелюбодеянии, возбужденному в ту самую пору, когда преуспевал Филипп Трикульер, — в конце пятнадцатого века, — Жеаном Табуре против своей жены Сидуаны

Клош по тому случаю, что упомянутая Сидуана родила трех близнецов, из которых Жеан Табуре признал своими лишь двух, считая, что третий был добавлен кем-то другим, ибо он, по самому своему естеству, был неспособен зачать более чем двух одновременно. И он приводил довод, основанный на: заблуждении, присущем в то время и почтенным матронам и хирургам-цирюльникам, и аптекарям, которые в один голос утверждали, будто нормальный человек не может дать сразу материала более чем на двойню, и потому все, что сверх того, отец вправе не признавать своим. На этом основании бедная Сидуана была уличена судьей в разврате и за то посажена в голом виде на осла лицом к хвосту и так провезена через город в Эве, прямо на болото, в которое ее трижды погрузили. Ей не пришлось бы так пострадать, будь ее жестокий муж столь же щедро одарен природой, как славный Филипп Трикульяр.

XVII

Подойдя к калитке дома, где была лавка. Рондоно, префект посмотрел направо и налево, не следит ли кто за ним. Он узнал, что в городе уже поговаривали, будто он ходит туда на любовные свидания и будто видели, как г-жа Лакарель входила вслед за ним в этот дом, прозванный «домом двух сатиров». Эти слухи портили ему настроение. Был у него и другой повод к недовольству. «Либерал», до сих пор его не трогавший, вдруг ополчился на него по поводу департаментского бюджета. Консервативная газета обвиняла его в том, что он прибегнул к виременту * для сокрытия расходов на предвыборную пропаганду. Префект Вормс-Клавлен отличался безукоризненной честностью. Деньги внушали ему одновременно и уважение и любовь. Перед «ценностями» он испытывал такое же чувство священного трепета, как собака перед луной. Богатство он чтит, как святыню.

Свой бюджет он вел очень честно. И за исключением некоторых неправильностей, вошедших в правило вследствие того, что во всей республике было плохо постав-

лено управление, там не было ничего предосудительного. Г-н Вормс-Клавлен это знал. Он чувствовал себя безупречным. Но газетная полемика выводила его из терпения. Его до глубины души огорчали злопамятство партий и раздраженность противников, которых, как ему казалось, он обезоружил. Он страдал оттого, что после стольких жертв не завоевал уважения консерваторов, которое в душе ценил куда выше, чем дружбу республиканцев. Надо было подсказать «Маяку» несколько искусных и решительных ответных статей, начать энергичную и, быть может, продолжительную полемику. При его глубокой умственной лени эта мысль смущала его, кроме того она нарушала мудрое правило избегать всякого действия как источника бед.

Итак, он был в очень дурном расположении духа. И потому, усевшись в старинном кожаном кресле, он сухо спросил Рондоно-младшего, здесь ли г-н Гитрель. Г-н Гитрель еще не приходил, и г-н Вормс-Клавлен порывисто схватил с конторки ювелира газету и попытался читать, куря сигару. Но ни политика, ни табачный дым не рассеяли мрачных мыслей, удручавших его. Он читал глазами, а сам думал о нападках «Либерала»: «Виремент!» Да во всем городе не найдется и пятидесяти человек, которые понимают, что такое виремент. Так вот и вижу всех наших городских дураков, — качают головой и с важностью повторяют слова газеты: «Мы с прискорбием замечаем, что господин префект не отказался от отвратительной и уже осужденной практики виремента». Он думал. Пепел сигары обильно сыпался ему на жилет. Он думал: «За что нападает на меня «Либерал»?» Я привел его кандидата. В моем департаменте на выборных должностях больше «присоединившихся», чем где-либо». Он перевернул страницу газеты. Он думал: «Я не скрыл дефицита. Отпущенные при утверждении бюджета суммы израсходованы так, как и предполагалось. Эти люди не разбираются в бюджете. Они недобросовестны». Он пожал плечами и мрачно, не замечая пепла, усыпавшего ему грудь и колени, погрузился в чтение газеты.

Взгляд его упал на следующие строки:

«Нам пишут, что во время пожара, вспыхнувшего на окраине Тобольска, сгорело шестьдесят деревянных домов. В результате бедствия больше ста семейств остались без хлеба и крова».

Прочтя это известие, г-н префект Вормс-Клавлен испустил громкий крик, нечто вроде торжествующего рева, и, стукнув ногой в конторку ювелира, спросил:

— Скажите, Рондоно! Тобольск — это русский город? Не так ли?

Рондоно, подняв свою лысую голову и простодушно взглянув на него, ответил, что Тобольск — действительно город в азиатской России.

— Прекрасно! — воскликнул префект Вормс-Клавлен. — Мы устроим вечер в пользу тобольских погорельцев.

И он процедил сквозь зубы:

— Я заткну им рот русским праздником! На полтора месяца угомонятся и позабудут о «вирементах».

В это время в магазин вошел аббат Гитрель, держа шляпу под мышкой и беспокойно поглядывая по сторонам.

— Знаете, господин аббат, — обратился к нему префект, — идя навстречу общей просьбе, я разрешаю вечер в пользу тобольских погорельцев. Концерт, парадный спектакль, благотворительный базар и все такое. Надеюсь, что церковь присоединится к этому благотворительному празднеству.

— Церковь, господин префект, щедрою рукою даст утешение скорбящим, прибегающим к ней, — ответил аббат Гитрель. — И, конечно, ее молитвы...

— Кстати, дорогой аббат, ваши дела очень плохи. Я только что из Парижа. Я повидался со своими друзьями из министерства культов. У меня плохие новости. Во-первых, вас восемнадцать...

— Восемнадцать?

— Восемнадцать кандидатов на место епископа туркуэнского. Прежде всего аббат Оливе — кюре одного из самых богатых парижских приходов, кандидат канцелярии президента. Затем аббат Лаверден, викарий епископа гренобльского. Его явно поддерживает нунций.

— Я не имею чести знать господина Лавердена, но не думаю, что он кандидат нунциатуры. Возможно, что у нунция есть свой избранник. Но этот избранник, конечно, никому не известен. Нунциатура не ходатайствует за тех, кому покровительствует. Она ждет, когда ей предложат кандидата.

— Так-так, господин аббат, видно, там, в нунциатуре, народ умный.

— Господин префект, не все там люди выдающегося ума сами по себе, но за них традиция и время, и их поведение подчинено законам, слагавшимся веками. Это сила, господин префект, большая сила.

— Верно, черт возьми! Так мы говорили, что и у президента и у нунция есть свои кандидаты. И у вашего собственного архиепископа тоже есть кандидат. Сначала говорили, и я сам так же думал, что это вы... Мы ошибались, дорогой мой. Ручаюсь, что вы не угадаете избранника монсеньера.

— Не ручайтесь, господин префект, не ручайтесь. Держу пари, что кандидат монсеньера — его викарий, господин де Гуле.

— Откуда вы знаете? Я этого не знал.

— Вам должно быть известно, господин префект, что монсеньер Шарло опасается, как бы ему не назначили коадьютора, и только эта боязнь омрачает его величавую и спокойную старость. Он боится, как бы господин де Гуле не навлек, если можно так выразиться, на себя это назначение как благодаря своим личным достоинствам, так и благодаря знанию епархиальных дел. И его высокопреосвященство желает и даже жаждет как можно скорее расстаться со своим викарием, тем более что господин де Гуле по происхождению принадлежит к дворянству нашего округа и потому сияет светом, который слишком раздражает монсеньера Шарло. Почему бы, напротив, монсеньеру не радоваться, что сам он — сын честного труженика, который, подобно святому Павлу, ткал ковры?

— Вы знаете, господин Гитрель, что поговаривают также и о господине Лантене. Ему покровительствует генеральша Картье де Шальмо. А генерал Картье де Шальмо — хотя и клерикал и реакционер — поль-

зуются в Париже большим уважением. Его считают одним из самых способных и умных дивизионных генералов. Даже самые убеждения его в настоящее время ему не во вред, а на пользу. При существующем концентрационном кабинете * реакционеры добиваются всего, чего хотят. В них нуждаются: от них зависит, какая чаша весов перетянет. Притом союз с Россией и дружба с царем способствовали тому, что аристократия и армия снова входят в силу. Мы прививаем республике известную тонкость ума и манер. Кроме того, замечается общее стремление к прочно установившейся власти. Однако я не думаю, что у господина Лантеня большие шансы. Прежде всего я дал о нем самый не лестный отзыв. Я представил его в высших сферах воинствующим монархистом. Я отметил его нетерпимость, его дурной характер. А вас, дорогой господин Гитрель, я изобразил в самом привлекательном свете. Я отметил вашу умеренность, гибкость, ваше благоразумие, ваше уважение к республиканским учреждениям.

— Я очень благодарен за вашу доброту, господин префект. А что вам ответили?

— Вам хочется знать? Ну, так вот что мне ответили: «Знаем мы их, ваших кандидатов вроде господина Гитреля. Стоит им получить назначение, и они окажутся хуже всех. Они особенно рьяно выступают против нас. Это и понятно. Им нужно загладить вину перед своей партией».

— Неужели, господин префект, так говорят в высших сферах?

— Ну, конечно. И мой собеседник сказал еще: «Я против тех кандидатов в епископы, которые слишком любят наши учреждения. Будь моя воля, выбирали бы не их. Очень хорошо, что в гражданском и политическом мире предпочитают чиновников, наиболее преданных и преданных режиму. Но священников, преданных республике, нет. А раз так, — предусмотрительнее брать наиболее честных».

И префект, бросив прямо на пол изжеванный окурок сигары, сказал в заключение:

— Как видите, дорогой Гитрель, ваши дела плохи.

Господин Гитрель пробормотал:

— Я не вижу, господин префект, я не понимаю, почему эти слова могли произвести на вас впечатление... неудачи. Я черпаю в них, напротив... надежду.

Префект закурил новую сигару и сказал, смеясь:

— Кто знает, может быть, в министерстве и правы? Но будьте покойны, дорогой аббат, я вас не оставлю. Посмотрим, кто за нас?

Он вытянул левую руку, чтобы сосчитать по пальцам.

И они вдвоем стали прикидывать.

Насчитали одного сенатора из их департамента, который начинал выпутываться из затруднений, созданных последними скандалами, одного генерала в отставке, политика, публициста и финансиста, экбатанского епископа, довольно известного в художественном мире, и Теофиля Майера, друга министров.

— Но, дорогой Гитрель, за вас один сброд, — воскликнул префект.

Аббат Гитрель переносил подобные выходки, но не любил их. Он посмотрел на префекта с огорченным видом и крепко сжал свои тонкие губы. Г-н Вормс-Клавлен, по натуре человек не злой, пожалел о вырвавшихся у него словах и попробовал утешить аббата:

— Ну, ну! Не такие уж это плохие ходатаи. Да и жена моя за вас. А Ноэми хоть кого сделает епископом.

ИВОВЫЙ

МАНЕКЕН

Перевод *И. С. Татариновой*
под редакцией *В. А. Дынник*

I

Господин Бержере, преподаватель филологического факультета, готовился у себя в кабинете к лекции о восьмой книге «Энеиды» под резкие звуки пианино, на котором его дочери барабанили за стеной трудные упражнения. В кабинете г-на Бержере было всего одно окно, правда широкое, венецианское, но оно упиралось в высокую стену напротив, и толк от него был небольшой; рамы были плохо пригнаны, от окна дуло, а света оно давало мало. На письменный стол, придвинутый к окну, падал скупой отраженный свет. Собственно говоря, кабинет, в котором профессор оттачивал свою тонкую гуманистическую мысль, был просто неприглядным закоулком, или, скорее, двумя закоулками, разделенными пролетом большой лестницы, круглый выступ которой нагло вторгался в комнату, выпирая чуть не к самому окну и оставляя справа и слева два каких-то несуразных и уродливых тупика. Этот выпяченный каменный живот, прикрытый зелеными обоями, занимал столько места в неприветливой, не отвечающей требованиям геометрии и разумного вкуса комнате, что г-н Бержере с трудом отыскивал узенький, ровный простенок, куда могли бы уставиться простые книжные полки, на которых в постоянном полумраке терялся желтый ряд тейбнеровских * изданий.

Сам же г-н Бержере ютился у окна, там он писал, чувствуя, как эта неприязненная обстановка замораживает слог, и благодарил судьбу, когда рукописи его не были перерывы и изорваны, а перья не разевали сломанных клювов. Таковы были обычно результаты нашествий на его кабинет г-жи Бержере, которая приходила туда записывать белье и расходы. Сюда же в кабинет она поместила и манекен, на котором примеряла юбки собственной работы. Так и стоял он тут, рядом с научными изданиями Катутла * и Петрония *, этот ивовый манекен, символ супружеской жизни.

Господин Бержере готовился к лекции о восьмой книге «Энеиды», и он обрел бы в этой работе пускай не радость, но хотя бы спокойствие духа и ничем не заменимый душевный мир, если бы, изучая текст, не отвлекся от особенностей стихосложения и языка, на которых исключительно надлежало ему сосредоточиться, и не погрузился в созерцание гения, души и форм античного мира; если бы не отдался желанию собственными глазами поглядеть на позлащенные берега, на лазурное море, розовые горы, на прекрасные селения, куда поэт переносит своих героев, и не впал в уныние, горько сожалея о том, что ему не дано, как Гастону Буасье или Гастону Дешану, посетить берега, где некогда стояла Троя, увидеть вергилиевские пейзажи и вдохнуть воздух Италии, Греции и священной Азии. Кабинет показался ему таким печальным, и глубокое отвращение переполнило его сердце. Он был несчастен по собственной вине, ибо подлинные наши огорчения — всегда внутреннего порядка, и причина их кроется в нас самих. Мы думаем, будто они приходят извне, но это неверно, мы сами создаем их в глубине собственного существа.

Так г-н Бержере, одиноко сидя у подножия огромного оштукатуренного цилиндра, сам придумывал себе огорчения и печали, размышляя о том, что жизнь у него незаметная, замкнутая и безрадостная, что жена его давно уже утратила былую красоту, что душа у нее мещанская и что в битвах Турна * и Энея нет ничего интересного. От этих мыслей отвлек г-на Бержере приход его ученика, г-на Ру, который отбывал воинскую

повинность и потому предстал перед профессором в красных штанах и синем мундире.

— Ишь ты! — сказал г-н Бержере. — Моего лучшего латиниста вырядили героем!

И так как г-н Ру запротестовал, что он совсем не герой, профессор сказал:

— Я знаю, что говорю. Я называю героем всякого, кто носит саблю. Будь на вас медвежья шапка, я назвал бы вас великим героем. Надо же хотя немного польстить человеку, которого посылают на убой. Это самая дешевая плата за исполнение тех обязанностей, которые мы на него возлагаем. Но я от всей души желаю, друг мой, чтобы вам не пришлось обессмертить себя геройским поступком и чтобы людскую хвалу вам стяжали лишь ваши познания в латинском стихосложении. Это искреннее желание внушено мне любовью к родине. Изучая историю, я убедился, что героизм встречается только у побежденных и во время поражений. У римлян — народа вовсе не такого воинственного, как это полагают, и часто терпевшего поражения, — Деции * рождались лишь в самые тяжелые минуты. В битве при Марафоне * героизм Кинегира * проявился как раз тогда, когда афиняне, остановив варварскую армию, все же оказались слабы и не могли помешать ей погрузиться на корабли вместе со всей персидской конницей, успевшей отдохнуть на равнине. Да и персы, по-видимому, были не особенно рьяны в этой битве.

Господин Ру поставил саблю в угол и сел на стул, предложенный ему профессором.

— Вот уже четыре месяца, — сказал он, — как я не слышал умного слова. Сам я за эти четыре месяца сосредоточил все силы своего рассудка на том, чтобы ценою умеренных щедот снискать расположение капрала и сержанта. Только эту сторону военного искусства я постиг в совершенстве. Но она самая важная. Зато я окончательно утратил способность к отвлеченному мышлению и игре ума. А вы мне толкуете, дорогой учитель, что греки были разбиты при Марафоне и что римляне не были воинственным народом. У меня голова идет кругом.

Господин Бержере ответил спокойно:

— Я только сказал, что Мильтиаду * не удалось сокрушить силы варваров; римляне же по природе своей не были воинами, раз их завоевания оказались плодотворны и длительны, в противоположность завоеваниям истинных воинов, которые все захватывают и ничего не удерживают, — взять хотя бы французов.

Надо еще отметить, что в царском Риме чужеземцев не принимали в солдаты. Но во времена доброго царя Сервия Туллия * граждане, мало дорожившие честью нести самим все бремя военных трудов и опасностей, привлекли к службе и чужеземцев, поселившихся в Риме. Герои бывают; не бывает народов-героев; не бывает армий-героев. Солдаты всегда шли вперед только под угрозой смерти. Военная служба была ненавистна даже тем пастухам Лациума, которые стяжали Риму мировое господство и славу божественного города. Солдатская амуниция так их тяготила, что название этой амуниции — *aegipna* — впоследствии стало обозначать изнурение, усталость тела и духа, нищету, несчастье, бедствия. Под умелым руководством они стали не героями, но хорошими солдатами и хорошими землекопами. Мало-помалу они завоевали весь мир и покрыли его грунтовыми и мощеными дорогами. Римляне никогда не искали славы: у них не было воображения. Они вели войны, только когда это было выгодно и абсолютно необходимо. Их победы — победы терпения в здравого смысла.

Людьми управляет то чувство, которое в них наиболее сильно. У солдат, как и у всякой толпы, наиболее сильное чувство — страх. Они идут на врага, ибо это наименьшая опасность. Когда два войска стоят лицом к лицу, бегство невозможно ни для того, ни для другого. В этом и заключается все искусство сражений. Республиканские армии побеждали потому, что в них чрезвычайно сурово поддерживалась дисциплина, существовавшая при старом режиме; в войсках же союзников дисциплина была ослаблена. Наши генералы Второго года были сержантами Ла-Раме, ежедневно расстреливавшими полдюжины рекрутов, чтобы, как говорил Вольтер, придать мужества остальным и поднять в них великий патриотический дух.

— Весьма возможно, — сказал г-н Ру. — Но тут есть и кое-что другое. Я говорю о врожденной любви к стрельбе. Вы знаете, дорогой профессор, я не из породы хищников. У меня нет вкуса к военщине. Напротив, я исповедую передовые гуманные убеждения и верю, что торжество социализма приведет к братству народов. Словом, я люблю людей. Но как только мне сунут в руки винтовку, меня так и тянет всех перестрелять. Это уж в крови...

Господин Ру был красивый и рослый молодой человек; он быстро освоился в полку. Трудные военные упражнения оказались как раз по его сангвиническому темпераменту. Кроме всего прочего, он был чрезвычайно хитер и не то чтобы вошел в вкус военного ремесла, но во всяком случае приноровился к казарменной жизни и сохранил здоровье и хорошее настроение.

— Вам небезызвестна, дорогой профессор, сила внушения, — прибавил он. — Достаточно дать человеку в руки штык, и он тут же вспорет живот первому встречному и сделается, как вы говорите, героем.

Южный говор г-на Ру еще не замолк, когда г-жа Бержере вошла в кабинет, хотя обычно присутствие мужа ее туда не привлекало. Г-н Бержере заметил, что на ней был красивый капот, розовый с белым.

Она изобразила удивление, застав там г-на Ру, и сказала, что пришла попросить у мужа томик каких-нибудь стихов, почитать от скуки.

Профессор заметил еще, не придавая тому никакого значения, что она как-то вдруг преобразилась: стала любезной и даже почти красивой.

Господин Ру убрал со старого кресла, обитого молескином, словарь Фрейнда и предложил г-же Бержере сесть. Г-н Бержере взглянул на толстые томы, снятые с кресла, потом на жену, занявшую их место, и подумал, что эти два скопления вещества, совершенно обособившиеся в настоящее время и теперь такие различные по своему виду, природе и назначению, первоначально были однородны и оставались однородными в течение всего времени, пока они оба — и словарь и

женщина — тогда еще в газообразном состоянии носились в первобытной туманности.

«Ведь в беспредельности веков, — думал он, — Амелия была неоформленной и неодоушевленной материей, распыленной в виде чуть светящихся молекул кислорода и углерода, и молекулы, которым предстояло впоследствии составить этот латинский лексикон, тоже скоплялись в течение веков в той же туманности, откуда в конце концов вышли огромные чудовища, насекомые и небольшая доля мысли. Понадобилась целая вечность, чтобы создать мой словарь и мою жену, эти памятники моей многотрудной жизни, эти несовершенные и часто несносные формы. Словарь полон ошибок. У Амелии раздобревшее тело и сварливая душа. Вот почему нет никакой надежды, что новая вечность создаст, наконец, науку и красоту. Мы живем один миг, но мы ничего не выиграли бы, если бы жили вечно. У природы было достаточно и времени и пространства — и вот итог ее трудов».

И беспокойная мысль г-на Бержере продолжала работать:

«Что такое время, как не движения природы, и разве могу я сказать, продолжительны они или коротки? Природа жестока и скучна. Но почему я это знаю? И как посмотреть на нее со стороны? А ведь иначе нельзя познать ее и судить о ней. Быть может, вселенная показалась бы мне лучше, ежели бы я занимал в ней другое место».

И г-н Бержере, прервав размышления, нагнулся и пододвинул к стене неустойчивую стопку томов ин-кварти.

— Вы немного загорели, господин Ру, — сказала г-жа Бержере, — и как будто немного похудели. Но это вам к лицу.

— Первые месяцы очень устаешь, — ответил г-н Ру. — Ученье в шесть утра на казарменном дворе при восьмиградусном морозе, само собой разумеется, тяжело, да и жить всегда на людях вначале очень противно. Но усталость — хорошее лекарство, а одурь — замечательное средство. Все ощущения притупляются, будто ты живешь под слоем ваты. За ночь не высы-

паешься, спишь тревожным сном, так что днем ходишь как одурманенный. Состояние сонного автоматизма, в котором ты пребываешь, благоприятно для дисциплины, соответствует военному духу и благотворно действует на физическое и моральное состояние войск.

В общем, г-н Ру не мог пожаловаться. Но вот его приятель, Деваль, изучавший малайский язык в институте восточных языков, — тот чувствует себя несчастным и угнетенным. У Девала — человека умного, образованного, мужественного, но негибкого духовно и физически, неуклюжего и неловкого, — сильно развито чувство справедливости, благодаря чему он отдает себе ясный отчет в своих правах и обязанностях. Он пострадал от такой ясности сознания. Уже на вторые сутки пребывания в казарме сержант Лебрек спросил его в выражениях, которые г-ну Ру пришлось смягчить, чтобы не оскорблять слуха г-жи Бержере, какая малопочтенная особа могла произвести на свет такого осла, как этот номер пятый, который даже держать равнения не умеет. До сознания Девала не сразу дошло, что именно он «осел номер пятый». Пришлось посадить его под арест, и только тогда рассеялись его сомнения на этот счет. Но даже и тогда он не понял, почему, если он не держит равнения, задевают честь г-жи Деваль, его матери. Неожиданная ответственность матери за это обстоятельство противоречит его идеалу справедливости. Прошло четыре месяца, а он все еще переживает скорбное недоумение.

— Ваш друг Деваль, — возразил г-н Бержере, — неправильно истолковал воинственную речь; я же считаю, что она может поднять дух солдат и побудить их к ревностной службе, заронив в них желание заработать нашивки и тогда в свою очередь произносить подобные же речи, явно указывающие на превосходство того, кто их произносит, над тем, к кому они обращены. Непредусмотрительно ограничивать права военного начальства, как это сделал в недавнем циркуляре некий военный министр, человек мирный и исполненный миролюбия, человек благовоспитанный и исполненный благих намерений, человек порядочный, который из уважения к солдату-гражданину предписал офицерам

и унтер-офицерам не говорить «ты» подчиненным, но упустил из виду, что презрение к низшему — мощный двигатель всякого соревнования и основа иерархии. Сержант Лебрек говорил как герой, воспитывающий героев. Я могу восстановить его речь в ее первоначальной форме, ведь я филолог. Ну, так вот, я без колебания скажу, что этот сержант Лебрек высказал глубокую мысль, связав честь семьи с равенством в строю, поскольку от выправки рекрута зависит исход битвы, и таким образом уже с самого рождения приобщив номер пятый к полку и знамени...

Вы мне, быть может, скажете, что я делаю ошибку, обычную для комментаторов и приписываю автору мысли, которых у него вовсе и не было. Допускаю, что в достопамятной речи сержанта Лебрека была доля бессознательности. Но в этом-то и сказывается гений. Он блещет, сам не сознавая своей силы.

Господин Ру с улыбкой ответил, что тоже предполагает известную долю бессознательности во вдохновенной речи сержанта Лебрека.

Но г-жа Бержере сухо сказала мужу:

— Не понимаю тебя, Люсьен. Ты смеешься над тем, что вовсе не смешно. У тебя не поймешь, когда ты шутишь, а когда говоришь всерьез. С тобой невозможно разговаривать.

— Моя жена одного мнения с деканом, — сказал г-н Бержере. — Надо признать, что они оба правы.

— Ах, — воскликнула г-жа Бержере, — не тебе говорить о декане! Ты сам всячески восстанавливал его против себя, а теперь досадуешь из-за собственной неосмотрительности. И с ректором тоже нашел случай поспорить. В воскресенье я его встретила в городском саду, когда гуляла с дочерьми, — так он мне едва поклонился.

Она обратилась к молодому военному:

— Господин Ру, я знаю, что муж к вам очень расположен. Вы у него любимый ученик. Он предсказывает вам блестящую будущность.

Господин Ру, загорелый, курчавый, сверкнув зубами, улыбнулся без излишней скромности.

— Господин Ру, убедите мужа быть любезнее с людьми, которые могут быть ему полезны. Вокруг нас образуется пустота.

— Что вы, сударыня, помилуйте! — пробормотал г-н Ру и перевел разговор на другую тему.

— Крестьяне с трудом дотягивают положенные три года. Они страдают. Но никто об этом не знает, потому что все свои переживания они выражают самым обыденным образом. Оторванные от земли, которую любят животной любовью, они чувствуют себя на чужбине, в неволе и впадают в немую, унылую и глубокую тоску, от которой их отвлекает только страх перед начальством и усталость. Все им кажется чужим и трудным. В нашей роте есть два бретонца, и они никак не запомнят фамилии полковника, хотя твердят ее уже полтора месяца. Каждое утро, выстроившись перед сержантом, мы повторяем вместе с ними эту фамилию, так как военное ученье одно для всех. А нашего полковника зовут Дюпон *. То же самое и на других занятиях. Люди смысленные и бойкие вынуждены топтаться на одном месте из-за тупиц.

Господин Бержере спросил, в ходу ли у офицеров так же, как у сержанта Лебрека, воинственное красноречие.

— Наш капитан еще юнец, — ответил г-н Ру, — он, напротив, соблюдает самую изысканную вежливость. Это эстет, розенкрейцер *. Он рисует бледных дев и ангелов в розовых и зеленых облаках. А я сочиняю к этим картинкам подписи. Деваль несет всякие наряды на казарменном дворе, я же состою при капитане, который заказывает мне стихи. Он очарователен. Зовут его Марсель де Лажер, он выставляет свои картины в «Эвр» под псевдонимом Син.

— И этот тоже герой? — спросил г-н Бержере.

— Он — Георгий Победоносец, — ответил г-н Ру. — В военную службу он вкладывает какую-то мистику. Говорит, что это идеальное состояние. Слепо движешься к неведомой цели. Благоговейно, целомудренно и сурово идешь на необходимое и таинственное самопожертвование. Он восхитителен. Я обучаю его свободному стиху и ритмической прозе. Он сам начинает

уже слагать гимны в честь армии. Он счастлив, он спокоен, он нежен. Одно только его огорчает: знамя. Синий, белый и красный цвета кажутся ему неподходящими и резкими. Ему хотелось бы, чтобы знамя было розовым или лиловым. Он мечтает о небесных стягах. «Если бы еще все три цвета, — говорит он с грустью, — шли от самого древка, как три вымпела на орифламме, это было бы терпимо. Но вертикальные полосы с нелепой резкостью пересекают развевающиеся складки!» Он страдает. Впрочем, он терпелив и мужествен. Говорю вам, это — Георгий Победоносец.

— По вашему описанию, — сказала г-жа Бержере, — он мне очень нравится.

И, сказав, строго посмотрела на мужа.

— Ну, а других офицеров он не удивляет? — спросил г-н Бержере.

— Нисколько, — ответил г-н Ру. — В офицерском собрании и на вечеринках он молчит и ничем не отличается от прочих.

— А солдаты что о нем думают?

— Они не видят в казарме своих офицеров.

— Вы отобедаете с нами, господин Ру, — сказала г-жа Бержере. — Это доставит нам истинное удовольствие.

При этих словах г-н Бержере прежде всего представил себе пирог. Каждый раз, как г-жа Бержере неожиданно оставляла кого-нибудь к обеду, она заказывала в кондитерской у Маглуара пирог, и предпочтительно не мясной, а более легкий. Итак, г-н Бержере без вождения, чисто умозрительно, представил себе пирог с яйцами или с рыбой, дымящийся на блюде с синим узором, на камчатной скатерти. Видение пророческое и обыденное. Потом он подумал, что жена, должно быть, питает особую симпатию к г-ну Ру, раз она попросила его отобедать, потому что Амелия редко приглашала посторонних к своим скромным трапезам. Она вполне резонно боялась лишних расходов и хлопот; дни званных обедов ознаменовывались звоном разбитых тарелок, испуганными криками и слезами негодования молодой служанки Евфимии, едким чадом, наполнявшим всю квартиру, и запахом кухни, который,

проникая в кабинет, раздражал г-на Бержере, окруженного тенями Энея, Турне и кроткой Лавинии *. Несмотря на все это, г-н Бержере был доволен, что его ученик г-н Ру обедает сегодня у них. Он любил общение с людьми и с удовольствием вел неторопливые беседы.

Госпожа Бержере прибавила:

— Но только уж не взывайте, господин Ру.

И она вышла, чтобы распорядиться.

— Друг мой, — сказал г-н Бержере ученику, — вы все по-прежнему ратуете за свободный стих? Я знаю, что поэтические формы меняются в зависимости от времени и места. Мне небезызвестно, что французский стих пережил на протяжении веков бесчисленные изменения, и я могу, укрывшись за своими тетрадами по стихосложению, втихомолку посмеиваться над предрассудком поэтов, которые считают святотатством всякое посягательство на предмет, освященный их гением. Я замечаю, что они не объясняют, на чем основаны правила, которым они следуют, и склонены думать, что этой основы надо искать не в самих стихах, а скорее в пении, первоначально их сопровождавшем. Наконец, я согласен принять новшества еще и потому, что подхожу к ним с точки зрения науки, по природе своей менее консервативной, чем искусство. И все-таки я плохо понимаю свободный стих, и определение его от меня ускользает. Меня смущает нечеткость его границ и...

Тут в кабинет вошел молодой еще человек, стройный, с тонкими, словно отлитыми из бронзы, чертами лица. Это был командор Аспертини из Неаполя, филолог, агроном и депутат итальянского парламента; он уже десять лет поддерживал с г-ном Бержере ученую переписку, подобно великим гуманистам эпохи Возрождения и XVII века, и всякий раз, попадая во Францию, не забывал навестить своего зарубежного корреспондента. Карло Аспертини был широко известен в ученом мире тем, что расшифровал на одном из обуглившихся помпейских свитков целый трактат Эпикура. В настоящее время он занимался сельским хозяйством, политикой, делами, но вместе с тем страстно любил нумизматику, и его изящные пальцы так

и тянулись к медалям. В город *** его влекло и удовольствие, которого он ожидал от встречи с г-ном Бержере, и страстное желание еще раз посмотреть замечательную коллекцию древних монет, завещанную городской библиотеке Буше де ла Саллем. Он хотел также сличить письма Муратори * с находящимися там подлинниками. Два человека, которых сроднила наука, радостно пожали друг другу руки. А когда неаполитанец заметил, что тут же, в «студио», находится незнакомый ему военный, г-н Бержере сказал, что этот галльский воин — молодой филолог, ревностно занимающийся латинским языком.

— В этом году, — прибавил г-н Бержере, — его обучают шагистике на казарменном дворе. И в его лице вы видите то, что наш доблестный дивизионный генерал Картье де Шальмо именуется элементарным тактическим орудием, попросту говоря: солдата. Господин Ру, мой ученик — солдат. Он чувствует, сколь это почетно, ибо у него благородная душа. По правде сказать, эту честь он разделяет в настоящее время со всеми молодыми людьми высокомерной Европы, в том числе и с вашими неаполитанцами, с тех пор как они стали частью великой нации.

— При всей моей преданности Савойскому дому, — ответил командор, — должен сознаться, что военная служба и подати в достаточной мере надоели неаполитанскому народу и иногда он жалеет о добрых временах короля Бомбы * и о сладости незаметного существования под властью легкомысленного правительства. Народ не любит ни платить, ни служить. Законодателям следовало бы лучше разбираться в нуждах народной жизни. Вы знаете, что в политике я всегда был против мании величия и возмущался ростом вооружений, задерживающим умственный, нравственный и материальный прогресс европейского континента. Это великое безумие, которое нас разорит и сделает всеобщим посмешищем.

— Да, но как положить ему конец? — отозвался г-н Бержере. — Никто об этом не думает, разве только несколько мудрецов, но у них нет ни силы, ни влияния. Глава государства не может желать разоружения, по-

тому что тогда его обязанности стали бы слишком трудными, положение непрочным и он лишился бы превосходного орудия власти. Ибо вооруженные нации покорно подчиняются правителям. Военная дисциплина приучает к послушанию, не приходится опасаться восстаний, бунтов или каких бы то ни было волнений. Если воинская повинность обязательна для всех, если каждый гражданин либо — солдат, либо был солдатом, то все социальные силы распределяются так, что поддерживают власть или даже безвластие, как мы это видели во Франции.

Когда г-н Бержере дошел до этого места своих политических рассуждений, за стеною, в кухне, вдруг зашипело сало, пролитое на горячие угли, из чего профессор заключил, что юная Евфимия, как это обычно случалось в дни приемов, опрокинула сковороду в огонь, неосмотрительно поставив ее на горку угля. Он установил, что это повторялось с неуклонной точностью законов, управляющих вселенной. Смерд подгоревшего сала проник в кабинет, а г-н Бержере продолжал развивать свои мысли:

— Если бы Европа не была казармой, в ней, как это и бывало раньше, вспыхивали бы восстания — то во Франции, то в Германии, то в Италии. Теперь же стихийным силам, которые по временам вздымают баррикадами столичную мостовую, находят систематическое применение в казарменных нарядях, в чистке лошадей и в патриотическом чувстве.

Чин капрала — предусмотрительно оставленный выход для энергии молодых героев, а будь они свободны, они принялись бы строить баррикады, чтобы размять себе руки. Вот только сейчас я узнал, что один сержант по имени Лебрек произносит великолепные речи. Будь на этом герое блуза, он стремился бы к свободе. Теперь же, когда на нем мундир, он стремится к тирании и поддерживает порядок. Спокойствие внутри страны легко обеспечить, когда население под ружьем, и, обратите внимание, если за последние двадцать пять лет Париж разок и поволновался, то ведь это движение было вызвано военным министром *. Генерал сделал то, чего не мог бы сделать народный трибун.

Когда же этот генерал был удален из армии, то он отдался и от народа и потерял силу. Итак, при любом государственном строе — будь то монархия, империя или республика — правители заинтересованы в обязательной воинской повинности, они предпочитают командовать армией, а не управлять народом.

Разоружение, которого не хотят они, нежелательно также и для народа. Он легко мирится с военной службой, которая, правда, лишена приятности, но зато соответствует жестокому и первобытному инстинкту большинства людей, воспринимается ими как наиболее простое, грубое и сильное выражение долга, подавляет их огромностью и блеском всей военной машины, обилием металла и, наконец, возбуждает картинами мощи, величия и славы, доступными их воображению. Они идут на военную службу с песнями, а не пойдут, так их заберут силой. Вот потому-то я и не предвижу конца этому состоянию, которое влечет за собой обнищание и отупение Европы.

— Существуют два выхода, — ответил командор Аспертини, — война и банкротство.

— Война! — воскликнул г-н Бержере. — Совершенно очевидно, что усиленные вооружения отдаляют войну, так как делают ее слишком страшной и не обеспечивают победы ни той, ни другой стороне. А что касается банкротства, то я сам вчера еще предсказывал его, сидя на скамейке в городском саду, аббату Лантеню, ректору духовной семинарии. Но моим словам не стоит придавать значения. Вы слишком хорошо изучили историю Византийской империи, дорогой господин Аспертини, и потому, конечно, знаете, что у государства существуют какие-то таинственные финансовые источники, которые не поддаются учету экономистов. Разоренное государство может существовать пять столетий грабежом и незаконными поборами; и как подсчитать, сколько пушек, ружей, плохого хлеба, плохой обуви, соломы и овса при всей своей нищете может поставить большая страна своим защитникам?

— Ваши слова похожи на истину, — сказал командор Аспертини. — Но мне кажется, что уже встает заря всеобщего мира.

И славный неаполитанец певучим голосом стал высказывать свои надежды и мечты под глухой стук ножа, которым Евфимия рубила за стеной, на кухонном столе, мясо для г-на Ру.

— Вы помните, господин Бержере, — говорил командор Аспертини, — то место из «Дон-Кихота», где Санчо жалуется, что на него сыплется одна беда за другой, а неунывающий рыцарь отвечает ему, что долгие бедствия предвещают близкое счастье. «Судьба изменчива, — говорит он, — беды наши длились слишком долго и теперь должны уступить место блаженству». Только закон изменения...

Конец его бодрой речи потерялся в громком шипении кипятка, сопровождавшемся диким криком Евфимии, которая в ужасе бросилась прочь от плиты.

Тогда г-н Бержере, удрученный неприглядностью своей скромной домашней обстановки, размышляя о вилле на берегу синего озера, о белой террасе, где он предавался бы безмятежным беседам с командором Аспертини и г-ном Ру, среди миртов, струящих аромат, в час, когда влюбленная луна смотрит с неба, ясного, как взор благосклонных богов, и нежного, как дыхание богинь.

Но он быстро очнулся от своих грез и вновь принял участие в прерванном разговоре.

— Война, — сказал он, — чревата последствиями. Из письма моего уважаемого друга Вильяма Гаррисона я узнал, что с тысяча восемьсот семьдесят первого года французская наука перестала пользоваться почетом в Англии и что в университетах Оксфорда, Кембриджа и Дублина намеренно игнорируется руководство по археологии Мориса Ренуара, хотя из всех подобных трудов это — лучшее пособие для студентов. Но там не желают учиться у побежденных. И, если верить его словам, профессор, читающий об эгинском искусстве * или о происхождении греческой керамики, должен принадлежать к нации, которая славится искусством лить пушки, иначе его не будут слушать. Из-за того, что маршал Мак-Магон в тысяча восемьсот семидесятом году был разбит под Седаном, а генерал Шанзи * годом позже потерял свою армию в Мене, — моего

собрата Мориса Ренуара не признают в Оксфорде в тысяча восемьсот девяносто седьмом году. Вот вам медленные, косвенные, но несомненные последствия военных поражений. И поистине верно, что от вооруженного шпагой нахала зависит судьба муз.

— Дорогой господин Бержере, — сказал командор Аспертини, — отвечу вам с откровенностью, которую может себе разрешить друг. Прежде всего будем справедливы: французская мысль распространена, как и в былые времена, по всему свету. Руководство по археологии вашего высокоученого соотечественника Мориса Ренуара не в ходу в английских университетах, но зато ваши театральные пьесы ставятся на всех сценах мира, а романы Альфонса Доде и Эмиля Золя переведены на все языки; полотна ваших художников украшают галереи Старого и Нового Света; работы ваших ученых всемирно известны. Если же ваша душа уже не вызывает отклика в душе других народов, если от вашего голоса уже не бьется сердце всего человечества, так это потому, что вы перестали быть апостолами справедливости и братства, вы не провозглашаете святых слов, которые несут утешение и бодрость; Франция уже не друг рода человеческого, не согражданка народов; она уже не разжимает горсть, не сеет семена свободы, которые некогда рассыпала по свету так щедро и таким величественным жестом, что долгое время всякая прекрасная человеческая мысль казалась мыслью французской; Франция перестала быть страной философов и Революции, и в мансардах по соседству с Пантеоном и Люксембургским дворцом больше нет молодых мудрецов, пишущих по ночам на простом дощатом столе страницы, от которых приходят в волнение народы и бледнеют тираны. Итак, не жалуйтесь на то, что потеряли славу; вы стали осторожны и уже сами ее страшитесь.

А главное, не говорите, что немилость навлекли на вас поражения. Скажите лучше, что ее навлекли ваши промахи. Для нации проигранное сражение все равно, что для крепкого человека царапина, полученная на дуэли. Подобная неудача может вызывать лишь временные экономические трудности и ослабление, от которого

вполне можно оправиться. Чтобы помочь делу, достаточно иметь чуточку ума, ловкости и политического соображения. Первый, самый важный и, конечно, самый легкий прием — это извлечь для себя из поражения как можно больше воинской славы. В сущности слава побежденных равняется славе победителей, но она более трогательна. Чтобы поражением восхищались, достаточно прославить генерала и армию, потерпевших его, и рассказать в печати о ряде героических эпизодов, которые свидетельствовали бы о моральном превосходстве побежденных. Даже при самых поспешных отступлениях подобные эпизоды всегда найдутся. Итак, побежденные прежде всего должны разукрасить, принарядить, позлатить свое поражение и придать ему необычайное величие и красоту. Судя по Титу Ливию, римляне именно так и делали и украшали пальмовыми ветвями и гирляндами свои мечи, сломанные при Тривии, Тразимене и Каннах *. Они прославляли все, даже губительное бездействие Фабия *, так что двадцать два века спустя мудрость Кунктатора все еще вызывает восхищение, а он был просто старым дураком. Вот в этом-то и состоит главное искусство побежденных.

— Это искусство не позабыто, — сказал г-н Бержере. — В наши дни к нему прибегла Италия после Новары, после Лиссы, после Адуи *.

— Когда итальянская армия капитулирует, — продолжал, командор Аспертини, — мы поступаем совершенно правильно, утверждая, что эта капитуляция была почетной. Правительство, которое выставляет поражение в красивом виде, поступает соответственно желанию патриотов внутри страны и вызывает интерес иностранцев. Это уже значительные результаты. В тысяча восемьсот семидесятом году только от вас самих, от французов, зависело добиться того же. Если бы при известии о разгроме под Седаном сенат и палата депутатов, вместе с представителями всех сословий, торжественно и единодушно приветствовали императора Наполеона Третьего и маршала Мак-Магона за то, что они не отчаялись в спасении отечества и дали бой, неужели же французский народ не извлек бы блестящей славы из

неудачи своих войск и не выразил бы самым убедительным образом желания победить? Поверьте, дорогой господин Бержере, я вовсе не такой нахал, чтобы давать вашей стране уроки патриотизма. Я поставил бы сам себя в смешное положение. Я просто сообщаю вам некоторые замечания, которые после моей смерти будут найдены на полях моего экземпляра Тита Ливия.

— Это не первый пример, — заметил г-н Бержере, — когда комментарии к «Декадам» * ценнее самого текста. Но продолжайте.

Командор Аспертини улыбнулся и стал дальше развивать свою мысль:

— Страна действует мудро, когда полными пригоршнями бросает лилии на раны, нанесенные войной. Затем потихоньку, украдкой, молча она исследует причиненный урон. Если удар был жесток, если страна серьезно пострадала, она сейчас же вступает в переговоры. Чем скорее вступить в переговоры с победителем, тем выгоднее. Еще не освоившись со своей победой, противник радостно принимает предложения, которые должны привести его удачно начатое дело к счастливому концу. Он еще не успел ни возгордиться от постоянных успехов, ни обозлиться на слишком продолжительное сопротивление. Он не может требовать громадных возмещений за ущерб, пока еще сравнительно незначительный. Его первоначальные претензии еще не так велики. Может быть, дешевой ценой не купишь мира, но если запоздаешь, то заплатишь дороже. Самое благоразумное вступить в переговоры тут же, пока не обнаружилась вся твоя слабость. Тогда можно добиться менее тяжелых условий, которые будут еще смягчены вмешательством нейтральных держав. Никто не оспаривает, что искать спасения в отчаянной борьбе и заключать мир только после победы — прекрасные правила, но они не годятся для нашего времени, когда промышленные и торговые нужды современной жизни, с одной стороны, и наличие громадных армий, которые надо одеть и прокормить, с другой, не дают возможности затягивать на неопределенный срок враждебные действия и, следовательно, не оставляют времени менее сильному поправить свои дела. Францию в тысяча

восемьсот семидесятом году воодушевляли самые благородные чувства. Но, здраво рассуждая, ей следовало бы вступить в переговоры после первых же почетных для нее неудач. Тогдашнее правительство могло и должно было взять на себя такую задачу и добилось бы гораздо лучших условий, чем те, на которые можно было рассчитывать позднее. Здравый смысл требовал получить от правительства эту последнюю услугу, а затем уже от него отделаться. Но поступили как раз наоборот. Франция двадцать лет терпела это правительство, а тут вдруг пришла к необдуманному решению свергнуть его именно в тот момент, когда оно могло стать полезным, и заменила его другим, которое ни в чем не было согласно с первым и потому должно было сызнова начать войну, не имея для этого свежих сил. Потом попыталось взять власть в свои руки третье правительство. Если бы оно утвердилось, войну начали бы в третий раз на том основании, что две первые попытки, весьма неудачные, в счет не идут. Вы скажете, что надо было спасать честь родины. Но вы собственной кровью спасли целых две чести: честь империи и честь республики; вы готовы были спасать еще и третью — честь Коммуны. А между тем даже самый гордый в мире народ обязан спасать только одну честь. Такой избыток благородства довел вас до крайней слабости, которую, по счастью, вы уже преодолеваете...

— Словом, если бы Италия была разбита при Вейсенбурге и Рейхсгофене *, то за свои поражения она, чего доброго, получила бы Бельгию, — сказал г-н Бержере. — Мы же — народ героев и вечно думаем, что нас предали. Так было постоянно. Кроме того, надо принять во внимание, что у нас демократия, а это строй — самый неподходящий для переговоров. Нельзя отрицать, что мы защищались долго и мужественно. Кроме того, говорят, что мы любезны, и я этому верю. В конце концов деяния человечества всегда были лишь мрачным шутовством, и историки, которые усматривают некоторую закономерность в ходе событий, просто любители пышных слов. Боссюэ...

В то мгновение, когда г-н Бержере произносил это имя, дверь в кабинет открылась так порывисто, что

ивовый манекен покачнулся и упал к ногам удивленного военного. В дверях стояла девушка, рыжая, косая, с низким лбом, коренастая и некрасивая, но пышущая молодостью и силой. На ее лоснящихся щеках и голых руках полыхал царственный пурпур. Она остановилась перед г-ном Бержере и, потрясая совком для угля, крикнула:

— Ухожу!

Это была Евфимия, которая поссорилась с хозяйкой и теперь требовала расчета. Она повторила:

— Ухожу домой!

Господин Бержере сказал:

— Уходите, голубушка, только без крика!

Она повторила несколько раз:

— Ухожу! От хозяйки житья нет.

И прибавила более спокойно, опуская совок:

— И потом глаза мои не глядели бы, такое здесь творится.

Господин Бержере, не стараясь вникнуть в эти загадочные слова, заметил служанке, что он ее не удерживает и она может уходить.

— Уплатите мне, что причитается, — сказала она.

— Ступайте, — ответил г-н Бержере. — Разве вы не видите, что я занят и не могу рассчитать вас сейчас? Подождите меня где-нибудь в другом месте.

Но Евфимия завопила, опять потрясая черным и тяжелым совком:

— Уплатите, что причитается! Жалованье отдайте, отдайте жалованье!

II

В шесть часов вечера аббат Гитрель вышел в Париже из вагона, подозвал во дворе вокзала извозчика и под дождем, в густой мгле, усеянной огнями, поехал на улицу Буланже, к дому номер пять. На этой узкой, идущей в гору, ухабистой улице, насквозь пропитанной запахом бочек, над лавками бочаров и торговцев пробками жил его старинный приятель, аббат Лежениль, духовник в женской общине Семи ран господних, великопостные проповеди которого пользовались

большим успехом в одном из наиболее аристократических приходов Парижа. У него-то всегда останавливался аббат Гитрель, когда приезжал в Париж торопить свою медлительную фортуна. Деловито поскрипывая башмаками с пряжками, исхаживал он за день много улиц, поднимался по ступенькам многих лестниц, обивая: пороги самых различных домов. А вечером он ужинал с Леженилем. Старые однокашники рассказывали друг другу забавные анекдоты, осведомлялись о ценах на обедни, на проповеди, перекидывались в картишки. В десять часов служанка Нанетта вкатывала в столовую железную кровать для гостя, который при отъезде не забывал сунуть ей в руку новенькую монету в двадцать су.

И на сей раз, как и всегда, Лежениль, человек дородный и рослый, опустил свою большую руку на плечо Гитреля, даже присевшего под ее тяжестью, и поздоровался с ним громким, гудящим, как орган, голосом. И сейчас же, по своему давнишнему обыкновению, шуточно спросил:

— Ну-ка, старый скряга, выкладывай обещанные двенадцать дюжин обеден по эю за штуку! Или ты и впредь собираешься один все загребать? Золото так и льется к тебе ручьями от твоих провинциальных богомолок.

Он говорил это весело, потому что был беден и знал, что Гитрель так же беден, как он.

Гитрель, понимавший шутки, но не шутивший сам за недостатком жизнерадостности, ответил, что приехал в Париж по разным поручениям, а главное — для покупки книг. Он попросил приятеля приютить его на денек-другой, самое большее — дня на три.

— Хоть раз в жизни скажи правду! — отозвался Лежениль. — О митре хлопчешь, старая лисица! Завтра утром со смиренным видом предстанешь перед нунцием. Гитрель, быть тебе епископом!

И духовник женского монастыря Семи ран господних, проповедник церкви св. Луизы, с шуточной почтительностью, к которой, быть может, примешивалось бессознательное уважение, склонился перед будущим епископом. Потом лицо его вновь приняло суровое

выражение, сквозь которое проглядывала душа нового Оливье Майяра *.

— Ну, идем! Хочешь закусить?

Аббат Гитрель был скрытен. Он поджал губы, недовольный, что его разгадали. Действительно, он приехал с целью заручиться поддержкой влиятельных лиц. Но у него не было ни малейшей охоты объяснять свои хитроумные расчеты простодушному другу, простота которого была не только добродетелью, но и политикой.

Он пробормотал:

— Не подумай, что... Не приписывай мне таких... Лежениль пожал плечами:

— Старый обманщик!

И, войдя с гостем в спальню, он подсел к керосиновой лампе и принялся за прерванную работу — штопку штанов. Аббат Лежениль, проповедник, весьма уважаемый в парижской и версальской епархиях, сам занимался починкой, и чтобы избавить от лишнего труда свою старую служанку и потому, что привык к игле за первые тяжелые годы священнослужительства. И вот этот великан с богатырскими легкими, громивший с амвона неверующих, теперь сидел на стуле с соломенным сиденьем и шил, держа иглу в больших красных пальцах. Он поднял голову от работы и, грозно поглядев на Гитреля своими добрыми большими глазами, сказал:

— Перекинемся вечерком в картишки, старый плут!

Но Гитрель буркнул смущенно и все же решительно, что вечером ему надо уйти. У него были свои планы. Он торопился с обедом и поел наспех, к неудовольствию хозяина, великого любителя покушать и поговорить. Он встал из-за стола, не дождавшись сладкого, прошел в соседнюю комнату, заперся там и, достав из чемодана светское платье, переоделся.

Смешной, словно ряженный, в длинном, черном, мрачном сюртуке предстал он пред очи своего друга. На голове у него красовался порыжелый цилиндр необычайной вышины. Он проглотил кофе, пробормотал наскоро послеобеденную молитву и вышел.

Аббат Лежениль крикнул ему вслед с площадки лестницы:

— Не звони, когда вернешься, а то разбудишь Нанетту. Ключ будет под половиком. Постой, Гитрель, еще одно слово: я знаю, куда ты собрался. На урок декламации, старый Квинтилиан!*

Аббат Гитрель пошел вниз по набережной, окутанной сырою мглой, перешел на ту сторону по мосту Святых отцов, пересек площадь Карусели, смешавшись с толпой прохожих, которые мимоходом бросали равнодушный взгляд на его высоченный цилиндр, и остановился под тосканским перистилем Французской Комедии. Он предусмотрительно взглянул на афишу, удостоверился, что спектакль не отменен и что идет «Андромаха» и «Мнимый больной». Затем у второго окошечка взял билет в последние ряды партера.

Усевшись позади еще пустых кресел на узкой скамейке, где почти все места были уже заняты, он раскрыл старую газету, но не для чтения, а чтобы удобнее было слушать то, что говорилось вокруг. У него был тонкий слух, и он смотрел ушами, вроде того как г-н Вормс-Клавлен слушал ртом. Его соседями были приказчики и мастеровые, получившие контрамарки по знакомству с театральным машинистом или костюмершей, — народ скромный, простой, жадный до зрелищ, довольный собой, занятый всякими спорами на пари, велосипедами, — смиренная молодежь, уже несколько вымуштрованная, демократическая и бессознательно республиканская, не потрясающая устоев даже в своих шутках по адресу президента республики. Аббат Гитрель ловил на лету слова, раздававшиеся то тут, то там и объяснявшие ему состояние умов, и думал, что аббат Лантень в своем уединении строит напрасные иллюзии, мечтая вернуть народ к теократической монархии. И он посмеивался, загородившись газетой.

«Ну и покладистый же народ эти парижане, — думал он. — В провинции о них неверно судят. Дай-то бог, чтоб республиканцы и свободомыслящие туркуэнской епархии оказались им под стать! Но где там! У французов-северян ум терпкий, как хмель в их долинах. Окажусь я у себя в епархии между яркими социалистами и ревностными католиками».

Он знал о трудностях, ждавших его на кафедре блаженного Лупа, и безбоязненно призывал их на свою голову, так тяжело при этом вздыхая, что сосед оглянулся, опасаясь, не заболел ли он; а аббат Гитрель, не слыша гула суетных разговоров, хлопанья дверей и беготни билетерш, думал свою епископскую думу.

Но, когда после трех глухих ударов медленно поднялся занавес, все внимание его поглотил спектакль. Его интересовали декламация и жесты актеров. Их произношение, походку, мимику он изучал с корыстным усердием старого проповедника, старающегося овладеть секретом благородных жестов и патетических интонаций. При длинных тирадах он удваивал внимание, жалея только об одном, что играют не Корнеля, богатого монологами, щедрого на ораторские приемы и сильнее подчеркивающего различные места речи.

Когда актер, игравший Ореста, произнес классическое вступление: «Пока все эллины...», преподаватель духовного красноречия приготовился запечатлеть в памяти все его позы и модуляции голоса. Аббат Лежениль хорошо изучил своего старого друга: он знал, что хитрый преподаватель духовного красноречия ходил в театр брать уроки декламации.

Актрисам г-н Гитрель уделял меньше внимания. Он презирал женщин. Это, конечно, не значит, что он был всегда целомудрен в своих помыслах. И в духовном чине знавал он волнения плоти. Каким образом обходился, сталкивался или преступал он седьмую заповедь, господь его ведает. И не стоит доискиваться, какого рода создания, кроме господа бога, могли это ведать. «*Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit?*»¹ Но он был лицом духовным и питал отвращение к дщерям Евы. Он ненавидел самый запах женских волос. На восторги соседа по скамейке, приказчика, который расхваливал руки трагической актрисы, славившейся своей красотой, он ответил гримасой непритворного презрения.

¹ Если станешь ты учитывать грехи наши, господи, господи, кто это выдержит? (*лат.*).

Однако он с интересом досмотрел трагедию до конца и решил, что в проповедях о муках нечестивцев или о страшном конце грешника недурно будет использовать неистовство Ореста, искусно разыгранное актером. И во время антракта он мысленно исправлял, стараясь припомнить слышанное со сцены, свой несколько провинциальный говор, портивший его речь. «Голос туркуэнского епископа, — думал он, — ни в коем случае не должен отзываться кислятиной нашего местного винца».

Пьеса Мольера, которой заканчивался спектакль, чрезвычайно его развеселила. Сам он не умел подмечать смешные стороны в человеке и потому бывал доволен, когда ему их показывали. В особенности понравилось ему веселое поругание плоти, и он от всего сердца хохотал, когда на сцене появлялся клистир.

В середине последнего акта он вынул из кармана булочку и принялся за нее, отламывая маленькие кусочки и прикрывая рот рукою, он спешил доесть свой скудный ужин до полуночи, так как наутро ему предстояло служить литургию в церкви женского монастыря Семи ран господних.

После спектакля он засеменил вдоль пустых набережных к своему пристанищу. В тишине река с глухим ропотом катила свои волны. Гитрель шел мелкими шажками; в чуть красноватом тумане разрастались очертания предметов, и цилиндр его в темноте казался необычайно высоким. Пробираясь вдоль отсырелых стен старой богадельни, он увидел, что навстречу ему, прихрамывая, идет простоволосая некрасивая девица, уже не молодая, грузная, с выпиравшей из-под белой блузки грудью; она пристала к нему и, схватив за полу сюртука, предложила свои услуги. Но прежде чем он успел сообразить, как от нее отделаться, она вдруг шарахнулась в сторону с криком:

— Поп! Ну, не миновать беды!

И, бросившись к лесам, которыми был обнесен ремонтируемый дом, заскулила:

— Что-то теперь со мной стряется! Черт бы его...

Аббат Гитрель знал о суеверии, распространенном

среди простых женщин, которые считают плохой приметой встречу со священником и спешат дотронуться до дерева, дабы предотвратить несчастье; но он был поражен, что девица признала в нем лицо духовного звания, несмотря на светское платье.

«Вот она, кара расстриг, — подумал он. — Ничем из них не вытравить священника. Tu es sacerdos in aeternum ¹, Гитрель».

III

Подгоняемый северным ветром, кружившим по твердой белой земле сухие листья, г-н Бержере прошел мимо обнаженных вязов на городском валу и взобрался на холм Дюрок. Теперь он шагал по неровному шоссе. Оставив по правую руку кузницу и молочную с намалеванными на фасаде двумя красными коровами, а по левую — длинные невысокие заборы огородов, он шел навстречу унылому дымному небу, замыкавшему горизонт лиловою стеной. Приготовив утром десятую и последнюю лекцию о восьмой книге «Энеиды», он машинально перебирал в уме особенности стихосложения и грамматики, обратившие на себя его внимание, и, приноровляя ритм своих мыслей к ритму шагов, через равные промежутки размеренно повторял: «Patrio vocat agmina sistro...» ² Однако время от времени его пытливый и разносторонний ум побуждал его к весьма вольным критическим суждениям. Военную риторику восьмой книги он находил скучной, ему казалось смешным, что Эней получил от Венеры щит с рельефным изображением сцен из римской истории, вплоть до битвы при Акциуме * и бегства Клеопатры. «Patrio vocat agmina sistro...» Дойдя до Пастушьей тропы, шедшей по верху холма Дюрок, он очутился перед красно-бурым кабачком папаши Майяра, заколоченным, опустелым, обветшалым, и подумал, что римляне, изучению которых он посвятил свою жизнь, были невыносимо напыщенны и посредственны. С годами, по мере

¹ Ты навеки — лицо духовное (лат.).

² Систром отцовским войско сзывает... (лат.).

того как развивался его вкус, он стал ценить лишь Катулла и Петрония... «Но, что поделаешь, надо щипать траву на той лужайке, где ты привязан... «Patrio vocat agmina sistro...» Ну, зачем Вергилий и Проперций * пытаются нас уверить, — думал он, — будто сistr, под резкие звуки которого исполнялись неистовые религиозные пляски жрецов, был в то же время музыкальным инструментом египетских мореходцев и солдат? Просто в голове не укладывается».

Спускаясь Пастушьей тропой по противоположному склону холма Дюрок, он вдруг ощутил мягкость воздуха. Теперь дорога шла вниз между двумя известковыми откосами, за которые крепко уцепились корнями низкорослые дубки. Защищенный от ветра, слегка пригретый скудным декабрьским солнцем, тускло светившим с неба, г-н Бержере пробормотал уже спокойнее: «patrio vocat agmina sistro...» Конечно, Клеопатра бежала из Аксиума в Египет, но она пробивалась сквозь флот Октавия и Агриппы, пытавшийся отрезать ей отступление».

Овеянный мягкой лаской воздуха и света, г-н Бержере сел у края дороги на камень, когда-то вырытый из горы и теперь медленно обраставший черным мохом. Он глядел сквозь переплет тонких веток в лиловатое небо, подернутое дымом, и, предаваясь в одиночестве своим мыслям, наслаждался тихой грустью.

«Антоний и Клеопатра, — думал он, — атаковали окружившие их либуры Агриппы с единственной целью прорваться. Это и удалось сделать Клеопатре, которая вывела шестьдесят своих судов». И г-н Бержере, сидя на краю вырытой в карьере дороги, предавался невинному удовольствию вершить судьбы мира в славных водах Акарнании. Но в трех шагах от себя он вдруг заметил старика, который сидел по ту сторону тропинки, на куче сухих листьев. Во всем его облике было что-то первобытное, он сливался с окружающей природой. Лицо, борода и лохмотья были одного оттенка с камнем и листьями. Он не спеша строгал кусок дерева старым лезвием, сточившимся от долголетнего употребления.

— Здравствуйте, сударь, — сказал старик. — Солнышко пригревает. А что хорошо, доложу я вам, так это то, что дождя не будет.

Господин Бержере узнал Подорожника, бродягу, которого судебный следователь Рокенкур припелл к делу о «доме королевы Маргариты» и понапрасну продержал полгода в тюрьме, то ли в душе надеясь получить против него неожиданные улики, то ли рассчитывая, что арест будет выглядеть более оправданным, если протянется дольше, то ли просто по злобе на то, что такой дурачок обманул правосудие. Г-н Бержере чувствовал симпатию к обездоленным и потому ответил приветливыми словами на приветливые слова Подорожника.

— Здравствуйте, голубчик, — сказал он. — Вижу, что вы знаете хорошие места. Это склон солнечный и защищенный от ветра.

Подорожник, помолчав минутку, ответил:

— Я знаю места получше. Только до них далеко. Ходить — бояться нечего. Ноги-то крепкие, а вот башмаки некрепкие. Да и не к чему мне крепкие башмаки, не привык я к ним. Подадут мне крепкие башмаки, а я их распорю.

И, подняв ногу над сухими листьями, он показал обмотанный тряпкой большой палец, торчавший из дыры.

Он умолк и снова принялся строгать твердый сук дерева.

Господин Бержере вскоре вернулся к своим мыслям: «Pallentem morte futura...»¹ Либурнам * Агриппы * не удалось загородить проход пурпурнопарусному флоту Антония. На этот раз голубка ушла от когтей ястреба».

Но Подорожник опять заговорил:

— Они отобрали у меня ножик.

— Кто это «они»?

Бродяга махнул рукою в сторону города и ничего больше не прибавил. Однако его неторопливая мысль продолжала работать, и спустя некоторое время он сказал:

* Бледного перед лицом смерти грядущей (лат.).

— И не отдали.

И застыл в сосредоточенном молчании, не в силах выразить словами мысли, бродившие в его темном сознании. Ножик да трубка были всем его богатством. Ножом он резал черствый хлеб и корки сала, которые ему подавали у дверей ферм, потому что не мог их угрызть своими беззубыми деснами; ножом он крошил остатки сигар, чтобы набить себе трубку; ножом скоблил гнилые фрукты и извлекал из помоек пригодные еще объедки. Ножом строгал палки для ходьбы и срезал ветки, чтобы было на чем переночевать в лесу. Ножом вырезал из дубовой коры лодочки для мальчиков, а из сердцевины делал куколок для девочек. Ножом он пользовался во всех случаях жизни — и в самых насущных и в более сложных; он никогда не мог наесться досыта, а потому бывал хитер на выдумки и кормился ножом, мастера из камыша игрушечные фонтаны, которые нравились господам в городе.

У этого человека, не желавшего работать, были золотые руки. По выходе из тюрьмы он не мог добиться, чтоб ему вернули отобранный у него нож. И он пошел бродить по свету без оружия, без инструмента, обездоленный, беспомощный, как ребенок. Он поплакал над собой. Скупые слезинки жгли налитые кровью глаза. Но потом он приободрился и, выйдя за город, нашел на меже старое лезвие. Теперь он искусно прилаживал к нему крепкую рукоятку из буковой ветки, срезанной в Пастушьем лесу.

Мысль о ноже навела его на мысль о трубке. Он сказал:

— А трубку не отобрали.

И вытащил из шерстяного мешочка, который носил на груди, что-то вроде наперстка, черного и замусоленного, — головку трубки без намека на мундштук.

— Ах, голубчик, — сказал г-н Бержере, — не похожи вы на важного преступника. Ну как это вас опять угораздило попасть в тюрьму?

Подорожник не привык к разговору. Он не умел поддерживать беседу. И, хотя ум у него был, пожалуй, даже философского склада, смысл обращенных к нему слов доходил до него не сразу. Ему не доставало

практики. Сначала он ничего не ответил г-ну Бержере, который принялся чертить концом палки по белой дорожной пыли. Наконец Подорожник сказал:

— Недобрых дел за мной не водится. Выходит, мне попадает за что-то другое.

И разговор завязался без особых перерывов.

— Вы хотите сказать, что вас сажают в тюрьму без вины?

— Я знаю, за кем недобрые дела водятся. Но сказать не скажу, а то мне не поздоровится.

— Вы водите компанию с бродягами и преступниками?

— Вы все допытываетесь. Судью Рокенкура знаете?

— Немного знаю. Он очень строг, так ведь?

— Складно говорит судья Рокенкур. Не слышал я, чтобы кто-нибудь еще так складно и быстро говорил. Понимать не поспеваешь. Никак слова не вставишь. Нет человека, чтобы говорил хоть наполовину так складно, как он.

— Он продержал вас несколько месяцев взаперти, а вы на него не сердитесь. Какое смирение, сколько великодушия и милосердия!

Подорожник принялся строгать рукоятку для ножа. По мере того как подвигалась работа, он веселел и обретал спокойствие духа. Вдруг он спросил:

— Человека по имени Корбон знаете?

— Какой такой Корбон?

Объяснить это было трудно. Подорожник сделал неопределенный жест, охватив четверть горизонта. Однако мысли его были заняты тем, кого он назвал, и он повторил:

— Корбон.

— Подорожник, — сказал г-н Бержере, — говорят, будто вы совсем особый бродяга и, как бы вам трудно ни жилось, вы никогда не воруете. А ведь вы общаетесь с недобрыми людьми. Знаетесь с убийцами.

Подорожник ответил:

— У одних одно на уме, у других — другое. Приди мне на ум что недоброе, я выкопал бы яму под деревом на холме Дюрок, зарыл бы свой нож и землю сверху утоптал бы. У кого недоброе на уме, того сам нож

толкает на такое дело. А еще гордость толкает. А я смолду гордость потерял, ведь наши деревенские парни насмехались надо мною, и девушки и ребяташки тоже.

— И никогда у вас не было злых, недобрых мыслей?

— Бывали, когда повстречаешь женщину одну на дороге. Но это прошло.

— И больше не возвращается?

— Бывает.

— Подорожник, вы любите свободу, и вы свободны. Живете, не работая. Вы счастливец.

— Есть на свете счастливыцы, да только не я.

— Где они, эти счастливыцы?

— На фермах.

Господин Бержере поднялся, сунул бродяге в руку монету в десять су и сказал:

— По-вашему, счастье живет под крышей, у печи, на перине. А я-то считал вас мудрецом.

IV

По случаю Нового года г-н Бержере с утра облачился во фрак, уже утративший лоск и словно осыпанный пеплом пасмурного зимнего утра. Академический значок на лиловой ленточке, продетой в петлицу, своим никчемным блеском только подчеркивал, что г-н Бержере не кавалер Почетного легиона. Во фраке он чувствовал себя особенно бедным и щедушным. Белый галстук казался ему уже совсем жалким, и, правда, он был не очень свеж. Г-н Бержере окончательно расстроился, когда, понапрасну измяв крахмальную манишку, убедился, что перламутровые запонки не хотят держаться в разошедшихся от долгого употребления петлях. В душе у него шевельнулось сожаление, что он не светский человек. И, сев на стул, он принялся рассуждать:

«Да и существует ли на самом деле светское общество и светские люди? По-моему, этот так называемый свет похож на золотисто-серебряное облако в небесной лазури. Когдаходишь в него, ощущаешь только

туман. И правда, социальные группировки весьма неопределенны. Люди соединяются в силу одинаковых предрассудков и вкусов. Но вкусы часто идут вразрез с предрассудками, а случай все спутывает. Конечно, прочное богатство и обусловленный им досуг создают известный образ жизни и особые привычки. В сущности это и есть то общее, что объединяет светских людей. Их объединяет привычка к вежливости, гигиене и спорту, и это все. Существуют светские обычаи. Они чисто внешние и именно поэтому бросаются в глаза. Существуют светские манеры, приличия. Не существует светских душевных свойств. То, что нас действительно характеризует, — это наши страсти, мысли, чувства; у нас есть внутренний судья, а свет тут ни при чем.

Однако неполадки с галстуком и рубашкой продолжали его беспокоить. Он пошел в гостиную взглянуть на себя в зеркало. Зеркало заслоняла громадная корзина вереска, перевитая красными атласными лентами, и потому г-ну Бержере его отражение показалось каким-то далеким. Это ивовая корзина, в виде колесницы с золочеными колесами, стояла на пианино, между двумя пакетами с засахаренными каштанами. К золоченому дышлу была приколота визитная карточка г-на Ру. Корзина была подношением г-же Бержере от г-на Ру.

Преподаватель филологического факультета не отстранил перевитого лентами вереска. Он удовольствовался тем, что доброжелательно поглядел на свой левый глаз, который был виден сквозь цветы. Г-н Бержере полагал, что ни на этом, ни на том свете его никто не любит, и чувствовал к себе жалость и некоторую симпатию. Он относился к себе ласково, как и к прочим обездоленным. Итак, он решил не огорчать себя долее тщательным разглядыванием сорочки и галстука и подумал:

«Ты комментируешь щит Энея, а галстук у тебя измят. И то и другое смешно. Ты не светский человек. Так умей же по крайней мере жить внутренней жизнью и возделывай в себе самом богатую ниву».

В этот новогодний день у него были причины жаловаться на судьбу: ему предстояло идти с визитом

к ректору и декану, людям пошлым и вздорным. Ректор, г-н Летерье, его не выносил. Это была какая-то органическая антипатия, возраставшая с той же правильностью, с какой растут растения, и каждый год приносящая плоды. Г-н Летерье, профессор философии, автор учебника, в котором были разобраны все философские системы, твердо верил в непогрешимость общепринятых взглядов. У него не возникало никаких сомнений относительно вопросов красоты, истины и добра, коих свойства он определил в одной из глав своей работы (страницы 216—262). Поэтому он почитал г-на Бержере за человека опасного и развращенного. Г-н Бержере понимал, что антипатия г-на Летерье вполне искренняя, и не роптал. Иногда он даже снисходительно усмехался. Зато он расстраивался всякий раз, как встречался с деканом, г-ном Торке, у которого не было никаких мыслей и который, при всей своей учености, остался настоящим неучем. Этот толстый человек с низким лбом и плоским черепом, целый день пересчитывал куски сахара у себя в буфете и груши в своем саду, а когда у него сидели в гостях сослуживцы по факультету, чинил звонок у входной двери, но в умении вредить людям он проявлял столько активности и изобретательности, что г-н Бержере просто диву давался. Вот о чем думал преподаватель латыни, надевая пальто и отправляясь с поздравлениями к г-ну Торке.

Тем не менее, выйдя из дому, он немного повеселел. На улице он обретал лучшее из всех благ — философскую свободу духа. На углу улицы Тентельри, против «дома двух сатиров», он остановился и ласково посмотрел на деревцо акации в саду мясника Лафоли, поднимавшее над забором свою оголенную верхушку.

«Зимой в деревьях есть какая-то задушевная прелесть, которой нет в них, когда они одеты пышной листвой и цветами, — подумал он. — Зимой видишь всю тонкость их строения. Какое очарование в изящном силуэте, напоминающем разросшийся куст черных кораллов; это — не мертвый скелет, это — множество хороших веточек, в которых дремлет жизнь. Будь я пейзажистом...»

Тут его размышления были прерваны дородным человеком, который окликнул его по имени и, не останавливаясь, взял под руку. Это был г-н Компаньон, самый популярный профессор, любимец слушателей, читавший курс математики в большой аудитории.

— С Новым годом, дорогой Бержере. Держу пари, что вы к своему декану. Нам по пути.

— Отлично, — ответил г-н Бержере. — Таким образом я скрашу свой путь к тягостной цели. Ибо должен сознаться, что меня нисколько не радует визит к господину Торке.

При этом признании, ничем с его стороны не вызванном, г-н Компаньон, то ли случайно, то ли инстинктивно, вытащил свою руку, которую просунул было под локоть коллеги.

— Знаю, знаю! У вас были недоразумения с деканом. А с ним нетрудно ладить.

— Я вовсе не имел в виду неприязни, которой, говорят, удостаивает меня наш декан, — заметил Г-н Бержере. — Но, как только подумаю, что придется разговаривать с человеком, лишенным всякого воображения, меня мороз по коже подирает. По-настоящему нас огорчает не мысль о несправедливости и ненависти и не зрелище людских страданий. Напротив, мы охотно смеемся над несчастьями ближних, только бы нам весело о них рассказывали. Нагоняют тоску и приводят в отчаяние люди с безрадостной душой, в которой ничто не отражается, в которой вселенная не оставляет никакого следа. Общение с господином Торке — одна из самых больших неприятностей моей жизни.

— Что там ни говори, — заметил г-н Компаньон, — а наш факультет — один из самых блестящих во Франции по подбору профессоров и по оборудованию помещений. Только лаборатории оставляют еще желать многого. Но будем надеяться, что дружными усилиями преданного делу ректора и такого влиятельного сенатора, как господин Лапра-Теле, этот досадный недостаток будет, наконец, исправлен.

— Было бы также желательно, — сказал г-н Бержере, — чтобы курс латыни читался не в темном и сыром подвале.

Проходя по площади св. Экзюпера, г-н Компаньон указал на дом Денизо:

— Что-то не слышно больше о провидице, общавшейся со святой Радегундой и всем райским сонмом. Вы ходили к ней, Бержере? Меня водил туда, в самый расцвет ее славы, Лакарель, правитель канцелярии префекта. Она сидела в кресле, закрыв глаза, а человек десять почитателей задавали вопросы. Спрашивали, в добром ли здоровье папа, каковы будут последствия франко-русского соглашения, пройдет ли подоходный налог и скоро ли будет найдено средство против чахотки. На все вопросы она отвечала в поэтическом стиле и без особого затруднения. Когда черед дошел до меня, Я задал самый простой вопрос: «Каков логарифм девяти?» Ну, как вы думаете, Бержере, она ответила: 0,954?

— Нет, я этого не думаю, — сказал г-н Бержере.

— Она ничего не ответила, ровно ничего. Как воды в рот набрала. Я сказал: «Как же это, святая Радегунда не знает логарифма девяти? Да виданное ли это дело?» Там были полковники в отставке, духовные особы, пожилые дамы и русские врачи. Они, по-видимому, были смущены, а Лакарель повесил нос на квинту. Я удрал, провожаемый общим неодобрением.

В то время как г-н Компаньон с г-ном Бержере, беседа таким образом, переходили через площадь, им повстречался г-н Ру, который щедро рассыпал по всему городу свои визитные карточки. У него было очень большое знакомство.

— Вот мой лучший ученик, — сказал г-н Бержере.

— Он выглядит молодцом, — заметил г-н Компаньон, уважавший силу. — И на кой черт ему латынь?

Задетый за живое, г-н Бержере спросил профессора математики, не полагает ли он, что изучать классические языки — удел людей слабых, немощных, хилых и уродливых.

Но г-н Ру уже поздравлял обоих профессоров, обнявая в улыбке свои зубы молодого волка. Он был доволен. Его добрый гений, благодаря которому он постиг тайну военного дела, принес ему новую удачу.

Сегодня утром г-н Ру получил двухнедельный отпуск по случаю легкого и не болезненного ушиба колена.

— Везет человеку! — воскликнул г-н Бержере. — Надул людей и даже не соврал.

Потом, обращаясь к г-ну Компаньону, прибавил:

— Мой ученик, господин Ру, подает большие надежды по части латинского стихосложения. Но по странному противоречию судьбы этот молодой латинист, изучая строгие стихотворные размеры Горация и Катулла, сам сочиняет французские стихи, которые никак не проскандируешь, и, должен сознаться, я не могу уловить их неопределенный ритм. Словом, господин Ру пишет свободным стихом.

— Да? — вежливо произнес г-н Компаньон.

Господин Бержере, человек любознательный и охотник до всяких новшеств, попросил г-на Ру прочесть его последнюю, еще не опубликованную поэму «Превращение нимфы».

— Послушаем, — сказал г-н Компаньон. — Я пойду по левую руку от вас, господин Ру, я на это ухо лучше слышу.

И г-н Ру начал читать медленно, протяжно и нарастающим темпом «Превращение нимфы». Он читал стихи, время от времени прерываемый грохотом ломовых телег:

Белоснежная,
Крутобедрая нимфа, нежная,
Вдоль округлых плывет берегов.
Серебристые ивы речных островов,
Словно поясом Евы, ее одевают;
И вдруг побледнев,
Она исчезает.

Потом он показал иную картину:

На откосе деревня,
Харчевня
С запахом жареной рыбы.

Нимфа убегает в тревоге и смущении. Она приближается к городу; и тут происходит превращение:

И вот уже бедра ее одевают тяжелые камни,
Щетинится грудь волосами — она мне

Кажется грузчиком, потным и черным,
Изнуренным в труде упорном.
Взглянешь назад —
Там угольный склад.

И поэт воспел реку, текущую уже в городе:

Отныне в плену исторических дат,
Достойная песен, легенд и архивом хранимых рассказов,
В сиянии славы,
Заимствуя строгость и мрачный покой
От серых гранитов,
Воды несет под сенью старинных церквей,
Там, где реют еще Адальберты и Эвды *,
Где епископ в поблекшей парче
Не дает отпеванья погибшим безвестным телам,
Безвестным,
Что уже не тела, а пустые мешки, —
Вдоль реки,
Вдоль островов уплывают они, словно баржи
С кирпичной трубой вместо мачт,
За крестом и могилой.
Помедли немного у этих старинных перил:
Немало найдешь ты красивых легенд и рассказов,
Книгу волшебную с красным обрезаем: дуб на нее
Роняет дождем свои листья...
Истлевший, быть может, отыщешь ты там манускрипт —
Ведь с тобой говорят полустертые руны,
Знаешь ты силу письмен на старинных клинках ¹.

— Очень хорошо, — сказал г-н Компаньон, который не то что не любил литературы, но, без привычки к ней, едва ли отличил бы стихи Расина от стихов Малларме *.

А г-н Бержере подумал:

«Кто знает, может это и в самом деле хорошее произведение?»

И из страха оскорбить непонятную ему красоту он молча пожал поэту руку.

V

Выйдя от декана, г-н Бержере повстречался с г-жой де Громанс, которая возвращалась от обедни. Он обрадовался, ибо почитал за удовольствие для

¹ Перевод Ады Владимировой.

всякого порядочного человека встречу с красивой женщиной. Г-жа де Громанс казалась ему привлекательней всех женщин. Он был ей благодарен за умение одеваться просто и со вкусом, которым во всем городе отличалась она одна, был благодарен за ее походку, которая подчеркивала стройность ее тонкого стана и гибкость бедер, — в ее образе для него воплощалась действительность, недоступная бедному и скромному латинисту, но могущая послужить ему хотя бы иллюстрацией для той или иной строчки Горация, Овидия или Марциала *. Он был ей признателен за ее приятный облик и за тот аромат любви, который исходил от нее. В душе он благодарил ее, как за милость, за ее легконравное сердце, хотя сам лично ни на что не надеялся. Он не был принят в аристократическом кругу, не бывал у нее и только по чистой случайности на празднике после торжественной кавалькады в честь Жанны д'Арк был ей представлен на трибуне г-ном де Термондром. Впрочем, он и не желал более близкого знакомства, ибо был мудрецом и обладал чувством гармонии. Ему было достаточно при случае мельком взглянуть на ее красивое лицо и при виде ее припомнить те рассказы, какие ходили о ней в лавке Пайо. Ей он был обязан некоторой долей радости, за что и чувствовал какую-то постоянную благодарность.

Сегодня, новогодним утром, он увидел ее в тот момент когда она выходила из храма св. Экзюпера, приподняв одной рукой юбку, так что обрисовалась мягкая линия округлого колена, другою держа большой молитвенник в красном сафьяновом переплете, и он мысленно вознес к ней благодарственную молитву за то, что она — изысканная услада и очаровательная притча всего города. И, увидя ее, он откровенно выразил эту мысль в своей улыбке.

Госпожа де Громанс понимала славу женщины не совсем так, как г-н Бержере. Она ставила ее в зависимость от всяких общественных условий и соблюдала приличия, ибо принадлежала к высшему кругу. Так как ей было известно, что о ней думали в городе, то она держала себя холодно с людьми, которым не стремилась понравиться. Г-н Бержере принадлежал к их

числу. Его улыбку она нашла дерзкой и ответила на нее столь высокомерным взглядом, что несчастный покраснел. И он пошел своей дорогой, думая в сердечном сокрушении:

«Вот так злючка! Но и я нахал. Теперь я это сознаю. Я слишком поздно понял дерзость своей улыбки, означавшей: «Вы — общая услада!» Она восхитительное создание, но не философ, свободный от обычных предрассудков. Она не могла меня понять; она не могла знать, что я почитаю ее красоту выше всех добродетелей в мире, а то, как она ею пользуется, признаю жреческим служением. Я был бестактен. Мне стыдно за себя. Как и всякий порядочный человек, я не раз преступал кое-какие людские законы и не раскаиваюсь. Но в моей жизни были такие поступки, которыми я нарушал нечто едва уловимое, тончайшее, называемое приличием, и до сих пор я испытываю глгучую досаду и даже угрызения совести. Сейчас я готов сквозь землю провалиться от стыда. Отныне я буду избегать приятных встреч с этой дамой, наделенной гибким станом, *crispum... docta movere latus*¹. Плохо начался для меня год!»

— Счастливого года! — буркнул кто-то из-под соломенной шляпы себе в бороду.

Это был г-н Мазюр, департаментский архивариус. С тех пор как министр отказал ему в академических отличиях, за отсутствием для этого оснований, а городское общество всех кругов перестало отдавать визиты г-же Мазюр по той скрытой причине, что она была кухаркой и любовницей двух архивариусов, ведавших ранее департаментскими архивами, г-н Мазюр почувствовал ненависть к правительству, отвращение к свету и впал в мрачную мизантропию.

Чтобы сильнее выразить свое презрение к роду человеческому, он в этот день, когда все ходили с визитами по знакомым и по начальству, надел линялую синюю шерстяную фуфайку, торчавшую из-под воротника пальто с разорванными петлями, и нахлобучил продавленную соломенную шляпу, которую Маргарита,

¹ Бедром поводящей искусно (*лат.*).

его подруга жизни, вешала на страх воробьям в саду на вишневое дерево. Поэтому он с состраданием посмотрел на белый галстук г-на Бержере.

— Вы сейчас поклонились, — сказал он, — величайшей мерзавке.

Столь мало изящный и отнюдь не философский способ выражения причинил подлинное страдание г-ну Бержере. Но он многое прощал мизантропам и постарался помягче указать г-ну Мазюру на неделикатность таких речей.

— Дорогой господин Мазюр, зная вашу глубокую ученость, я ожидал от вас более справедливого мнения о даме, которая никому не делает зла, а скорее наоборот.

Господин Мазюр сухо ответил, что не любит распутниц. В его устах это не было выражением искренних чувств. По правде говоря, г-н Мазюр не отличался нравственными устоями. Но он упорно продолжал дуться на весь мир.

— Да, — со вздохом сказал г-н Бержере, — я признаю ошибку госпожи де Громанс. Она опоздала родиться на полтора года. В обществе восемнадцатого века человек просвещенный не осудил бы ее.

Господин Мазюр почувствовал себя польщенным и смягчился. Он не был ярым пуританином. Но он уважал гражданский брак, которому законодательство революции придало новое значение. Отсюда еще не следовало, что он отрицает права сердца и чувств. Он признавал наряду с уважаемыми семьянинками и женщин легкого поведения.

— Кстати, как поживает госпожа Бержере? — спросил он.

Северный ветер дул особенно сильно на площади св. Экзюпера, и г-н Бержере видел, как покраснел под опущенными полями соломенной шляпы нос г-на Мазюра. У него самого уже мерзли ноги, и, чтобы хоть немножко разогреть кровь, он стал думать о г-же де Громанс.

Книжная лавка Пайо была заперта. Оба ученые мужа почувствовали себя бесприютными и взглянули друг на друга с грустным сочувствием.

И добросердечный г-н Бержере подумал:

«Когда я лишусь этого спутника с куцыми и грубыми мыслями, в этом неприязненном городе меня опять охватит одиночество. Подумать страшно!»

Ноги его словно приросли к острым камням площади, ветер щипал уши.

— Я провожу вас до дому, — сказал архивариус.

И они пошли вместе, рядышком, время от времени обмениваясь поклонами со встречными, которые были разодеты по-праздничному и нагружены коробками конфет и паяцами.

— Графиня де Громанс, — сказал архивариус, — урожденная Шапон. Известен только один Шапон: ее отец, самый заядлый ростовщик во всей округе. Я откопал также документы Громансов, принадлежащих к мелкому дворянству области. Имеется некая девица Сесиль де Громанс, которую в тысяча восемьсот пятнадцатом году наградили ребенком какой-то казак. Может получиться недурная статейка для местного листка. Я готовлю целую серию.

Господин Мазюр говорил правду. Он был ярким ненавистником своих сограждан и просиживал с утра до ночи на пыльном чердаке, под крышей префектуры, усердно листая сваленные там в кучу шестьсот тридцать семь тысяч дел с единственной целью откопать скандальные истории о наиболее видных семьях в департаменте. И там, среди груд ветхого пергамента и казенных бумаг, носящих печати двух веков и гербы шести королей, двух императоров и трех республик, он разыскивал наполовину изъеденные червями и мышами свидетельства давних преступлений и искупленных грехов и злорадно смеялся.

И, пока они шли по кривой улице Тентельри, он занимал своими злобными разоблачениями г-на Бержере, снисходительного к грехам предков и интересующегося только их обычаями и нравами. По словам г-на Мазюра, он отыскал в своих архивах одного Термондра, террориста и председателя клуба санкюлотов их города в 1793 году, который переименовал свое имя Никола-Эташ на Марат-Пеплие. И Мазюр поспешил сообщить своему коллеге по Обществу археологии, г-ну Жану де Тер-

мондру, «присоединившемуся», монархисту и клерикалу, сведения о его забытом предке Марате-Пеплие Термондре, авторе гимна святой Гильотине. Он обнаружил также двоюродного прадеда архиепископского викария, некоего г-на де Гуле, или, более точно, как тот сам подписывался, Гуле-Трокара, который брал военные поставки и в 1812 году был осужден на каторжные работы за поставку, вместо говядины, мяса больных лошадей. И выдержки из этого процесса были опубликованы в передовой газетке департамента. Г-н Мазюр обещал еще более ужасные разоблачения о семье Лапра, известной кровосмесительством; о семье Куртре, опозоренной в 1814 году государственной изменой одного из своих членов; о семье Делион, разбогатевшей на спекуляциях хлебом; о семье Катрбарб, ведущей свое происхождение от двух разбойников, мужа и жены, повешенных во времена Консульства на дереве, на холме Дюрок, самими жителями. Еще около 1860 года попадались старожилы, которые припомнили, что видели в детстве на высоком дубе, под толстым суком, человеческое тело с развевающимися длинными черными волосами, пугавшими лошадей.

— Так она и провисела три года, — воскликнул архивариус, — и это не кто иной, как родная бабка Гиацинта Катрбарба, епархиального архитектора!

— Очень любопытно, — сказал г-н Бержере, — но такие сведения надо хранить про себя.

Мазюр его не слушал. Он хотел все опубликовать, все огласить вопреки префекту Вормс-Клавлену, который резонно говорил: «Надо избегать скандалов и поводов к раздорам», — и угрожал архивариусу сместить его, если тот не прекратит разглашения старых семейных тайн.

— Да, — воскликнул Мазюр, хихикнув в лохматую бороду, — все узнают, что в тысяча восемьсот пятнадцатом году девица де Громанс произвела на свет казачонка.

Они уже дошли до подъезда, и г-н Бержере поднял руку к звонку.

— Ну что тут такого? — сказал он. — Бедная барышня сделала то, что могла. Она умерла, казачонок

умер. Не станем тревожить их память, а если мы и воскресим ее на мгновение, то будем снисходительны. Ну ради чего вы из кожи лезете?

— Ради справедливости.

Господин Бержере дернул звонок.

— Прощайте, господин Мазюр, не будьте справедливы — будьте снисходительны. Счастливого Нового года!

Господин Бержере заглянул сквозь грязное стекло в швейцарскую — нет ли для него в ящике писем или каких-либо бумаг: вести издалека и литературные журналы давали пищу его любознательности. Но он нашел только визитные карточки, которые напомнили ему о людях, таких же бесцветных и ничтожных, как сами карточки, да счет от мадемуазель Розы, модистки с улицы Тентельри. Взглянув мельком на счет, он подумал, что г-жа Бержере слишком много тратит и что хозяйство становится обременительным. Он чувствовал его тяжесть у себя на плечах и вдруг, стоя в подъезде, ощутил, будто несет на собственной спине всю квартиру — и гостиную с ее пианино, и чудовищный гардероб, который поглощал все его небольшие доходы и все-таки был постоянно пуст. Подавленный мыслями о домашних делах, он взялся за железные узорчатые перила, украшенные мягко изогнутыми завитками, и начал взбираться, опустив голову и отдуваясь, по каменным ступеням, теперь уже почерневшим, обшарпанным, разбитым, с заплатами из облупленных кирпичей и неказистых плиток, уж не блесевшим новизной, как в былые дни, когда по ним взбегали во всю прыть знатные господа и красивые девушки, торопясь на поклон к откупщику государственных налогов Поке, который разбогател, потому что драл шкуру со всей области. Г-н Бержере жил в особняке Поке де Сент-Круа, потерявшем свою былую славу, утратившем роскошь, обезображенном оштукатуренной надстройкой взамен изящного аттика* и величественной крыши, затемненном высокими зданиями, выросшими повсюду — там, где были сады, украшенные множеством статуй, пруды, парк, даже на месте парадного двора, где Поке поставил аллегорический памятник своему королю, который каждые пять-шесть лет пускал ему

кровь, а потом сызнова предоставлял сосать кровь королевских подданных.

Двор, окруженный великолепным тосканским портиком, исчез в 1857 году, когда улицу Тентельри стали выравнивать. И особняк Поке де Сент-Круа превратился в некрасивый доходный дом, за которым очень плохо смотрела чета стариков Гоберов, презиравшая г-на Бержере за его кротость и совсем не ценившая его подлинной щедрости, потому что он был человеком небогатым; зато они подобострастно принимали подачки от г-на Рено, который давал мало, но мог бы дать много, почему особенно лестно казалось получить от него пять франков — ведь они были частью большого капитала.

Дойдя до бельэтажа, где квартировал упомянутый г-н Рено, владелец участков, расположенных около нового вокзала, г-н Бержере посмотрел по привычке на барельеф над дверью. Там был изображен верхом на осле старый Силен, окруженный нимфами. Вот все, что осталось от внутреннего убранства особняка, построенного в конце царствования Людовика XV, в эпоху, когда французский стиль во что бы то ни стало хотели сделать античным, по, по счастью для него, не преуспев в этом, только придали ему ту чистоту, строгость, изящное благородство, которые особенно чувствуются в проектах Габриэля *. Особняк Поке де Сент-Круа был спроектирован как раз одним из учеников этого превосходного архитектора. Но его систематически уродовали. Правда, из экономии, чтоб не тратить зря времени и денег, оставили на месте небольшой барельеф Силена и нимф, но зато его, заодно с лестницей, закрасили масляной краской под красный гранит. Местное предание считало этого Силена изображением откупщика Поке, который слыл за самого некрасивого человека своего времени и вместе с тем за самого избалованного женской любовью; но г-н Бержере, хотя и не был большим знатоком искусства, признал в этой гротескной и в то же время величественной фигуре божественного старца тип, освященный двумя античными культурами и Ренессансом. Он не разделял общего заблуждения, и все же Силен, окруженный нимфами, всегда наводил его на мысль о Поке, который вкушал

все блага мира в тех же стенах, где г-н Бержере вел жизнь трудную и небогатую радостями.

«Этот откупщик, — думал он, стоя на площадке, — обирал короля, а тот потом обирал его. Так устанавливалось равновесие. Особенно расхваливать финансовую систему монархии не приходится, ибо в конце концов именно дефицит привел к падению старого режима. Но надо отметить то обстоятельство, что в прежние времена король был единственным владельцем всего движимого и недвижимого имущества в королевстве. Всякий дом принадлежал королю, в подтверждение чего подданный, владевший им, изображал у себя над очагом королевский герб. И Людовик XIV не по праву реквизиции, а по праву собственности посылал на монетный двор для оплаты военных издержек серебряную утварь своих подданных. Он переплавлял даже церковные сокровища, и совсем недавно я читал, что он забрал из церкви Льееской богородицы в Пикардии все *ex voto*, в том числе и изображение женской груди, пожертвованное королевой польской в благодарность за чудесное исцеление. Тогда все принадлежало королю, то есть государству. И ни социалисты, требующие национализации частной собственности, ни собственники, озабоченные сохранением своего добра, нисколько не задумываются над тем, что эта национализация была бы в некотором смысле возвратом к старому порядку. Философу мог бы показаться забавным тот вывод, что революция в конце концов была совершена ради скупщиков национальных имуществ и что Декларация прав человека стала хартией собственников.

Этот Поке, приглашавший сюда самых хорошеньких девиц из Оперы, не был кавалером ордена Людовика Святого. А теперь он был бы командором ордена Почетного легиона, и министры финансов являлись бы к нему за распоряжениями. Деньги доставляли ему удовольствия, ныне они доставили бы ему почет. Ведь теперь деньги стали почтенными. В наше время богачи — единственная знать. И прежнюю знать мы уничтожили лишь для того, чтобы поставить на ее место знать самую притесняющую, самую наглую и самую могущественную».

В этом месте размышления г-на Бержере были прерваны компанией принарядившихся мужчин, женщин и детей, выходивших от г-на Рено. Он сообразил, что это стая бедных родственников, поздравлявших старика с Новым годом, и ему показалось, будто они идут повесив нос. Он поднялся выше, так как жил на четвертом этаже, который любил называть «четвертым жильем», как говорили в XVII веке. И для иллюстрации этого устарелого термина он охотно цитировал стихи Лафонтена:

Какая польза вам читать и ночь и день?
Четвертое жилье — приют ваш в мире этом,
Одежка скудная, одна зимой и летом,
Лакеем же, увы, вам служит ваша тень.

И стихи и само выражение, которым он, пожалуй, злоупотреблял, раздражали г-жу Бержере, гордившуюся тем, что они занимают квартиру в центре города, в доме с приличными жильцами.

«Подымеся, — мысленно сказал он, — в четвертое жилье».

Он вынул часы и увидел, что только одиннадцать. А он пообещал вернуться в полдень, рассчитывая провести часок в лавке Пайо. Но там он наткнулся на запертую на замок дверь. Он не любил воскресений и праздников уже по одной той причине, что в эти дни книжная лавка бывала заперта. Сегодня он не мог нанести Пайо обычный визит и поэтому был не в духе.

Поднявшись на четвертый этаж, он тихонько всунул ключ в замок и, по обыкновению стараясь не шуметь, вошел в столовую. Это была довольно темная комната, насчет которой г-н Бержере не имел определенного мнения, зато г-жа Бержере полагала, что она обставлена со вкусом, так как над столом висела медная лампа, а дубовые стулья и буфет покрывала обильная резьба, на этажерке красного дерева стояли чашечки и, самое главное, на стене красовались расписные фаянсовые тарелки. Если войти в столовую через темную переднюю, то слева была дверь в кабинет, справа — в гостиную. Г-н Бержере имел обыкновение, воротясь домой, проходить налево, к себе в кабинет, где его ждали ночные туфли, книги и уединение. На этот раз он почему-то

пошел направо, без всякого повода, без какого бы то ни было умысла, бессознательно. Он повернул ручку, толкнул дверь и, сделав шаг, очутился в гостиной.

И тут он увидел на диване две человеческие фигуры, которые сплелись в исступленной позе, выразившей любовь и борьбу и бывшей на самом деле позой сладострастия. Голова г-жи Бержере была запрокинута и не видна, но ее чувства нашли явственное выражение в неприкрытых платьем красных чулках. В лице г-на Ру было то сосредоточенное, значительное, неподвижное и маниакальное напряжение, которое не может обмануть, хотя его и не приходится наблюдать часто, и которому соответствовал беспорядок в его туалете. Впрочем, все изменилось в одну секунду. И перед глазами г-на Бержере предстали два человека, совершенно не похожие на тех, которых он застал, — два человека, смущенные, нелепые и несколько смешные с виду. Он мог бы подумать, что ошибся, но первая картина запечатлелась у него в глазах с яркостью, равной ее мимолетности.

VI

В первый момент при виде такой недвусмысленной позы г-н Бержере ощутил то, что ощутил бы на его месте всякий простой несдержанный человек или дикий зверь. Преподаватель филологического факультета вдруг почувствовал себя наследником длинного ряда неизвестных предков, среди которых неизбежно были люди грубые и жестокие, потомком бесчисленных поколений людей, антропоидов и диких животных, от которых мы все ведем свое начало, существом, всосавшим с молоком матери разрушительные инстинкты древнего человека. Под влиянием потрясения эти инстинкты проснулись. Он почувствовал жажду крови и захотел убить г-на Ру и г-жу Бержере. Но хотел он этого недолго и не сильно. Кровожадность его свелась к тому же, к чему свелись четыре клыка у него во рту и хищные когти, которыми когда-то были вооружены его пальцы: ее первоначальная сила значительно поубавилась. Словом, г-н Бержере жаждал убить г-на Ру и г-жу Бержере, но

жаждал недолго. Он расшвырялся и ожесточился, но в весьма умеренной степени и на такой короткий срок, что за чувством не могло последовать действие и даже само выражение этого чувства ускользнуло, в силу своей мимолетности, от тех двух людей, которых оно касалось. Спустя мгновение первобытные разрушительные инстинкты г-на Бержере улеглись, но ревность и злоба не улеглись. Напротив, возмущение его возросло. В этом новом разрезе мысль его была уже не проста — она приобрела социальный характер, усложнилась смутно припоминаемыми строчками из старых богословских сочинений, цитатами из десяти заповедей, обрывками этики, греческими, шотландскими, немецкими, французскими изречениями, отдельными местами из законодательства о нравственности; все это, как кремень об огниво, било по мозгу и воспламеняло его. Г-н Бержере почувствовал себя патриархом, отцом семейства в римском понимании этого слова, господином и судьей. В нем возникла добродетельная мысль покарать виновных. В первую минуту он хотел убить г-жу Бержере и г-на Ру из инстинктивной кровожадности, теперь он хотел убить их из чувства справедливости. Он обрек их на позорные и ужасные муки. Он обрушился на них со всей строгостью средневековых нравов. Этот мысленный пробег через века организованных обществ был продолжительнее первого. Он длился целых две секунды, за это время оба сообщника произвели в своей позе изменение, столь незначительное, что его вполне можно было бы не заметить, но столь существенное, что характер их отношений казался совершенно другим.

Соображения религиозного и нравственного порядка постепенно вытесняли друг друга, а под конец г-ну Бержере стало просто не по себе, и он почувствовал, что омерзение широкой волной грязи заливают пламя его гнева. Протекло целых три секунды, а он ничего не сделал, его охватила нерешительность. По какому-то смутному и неясному инстинкту, свойственному его натуре, он с самого начала отвел глаза от дивана и уставился на столик, стоявший у двери и покрытый оливковой скатертью с набивным цветным рисунком, на котором были изображены средневековые рыцари. Ска-

терть была сделана под гобелен. За три бесконечно долгие секунды г-н Бержере ясно разглядел маленького пажа, державшего шлем одного из рыцарей. Вдруг на столике, среди книг в красных с золотом переплетах, которые г-жа Бержере клала туда для хорошего тона, он узнал по желтой обложке факультетский «Бюллетень», позабытый им здесь накануне вечером. Вид этой книжки натолкнул его на действие, наиболее свойственное его характеру. Он протянул руку, взял бюллетень и вышел из гостиной, куда попал по какой-то роковой случайности.

В столовой он почувствовал себя одиноким, несчастным и удрученным. Он держался за стулья, чтобы не упасть. Если б он мог заплакать, ему было бы легче, но в обрушившейся на него беде была какая-то горечь, было что-то едкое, отчего слезы высохли у него на глазах. Ему казалось, что если он и видел раньше эту маленькую столовую, по которой прошел несколько секунд тому назад, то в какой-то другой жизни. Ему казалось, что когда-то, давным-давно, в каком-то прежнем существовании он свыкся с этим резным дубовым буфетиком, с этажерками красного дерева, уставленными расписными чашечками, с фаянсовыми тарелками, развешенными по стенам, что давным-давно сживал он тут за круглым столом с женой и дочками. Рушилось не его счастье (счастлив он никогда не был), а его неприглядный домашний очаг, его семейная жизнь, уже и прежде неуютная и тяжелая, а теперь — обесчещенная и растоптанная, уничтоженная целиком.

Когда юная Евфимия пришла накрывать на стол, он вздрогнул, словно она была выходцем из того исчезнувшего мира, в котором он некогда жил.

Он ушел к себе в кабинет, заперся там, сел за стол, открыл наудачу факультетский «Бюллетень», поудобней подпер обеими руками голову и по привычке стал читать.

Он прочитал:

«Заметки о чистоте языка. Языки подобны дремучим лесам, где слова выросли, как хотели или как умели. Встречаются странные слова, даже слова-уроды. В связной речи они звучат прекрасно, и было бы варварством подрезать их, как липы в городском

саду. Надо уважать то, что великий языковед-описатель называет *неоформленной вершиной...*»

«А дочки! — подумал г-н Бержере. — Как она о них не подумала! Как она не подумала о наших дочках...»

Затем он прочитал, не вникая:

«Такие слова — несомненно уроды. Мы говорим: «сегодняшний день», то есть «сего-дня-шний день», между тем ясно, что это нагромождение одного и того же понятия; мы говорим: «завтра утром», а это то же, что «за-утра утром», и тому подобное. Язык исходит из недр народа. В нем много безграмотностей, ошибок, фантазии, и его высшие красоты наивны. Создавали его не ученые, а люди, близкие к природе. До нас он дошел из глубины веков, и те, кто нам его передал, не лингвисты и не могут равняться знаниями с Ноэлем и Шапсалем»*.

Он продолжал свою думу:

«В ее годы, при ее скромной, скудной жизни... Будь она красивая, праздная, окруженная поклонниками женщина, тогда понятно... Но чтобы она!..»

И так как он привык к чтению, то продолжал машинально читать:

«Будем пользоваться им как драгоценным наследием. И не будем слишком придирчивы. Излишнее внимание к этимологии вредно в разговоре и даже в письме...»

«А он, мой любимый ученик, принятый у нас в доме... ведь он должен был бы...»

«Согласно этимологии черт есть то, что черно, а душа есть то, что дышит, но человечество вложило в эти старые слова смысл, которого они первоначально не имели...»

— Рогоносец!

Это слово сорвалось с его губ так отчетливо, что он даже ощутил его во рту, будто какую-то металлическую бляшку или небольшую медаль. Рогоносец!..

Ему вдруг представилось все то будничное, обыденное, смешное, неуклюже-трагическое или плоскокомическое, нескладное, пошлое, что заключалось в этом слове, и он печально усмехнулся.

Он хорошо знал Рабле, Лафонтена и Мольера и потому назвал себя тем именем, которое несомненно

вполне ему подходило. Но он перестал смеяться, если только можно считать, что он смеялся.

«Разумеется, — думал он, — это событие незначительное и обычное. Но ведь и сам я тоже человек незначительный в людском обществе, стало быть тут есть некая соразмерность; случившееся представляется мне важным, и потому нечего стыдиться страданий, которые оно мне причиняет».

И поддавшись этой мысли, он погрузился в свое горе и замкнулся в нем. Ему стало очень жалко себя, как это бывает с большими, и он старался отогнать мучительные образы и назойливые думы, все снова возникавшие в его воспаленном мозгу. То, что он видел, внушало ему физическое отвращение, причины которого он тут же стал доискиваться, ибо по природе своей был склонен к философствованию.

«Нельзя, — рассуждал он, — относиться безразлично к тому, что вызывает в нас самые страстные желания, что волнует плоть и кровь; как только мы перестаем испытывать сладострастие, нам делается противно то, что его вызвало. Сама по себе Амелия неспособна возбудить во мне эти противоречивые чувства, но, что ни говори, она — одно из самых типичных и наиболее определенных воплощений Венеры, вожделенной людьми и богами, хотя, правда, и одно из наименее приятных, а для меня и наименее таинственных ее воплощений. Образ жены, слитый с образом моего ученика, г-на Ру, в едином порыве и во взаимном чувстве, как раз и низводит ее к тому примитивному типу, который, как я уже сказал, может только привлекать или отталкивать. Итак, мы видим, что всякий эротический символ либо разжигает желание, либо охлаждает его и поэтому с одинаковой силой либо привлекает, либо отталкивает взор, в зависимости от физиологического предрасположения тех, кто его видит, а иногда и в зависимости от последовательных душевных состояний одного и того же свидетеля».

Такое наблюдение приводит нас к пониманию истинных причин того, что эротические акты всегда и везде совершались тайно, дабы не вызывать в окружающих сильные и противоположные эмоции. Постепенно стали

даже скрывать все то, что могло напомнить об этих актах. Так родилась Стыдливость, подчинившая себе всех людей, особенно же сильная у народов чувственных».

И г-н Бержере подумал:

«Случай помог мне понять происхождение этой добродетели, только потому самой многообразной, что она самая всеобщая, — происхождение Стыдливости, имеваемой у греков Стыдом. К этой привычной добродетели, которая коренится в свойстве человеческого ума, общем для всех людей, присоединились самые нелепые предрассудки, затемнившие ее смысл. Однако я в состоянии теперь установить истинную теорию стыдливости. Ньютон, под своим деревом, менее дорогой ценой открыл закон тяготения».

Так рассуждал г-н Бержере, сидя у себя в кресле. Но он плохо справлялся с душевными порывами и тут же стал вращать налитыми кровью глазами, заскрежетал зубами и так сильно сжал кулаки, что ногти впились в ладони. Перед его умственным взором с неумолимой четкостью возник образ его ученика, г-на Ру, в том самом виде, который должен быть скрыт от посторонних взоров по причинам, только что блестяще изложенным профессором. Г-н Бержере не был лишен способности, известной под названием зрительной памяти. Правда, глаз его не был насыщен воспоминаниями, как глаз художника, хранящего в какой-то извилине своего мозга обширные и бесчисленные картины, но все же он без особого усилия и довольно верно воспроизводил в уме развиденное, если оно остановило на себе его внимание; он любовно берег в альбоме своей памяти очертание красивого дерева или изящной женщины, запечатлевшееся однажды у него в глазу. Но никогда еще в его мозгу не возникал такой отчетливый, яркий, точный, выписанный до мелочей и в то же время сильный, полный, цельный, крепкий и властный образ, как возникший сейчас образ его ученика, г-на Ру, в объятиях г-жи Бержере. Это представление, целиком соответствующее действительности, было отвратительно; оно было неверно, поскольку делало бесконечно длительным действие, в сущности мимолетное. Создаваемая им полная иллюзия придавала всем подробностям циничное

упорство и невыносимую продолжительность. И на этот раз г-н Бержере снова захотел убить своего ученика, г-на Ру. Он уже занес руку, он уже представил себе это убийство, и до того ярко, что почувствовал себя совершенно измученным.

Затем он опять задумался и понемногу, незаметно заблудился в лабиринте сомнений и противоречий. Мысли расплывались, путались, теряли яркость окраски, как капли акварели в стакане воды. И вскоре он перестал уже понимать то, что произошло.

Он окинул унылым взором комнату, стал рассматривать цветы на обоях и заметил, что букеты плохо пригнаны и половинки красных гвоздик не сходятся. Посмотрел на простые полки, уставленные книгами. Посмотрел на шелковую подушку с вязаными кружевами, которую несколько лет тому назад сделала ему к именинам г-жа Бержере. И тут он растрогался при мысли о нарушенной семейной жизни. Он никогда не чувствовал особой любви к этой женщине, на которой женился по совету друзей, — ибо сам был неспособен наладить свое существование. Теперь он не любил ее совсем. Но она составляла значительную часть его жизни. Он подумал о дочерях, гостивших у тетки в Аркашоне, о старшей, Полине, похожей на него и его любимице. И он заплакал.

Вдруг сквозь слезы он увидел ивовый манекен, на котором г-жа Бержере примеряла платья и который обычно держала у г-на Бержере в кабинете, перед книжным шкафом, пренебрегая ворчанием мужа и его жалобами на то, что ему приходится обнимать и передвигать эту ивовую женщину всякий раз, как ему надо достать какую-либо книгу с полки. Г-на Бержере всегда раздражал этот предмет, напоминавший ему деревенскую клетку для цыплят и вместе с тем виденного им в детстве на картинке в учебнике древней истории сплетенного из камыша человекоподобного идола, в котором, как ему говорили, финикияне сжигали детей. Но особенно напоминал он г-жу Бержере, и, хотя эта фигура была без головы, г-н Бержере так и ждал, что она вот-вот завизжит, заохает, разразится бранью. На сей раз эта безголовая фигура показалась ему самой г-жой

Бержере, противной и нелепо уродливой г-жой Бержере. Он бросился на нее, сжал так, что ивовый остов затрещал у него под пальцами, словно ребра, повалил, стал топтать ногами, поднял, изуродованную и кряхтящую, и выбросил из окна во двор к бочару Ланфану, где она упала на кучу лоханок и шаек. У него было ощущение, что он совершил действие, поистине символическое, но тем не менее нелепое и смешное. Все же он почувствовал некоторое облегчение. И когда юная Евфимия пришла доложить, что завтрак стынет, он пожал плечами, решительно прошел через пустую еще столовую, взял в передней шляпу и спустился с лестницы.

На крыльце он понял, что не знает, куда идти, что делать, понял, что не пришел еще ни к какому решению. Очутившись на улице, он заметил, что идет дождь, а у него нет зонта. Это обстоятельство его несколько раздосадовало, но зато и отвлекло. Пока он раздумывал, не решаясь выйти под дождь, он увидел на выбеленной стене, под звонком, на высоте, доступной ребенку, рисунок углем. Был нарисован человек: кружок с двумя точками и двумя черточками изображал лицо, овал обозначал туловище; вместо рук и ног были проведены палочки, расходившиеся, как спицы в колесе, что придавало забавный вид этой мазне, исполненной в классическом стиле озорной стенописи. Рисунок был нацарапан несколько дней назад: кое-где он был уже смазан, а местами почти стерся. Но г-н Бержере только сейчас его заметил, потому что наблюдательность его, без сомнения, теперь обострилась.

«Графито!» * — воскликнул про себя профессор.

И он обратил внимание на то, что над головой человека красовались рога, а сбоку, чтобы узнали, кто это, было написано: «Бержере».

«Все знали! — подумал он. — Озорники по дороге в школу возвещают об этом на стенах, и я стал притчей во языцех. Может быть, эта женщина обманывает меня уже давно и с кем попало. Это графито дало мне больше, чем долгое и тщательное дознание».

И, стоя под дождем, в луже, он рассматривал графито; он заметил, что буквы надписи выведены неумело, а линии рисунка идут косо, как и надпись.

И он побрел под дождем, раздумывая о графито, начертанных когда-то неискусной рукой на стенах Помпеи, а ныне прочитанных, собранных и разъясненных филологами. Он подумал о палатинском * графито, о неуклюжих линиях, торопливо начерпанных каким-то досужим солдатом на стене караульного помещения.

«Прошло восемнадцать веков с тех пор, как римский солдат нарисовал карикатуру на своего товарища Александроса, поклоняющегося богу с ослиной головой, распятому на кресте. Ни один памятник древности не изучался с большим интересом, чем палатинское графито. Оно воспроизводилось бесконечное число раз. Теперь и у меня, как у Александроса, есть свое графито. Допустим, какое-нибудь стихийное бедствие разрушит завтра этот противный, скучный город, но его остатки уцелеют для науки тридцатого века, и мое графито будет открыто в отдаленном будущем. Что по поводу него скажут ученые? Поймут ли они его примитивную символику? Разберут ли они хотя бы мое имя, начертанное буквами забытого алфавита?

Под мелким дождем, в сыром тумане, г-н Бержере дошел до площади св. Экзюпера. Между двумя контрфорсами церкви он увидел лавку с красным сапогом вместо вывески. Заметив, что его башмаки, износившиеся за долгую службу, промокают, он подумал, что отныне самому придется заботиться о своей одежде, тогда как до сего дня он предоставлял делать это жене, и прямо направился к сапожнику. Тот приколачивал гвоздями подметку.

— Здравствуйте, Пьеданьель!

— Доброго здоровья, господин Бержере!.. Что угодно вашей милости?

И сапожник, подняв угловатую голову, улыбнулся заказчику беззубым ртом. Его худое лицо с глубоко запавшими глазами и выдающимся подбородком напоминало своими жесткими и скупыми линиями, желтизной и грустным выражением каменные изваяния на портале старой церкви, около которой он родился, жил и где ему предстояло умереть.

— Будьте покойны, господин Бержере, ваша мерка у меня имеется, а что обувь вы любите просторную,

это я знаю. И правильно, господин Бержере, незачем стеснять ногу,

— Но у меня довольно высокий подъем и выгнутая ступня, — заметил г-н Бержере. — Не ошибитесь!

Господин Бержере не шеголял своей ногой. Но как-то он прочитал, что Ламартин с гордостью показывал свою босую ногу с высоким подъемом и ступней, изогнутой, как арка моста. И г-н Бержере, основываясь на этом примере, испытывал некоторое удовольствие от того, что ступня у него не плоская. Он сел на плетеный стул, покрытый ветхим обюссонским ковриком *, и оглядел мастерскую и сапожника. На выбеленной, сильно потрескавшейся стене висел крест черного дерева, за который была засунута ветка букса. И маленький медный Христос, пригвожденный к кресту, склонял голову над сапожником, пригвожденным к табуретке за верстаком, заваленным раскроенными кусками кожи и деревянными колодками с кожаными кружочками в том месте, где на ноге, по которой была сделана колодка, выступали болезненные шишки. Чугунная печурка была раскалена докрасна, сильно пахло кожей и стряпней.

— Я с удовольствием замечаю, — сказал г-н Бержере, — что у вас работы хоть отбавляй.

Но сапожник разразился бессвязными, сбивчивыми и справедливыми жалобами. Времена не те, что раньше. Где уж выдержать конкуренцию с фабричным производством. Покупатель тянется за парижанами и берет готовую обувь в магазинах.

— Заказчики умирают, — прибавил он. — Я лишился господина юре Рие. Остается только починка, а на ней много не заработаешь.

И г-на Бержере охватила грусть при виде этого средневекового башмачника, вздыхающего под маленьким распятием. Он нерешительно спросил:

— Вашему сыну, верно, уже лет двадцать? Что он делает?

— Фирмен? Вы, должно быть, знаете, — ответил сапожник, — что из семинарии он ушел, так как призвания не чувствовал. Наставники не оставили его своей милостью после того, как исключили из заведения.

Господин аббат Лантень нашел ему место воспитателя в Пуату, у одного маркиза. Да Фирмен сгоряча отказался. Теперь он в Париже — репетитором в учебном заведении на улице святого Иакова, только вот заработок маловат.

И сапожник грустно прибавил:

— Мне бы нужно...

Он не закончил и продолжал:

— Вот уже двенадцать лет как я овдовел. Мне бы нужно жениться — без жены в хозяйстве нельзя.

Он умолк, забил три гвоздя в подметку и сказал:

— Только мне бы жену солидную.

Он снова принялся за работу. И вдруг, подняв к пасмурному небу болезненное и угрюмое лицо, пробормотал:

— И потом — одному тоска.

Господин Бержере радостно встрепенулся: на пороге книжной лавки он увидел Пайо. Он встал.

— Будьте здоровы, Пьеданьель! Так смотрите не обузьте в подъеме!

Но сапожник, стараясь удержать его умоляющим взглядом, спросил, не знает ли он случайно какой-нибудь женщины, не очень молодой, работающей, вдовы, которая вышла бы за вдовца с небольшой лавочкой.

Господин Бержере с изумлением смотрел на этого человека, который хотел жениться. А Пьеданьель продолжал развивать свою мысль:

— Есть, правда, разносчица хлеба с улицы Тентельри. Да она любит выпить. Есть еще кухарка покойного настоятеля церкви святой Агнесы. Да она гордая, потому как у нее денежки есть.

— Пьеданьель, — сказал г-н Бержере, — чините башмаки вашим согражданам, довольствуйтесь жизнью затворника в своей одинокой мастерской и не женитесь вторично: это неблагоприятно.

Он захлопнул за собою стеклянную дверь, перешел на ту сторону и вошел к Пайо.

Книгопродавец был один в лавке. Это был сухой, невежественный человек. Говорил он мало и думал только о своей торговле да о даче на холме Дюрок. Но г-н Бержере, непонятно почему, влекло и к этому книго-

продавцу и к его книжной лавке. У Пайо он отдыхал душой, здесь у него рождались новые мысли.

Господин Пайо был богат и обычно не жаловался. Все же он сообщил г-ну Бержере, что на учебниках не заработать, как прежде. Вошедшие в обычай скидки тоже уменьшают доходы. Снабжение школ книгами стало настоящей головоломкой, потому что программы все время меняются.

— Прежде было больше устойчивости, — сказал он.

— Не думаю, — возразил г-н Бержере. — Здание вашего классического образования непрестанно перестраивается. Это памятник старины, на структуре которого отразились черты всех эпох. Фронтон — в стиле ампир над иезуитским портиком; галереи — в стиле рококо, колоннады — как в Лувре, лестницы — во вкусе эпохи Возрождения, готические залы, романские своды; а если обнажить фундамент, обнаружится, надо думать, *opus spicatum*¹ и римский цемент. На каждой из частей можно было бы сделать надпись, указывающую на ее происхождение: «Императорский университет тысяча восемьсот восьмого года — Ролен * — Ораторианцы * — Пор-Рояль — Иезуиты — Гуманисты эпохи Возрождения — Схоласты — Латинские риторы Отена * и Бордо»*. Каждое поколение по-своему переделывает и надстраивает этот дворец премудрости.

Господин Пайо выпучил глаза на г-на Бержере, поглаживая широкий подбородок, обросший рыжей бородой. Затем, оробев, скрылся за прилавком. И г-ну Бержере пришлось поторопиться с выводами:

— Только благодаря этим последовательным подправкам здание еще держится. Если в нем ничего не менять, оно тут же развалится. Надо подправить еще кое-какие части, которые грозят обвалом, и пристроить несколько залов новейшей архитектуры. Но я уже слышу зловещий треск.

Так как Пайо благоразумно воздержался от ответа на эти непонятные речи, наводящие на него страх, г-н Бержере молча прошел в букинистический угол.

Сегодня, как и всегда, он взял XXXVIII том «Все-

* Кладка в «колос» (лат.).

общей истории путешествии». Сегодня, как и всегда, книга сама открылась на 212-й странице. Со страницы на него глядели образы слившихся в объятии г-жи Бержере и г-на Ру... И он снова прочитал знакомый текст, не понимая того, что читает, думая свою думу, вызванную существующим положением дел:

«...искать проход на север. «Именно этой не удаче, — сказал он (Конечно, это событие вовсе не необычайное и не редкое и не должно удивлять философа), — мы обязаны тем, что имели возможность вновь посетить Сандвичевы острова (Оно чисто домашнего свойства и разрушает мою семью; у меня нет больше семьи) и обогатить наше путешествие открытием (У меня нет больше семьи, нет семьи), которое, хотя оно и было последним по времени (Я нравственно свободен, это очень важно), по-видимому, во многих отношениях окажется наиболее значительным из открытий, до сих пор сделанных европейцами на всем протяжении Тихого океана...»

И г-н Бержере закрыл книгу. Ему уже мерещились избавление, свобода, новая жизнь. Это был только луч во тьме, но луч яркий и отчетливый. Как выйти из тупика? Он не знал. Но впереди брезжил огонек. И если у него еще сохранилось зрительное впечатление от г-жи Бержере в объятиях г-на Ру, то теперь он воспринимал это как неприличную картинку, не внушавшую ему ни гнева, ни отвращения, как бельгийский фронтиспис на какой-нибудь фривольной книжке, как виньетку. Он вынул часы и увидел, что было два часа. Ему понадобилось девяносто минут, чтобы прийти до такого философски спокойного состояния.

VII

Когда г-н Бержере, взяв со столика факультетский «Бюллетень», молча вышел из гостиной, оба, и г-н Ру и г-жа Бержере, вздохнули с облегчением.

— Он ничего не видел, — прошептал г-н Ру, склонный легко отнестись к случившемуся.

Но г-жа Бержере, желавшая, наоборот, чтобы сообщник почувствовал всю свою долю возможной

ответственности, с выражением глубокого сомнения покачала головой. Она была взволнована, а главное — раздосадована. Кроме того, она испытывала какой-то стыд за то, что так глупо дала себя поймать человеку, которого ничего не стоило провести и которого она презирала за его доверчивость. Словом, она испытывала беспокойство, как это обычно бывает при всяком новом положении.

Господин Ру снова попытался подбодрить ее, а равно и себя самого:

— Он нас не видел. Я уверен. Он посмотрел только на столик.

И так как г-жа Бержере все еще сомневалась, он стал утверждать, будто от двери не видно находящегося на диване. Г-жа Бержере захотела сама в этом убедиться. Она пошла к двери, а г-н Ру распростерся на диване, один изображая собой застигнутую парочку.

Но эксперимент показался неубедительным, и г-н Ру в свою очередь пошел к двери, а г-жа Бержере воспроизвела любовную сцену.

Они несколько раз с серьезным видом проделали то же самое, уже охладев друг к другу и начиная раздражаться. И г-ну Ру не удалось успокоить сомнения г-жи Бержере.

Тогда он крикнул, потеряв терпение:

— Ну, если он нас видел, то он настоящий...

И он употребил слово, которое г-жа Бержере не совсем понимала, но которое, судя по лицу г-на Ру, сочла грубым, непристойным и чрезвычайно оскорбительным. Она рассердилась на г-на Ру за то, что он произнес его.

Впрочем, г-н Ру решил, что его дальнейшее пребывание около г-жи Бержере может лишь повредить ей, и, не желая, по свойственной ему деликатности, встречаться с благоволящим к нему учителем, которого оскорбил, он пробормотал на ухо Амелии несколько ободряющих слов и сейчас же на цыпочках вышел из комнаты. Г-жа Бержере, оставшись одна, отправилась в спальню поразмыслить о случившемся.

Своему поступку как таковому она не придавала особого значения. Прежде всего, если ей еще не при-

ходилось бывать в подобном положении с г-ном Ру, то приходилось с другими, правда очень немногими. К тому же поступок, который теоретически принято считать чудовищным, в повседневной жизни предстает во всей своей обыденности и невинной простоте. Перед лицом действительности предрассудок исчезает. Г-жа Бержере не принадлежала к числу женщин, которые не в состоянии преодолеть страсть, скрытую в тайниках их существа, и не хотят примириться со своей будничной семейной жизнью. Хотя ей и нельзя было отказать в темпераменте, все же она отличалась рассудительностью и дорожила своей репутацией. Она не искала интрижек. Ей было тридцать восемь лет, и она всего три раза изменила мужу. Но этого было достаточно, чтобы сейчас не преувеличивать значения своего проступка. Она не была склонна к этому, тем более что данный третий случай в основном был похож на два первые, которые не доставили ей ни особых огорчений, ни особых радостей и вскоре были ею позабыты. Укодряющие призраки не витали перед большими серозелеными глазами этой почтенной семьянинки, она считала себя женщиной порядочной, ей было только досадно и стыдно, что ее поймал муж, которого она глупо презирала. И эта беда была ей особенно неприятна, потому что стряслась с ней напоследок, в возрасте, когда в мыслях воцаряется спокойствие. Обе первые связи начались совершенно так же. Обычно г-же Бержере весьма льстило, когда она производила впечатление на человека из общества. Она не оставалась равнодушной к ухаживаниям и никогда не находила их чрезмерными, ибо считала себя обаятельной. До романа с г-ном Ру она дважды достигала того предела, когда женщине поздно отступать, ибо для этого у нее нет ни физической возможности, ни морального превосходства. В первый раз у нее был роман с человеком уже пожилым, чрезвычайно опытным, отнюдь не эгоистичным и желавшим быть ей приятным. Но волнение, неизбежное при первой измене, отравило ей все удовольствие. Во второй раз интрига заинтересовала ее больше. К несчастью, ему не хватало опытности. Теперь же г-н Ру причинил ей слишком много неприятностей, и

все, что было между ними до того, как они попались, вылетело у нее из головы. Если она и старалась вспомнить их позу на диване, то только желая выяснить, что мог увидеть г-н Бержере, и знать, до каких пределов можно еще лгать и обманывать его.

Она была унижена, раздосадована, ей было стыдно при мысли о взрослых дочерях; она понимала, что попала в смешное положение. Но страха она не испытывала. Она была уверена, что хитростью и наглостью смирит своего мужа, кроткого, робкого, не от мира сего человека, над которым чувствовала свое превосходство.

Мысль, что она во всех отношениях стоит выше г-на Бержере, никогда не покидала ее. Эта мысль вдохновляла все ее поступки, ее слова, даже ее молчание. В г-же Бержере было развито чувство фамильной гордости. Она была урожденная Пуйи, дочь Пуйи, инспектора университета, племянница Пуйи, одного из составителей «Словаря», правнучка того самого Пуйи, который в 1811 году написал «Мифологию для девиц» и «Дамскую пчелу». Отец укрепил в ней чувство семейного достоинства.

Ну что значил какой-то там Бержере по сравнению с урожденной Пуйи! Итак, исход предстоящих пререканий ее не беспокоил, и она ждала мужа, вооружившись наглостью и хитростью. Однако, когда наступило время завтрака и она услышала, что г-н Бержере сходит с лестницы, она забеспокоилась. Отсутствие мужа внушало ей опасения. Он становился загадочным, почти страшным. Она ломала себе голову, силясь предугадать, что он скажет, и изобретала различные ответы, то лживые, то запальчивые, смотря по обстоятельствам. Она насторожилась, подтянулась, чтобы отразить нападение. Мысленно она рисовала себе патетические жесты, угрозы покончить с собой, сцену примирения. К вечеру она разнервничалась. Она плакала, кусала носовой платок. Теперь она желала, жаждала объяснений, нападок, неистовства, ждала г-на Бержере со страстным нетерпением. В девять часов она, наконец, услышала его шаги на площадке. Но он не пошел в спальню. Вместо него пришла служанка и сказала нахально и угромо:

— Барин приказали поставить им железную кровать в кабинет.

Госпожа Бержере была подавлена и ничего не ответила.

В эту ночь она спала довольно крепко. Но решимость ее была сломлена.

VIII

Аббат Гитрель пригласил на завтрак настоятеля церкви св. Экзюпера, протоиерея Лапрюна. Они сидели вдвоем за круглым столиком, на который Жозефина поставила омлет с зажженным ромом.

Служанка аббата Гитреля уже несколько лет как достигла канонического возраста; она была усата и, уж конечно, совсем не походила на ту, какой ее выводили в фривольных рассказах, составленных на старый галльский образец. Ее наружность никак не вязалась с игривыми сплетнями, ходившими по всему городу — от «Коммерческой кофейни» до лавки г-на Пайо, от радикальной аптеки г-на Мандара до янсенистского салона г-на Лерона, товарища прокурора в отставке. Правда, преподаватель духовного красноречия сажал служанку с собой за стол, когда у него не бывало гостей, и делился с ней пирожными, тщательно, умело и заботливо выбранными в лавке г-жи Маглуар, но делалось это из чистой и совершенно невинной привязанности к необразованной и грубой, но рассудительной и толковой старой деве, преданной своему хозяину, гордившейся им и ради него готовой перегрызть любому глотку.

Несомненно ректор духовной семинарии аббат Лантень излишне доверял рассказам о любовных похождениях Гитреля и его служанки, которые все повторяли, но которым никто не верил, даже г-н Мандар, аптекарь с улицы Культуры, наиболее передовой из членов муниципального совета, слишком много сам присочинивший к этим игривым анекдотам, чтобы в душе не усомниться в подлинности всего сборника. А сборник историй, выдуманных об этих двух почтенных особах, был объемист. И если бы аббат Лантень лучше знал «Декамерон», «Гептамерон» * и «Сто новых новелл» *, то

не раз нашел бы источник того или другого забавного приключения и странных речей, которые в городе охотно приписывались Гитрелю и его служанке Жозефине. Когда г-ну Мазюру, городскому архивариусу, случилось вычитать в старых книгах какое-нибудь приключение похотливого священника, он почитал своей обязанностью приписать его аббату Гитрелю. Один лишь аббат Лантень верил тому, что все повторяли, сами не веря своим словам.

— Погодите, господин аббат, — сказала служанка, — сейчас подам ложку для подливки.

С этими словами она достала из буфета оловянную ложку с длинной ручкой и подала ее г-ну Гитрелю. И пока аббат поливал пламенем потрескивающий сахар, от которого пахло леденцом, служанка, прислонясь к буфету и скрестив руки, смотрела на стенные часы с музыкалкой; на золоченом диске был изображен типичный швейцарский пейзаж, из туннеля выходил поезд, воздушный шар подымался в небо, а в церковную колоколенку был вделан эмалевый циферблат. В то же время она бдительным оком следила за коротенькой ручкой хозяина, который едва управлялся с горячей ложкой. Она торопила его:

— Да ну же, господин аббат! Как бы не погасло!

— Пахнет в самом деле очень аппетитно, — заметил протоиерей. — В последний раз, как мне готовили это кушанье дома, блюдо треснуло от жара, и ром пролился на скатерть. Мне было очень досадно, особенно когда я увидел, какое уныние выразилось на лице моего сотрапезника господина Табари.

— А все оттого, господин кюре, — вмешалась служанка, — что у вас на тонком фарфоре кушают. Вам все самое лучшее подавай. А фарфор чем тоньше, тем больше огня боится. Вот это блюдо — из огнеупорной глины, ему нипочем ни жар, ни холод. Станет мой хозяин епископом, ему омлеты на серебряном блюде подавать будут.

Пламя в оловянной ложке вдруг погасло, и аббат Гитрель перестал поливать омлет. Бросив на служанку суровый взгляд, он сказал:

— Жозефина, запрещаю вам впредь вести подобные разговоры.

— А между тем, — сказал настоятель церкви св. Экзюпера, — вы один находите в таких разговорах что-то предосудительное, дорогой господин Гитрель. Вы получили драгоценный дар — светлый ум. Человек вы ученый, и было бы желательно, чтобы вас удостоили епископского сана. Как знать, быть может, устами этой простой женщины глаголет истина? Ведь вас уже называли в числе кандидатов, наиболее достойных туркуэнской епархии.

Аббат Гитрель насторожился и скопил глаз на собеседника, не поворачивая головы.

Он был озабочен. Дела его не двигались. В нунциатуре он не узнал ничего определенного. Осторожность Рима начинала его тревожить. Ему показалось, будто к Лантеню благоволят в министерстве культов. Словом, от поездки в Париж у него осталось неприятное впечатление. И сейчас он пригласил к завтраку настоятеля церкви св. Экзюпера только потому, что знал о его близости к партии аббата Лантеня и надеялся выведать от благодушного кюре тайну противника.

— И в самом деле, — продолжал протоиерей, — почему бы вам не стать в свое время епископом, как господину Лантеню?

Вслед за этим именем наступила тишина, и только часы на стене тоненьким голоском пропели старинную мелодию. Пробило двенадцать.

Аббат Гитрель слегка дрожащей рукой пододвинул кюре Лапрюну фаянсовое блюдо.

— Как нежно на вкус! — сказал тот. — Нежно и крепко. У вас не стряпуха, а настоящий повар.

— Вы сейчас упомянули о господине Лантене? — переспросил аббат Гитрель.

— Ну, конечно, — ответил кюре Лапрюн. — Я не говорю, что господин Лантень уже назначен епископом в Туркуэн. Нет! Утверждать это преждевременно. Но как раз сегодня утром я слышал от лица, близкого к архиепископскому викарию, что не сегодня-завтра нунциатура и министерство сговорятся насчет аббата

Лантеня. Эти сведения, разумеется, требуют еще проверки. Господин де Гуле мог счесть за действительность собственные свои надежды. Вы ведь знаете, он горячо желает успеха аббату Лантеню. И успех вполне вероятен. Еще не так давно известная непримиримость взглядов, как будто свойственная господину Лантеню, могла внушить опасения гражданским властям, питающим досадное недоверие к духовенству. Но времена переменялись. Тучи рассеялись. И некоторые лица, до сих пор стоявшие вне политики, начинают приобретать влияние даже в правительственных сферах. Уверяют, будто поддержка кандидатуры господина Лантеня генералом Картье де Шальмо сыграла решающую роль. Вот какие дошли до меня толки и слухи, правда еще очень неопределенные.

Гитрель не говорил и не ел.

— В этом омлете, — заметил протоиерей, — есть какой-то приятный, душистый привкус, но никак не разберешь, что это такое. Вы мне позволите узнать рецепт у вашей служанки?

Час спустя Гитрель проводил гостя и, сгорбив спину, побрел в семинарию. В задумчивости пройдя до конца кривую и неровную улицу Певчих, он крепче запахнул на груди стеганую сутану, чтобы не так пронизывал ледяной ветер, гулявший над острокопечной крышей собора. Здесь было самое темное и самое холодное место в городе. Он ускорил шаги и, дойдя до Базарной улицы, остановился перед лавкой мясника Лафоли.

Она была загорожена решеткой, будто клетка для львов. В глубине, перед колодой, на которой рубят мясо, под бараньими тушами, подвешенными на крюках, дремал мясник. Он начал работу чуть свет, и усталость разморила его могучее тело. Он сидел, не сняв с пояса точильного бруска, скрестив голые руки, растопырив ноги под белым фартуком, перепачканным кровью, и время от времени клевал носом. Его красное лицо лоснилось; на шее, над расстегнутым воротом розовой рубахи, вздулись жилы. От него веяло спокойной силой. Г-н Бержере говорил, что он несколько напоминает гомеровских героев, ибо ведет подобный

же образ жизни и, как они, проливает кровь своих жертв.

Мясник Лафоли дремал. Около него дремал его сын, такой же крупный, сильный и краснощекий. Приказчик спал, уронив голову на мраморный прилавок, уткнувшись носом в ладони, разметав волосы среди кусков мяса. За стеклянной загородкой, при входе в лавку, сидела выпрямившись, прикрыв отяжелевшие веки, тоже сморенная сном, г-жа Лафоли, жирная, грудастая, пропитавшаяся кровью убитых животных. От всего семейства исходила грубая и величественная сила, какая-то варварская царственность.

Аббат Гитрель некоторое время смотрел на них, переводя быстрый взгляд с одного на другого и с интересом снова останавливая его на гиганте-хозяине, на его багровых щеках, пересеченных длинными рыжими усам, на мелких лукавых морщинках у висков и вокруг закрытых глаз. Затем, досыта наглядевшись на его звериную физиономию, свирепую и хитрую, он крепче зажал под мышкой старый дождевой зонт, опять запахнул сутану на груди и пошел своей дорогой. Он повеселел и теперь думал:

«Восемь тысяч триста двадцать пять франков за прошлый год. Тысяча девятьсот шесть — за нынешний. Аббат Лантень, ректор духовной семинарии, задолжал десять тысяч двести тридцать один франк мяснику, а Лафоли — кредитор не очень покладистый. Нет, не бывать аббату Лантеню епископом!»

Он уже давно вел счет долгам семинарии и, затруднениям Лантеня. На днях служанка Жозефина сообщила ему, что мясник Лафоли стал огрызаться и грозился послать гербовый лист в семинарию и архиепископу. И, семена по тротуару, аббат Гитрель бормотал:

— Не бывать господину Лантеню епископом. Он честный человек, но плохой управитель. А епархией надо управлять. Боссюэ именно так и высказывается в надгробном слове принцу Конде.

И он не без удовольствия представил себе страшное лицо мясника Лафоли.

IX

А г-н Бержере перечел мысли Марка Аврелия *. Муж Фаустины * вызывал в нем симпатию. Однако он нашел в этой книжке такое неверное чувство природы, такое плохое знание физики, такое презрение к Харигородством. Затем он принялся за повестушки Увилля и Этрапеля *, за «Кимвал» Деперье *, «Утра» Шольера * и «Беседы после ужина» Гильома Буше *. Это чтение оказалось ему больше по вкусу. Он признал, что в его положении оно самое подходящее, а значит, оно назидательно и может дать его сердцу ясную умиротворенность и небесную сладость. И он воздал должное этим повествователям, которые, — от древнего Милета, где была рассказана история о Бочке, до вольноязычной Бургундии, тихой Турени и тучной Нормандии, — учили людей радостному смеху и располагали озлобленные сердца к снисхождению и веселости.

«Эти повествователи, при чтении которых хмурятся брови строгих моралистов, сами превосходные моралисты и достойны похвалы и любви за то, что так приятно, простым, естественным и человеческим образом разрешают семейные неурядицы, которые люди, в припадке гордыни и ненависти, воспламенивших их самолюбие, стремятся пресечь убийством и кровопролитием. О милетские повествователи, о изящный Петроний! О мой Нозль дю Файль, — воскликнул он, — о предшественники Жана Лафонтена! Хоть вас и принято называть озорниками, но были ли когда апостолы мудрее и лучше вас? О благодетели, вы научили нас подлинному знанию жизни, снисходительному презрению к людям!»

И г-н Бержере укрепился в мысли, что гордость есть первопричина наших несчастий, что мы — обезьяны в платьях и с серьезным видом применяем понятие чести и добродетели там, где это смешно; что папа Бонифаций VIII был мудр, не считая нужным делать событие из житейской мелочи; что г-жа Бержере и г-н Ру так же не заслуживают ни похвалы, ни порицания, как чета шимпанзе. Однако он мыслил здраво и не старался скрыть от себя то близкое родство, какое свя-

зывало его с этими двумя человекообразными обезьянами. Но себя он считал шимпанзе мыслящим. И гордился этим. Ибо глупость находит себе лазейку и в душу мудреца.

Господин Бержере погрешил против мудрости еще в одном пункте. Он не сумел согласовать свое поведение со своими принципами. Конечно, он не буйствовал. Но он не знал снисхождения. Он вел себя совсем не как ученик тех милетских, латинских, флорентинских, галльских рассказчиков, которых одобрял за их веселую философию, приноровленную к жалкому человечеству. Он не упрекал жену ни словом, ни взглядом. За столом, сидя напротив, он ухитрялся ее не видеть. А когда случайно они сталкивались где-нибудь дома, у бедной женщины было такое ощущение, будто она невидимка.

Он не замечал ее, относился к ней как к чему-то постороннему или вовсе не существующему. Он исключил ее из своего внешнего и внутреннего мира. Упразднил. Дома, в будничной суете семейной жизни, он не видел, не слышал, не воспринимал ее. Г-жа Бержере была женщиной сварливой и грубой. Но она была женщиной домашней и по-своему добродетельной. Она была чело-веческим существом. Она страдала, что не может раз-разиться бранью, угрожающими жестами, пронзитель-ными криками. Страдала, не чувствуя себя больше хозяйкой в собственном доме, душой кухни, матерью семейства, матроной. Страдала оттого, что она как бы вовсе не существует, что ее не считают за человека и даже за вещь. Она доходила до того, что за обедом за-видовала стулу или тарелке, потому что их по крайней мере замечали. Если бы г-н Бержере вдруг замахнулся на нее столовым ножом, она издала бы радостный крик, хотя была не из храбрых. Но быть пустым местом, чем-то неосязаемым, невидимым — для нее, при ее плот-ной и увесистой корпуленции, было невыносимо. Одно-образная и непрерывная пытка, которой подвергал ее муж, была такой жестокой, что г-жа Бержере кусала носовой платок, удерживая рыдания. И г-н Бержере, спокойный, чуждый любви и ненависти, запершись у себя в кабинете и приводя в порядок картотеку к своему

«Virgilius nauticus»¹, слышал, как жена шумно сморкается в столовой. Этот «Virgilius» был ему заказан старинной книжной фирмой, которая блюла традиции.

Каждый вечер г-жу Бержере так и тянуло пойти за мужем в кабинет, ставший также его спальней и недоступным убежищем недоступной мысли, попросить прощения или изругать его на чем свет стоит, изрезать ему лицо кухонным ножом или вонзить этот нож в собственную грудь, — все равно, лишь бы обратить на себя его внимание, снова сделаться для него живым существом; это стало для нее такой же насущной потребностью, как потребность в воде, хлебе, воздухе и соли, но именно в этом ей было отказано.

Она по-прежнему презирала г-на Бержере: это чувство было наследственным и семейным; оно перешло к ней от отца и сидело у нее в крови. Она не была бы Пуйи, племянницей Пуйи, составителя «Словаря», если бы признала некоторого рода равенство между собой и мужем. Она презирала его потому, что была Пуйи, а он — Бержере, а вовсе не потому, что она его обманула. У нее было достаточно здравого смысла, так что она не преувеличивала своего превосходства в этом отношении и считала порочащим г-на Бержере разве лишь то, что он не убил г-на Ру. Ее презрение было прочно и крепко. Оно не могло ни увеличиться, ни уменьшиться. Но ненависти к мужу она не чувствовала. Еще недавно она что ни день приставала к нему со всякими мелочами, сердила его, упрекала за небрежность костюма или за неумение себя держать, а затем передавала бесконечные сплетни о соседях, рассказывала истории, в которых пошлость сочеталась с глупостью и даже злостью и недоброжелательство были мелкими. Пары тщеславия распирала эту заплывшую жиром душу, но она не выделяла ни ужасных отрав, ни редкостных ядов.

Госпожа Бержере была создана, чтобы жить в добром согласии с мужем, которого она обманывала бы и угнетала попросту от избытка жизненных соков, уступая естественным требованиям своего организма. Она была общительна от щедрости своей пышной плоти и

¹ «Вергилий-мореходец» (лат.).

скудости внутреннего содержания. Теперь, когда г-н Бержере неожиданно ушел из ее жизни, она скучала по нем, как скучает по отсутствующему мужу хорошая жена. Кроме того, этот хилый человек, которого она привыкла считать незначительным и ничтожным, но вполне удобным мужем, теперь пугал ее. Оттого что г-н Бержере смотрел на нее как на пустое место, она сама стала сомневаться в реальности своего существования. Она чувствовала, что у нее внутри образуется пустота. Это новое, незнакомое состояние, которое она не умела бы определить, близкое к одиночеству и смерти, нагоняло на нее страх и уныние. Г-жа Бержере была впечатлительна к воздействиям внешнего мира, поддавалась влиянию места и времени, и потому по вечерам на нее нападала тяжелая тоска. Лежа одна в постели, она с ужасом глядела на ивовый манекен, на котором в течение многих лет накалывала платье; во дни славного и безмятежного существования он стоял в кабинете г-на Бержере, красуясь своим внушительным, хотя и безголовым торсом, а теперь, покривившись, искалеченный, устало прислонился к зеркальному шкафу, прячась в тени темно-красной репсовой портьеры. Бочар Ланфан нашел его у себя на дворе среди лоханок с водой, где плавали пробки. Он принес его г-же Бержере, а она не посмела водворить обратно в кабинет этот пострадавший, скособочившийся манекен, ставший жертвой символической мести, и вынуждена была приютить его в супружеской спальне, где он навевал ей суеверную мысль о «порче», о связи ее собственной судьбы с судьбою ее ивового двойника.

Она страдала. Как-то утром, проснувшись и глядя на смятые прутья манекена, к которым через неплотно задернутую занавеску пробивались бледные лучи скупого солнца, она пожалела себя, решила, что ни в чем не виновата, и пришла к убеждению, что г-н Бержере жесток. Она возмутилась. Не могла же она, Амелия Пуйи, страдать по вине какого-то там Бержере! Мысленно она посоветовалась с духом своего отца и укрепилась в сознании, что нельзя быть несчастной из-за такого ничтожества, как г-н Бержере. В чувстве гордости она нашла утешение. В этот день она с интересом занялась

своим туалетом. «Что бы там ни случилось, — постаралась она убедить себя, — а меня не убыло, ничто не потеряно».

Был как раз приемный день г-жи Летерье, всеми уважаемой супруги ректора. Г-жа Бержере решила навестить г-жу Летерье, и там, в голубой гостиной, обменявшись обычными любезностями с хозяйкой и г-жой Компаньон, супругой профессора математики, она глубоко вздохнула, но то был вздох воительницы, а не жертвы.

И пока обе университетские дамы еще воспринимали этот вздох, г-жа Бержере прибавила:

— В жизни немало причин для огорчений, в особенности если натура у тебя не такая, чтоб легко ео всем мириться. Вы счастливая женщина, госпожа Летерье! И вы тоже, госпожа Компаньон!..

И сдержанная, скромная и застенчивая г-жа Бержере ничего не прибавила, несмотря на любопытные взгляды, устремленные на нее. Но этого было достаточно, обе дамы поняли, что дома ей живется плохо, что она обижена. В городе шушукались о настойчивом ухаживании г-на Ру. С этого дня г-жа Летерье положила конец клевете; она утверждала, что г-н Ру — добропорядочный молодой человек. А о г-же Бержере говорила со слезой в голосе и во взоре:

— Бедняжка, она так несчастна и так симпатична.

Спустя полтора месяца во всех гостиных составилось определенное мнение, и это мнение было в пользу г-жи Бержере. Г-на Бержере, не ходившего по гостям, объявили плохим человеком. Его подозревали в скрытом разврате и тайных пороках. А г-н Мазюр, его друг и приятель по букинистическому углу, его коллега по «академии Пайю», уверял, что собственными глазами видел, как он однажды вечером вошел в кофейню на улице Эбдомадье, пользовавшуюся дурной репутацией,

Итак, общество вынесло свой приговор г-ну Бержере, в народе же о нем шла другая слава. От примитивного символического рисунка, нацарапанного когда-то на стене его дома, остались лишь полустертые линии. Но изображения подобного же рода появились по всему городу, и куда бы ни шел г-н Бержере — в университет,

на городской вал или в лавку Пайо, а уж где-нибудь на стене, среди циничных, непристойных и пошлых изречений он обязательно натыкался на свой портрет с объяснительной надписью, нарисованный карандашом или углем или нацарапанный перочинным ножом.

Эти графито не волновали и не сердили г-на Бержере, его беспокоило только их число, возраставшее с каждым днем. Одно красовалось на белой стене молочной Губо, на улице Тентельри, другое — на желтом фасаде рекомендательной конторы Денизо, на площади св. Экзюпера, еще одно — на стене театра, под планом зрительного зала у второй кассы; и на углу Яблочной улицы и площади Старого рынка, и на службах особняка Ниверов, примыкающего к особняку де Громансов, и на университете, против квартиры педеля, и на заборе, окружающем сад префектуры. И каждое утро г-н Бержере находил все новые. Он заметил, что рисунки сделаны в одной и той же рукой. На одних человек был изображен совсем примитивно, другие были более искусны, однако и они не претендовали ни на портретное сходство, ни на совершенство рисунка. Но везде недостатки рисунка восполнялись объяснительной надписью. И все эти произведения народного творчества изображали г-на Бержере с рогами. Он заметил, что рога росли то из голого черепа, то из цилиндра.

«Две школы!» — решил он.

Но грубость оскорбляла его душу, и потому он страдал.

X

Господин Вормс-Клавлен оставил к завтраку своего старого приятеля Жоржа Фремона, инспектора художественных музеев, объезжавшего департамент. В ту пору, когда они знавали друг друга на Монмартре, в мастерских художников, Вормс-Клавлен был очень молод, а Фремон — еще молод. У них были совершенно разные взгляды, и они ни в чем не сходились: Фремон любил споры, Вормс-Клавлен лишь терпел их, Фремон был многоречив и горяч, Вормс-Клавлен отступал перед горячностью и говорил мало. Они подружились,

затем жизнь разлучила их. Но каждый раз они встречались как старые приятели и с удовольствием пикировались. Жорж Фремон, уже постаревший, занимал хорошее положение, был в чинах, раздобыл, но еще сохранил остатки прежнего пыла. В это утро, сидя за столом между г-жой Вормс-Клавлен, облаченной в пеньюар, и г-ном Вормс-Клавленом, облаченным в домашний пиджак, он рассказывал хозяйке, что нашел в музее, на чердаке, среди старого хлама запыленное деревянное изображение, изумительное по тонкой выразительности, в типично французском стиле, — миниатюрную св. Екатерину, одетую горожанкой XV века и такую благоразумную и благонравную с виду, что ему хотелось плакать, когда он сдувал с нее пыль. Префект спросил, статуэтка ли это, или же картина. Жорж Фремон, который относился к нему с ласковым презрением, мягко ответил:

— Вормс, не старайся понять то, что я говорю твоей жене! Ты совершенно неспособен воспринимать красоту в какой бы то ни было форме! Красота линий и благородство мыслей тебе недоступны.

Вормс-Клавлен пожал плечами:

— Замолчи, коммунары!

Жорж Фремон действительно был в свое время коммунаром. Родом парижанин, сын владельца мебельной мастерской из Сент-Антуанского предместья, он учился в Академии художеств и в двадцатилетнем возрасте, во время прусского нашествия, вступил добровольцем в корпус вольных стрелков, который не был послан в дело. Фремон не простил Трошю * такого пренебрежения. Во время капитуляции он оказался в числе наиболее горячих и вместе с другими кричал, что Париж предали. Он был неглуп и разумел под этим, что Париж плохо защищали, а это несомненно так и было. Он стоял за войну не на жизнь, а на смерть. Когда была провозглашена Коммуна, он присоединился к Коммуне. По предложению одного прежнего рабочего его отца, гражданина Шарлье, делегированного в Академию художеств, он был назначен заместителем директора Луврского музея. Должность эта не оплачивалась. Свои обязанности он исполнял всегда в сапогах, в тирольской шля-

пе, украшенной петушиным пером, и с патронами вокруг пояса. Полотна были скатаны в первые же дни осады, упакованы в ящики и отправлены на склад, где он их затем так и не отыскал. Ему ничего не оставалось, как покуривать трубку в залах музея, превращенных в караульные помещения, и часами беседовать с солдатами национальной гвардии, жалуясь на Баденге, которого он обвинял в измене народу за то, что тот сдуру вздумал промыть картины Рубенса, от чего потускнели краски. Обвинял он его на основании газетной заметки и со слов г-на Вите *. Солдаты слушали, сидя на скамьях, не выпуская ружей из рук, и пили литр за литром, так как было жарко; но когда версальцы ворвались в Париж через разобранные ворота Пуэн-дю-Жур и перестрелка стала приближаться к Тюильри, Жорж Фремон, к ужасу своему, увидел, что национальные гвардейцы катят прямо в галерею Аполлона бочки с керосином. Он с трудом уговорил их не обливать керосином и не поджигать деревянной резьбы, угостил их вином и выпроводил. После их ухода он вместе со сторожами-бонапартистами скатил опасные в пожарном отношении бочки с лестницы и спустил их к самой Сене. Это дошло до сведения полковника федератов, и тот, заподозрив Фремона в измене делу народа, отдал приказ его расстрелять. Но версальцы приближались, и Фремон благополучно скрылся, братски объединившись со своими конвоирами, в дыму охваченного пожаром Тюильри. Через день на него поступил донос версальцам, и военный суд стал его разыскивать как участника восстания против законного правительства. В законности версальского правительства сомневаться не приходилось: заступив 4 сентября 1870 года место империи, оно приняло и сохранило законные формы предшествующего правительства, а Коммуна, которой так и не удалось установить телеграфную связь, без чего никакое правительство не может быть узаконено, разгромленная и подавленная, погибла в беззаконии. Кроме того, Коммуна родилась из восстания, поднятого в дни вражеского нашествия, и версальское правительство не могло простить ей происхождения, напоминавшего ему его собственное. Поэтому капитан

армии-победительницы, занятый расстрелом инсургентов Луврского квартала, приказал разыскать подлежащего расстрелу Жоржа Фремона, который в течение двух недель скрывался вместе с гражданином Шарлье, членом Коммуны, где-то на чердаке в квартале Бастилии, а затем покинул Париж под видом огородника, переодевшись в блузу и шагая за телегой с кнутом в руке. Военный совет, заседавший в Версале, приговорил его к смерти, а он меж тем зарабатывал себе на жизнь в Лондоне, составляя для богатого любителя из Сити каталог полного собрания рисунков Роулансона *. Умом, трудолюбием, честностью он завоевал известность и уважение в художественных кругах Англии. Он страстно любил искусство, а политика его не привлекала. Он оставался коммунарком из чувства порядочности, ибо считал позорным покинуть своих побежденных друзей. Но одевался он элегантно и знался с аристократами. Он много работал и умел извлекать пользу из работы. Его «Словарь монограмм» создал ему репутацию и принес некоторую сумму денег. Когда были устроены, по предложению доброго Гамбетты, последние остатки гражданской распри и была провозглашена амнистия, в Булони высадился джентльмен, гордый, веселый, симпатичный, несколько утомленный работой, с проседью, но еще молодой, в изящном дорожном костюме; за ним несли чемодан, полный рисунков и рукописей. Жорж Фремон скромно устроился на Монмартре и скоро завязал приятельские отношения с художниками. Но работа, которая обеспечивала ему безбедную жизнь в Англии, во Франции приносила лишь удовлетворение его самолюбию. Гамбетта дал ему место инспектора музеев. Фремон исполнял свои обязанности с большой добросовестностью и умением. Он был искренним и тонким ценителем искусства. Та же нервная впечатлительность, которая в юности заставляла его страдать при виде ран родины, а в зрелые годы не позволяла пройти равнодушно мимо социальных бедствий, влекла его к утонченным проявлениям человеческой души, к изысканным формам, к красивым линиям, к героической осанке. В то же время он был патриотом даже в искусстве, не смеялся над бургундской школой, был предан политике

чувства и верил, что Франция даст миру свободу и справедливость.

— Старый коммунар! — повторил префект Вормс-Клавлен.

— Замолчи, Вормс! Ты мелкая душа и тупица. Сам по себе ты ровно ничего не значишь. Но ты — представитель народа, как теперь говорят. Господи боже мой! Сколько жертв загублено за целый век гражданских войн, и все для того, чтобы господин Вормс-Клавлен сделался префектом республики. Вормс, ты не дорос до префектов империи.

— Подумаешь! — возразил г-н Вормс-Клавлен. — Я презираю империю! Во-первых, она привела нас на край гибели, а затем, я — государственный чиновник. Но в конце концов сейчас, как и при империи, делают вино, сеют хлеб; как и при империи, играют на бирже; как и при империи, пьют, едят и занимаются любовью. В сущности жизнь осталась той же. Как же могут измениться система управления и правительство? Есть, конечно, оттенки, понимаешь? У нас больше свободы, даже слишком ее много. У нас больше спокойствия. Мы пользуемся благами режима, отвечающего желаниям народа. Мы сами распоряжаемся своей судьбой, разумеется в пределах возможного. Все социальные силы находятся в равновесии, приближительном, конечно. Ну, скажи, что тут можно изменить? Пожалуй, только цвет почтовых марок... Да и то... — как говаривал старик Монтессюи *. Нет, друг мой, во Франции нечего менять, разве только французов. Я, конечно, прогрессист. Надо на словах звать вперед, хотя бы для того, чтобы иметь возможность не идти вперед на деле. «Вперед, вперед!» Ведь марсельеза для того и была нужна, чтобы не идти на фронт!..

Жорж Фремон посмотрел на префекта внимательно, с ласковым, глубоким и искренним презрением.

— Так, выходит, все превосходно, Вормс, а?

— Не делай из меня дурака. Ничто не превосходно, но все держится, одно другим подтыкается, одно другое подпирает. Вроде вон той стены в доме дядюшки Мюло, что видна отсюда, позади оранжереи. Она вся расслалась, потрескалась, перекосилась. Вот уж тридцать

лет этот болван Катрбарб, епархиальный архитектор, останавливается перед домом дядюшки Мюло и, задрав нос, заложив руки за спину и расставив ноги, изрекает: «Не понимаю, как она держится». Сорванцы школьники, возвращаясь домой, передразнивают его и кричат хриплым голосом: «Не понимаю, как она держится». Он оглядывается, никого не видит, смотрит на мостовую, будто на его голос отозвалось эхо из-под земли, и уходит, повторяя: «Право, не понимаю, как она держится!» А держится она потому, что ее не трогают, потому, что дядюшка Мюло не зовет ни каменщиков, ни архитекторов, а главное, потому, что он не идет за советом к господину Катрбарбу. Вот и мы держимся, потому что до сих пор держались. Держимся, старый утопист, потому что не проводим налоговой реформы и не пересматриваем конституции.

— Иначе говоря, все держится обманом и несправедливостью, — возразил Жорж Фремон. — Мы погрязли в позоре. Наши министры финансов на поводу у банкиров-космополитов. А что всего печальнее, — Франция, та Франция, которая некогда была освободительницей народов, теперь только и знает, что вступается в Европе за права венценосцев. Мы позволили, не посмев даже пикнуть, уничтожить на Востоке триста тысяч христиан, а ведь согласно традициям мы считались их высокими и почетными покровителями. Отступившись от интересов всего человечества, мы отступились от своих интересов. Ты видишь, в водах Крита республика барахтается среди других держав, словно цесарка среди морских чаек. Вот куда завела нас дружественная нация!

Префект запротестовал:

— Фремон, не отзывайся плохо о союзе с Россией. Это лучшая избирательная реклама.

— Союз с Россией! — подхватил Фремон, размахивая вилкой. — Я встретил его зарождающиеся надеждами. Увы! Разве я знал, что с самого начала он втянет нас в партию султана-убийцы и приведет на Крит метать мелинитовые бомбы в христиан, виновных лишь в том, что их долгое время притесняли? Но мы старались угодить не России, а крупным

банкам, вложившим свои капиталы в турецкие бумаги. И мы видели, с каким великодушным энтузиазмом приветствовал еврейский финансовый мир славную победу при Канее *.

— Вот она, — воскликнул префект, — вот она, политика чувства! А ты должен бы знать, куда она ведет. Не пойму, какого черта дались тебе греки. Они неинтересны.

— Ты прав, Вормс, — сказал инспектор изящных искусств. — Ты совершенно прав. Греки неинтересны. Они бедны. У них только и есть, что их синее море, лиловые холмы и обломки мрамора. Гиметский * мед не котируется на бирже. А вот турки, те действительно достойны внимания финансовой Европы. У них есть и беспорядок и средства. Они платят плохо, но платят много. С ними можно делать дела. Курсы на бирже растут. Все в порядке. Вот где источник вдохновения нашей внешней политики!

Вормс-Клавен быстро перебил его и посмотрел на него с упреком.

— Брось, Жорж, не лукавь, ты отлично знаешь, что внешней политики у нас нет и быть не может.

XI

— Кажется, назначено на завтра, — сказал г-н де Термондр, входя в лавку Пайо.

Все поняли, что дело идет о казни Лекера, приказчика из мясной, 27 ноября приговоренного к смерти за убийство вдовы Усье. Молодым преступником интересовался весь город. Судья Рокенкур, человек светский и дамский угодник, любезно проводил в тюрьму г-жу Делион и г-жу де Громанс и через решетчатое окошечко в дверях камеры показал им приговоренного, игравшего в карты с тюремным сторожем. Со своей стороны смотритель тюрьмы Оссиан Коло, удостоенный академического отличия, охотно угощал своим смертником господ журналистов и видных граждан. В свое время г-н Оссиан Коло авторитетно высказался в печати по различным вопросам Уложения о наказаниях.

Он гордился своим тюремой, устроенной согласно новейшим правилам, и не пренебрегал популярностью. Посетители с любопытством смотрели на Лекера, так как знали об отношениях, существовавших между этим двадцатилетним юношей и восьмидесятилетней вдовой, ставшей впоследствии его жертвой. Своим чудовищным скотством он повергал всех в изумление. Между тем тюремный священник, аббат Табари, со слезами на глазах рассказывал, что бедное дитя проявляет назидательнейшие чувства раскаяния и благочестия. А Лекер с утра до ночи три месяца подряд дулся в карты с тюремщиками и выкрикивал очки на их жаргоне, ибо был из одного с ними мира. Его плечи опустились, бычий загривок высох, и шея казалась теперь тощей и непомерно длинной. Все были того мнения, что он уже исчерпал всю меру отвращения, сострадания и любопытства своих сограждан и что пора с ним кончать.

— Завтра в шесть часов... Я узнал от самого Сюркуфа, — прибавил г-н де Термондр. — Гильотина уже в пути.

— Давно пора, — сказал доктор Форнероль. — Вот уж три ночи на перекрестке дез'Эве собирается толпа; были несчастные случаи. Сын Жюльенов упал с дерева вниз головой и проломил себе череп. Боюсь, что не удастся его спасти. А осужденному уже сейчас никто, даже сам президент республики, не в силах даровать жизнь, — продолжал доктор. — Этот юноша, до ареста такой силач и здоровяк, — теперь в последнем градусе чахотки.

— Вы были у него в камере? — спросил Пайо.

— Был несколько раз, — ответил доктор. — Я даже оказывал ему медицинскую помощь по просьбе Оссиана Коло, который чрезвычайно заботится о физическом и нравственном состоянии своих подопечных.

— Он филантроп, — сказал г-н де Термондр. — И надо признать, наша городская тюрьма — учреждение в своем роде замечательное: белые, чистые камеры расходятся лучами от центрального наблюдательного пункта и так хитро расположены, что арестованные всегда на виду, а им самим никого не видно. Ничего не скажешь, все хорошо обдуманно, по последним пра-

вилам науки, идет в ногу с прогрессом. В прошлом году, путешествуя по Марокко, я видел в Танжере, во дворе, осененном тутовым деревом, жалкое глинобитное строение перед которым клевал носом огромный негр в лохмотьях. Он был солдат и потому вооружен палкой. В узкие окна высывались чьи-то * смуглые руки и протягивали корзинки из ивовых прутьев. Это арестанты из окон тюрьмы за медяки предлагали прохожим произведения своего кропотливого труда. Гортанными голосами на все лады повторяли они мольбы и жалобы, которые прерывались руганью и яростными воплями. Они были заперты все вместе в одной большой камере и спорили из-за окон, потому что каждому хотелось просунуть свою корзинку. Слишком шумная ссора разбудила чернокожего солдата, и он палкой загнал назад, за тюремные стены, корзины и протянутые руки. Но вскоре появились новые руки, тоже коричневые с голубой татуировкой, как и те, что были раньше. Я полюбопытствовал взглянуть через щель старой деревянной двери внутрь тюрьмы. В полутьме я увидел толпу оборванцев, растянувшихся на голой земле, бронзовые тела в красных лохмотьях, суровые лица, тюрбаны, почтенные бороды; проворные негры, скаля зубы, быстро плели корзинки. Тут и там торчали опухшие ноги, обернутые грязными тряпками, плохо прикрывавшими язвы и нарывы. И видно было, даже слышно было, как все кишит паразитами. По временам раздавался смех. Черная курица долбила клювом загаженную землю. Солдат не торопил меня, интересуясь только тем, чтоб не упустить момент, когда я буду уходить, и протянуть руку. И мне вспомнился директор нашей образцовой департаментской тюрьмы. Я подумал: «Если бы Оссиан Коло побывал в Танжере, он заклеил бы такое попустительство, такое отвратительное попустительство».

— В картине, нарисованной вами, — отозвался г-н Бержере, — я узнаю варварство. Оно менее жестоко, чем цивилизация. Мусульманские узники страдают лишь от равнодушия да иногда от жестокости своих стражей. Но им по крайней мере нечего бояться филантропов. Они живут сносно, потому что их не держат в одиночках.

Всякая тюрьма — блаженство по сравнению с одиночным заключением, изобретенным нашими учеными криминалистами.

Цивилизованным народам присуще особое зверство, которое по своей жестокости превосходит все измышления варваров. Криминалист гораздо злее дикаря. Филантропы придумывают пытки, неизвестные ни в Персии, ни в Китае. Персидский палач морит узников голодом. И только филантроп додумался до того, чтоб морить их одиночеством. Вот это и есть настоящая пытка одиночным заключением. Нет равной ей по длительности и жестокости. К счастью, страдалец сходит с ума и перестает сознавать свои муки. Пытаются найти оправдание этой мерзости, ссылаясь на необходимость уберечь осужденного от развращающего влияния ему подобных и лишить его возможности совершать безнравственные или преступные деяния. Те, кто так рассуждают, слишком глупы, и только поэтому их нельзя считать лицемерами.

— Вы правы, — сказал г-н Мазюр, — но не будем несправедливы к своему времени. Революция, сумевшая провести судебную реформу, значительно улучшила участь заключенных. При старом режиме тюрьмы были по большей части смрадными и темными.

— Правда, люди во все времена были злы и жестоки и всегда находили наслаждение в издевательствах над несчастными, — ответил г-н Бержере. — Но по крайней мере до появления филантропов людей мучили просто из чувства ненависти и мести, а не ради исправления их нравственности.

— Вы забываете, — возразил г-н Мазюр, — что средние века знали филантропию, и притом самого гнусного свойства — филантропию духовную. Ведь именно так должны быть названы деяния, в которых выразился дух святой инквизиции. Ее суд посылал еретиков на костер из чистого милосердия, ибо, принося в жертву тело, он, по его словам, спасал душу.

— Нет, суд святой инквизиции этого не говорил и не думал, — сказал г-н Бержере. — Виктор Гюго действительно поверил, что Торквемада * сжигал людей для их же блага, дабы ценой кратких страданий обеспе-

чить им вечное блаженство. На этой мысли он построил драму, сверкающую антитезами. Но мысль эта не выдерживает критики. И я не понимаю, как могли вы, столь ученый человек, так сказать вскормленный древними рукописями, поддаться на вымыслы поэта. На самом деле суд святой инквизиции, предавая еретика светской власти, отсекал больной член у церкви из страха, как бы зараза не распространилась на все тело. А этот самый отсеченный предоставлялся воле божьей! Вот он, дух инквизиции. Он ужасен, но не романтичен. А то, что вы справедливо называете духовной филантропией, проявлялось в наказании, которое святая инквизиция налагала на заблудших овец, вернувшихся в лоно церкви. Она милостиво осуждала их на вечное заточение и замуровывала ради спасения их душ. Но я имел в виду только гражданские тюрьмы, какими они были в средние века и в новое время, до царствования Людовика Четырнадцатого.

— Это правда, что одиночное заключение не дало ожидаемых результатов, благоприятных для нравственного возрождения осужденного, — согласился г-н де Термондр.

— Одиночное заключение, — сказал доктор Форнероль, — часто вызывает довольно серьезные психические заболевания. Следует, правда, заметить, что преступники предрасположены к подобного рода расстройствам. Ныне признано, что преступники — это дегенераты. Благодаря любезности господина Оссиана Коло я имел возможность осмотреть интересующего нас убийцу, этого самого Лекера. Я нашел у него физические недостатки. Так, например, у него неправильные зубы. Отсюда я заключаю, что он не вполне ответствен за свои поступки.

— Однако у одной из сестер Митридата* был двойной ряд зубов на каждой челюсти, а брат высоко ценил возвышенность ее души, — заметил г-н Бержере. — Он так нежно любил ее, что, спасаясь от преследований Лукулла*, послал ей шнурок, дабы она не попала живой в руки римлян. Она оправдала доброе мнение Митридата, — приняла удавку с радостным спокойствием и сказала: «Я благодарна моему брату

царю за то, что среди одолевающих его забот он вспомнил о моей чести». Из этого примера видно, что неправильные зубы не мешают героизму,

— У интересующего нас Лекера, — продолжал доктор, — есть и другие особенности, которые несомненно представляют интерес с точки зрения науки. Как у многих прирожденных преступников, у него притуплена чувствительность. Я имел возможность освидетельствовать Лекера. У него все тело покрыто татуировкой. И приходится только удивляться извращенной фантазии, руководившей выбором сцен и предметов, изображенных у него на коже.

— Вот как? — сказал г-н де Термондр.

— Хорошо бы, — продолжал доктор Форнероль, — препарировать по всем правилам искусства кожу этого субъекта и отдать в наш музей. Но мне хотелось обратить ваше внимание не на характер татуировки, а на ее изобилие и распределение по телу. Некоторые моменты операции должны были причинить такую боль, какую вряд ли мог бы вынести человек с нормальной чувствительностью.

— Постойте! Я вас перебую, — сказал г-н де Термондр. — По всему видно, что вы незнакомы с моим другом Жилли. Однако он довольно известен. Жилли еще очень молодым, не то в тысяча восемьсот восемьдесят пятом, не то в тысяча восемьсот восемьдесят шестом году, совершил кругосветное путешествие со своим другом лордом Торнбриджем на яхте «Old friend»¹. Жилли клянется, что за все время плавания, которое бывало и благоприятным и неблагоприятным, ни лорд Торнбридж, ни он носа не показали на палубу, а просидели все время в рубке, где пили шампанское в компании старого марсового матроса королевского флота, обучившегося искусству татуировки у одного тасманского вождя. За время путешествия этот старик марсовой покрыл обоих друзей татуировкой с головы до пят. И Жилли вернулся во Францию весь разрисованный лисьей охотой, содержащей не менее трехсот двадцати четырех фигур — мужчин, женщин, лошадей

¹ «Старый друг» (англ.).

и собак. Он с удовольствием их показывает добрым друзьям в ресторане за ужином. Правда, я не знаю, притуплена ли чувствительность у моего друга Жилли, но уверяю вас, что он славный малый, порядочный человек и неспособен...

— Но, доктор, если вы полагаете, что существуют прирожденные преступники, и если вам кажется, что мясник Лекер, как вы говорите, не вполне ответствен за свои поступки, так как от природы предрасположен к преступлению, неужели вы считаете справедливым, чтобы его гильотинировали? — спросил г-н Бержере.

Доктор пожал плечами:

— А что же прикажете с ним делать?

— Разумеется, судьба этого субъекта меня мало трогает, — сказал г-н Бержере. — Но я вообще против смертной казни.

— Объясните, Бержере, почему? — воскликнул архивариус Мазур, питавший восторженные чувства к девяносто третьему году и террору и приписывавший гильотине какую-то таинственную силу и нравственную красоту. — Я стою за отмену смертной казни для уголовных преступников и за ее восстановление для политических.

Во время этой речи, исполненной гражданских чувств, вошел г-н Жорж Фремон, инспектор художественных музеев, которому г-н де Термондр назначил свидание в лавке Пайо. Они собирались вместе осмотреть «дом королевы Маргариты». Г-н Бержере с некоторым трепетом поглядел на г-на Фремона и почувствовал себя совсем ничтожным рядом с такой значительной особой. Мыслей он никогда не боялся, а перед людьми робел.

Господин де Термондр не захватил ключа от «дома королевы Маргариты». Он послал за ним Леона, а пока пригласил Жоржа Фремона в букинистический угол.

— Господин Бержере, расхваливал сейчас тюрьмы старого режима, — сказал он.

— Вовсе нет, — возразил г-н Бержере, слегка смутившись, — вовсе нет. Это были смрадные ямы. Несчастные узники томились там в оковах. Но они жили не в одиночестве — у них были товарищи по темнице. И горожане, знатные господа и дамы, посещали их.

Посещение темницы считалось одним из семи подвигов милосердия. Теперь же никому и в голову не придет посещать узников. Впрочем, тюремными правилами это и не разрешается.

— Совершенно верно, — заметил г-н де Термондр, — прежде существовал обычай посещать тюрьмы. В моем собрании эстампов есть гравюра Авраама Босса *, где изображен дворянин в шляпе с перьями и дама в парчовом платье с венецианским кружевом, пришедшие в темницу, которая кишит оборванцами в жалких лохмотьях. Этот эстамп принадлежит к серии из семи досок, имеющейся у меня в старинных оттисках. Вообще же надо остерегаться подделок, так как позднее понаделали отпечатков с изношенных досок.

— Посещение узников, — сказал г-н Жорж Фремон, — обычный сюжет христианского искусства в Италии, Фландрии и Франции. Так, его с поразительной правдивостью использовал делла Роббиа * на фризе из цветной терракоты, который великолепной полосой опоясывает госпиталь в Пистойе. Вы бывали в Пистойе, господин Бержере?

Преподавателю латыни пришлось сознаться, что он не бывал в Италии.

Господин де Термондр, стоявший у дверей, тронул г-на Фремона за локоть:

— Господин Фремон, взгляните на площадь, справа от церкви. Вон идет самая красивая женщина в нашем городе.

— Это госпожа де Громанс, — сказал г-н Бержере. — Она очаровательна.

— Она дает обильную пищу для толков, — заметил г-н Мазюр. — Госпожа де Громанс — урожденная Шапон. Ее отец был стряпчим и самым бессовестным ростовщиком в департаменте. А она по типу настоящая аристократка.

— Так называемый аристократический тип, — отозвался Жорж Фремон, — понятие чисто отвлеченное. В нем не более реальных признаков породы, чем в классическом типе вакханки или музы. Я неоднократно задавал себе вопрос, как создался тип аристократки, как он запечатлелся в народном сознании. Мне кажется,

он сложился из весьма разнообразных реальных элементов. Среди этих элементов я указал бы на актрис драмы и комедии старого театра Жимназ и Французского театра, а также на актрис из театров Крымского бульвара и Порт-Сен-Мартен, в течение столетия показавших французам, большим ценителям театральных представлений, множество принцесс и светских дам. Надо также отметить натурщиц, с которых наши современные художники писали королев и герцогинь для своих исторических и жанровых картин. Не следует пренебрегать и более новым, не столь распространенным, но весьма действенным влиянием живых манекенов из ателье известных портных, красивых девушек, высоких и стройных, умеющих носить туалеты. А ведь все эти актрисы, натурщицы, продавщицы — плебейского происхождения. Отсюда я заключаю, что тип аристократки сложился исключительно из прелестей простолюдинок. В таком случае нечего удивляться аристократическому типу госпожи де Громанс, урожденной Шапон. Она изящна, и — что большая редкость в ваших городах с неровными мостовыми и грязными тротуарами — у нее хорошая походка. Но мне сдается, что зад у нее несколько плосковатый. Это большой недостаток.

Господин Бержере, подняв нос от XXXVIII тома «Всеобщей истории путешествий», с восхищением взглянул на этого парижанина с пламенно-рыжей бородой, который холодно и строго разбирал пленительную красоту и обаятельные формы г-жи де Громанс.

— Теперь, когда мне известен ваш вкус, я познакомлю вас с моей тетушкой Куртре, — сказал г-н де Термондр. — Она могучего телосложения и умещается только в одно определенное фамильное кресло, которое уже в течение трех веков гостеприимно раскрывает свои непомерно широкие объятия всем старым дамам семьи Куртре-Маян. Физиономия тетушки соответствует всему прочему и, надеюсь, вам понравится. Красная, как помидор, с белокурыми, довольно эффектными усами, которым она предоставляет расти по их воле. Да, тетушка Куртре — не того типа, как ваши актрисы, натурщицы и манекенщицы!

— Заранее чувствую, что ваша почтенная тетушка придется мне по вкусу, — ответил г-н Фремон.

— В прежние времена образ жизни провинциальных дворян не отличался от образа жизни нынешних крупных фермеров. Значит, и по виду они были с х о ж и, — заметил г-н Мазюр.

— Несомненно порода мельчает, — сказал доктор Форнероль.

— Вы полагаете? — спросил г-н Фремон. — Но в пятнадцатом — шестнадцатом веках цвет итальянского и французского рыцарства составляли, видимо, люди в достаточной мере щедушные. Княжеские доспехи конца средних веков и эпохи Возрождения, мастерски выкованные, с искусной насечкой и чеканным узором, так узки в плечах и талии, что человеку нашего времени было бы в них тесно. Почти все они изготовлены для маленьких и щуплых мужчин. Действительно, если судить по французским портретам пятнадцатого века и по миниатюрам Жеана Фуке *, народ тогда был довольно низкорослый.

Вернулся Леон с ключом. Он был очень возбужден.

— Назначено на завтра, — сказал он хозяину. — Дейблер с подручными прибыли поездом три тридцать. Они пошли в гостиницу «Париж», но там их не пустили. Они остановились в харчевне «Голубая лошадь», у холма Дюрок, в харчевне убийц.

— Ах, да, — воскликнул г-н Фремон, — я слышал сегодня утром в префектуре, что у вас в городе назначена смертная казнь. Все об этом говорят.

— В провинции так мало развлечений, — заметил г-н де Термондр.

— Но подобное развлечение омерзительно, — сказал г-н Бержере. — Убивают тайком, прикрываясь законом. Зачем же делать то, чего стыдишься? Президент Греви, человек очень умный, никогда не прибегал к смертной казни и тем самым фактически отменил ее. Как жаль, что его преемники не последовали такому примеру! Страх перед казнью не обеспечивает личной безопасности в современном обществе. Смертная казнь отменена у многих народов Европы, и преступлений

там не больше, чем в странах, где еще сохранилась эта недостойная мера. Да и там, где она существует, она тоже мало-помалу слабеет и отживает свой век. Она утратила значение и силу. Это бесцельная гнусность. Она пережила себя. Идеи права и справедливости, во имя которых некогда торжественно рубили головы, теперь поколеблены новой моралью, порожденной естественными науками. И так как смертная казнь явно отмирает сама собой, то разумнее всего не мешать ей в этом.

— Вы правы, — сказал г-н Фремон, — применение смертной казни недопустимо с тех пор, как с ней перестали связывать идею искупления, — идею чисто богословскую.

— Президент наверное даровал бы помилованье, — заметил с важностью Леон, — да преступление-то уж слишком ужасное.

— Право помилования было одним из атрибутов божественной власти, — сказал г-н Бержере. — Король пользовался им лишь потому, что стоял выше человеческого правосудия, как представитель бога на земле. Это право, перейдя от короля к президенту республики, утратило свой основной характер и свою законность. Теперь оно — проявление власти, лишенное почвы, судебное действие, стоящее вне правосудия, а не над ним; оно допускает произвольную юрисдикцию, неизвестную законодателю. Обычай сам по себе хорош, ибо спасает несчастных. Но имейте в виду, что он потерял свой первоначальный смысл. Милосердие короля было как бы милосердием самого бога. Но можно ли вообразить себе господина Феликса Фора с атрибутами божества? Господин Тьер *, который не считал себя помазанником божьим и действительно не был коронован в Реймсе, сложил с себя право помилования и передал его комиссии, получившей полномочие быть милосердной за него.

— Ну, ее милосердие было слабовато, — сказал г-н Фремон.

В лавку вошел молоденький солдат и спросил «Образцовый письмовник».

— В современной цивилизации сохранились еще

остатки варварства, — заметил г-н Бержере. — Например, мы внушим к себе отвращение людям ближайшего будущего хотя бы из-за нашего военно-юридического устава. Этот устав создан был для отрядов вооруженных разбойников, опустошавших Европу в восемнадцатом веке. Он был сохранен республикой девяносто второго года и упорядочен в первой половине нашего века. Армию заменили народом, а устав изменить позабыли. Всегда что-нибудь упустишь! Жестокие законы, созданные для головорезов, применяют теперь к запуганным крестьянским парням и к городской молодежи, с которыми легко можно справиться кротостью. И находят, что это в порядке вещей!

— Я вас не понимаю, — возразил г-н де Термондр. — Наш военный кодекс, подготовленный, помнится мне, в эпоху Реставрации, применяется только со времени Второй империи. Около тысяча восемьсот семьдесят пятого года он был пересмотрен и согласован с новой организацией армии. Как же вы утверждаете, будто он составлен для армии старого режима?

— Утверждаю с полным основанием, — ответил г-н Бержере, — потому что этот кодекс — простая компиляция приказов, касающихся армий Людовика Четырнадцатого и Людовика Пятнадцатого. Известно, что представляли собой эти армии: всякий сброд, вербовщики и завербованные, каторжники военной службы, разбитые на отряды, которые покупались молодыми дворянами, подчас еще детьми. Повиновение поддерживалось постоянной угрозой смерти. Все изменилось; солдаты монархии и двух империй уступили место огромной и смирной национальной гвардии. Мятежей и насилий опасаться не приходится, и все же этой благодушной толпе крестьян и ремесленников, неудачно наряженных солдатами, за малейшую провинность угрожает смерть. Такой контраст между мирными нравами и жестокими законами почти смешон. Для всякого, кто подумает, станет ясно, как нелепо и отвратительно карать смертью за проступки, с которыми легко можно справиться обыкновенными полицейскими мерами.

— Но современные солдаты тоже вооружены, как и прежние, — сказал г-н де Термондр. — И надо же дать

какую-то возможность кучке безоружных офицеров держать в страхе и повиновении такое множество людей, снабженных ружьями и патронами. В этом все дело.

— Верить в необходимость наказаний и полагать, что чем они суровее, тем действительнее, — давний предрассудок, — сказал г-н Бержере. — Смертная казнь за оскорбление действием начальника — пережиток того времени, когда в жилах офицеров и солдат текла разная кровь. Та же система наказаний сохранилась в армии республики. Сердцеед *, став генералом в тысяча семьсот девяносто втором году, вздумал применить обычаи старого режима на пользу революции и не скупился на расстрелы волонтеров. Но Сердцеед, став республиканским генералом, по крайней мере воевал и храбро сражался. Надо было победить во что бы то ни стало. Дело шло не о жизни отдельных людей, а о спасении родины.

— Генералы Второго года, — отозвался г-н Мазюр, — карали с неумолимой строгостью главным образом за воровство. В Северной армии одного стрелка, подменившего новую шляпу своей старой, прогнали сквозь строй. Двух барабанщиков, из которых старшему было восемнадцать лет, расстреляли перед выстроенными отрядами за кражу грошовых украшений у старой крестьянки. Век был героический.

— В войсках республики, — сказал г-н Бержере, — расстреливали ежедневно не одних мародеров. Расстреливали также и непокорных. И с этими прославленными солдатами обращались, как с каторжниками, с той только разницей, что их почти не кормили. Правда, с ними подчас нелегко было справиться. Доказательство тому — триста канониров тридцать третьей полубригады, в Четвертом году в Мантуе наведших орудия на своих генералов и потребовавших выдачи жалованья. С такими молодцами шутки были плохи. За отсутствием неприятеля они могли приколоть дюжину собственных начальников. Ничего не поделаешь, героический темперамент! Но Дюмане пока еще не герой. Мирное время не рождает героев. Сержанту Бриду в мирной казарме опасаться нечего, тем не менее ему приятно сознавать,

что стоит нижнему чину поднять на него руку, и тот немедленно будет расстрелян под барабанный бой. При наших нравах да еще в мирное время это совершенно нелепо. Но никто об этом не думает. Правда, смертная казнь по приговору военного суда применяется только в Алжире, а в самой Франции по возможности избегают подобных воинственных и музыкальных торжеств. Понимают, что они произведут неблагоприятное впечатление. Это — молчаливое осуждение военному уставу.

— Смотрите, как бы не поколебать дисциплину, — заметил г-н де Термондр.

— Если бы вы видели новобранцев, — ответил г-н Бержере, — когда они гуськом входят во двор казармы, вам бы и в голову не пришло угрожать смертью этим овечьим душам, дабы держать их в повиновении. Все их унылые помыслы направлены только на одно — дотянуть, как они говорят, «свои три года», и сержант Бриду был бы тронут до слез их жалким смирением, если бы не испытывал потребности внушать им трепет, дабы упиваться собственной властью. А ведь сержант Бриду от природы не злее остальных людей. Но он раб и деспот, а потому он вдвойне развращен, — впрочем, я не уверен, что сам Марк Аврелий, будь он унтером, не стал бы измываться над новобранцами. Как бы то ни было, самой обычной муштры достаточно, чтобы поддерживать расчетливую покорность, эту наипервейшую добродетель солдата в мирное время. Нашим военным уставам с их орудиями смертной казни давно уже место в музее ужасов рядом с ключами Бастилии и клещами инквизиции.

— Ко всему, что касается армии, следует подходить с величайшей осмотрительностью, — сказал г-н де Термондр. — Армия — наш оплот и надежда. А также школа долга. Где, как не в армии, встретишь самоотверженность и верность?

— В самом деле, — сказал г-н Бержере, — люди считают своей первейшей общественной обязанностью научиться по всем правилам убивать себе подобных, и слава, добытая кровопролитием, признается у цивилизованных народов выше всякой другой. Но в конце

концов, хотя человек неисправимо злобен и зловреден, количество зла во вселенной не так уж велико. Земля — это капля грязи в мировом пространстве, а солнце — сгусток быстро догорающего газа.

— Я вижу, — сказал г-н Фремон, — что вы не позитивист. Вы слишком легко отзываетесь о великом фетише.

— А что это такое: великий фетиш? — спросил г-н де Термондр.

— Вы знаете, — ответил г-н Фремон, — что позитивисты считают человека животным, которому свойственна потребность поклонения. Огюст Конт был очень внимателен к нуждам этого поклоняющегося животного и после долгого размышления придумал для него фетиш. Но он избрал землю, а не бога. И не потому, что был атеистом. Наоборот, он признавал довольно вероятным существование созидательного начала. Только он полагал, что бога слишком трудно познать. И его ученики, люди очень религиозные, почитают умерших, почитают полезных людей, женщину и великий фетиш — землю. Это видно из того, что его адепты строят планы счастья человечества и приспособляют нашу планету к требованиям людского благополучия.

— Дела им хватит, — сказал г-н Бержере, — по всему заметно, что они оптимисты. Они даже чересчур оптимисты, и такое направление их ума меня поражает. Трудно постигнуть, как люди разумные и здравомыслящие могут питать надежду, что когда-нибудь сделают сносным существование на этом крошечном шарике, который неловко вращается вокруг желтого и уже наполовину потухшего солнца, предоставляя нам, как каким-то паразитам, копошиться на заплесневелой земной поверхности. Великий фетиш совсем не кажется мне достойным поклонения.

Доктор Форнероль наклонился к уху г-на де Термондра:

— Должно быть, у Бержере какие-то особые неприятности, а то не стал бы он так отзываться о вселенной. Неестественно видеть все в черном свете.

— Несомненно, — согласился г-н де Термондр.

XII

Темные ветви городских вязов еще только одевались легкой, как пыль, бледной зеленью. Но во фруктовых садах по склону холма, увенчанного старыми стенами, уже цвели деревья, поднимая навстречу ясному трепетному дню, улыбавшемуся им между двумя порывами ветра, белые шары и розовые пирамиды своих вершин. А вдали текла река, многоводная от весенних дождей, и, сверкая наготою, касалась своими округлыми боками рядов тонких тополей, окаймляющих ее ложе, — сладострастная, неукротимая, плодоносная, вечная, истая богиня, как и во времена римской Галлии, когда лодчики приносили ей в дар медные монеты и воздвигали по обету в ее честь перед храмами Венеры и Августа священные стелы с грубо высеченным изображением лодки и весел. Повсюду в открытой солнцу долине робкая и очаровательная юность года трепетала на древней земле. А г-н Бержере одиноко брел неровными, медленными шагами под вязами городского сада. Он брел, и смутно было у него на душе, полной противоречий и колебаний, старой, как земля, молодой, как цвет яблонь, освободившейся от мыслей и осаждаемой толпою неясных образов, разочарованной и томимой желанием, нежной, невинной, порочной, печальной, влащей свою усталость и гонящейся за иллюзиями и надеждами, не зная ни имени их, ни формы, ни облика.

Подойдя к скамейке, где он часто сиживал летом в час, когда на деревьях смолкают птицы, и где он не раз проводил досуги с аббатом Лантенем под красавцем вязом, свидетелем их степенных бесед, г-н Бержере увидел, что на зеленой спинке скамьи чьей-то неискусной рукой начертаны мелом несколько слов. Он встревожился, боясь прочесть свое имя, вошедшее уже в обиход у городских озорников. Но скоро он успокоился. Это была эротическая меморативная надпись, в которой Нарцисс возвещал в лаконичной, простой, но грубой и непристойной форме о наслаждениях, которые он вкусил на этой самой скамье, — надо думать, под покровом снисходительной ночи, — в объятиях Эрнестины.

Господин Бержере, собиравшийся было занять свое обычное место, где он высказал столько благородных и красивых мыслей и куда столько раз на его призывы спускались стыдливые Грации, счел неуместным для порядочного человека публично восседать в близком соседстве с подобным непристойным памятником, посвященным Венере бульварной. Он отвернулся от мемориальной скамьи и продолжал свой путь, размышляя:

«О суетное желание славы! Мы хотим жить в памяти потомства. Только люди очень благовоспитанные и принадлежащие к светскому кругу не стремятся поведать миру свою любовь и радость, свою ненависть и печали. Для Нарцисса победа над Эрнестиной не будет полной, если об этом не узнает вселенная. Так некогда Фидий начертал любимое имя на большом пальце ноги Юпитера Олимпийского. О, потребность души общаться с миром, излиться вовне! «Сегодня, на этой скамейке, Нарцисс...»

«И тем не менее, — продолжал думать г-н Бержере, — скрытность — необходимая добродетель культурного человека и краеугольный камень общества. Нам так же нужно таить свои мысли, как носить одежду. Человек, говорящий все, что он думает, и так, как думает, настолько же немислим в городе, как и человек голый. Если бы я, например, описал у Пайо — хотя там разговор ведется достаточно вольный — картины, которые рисуются сейчас моему воображению, мысли, которые мелькают у меня в голове, подобно веренице ведьм, влетающих верхом на помеле в печную трубу; если бы я рассказал как иногда вдруг воображаю себе госпожу де Громанс, какие рискованные позы я ей придаю, какой у меня возникает образ, невероятный, прихотливый, призрачный, странный, чудовищный, извращенный и непристойный, в тысячу раз более соблазнительный и порочный, чем знаменитое изображение на северном портале церкви святого Экзюпера, которое ввел в сцену Страшного суда замечательный мастер, заглянувший в отдушину ада и узревший само Сладострастие; если бы я в точности рассказал все мои причудливые грезы, сочли бы, что я одержим постыдной манией. А между тем я ведь отлично знаю, что человек я порядочный, склонный от природы к честным помыслам, наученный жизнью

и размышлением соблюдать во всем меру, скромный, всецело посвятивший себя тихим радостям интеллекта, ибо я враг всяких излишеств и ненавижу порок, как уродство».

Господин Бержере продолжал прогулку, предаваясь таким странным мыслям, но тут он увидел аббата Лантеня, ректора духовной семинарии, беседующего с аббатом Табари, тюремным священником. Г-н Табари извивался всем своим длинным телом, увенчанным остроконечной головкой, и старался подкрепить костлявой рукою убедительность своих слов, а г-н Лантень, высоко подняв голову, выпятив грудь, держа молитвенник под мышкой, слушал его, глядя вдаль, сжав губы, и его обрюзгшее лицо, на котором никогда не играла улыбка, хранило серьезность.

Аббат Лантень ответил на поклон г-на Бержере и приветливо сказал ему:

— Господин Бержере, присоединяйтесь к нам: господин Табари не боится неверующих.

Но тюремный священник, поглощенный своей мыслью, продолжал речь:

— Всякий на моем месте растрогался бы, увидев то, что видел я. Этот юноша утешил нас своим искренним раскаянием, простым и правдивым выражением подлинно христианских чувств. Его поведение, взгляд, слова, все его существо говорили о кротости, смирении, полной покорности воле божией. Он являл собою отрадное зрелище и назидательный пример. Его благочестие, пробуждение веры, слишком долго дремавшей в его сердце, высокий порыв к всепрощающему богу — вот благословенные плоды моих поучений.

Старик расчувствовался с непосредственностью наивных, суетных и пустых людей. Искренняя печаль увлажнила его большие глаза навывкате и вздернутый красный носик. Повздыхав с минуту, он продолжал, обращаясь на этот раз к г-ну Бержере:

— Поверьте, при исполнении моих тяжелых обязанностей я часто натываюсь на тернии. Но зато — какие плоды! За свою долгую жизнь я не раз вырывал несчастных из когтей дьявола, уже готового завладеть ими. Но ни один из грешников, которых я напутство-

вал, не утешил меня в свои последние минуты так, как юноша Лекер...

— Как? — воскликнул г-н Бержере. — Вы говорите об убийце вдовы Усье? Да ведь всем известно...

Он собирался уже сказать, что несчастного Лекера, еле живого от страха, чуть не на руках втащили на эшафот, как в один голос утверждали все, кто присутствовал при казни. Но он спохватился и не стал огорчать старика, который продолжал:

— Само собой, он не произносил длинных речей и не изливал во всеуслышание своих чувств. Но если б вы только слышали вздохи и возгласы, которыми он выражал свое раскаяние! Во время скорбного пути из тюрьмы к месту искупления, когда я обратился к памяти его матери и напомнил ему день первого причастия, он залился слезами.

— Уж конечно, вдова Усье умирала не столь благочестиво, — заметил г-н Бержере.

Господин Табари, услышав эти слова, обвел горизонт своими выпученными глазами. Он имел привычку искать не в себе, а вокруг себя разрешения метафизических проблем. И когда он размышлял за обедом, его старая служанка, сбитая с толку его видом, говорила: «Вы ищете пробку от бутылки, господин аббат? Она у вас в руке».

И вот блуждающий взор аббата Табари наткнулся на дородного бородача в костюме велосипедиста, проходившего по городскому саду. Это был Эзек Буле, главный редактор радикальной газеты «Маяк». Тотчас же, быстро распрощавшись с ректором семинарии и преподавателем филологического факультета, г-н Табари во всю прыть пустился вдогонку за журналистом, поздоровался с ним и, весь красный от волнения, вытащил из кармана пачку смятых бумаг и передал их г-ну Буле дрожащими руками. Это были поправки и дополнения, касающиеся последних минут юноши Лекера. Добрый пастырь на склоне своей скромной жизни и незаметного апостольского служения стал падох на рекламу и жаден на интервью и газетные статьи.

Увидя, как бедный старик с птичьей головкой протянул свою мазню журналисту-радикалу, аббат Лантень сдержал улыбку.

— Видите, — сказал он г-ну Бержере, — вредное веяние века испортило даже этого старца, приближающегося к могиле долгим путем заслуг и добродетелей: этот человек, смиренный и скромный во всем остальном, одержим суетным стремлением к славе. Он во что бы то ни стало желает печататься, хотя бы и в антиклерикальном листке.

Но г-н Лантень спохватился, смутясь тем, что выдал врагу одного из своих собратьев.

— Положим, беда невелика. Это смешно, вот и все.

Потом он замолк и погрузился в обычную свою печаль.

Аббат Лантень со свойственным ему даром подчинять себе окружающих увлек г-на Бержере на их всегдашнюю скамью. Равнодушно относясь к обыденным житейским явлениям, в которых внешний мир предстает перед большинством людей, он не соблаговолит заметить эротическую надпись о Нарциссе и Эрнестине, начертанную мелом, крупной прописью, на спинке скамьи, и, садясь, в невозмутимом спокойствии духа заслонил своей широкой спиной треть этого эпиграфического памятника. Г-н Бержере сел рядышком, предварительно положив развернутую газету на спинку скамьи, дабы прикрыть наиболее, по его мнению, выразительную часть текста, а такой он считал сказуемое, «которое указывает — как говорят составители грамматик — на действие, приписываемое подлежащему». Но, сам того не заметив, он подменил одну надпись другой. Действительно, жирный заголовок газетной заметки возвещал о происшествии, обычном для нашей парламентской жизни со времени достопамятной победы демократических установлений. Времена года сменяли друг друга, часы шли своей чередой, и с той же астрономической точностью вместе с весной опять наступил сезон скандалов. За этот месяц много депутатов подверглось судебному преследованию. И развернутая г-ном Бержере газета жирными буквами сообщала следующее известие: «Сенатор в Мазасе *. Арест г-на Лапра-Теле».

Хотя в самом этот факте не было ничего особенного и хотя он просто свидетельствовал о правильном функционировании судебных властей, тем не менее г-н Бержере рассудил, что, пожалуй, будет несколько нарочитой дерзостью выставлять его напоказ на скамье в тени вязов, в городском саду, где почтенный г-н Лапра-Теле не раз наслаждался почетом, который демократические государства умеют оказывать своим лучшим гражданам. Ведь здесь, в этом самом городском саду, на трибуне, задрапированной темно-красным бархатом, под торжественной сенью знамен, г-н Лапра-Теле, восседавший по правую руку от президента республики в дни больших местных и национальных празднеств, во время различных торжественных церемоний, прославлял в своих речах благоденствия существующего строя, в то же время призывая к терпению преданное и трудолюбивое население. Лапра-Теле, приверженец республики с первых ее дней, уже двадцать пять лет был могущественным и уважаемым вождем умеренных у себя в департаменте. Годы и парламентские труды убелили сединой его голову, и он возвышался в своем родном городе подобно дубу, украшенному трехцветной перевязью. Он обогатил своих друзей и разорил врагов. Его публично чествовали. Он был величествен и кроток. Ежегодно, во время раздачи наград, он рассказывал школьникам о своей бедности. И он мог называть себя бедняком без всякого для себя ущерба, потому что ему все равно никто не верил и никто не сомневался в его богатстве. Всем были известны источники его благосостояния, те тысячи каналов, по которым он, со свойственным ему умом и трудолюбием, выкачивал деньги. Каждый знал, сколько доходов принесли ему все предприятия, которые опирались на его влияние в политическом мире, все концессии, которым он обеспечил свою поддержку в парламенте. Это был крупный парламентский делец, превосходно ораторствующий финансист. Его друзья не хуже, а может быть, и лучше его врагов знали, сколько он заработал на Панаме и на всем прочем. Этот рассудительный, умеренный, старавшийся не очень докучать Фортуне великий пращур трудолюбивой и разумной демократии уже десять лет

тому назад, при первом дуновении бури, отказался от крупных дел; он даже покинул Бурбонский дворец * и удалился в Люксембургский дворец *, этот высший совет общин Франции, где ценили его благоразумие и преданность республике. Так он был силен и не на виду. Он выступал только в недрах комиссий. Но там он проявлял свои блестящие дарования, давно оцененные по заслугам королями космополитического финансового капитала. Он мужественно защищал налоговую систему, введенную революцией и основанную, как известно, на принципах справедливости и свободы. Он поддерживал капитал с горячностью, особенно трогательной в устах старого борца. Даже «присоединившиеся» уважали Лапра-Теле за уравновешенность и подлинный консерватизм и чтили в нем ангела-хранителя частной собственности.

«У него благородные чувства, — говорил г-н де Термондр, — как жаль, что над ним и поныне тяготеет бремя тяжелого прошлого». Но у Лапра-Теле были враги, яростно стремившиеся его погубить. «Я заслужил их ненависть, — говорил он с достоинством, — защищая вверенные мне интересы».

Враги преследовали его даже под священной сенью сената, где перенесенные несчастья окружали его еще большим ореолом, ибо он знал трудные времена и однажды уже был на волосок от гибели по вине некоего министра юстиции, не участвовавшего в сделке и неосторожно выдавшего Лапра-Теле удивленному правосудию. Ни почтенный г-н Лапра-Теле, ни судебный следователь, ни адвокат, ни прокурор, ни даже сам министр юстиции не могли себе уяснить причин этих несуразных и внезапных неполадок в работе государственной машины, не могли предвидеть эти катастрофы, смехотворные, как падение ярмарочных подмостков, и ужасные, как следствие того, что оратор называл «имманентным правосудием», — катастрофы, при которых время от времени летели со своих мест наиболее уважаемые законодатели обеих палат. И с тех пор г-н Лапра-Теле пребывал в грустном недоумении. Он не считал ниже своего достоинства дать объяснения суду. Многочисленные и влиятельные связи спасли его. Дело было прекращено, что г-н Лапра-

Теле принял сначала скромно, а затем использовал в официальном мире как положительное свидетельство своей непорочности. «Господь бог милосерд, — говорила г-жа Лапра-Теле, женщина очень набожная, — он ниспослал мужу столь желанное прекращение дела». Известно, что в благодарность за это г-жа Лапра-Теле повесила по обету в часовне св. Антония мраморную дощечку с такой надписью: «За нечаянную радость от благочестивой супруги».

Прекращение дела успокоило политических друзей Лапра-Теле — толпу отставных министров и крупных чиновников, переживших вместе с ним и героическую пору и изобильные годы, знававших и семь коров тощих и семь коров тучных. Прекращение дела было как бы охранной грамотой. Во всяком случае, все так думали. И в течение нескольких лет могли так думать. И вдруг, по несчастной случайности, по одной из тех роковых неожиданностей, которые возникают тайно и коварно, как внезапная течь в гонимом ветром судне, всеми почитаемый старейший слуга демократии, кузнец собственного благополучия, тот, кого префект Вормс-Клавлен еще накануне, на собрании избирателей, ставил в пример всему департаменту, поборник порядка и прогресса, защитник капитала и общества, закадычный друг бывших министров и бывших президентов, сенатор Лапра-Теле, тот самый «с прекращенным делом», без всякого политического или морального основания был отправлен в тюрьму вместе с целым рядом других членов парламента. И местная газета жирным шрифтом возвещала: «Сенатор в Мазасе. Арест г-на Лапра-Теле». Г-н Бержере, по свойственной ему деликатности, перевернул газету, висевшую на спинке скамьи.

— Ну так как же, — обратился к нему аббат Лантень недовольным тоном, — вы находите прекрасным то, что происходит у нас на глазах, и полагаете, что так оно и должно быть?

— Что вы имеете в виду? — спросил г-н Бержере. — Парламентские скандалы? Но прежде всего, что такое скандал? Скандал обычно результат разоблачения какого-либо тайного действия. Ибо люди действуют

тайком только тогда, когда поступают противно установившимся обычаям и принятым взглядам. Поэтому общественные скандалы — явление общее для всех времен и народов, однако их тем больше, чем менее правительство способно скрывать свои действия. Ясно, что правительственные тайны плохо сохраняются при демократическом строе. Большое число сообщников и ярая межпартийная рознь особенно способствуют разоблачениям, которые делаются иногда втихомолку, иногда с шумом. Кроме того, надо принять во внимание, что парламентская система умножает злоупотребления, ибо расширяет круг людей, которые могут их совершать. Фуке*, не стесняясь, всюю обкрадывал Людовика Четырнадцатого. В наши дни, пока грустный президент, который был избран для престижа, являл умиленным департаментам свой немой лик бородатой Минервы, — на Бурбонский дворец, как из рога изобилия, сыпались чеки. Особой беды в этом нет. Среди тех, кто управляет страной, много людей с тощим кошельком. Рассчитывать на поголовную неподкупность значило бы предъявлять слишком большие требования к человеческой природе. И то, что урвали эти жулики, сущая безделица по сравнению с тем, что ежечасно расхищает наше честное чиновничество. Надо отметить только один пункт, самый существенный. Прежние откупщики, в том числе и наш Поке де Сент-Круа, в царствование Людовика Пятнадцатого натаскавший богатство целой провинции в тот самый особняк, где я сейчас живу в «четвертом жилье», — все эти бесстыдные грабители обирали страну и короля; но они по крайней мере не были в стачке с врагами государства. Наши же парламентские охотники за чеками, получившие их от компании Панамского канала, продают Францию иностранной державе — Капиталу. Ибо в наши дни Капитал — действительно всемогущая держава, и о нем можно сказать то же, что говорили прежде о церкви, которую называли знатной иностранкой среди всех наций. Значит, депутаты, купленные Капиталом, — воры и изменники. Правда, ничтожные и мелкие. Каждый в отдельности даже жалок. Но меня пугает их быстрое размножение.

А пока что почтенный господин Лапра-Теле посажен в Мазас! Его отправили туда утром того дня, когда он должен был председательствовать в нашем городе на банкете социальной защиты. Этот арест на другой же день после вотирования закона, разрешающего возбуждать преследование против депутатов и сенаторов, поразил нашего префекта; он назначил председателем банкета господина Делиона, честность которого общепризнана, ибо она гарантирована унаследованным богатством и сорокалетним преуспеванием в промышленности. Скорбят о том, что самые видные лица в республике непрестанно подвергаются подозрениям, префект радуется в то же время благонадежности своих подопечных; они по-прежнему преданы существующему строю, несмотря на то, что его как будто нарочно стараются дискредитировать. И действительно, господин префект отмечает, что парламентские инциденты, подобные только что происшедшему и многим предыдущим, не производят решительно никакого впечатления на трудолюбивое население его департамента. У префекта правильный взгляд на вещи. Он не преувеличивает равнодушия этих людей, которых ничем уже не удивишь. Наша неподражаемая толпа, без всякого волнения узнавшая из газет о взятии под стражу сенатора Лапра-Теле, с тем же глубоким спокойствием приняла бы известие о назначении его посланником при каком-нибудь европейском дворе. И можно не сомневаться, что если правосудие вернет господина Лапра-Теле высокому собранию, то на будущий год он будет заседать в бюджетной комиссии. Можно быть уверенным, что по истечении срока своих полномочий он снова найдет себе избирателей.

Аббат Лантень прервал г-на Бержере:

— Тут-то вы, сударь, и коснулись самого слабого места, попали прямо в точку. Народ привыкает к безнравственности и не различает добра и зла. Вот где опасность! Мы постоянно видим, как обходят молчанием позорные дела. Во времена монархии и империи существовало общественное мнение. Теперь его нет. Наш народ, когда-то пылкий и склонный к благородным порывам, внезапно сделался неспособным ни

к любви, ни к ненависти, ни к восторгу, ни к презрению.

— Я сам поражаюсь подобной перемене, — сказал г-н Бержере. — И ищу и не нахожу ей причины. В китайских сказках часто говорится о духе, уродливом и неповоротливом, но остроумном и падком на развлечения. По ночам он проникает в жилые дома, открывает, словно коробку, череп спящего, вынимает оттуда мозг, кладет вместо него другой и тихонько закрывает череп. Его любимая потеха — ходить так из дома в дом и менять мозги. И когда на заре этот проказливый дух удаляется к себе в храм, то мандарин просыпается с мыслями куртизанки, а юная девушка — с фантазиями старого курильщика опиума. Должно быть, какой-нибудь дух вроде этого подменил французские мозги мозгами какого-то бесславного и терпеливого народа, влачащего унылое существование, разучившегося желать, равнодушного к справедливости и к несправедливости. Ведь мы теперь сами на себя не похожи.

Господин Бержере прервал свою речь и пожал плечами. Потом продолжал с тихой грустью:

— Это действие возраста и признак известной мудрости. Детству свойственно удивляться, молодости — негодовать, зрелые годы принесли нам, наконец, спокойное равнодушие, о котором мне следовало бы судить более справедливо. Наше душевное состояние обеспечивает нам внутренний и внешний мир.

— Вы так полагаете? — спросил аббат Лантень. — И не предчувствуете близких катастроф?

— Жизнь сама по себе уже катастрофа, — ответил г-н Бержере, — непрерывная катастрофа, потому что может проявляться только в неустойчивой среде; главное условие ее наличия — неустойчивость производящих ее сил. Жизнь нации, как и жизнь отдельного человека, — непрерывное разрушение, ряд сокрушительных ударов, бесконечный поток бедствий и преступлений. Наша страна, страна самая прекрасная в мире, существует, как и другие, только вечным возобновлением своих несчастий и ошибок. Жить — значит разрушать. Действовать — значит вредить. Но именно

сейчас самая прекрасная в мире страна, господин аббат, действует мало и живет далеко не кипучей жизнью. Вот это-то меня и успокаивает. Я не вижу знамений в небе. Я не предвижу в близком будущем особенных и необычайных бедствий для нашей милой Франции. Вы предсказываете катастрофу, господин аббат, но скажите, пожалуйста, откуда вы ее ожидаете — изнутри или извне?

— Опасность повсюду, — ответил аббат Лантенъ. — А вы еще смеетесь!

— У меня нет охоты смеяться, — сказал г-н Бержере. — Слишком мало у меня поводов для смеха в этом подлунном мире, на этом шаре, состоящем из земли и воды, обитатели которого почти все противны или смешны. Все же я полагаю, что нашему спокойствию и независимости навряд ли угрожает какой-либо могущественный сосед. Мы никому не мешаем. Мы не беспокоим вселенную. Мы сдержанны и благородны. Наше правительство не лелеет, насколько известно, никаких неумеренных планов, успех или неуспех которых обеспечивал бы нам могущество или привел бы нас к гибели. Мы не притязаем на мировую гегемонию. Мы стали приемлемы для Европы. Это приятная новость.

Взгляните, пожалуйста, на портреты наших государственных мужей в витрине писчебумажного магазина госпожи Фюзелье и скажите: похоже, что хоть один из них способен вызвать войну и опустошить мир? Ум у них такой же ограниченный, как и их власть. Ужасные ошибки им не по плечу. Слава богу, они не великие люди, и мы можем спать спокойно. Впрочем, мне кажется, что Европа, хоть она и вооружена до зубов, настроена не воинственно. В войне есть своего рода благородство, а оно теперь не в моде. Втравливают в драку турок и греков. Делают на них ставки, как на петухов или на лошадей. Но сами драться не собираются. В тысяча восемьсот сороковом году Огюст Конт предсказал конец войнам. Пророчество его, конечно, не исполнилось с буквальной точностью. Но, быть может, взор этого великого человека проник в далекое будущее. Состояние войны обычно для феодальной и

монархической Европы. Феодализм умер, а на прежние деспотические монархии восстали новые силы. Мир и война зависят ныне не столько от самодержавных государей, сколько от международных крупных капиталистов, властителей более державных, чем любая держава. Финансовая Европа настроена мирно. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что она не стремится к войне ради войны или из каких-то рыцарских побуждений. Впрочем, ее могущество бесплодно и долго не продержится, в один прекрасный день оно рухнет под натиском рабочей революции. Социалистическая Европа будет, вероятно, поборницей мира. А Европа будет социалистической, господин аббат, если только можно назвать социализмом то неизвестное, что грядет.

— Сударь, — сказал аббат Лантень, — мыслима только одна Европа — Европа христианская. Войны будут всегда. Мир на земле невозможен. Ах, если бы мы только могли вновь обрести отвагу и веру наших предков! Я воин церкви воинствующей и знаю, что битва продлится до скончания века. И, подобно Аяксу * вашего любимого Гомера, прошу бога об одном — даровать мне возможность сражаться при свете дня. Меня пугают не численность и не смелость врагов, но слабость и нерешительность в собственном лагере. Церковь — это воинство, и я скорблю, когда замечаю, что ему наносят урон за уроном. Меня возмущает, когда я вижу, как неверующие проникают в нашу среду и поклонники золотого тельца стремятся стать хранителями алтаря. Я терзаюсь, наблюдая борьбу, которая завязалась кругом, под прикрытием тьмы, благоприятной для трусов и предателей. Да исполнится воля господня! Я верую в конечную победу, в то, что грех и заблуждения будут повержены в тот последний день, которому суждено стать и днем славы и справедливости.

Он встал, взгляд его был тверд. Но обрюзгие щеки обвисли. На душе у него было тяжело. И не без причины. Вверенная ему семинария приходила в упадок. В кассе был дефицит. Мясник Лафоли требовал с него судом десять тысяч двести тридцать один франк долга, и его гордость страдала, ибо он ожидал выговора от кардинала-архиепископа. Митра, за которой он протянул

мысленно руку, ускользала. Он уже видел себя сосланным куда-нибудь в бедный сельский приход. Обернувшись к г-ну Бержере, он произнес:

— Ужасающие бедствия грозят разразиться над Францией.

ХIII

Теперь г-н Бержере захаживал в кабачок. По вечерам он проводил час-другой в кофейне «Комедия». Общество осуждало его. Но он наслаждался там светом и теплом в обстановке, совсем не похожей на домашнюю, читал газеты и видел человеческие лица, глядевшие на него без злобы. Иногда он встречал там г-на Губена, своего ученика, которого после измены г-на Ру предпочитал другим. У г-на Бержере бывали такие предпочтения, ибо его эстетической душе были свойственны капризы. Он предпочитал г-на Губена, но совсем не любил его. И действительно, в г-не Губене было мало приятности: шуплый, тщедушный, скудный телом, волосами, голосом и мыслью, близорукий, в пенсне, с поджатыми губами; все в нем было мелко: и ноги и душа были у него, как у барышни. При такой наружности г-н Губен был аккуратен и педантичен. К этому крошечному созданию были прилажены огромные уши в виде мощных раструбов, единственная роскошь его мизерного организма. Г-н Губен обладал прирожденным даром — умением слушать.

Господин Бержере разговаривал с ним за кружкой пива, под стук костяшек домино, в которое играли за соседними мраморными столиками. В одиннадцать часов учитель вставал. Ученик следовал его примеру. И они шли по безлюдной Театральной площади и по неосвященным улицам до угрюмой улицы Тентельри.

Так шли они однажды в майскую ночь. Воздух, омытый грозovým дождем, был свеж, легок и напоен запахом земли и листьев. В темной бездне безлунного и безоблачного неба висели капельки света, почти все белые, как бриллианты, изредка красные и голубые. Г-н Бержере, подняв глаза к небу, любовался звездами. Он довольно хорошо разбирался в созвездиях. Сдвинув

шляпу на затылок, запрокинув голову, он указал концом трости неопытным взорам г-на Губена на со-звездие Близнецов и прошептал следующие строки:

Пусть светит над ладьей свет Близнецов двухзвездный,
Волн ионических рев умирняя грозный.
Пусть берег Пестума...*

Потом вдруг спросил:

— Знаете ли вы, господин Губен, что мы получаем из Америки известия относительно Венеры и что известия эти неблагоприятны?

Господин Губен послушно собрался отыскивать на небе Венеру. Но учитель предупредил его, что она уже скрылась.

— Это красивое светило, — сказал он, — настоящий ад, в котором нет ничего, кроме льда и пламени. Я узнал это от самого Камилла Фламариона*, который ежемесячно в своих великолепных статьях знакомит нас со всеми небесными новостями. Венера всегда обращена к Солнцу одной и той же стороной, как луна к Земле. Так утверждает астроном с горы Гамильтон. Судя по его словам, одно из полушарий Венеры — раскаленная пустыня, другое — безжизненные пространства льда и мрака. И на этом прекрасном утреннем и вечернем светиле царят безмолвие и смерть.

— Скажите пожалуйста! — отозвался г-н Губен.

— Так во всяком случае утверждают в нынешнем году, — сказал г-н Бержере. — Я же со своей стороны недалек от мысли, что жизнь, по крайней мере в том виде, в каком она проявляется на земле, иными словами — то деятельное состояние, в котором находится живая организованная материя в растениях и животных, есть результат какой-то ненормальности в строении нашей планеты, продукт болезни, проказа — словом, что-то отвратительное, не встречающееся ни на одной здоровой и хорошо устроенной планете. Эта мысль приятна и утешительна. Ведь в конце концов грустно думать, что всеми солнцами, горящими у нас над головой, согреваются такие же жалкие планеты, как наша, и что вселенная — это бесконечное повторение страданий и уродства.

Мы ничего не можем сказать о спутниках Сириуса и Альдебарана, Алтаира и Веги, о той безвестной пыли, которая, возможно, сопровождает огненные капли, рассыпанные в небе, потому что самое ее существование еще не доказано, а лишь предполагается на основании аналогии между нашим солнцем и другими звездами вселенной. Но из того, что мы знаем о планетах нашей системы, вовсе не следует, что жизнь на них вылилась в формы, обычные для нашей Земли. Трудно предположить, что на таких великанах, как Сатурн и Юпитер, среди царящего там хаоса есть живые существа, подобные нам. На Уране и Нептуне нет ни света, ни тепла. Значит, тот вид разложения, который мы называем органической жизнью, создаться там не мог. Столь же невероятно, чтобы такая жизнь когда-либо проявилась на астероидах, словно звездный пепел рассеянных в эфире между орбитами Марса и Юпитера, ибо это не что иное, как распавшееся вещество какой-то планеты. Маленький шарик Меркурий, по-видимому, слишком раскален, и на нем не может возникнуть эта плесень — животная и растительная жизнь. Луна — мертвый мир. А теперь нам сообщают, будто на Венере и температура не подходит для существования того, что мы называем организмами. Стало быть, нигде во всей солнечной системе невозможно было бы предположить что-либо похожее на человека, если б не планета Марс, которая, к несчастью для нее, несколько схожа с Землей. На ней есть воздух, но в небольшом количестве, есть вода; увы, возможно, у нее есть из чего создать животных, подобных нам.

— Как будто предполагают, что на Марсе есть жители? — спросил г-н Губен.

— Кое-кому такая мысль приходила в голову, — ответил г-н Бержере. — О поверхности Марса мало что знают. Кажется, будто она непрерывно меняется. Там видны каналы, но происхождение и характер их неизвестны. И мы не можем утверждать, что этот соседний с нами мир оскверняют и омрачают своим присутствием существа, подобные человеку.

Господин Бержере дошел до своего крыльца. Он остановился и сказал:

— Я хочу верить, что органическая жизнь — зло, присущее только нашей гаденькой планете. Грустно, если и в бесконечном пространстве небес все пожирают друг друга.

XIV

Извозчик, который вез в Париж г-жу Вормс-Клавлен, проехал ворота Майо с железной решеткой, патриотически увенчанной остриями копий, мимо дремавших на солнце запыленных сторожей, взимающих подорожную пошлину, и загорелых цветочниц. Оставив вправо от себя Дорогу Восстания, где низенькие, обветшалые, кое-как покрашенные в красный цвет ресторанчики и увитые тощей зеленью беседки смотрят на маленькую одинокую часовню св. Фердинанда, притулившуюся на краю мрачного крепостного рва, поросшего чахлой и редкой травой, экипаж въехал на улицу Шартр, унылую, вечно покрытую пылью, которую подымают каменотесы, и очутился в чудесной тенистой аллее, ведущей в королевский парк, разбитый теперь на небольшие участки. Громоздкая карета катилась между двумя рядами платанов по мирной улице, тихой и безлюдной, по которой время от времени, согнувшись и разрезая головой воздух, пронесились велосипедисты в светлых костюмах, мчавшиеся с быстротой вспугнутого зверя. Легкость и быстрота их движения, похожего на полет больших птиц, переходила почти в грацию, законченность описываемых колесами кругов — почти в красоту. Между стволами деревьев, окаймлявших дорогу, за решетками г-же Вормс-Клавлен были видны лужайки, прудики, крылечки, скромные маркизы на окнах. И в ней шевелилось еще неясное желание поселиться на старости лет в таком домике со светлыми, выбеленными стенами и черепичной крышей, виднеющимися сквозь ветви, ибо она была благоразумна и умеренна в своих потребностях и чувствовала, как в глубине души у нее зарождается пристрастие к курам и кроликам. Тут и там на широких аллеях возвышались большие здания — церкви, пансионы, богадельни, частные лечебницы, англиканская кирка в холодном готическом стиле с крышей щипцом, спокойные и стро-

гие обители, с крестом на двери и почерневшим колоколом с болтающейся цепью у входа. Потом экипаж покати́л по ненаселенным и расположенным в низинах владениям садовников, где в конце узких песчаных дорожек поблескивали стеклами парники, где как из земли вырастали нелепые павильоны работы сельских архитекторов и искусственные стволы безлистных деревьев из песчаника, придуманные каким-то специалистом по украшению садов. В Нижнем Нельи чувствовалась свежесть от близости реки, от испарений почвы, очень влажной, — так как еще недавно, по словам геологов, здесь были стоячие воды, — от туманов над местом прежних болот, где не более тысячи или полутора тысяч лет тому назад ветер качал тростники.

Госпожа Вормс-Клавлен выглянула в окно кареты: теперь уже совсем близко. Впереди, в конце аллеи, показались остроконечные верхушки прибрежных тополей. Снова повеяло жизнью, разнообразной и торопливой. Высокие стены, кровли с резными коньками шли непрерывной вереницей. Экипаж остановился перед большим домом в новом стиле, построенным с очевидной расчетливостью и даже скупостью, в ущерб красоте и искусству, но все же приличным и солидным на вид, с узкими окнами, среди которых выделялись свинцовым переплетом окна домово́й церкви. Фасад был гладкий, без всяких украшений, — традиции национального и христианского искусства были сведены к скромным слуховым оконцам в виде треугольников с трехлиственными пальметками наверху. На фронтоне подъезда был вылеплен сосуд, изображавший фиал с кровью Христа, собранной благочестивым Иосифом Аримафейским *. Это была эмблема общины сестер Крови Иисусовой, основанной в 1829 году г-жой Марией Латрейль и утвержденной правительством в 1868 году по всемирнослучившемуся соизволению императрицы Евгении. Сестры общины Крови Иисусовой посвятили себя воспитанию благородных девиц.

Госпожа Вормс-Клавлен выпорхнула из экипажа, позвонила у дверей, приоткрытых перед нею осторожно и с недоверием, и прошла в приемную, а тем временем сестра-привратница передала через окошечко,

что воспитанница де Клавлен вызывается на свидание с матерью. В приемной стояли только стулья с волосяными сидениями. На фоне белой стены, в нише, выкрашенная в нежные тона пресвятая дева в длинном до земли одеянии со слащавым видом раскрывала объятия. От большой холодной белой комнаты веяло спокойствием, порядком, строгостью, тут чувствовалось присутствие тайной власти, скрытой социальной силы.

Госпожа Вормс-Клавлен вдыхала с чувством глубокого удовлетворения воздух приемной, воздух, пропитанный сыростью и неприятным запахом кухни. Сама она провела детство в небольших шумных школах на Монмартре, где вечно ходила перепачканная чернилами и вареньем, где наслушалась грубых слов, наглядаясь на грубые жесты, и потому она особенно ценила строгое аристократическое и религиозное воспитание. Она окрестила дочь, желая получить возможность поместить ее в монастырскую школу для благородных девиц. Она рассудила так: «Жанна получит хорошее воспитание, и у нее будут шансы на хорошую партию». Жанна была крещена в одиннадцатилетнем возрасте, но это держалось в строгой тайне, так как тогда было радикальное правительство. С тех пор республика и церковь сблизилась. Все же, чтобы не раздражать зря истых католиков департамента, г-жа Вормс-Клавлен скрывала, что ее дочь воспитывается в монастыре. Тем не менее тайна была обнаружена, и в местной клерикальной газете время от времени появлялись заметки, — правитель канцелярии префекта г-н Лакарель обводил их синим карандашом и подсовывал г-ну Вормс-Клавлену, а тот читал:

«Правда ли, что безбожный иудей, поставленный франкмасонами во главе департамента, дабы воздвигнуть гонение на истинную веру и преследовать богобоязненных сынов церкви, — воспитывает свою дочь в монастыре?»

Господин Вормс-Клавлен пожимал плечами и бросал газету в корзину. Через день редактор католического органа помещал новую заметку, чего и следовало ожидать по прочтении первой:

«Я обратился к префекту-иудею Вормс-Клавлену

с вопросом, правда ли, что он воспитывает дочь в монастыре. Этот франкмасон, по вполне понятным причинам, ничего мне не ответил, и потому я сам отвечаю на свой вопрос. Наглый иудей окрестил дочь и поместил ее в католическое монастырское учебное заведение.

Мадмуазель Вормс-Клавлен находится в Нельи-сюр-Сен и воспитывается сестрами общины Крови Иисусовой.

Блестящее доказательство искренности этих господ!

Воспитание мирское, безбожное, человеконенавистническое хорошо, видите ли, только для народа, который их кормит! Пусть же население узнает, где искать тартюфов!»

Господин Лакарель, правитель канцелярии префекта, снова обводил заметку синим карандашом и клал раскрытую газету префекту на письменный стол, а тот снова бросал ее в корзину. Г-н Вормс-Клавлен предложил официозам не затевать полемики. И ничтожное обстоятельство было предано забвению, полному забвению, кануло в вечность, куда, после мгновенной вспышки, погружаются и позор, и слава, и доблестные, и постыдные дела правительства. Г-жа Вормс-Клавлен, уважая церковь за ее силу и богатство, энергично настаивала на том, чтобы Жанну оставили на воспитании у монахинь, ибо они привьют девушке добрые правила и хорошие манеры.

Она чинно села на стул и спрятала ноги под платье, такая же скромная, как розово-голубая мадонна в нише, и, оставив пальчик, держала за ленточку коробку шоколада, привезенную Жанне.

Девочка-подросток, казавшаяся длинной в черном платье, подпоясанном красным шнуром «средних», вихрем влетела в приемную.

— Здравствуй, мама!

Госпожа Вормс-Клавлен окинула дочь взглядом, в котором была и материнская нежность и присущий ей инстинкт барышника, притянула ее к себе, осмотрела зубы, заставила выпрямиться, оглядела талию, плечи, спину и, по-видимому, осталась довольна.

— Господи, какая ты огромная! Какие руки длинные!..

— Мама, не конфузь меня. Я и так не знаю, куда их девать!

Она села, сложив на коленях красные руки. С явной скукой, но терпеливо отвечала она матери, которая расспрашивала ее о здоровье, наставляла по части гигиены, просила пить рыбий жир; потом Жанна спросила:

— А что папа?

Госпожу Вормс-Клавлен даже удивил этот вопрос о муже — и не потому, что она сама была к нему равнодушна: просто она не могла себе представить, что нового можно рассказать об этом человеке, уравновешенном, невозмутимом, всегда одинаковом, никогда не болеющем, никогда не делающем и не говорящем ничего неожиданного.

— Отец? Да что ему делается? Мы занимаем хорошее положение. Перемены нам не нужны.

Все же она подумала, что скоро придется позаботиться, как бы обеспечить мужу приличный уход от дел, то ли в казначейство, то ли, еще лучше, в Государственный совет. И ее красивые глаза затуманились мечтой.

Дочь спросила, о чем она думает.

— Я думаю, что мы, может быть, опять будем жить в Париже. Я люблю Париж. Но там мы будем людьми маленькими.

— А ведь папа — человек недюжинных способностей. Сестра Сент-Мари дез'Анж говорила об этом в классе. Она сказала: «Мадемуазель де Клавлен, ваш отец проявил большие административные способности».

Госпожа Вормс-Клавлен покачала головой.

— В Париже надо очень много денег, чтобы жить прилично.

— Ты, мама, любишь Париж, а я люблю деревню.

— Милая, ты ее не знаешь.

— Но любят не только то, что знают, мама.

— Пожалуй, ты отчасти права.

— А знаешь, мама, мне выдали похвальный лист за сочинение по истории. Госпожа де Сен-Жозеф сказала, что у меня одной тема продумана по-настоящему.

— А какая была тема? — равнодушно спросила г-жа Вормс-Клавлен.

— Прагматическая санкция*.

На этот раз г-жа Вормс-Клавлен спросила с неподдельным удивлением:

— Что же это такое?

— Это ошибка Карла Седьмого, самая серьезная из его ошибок.

Госпожа Вормс-Клавлен сочла ответ недостаточно ясным. Тем не менее она удовлетворилась, так как история средних веков ее нисколько не интересовала. Но Жанна, вся поглощенная своей темой, продолжала с полной серьезностью:

— Да, мама, это была главная ошибка его царствования, вопиющее нарушение прав святого престола, преступное расхищение наследия святого Петра. К счастью, эта ошибка была исправлена Франциском Первым. Да, мама, что мы узнали!.. Гувернантка Алисы была прежде кокоткой...

Госпожа Вормс-Клавлен быстро прервала дочь и весьма решительно попросила ее не пускаться с подругами в такого рода изыскания.

— Что за глупости, Жанна! Ты сама не понимаешь, что говоришь...

Жанна замолчала с таинственным видом, потом вдруг заявила:

— Мама, я должна тебе сказать, что у меня панталоны просто ужас какие. Сама знаешь, о белье ты никогда особенно не заботилась. Я не в упрек тебе говорю: у кого слабость к белью, у кого — к платьям, у кого — к драгоценностям. У тебя, мама, слабость к драгоценностям. А у меня — к белью. А потом у нас была молитвенная седмица. Уж как я молилась за вас с папой, да! А потом я получила отпущение грехов на четыре тысячи девятьсот тридцать семь дней.

XV

— Я человек скорее религиозный, — сказал г-н де Термондр, — но нахожу проповедь, произнесенную отцом Оливье в Соборе Парижской богородицы, совершенно неудачной. Впрочем, это общее мнение.

— Вы, конечно, порицаете его за то, — возразил аббат Лантень, — что он толкует эту катастрофу как божье воздаяние за людскую гордыню и неверие. Вы упрекаете его за то, что он говорил, будто избранный народ понес кару за свое отступничество и непокорность. Но ведь не мог же он обойти молчанием эти ужасные события?

— Надо было по крайней мере соблюсти приличие, — продолжал г-н де Термондр. — Присутствие главы республики несомненно обязывало его к некоторой сдержанности.

— Действительно, — согласился аббат, — этот монах осмелился сказать в лицо президенту и министрам республики, сильным мира сего и богачам, виновникам нашего позора или их споспешникам, что Франция изменила своим извечным традициям, отвернувшись от восточных христиан, которых избивают тысячами, и недостойным образом помогая Полумесяцу в борьбе с Крестом. Он осмелился сказать, что нация, дотоле богобоязненная, изгнала истинного бога из школ и собраний. Вот что вы ставите ему в вину, господин де Термондр, — вы, один из столпов католической партии в нашем департаменте.

Господин де Термондр заявил, что он предан интересам религии, но остается при своем мнении. Прежде всего, он не за греков. Он за турок или во всяком случае за мир. Многие католики совершенно равнодушны к восточным христианам. Каждый волен иметь свои убеждения, зачем же посягать на них? Никто не обязан быть грекофилом. Сам папа — не грекофил.

— Господин аббат, — прибавил он, — я вас слушаю с глубоким уважением. Но я продолжаю настаивать, что следовало говорить в более примирительном тоне в эти дни скорби, когда, казалось, возникла надежда на примирение между классами...

— И когда курсы на бирже поднялись, свидетельствуя о мудрой политике Франции и Европы на Востоке, — досказал г-н Бержере с недоброй усмешкой.

— Вот именно, — снова заговорил г-н де Термондр, — мы должны ладить с правительством, которое борется с социалистами и несомненно способствует развитию

религиозных и консервативных идей. Наш префект, хотя он еврей и франкмасон, печется об интересах духовенства. Его супруга крестила свою дочь и поместила ее в монастырскую школу в Париже, где та получает превосходное воспитание. Я это знаю, потому что мадемуазель Жанна Клавлен в одном классе с моими племянницами д'Ансе. Госпожа Вормс-Клавлен — попечительница многих богоугодных заведений и, невзирая на свое происхождение и должность мужа, в настоящее время почти не скрывает своих симпатий к аристократии и религии.

— Охотно вам верю, — сказал г-н Бержере, — да и вообще можно не сомневаться, что сейчас во Франции самые рьяные заступники католицизма — богатые евреи.

— Вы совершенно правы, — подхватил г-н де Термондр. — Евреи много жертвуют на католические богоугодные заведения... Но всего возмутительнее в проповеди отца Оливье то, что он, так сказать, приписывает богу роль инициатора и вдохновителя этой катастрофы. Слушая его, можно подумать, будто господь бог сам поджег благотворительный базар. Моя тетка д'Ансе, присутствовавшая при богослужении, вернулась домой возмущенная. Не может быть, чтобы вы, господин аббат, сочувствовали такого рода заблуждениям.

Господин Лантень обычно не вступал в неосмотрительные обсуждения богословских вопросов с мирянами, которых считал людьми мало осведомленными в этой области. При всей его любви к богословским спорам, он считал споры на такие скользкие темы, как сейчас, недопустимыми для лица духовного. Он промолчал, и г-ну де Термондру ответил г-н Бержере:

— Вы предпочли бы, чтобы этот монах снял с господа бога ответственность за несчастье, произошедшее по недосмотру на одном из участков сотворенного им мира, и после катастрофы изобразил нашего создателя в виде соболезнующего, скромного и благопристойного префекта полиции.

— Не издевайтесь, — сказал г-н де Термондр. — Неужели, по-вашему, надо было говорить об

искупительных жертвах и карающем ангеле? Да ведь это же старозаветные понятия.

— Это христианские понятия, — ответил г-н Бержере. — Господин Лантень не будет этого отрицать.

Но аббат продолжал молчать, и Бержере опять заговорил:

— В одной книге, учение которой господин Лантень одобряет, в знаменитом «Рассуждении о равнодушии», есть теория искупления, которую я вам советую прочитать. Я запомнил оттуда одну фразу и могу привести ее почти дословно: «Роковой, неумолимый закон тяготеет над нами, — говорит Ламенне *, — мы не в силах выйти из-под его власти; этот закон — искупление, несокрушимая ось нравственного мира, вокруг которой вращаются судьбы человечества».

— Прекрасно, — согласился г-н де Термондр. — Но неужели бог хотел покарать добродетельных женщин, занятых делами милосердия, как, например, моя кузина Куртре, мои племянницы Лане и Фелисе, тяжело пострадавшие во время пожара? Бог не может быть жестоким и несправедливым.

Господин Лантень поправил под мышкой молитвенник и собрался было уходить. Потом раздумал и, воздев правую руку, с достоинством произнес, обращаясь к г-ну де Термондру:

— Бог не был ни жесток, ни несправедлив к этим женщинам: по великому своему милосердию он сподобил их пострадать по образу жертвы непорочной ради нашего искупления. Но даже добрые христиане не сознают теперь необходимости жертвы и смысла страдания, они позабыли самые святыя таинства религии, и посему тот, кто не потерял веры в спасение, должен ожидать еще более грозных предостережений, еще более настоятельных указаний и еще более великих знамений. Прощайте, господин де Термондр, оставляю вас с господином Бержере — человеком хотя и неверующим, но по крайней мере не впадающим в постыдные заблуждения людей поверхностно религиозных, он шутя разобьет ваши доводы при помощи одного только слабого разума, не согретого чувством.

Сказал и удалился решительным и твердым шагом.

— Что с ним такое? — спросил г-н де Термондр, провожая его глазами. — Он как будто на меня рассердился. Аббат Лантень — человек, достойный всяческого уважения, но характер у него тяжелый. Ум его ожесточился от постоянных ссор. Он не в ладах с архиепископом, с преподавателями семинарии, с доброй половиной духовенства в епархии. Сомнительно, чтобы ему дали сан епископа. И я начинаю думать, что и для церкви и для него будет лучше, если он останется на своем старом месте. При его нетерпимости он может оказаться опасным епископом. Что за странная фантазия — одобрить проповедь отца Оливье!

— Я тоже одобряю его проповедь, — заметил г-н Бержере.

— Вы дело другое, — возразил г-н де Термондр. — Вы так, для красного словца говорите. Вы человек неверующий.

— Я человек неверующий, но я богослов, — сказал г-н Бержере.

— А я верующий, но не богослов, — сказал г-н де Термондр, — и возмущаюсь, когда с амвона провозглашают, что бог погубил в пламени несчастных женщин, дабы покарать за преступления нашу страну, не идущую впереди Европы. Неужели же отец Оливье воображает, что при настоящих обстоятельствах нам легко идти впереди Европы?

— Если он так думает, то ошибается, — заметил г-н Бержере. — Но вы-то, вы, один из столпов католической партии в департаменте, как тут сейчас было сказано, вы должны знать, что вашему богу испокон веков, еще в библейские времена были весьма по вкусу человеческие жертвы и запах крови всегда был ему угоден. Он наслаждался кровопролитием и ликовал при избиениях. Таков уж был у него нрав, господин де Термондр. Он жаждал крови, как господин де Громанс, который круглый год охотится на коз, куропаток, кроликов, перепелов, диких уток, фазанов, тетеревов и кукушек, смотря по сезону. Он сокрушал невинных и порочных, воинов и дев, пернатых и четвероногих. Можно думать, что он с удовольствием вкусил от дочери Иевфая *.

— Ошибаетесь, — сказал г-н Термондр. — Она была принесена ему в жертву, но эта жертва не была кровавой.

— Вас только успокаивают, щадя вашу чувствительность, — сказал г-н Бержере. — На самом же деле ее убили. Иегова был особенно лаком до свежего мяса. Маленький Иоас *, вскормленный при храме, не обольщался насчет любви этого бога к детям. Когда добрая Иосавефа примеряла ему царскую повязку, он впал в сильнейшее волнение и задал следующий тревожный вопрос:

Ужели должно мне, как дочери Иевфая,
Склонясь на жертвенник и кровью истекая,
Своею смертью насытить божий гнев?

В те времена Иегова был похож на своего соперника Хамоса: * он был кровожаден, несправедлив и жесток. Он говорил: «Ваш путь я устелю трупами, и вы узнаете, что я — господь». Не обольщайтесь, господин де Термондр: перейдя от евреев к христианам, он не утратил своей суровости, да и кровожадность в нем осталась. Я не отрицаю, конечно, что в наше время, на рубеже двух столетий, он, может быть, несколько смягчился и тоже вступил на скользкий путь легкомыслия и равнодушия, по которому мы все шествуем. Во всяком случае, он перестал раздражаться угрозами и проклятиями. В настоящее время он возвещает о карах лишь устами девицы Денизо, которую никто не слушает. Но принципы его остались прежними. Его нравственные убеждения в сущности не изменились.

— Вы большой враг нашей веры, — сказал г-н де Термондр.

— Ничуть, — ответил г-н Бержере. — Правда, я нахожу в ней, так сказать, трудности нравственного и умственного порядка. Я нахожу в ней даже жестокости. Но это жестокости стародавние; они сглажены веками, обтерты, обкатаны как валуны, стали почти что безобидными. Я бы скорее опасался новой религии, слишком тщательно разработанной. Такая религия, если даже она построена на самой возвышенной и милосердной морали, вначале будет действовать с суровостью и тягостным педантизмом. Я предпочитаю, заржавевшую

от времени нетерпимость свежеотточенному милосердию. В общем, конечно, аббат Лантень не прав, я тоже не прав, правы вы, господин де Термондр. Над этой древней иудейско-христианской религией пронеслось столько веков человеческих страстей, земной ненависти и земной любви, столько цивилизаций, примитивных и утонченных, аскетических и чувственных, безжалостных и терпимых, скромных и великолепных, земледельческих, пастушеских, военных, торговых, промышленных, олигархических, аристократических, демократических, что в конце концов все сгладились. Религии не влияют на нравы, наоборот, они таковы, какими их сделали нравы...

XVI

Госпожа Бержере не выносила тишины и одиночества. С тех пор как г-н Бержере с ней не разговаривал и спал в кабинете, квартира стала казаться ей склепом и наводила на нее ужас. Всякий раз, возвращаясь домой, она бледнела. Будь дома дочери, они внесли бы оживление и шум, без которых жизнь была ей не в жизнь, но по случаю эпидемии тифа она отправила их осенью в Аркашон к тетке, старой деве Зое Бержере, где они провели зиму, а при настоящих обстоятельствах отец не собирался вызывать их оттуда. Г-жа Бержере всегда была хорошей семьянишкой, женщиной, по самой натуре своей, домовитой. Адюльтер она воспринимала просто как дополнение к супружеской жизни, как излучение семейного очага. Она полагала, что этого требует ее женское достоинство, и не противилась зовам своей пышной, налившейся соками плоти. Она всегда считала, что ее любовная связь с г-ном Ру не выйдет за пределы тайной домашней интрижки, благопристойного адюльтера, которым поддерживается, дополняется и укрепляется брак, почитаемый светом, освященный церковью, обеспечивающий женщине личную безопасность и общественное положение. Г-жа Бержере была супругой-христианкой. Она знала, что брак есть таинство, чьи священные и прочные послед-

ствия не могут быть уничтожены таким проступком, какой совершила она, — проступком, правда, серьезным, но все же простительным, поправимым. Не имея ясного представления о безнравственности его, она чувствовала, что согрешила спроста, без злого умысла, без страсти, которая одна придает проступку величие греха и губит виновную. Она не считала себя большой преступницей, скорее — ей просто не повезло. Неожиданные последствия этого незначительного приключения развертывались у нее на глазах с зловещей медлительностью, которая ее пугала. Она жестоко страдала, оттого что чувствовала себя в собственном доме на положении всеми покинутой грешницы, оттого что выпустила из своих рук бразды правления, оттого что из нее, так сказать, вынули хозяйственную и кухонную душу. Страдание не действовало на нее благотворно и не очищало ее. Напротив, страдание повергало ее слабый дух то в ярость, то в уныние. Ежедневно, после завтрака, в третьем часу, она выходила из дому, подтянутая, разодетая, грозная, с пылающими щеками и холодным взором, и отправлялась по знакомым домам. Она навещала г-жу Торке — жену декана, г-жу ЛETERЬЕ — жену ректора, г-жу Коло — жену смотрителя тюрьмы, г-жу СЮРКУФ — жену секретаря суда, — всех дам среднего буржуазного круга, ибо не была принята ни в кругу аристократов, ни в кругу крупных капиталистов. И в каждой гостиной она изливала душу в жалобах на супруга и обвиняла его во всех смертных грехах, во всем, что изобретала ее скудная, но упорная фантазия. Так, она обвиняла его в том, что он разлучил ее с дочерьми, что не дает достаточно денег, а сам бежит из семьи и шатается по кофейням, чего доброго еще и по притонам. Она вызывала общую симпатию, внушала нежнейшее участие. Сочувствие вокруг нее возрастало, распространялось, укреплялось. Г-жа ДЕЛИОН, жена горнозаводчика, не принимавшая г-жу БЕРЖЕРЕ, как даму не своего круга, тем не менее просила ей передать, что жалеет ее от всей души и порицает отвратительное поведение г-на БЕРЖЕРЕ. Таким образом, г-жа БЕРЖЕРЕ, жадная до доброй славы и уважения общества, ежедневно набиралась сил и отводила душу

в гостиных. Но когда вечером она подымалась по лестнице домой, сердце ее сжималось. Она еле волочила ослабевшие ноги. Она забывала о гордости, мести, злостной и вздорной клевете, которую распространяла по городу. У нее появлялось искреннее желание заслужить прощение г-на Бержере, — только бы не быть одинокой. Такое желание, без всякой задней мысли, естественно возникало в ее несложной душе. Напрасное желание! Тщетная мечта! Г-н Бержере по-прежнему не замечал своей супруги.

Как-то вечером, на кухне, г-жа Бержере сказала:

— Евфимия, ступайте спросите барина, как ему приготовить яйца.

Ей пришла в голову новая мысль — предложить супругу выбор меню. Некогда, в дни своей гордой невинности, она кормила его нелюбимыми им кушаньями, вредными для нежного желудка ученого мужа. Юная Евфимия при всей своей ограниченности рассуждала здраво и решительно: она твердо возразила г-же Бержере, как делала это уже не раз в подобных случаях, что совершенно бесполезно барыне посылать за чем-нибудь к барину — раз уж он «уперся», он ничего не ответит. Но хозяйка, закинув голову и полузакрыв глаза, что должно было выражать непреклонность, повторила свое приказание:

— Евфимия, делайте, что вам сказано. Ступайте и спросите барина, как ему угодно кушать яйца, да не забудьте прибавить, что они только что из-под курицы, куплены у Трекюля.

Меж тем г-н Бержере у себя в кабинете работал над своим «*Virgilius nauticus*», заказанным одним издателем, дабы украсить академическое издание «Энеиды», над которым уже более тридцати лет трудились три поколения филологов и первые листы которого были уже отпечатаны. И г-н Бержере, карточка за карточкой, составлял специальный словарь. Он испытывал нечто вроде восхищения перед самим собой и выражал свою радость в следующих словах:

«Итак, я, сухопутный житель, никогда не совершавший иных плаваний, кроме как на пароходе, который летом по воскресеньям ходит вверх по реке и возит

горожан к холмам Тюильер, где пьют игристое в и н о , — я добропорядочный француз, видевший море только в Вийере, — я, Люсьен Бержере, толкую Вергилия-мореходца, объясняю морские термины, употребляющиеся поэтом скрупулезным, ученым, точным, несмотря на свою риторику, математиком, механиком и геометром, хорошо осведомленным итальянцем, которого обучали морскому делу моряки, греясь на солнце на берегу в Неаполе или в Мизенах *, — у которого, быть может, была собственная бирема * и который под ярким созвездием двух братьев Елены * бороздил синее море между Неаполем и Афинами. Мне это удается благодаря совершенству моих филологических методов. И мой ученик, господин Губен, справился бы с этим не хуже меня!»

Господин Бержере находил удовольствие в работе, которая, не волнуя и не возбуждая, давала пищу уму. Он испытывал истинное удовольствие, нанося на карточки аккуратные букочки, образцы и доказательства той четкости ума, какой требует филология. Он переживал не только умственное, но и чувственное удовольствие, ибо верно, что наслаждения, доступные человеку, более разнообразны, чем обычно думают. И г-н Бержере испытывал тихую отраду, когда писал:

«Сервий * полагает, что Вергилий написал «Attolli malos»¹ вместо «Attolli vela»², причем дает этому толкованию следующее объяснение: «Cum navigarent, non est dubium quod olim erexerant arbores»³. Асцензий присоединяется к мнению Сервия, забывая или не зная, что на море в некоторых случаях на кораблях спускали мачты. Если состояние моря было таково, что мачты...»

Господин Бержере дошел до этого места своей работы, когда юная Евфимия с грохотом, сопровождавшим малейшее ее движение, вдруг распахнула дверь в кабинет и передала хозяину любезные слова барыни:

¹ Поднял мачты (лат.).

² Поднял паруса (лат.).

³ Нет сомнения, что мачты поднимали перед тем, как пуститься в плавание (лат.).

— Барыня спрашивает, как вам угодно кушать яйца.

Вместо ответа г-н Бержере спокойно попросил юную Евфимию удалиться и продолжал писать: «...могли подвергнуться повреждению, их спускали, вынимали из степса, в котором они были укреплены нижним концом...»

Юная Евфимия стояла в дверях как вкопанная, и г-н Бержере дописал карточку:

«...и клали на корме — на козлы или на брус...»

— Барин, барыня еще приказала сказать, что яйца брали у Трекюля.

«Una omnes fecere pedem»¹.

Затем он положил перо, и тут же на него напала тоска. Он вдруг понял всю тщету своей работы. К несчастью, он был достаточно умен и сознавал свою посредственность, которая временами возникала перед ним на столе между чернильницей и стойкой для бумаг в образе некоего тщедушного, невзрачного существа. Он узнавал в нем себя и не обольщался. Ему хотелось бы видеть свою мысль прекраснорядной нимфой. Она же представляла перед ним в своем действительном облике, тощая и лишенная прелести. Он страдал от этого, ибо отличался тонким вкусом и ценил красоту мысли.

«Господин Бержере, вы преподаватель несколько выше обычного уровня, — думал он, — неглупый провинциал, убитый сединами университетский работник, посредственный филолог, копающийся в никому не нужных словесных курьезах, чуждый подлинной науке о языке, доступной лишь широким, прямым и могучим умам. Господин Бержере, вы не ученый, вы неспособны ни распознать, ни привести в систему факты языка. Мишель Бреаль * никогда не упомянет вашего презренного имени. Вы умрете, не дождавшись славы, и людская хвала никогда не будет ласкать ваш слух...»

— Барин... а барин... — настойчиво повторила юная Евфимия, — ответьте же. Некогда мне тут стоять. Работа не ждет. Барыня спрашивает, как вам

* Все вместе отпустили канат (лат.).

угодно кушать яйца. Я брала их у Трекюля. Прямо из-под курицы.

Господин Бержере, не поворачивая головы, ответил служанке с безжалостной кротостью:

— Прошу вас уйти и больше никогда не входить ко мне в кабинет, пока я вас не позову.

И преподаватель филологического факультета снова предался размышлениям.

«Счастливым человек Торке, наш декан! Счастливым человек Летерье, наш ректор! Ни неверие в собственные силы, ни назойливые сомнения не омрачают их душевного спокойствия. Они походят на старика Мезанжа, любимца бессмертных богинь, который прожил три человеческих века и попал во Французский коллеж и в Академию, ничему не научившись со святой поры невинного своего детства, все с тем же знанием греческого языка, что и в пятнадцать лет. Он умер на исходе нашего столетия, храня в своей невместительной головке мифологические образы, воспетые поэтами Первой империи, когда он был еще в колыбели. Я так же скудоумен, как и эта важная птица с птичьими мозгами, так же беден знаниями и воображением, как декан Торке и ректор Летерье, — почему же я, никчемный жонглер, играющий словами, так больно воспринимаю свое убожество и жалкую тщету своих занятий? Быть может, это признак духовного благородства и способности отвлеченно мыслить. Да разве этот «*Virgilius nauticus*», по которому я себя сужу и осуждаю, действительно мое произведение и продукт моей мысли? Нет, это работа, навязанная мне, потому что я беден, корыстным издателем, объединившимся с хитрыми профессорами, которые, якобы для освобождения французской науки из-под немецкой опеки, восстанавливают отжившие и легковесные научные приемы, предлагая мне филологические забавы в духе 1820 года! Пусть вина за это падет на них, а не на меня! В погоне за заработком, а не из рвения к науке взялся я за этого «*Virgilius nauticus*», над которым работаю уже три года и за которого получу пятьсот франков: двести пятьдесят при сдаче рукописи и двести пятьдесят в день выпуска в свет тома, содержащего эту работу. Я хотел утолить

гнусную жажду наживы. Я погрешил волей, но не разумом. Это совсем не одно и то же!»

Так г-н Бержере управлял хором своих прихотливых мыслей. Юная Евфимия, стоявшая все на том же месте, окликнула хозяина в третий раз:

— Барин... а барин...

Но слова, заглушенные рыданиями, застряли у нее в горле.

Господин Бержере, взглянув наконец на нее, увидел, что по ее круглым, красным, лоснящимся щекам текли слезы.

Юная Евфимия попыталась что-то сказать; из горла у нее вырвались какие-то хриплые звуки, вроде тех, которые по вечерам извлекает из своего рожка деревенский пастух. Подняв к лицу обнаженные по локоть руки, белые и полные, все в розовых царапинах, она обтерла глаза тыльной стороной загорелой кисти. Рыдания потрясали ее узкую грудь и безобразно большой живот, оставшийся вздутым после туберкулеза брюшины, который она перенесла в семилетнем возрасте. Потом она спрятала руки под фартук, подавила всхлипывания и, как только справилась с волнением, резко крикнула:

— Сил больше нет жить в этом доме. Сил нет! Что это за жизнь! Лучше уйти, глаза бы мои не глядели на то, что здесь делается.

В ее голосе звучали одновременно и гнев и горе, она смотрела на г-на Бержере злыми глазами.

Ее и впрямь возмущало поведение хозяина. Не то чтобы она была сильно привязана к г-же Бержере, которая недавно еще, в дни своего великолепия и процветания, всячески унижала, бранила ее, попрекала куском хлеба. Не то чтобы она не знала о проступке хозяйки и, подобно г-же Делион и другим дамам, думала, что г-жа Бержере ни в чем не виновата. Они с консьержкой, булочницей и горничной г-на Рено на все лады обсуждали тайный роман г-жи Бержере и г-на Ру. Она все знала еще раньше г-на Бержере. И не то чтобы одобряла такие дела. Напротив, она сурово их порицала. Если девушка, сама себе хозяйка, заводит любовника, она не видела в этом ничего

ззорного: все на свете бывает. С ней самой чуть-чуть не случилось того же как-то ночью, после праздника, на краю оврага, где ее крепко прижал весельчак-парень. Долго ли тут до греха! Но подобное поведение женщины замужней, зрелого возраста, матери семейства ее возмущало. Однажды утром она сказала булочнице, что ей противно смотреть на хозяйку. У нее самой, говорила она, на такие дела вкуса нет, и если бы на свете, кроме нее, некому было рожать детей, то пропади этот мир пропадом, ей все равно. Если у хозяйки другое на уме, так на то муж есть. Евфимия считала, что хозяйка совершила большой, тяжкий грех, но в ее голове не укладывалось, как можно не простить и не позабыть даже большую вину. В детстве, до того как наняться к господам, она работала с родителями в виноградниках и на поле. Она видела, как солнце палит грозди в цвету, как град побивает в несколько минут весь хлеб на полях, а на следующий год отец, мать, старшие братья снова возделывают виноградники, засевают борозды. И эта терпеливая и близкая к природе жизнь научила ее, что в этом мире, где бывает и зной и холод, где есть и добро и зло, все поправимо и надо прощать и мужчине и женщине, как прощают земле.

Так поступали у них в деревне, а ее земляки, пожалуй, получше, чем люди в городе. Когда жена Роберте, толстуха Леокадия, купила своему работнику пару подтяжек, чтобы склонить его к тому, что ей от него было нужно, ей не удалось провести Роберте, и он заметил ее шашни. Он накрыл парочку в самую подходящую минуту и так крепко поучил жену кнутом, что навсегда отбил у нее охоту начинать сызнова. И с тех пор во всей округе не сыщешь жены лучше Леокадии, и мужу нечем попрекнуть ее «вот ни настолечко». Правда, с Роберте себя соблюдать надо, он сам себя ведет правильно, и с животными и с людьми обращение знает.

Евфимия, не раз битая своим почтенным отцом, да и сама простая и грубая, признавала, что надо действовать силой; она считала бы в порядке вещей, если б г-н Бержере сломал о спину провинившейся

жены обе половые щетки, на одной из которых волос наполовину вылез, а на другой, более старой, его набралось бы разве что с горсточку. Этой щеткой, намотав на нее тряпку, мыли пол в кухне. Но то, что хозяйка мог надолго затаить злобу и молчать, казалось молодой крестьянке чем-то отвратительным, противоестественным и поистине дьявольским. Особенно сильно чувствовала она неправоту г-на Бержере потому, что его поведение усложняло и затрудняло ее службу. Надо было подавать отдельно г-ну Бержере, который не хотел больше обедать с г-жой Бержере, и отдельно г-же Бержере, существование которой, хотя оно и упорно не замечалось г-ном Бержере, все же приходилось поддерживать пищей. «Словно в харчевне», — вздыхала юная Евфимия. Г-жа Бержере, которой муж не давал больше денег, говорила: «Сосчитаетесь с барином». Евфимия, дрожа от страха, несла вечером счет барину, а он не мог справиться со все возрастающими расходами и отсылал ее повелительным жестом. И Евфимия была подавлена трудностями, неразрешимыми для ее ума. От жизни в такой нездоровой атмосфере она забыла о веселье: уже не слышались на кухне ее смех и крики, чередовавшиеся со звоном кастрюль, шипением масла, пролитого на плиту, тяжелым стуком ножа, которым она рубила на кухонном столе мясо, а заодно и собственные пальцы. Она уже не выражала шумно ни радости, ни горя. Она говорила: «В этом доме и сама одуреешь». Ей было жаль г-жу Бержере. Теперь барыня была к ней добра. Они просиживали целые вечера бок о бок у лампы, поверяя друг другу свои тайны. Преисполненная таких чувств, юная Евфимия сказала г-ну Бержере:

— Не хочу у вас жить, уж очень вы злой. Не хочу.

И она вновь залилась слезами.

Упрек не рассердил г-на Бержере. Он пропустил его мимо ушей, потому что был достаточно умен и не обиделся за такую дерзость на деревенскую девушку. И он усмехнулся про себя, потому что, несмотря на мудрые мысли и прекрасные принципы, хранил в тайниках души первобытный инстинкт, который живет

в современных мужчинах, даже самых мирных и кротких, и вызывает в них радость, когда их принимают за диких зверей, как будто способность вредить и разрушать — исконная сила живых существ, их основная доблесть и высшая добродетель; впрочем, если поразмыслить, так оно и есть, ибо в жизни, которую нельзя поддерживать и развивать без убийства, лучшим считается тот, кто проливает больше крови, а того, кто благодаря природным данным и хорошей пище наносит особенно сильные удары, величают доблестным, и такие мужчины нравятся женщинам, естественно заинтересованным в том, чтобы их избранники были самыми сильными, — ведь женщины неспособны различать силу оплодотворяющую и силу разрушительную, так как обе действительно неразрывно слиты в природе. И когда юная Евфимия простым, как басня Эзопа, языком сказала хозяину, что он злой, г-ну Бержере, по натуре своей склонному к размышлениям, почувствовал льстивый шепот, как бы продолжающий несложную речь служанки: «Знай, Люсьен Бержере, ты человек злой, в самом обыкновенном смысле слова, то есть ты способен вредить и разрушать от избытка жизненных сил, в целях обороны, ради завоеваний. Знай, ты в своем роде гигант, чудовище, людоед, страшный человек».

Но так как ему было свойственно сомневаться и не принимать слов людей на веру, он стал проверять самого себя, дабы убедиться, что он и впрямь таков, как сказала Евфимия. Заглянув в себя, он сразу отметил, что в общем он человек не злой, что, напротив, он жалостлив, чуток к чужим страданиям, сочувствует несчастным, любит ближних, хотел бы удовлетворить все их нужды, исполнить все желания, дозволенные и преступные, ибо он не ограничивает милосердия к роду человеческому рамками какого-либо морального учения и печется о всех несчастных. Он считал дозволенным все, что никому не причиняет вреда. И в душе у него было больше тепла, чем то разрешено законами, нравами и верованиями различных народов. Итак, разобравшись в себе, он увидел, что не был злым, и это повергло его в некоторое смущение. Тяжело

было обнаружить в себе презренные свойства рассудка, не вооружающие для жизненной борьбы.

Затем он с похвальной педантичностью стал вспоминать, не нарушил ли он своего доброжелательного умонастроения и мирного характера при каких-либо обстоятельствах, хотя бы по отношению к г-же Бержере. И вскоре он осознал, что в этом частном случае он поступал против своих общих правил и обычных чувств, что тут его поведение представляло интересные особенности, из которых он отметил наиболее странные.

«Главные особенности: я притворяюсь, будто считаю ее преступной, и действую так, словно и в самом деле исповедую это общее людям заблуждение. Совесть упрекает ее за прелюбодеяние с господином Ру, моим учеником, я же считаю ее прелюбодеяние дозволенным, так как оно никому не причинило зла. Госпожа Бержере нравственнее меня. Но, считая себя виновной, она извиняет себя. А я, не считая ее виновной, не извиняю ее. В мыслях о ней я безнравственен и кроток. В обращении с ней я нравственен и жесток. Я безжалостно осуждаю не ее поступок, который, с моей точки зрения, только смешон и неуместен, а ее самое, виновную не в том, что она сделала то, что сделала, а в том, что она есть то, что она есть. Юная Евфимия права: я злой!»

Он остался доволен собою и, развивая новые мысли, рассуждал так:

«Я действую, значит — я злой. И без этого опыта я знал, что нет безобидного действия и что действовать — значит вредить или разрушать. Как только я начал действовать, я стал зловредным».

Он рассуждал так не без основания, потому что в самом деле систематически, упорно, последовательно стремился отравить жизнь г-же Бержере, отнять у этой женщины все блага, необходимые ей при ее примитивной душе, семейных наклонностях и общительной натуре, и в конце концов выжить из дому надоедливую и неприятную супругу, своей изменой давшую ему в руки бесценное преимущество.

Он пользовался этим преимуществом. Он выполнял свое дело с энергией, удивительной для слабохарактерного человека, — а г-н Бержере был человеком нерешитель-

тельным и безвольным. Но в этом случае его подстрекал непобедимый Эрос, желание. Ибо мир зиждется на желании, оно более сильно, чем воля, и именно оно создало мир. Г-н Бержере руководствовался в своем поведении Эросом, неизъяснимым желанием не видеть более г-жу Бержере. И в этом чистом, ясном желании, не омраченном ненавистью, было столько же сладостной силы, как и в любви.

Между тем юная Евфимия дожидалась, чтобы хозяин ответил ей или хоть накричал на нее. Она походила на г-жу Бержере, свою хозяйку, — молчание было ей тягостнее брани и оскорблений.

Наконец г-н Бержере заговорил. Он сказал, не возвышая голоса:

— Я вас не держу. Вы уйдете от нас через неделю.

В ответ юная Евфимия жалобно заскулила. На минуту она остолбенела. Затем в тупом и горестном недоумении вернулась на кухню, увидела кастрюли, помятые, как доспехи на поле брани, ее доблестными руками; стул с продавленным сиденьем, что, впрочем, не вызывало особых неудобств, потому что она на него не садилась; кран, из которого ночью часто текла вода, заливая квартиру, так как она забывала его закрыть; вечно засоренную раковину; стол, изрубленный ножом; чугунную, изъеденную огнем плиту; черную от угля конфорку; полки, украшенные бумажным кружевом; банку с ваксой; бутылку с жидкостью для чистки меди. И тут, окруженная памятниками своей многолетней жизни, она заплакала.

А г-н Бержере решил отправиться завтра, как говорили в старину, завтра, в базарный день, к Денизо, который держал на площади св. Экзюпера рекомендательную контору для прислуги. В низкой приемной сидело десятка два крестьянок, и молодых и старых: одни — коренастые, краснолицые и толстощекие, другие — долговязые, сухопарые, желтые, не схожие между собою ни ростом, ни лицом, но все схожие беспокойно напряженным выражением глаз, потому что в каждом посетителе, открывавшем дверь, все они видели свою судьбу. Г-н Бержере оглядел это скопище женщин, ожидающих нанимателя. Затем прошел в контору,

увешанную календарями, где Денизо собственной персоной сидел за столом, заваленным замусоленными книгами для записей и старыми подковами, служившими пресс-папье.

Господин Бержере просил рекомендовать ему служанку и, надо думать, потребовал особу, одаренную редкими качествами, потому что после десятиминутного разговора вышел в полном огорчении. Однако, проходя обратно через приемную, он увидел в темном углу фигуру, сперва им не замеченную. Это было существо без возраста и пола; на длинном, узком туловище сидела костлявая и облезлая голова со лбом, нависшим, как громадный шар, над таким вздернутым носом, что видны были одни ноздри. Из открытого рта торчали лошадиные зубы, а под отвисшей губой совсем не было подбородка. Она сидела в углу, не шевелясь, ни на кого не глядя, сознавая, быть может, что ее не наймут так скоро и предпочтут ей других, но все же спокойная и довольная собой. Она была одета, как одеваются женщины в низменных местностях, где царит лихорадка. В ее вязаном чепце застряли соломинки.

Господин Бержере долго рассматривал ее в мрачном восхищении. Наконец, указав на нее Денизо, сказал:

— Вот она мне подходит.

— Мария? — спросил удивленно хозяин конторы.

— Она самая, — ответил г-н Бержере.

XVII

Господин Мазюр, архивариус, получил наконец академический значок и смотрел теперь на правительство со снисходительной кротостью. Так как он не мог не возмущаться, то отныне обратил свой гнев на клерикалов и разоблачал заговоры епископов. Встретив однажды утром на площади св. Экзюпера г-на Бержере, он стал предостерегать его от клерикальной опасности.

— Духовенству не удалось свергнуть республику, так теперь оно хочет захватить ее в свои руки, — сказал он.

— Таково стремление всех партий, — ответил г-н Бержере, — это естественный результат демократических установлений, потому что суть нашего демократического строя в борьбе партий, раз сам народ разделен по своим интересам и чувствам.

— Но совершенно недопустимо, — продолжал г-н Мазюр, — что клерикалы прикрываются маской свободы и обманывают избирателей.

На это г-н Бержере возразил:

— Все партии, оказавшиеся не у власти, провозглашают свободу, потому что это усиливает оппозицию и ослабляет правительство. По той же причине партия, стоящая у власти, где только может, урезывает свободу и издает самые тиранические законы именем державного народа. Нет такой хартии, которая охраняла бы свободу от посягательств со стороны народовластия. В теории деспотизм демократии не знает границ. Фактически же, если говорить только о настоящем моменте, деспотизм этот надо признать довольно умеренным. Нам дали «злодейские законы»*. Но ведь их не применяют.

— Господин Бержере, — сказал архивариус, — хотите выслушать добрый совет? Вы республиканец: не стреляйте же по друзьям. Если мы не примем мер, мы вновь подпадем под власть духовенства. Реакция делает ужасающие успехи. Белые всегда останутся белыми, а синие — синими *, как говорил Наполеон. Вы — синий, господин Бержере. Клерикальная партия не простит вам ваших каламбуров о Жанне д'Арк. Даже я вам этого не забуду, ведь Жанна д'Арк и Дантон — мои кумиры. Вы вольнодумец. Защищайте вместе с нами светскую власть! Объединимся! Только единение даст нам силу для победы. К борьбе с клерикализмом призывают интересы высшего порядка.

— Я вижу тут главным образом интересы партии, — ответил г-н Бержере. — И если мне пришлось бы присоединиться к какой-либо партии, я поневоле примкнул бы к вашей, так как единственно ей я мог бы служить без особого лицемерия. Но, к счастью, меня ничто не вынуждает к этой крайности, и мне нет надобности окорнать свой ум, чтобы войти в политическую клетку.

По правде говоря, я отношусь безразлично к вашим спорам, потому что чувствую их бесплодность. В конце концов вы мало чем отличаетесь от клерикалов. Если бы они сменили вас у кормила власти, условия жизни не изменились бы. А в государстве имеют значение только условия жизни. Убеждения — игра словами, не больше. Вы отличаетесь от клерикалов только убеждениями. Вы не можете противопоставить их морали свою по той простой причине, что во Франции не существует одновременно двух моралей: с одной стороны — религиозной, а с другой — светской. Те, кто думает иначе, обмануты видимостью. Я вам это докажу в немногих словах.

У каждой эпохи есть свой уклад жизни, которым определяется общий всем людям образ мыслей. Наши нравственные понятия не продукт размышления, а результаты обычаев. Так как с признанием этих понятий связано уважение, а с их отрицанием — позор, то никто не осмеливается критиковать их открыто. Они принимаются без проверки, всем обществом целиком, независимо от религиозных верований и философских убеждений, и поддерживаются как теми, кто считает для себя обязательным применять их на практике, так и теми, кто в своих поступках ими не руководствуется. Спорным является лишь происхождение этих понятий. Люди, считающие себя вольнодумцами, полагают, будто руководствуются в своем поведении предписаниями природы, а верующие считают, что следуют предписаниям религии, и оказывается, что это почти одно и то же, не потому, что предписания эти универсальны, — то есть разом и божественны и естественны, как принято говорить, — но, наоборот, потому что они свойственны данному времени и месту, проистекают из одинаковых обычаев и выведены из одинаковых предрассудков. У каждой эпохи есть своя господствующая мораль, которая вытекает не из религии и не из философии, а из привычки, — единственной силы, способной объединить людей в одном чувстве, потому что все, подлежащее обсуждению, разъединяет их, и человечество может существовать лишь при том условии, если оно не размышляет о самой сущности своего существо-

вания. Мораль господствует над верованиями: о верованиях спорят, тогда как сама мораль никогда не подвергается проверке.

И именно потому, что мораль есть сумма предрасудков данной общины, не могут существовать в одном и том же месте, в одно и то же время две соперничающие морали. Я мог бы иллюстрировать эту истину огромным числом примеров. Но разительнее всего пример императора Юлиана *, с работами которого я в свое время немножко познакомился. Юлиан, так смело и благородно боровшийся за своих богов, Юлиан солнцепоклонник, исповедовал все нравственные убеждения христиан. Подобно им, он презирал наслаждения плоти, восхвалял воздержание, которое приводит человека к общению с божеством. Подобно им, он исповедовал догмат искупления, верил в очистительную силу страдания, был приобщен к таинствам, отвечающим так же полно, как и христианские, живой потребности в чистоте, самоотречении и любви к богу. Словом, его обновленное язычество и молодое христианство в нравственном отношении были похожи друг на друга, как родные братья. Чему тут удивляться? Оба культа были близнецами, рожденными Римом и Востоком. Оба отвечали одним и тем же человеческим обычаям, одним и тем же глубоким инстинктам азиатского и латинского мира. По духу они были схожи. Но по названию и языку различны. Этой разницы было достаточно, чтобы они стали смертельными врагами. Люди по большей части ссорятся из-за слов. Из-за слов они легче всего убивают и идут на смерть. Историки со страхом задают себе вопрос, что случилось бы с цивилизацией, если бы император-философ восторжествовал над галлилеянином, победив его упорством и умеренностью? Переделывать историю — нелегкая игра. Все же совершенно очевидно, что тогда многобожие, которое уже во времена Юлиана свелось к известного рода единобожию, подверглось бы влиянию новых нравов и довольно точно воспроизвело бы нравственный облик христианства. Возьмите великих революционеров и скажите, был ли хоть один из них сколько-нибудь оригинален в области морали. У Робеспьера всегда

были те же взгляды на добродетель, что у arrasских священников, воспитавших его. Вы — вольнодумец, господин Мазюр, и полагаете, что на нашей планете человек должен стремиться к наибольшей сумме счастья. Господин де Термондр — католик и проповедует, что мы живем в земной юдоли, дабы страданием заслужить вечную жизнь. И при всей противоположности ваших убеждений у вас обоих приблизительно одни и те же понятия о морали, ибо мораль не зависит от убеждений.

— Вы все вышучиваете, — сказал г-н Мазюр, — слушая вас, я едва удерживаюсь, чтобы не выругаться, как сапожник. Религиозные убеждения, все равно, будь они хоть от черта, оказали такое влияние на образование нравственных понятий, что пренебрегать этим влиянием нельзя. Поэтому я вправе сказать, что существует христианская мораль и что я ее отрицаю.

— Но, дорогой мой, — кротко ответил преподаватель филологического факультета, — существует столько же христианских моралей, сколько веков пережило христианство и сколько оно охватило стран. Религии, подобно хамелеону, принимают окраску почвы, на которой они живут. У каждого поколения есть своя единая мораль, которой и обусловлено единство этого поколения, но мораль непрестанно меняется вместе с жизненным укладом и бытом, четким отражением которых или как бы их увеличенной тенью на стене она является. Таким образом, мораль нынешних католиков, которые так вас раздражают, очень похожа на вашу собственную и, напротив, сильно отличается от морали католиков времен Лиги. Я не говорю о христианах веков апостольских; если бы г-н де Термондр увидел их вблизи, они показались бы ему весьма странными существами. Будьте справедливы и рассудительны, если это только возможно, — скажите, пожалуйста, в чем существенная разница между вашей моралью вольнодумца и моралью современных простодушных людей, которые ходят в церковь? Они исповедуют догмат искупления, основу своей религии, но они не меньше вас возмущаются, когда этот догмат в ярком образе преподносят им их же собственные

пастыри. Они верят, что страдание благостно и угодно богу. Почему же они не сидят на гвоздях? Вы провозгласили свободу вероисповеданий. Они женятся на еврейках и не сжигают своего тестя. Чем ваши взгляды на отношения полов, брак, семью отличаются от их воззрений? Разве только тем, что вы допускаете развод, правда, не рекомендуя его. Они верят, что тот, кто вожделеет к женщине, обрекает себя на вечную муку. Почему же тогда на званых обедах и вечерах их женщины так же сильно оголяются, как и ваши? Почему они надевают платья, которые облегают их фигуру? И почему они не помнят того, что сказал Тертуллиан * об одеянии вдов? Почему не носят они покрывала и не прячут волос? А разве вы, со своей стороны, не применяетесь к их нравам? Почему вы не требуете, чтобы женщины ходили голыми, раз вы не верите, что Ева прикрылась фиговым листом, после того как ее проклял Иегова? Какие взгляды противопоставляете вы их взглядам на родину, когда они убеждают вас служить ей и защищать ее, словно их родина не на небеси? На обязательную воинскую повинность, которой они все подчиняются, за исключением духовенства, хотя и стараясь от нее увильнуть? На войну, на которую они пойдут бок о бок с вами, как только вы этого потребуете, хотя их бог сказал: «Не убий»? Почему вы, свободолюбивые интернационалисты, не расходитесь с ними в этих важных вопросах жизни? Что вносите вы присущего только вам? Даже дуэль, привлекающая элегантностью своей формы, принята и у них и у вас, хотя она не соответствует ни их принципам, так как их духовенство и короли запретили ее, ни вашим, так как она предполагает невероятное вмешательство бога в наши ссоры. Разве у вас не то же этическое отношение к организации труда, к частной собственности, к капиталу, ко всей экономике современного общества, несправедливости которого, если они не касаются вас, вы переносите так же терпеливо, как и они? Вам надо стать социалистами, чтобы дело пошло иначе. А когда вы станете социалистами, они, наверное, тоже примкнут к социалистам. Вы допускаете несправедливости, сохранившиеся от старого строя, в том

случае, если это вам выгодно. А ваши мнимые противники принимают, с своей стороны, последствия революции если дело идет о приобретении состояния какого-нибудь бывшего скупщика национальных имуществ. Они приверженцы конкордата, и вы тоже, — сама религия вас объединяет.

Их вера почти не влияет на их чувства, они, так же как и вы, привязаны к сей жизни, которую должны бы презирать, и к собственности, которая мешает спасению души. У них примерно те же нравы, что и у вас, и примерно та же мораль. Вы придираетесь к ним в вопросах, интересующих исключительно политиков и нисколько не трогающих общество, одинаково равнодушное и к ним и к вам. Вы верны одним и тем же традициям, подчинены одним и тем же предрассудкам, погружены в тот же мрак, вы пожираете друг друга, как крабы в корзине. Глядя на вашу «войну мышей и лягушек» *, не чувствуешь рвения упразднить духовенство.

XVIII

Мария вошла в дом, как смерть. При виде ее г-жа Бержере поняла, что это конец.

Юная Евфимия, которая, сама того не подозревая, питала к хозяевам и к хозяйскому дому глубокую и крепкую привязанность, бессознательную собачью преданность, долго, молча и неподвижно, с горящими щеками сидела на своем продавленном стуле. Она не плакала, но губы у нее обметало лихорадкою. Она простилась с хозяйкой торжественно, как того требовала ее простая и набожная душа. За пятилетнюю службу она всего натерпелась от придирчивой и скупой хозяйки, державшей ее впроголодь; она иногда грубила и возмущалась, бранила г-жу Бержере с соседскими служанками. Но она была христианкой и в глубине души почитала своих хозяев, как отца с матерью. Она сказала, сопя от огорчения:

— Прощайте, барыня. Я уж помолюсь за вас господу богу, чтобы он послал вам счастья. Очень бы мне хотелось проститься с барышнями.

Госпожа Бержере чувствовала себя так, будто вместе с этой недалекой девушкой выгнали из дому и ее. Но достоинство ее, как она полагала, требовало, чтобы она не проявляла никакого волнения.

— Ступайте, голубушка, — сказала она, — пусть барин вас рассчитает.

Когда г-н Бержере отдал ей жалованье, Евфимия долго пересчитывала деньги, три раза начинала сызнавать, причем шевелила губами, словно молилась. Она проверяла деньги, боясь запутаться во всех этих различных кредитках. Потом положила их, все свое достояние, в карман юбки, под носовой платок, и опустила руку в карман.

Приняв эти предосторожности, она сказала:

— Вы всегда были добры ко мне, барин. Дай вам бог счастья. Но и то правда, — выгнали вы меня.

— Вы считаете меня злым, — ответил г-н Бержере, — А я, голубушка, расстаюсь с вами с сожалением и только потому, что так нужно. Если я могу вам в чем-нибудь помочь, я охотно это сделаю.

Евфимия провела рукой по глазам, шмыгнула носом и кротко сказала, залившись слезами:

— Никто здесь не злой.

Она ушла и затворила за собой дверь, стараясь делать как можно меньше шума. И г-н Бержере представил себе ее в белом чепце, с синим зонтом между колен, беспокойно глядящей на дверь, среди унылой толпы женщин, ожидающих нанимателя, в конторе у Денизо.

Между тем М а р и я, — скотница, всю жизнь ходившая за животными, — чувствуя ужас, который она внушает, совсем одурела у новых хозяев, забилась в кухню и уставилась на кастрюли. Она умела готовить только похлебку с салом и понимала лишь простонародный говор. Хороших рекомендаций — и тех у нее не было. Как выяснилось потом, она сходилась с пастухами, пила водку и даже спирт.

Первый гость, которому она открыла дверь, был командор Аспертини; будучи проездом в городе, он зашел повидаться со своим другом, г-ном Бержере. По-видимому, Мария произвела сильное впечатление на

итальянского ученого, потому что после первых же слов он заговорил о ней с тем интересом, который возбуждает необычайное и страшное уродство.

— Ваша служанка, господин Бержере, — сказала н, — напоминает мне выразительную фигуру, нарисованную Джотто на одном из сводов церкви в Ассизи, когда он, вдохновившись терциной Данте, изобразил «Ту, что никто не встретил бы с улыбкой». Кстати, — прибавил итальянец, — видели вы мозаичный портрет Вергилия, который ваши соотечественники нашли в Суссе, в Алжире? Это — римлянин с широким и низким лбом, с квадратной головой, с крепкой челюстью, совсем не похожий на того прекрасного отрока, которого нам показывали прежде. Бюст, долгое время считавшийся изображением этого поэта, на самом деле — римская копия греческого оригинала четвертого века и представляет юного бога, которому поклонялись на элевсинских празднествах *. Мне кажется, я первый открыл подлинный характер этого изображения в моей работе о младенце Триптоleme. Знакомы вы с мозаичным портретом Вергилия, господин Бержере?

— Насколько можно судить по фотографии, которую я видел, эта африканская мозаика — копия портрета, не лишенного выразительности, — ответил г-н Бержере. — Портрет, по-видимому, действительно изображает Вергилия, и возможно, что в нем есть сходство. Ваши гуманисты эпохи Возрождения, господин Аспертини, представляли себе автора «Энеиды» мудрецом. В старых венецианских изданиях Данте, которые я просматривал в нашей библиотеке, много гравюр на дереве, где Вергилий изображен с бородой философа. Позднее он стал прекрасным, как молодой бог. Теперь у него тяжелая челюсть и волосы, начесанные на лоб по римской моде. Впечатление, которое его поэзия производила на умы людей, тоже менялось. Каждая литературная эпоха представляла ее на свой лад. Даже если оставить в стороне средневековые рассказы о Вергилии-колдуне, несомненно, что в разные эпохи великим мантуанцем * восхищались по разным причинам. Макробий * видел в поэте сивиллу империи. Данте и Петрарка ценили его философию. Шатобриан и Виктор

Гюго признали в нем провозвестника христианства. Я же, любитель словесной игры, нахожу в его творениях только филологический интерес. Вы, господин Аспертини, цените его огромное знание римских древностей, и это, быть может, самое основное достоинство «Энеиды». В старые тексты мы вкладываем свои собственные мысли. Каждое поколение по-новому видит великие творения древности и таким образом сообщает им вечно текущее бессмертие. Мой коллега Поль Стапфер говорит по этому поводу много интересного.

— И много значительного, — добавил командор Аспертини. — Но он не смотрит так безнадежно на теучесть человеческой мысли.

Так эти два превосходных человека разговаривали друг с другом, тревожа доблестные и благородные тени, украшающие жизнь.

— Скажите, пожалуйста, что случилось с тем военным-латинистом, которого я встретил у вас, — спросил командор Аспертини, — с милейшим господином Ру, который, кажется, познал истинную цену военной славы? Он ведь не стремился стать капралом.

Господин Бержере коротко ответил, что г-н Ру вернулся в полк.

— Последний раз, как я был в вашем городе, — сказал командор Аспертини, — если не ошибаюсь, второго января, я застал этого молодого ученого во дворе библиотеки, под липой, где он беседовал с молодой привратницей. У нее горели уши. А это, как вам, разумеется, известно, признак, что она внимала ему в радостном смущении. Удивительно красива была эта тонкая зардевшаяся раковина над белой шеей. Я сделал вид, будто не заметил их, из деликатности и чтобы не выступать в роли пифагорейского мудреца, который смущал влюбленных в Метапonte *. Очень приятная девушка — у нее рыжие, словно пламя, волосы, нежная кожа в легких веснушках и такая белая, что кажется освещенной изнутри. Вы обратили на нее внимание, господин Бержере?

Господин Бержере, который уже давно обратился на нее внимание и даже нашел ее весьма привлекательной, кивнул головой. Он был слишком порядочным

человеком, слишком ревниво относился к своему положению и был слишком скромн для того, чтобы позволить себе малейшую вольность с молодой библиотечной привратницей. Но не раз, во время долгих сидений в библиотеке, с пожелтевших страниц Сервия * или Доната * на него глядела тоненькая и миловидная девушка с нежным цветом лица и стройной, гибкой фигуркой. Ее звали Матильдой; говорили, будто она равнодушна к красивым молодым людям. Г-н Бержере обыкновенно был очень снисходителен к влюбленным. Но мысль, что г-н Ру нравится Матильде, вызвала в нем неприятное чувство.

— Это было вечером, после занятий, — продолжал между тем г-н Аспертини. — Я снял копию с трех неопубликованных писем Муратори, которые не значились в каталоге. Проходя по двору, где хранятся остатки древних памятников вашего города, я увидел под липой у колодца, неподалеку от стелы римско-галльских лодочников, молодую золотоволосую привратницу, которая внимала речам господина Ру, вашего ученика, опустив глаза и покачивая на пальце связку больших ключей. То, что он говорил, вероятно, не очень отличалось от того, что говорил пастушке волопас Оаристиса *. И действие его слов тоже не вызвало сомнений. Мне показалось, что он назначал ей свидание. Вероятно, благодаря приобретенной мной привычке истолковывать памятники античного искусства я сразу угадал смысл этой группы.

Он улыбнулся и прибавил:

— Господин Бержере, я не чувствую всех тонких оттенков вашего прекрасного французского языка. Но слово «девица» или «девушка» не удовлетворяют меня для обозначения такого очаровательного юного существа, как привратница вашей городской библиотеки. Слово «дева», которое устарело и теперь плохо звучит, тут не подходит. И, между прочим, я сожалею об этом. Назвать ее молодой особой — не изящно; я нахожу, что к ней подходит только название нимфы. Но, пожалуйста, господин Бержере, никому не рассказывайте того, что я сообщил вам о библиотечной нимфе: как бы это ей не повредило. Не надо, чтобы

ее тайны стали известны мэру или библиотекарям. Мне было бы очень жаль даже невольно причинить малейшее огорчение вашей нимфе.

«Это правда, моя нимфа красива», — подумал г-н Бержере.

Он был печально настроен и в эту минуту не знал, чем его больнее уязвил г-н Ру: тем ли, что понравился библиотечной привратнице, или тем, что соблазнил г-жу Бержере.

— Ваш народ, — сказал командор Аспертини, — достиг высокой умственной и духовной культуры. Но от прежнего варварства, в котором он долго пребывал, у него осталась какая-то неуверенность и принужденность в отношении к любви. В Италии любовь для влюбленных — все, а для посторонних — ничто. Это частное дело тех, кто ею занят, а общество такими делами не интересуется. Правильное понимание чувства страсти и наслаждения охраняет нас от лицемерия и жестокости.

Командор Аспертини еще долго беседовал со своим французским другом о различных вопросах морали, искусства и политики; затем он встал, чтобы проститься. В передней он снова увидел Марию и сказал г-ну Бержере:

— Пожалуйста, не сочтите за обиду то, что я сказал вам относительно вашей кухарки. У Петрарки тоже была исключительно уродливая служанка.

XIX

С тех пор как г-н Бержере отстранил падшую г-жу Бержере от управления домом, он распорядился сам, но плохо. Правда, служанка Мария не исполняла его приказаний, потому что она их не понимала. Но так как действовать необходимо, ибо это непреложное условие жизни, то Мария действовала, и ее природный инстинкт постоянно вдохновлял ее на неудачные решения и вредные действия. По временам инстинкт этот погасал в пьянстве. Однажды, выпив весь спирт из спиртовки, она двое суток без просыпу спала на полу в кухне. Пробуждения ее бывали ужасны. Она

сокрушала все на своем пути. Ставя на камин подсвечник, она ухитрилась расколоть мраморную доску, что вряд ли удалось бы кому другому. Она жарила мясо, грохоча и отравляя воздух чадом; и все, что она готовила, было несъедобно.

Госпожа Бержере, одна у себя в супружеской спальне, рыдала от ярости и горя над развалинами своей семейной жизни. Беда принимала неожиданные и странные формы, поражавшие ее будничную душу. И беда эта все росла. Она уже совсем не получала денег от г-на Бержере, а прежде он каждый месяц отдавал ей все жалованье целиком, не оставляя себе даже на папиросы; она потратила много денег на туалеты в те упоительные дни, когда нравилась г-ну Ру, и еще больше в тот мучительный период, когда, поддерживая свой престиж в обществе, усердно ходила по гостям; и теперь модистка и портниха настойчиво требовали с нее денег; из магазина готового платья Ашара, где на нее смотрели как на случайную покупательницу, ей прислали счета, один вид которых по вечерам наводил ужас на дочь г-на Пуйи. Усмотрев в этих неслыханных ударах судьбы неожиданное, но несомненное последствие своего грехопадения, она осознала всю тяжесть прелюбодеяния и теперь со стыдом вспоминала все, чему ее учили в молодости, когда внушали, что это исключительный, вернее единственный в своем роде грех, ибо с ним связан позор, которого не влекут за собой ни зависть, ни скупость, ни жестокость.

Стоя на коврике, перед тем как лечь в постель, она отгигивала батистовую ночную сорочку и, прижав подбородок к шее, разглядывала свою пышную грудь и живот, которые сверху казались грудой белых теплых подушек, позлащенных светом лампы. Она не задумывалась, действительно ли хороши ее формы, потому что не видела красоты в наготe и понимала только красоту, созданную портнихами; она не стыдилась своего тела и не гордилась им, не старалась, глядя на него, вспомнить былые наслаждения, и все же ее начинало тревожить и смущать созерцание этого тела, тайные побуждения которого привели к таким огром-

ным переменам в ее семейной жизни и общественном положении.

Она понимала, что поступок, сам по себе пустячный, может быть очень важным в идее, ибо г-жа Бержере была женщиной нравственной, религиозной, достаточно суеверной и принимала карточные фишки за чистую монету. Угрызения совести не мучили ее, так как она не обладала воображением, о боге судила весьма здраво и считала себя уже достаточно наказанной. Но, не задумываясь над обычным пониманием женской чести, не замышляя грандиозных планов — перевернуть общее понятие о нравственности, только бы самой приобрести общепризнанную невинность, она все же не жила спокойной и удовлетворенной жизнью и не вкушала внутреннего мира среди всех напастей.

Ее волновала таинственная неизвестность, — когда же кончатся эти напасти. Они разматывались, как клубок красной ленточки в самшитовом ящичке на прилавке г-жи Маглуар, кондитерши с площади св. Экзюпера. Г-жа Маглуар вытягивала ленточку, пропущенную сквозь отверстие в крышке, и перевязывала бесчисленные пакетики. Г-жа Бержере не знала, когда наступит конец несчастьям; печаль и раскаяние придавали ей некоторую внутреннюю красоту.

По утрам она смотрела на увеличенный портрет отца, умершего в год ее свадьбы, и, глядя на этот портрет, плакала, вспоминая детство, беленький чепчик в день первого причастия, воскресные прогулки, когда она ходила пить молоко в Тюильри со своими двоюродными сестрами, барышнями Пуйи, дочерьми составителя «Словаря»; вспоминала мать, еще здравствующую, но уже старенькую, живущую на самом севере Франции, в родном городке. Отец г-жи Бержере, Виктор Пуйи, директор лицея, издатель пользующейся известностью грамматики Ломона, при жизни имел высокое представление о своем общественном значении и умственном превосходстве. Подавленный славою своего старшего брата и покровителя, великого Пуйи, составителя «Словаря», преклоняясь перед университетскими авторитетами, он отыгрывался на остальном мире и кичился своим именем, своей грамматикой

и подагрой, сильно донимавшей его. Держался он с достоинством, подобающим члену семьи Пуйи. И портрет, казалось, говорил дочери: «Дитя мое, я не знаю, и не хочу знать всего того, что не вполне добропорядочно в твоём поведении. Будь уверена, причина всех твоих несчастий в том, что ты вышла замуж за человека, недостойного тебя. Я напрасно льстил себя надеждой поднять его до нас. Бержере — человек невоспитанный. Твой главный грех, источник твоих нынешних несчастий, дочь моя, — твой брак». И г-жа Бержере внимала этим речам. Родительская мудрость и доброта, которой они были проникнуты, поддерживали ее слабеющую бодрость. Однако она незаметно подчинялась судьбе. Она прекратила свои обвинительные визиты, так как любопытство общества пресытилось однообразием ее жалоб. Даже в доме ректора стали подумывать, что рассказы, ходившие по городу о ней и г-не Р у , — не вымысел. Она надоела и была скомпрометирована; ей дали это понять. Она сохранила лишь симпатию г-жи Делион, видевшей в ней олицетворение угнетенной добродетели, но г-жа Делион принадлежала к высшему обществу, а потому жалела, ценила, уважала г-жу Бержере — и не принимала ее. Г-жа Бержере осталась одна, убитая, без мужа, без детей, без домашнего уюта, без денег.

Еще раз попыталась она войти в свои хозяйские права. Это было наутро после особенно печального и тяжелого дня. Выслушав оскорбительные требования мадемуазель Розы, модистки, и мясника Лафоли, уличив служанку Марию в краже трех франков семидесяти пяти сантимов, оставленных прачкой на буфете в столовой, г-жа Бержере легла спать, полная печали и страха, и не могла заснуть. Избыток напастей сделал ее романтической, и во мраке ночи ей чудилось, что Мария подсыпает ей в воду яд, изготовленный г-ном Бержере. Утро рассеяло ее смутные страхи. Она оделась с некоторой тщательностью и, важная и кроткая, направилась в кабинет к г-ну Бержере.

Ее появление было столь неожиданно, что он не успел запереть дверь.

— Люсьен! Люсьен! — воскликнула она.

Она заклинала его невинными головками дочерей. Она просила, молила, изложила справедливые соображения о плачевном состоянии дома, обещала в будущем быть хорошей, верной, экономной, любезной женой. Но г-н Бержере ничего не ответил.

У ног его была представительница семьи Пуйи. Но он взял шляпу и вышел. Тогда она встала, побежала за ним вдогонку, сжав кулаки, открыв рот, и крикнула ему из передней:

— Я никогда вас не любила, слышите? Никогда, даже когда выходила за вас замуж! Вы некрасивы, вы смешны, да и во всем остальном хороши, нечего сказать! Весь город знает, что вы жалкий мозгляк, да, мозгляк!

Это слово, слышанное ею только из уст умершего двадцать лет тому назад Пуйи, составителя «Словаря», вдруг совершенно неожиданно пришло ей в голову. Она не вкладывала в него точного смысла. Но оно казалось ей крайне оскорбительным, и она выкрикивала, стоя на лестнице:

— Мозгляк, мозгляк!

То была ее последняя попытка примириться с супругом. Через две недели после этого свидания г-жа Бержере предстала перед ним, на этот раз спокойная и решительная.

— Дольше терпеть я не могу, — сказала она. — Вы этого хотели. Я уезжаю к матери, пришлите туда Жюльетту. Полину я оставляю вам...

Полина была старшая дочь, она была похожа на отца, которого любила.

— Надеюсь, — прибавила г-жа Бержере, — вы назначите вашей дочери, которая будет находиться при мне, приличное содержание. Я ничего не требую для себя.

Услышав эти слова, увидав, что он довел ее до крайности своим мудрым расчетом и настойчивостью, г-н Бержере сделал усилие, чтобы сдержать радость, боясь, как бы г-жа Бержере, заметив ее, не отказалась от такого приятного для него разрешения вопроса.

Он ничего не ответил, лишь наклонил голову в знак согласия.

***АМЕТИСТОВЫЙ
ПЕРСТЕНЬ***

Перевод Г. И. Ярхо
под редакцией *В. А. Дынник*

I

Госпожа Бержере как сказала, так и поступила, — покинув супружеский очаг, она перебралась к своей матери, вдове Пуйи.

В последнюю минуту она было раздумала уезжать. Если бы хоть кто-нибудь попытался удержать ее, она бы согласилась забыть прошлое и вернуться к совместной жизни, лишь сохранив некоторое презрение к г-ну Бержере как к обманутому мужу.

Она готова была простить. Но непоколебимое уважение со стороны окружавшего ее общества не позволило ей этого. Г-жа Делион дала ей понять, что на такую уступчивость посмотрят косо. В главном городе департамента все светские гостиные проявляли в этом полное единодушие. У лавочников не было двух мнений: г-жа Бержере должна удалиться в лоно своей семьи. Тем самым общество и твердо поддерживало нравственные устои и заодно избавлялось от нескромной, грубой, компрометирующей его особы, вульгарность которой бросалась в глаза даже вульгарным людям и тяготила всех. Ей дали понять, что ее отъезд произведет эффектное впечатление.

— Восхищаюсь вами, милочка, — говорила ей из глубины своего кресла старая г-жа Дютийель, несокрушимая вдова четырех мужей, ужасная женщина,

подозреваемая в чем угодно, кроме способности любить, а потому почитаемая всеми.

Госпожа Бержере была довольна тем, что внушала симпатию г-же Делион и восхищение г-же Дютийель. Но все-таки она медлила с отъездом, так как по натуре не склонна была покидать насиженное место и привычный уклад, чувствуя себя привольно среди праздности и лжи. При таком обороте дела г-н Бержере удвоил старания и заботы, чтобы обеспечить себе освобождение. Он энергично поощрял служанку Марию, которая поддерживала в доме скудость, трепет и отчаяние, принимала, как говорили, у себя на кухне воров и разбойников и не могла сделать ни шага, чтоб не произошел какой-нибудь несчастный случай.

За девяносто шесть часов до дня, назначенного для отъезда г-жи Бержере, эта девица, по обыкновению пьяная, пролила в спальне своей хозяйки горящий керосин из лампы и подожгла голубой кретоновый полог кровати. Г-жа Бержере была в этот вечер в гостях у своей приятельницы г-жи Лакарель. Вернувшись домой и пройдя среди зловещей тишины к себе в комнату, сна обнаружила последствия ужасного события. Тщетно звала она мертвецки пьяную служанку и своего каменного мужа. Она долго созерцала опустошения, произведенные пожаром, и мрачные следы дыма на потолке. Это житейское происшествие принимало в ее глазах мистический характер и пугало ее. Наконец, когда свеча уже догорела, она, усталая и прозябшая, прилегла на постель под обуглившимся балдахинном, на котором трепыхались черные лоскутья, похожие на крылья летучих мышей. Проснувшись поутру, она заплакала при виде своего голубого полога, воспоминания и символа ее юности. Растрепанная, босая, в одной сорочке, черная от копоти, она выбежала из спальни, оглашая погруженный в молчание дом криками и стонами. Г-н Бержере не откликнулся, потому что для него она как бы не существовала.

Вечером с помощью служанки Марии она передвинула кровать на середину разоренной спальни. Но ей стало ясно, что эта комната никогда уже больше не

будет служить для нее приютом и что придется покинуть жилище, где она в течение пятнадцати лет каждодневно выполняла свои жизненные функции.

А хитроумный Бержере, наняв для себя и своей дочери Полины небольшую квартиру на улице св. Экзюпера, старательно занялся переселением. Он беспрестанно сновал взад и вперед, скользил вдоль стен, семенил с проворством мышонка, застигнутого среди развалин. В глубине души он ликовал, но скрывал свою радость, ибо был мудр.

Получив уведомление, что приближается срок для сдачи ключей домовладельцу и что пора уезжать, г-жа Бержере тоже занялась отправкой своего имущества к матери, проживавшей в маленьком домишке на крепостном валу одного из северных городков. Она укладывала стопками белье и платье, передвигала мебель, давала распоряжения упаковщику, чихая от клубившейся пыли, и писала на ярлыках адрес вдовы Пуйи.

Госпожа Бержере как бы черпала в этом занятии некую нравственную силу. Труд полезен человеку. Он отвлекает его от собственной жизни, отвращает от мучительного заглядывания в самого себя; он мешает ему всматриваться в того двойника, который живет в нас и делает страшным одиночество. Это безошибочное средство от всяческих нравственных и эстетических страданий. Труд хорош еще и тем, что льстит нашему тщеславию, тешит наше бессилие и ласкает нас надеждой на приятный оборот событий. Мы мним, что благодаря ему распоряжаемся своей судьбой. Не улавливая необходимой связи наших усилий с механизмом вселенной, мы считаем, что они направлены нам на благо и в ущерб всему прочему миру. Труд создает иллюзию воли, силы и независимости. Он обожествляет нас в собственных глазах, благодаря ему мы смотрим на себя, как на героев, гениев, демонов, демиургов, богов, как на самого господа бога. И действительно, бога никогда не представляли себе иначе как в образе труженика. Вот почему к г-же Бержере во время упаковки вернулась ее природная веселость и благодатная жизненная энергия. Укладываясь, она

пела романсы. Усиленное кровообращение вливало радость в ее душу. Будущее рисовалось ей в благоприятном свете. В радужных красках представляла себе она ожидающую ее жизнь в маленьком фламандском городке в обществе матери и младшей дочери. Она надеялась там помолодеть, нравиться, блистать, вызывать симпатию, поклонение. И — почему знать? — может статься, там, на родине семейства Пуйи, она вторично выйдет замуж за богатого, выиграв бракоразводный процесс и добившись признания вины за мужем. Почему бы ей не вступить в брак с приятным и солидным человеком, домовладельцем, помещиком или чиновником, — словом, с кем-нибудь почище какого-то Бержере?

Хлопоты, связанные с упаковкой, доставляли ей, кроме того, особого рода удовлетворение, вызванное возможностью кое-чем поживиться. Действительно, не довольствуясь тем, что она забирала мебель, принесенную ею в приданое, и изрядную долю совместных приобретений, она загребала в свои сундуки предметы, которые по всей справедливости должна была оставить другой стороне. Так, она сунула между своими сорочками серебряную чашку, доставшуюся г-ну Бержере в наследство от бабки по материнской линии. Точно так же присоединила она к своим, по правде сказать довольно дешевым, драгоценностям цепочку и часы г-на Бержере-отца, экстраординарного профессора, отказавшегося в 1852 году принести присягу империи и умершего в бедности и забвении в 1873 году.

Госпожа Бержере прерывала сборы только для того, чтобы наносить прощальные визиты, грустные и торжественные. Общественное мнение было на ее стороне. Каждый судит по-своему, и нет в мире такого предмета, по поводу которого существует полное согласие умов. Tradidit mundum disputationibus eorum¹. Так и г-жа Бержере была предметом игривых споров и тайных разногласий. Большинство буржуазных дам считало ее безупречной, поскольку они ее принимали. Некоторые, впрочем, подозревали, что ее приключение с г-ном Ру было не совсем невинного характера;

* Мир предоставил (бог) их пререканиям (лат.).

кое-кто это даже высказывал. Одни порицали ее, другие извиняли; третьи, наконец, одобряли, сваливая вину на г-на Бержере и его скверный характер.

Впрочем, и этот пункт вызывал сомнения. Были люди, утверждавшие, что он человек спокойный и добродушный и что ему вредит только острота его ума, ненавистная для всякой посредственности.

Господин де Термондр даже уверял, что Бержере очень славный человек; на это г-жа Делион возражала, что, будь он действительно добр, он оставил бы жену при себе, какой бы скверной она ни была.

— Вот этим он действительно доказал бы свою доброту, — говорила она. — А ужиться с очаровательной женщиной — тут нет никакой заслуги.

Госпожа Делион говорила также:

— Господин Бержере старается удержать жену. Но она покидает его, и правильно делает. Это послужит ему возмездием.

Таким образом, суждения г-жи Делион не всегда вязались между собою, потому что людскими мыслями руководит не сила разума, а пыл чувств. Хотя мнения света зыбки, все же г-жа Бержере оставила бы по себе в городе хорошую память, если бы, придя накануне отъезда к г-же Лакарель, не очутилась в гостиной наедине с г-ном Лакарелем.

У г-на Гюстава Лакареля, правителя канцелярии префекта, были густые длинные русые усы, которые, придав особый отпечаток его физиономии, впоследствии придали особый отпечаток и его характеру. Еще в юности, на факультете права, студенты находили в нем сходство с галлами, фигурирующими в скульптуре и живописи поздних романтиков. Некоторые более ехидные наблюдатели, обратив внимание на то, что эти усища топорщились под незначительным носом, а взгляд выражал кротость, прозвали Лакареля «Тюленем». Но эта кличка не одержала верх над «Галлом»; Лакарель остался для своих однокашников галлом, который, в их представлении, много пьет, дерется с каждым встречным и поперечным, не дает спуска девушкам — словом,

соответствует как по существу, так и с виду тому образу, какой на протяжении веков принято считать образом француза. Его заставляли пить больше, чем ему хотелось, а входя с ним в пивную, немедленно толкали к служанке, нагруженной подносами. Когда он вернулся в родные края, чтобы жениться, и ему предоставилась счастливая и по тем временам редкая возможность зачислиться на службу в центральную администрацию своего департамента, — то и здесь сливки магистратуры, адвокатуры и чиновничества, бывавшие у него, опять-таки стали называть его «Галлом». Но непрощенная толпа наградила его этим почетным прозвищем только в 1895 году, когда на каменном выступе Национального моста состоялось торжественное открытие памятника Эпоредориксу.

За двадцать два года до того, в эпоху президентства г-на Тьера, решено было воздвигнуть, частью по национальной подписке, частью на государственные средства, памятник галльскому вождю Эпоредориксу, который в 52 году до рождества Христова поднял восстание против Цезаря среди жителей речного побережья и подверг опасности маленький римский гарнизон, подрубив деревянный мост, переброшенный для коммуникации с армией. Археологи административного центра считали, что этот воинский подвиг был совершен в их городе, и основывали свое утверждение на том месте из «Галльской войны», на которое ссылались уже немало ученых обществ в доказательство, что деревянный мост, сломанный Эпоредориксом, находился именно в том самом городе, где данное ученое общество имело свое местопребывание. География Цезаря полна неточностей; местный же патриотизм горд и самолюбив. Департаментский центр, три супрефектуры и четыре кантональных центра оспаривали друг у друга честь истребления римлян мечом Эпоредорикса.

Компетентное начальство разрешило спор в пользу департаментского центра. Это был незащищенный город, который в 1870 году после часовой бомбардировки вынужден был, со скорбью и гневом, впустить неприятеля в свои стены, разрушенные еще в эпоху Людовика XI и густо поросшие плющом. Город подвергся всем тяго-

там военной оккупации; его жителей притесняли и облагали контрибуцией. Предложение воздвигнуть памятник во славу галльского вождя было встречено с энтузиазмом. Город, чувствуя себя опозоренным, был благодарен своему древнему соотечественнику за то, что мог гордиться им. Прославленный вновь после полутора тысяч лет забвения, Эпоредорикс объединил горожан в чувстве сыновней любви. Его имя не внушало недоверия ни одной из политических партий, на которые тогда делилась Франция. Умеренные радикалы, конституционалисты, роялисты, орлеанисты, бонапартисты внесли свою лепту, и подписка была наполовину покрыта в том же году. Департаментские депутаты хлопотали у правительства пополнение нужной суммы. Статуя Эпоредорикса была заказана Матье Мишелю, самому молодому из учеников Давида д'Анже*, называвшего его утехой своей старости. Матье Мишелю шел тогда пятидесятый год; он тотчас же принялся за дело и ухватился за глину смелой рукой, впрочем несколько потерявшей сноровку, так как он был республиканцем и за все время империи не получал заказов. Менее чем в два года закончил он свою статую, и ее гипсовая модель была выставлена в Салоне 1873 года вместе со множеством других галльских вождей, собранных под обширным стеклянным потолком среди пальм и бегоний. Из-за канцелярских формальностей мраморное изваяние удалось закончить лишь через пять лет. Вслед за тем между городом и государством возникли такие административные пререкания, начались такие споры, что статуе Эпоредорикса, казалось, уже не суждено было выситься на выступе Национального моста.

Тем не менее она была воздвигнута в июне 1895 года. Статуя, присланная из Парижа, была принята префектом и торжественно передана им мэру города. Скульптор Матье Мишель прибыл вместе со своим произведением. Ему было тогда уже за семьдесят. Весь город лицезрел эту голову престарелого льва с длинной седой гривой. Освящение памятника состоялось 7 июня в присутствии министра народного просвещения г-на Дюпона, департаментского префекта г-на Вормс-Клав-

лена, городского мэра г-на Трюмеля. Энтузиазм, конечно, был не такой, как если бы это случилось сейчас же после нашествия, в дни негодования. Но тем не менее все были довольны. Рукоплескали речам ораторов и мундирам офицеров. И когда упал зеленый холст, скрывавший Эпоредорикса, весь город воскликнул в один голос: «Господин Лакарель! Да это господин Лакарель!.. Вылитый господин Лакарель...»

В сущности сходство было не так уж велико. Матье Мишель, выученик и подражатель Давида д'Анже, тот, которого мастер величал утехой своей старости, скульптор — республиканец и патриот, инсургент сорок восьмого года, волонтер семидесятого года, вовсе не воспроизвел в своей героической скульптуре образ г-на Лакареля. О нет! Этот вождь с застенчивым и мягким взглядом, прижимавший к сердцу метательное копьё и, казалось, таивший под своим ширококрылым шлемом поэзию Шатобриана* и историческую философию г-на Анри Мартена*, вождь, овеянный романтической меланхолией, не был, как вещал народный глас, истинным портретом г-на Лакареля. У правителя канцелярии были большие глаза навывкате, короткий круглый нос, мягкие щеки, жирный подбородок, а Эпоредорикс Матье Мишеля глядел вдаль глубоко запавшими глазами, нос у него был прямой, контур лица четкий и классический. Но так же, как и у г-на Лакареля, у него были страшные усищи, длинные извивы которых были видны, с какой стороны ни посмотреть — с севера и юга, с востока и запада.

Пораженная этим сходством, толпа единодушно почтила г-на Лакареля именем прославленного Эпоредорикса. И с тех пор правитель канцелярии префекта считал себя обязанным публично воплощать популярный тип галла и сообразовать с этим при всех обстоятельствах свои поступки и речи. Лакарелю его роль довольно хорошо удавалась, так как он прошел подготовку по этой части еще на факультете права и от него требовали только, чтобы он был весельчаком, воякой и при случае отпускал вольное словцо. Находили, что он мило целуется, и он стал завзятым поцелушкойм. Женщин, девиц и девочек — красивых и безобразных,

молодых и старых — он целовал направо и налево только потому, что так полагается истому галлу, и совершенно невинно, ибо он был человек нравственный.

Вот почему, случайно застав г-жу Бержере одну в гостиной, где она ждала его жену, он тотчас же поцеловал гостью. Г-же Бержере были известны повадки г-на Лакареля. Но тщеславие, которое было у нее весьма сильно, смутило рассудок, который был у нее весьма слаб. Она приняла этот поцелуй за признание в любви и испытала такое чувство смятения, что грудь ее начала порывисто вздыматься, ноги подкосились и она, тяжело дыша, упала в объятия г-на Лакареля. Г-н Лакарель был удивлен и смущен. Но самолюбие его было польщено. Он усадил, как умел, г-жу Бержере на диван и, склонившись к ней, произнес голосом, в котором сквозила симпатия:

— Бедняжка!.. Такая очаровательная и такая несчастная!.. Так вы нас покидаете!.. Вы уезжаете завтра?..

И он запечатлел на ее лбу невинный поцелуй. Г-жа Бержере, у которой нервы были взвинчены, внезапно разразилась слезами и рыданиями. Затем она медленно, серьезно, скорбно вернула поцелуй г-ну Лакарелю. В эту минуту вошла в гостиную г-жа Лакарель.

На другой день весь город строго осудил г-жу Бержере, которая запоздала с отъездом на одни только сутки.

II

Герцог до Бресе принимал у себя в Бресе генерала Картье де Шальмо, аббата Гитреля и г-на Лерона, товарища прокурора в отставке. Они посетили конюшни, псарни, фазаний двор и успели притом поговорить и о «Деле».

День тихо подходил к концу. Они замедлили шаги на главной аллее парка. Перед ними на фоне серого облачного неба высился массивный фасад замка, перегруженный фронтонами и увенчанный остроконечными кровлями.

— Повторяю, — сказал г-н де Бресе, — скандал, поднятый вокруг этого дела, есть не что иное, как отвратительный маневр врагов Франции...

— И врагов религии, — тихо добавил аббат Гитрель, — и врагов религии. Нельзя быть достойным французом, не будучи достойным христианином. И мы видим, что весь шум затеян главным образом вольнодумцами, франкмасонами, протестантами.

— И евреями, — вставил г-н де Бресе, — евреями и немцами. И какая неслыханная наглость усомниться в приговоре военного суда! Ведь нельзя же в самом деле допустить, чтобы все семь французских офицеров ошиблись.

— Конечно, нет; этого нельзя допустить, — подтвердил аббат Гитрель.

— Вообще говоря, — сказал г-н Лерон, — судебная ошибка — нечто очень маловероятное. Скажу даже — невозможное, поскольку закон предоставляет обвиняемым всяческие гарантии. Я имею в виду гражданское судопроизводство. Но отношу это также к судопроизводству военному. Если подсудимый не находит тех же гарантий в формальностях несколько сокращенной процедуры, он найдет их в личности судей. По-моему, сомнение в законности приговора, вынесенного военным судом, есть уже само по себе оскорбление армии.

— Вы совершенно правы, — подтвердил г-н де Бресе. — Да и к тому же можно ли допустить, чтобы семь французских офицеров ошиблись? Можно ли это допустить, генерал?

— С трудом, — отвечал генерал Картье де Шальмо. — Я лично допустил бы это с трудом.

— Синдикат изменников! — воскликнул г-н де Бресе. — Просто неслыханно!

Разговор стал более вялым и прекратился. Герцог и генерал заметили фазанов на лужайке и, охваченные инстинктивным и неискоренимым желанием убивать, пожалели в глубине души, что при них не было ружей.

— У вас лучшая охота в здешних местах, — сказал генерал герцогу де Бресе.

Герцог погрузился в задумчивость.

— Так или иначе, — сказал он, — евреи не принесут счастья Франции.

Герцог де Бресе, старший сын покойного герцога, некогда блиставший в рядах легкой кавалерии Версальского собрания, вступил на политическое поприще после смерти графа Шамбора *. Он не знал дней надежды, часов жаркой борьбы, монархических махинаций, увлекательных, как заговор, насыщенных страстями, как аутодафе; не видал вышитых пологов, поднесенных монарху владельницами замков, знамен, стягов, белых лошадей, которые должны были привезти короля. Как наследственный депутат от Бресе, он вступил в Бурбонский дворец с чувством глухого недоброжелательства по отношению к графу Парижскому * и с тайным желанием, чтобы трон не был восстановлен в пользу младшей линии. В остальном же он был лояльным и преданным монархистом. Он был вовлечен в интриги, которых не понимал, запутался при голосованиях, кутил в Париже и при перевыборах в палату потерпел в Бресе поражение по вине доктора Котара.

С тех пор он посвятил себя сельскому хозяйству, семье, религии. Из наследственных земель, охватывавших в 1789 году сто двенадцать приходов и состоявших из ста семидесяти феодалов, четырех владений с правом на титулование, восемнадцати кастильянств, ему досталось восемьсот гектаров земельных угодий и леса вокруг исторического замка Бресе. Его охоты придавали ему в департаменте тот блеск, которого не придал ему Бурбонский дворец. Леса Бресе и Герши, где некогда охотился Франциск I, прославились также и в истории церкви: там находилась почитаемая часовня Бельфейской божьей матери.

— Запомните то, что я вам говорю, — повторил герцог де Бресе, — евреи не принесут счастья Франции... Не понимаю, почему от них не избавятся. Ведь это же так просто!

— Это было бы превосходно, — ответил товарищ прокурора, — но не так просто, как вы думаете, ваша светлость. Чтоб добраться до евреев, надо прежде всего улучшить законы о натурализации. Издать

хороший закон, отвечающий намерениям законодателя, вообще нелегко. Законодательные же постановления, предполагающие, как в вашем проекте, ломку нашего публичного права, издаются с необычайным трудом. Да и сомнительно, к сожалению, чтобы нашлось такое правительство, которое взялось бы предложить их или поддержать, и такой парламент, который стал бы за них голосовать... А наш сенат никуда не годится...

По мере того как у нас на глазах разворачивается опыт истории, мы убеждаемся, что восемнадцатый век есть сплошное заблуждение человеческого разума и что социальная истина, как и истина религиозная, заключается целиком в традициях средних веков. Во Франции, как это уже случилось в России, скоро понадобится возобновить в отношении евреев меры, применявшиеся при феодальном строе, настоящем образце христианского общества.

— Это неоспоримо, — сказал г-н де Бресе, — христианская Франция должна принадлежать французам и христианам, а не евреям и протестантам.

— Браво, — отозвался генерал.

— Был в моем роду, — продолжал г-н де Бресе, — один младший отпрыск, прозванный, не знаю почему, Серебряный Нос и сражавшийся в нашей провинции при Карле Девятом *. Вон на том дереве с оголенной верхушкой он приказал повесить шестьсот тридцать шесть гугенотов. Так вот, признаюсь вам, я горжусь тем, что веду свое происхождение от Серебряного Носа. Я унаследовал от него ненависть к еретикам. И я ненавижу евреев, как он ненавидел протестантов.

— Это весьма похвальные чувства, ваша светлость, — сказал аббат Гитрель, — очень похвальные и достойные великого имени, которое вы носите. Позвольте мне только указать на один особый пункт. Евреи не считались еретиками в средние века. Да и, в сущности говоря, они не еретики. Еретик это тот, кто, приняв святое крещение, знает догматы веры, но отступает от них или борется с ними. Таковыми являются или являлись ариане, новациане, монтанисты, присциллиане, манихеяне, альбигойцы, вальденсы и анабапти-

сты, кальвинисты, с которыми так основательно расправлялся ваш прославленный предок Серебряный Нос и многие другие сектанты или сторонники взглядов, противных учению церкви. Число их велико, ибо многообразие есть свойство заблуждения. Тот, кто впал в ересь, катится по наклонной плоскости; одним расколом порождается другой раскол, итак до бесконечности. Едина только истинная церковь, а прочие рассыпаются мелкой пылью. Я нашел у Боссюэ *, ваша светлость, великолепное определение для еретика: «Еретик, — говорит Боссюэ, — это тот, кто имеет собственные взгляды, руководится своим мнением и своим личным чувством». Но еврей, не сподобившийся таинства крещения и познания истины, не может быть назван еретиком.

Да мы и видим, что инквизиция никогда не преследовала евреев за то, что они евреи, и если она предавала их светскому правосудию, то только как осквернителей святыни, богохульников или совратителей правоверных. Евреи, ваша светлость, должны быть скорее отнесены к неверным, как называют всех, кто не был крещен, кто не приобщился истин христианской веры. При этом, однако, нельзя причислять их к неверным в том же смысле, что и магометан или каких-либо идолопоклонников. Система вечных истин отводит евреям совершенно особое место. Богословие дает им определение, соответствующее их роли в священном предании. В средние века их называли «свидетельствующими». Сила и меткость этого термина достойны восхищения. Действительно, господь хранит евреев как живое свидетельство и подтверждение слов и деяний, лежащих в основе нашей религии. Не надо думать, что господь намеренно порождает в них слепое упорство, чтобы оно служило доказательством истинности христианской веры. Евреи коснеют в своем упорстве по свободному произволу, а бог лишь пользуется этим, дабы укрепить нас в нашей вере. Ради того он и сохраняет евреев среди прочих народов.

— А между тем, — сказал г-н де Бресе, — они отнимают у нас наши деньги и подрывают нашу национальную мощь.

— И оскорбляют армию, — вставил генерал Картье де Шальмо, — или, вернее, поручают оскорблять ее своим наемным брехунам.

— Это — преступление, — кротко сказал аббат Гитрель. — Спасение Франции — в единении духовенства и армии.

— Почему же в таком случае, господин аббат, вы защищаете евреев? — спросил герцог де Бресе.

— Я далек от того, чтобы защищать их, — возразил аббат Гитрель, — напротив, я осуждаю их за непростительное заблуждение, за их неверие в божественность Иисуса Христа. В этом пункте их упорство непоколебимо. То, во что они веруют, достойно веры, но не во все, что достойно веры, они веруют. Тем самым они и навлекли на себя осуждение. Оно тяготеет над всем народом, а не над отдельными личностями, и не касается израильтян, принявших христианство.

— А мне крещеные евреи не менее противны и, пожалуй, еще противнее, чем прочие, — сказал г-н де Бресе. — Я ненавижу их расу.

— Позвольте мне этому не поверить, ваша светлость, — ответил аббат Гитрель, — ибо это было бы прегрешением против веры и милосердия. И вы, без сомнения, разделяете мою мысль о том, что надо, до известной степени, питать признательность к некрещеным евреям за их добрые намерения и их щедроты в отношении наших богоугодных заведений. Нельзя, например, отрицать, что семьи Р. и Ф. подали в этом случае пример, которому должны бы подражать все христианские дома. Скажу даже, что госпожа Вормс-Клавлен, хотя еще не принявшая открыто католичества, последовала во многих случаях истинно ангельскому внушению. Супруге префекта мы обязаны той терпимостью, которая проявляется в нашем департаменте к преследуемым по поводу конгрегационным школам.

Что же касается баронессы де Бонмон, то она хоть и еврейка по рождению, но христианка по поступкам и по духу и в известной степени подражает тем благочестивым вдовам прошлых веков, которые уделяли церквям и бедным часть своих богатств.

— Эти Бонмоны немецкого происхождения, и их настоящее имя Гутенберг, — заметил г-н Лерон. — Дед разбогател на изготовлении абсента и вермута, — словом, на ядах; его трижды судили за злостное надувательство и фальсификацию. Отец, промышленник и финансист, составил скандальное состояние на спекуляциях и хищнических скупках. Впоследствии его вдова преподнесла золотую дароносицу его преосвященству епископу Шарло. Эти люди напоминают мне двух стряпчих, которые, после проповеди доброго отца Майяра, перешептывались друг с другом на паперти: «Значит, положено возмещать?»

— Замечательно, — продолжал г-н Лерон, — что у англичан еврейский вопрос вовсе не существует.

— Потому что у них не такой характер, кровь не такая кипучая, как у нас, — отвечал г-н де Бресе.

— Безусловно, — сказал г-н Лерон, — весьма ценное замечание, ваша светлость. Но причины, быть может, заключаются еще в том, что англичане помещают свои капиталы в промышленность, тогда как наше трудолюбивое население вкладывает деньги в сбережения, то есть отдает их в руки спекулянтам, а значит — евреям. Все зло в том, что у нас сохранились установления, законы и нравы революции. Спасенье в одном: в быстром возврате к старому режиму.

— Да, это верно, — задумчиво произнес герцог де Бресе.

Так шли они, беседуя между собой. Вдруг по дороге, предоставленной в пользование жителям местечка покойным герцогом, быстро, весело, шумно пронесся шарабан с фермершами в украшенных цветами шляпах и с землепашцами в блузах; среди них восседал рыжебородый весельчак с трубкой во рту, делавший вид, будто целится из своей трости в фазанов. То был доктор Котар, новый депутат бресейского округа, бывшего ленного владения герцогов де Бресе.

— По меньшей мере странное зрелище, — сказал г-н Лерон, стряхивая с себя пыль, поднятую шарабаном. — Какой-то лекарь Котар, ваша светлость, представляет в палате бресейский округ, который ваши предки в течение восьми столетий покрывали славой

и осыпали щедротами. Вчера я еще читал в книге у господина де Термондра письмо, написанное вашим прапрадедом в тысяча семьсот восемьдесят седьмом году и свидетельствующее о его сердечной доброте. Помните ли вы это письмо, ваша светлость?

Господин де Бресе отвечал, что помнит, но не во всех подробностях.

И г-н Лерон стал тут же цитировать на память главные места этого трогательного письма: «Я узнал, — писал добрый герцог, — что, к огорчению жителей Бресе, им не позволяют собирать землянику в моих лесах. Подобные меры приведут к тому, что меня начнут ненавидеть, а это доставит мне величайшее огорчение на свете».

— В очерке господина де Термондра, — продолжал г-н Лерон, — я нашел и другие интересные подробности из жизни доброго герцога де Бресе. Ведь именно здесь он переждал самые тревожные времена, и никто его не трогал. Его благодеяния заслужили ему во время революции и любовь и уважение его бывших вассалов. Взамен титулов, отнятых у него декретом Национального собрания, он получил чин командира бресейской национальной гвардии. Господин де Термондр сообщает нам также, что двадцатого сентября тысяча семьсот девяносто второго года муниципалитет Бресе отправился во двор замка и посадил там дерево Свободы, повесив на нем табличку: «Во славу доблести».

— Господин де Термондр, — заметил герцог, — почерпнул эти сведения из наших семейных архивов. Я предоставил ему доступ к ним, К сожалению, у меня никогда не было досуга, чтобы лично с ними ознакомиться. Герцог Луи де Бресе, о котором вы говорите, прозванный «добрым герцогом», умер от огорчения в тысяча семьсот девяносто четвертом году. Он отличался благожелательным характером, которому даже революционеры отдавали дань почтения. Все признают, что он прославился верностью королю; он был хорошим отцом, хорошим мужем, а для своих вассалов — хорошим господином. Не надо придавать веры лживым разоблачениям некоего Мазюра, департаментского архивария, который утверждает, что добрый герцог был

в интимных отношениях с самыми хорошенькими из своих вассалок и охотно пользовался правом первой брачной ночи. Да и само существование такого права весьма сомнительно, и я лично не нашел никаких следов его в архивах Бресе, частью уже разобранных.

— Если это право и существовало в каких-либо провинциях, — пояснил г-н Лерон, — то оно ограничивалось данью мясом или вином, которую крепостные должны были приносить своему господину при заключении брака. Мне помнится, что в некоторых местностях они выплачивали эту дань звонкой монетой и что она составляла три су.

— Я полагаю, — заявил г-н де Бресе, — что добрый герцог не дает никакого повода к обвинениям, возведенным на него этим господином Мазюром, о котором мне говорили, как о личности неблагонадежной. К сожалению...

Господин Бресе испустил легкий вздох и продолжал болеть тихим, приглушенным голосом:

— К сожалению, добрый герцог читал слишком много дурных книг. В библиотеке замка нашли полные собрания сочинений Вольтера и Руссо в сафьяновых переплетах с нашим гербом. Герцог находился до известной степени под пагубным влиянием, которое оказывали философские идеи в конце восемнадцатого века на все классы нации и даже, надо признаться, на высшее общество. Он питал страсть к писательству. У меня хранится рукопись оставленных им «Мемуаров». Госпожа де Бресе и господин де Термондр заглядывали в нее. Эти «Мемуары» поразительно отдают вольтерианский духом. В отдельных местах у герцога проскальзывает благосклонное отношение к энциклопедистам. Он был в переписке с Дидро. Вот почему я и не считал возможным разрешить опубликование этих мемуаров, несмотря на просьбы нескольких местных ученых и даже самого господина де Термондра.

Добрый герцог недурно владел стихом. Он заполнял целые тетради мадригалами, эпиграммами и разными повестушками. Это извинительно. Но менее извинительно то, что он позволял себе в своих легкомысленных стихах насмешки над церковными обрядами и даже

над чудесами, которые творились здесь с благословения Бельфейской божьей матери. Прошу вас, господа, не распространять этого. Все должно остаться между нами. Я был бы в отчаянии, если бы подобные черточки прошлого дали пищу общественному злословию и наглому любопытству таких господ, как Мазюр. Герцог Луи де Бресе был моим прапрадедом. Я очень щепетилен в вопросах чести. Надеюсь, вы меня за это не осудите.

— Из приведенных вами фактов можно, ваша светлость, извлечь чрезвычайно поучительный и весьма утешительный вывод, — сказал аббат Гитрель. — Они приводят нас к убеждению, что Франция, вставшая в восемнадцатом веке в неверие до самих верхов и настолько зараженная нечестием, что даже такие почтенные люди, как ваш прапрадед, предавались ложной философии, — что Франция, говорю я, наказанная за свои грехи ужасной революцией, последствия которой чувствуются и поныне, уже обращается к раскаянию и переживает возрождение веры во всех классах нации и особенно в самых высших классах. Пример, подаваемый вами, герцог, не пропадет даром; тогда как восемнадцатое столетие в целом может быть сочтено за век греха, девятнадцатое столетие, если бросить на него общий взгляд, следует, мне кажется, назвать веком покаянного искупления.

— Дай бог, чтобы вы были правы, — вздохнул г-н Лерон. — Но не смею надеяться. Сталкиваясь, по своей юридической профессии, с народной массой, я наблюдаю в ней равнодушие или даже враждебность к религии. Простите меня, господин аббат, но мой житейский опыт побуждает меня скорее разделять глубокую грусть аббата Лантеня, чем ваш оптимизм. Да и зачем далеко ходить: разве вы не видите, что над христианской землей Бресе владевает доктор Котар, атеист и франкмасон?

— А почему знать, — сказал генерал, — не победит ли господин де Бресе доктора Котара на следующих выборах? Мне передавали, что борьба возможна и что довольно большое число избирателей склонно голосовать за замок.

— Мое решение непоколебимо, — возразил г-н де Бресе. — Ничто не заставит меня изменить его. Я не выставлю своей кандидатуры. Для того чтобы представлять бресейских избирателей, ни я не гожусь бресейским избирателям, ни бресейские избиратели мне не годятся.

После провала на выборах эта тирада была ему подсказана его секретарем г-ном Лакрисом, и с тех пор герцогу нравилось повторять ее при всяком удобном случае.

В этот момент герцог и его гости увидели трех дам, которые, спустившись с крыльца, приближались к ним по главной аллее парка.

То были три дамы де Бресе: мать, супруга и дочь нынешнего герцога, высокие, массивные, с гладко зачесанными прямыми волосами, с загорелыми веснушчатými лицами, в черных шерстяных платьях и грубых башмаках. Они направлялись в часовню Бельфейской божьей матери, расположенную у источника, на полдороге между поселком и замком.

Генерал предложил сопроводить дам.

— Отличная мысль, — сказал г-н Лерон.

— Безусловно, — поддержал его аббат Гитрель, — тем более что святилище, реставрированное попечением его светлости, поистине великолепно.

Аббат питал особое пристрастие к часовне Бельфейской божьей матери. Он изложил ее историю в археологической и душевспасительной брошюре с целью привлечь в часовню богомольцев. Основание святилища относилось, по его данным, к царствованию Клотария II *. «В ту эпоху, — повествовал историк, — святой Аустрегисил, обремененный годами и трудами, изможденный апостольским подвижничеством, своими руками построил себе хижину в этом пустынном месте, дабы в благоговейном созерцании дожидаться часа блаженной кончины, а также возвел часовню для чудотворной статуи пресвятой девы». Это утверждение пылко оспаривалось в «Маяке» г-ном Мазюром. Департаментский архивариус стоял на том, что культ Марии возник гораздо позднее VI века и что в эпоху, к которой приурочивают существование Аустрегисила, еще не было статуй богоматери. На это г-н Гитрель отвечал

в «Религиозной неделе», что даже друиды еще до рождества Христова почитали изображения богородицы, которой только предстояло зачать, и что таким образом на нашей древней земле, где почитанию святой девы предначертано было расцвести с особенной пышностью, у Марии еще до появления ее на свет были свои алтари и изображения, основанные, так сказать, на пророчествах, подобных предсказаниям сивилл; а следовательно, нечего удивляться тому, что у св. Аустрегисила, современника Клотария II, была статуя святой девы. Г-н Мазюр назвал аргументы аббата Гитреля бреднями. Никто, впрочем, не читал этой полемики, кроме г-на Бержере, который интересовался всем.

«Святынище, сооруженное св. апостолом, — писал далее в своей брошюре аббат Гитрель, — было перестроено с большим благолепием в XIII столетии. Во времена религиозных войн, опустошивших страну в XVI веке, протестанты сожгли часовню, но не могли уничтожить статую, которая чудом уцелела среди пламени. Святыня была восстановлена по желанию короля Людовика XIV и его набожной родительницы, но в эпоху террора разрушена до основания комиссарами Конвента, которые перенесли чудотворную статую вместе с прочим достоянием часовни во двор замка Бресе и сожгли на потешном костре. Только ступня божьей матери была, по счастью, спасена из пламени одной доброй крестьянкой, свято сохранившей ее под старым бельем на дне котла, где эта ступня и была обнаружена в 1815 году. Ее приделали к новой статуе, исполненной в Париже щедротами покойного герцога де Бресе». Далее аббат Гитрель перечислял чудеса, которые были сотворены начиная с VI века и по наши дни благодаря заступничеству Бельфейской божьей матери. Обычно ей молились об исцелении от простуды и легочных болезней, но аббат Гитрель утверждал, что в 1871 году она отвратила от поселка и замка Бресе немецких солдат и чудесно исцелила от ран двух ардешцев *, рядовых подвижной гвардии, которых направили в замок Бресе, отведенный в ту пору под госпиталь.

Они дошли до впадины узкой долины, где между мшистыми камнями струился ручей. Там, на фундаменте из песчаника, окруженная карликовыми дубами, высилась часовня Бельфейской божьей матери, недавно построенная по планам епархиального архитектора г-на Катрбарба в новомодном благолепном стиле, который высшее общество считало готическим.

— Эта часовня, — сказал аббат Гитрель, — сожженная в тысяча пятьсот пятьдесят девятом году кальвинистами и разоренная революционерами в тысяча семьсот девяносто третьем году, представляла лишь груды развалин. Подобно новому Неемии *, герцог де Бресе недавно восстановил святилище. В этом году папа щедро снабдил молельню индульгенциями, вероятно с намерением оживить здесь культ приснодевы. Монсеньер Шарло сам приезжал для совершения святого таинства. И с тех пор паломники стекаются сюда толпами. Они приходят со всех концов епархии и даже из соседних епархий. Несомненно, что это рвение, этот приток богомольцев принесут благодать нашему краю. Мне самому выпало счастье привести к стопам Бельфейской богоматери несколько почтенных семейств из Тентельрийского предместья, и с дозволения герцога де Бресе я уже не раз служил обедню перед этим благословенным алтарем.

— Это правда, — отозвалась г-жа де Бресе. — Я вижу, что господин Гитрель проявляет больше внимания к нашей часовне, чем наш бресейский кюре.

— Ах, уж этот добрейший Травьес! — воскликнул герцог. — Он отличный священник, но страстный охотник. Только и думает о том, как бы пострелять куропаток. На днях, возвращаясь домой после соборования умирающего, он уложил три штуки.

— Теперь, господа, часовня видна сквозь оголенные ветви, — сказал аббат Гитрель, — а летом она прячется в густой зелени.

— Одной из причин, побудивших меня восстановить часовню Бельфейской божьей матери, — заявил г-н де Бресе, — был боевой клич нашего рода; как я доискался в своих архивах, он гласил: «Бресе и мать божья!»

— Любопытно, — заметил генерал Картье де Шальмо.

— Не правда ли? — сказала г-жа де Бресе.

В тот момент, когда дамы де Бресе вместе с г-ном Лероном переходили через ручей по сельскому мосту, примыкавшему к площадке часовни, из зарослей по ту сторону рва выскользнула девочка лет тринадцати — четырнадцати, оборванная, с белесыми волосами и таким же лицом, взбежала по ступенькам и шмыгнула в молельню.

— Это Онорина, — сообщила г-жа де Бресе.

— Мне давно хотелось на нее посмотреть, — отвечал г-н Лерон. — Благодарю вас, сударыня, за то, что вы предоставили мне случай удовлетворить мое любопытство. О ней столько говорят.

— Действительно, — заметил генерал Картье де Шальмо, — эта юная девица была предметом настоящих изысканий.

— Господин де Гуле, — сказал аббат Гитрель, — усердно посещает Бельфейское святилище. Он проводит целые часы подле той, которую называет своей матерью.

— Мы очень любим господина де Гуле, — ответила г-жа де Бресе. — Как жаль, что он такого слабого здоровья!

— Увы! — подтвердил аббат Гитрель. — Его силы слабеют с каждым днем.

— Ему следовало бы беречь себя, отдохнуть, — сказала г-жа де Бресе.

— Да разве он может, сударыня! — ответил аббат Гитрель. — Епархиальное управление не дает ему ни минуты передышки.

Войдя в часовню, три дамы де Бресе, генерал, аббат Гитрель, г-н Лерон и г-н де Бресе увидели Онорину в экстазе у подножья алтаря.

Стоя на коленях, сложив руки и вытянув шею, девочка так и застыла. Уважая молитвенное состояние, в котором она пребывала, все молча увлажнили чело святой водой и стали медленно переводить взгляды с готического дарохранилища на витражи, где были изображены св. Генрих с чертами графа Шамбора, св.

Иоанн Креститель и св. Гвидон, чьи лики были написаны по фотографиям графа Жана, скончавшегося в 1867 году, и покойного графа Ги, члена Бордоского собрания 1871 года *.

Статуя Бельфейской божьей матери, возвышавшаяся над алтарем, была прикрыта фатой. Но по левую сторону от алтаря, над кропильницей, на фоне стены, расцвеченной пестрыми красками, стояла во всем блеске статуя Лурдской божьей матери, опоясанная голубым шарфом.

Генерал обратил на нее почтительный взор, в котором сказывалась пятидесятилетняя привычка к субординации, и созерцал шарф, словно то был флаг дружественной державы. Он всю жизнь был спиритуалистом; веру в будущую жизнь он почитал основой воинской службы; возраст и болезнь сделали его набожным, и он усердно посещал церковную службу. Уже несколько дней, не показывая виду, он чувствовал смятение или, по меньшей мере, уныние, навеянное недавними происшествиями *. Его прямодушие было напугано этим ураганом речей и страстей. Он мысленно обратился с молитвой к Лурдской божьей матери, прося ее защитить французскую армию.

Теперь все — и дамы, и герцог, и адвокат, и священник — неотступно смотрели на продранные башмаки неподвижной Онорины. В серьезном, сосредоточенном, мрачном восхищении застыли они перед этой окостеневшей спиной дикой кошки. И г-н Лерон, мнивший себя наблюдателем, производил наблюдения. Наконец Онорина очнулась от экстаза. Встала, отвесила поклон алтарю, обернулась и, словно удивленная присутствием стольких лиц, остановилась, обеими руками подбирая волосы, спадавшие ей на глаза.

— Ну, как, милое дитя, видели вы на этот раз богородицу? — спросила г-жа де Бресе.

Онорина перестроила для ответа свой голос на тот взвизгивающий тон, в котором отвечала затверженные места на уроке катехизиса.

— Да, сударыня. Добрая мать божья побывала здесь довольно долго; затем она свернулась, как холст... а затем я уж больше ничего не видела.

— Она говорила с вами?
— Да, сударыня.
— Что же она вам сказала?
— Она сказала: «Дома много беды».
— Больше она ничего не говорила?
— Она сказала: «Много будет беды в деревнях с урожаем и скотом».

— А не говорила ли она, что надо быть умницей?

— «Надо усердно молиться», сказала она. А еще она сказала так: «Прощай. Дома много беды».

Слова девочки звенели среди величественной тишины.

— Святая дева была очень красива? — продолжала свои расспросы г-жа де Бресе.

— Да, сударыня, только ей не хватало одного глаза и одной щеки, — это потому, что я недомолилась.

— Была ли у нее на голове корона? — спросил г-н Лерон, который, будучи судейским, отличался любопытством и склонностью к расспросам.

Онорина замаялась, опять напустила на себя угрюмость и ответила:

— Корона была подле ее головы.

— Направо или налево? — продолжал допрашивать г-н Лерон.

— Направо и налево, — отозвалась Онорина.

Госпожа де Бресе пришла ей на помощь:

— Вы, вероятно, хотите сказать, дитя мое: то направо, то налево. Не правда ли?

Но Онорина не ответила.

Она иногда замыкалась в какое-то дикое молчание, опускала глаза, терлась подбородком о плечо и поводила бедрами. Ее перестали спрашивать. Она выскользнула из часовни, а г-н де Бресе стал давать разъяснения.

Онорина Порише, дочь земледельцев, издавна основавшихся в Бресе и впавших в горькую нищету, была в детстве болезненным ребенком. Тупая и умственно недоразвитая, она сперва слыла слабоумной. Священник ставил ей в упрек ее дикий нрав и привычку прятаться в лесах. Он не питал к ней расположения. Но просвещенные духовные лица, видевшие ее и беседовавшие

с ней не нашли в ней ничего дурного. Она посещала церкви и погружалась там в состояние глубокого раздумья, не свойственное ее возрасту. Перед первым причастием она стала еще набожнее. В это время она заболела горловой чахоткой, и врачи отчаялись в ее выздоровлении. Доктор Котар тоже считал ее безнадежной. После освящения часовни Бельфейской божьей матери монсеньером Шарло Онорина стала усердно посещать ее. Там она впадала в экстаз, и у нее были видения. Ей явилась святая дева, которая сказала: «Я Бельфейская божья мать». Однажды Мария приблизилась к ней, прикоснулась к ее горлу и объявила ей, что она исцелилась.

— Онорина сама рассказала об этом необыкновенном факте, — добавил г-н де Бресе. Она повторила это несколько раз с полным простодушием. Некоторые утверждают, что она меняла свои показания. Но эти расхождения безусловно касаются только второстепенных подробностей. Совершенно несомненно то, что она внезапно избавилась от недуга, который ее изнурял. После чудесного явления святой девы врачи исследовали и выслушали Онорину и не обнаружили никаких ненормальностей ни в бронхах, ни в легких. Даже сам доктор Котар признался, что ничего не понимает в таком выздоровлении.

— Что вы думаете об этих фактах? — спросил у аббата Гитреля г-н Лерон.

— Они достойны всяческого внимания, — отвечал священник. — Они наводят непредвзятого наблюдателя на всякого рода мысли. Их надо основательно изучить. Большого я сказать не могу. Я не стану, конечно, подобно господину Лантеню, дерзко и презрительно отметать столь интересные, столь утешительные явления. Но я не позволю себе также назвать их чудесами, как это делает господин де Гуле. Я воздерживаюсь.

— В истории юной Онорины Порише, — сказал г-н де Бресе, — следует отметить, с одной стороны, действительно необыкновенное исцеление, которое, осмелюсь сказать, противоречит самой медицине, и, с другой стороны, — видения, которые, по словам

Онорины, ниспосланы ей свыше. А вы, конечно, знаете, господина аббата, что глаза этой девушки были сфотографированы во время одного из видений; снимок, полученный фотографом, человеком вполне добропорядочным, воспроизводил изображение богоматери, запечатлевшееся в зрачке у ясновидицы. Солидные лица утверждают, что видели эту фотографию и разглядели на ней при помощи сильной луны статую Бельфейской божьей матери.

— Эти факты достойны внимания, — ответил аббат Гитрель, — они достойны самого сугубого внимания. Но следует избегать поспешных суждений и преждевременных выводов. Не будем подражать маловерам, которые торопятся делать заключения по прихоти своих страстей. Церковь очень осторожна в вопросе о чудесах. Она требует доказательств, неопровержимых доказательств.

Господин Лерон осведомился о возможности достать фотографию, на которой запечатлелось изображение пресвятой девы в зрачке Онорины Порише, и г-н де Бресе обещал написать по этому поводу фотографу, державшему мастерскую в городе, помнится, на площади св. Экзюпера.

— Что бы там ни было, — заметила г-жа де Бресе, — эта маленькая Онорина очень порядочная, очень нравственная девочка, и только благодаря благословиению свыше, потому что ее родители, которых донимают нужда и болезни, совсем ее забросили. Я удостоверилась, что она ведет себя хорошо.

— А это далеко не всегда свойственно девочкам ее возраста в деревне, — добавила вдовствующая герцогиня де Бресе.

— К сожалению, это более чем верно, — отозвался г-н де Бресе. — В земледельческих классах нравственность падает все ниже и ниже. Я расскажу вам, генерал, потрясающие случаи. Но Онорина — сама невинность.

Пока эта беседа велась на паперти часовни, Онорина разыскала Изидора в гершийских зарослях. Изидор ждал ее там на ворохе листьев. Он ждал с нетерпением, так как рассчитывал, что она принесет ему чего-нибудь

съестного или несколько су, но он ждал ее и просто из любви к ней, потому что был ее сердечным дружкой. Он-то и предупредил Онорину, чтобы она побежала в часовню и впала в экстаз, как только завидел дам и господ из замка, направлявшихся к Бельфейской божьей матери.

Изидор спросил:

— Что они тебе дали? Покажи-ка!

А так как она не принесла ничего, то он прибил ее, впрочем, не больно. Она исцарапала его и укусила. Затем она сказала:

— Ну, к чему все это?

Он ответил:

— Поклянись, что тебе ничего не дали!

Она поклялась. И высосав кровь, выступившую на их тощих руках, они помирились. А так как у них иных развлечений и удовольствий не было, то они и обратились к тем, какие могли доставить друг другу. У Изидора, сына распутной женщины, предавшейся пьянству, не было отца. Он проводил жизнь в лесу. Никто о нем не заботился. Хотя он был на два года моложе Онорины, но уже давно приобрел навык в любовных делах. И это было единственное, в чем он никогда не терпел недостатка под деревьями Герши, Ленонвила и Бресе. С Онориной он забавлялся только от безделья, за неимением другого занятия. Онорина проявляла иногда больше темперамента. Но и она не придавала особого значения таким обыденным и пустым делам. Достаточно было появления кролика, птицы, большого насекомого, чтоб ее отвлечь.

Господин де Бресе вернулся с гостями в замок. На холодных стенах вестибюля топорщились оленьи черепа, оленьи рога. Головы молодых и старых оленей, препарированные чучельниками и изъеденные молью, все еще, казалось, выражали ужас затравленного зверя, и эмалевые глаза как будто источали смертную влагу, похожую на слезы. Рога и отростки рогов, побелевшие кости, отрезанные головы, кабаньи морды — все это были трофеи, которыми жертвы прославляли своих

именитых убийц — французских дворян, неаполитанских и испанских Бурбонов. Под монументальную лестницу была задвинута коляска-амфибия, со съемным кузовом в форме лодки, который мог служить во время охоты для переправы через реки. Коляска пользовалась большим почетом за то, что в былые дни возила изгнанных королей.

Аббат Гитрель бережно поставил свой простой старомодный зонт под черную морду огромного кабана и, пройдя первым в левую дверь между двумя вычурными кариатидами Дюсерсо *, вошел в гостиную, где три дамы де Бресе, уже успевшие возвратиться в замок, сидели с г-жой де Куртре, своей соседкой и приятельницей.

Одетые во все черное из-за непрерывного траура то по ком-либо из родных, то по какой-либо августейшей особе, простые в обращении, похожие с виду на скромных помещиц, или на монахинь, эти дамы вели беседу о браках и смертях, о болезнях и лекарствах. На сильно почерневшей росписи потолка и панелей здесь и там выглядывали то седея борода Генриха IV, которого держала в объятиях полногрудая Минерва, то бледный лик Людовика XIII, стиснутого между фламандскими боками Победы и Милосердия в развевающихся туниках, то кирпично-красная нагота старца Хроноса, заботливо оберегающего лилии, и везде и повсюду — пухлые, в ямочках тельца маленьких амуров, поддерживающих гербовый щит Бресе с тремя золотыми факелами.

Вдовствующая герцогиня де Бресе вязала из черной шерсти косынки для сироток. Это вязанье непрестанно давало работу ее рукам и утеху ее сердцу с тех отдаленных времен, как она выстегала одеяло, под которым должен был почивать в Шамборе король.

На консолях, на столах было расставлено множество фотографий в рамках всевозможных расцветок и форм, плюшевых, хрустальных, никелевых, фарфоровых, шагреновых, из резного дерева и из тисненой кожи. Были там позолоченные рамки, — и в виде подковы, и в виде палитры с красками и кистями, и в виде каштанового листа или бабочки. А из этих рамок глядели женщины,

мужчины, дети, родственники или свойственники, представители Бурбонской династии, прелаты, граф Шамбор и папа Пий IX. Направо от камина, на старинной консоли, поддерживаемой позолоченными турками, монтеньер Шарло, словно духовный отец, улыбался во все свое широкое лицо молодым военным, теснившимся вокруг него, — офицерам, унтер-офицерам, простым солдатам, носившим на голове, на шее и на груди все те воинские украшения, которые демократическая армия еще оставила своей кавалерии. Он улыбался юношам в велосипедных костюмах или в костюмах для игры в поло; он улыбался девушкам. Всюду, даже на передвижных столиках, стояли портреты дам всех возрастов; у некоторых были резкие, почти мужские черты лица, две или три были очаровательны.

— О! Госпожа де Куртре! — воскликнул г-н де Бресе, входя вслед за генералом. — Здравствуйте, сударыня!

И, возобновляя в углу просторной гостиной разговор, начатый в парке с г-ном Лероном, он продолжал:

— В конечном счете у нас осталась только армия. Только она одна уцелела из всего того, что некогда составляло силу и величие Франции. Парламентская республика расшатала государственное управление, скомпрометировала судебную власть, развратила общественные нравы. Только армия устояла на этих развалинах. И посягать на нее, по-моему, кощунство.

Он замолк. Не умея вдаваться в суть вопросов, он обычно ограничивался общими фразами. Благородство его образа мыслей было неоспоримо.

Госпожа де Куртре, перед тем погруженная в рассуждения о целебных отварах, подняла голову и повернула к нему свое лицо, напоминавшее физиономию старого лесного сторожа.

— Надеюсь, вы уведомили эту газету, стакнувшуюся с врагами армии и отечества, о том, что вы больше на нее не подписываетесь. Муж отослал в редакцию номер, где напечатана статья... ну, вы знаете... эта гнусная статья...

— Мой племянник, — ответил г-н де Бресе, — пишет мне, что у него в клубе вывесили обращение, пред-

лагающее всем членам клуба не абонироваться больше на эту газету, — и под ним уже имеется множество подписей. Присоединились почти все члены, оставляя за собой лишь право покупать газету отдельными номерами.

— Армия стоит выше всяких нападков, — заявил г-н Лерон.

Генерал Картье де Шальмо нарушил свое молчание:

— Рад слышать это от вас. Если бы вам пришлось пожить, подобно мне, среди солдат, вы были бы приятно изумлены выносливостью, дисциплинированностью, усердием и бодрым настроением, благодаря которым наш рядовой является первоклассным тактическим оружием. Я не устану повторять: такие войсковые части всегда будут на высоте любой задачи. Как командир, достигший конца своей карьеры, я позволю себе решительно заявить, что по своему воинскому духу французская армия заслуживает всяческих похвал. Надо отдать должное и настойчивому рвению, с каким некоторые выдающиеся лица высшего командования занимались организацией армии; и, смею заверить, их усилия увенчались блестящими успехами.

Он понизил голос и продолжал еще более внушительно:

— Мне остается только высказать ту истину, что в отношении людского состава качество предпочтительнее количества, и надо делать упор на формирование отборных частей. Я уверен, что ни один великий полководец не станет оспаривать этих утверждений. Мой воинский завет выражается в следующей формуле: «Количество — это ничто. Качество — это все». Добавлю еще, что армии необходимо единство командования и что этот огромный организм должен повиноваться единой, верховной, непреложной воле.

Он умолк. Его бесцветные глаза были подернуты слезами. Смутные, невыразимые чувства овладели душой этого честного и простосердечного старца, некогда красивейшего капитана императорской гвардии, теперь больного, дряхлого, затерявшегося, как в лесу, среди нового военного мира, которого он не понимал.

А г-жа де Куртре, не выносившая теорий, бросила на

него свой характерный взгляд, придававший ей сходство с угрюмым стариком.

— Но, генерал, если армия, слава богу, пользуется всеобщим уважением, если она единственная сила, вокруг которой мы все сплотились, то почему бы ей не завладеть государственной властью? Разве нельзя послать полковника с полком в Бурбонский дворец и в Елисейский?..

Но, заметив, что чело генерала омрачилось, она умолкла.

Герцог жестом пригласил г-на Лерона проследовать за ним в библиотеку.

— Вы еще не видели библиотеки, господин Лерон? Я вам ее покажу. Вы любите старинные книги. Я уверен, что она вас заинтересует.

Они прошли по обширной пустой галерее, потолок которой был расписан тяжеловесной живописью, изображавшей победу Аполлона и Людовика XIII над врагами королевства в образе фурий и гидр. Г-н де Бресе провел адвоката конгрегаций в залу, где в 1705 году, уже на исходе жизни и благосостояния, герцог Ги, маршал Франции, губернатор провинции, поместил библиотеку.

Эта квадратная зала занимала весь нижний этаж западного крыла и освещалась с севера, с запада и с юга тремя незанавешенными окнами, откуда открывались три светлых, прелестных и великолепных вида: на юге — лужайка, мраморная ваза с двумя дикими голубями, деревья парка, оголенные зимней стужей, и в глубине аллеи, залитой багрянцем, — бассейн Галатеи с белыми статуями; на западе — низина, и над ней простор небес и солнце, словно лучезарное золотое мифологическое яйцо *, расколотое и пролившееся на облака; на севере — озаренные более четким, холодным светом отлогие пашни, лиловая земля, далекий дымок над аспидными кровлями Бресе, тонкая игла колокольни при маленькой церковке.

Стол в стиле Людовика XIV, два кресла, глобус XVIII века с розой ветров на необследованных про-

странствах Тихого океана составляли всю меблировку этой строгой комнаты. Забранные решетками шкафы закрывали стены до самого потолка. Деревянные полки, выкрашенные в серый цвет, возвышались даже над старинным камином с малахитовой облицовкой. А за решетками из золоченой медной проволоки виднелись корешки древних фолиантов с тиснеными виньетками.

— Основание библиотеке положил маршал, — сказал г-н де Бресе. — Его внук герцог Жан значительно обогатил ее при Людовике Шестнадцатом, и он-то обставил ее так, как вы теперь видите. С тех пор в ней почти ничего не переделывали.

— У вас есть каталог? — спросил г-н Лерон.

Герцог ответил, что каталога нет и что у него никогда не было времени заняться этим вопросом, хотя г-н де Термондр, большой любитель старинных книг, настойчиво уговаривал его заказать каталог.

Он отворил один из шкафов, и г-н Лерон вынул оттуда поочередно несколько томов разных размеров: в восьмую, в четвертую долю листа и в целый лист. Они были переплетены в кожу, «под мрамор», «под дерево», «под гранит», в пергамент, в красный и синий сафьян, — и у всех на крышках был герб с тремя факелами, увенчанный герцогской короной.

Господин Лерон не был утонченным библиографом; тем не менее он пришел в восторг, когда наткнулся на великолепно переписанную рукопись «Королевской десятины», преподнесенную маршалу самим Вобаном *.

Рукопись была украшена фронтисписом, а также несколькими виньетками и концовками.

— Это рисунки от руки? — спросил г-н Лерон.

— Вероятно, — отвечал г-н де Бресе.

— Они подписаны, — заметил г-н Лерон. — Мне кажется, что я разобрал имя Себастиана Леклерка *.

— Весьма возможно, — подтвердил герцог.

Господин Лерон заметил в этих богатых шкафах сочинения Тильемона по римской истории и по истории церкви, «Свод обычного права» местной провинции, бесчисленные «Трактаты» средневековых законовевдов. Он перебрал труды, посвященные богословию, церковной полемике, житиям святых, объемистые родословные,

старинные издания греческих и латинских классиков и еще огромные книги, размером больше географических атласов, описывающие бракосочетание короля, торжественный въезд короля в Париж, празднества по случаю исцеления короля и по случаю его побед.

— Это наиболее старый фонд библиотеки, приобретенный еще маршалом, — объяснил г-н де Бресе. — А вот, — добавил он, открывая два-три других шкафа, — приобретения герцога Жана.

— Министра Людовика Шестнадцатого, «доброе герцога», как его называли? — спросил г-н Лерон.

— Да, — ответил г-н де Бресе.

Собрание герцога Жана покрывало всю стену около камин и всю стену со стороны поля и поселка. Г-н Лерон прочел вслух заглавия, оттиснутые золотом на богатых корешках, между двумя выпуклыми прожилками: «Методическая энциклопедия», сочинения Монтескье, Вольтера, Руссо, аббата Мабли, Кондильяка *, «История европейских установлений в Индии» Рейналя *. Затем он перелистал украшенные виньетками книжки малых поэтов и новеллистов — Грекура, Дора, Сен-Ламбера *, «Декамерон» с иллюстрациями Марийе *, сочинения Лафонтена в издании генеральных откупщиков.

— Гравюры несколько нескромны, — сказал г-н де Бресе. — Некоторые сочинения той же эпохи мне пришлось изъять, так как рисунки были совершенно зазорны.

Рядом с этими фривольными книгами г-н Лерон обнаружил большое количество трудов по политике и философии, трактаты о рабстве, сборник сообщений. «Война американских повстанцев». Он раскрыл «Обеты отшельника» * и увидел, что поля были густо покрыты заметками, написанными рукою герцога Жана. Он прочел вслух одну из них:

— «Автор прав: люди от природы добры. А дурными делают их ложные принципы общества»... Вот что писал ваш прапрадед в тысяча семьсот девяностом году! — добавил г-н Лерон.

— Любопытно, — сказал г-н де Бресе, ставя книгу обратно на полку.

Затем он открыл шкаф, помещавшийся у северной стены.

— Здесь книги моего деда, бывшего пажем Карла Десятого.

Господину Лерону бросились в глаза переплетенные в темный сафьян, в бурую телячью кожу, в черную полушагрень «Сочинения Шатобриана», собрание «Мемуаров эпохи Революции», «Истории», составленные д'Анктилем, Гизо, Огюстеном Тьерри *, «Курс литературы» Лагарпа *, «Поэтическая Галлия» Маршанжи *, «Речи» г-на Лэне *.

Помимо этой литературы времен Реставрации и июльского правительства, валялись на полках две-три зачитанные брошюры, посвященные Пию IX и светской власти, два-три изодранных романа, панегирик Жанне д'Арк, произнесенный монсеньером Шарло в церкви св. Экзюпера 8 июня 1890 года, и несколько книжек благочестивого содержания для светских дам. То был весь вклад покойного герцога, члена Национального собрания 1871 года, и нынешнего герцога де Бресе в библиотеку, основанную маршалом в 1705 году.

— Позвольте, я запру шкафы, — сказал г-н де Бресе. — Надо быть осторожным: мои сыновья теперь уже взрослые мальчики. Им легко может прийти фантазия порыться в библиотеке. А там есть книги, которые не должны попадаться в руки ни молодому человеку, ни уважающей себя женщине... независимо от возраста.

И г-н де Бресе замкнул шкафы с благонамеренным усердием, приятно убежденный, что заточает сластолюбие, греховное сомнение, безбожие, дурные помыслы. Он испытывал гордую удовлетворенность от того, что запирает на замок всемирное зло. И если к этому чувству и примешивалась некоторая доля простодушного тщеславия и отчасти скрытая зависть невежды, оно все же было безупречно и прекрасно.

Положив связку ключей в карман, герцог с довольным видом повернулся к г-ну Лерону.

— Над библиотекой, — сказал он, — находятся «королевские покоя». В старинных инвентарях так

называется весь верхний этаж. В той же комнате, где действительно ночевал Людовик Тринадцатый, стоит его постель, покрытая старинным одеялом с шелковой вышивкой, сохранившимся с тех времен. На эту комнату стоит взглянуть.

Господин Лерон падал от усталости. Его ноги, годами сгибавшиеся под письменным столом, не выдержали ходьбы по тучному грунту парка, топтания по конюшням, лесного паломничества к Бельфейской божьей матери, — они отекли и ослабели, а ступни ныли от жара и боли, так как адвокат конгрегаций, на свою беду, надел для корректности лакированные ботинки. Он с отчаянием взглянул на потолок и пробормотал:

— Становится поздно. Не пора ли вернуться к дамам?

Господин де Бресе был непреклонен только при осмотре конюшни. В отношении же остальных достопримечательностей владелец замка был гораздо сговорчивей.

— Действительно, темнеет, — сказал он. — Отложим это до другого раза. Направо, господин Лерон, пожалуйста, направо.

В проеме двери бывший помощник прокурора воскликнул:

— Какие стены, ваша светлость, какие стены! Вот так толщина!

Его худое лицо, сохранявшее спокойствие и равнодушие перед охотничьими трофеями вестибюля, перед исторической живописью гостиной, перед роскошными шпалерами, перед великолепным потолком галереи, перед чудесными книгами в тисненном сафьяне, — теперь оживилось, озарилось, восхищенно засияло. Г-н Лерон наткнулся, наконец, на объект, достойный удивления и восторга, раздумья и морального удовлетворения, — на стену! Его судейское сердце, разбитое во цвете лет, одновременно с его карьерой, вступившими в силу «Декретами» *, его душа, преждевременно лишенная наслаждения карать, ликовали при виде стены, этого глухого, немного и мрачного сооружения, навевавшего ему восторженные мысли о тюрьме, о карцере, о нака-

заниях, о социальном возмездии, о своде законов, о правосудии, о морали — одним словом, стены!

— Действительно, стена между галереей и крылом необычайно толста, — подтвердил г-н де Бресе. — Это была внешняя стена первоначального здания замка, построенного в тысяча четыреста пятом году.

Господин Лерон созерцал стену, измерял ее глазами, ощупывал пожелтевшими крючковатыми пальцами, изучал ее, чтил, обожал, упивался ею.

Войдя в гостиную, г-н Лерон сказал дамам де Бресе:

— Сударыни, я осмотрел достопримечательную библиотеку, которую герцог соблаговолил мне показать. По пути я видел удивительную стену, отделяющую крыло от галереи. Не думаю, чтобы даже в Шамборе * нашлось что-либо подобное.

Но ни дамы де Бресе, ни г-жа де Куртре не слушали его. Они были поглощены и взволнованы единой мыслью.

— Жан, — воскликнула г-жа де Бресе, обращаясь к мужу, — Жан, посмотрите!

И она показала ему футляр из красной шагрени, лежащий на столике об одной ножке, около лампы, которую только что принесли. Футляр был в виде шара, увенчанного чем-то вроде наперстка, а спереди украшенного рельефным трилистником. Рядом лежала визитная карточка. На полу у столика, словно белые собачки с голубыми бантами, сгрудились комки папиросной бумаги.

— Жан, посмотрите же!

Аббат Гитрель, стоявший подле столика, почтительно открыл футляр, в котором оказалась золотая дароносица.

— Кто это прислал? — спросил г-н де Бресе.

— Взгляните на карточку... Мне ужасно неприятно. Не знаю, как быть.

Господин де Бресе взял карточку, вставил в глаз монокль и прочел:

*Баронесса де Бонмон —
Бельфейской божьей матери.*

Он положил карточку на стол, спрятал монокль в карман и пробормотал:

— Очень досадно!

— Дароносица, и прекрасная, — сказала аббат Гитрель.

— Когда я в детстве пел на клиросе, — промолвил генерал, — то святые отцы называли такие сосуды дарохранительницами.

— Да, верно, дароносица, или дарохранительница, — ответил аббат Гитрель, — так именуют сосуды, где хранятся святые дары. Но у дарохранительницы цилиндрическая форма и коническая крышка.

Господин де Бресе пребывал в задумчивости, большая мрачная складка пересекала его лоб.

— И зачем только госпожа де Бонмон, эта еврейка, подносит дароносицу Бельфейской божьей матери? Что за зуд у этих иудеев соваться в наши церкви!

Аббат Гитрель, спрятав пальцы в рукава, произнес кротким голосом:

— Позвольте мне заметить, ваша светлость, что баронесса де Бонмон католичка.

— Полноте, — воскликнул г-н де Бресе. — Она австрийская еврейка, урожденная Вальштейн. Настоящая фамилия ее мужа, барона де Бонмон, — Гутенберг.

— Позвольте, ваша светлость, — возразил аббат Гитрель, — я не отрицаю, что баронесса де Бонмон по происхождению еврейка. Я только позволю себе указать, что, обратившись в новую веру и приняв крещение, она стала христианкой, и скажу даже — достойной христианкой. Она не перестает жертвовать на католические богоугодные заведения и подает пример щед...

Герцог прервал его:

— Я знаю ваши воззрения, господин аббат. Я уважаю их, как уважаю ваше звание. Но для меня крещеный еврей — это все тот же еврей. Я не делаю между ними различия.

— Я тоже, — сказала г-жа де Бресе.

— Ваши чувства, герцогиня, в некотором смысле вполне законны, — продолжал аббат Гитрель. — Но нам, конечно, не безызвестно, чему учит нас церковь, а именно: божье проклятие, клеймящее евреев, относится только к их прегрешениям, а не к их расе, и последствия этого осуждения не могут пасть на...

— Какая тяжелая! — воскликнул г-н де Бресе, который, вынув дароносицу из футляра, держал ее на весу.

— Я, право, очень расстроена, — сказала герцогиня де Бресе.

— Очень тяжелая, — повторил г-н де Бресе.

— И к тому же превосходной работы, — добавил аббат Гитрель. — Она отличается той печатью благородства, которая, так сказать, служит клеймом Рондоно-младшего. Только епархиальный ювелир и мог столь умело выбрать модель согласно традициям христианского искусства и воспроизвести столь удачно и точно форму и орнаменту. Эта дароносица — выдающийся шедевр в стиле тринадцатого века.

— Потир и крышка из массивного золота, — сказал г-н де Бресе.

— По канонам литургии, — объяснил аббат Гитрель, — чаша дароносицы должна быть золотая или по крайней мере серебряная, вызолоченная изнутри.

Господин де Бресе перевернул сосуд вверх дном.

— Ножка полая, — сказал он.

— Хоть это утешительно, — воскликнула герцогиня.

Аббат Гитрель взглянул пристально на произведение Рондоно-младшего.

— Будьте уверены, — сказал он, — что и это тоже соответствует стилю тринадцатого века. Да и трудно было выбрать что-либо лучшее. Тринадцатое столетие — золотой век церковного ювелирного искусства. В ту эпоху дароносице придавали очень удачную ферму граната, как вы и видите на этом образце. Широкую, неутончающуюся ножку украшали эмалью и драгоценными камнями.

— Господи! Драгоценными камнями! — воскликнула герцогиня.

— Ангелы, пророки тончайшей работы вычеканены в ромбоидальных медальонах и производят самое приятное впечатление.

— Мошенник он был, этот Бонмон, — вдруг выпалила г-жа де Куртре. — Он был вором, и жена его не возместила краденого.

— Как видите, она начинает возмещать, — ото-

звался г-н де Бресе, указывая пальцем на сверкающую дароносицу.

— Как быть? — спросила супруга герцога.

— Не можем же мы отослать ей обратно подарок, — отвечал г-н де Бресе.

— Почему? — спросила вдовствующая герцогиня.

— Это невозможно, мама.

— Значит, придется его оставить? — сказала г-жа де Бресе.

— Гм!.. Да...

— И поблагодарить ее?

— По-видимому.

— А вы как думаете, генерал?

— Было бы предпочтительнее, — ответил генерал, — чтобы эта дама, поскольку она с вами незнакома, воздержалась от поднесения вам подарков. Но нет оснований отвечать оскорблением на ее любезность. Это очевидно.

Аббат взял дароносицу в свои пастырские руки, приподнял ее и сказал:

— Бельфейская божья мать — я в этом уверен — взглянет благосклонными очами на этот дар, предназначенный благочестивой душой для скинии ее алтаря.

— Но, черт возьми, — сказал г-н де Бресе, — в данном случае Бельфейская божья мать — это я! Если госпожа де Бонмон и ее сынок пожелают получить от меня приглашение, — а они этого наверняка пожелают, — то я буду обязан их принять.

III

Спасаясь от внезапного дождя, настигшего их перед рвом замка, г-жа де Бонмон и г-жа д'Орта добежали по обходной дороге до низкого сводчатого портала, на замковом камне которого виднелся герб с павлином угасшего рода де Пав. Г-н де Термондр и барон Вальштейн присоединились к ним. Все четверо долго не могли отдышаться.

— А где аббат? — спросила г-жа де Бонмон. — Артур, ты оставил аббата в буковой аллее?

Барон Вальштейн ответил сестре, что аббат идет следом за ними.

И вскоре они увидели аббата Гитреля, промокшего, но хладнокровно поднимавшегося по каменным ступеням. В этой суматохе он один сохранил полное достоинство и проявил спокойствие, подобавшее его сану и дородности, заранее обнаружив внушительность поистине епископскую.

Госпожа де Бонмон, розовая от ходьбы, с пышной грудью, вздымающейся под светлым лифом, оправила спереди юбку, обтянув при этом свои крутые бедра; с развевающимися волосами, ясным взглядом, влажными губами, словно олицетворяя собою зрелую венскую Эригону *, она производила впечатление прелестной грозди винограда, налившейся соком и золотистой.

Она спросила несколько густым голосом, не таким пленительным, как ее рот:

— Промокли, господин аббат?

Аббат Гитрель снял широкополую шляпу, пыльный ворс которой был усеян черными точками от дождя, обозрел серыми глазками запыхавшуюся группу, которая испуганно бежала от нескольких капель воды, и сказал не без добродушного лукавства:

— Я намок, но не запыхался.

И добавил:

— Совсем безобидный дождик, насквозь не промочил.

— Пойдемте наверх, — пригласила г-жа де Бонмон.

Она была у себя дома в этом замке Монтиль, который Бернар де Пав, генерал-фельдцейхмейстер, выстроил в 1508 году для Николетты де Восель, своей четвертой жены.

«Род де Пав процветал девятьсот лет, — повествует Перен дю Вердьё в первом томе своей «Сокровищницы родословных». — И с этим домом породнились все владетельные династии Европы, а именно: короли испанские, английские, сицилийские и иерусалимские, герцоги Бретонские, Алансонские, Вандомские и прочие, а равно и семейства Орсини, Колонна и Корнаро». И Перен дю Вердьё многословно распространяется о доблестях «столь именитого рода», давшего церкви

восемнадцать кардиналов и двух пап, французской короне — трех коннетаблей, шесть маршалов и одну королевскую фаворитку.

В Монтильских долинах, начиная с царствования Людовика XII и до революции, была резиденция главных представителей старшей линии де Пав, угасшей в 1795 году, в лице Филиппа VIII, князя де Пав, владельца земель Монтиль, Тоше, ле Пон, Ружен, Бэрлог, Виктуар и прочих мест, знатнейшего королевского приближенного, скончавшегося эмигрантом в Лондоне, где он подвизался в качестве брадоброя в деревянном домишке на Уайт-Кросс-стрит. Его земли, которые он забросил, были проданы во время Директории как национальное имущество и перешли отдельными участками к крестьянам, ставшим родоначальниками буржуазных семейств. Черная банда *, приобретшая замок за пригоршню ассигнаций, принялась было сносить его в 1813 году. Но работы были прерваны после разрушения Галереи фавнов и больше не возобновлялись. В течение двух лет местные жители растаскивали для собственных надобностей свинцовые листы с крыши. В 1815 году г-н де Ре, бывший офицер королевского флота, тайный агент графа Прованского в Голландии и, как говорили, сообщник Жоржа * в покушении на улице Сен-Никез, решил скоротать остаток жизни в родных местах и за несколько сот экю, выклянченные у неблагодарного принца, купил эти разрушенные стены, ставшие пристанищем для его угрюмой нищеты и чуть было не обвалившиеся на него и на его одиннадцать детей, как законных, так и незаконных. После смерти г-на де Ре там проживала его дочь, старая дева, сушившая сливы в покоях славы и великолепия. В одно зимнее утро 1875 года мадемуазель де Ре в возрасте девяти лет и трех месяцев была найдена мертвой на дырявом и гнилом соломенном тюфяке в комнате, испещренной вензелями, девизами и эмблемами в честь Николетты де Восель.

В ту пору барон Жюль де Бонмон, сын Натана, сына Зелигмана, сына Симеона, выходец из Австрии, где он устраивал займы для несчастной империи, перенес свои операции во Францию. Он предложил

республике помощь своего финансового гения. Среди парламентских депутатов, склонных оценить его и полюбить, г-н Лапра-Теле, представлявший тогда в палате Монтильский округ, был одним из первых и наиболее надежных. Он сразу учел, что после эпохи принципов и периода борьбы наступила эра крупных дел. Проявив горячую симпатию к барону, он кое в чем оказал ему важные услуги, и тот любил говорить: «Этот Лапра-Теле — умный малый».

По совету Лапра-Теле барон Жюль купил Монтильский замок. То были величественные и очаровательные руины, которые можно было восстановить и содержать в порядке. Барон поручил реставрацию г-ну Катрбарбу, ученику Виоле ле Дюка, епархиальному архитектору, который убрал все старые камни и заменил их новыми. И в этом здании, сверкающем новизною, барон, удивляя политических деятелей художественным вкусом, немедленно разместил свои коллекции картин, мебели, оружия, составлявшие чудовищное богатство. Таким образом, Монтильский замок был, по выражению г-на де Термондра, «сохранен для ценителей нашего национального искусства и превращен в чудесный музей благодаря попечению и щедрости человека, совмещающего в себе и видного вельможу и видного знатока искусств».

Однако недолго пришлось барону наслаждаться и гордиться Монтилем, его башнями, украшенными барельефами, его ажурной лестницей, его залами, отделанными изящной деревянной резьбой. Пережив золотой век деловых предприятий, он скончался от апоплексического удара накануне периода банкротств и скандалов. Он умер в расцвете богатства, оставив ослепительную, жизнерадостную вдову и малолетнего ребенка, походившего на него приземистым телом, бычьим лбом и уже беспощадной душой. Г-жа де Бонмон не рассталась с Монтилем, который пришелся ей по вкусу.

Баронесса пропустила вперед г-жу Орта по винтовой лестнице, каменный кружевной орнамент которой с щедрым изобилием повторял, между завитками и перевивками, геральдического павлина Бернара де Пав, привязанного за ногу к лютне Николетты де Восель. Сама

баронесса, подобрав юбки несколько резким, но не лишенным прелести жестом, тоже стала подниматься по лестничной спирали. Г-н де Термондр, председатель Археологического общества и бывший сердцеед, шел за ней и следил глазами за колебаниями ее соблазнительного стана.

В сорок лет она сохранила желание и способность нравиться. Г-н де Термондр ценил это, так как был светским человеком. Но он не делал никаких попыток добиться ее благосклонности, зная, что она питает глубокую привязанность к г-ну Раулю Марсьену, человеку очень красивому, но неистовому и стяжавшему дурную славу. Г-жа де Бонмон толкнула одну из дверей и сказала:

— Войдем в оружейную, она отапливается калорифером.

Оружейная действительно отапливалась калорифером, и между фаянсовыми изразцами с причудливыми изображениями, заимствованными г-ном Катрбарбом со старой, сорванной им облицовки, зияли светлые медные жерла теплопроводных труб.

Госпожа де Бонмон позаботилась посадить аббата Гитреля над одной из этих отдушин и спросила его участливо, надел ли он по крайней мере непромокаемую обувь и не выпьет ли стакан пунша.

Эта огромная зала с ребристым сводом сверкала большим количеством доспехов, чем мадридская «Армерия» *. Благодаря двум-трем крупным спекуляциям финансист собрал здесь коллекцию оружия, которой позавидовал бы сам Шпитцер. Тут были представлены три века ратного снаряжения всех образцов, бывших в обиходе у европейских народов. На монументальном камине, охраняемом двумя брабантскими наемниками в блестящих набедренниках, видны были в профиль латы кондотьера верхом на конской броне с полным набором, состоявшим из налобника, железного наносника, назатыльника, нагрудника, вальтрапа и нахвостника. Сверху донизу стены были увешаны ослепительными доспехами: касками, наголовниками, саладами, морионами, шлемами с забралом, шлемами с бармицей и с личиной, бургундскими шлемами, железными кол-

паками, байданами, кольчугами, полулатами, поножами, батырликами, шпорами. Вокруг круглых щитов, прямоугольных щитов и тарчей блистали кончары, колишемарды, протазаны, совни, двулезвые копья, двуручные мечи, рапиры, длинные шпаги, кинжалы, стилеты и поясные ножи. Вдоль стен стояли ряды призраков, облаченных в потемневшую сталь, вороненую сталь, гравированную сталь, сталь с чернью, с чеканкой, с насечкой; максимилиановские рубчатые и выпуклые кирасы, брони ребристые и брони бочкообразные; «полишинель» Генриха III и «рак» Людовика XIII; воинские доспехи, которые носили короли французские, испанские, итальянские, немецкие, английские, рыцари, капитаны, сержанты, арбалетчики и рейтары, наемники, придорожная братия всех дорог, разбойничьи ватаги и швейцарцы королевского конвоя; стальные латы, побывавшие в лагере Золотой парчи *, на рыцарских ристалищах и турнирах Франции, Англии и немецких княжеств; ратное вооружение с полей битв при Пуатье, Вернейле, Грансоне, Форново, Черизоле, Павии, Равенне, Полтаве, Кулодене, рыцарское или наемническое, благородное или изменническое, победоносное или посрамленное, дружеское или вражеское — все оно было собрано здесь бароном.

После обеда, угощая гостей кофе, г-жа де Бонмон не предложила сахара аббату Гитрелю, обычно пившему с сахаром, и пододвинула сахарницу барону Вальштейну, страдавшему сахарной болезнью и соблюдавшему строжайшую диету. Она поступила так не из ехидства, а потому что была поглощена мыслями, завладевшими всей ее душой. Будучи особой простодушной, она не могла скрыть огорчения, вызванного телеграммой из Парижа, текст которой имел двойной смысл: один, буквальный, не стоящий внимания, понятный всем, извещал о запоздавшей отправке каких-то черенков, другой, подлинный, глубокий, доступный только ей одной и для нее тягостный, сообщал, что друг не придет в Монтель и борется в Париже с ужасными невзгодами.

Господин Рауль Марсьен обычно испытывал острую нужду в деньгах. По достижении совершеннолетия он уже лет пятнадцать, поддерживал свое положение в обществе изобретательными и смелыми маневрами. Но в этом году затруднения, беспрестанно возраставшие становились ужасающими. Это очень огорчало и тревожило г-жу де Бонмон, так как она любила Рауля. Она любила его нежно, всем сердцем и всем телом.

— А вам, господин де Термондр, два кусочка?

Она обожала своего Рауля, своего Рара, со всею нежностью безмятежной души. Ей хотелось, чтобы он был ласковым и верным, невинным и мечтательным. А он был совсем не таким, как она желала, и она страдала от этого. И, боясь его потерять, она ставила свечи в часовне св. Антония.

Господин де Термондр взглядом знатока рассматривал картины. То была живопись новейшей школы — произведения Добиньи, Теодора Руссо, Жюля Дюпре, Шантрейля, Диаза, Коро: меланхолические пруды, опушки дремучего леса, росистые луга, деревенские улицы, прогалины, залитые золотом заката, ивы, тонущие в белой утренней дымке. Эти серебристые, бурые, зеленые, голубые, серые холсты, в своих массивных золоченых рамках, на фоне стенной обивки из красной камки, быть может, не очень гармонировали с монументальным камином эпохи Ренессанса и со скульптурой на его аспидных изразцах, изображавшей любовные похождения нимф и метаморфозы богов. Эти картины действительно немного разбивали впечатление от дивного старинного потолка, в расписных кессонах которого повторялся с бесконечным разнообразием геральдический павлин Бернара де Пав, привязанный за лапу к лютне Николетты де Восель.

— Чудесный Милле! — сказал г-н де Термондр, разглядывая пастушку с гусями, стоящую на фоне золотистого неба, которая так и выпирала здесь своим деревенским простодушием.

— Хорошая картина, — ответил барон Вальштейн. — У меня в Вене есть такая же, но там изображен пастух. Не знаю, сколько зять заплатил за эту.

Он прогуливался по галерее с чашкой в руках.

— Этот Жюль Дюпре стоил моему зятю пятьдесят тысяч франков, этот Теодор Руссо — шестьдесят тысяч, а этот Коро — сто пятьдесят тысяч.

— Я знаю взгляды барона на живопись, — сказал г-н де Термондр, шествуя с Вальштейном вдоль стен. — Однажды, когда я спускался по лестнице Аукционного зала с картиной под мышкой, барон, по своему обыкновению, дернул меня за рукав и спросил: «Что это вы несете?» Я ответил с гордостью удачливого собирателя: «Рейсдаля, господин де Бонмон, подлинного Рейсдаля! С этой вещи была сделана гравюра, и у меня как раз имеется оттиск в моем собрании». — «А сколько вы заплатили за вашего Рейсдаля?» — «Это было в одной из нижних зал. Оценщик не понимал, что он продает... Тридцать франков!» — «Досадно, досадно!» И, видя, что я удивлен, он еще сильнее дернул меня за рукав и сказал: «Дорогой господин де Термондр, надо заплатить десять тысяч. Если бы вы заплатили десять тысяч, он стоил бы в ваших руках тридцать. А теперь до какой цены может подняться эта тридцатифранковая картинка при распродаже вашего имущества? Самое большее до двадцати пяти луидоров. Надо быть рассудительным. Товар не может сразу подскочить с тридцати франков до тридцати тысяч». О! барон был молодец, — закончил г-н де Термондр.

— Да, он был молодец, — отвечал Вальштейн. — И, кроме того, любил подшутить.

И оба собеседника с чашками в руках, подняв головы, узрели того самого барона, который был таким молодым при жизни. Он висел тут среди дорогостоящих пейзажей, в сверкающей раме, вздернув свою насмешливую кабанью голову, написанную кистью Делоне.

Тем временем г-жа де Бонмон и аббат Гитрель сидели друг против друга перед огнем массивного камина, то перекидываясь несколькими словами, то задумчиво умолкая. Г-жа де Бонмон размышляла о том, какой сладостной была бы жизнь, если бы Рара захотел. Она любила его так целомудренно и так простосердечно! Все моралисты, древние и современные, все отцы церкви, все книжники и богословы, аббат Гитрель и монсеньер Шарло, папа и соборы, архангел с громогласной трубой

и Христос, нисшедший во славе, чтобы судить живых и мертвых, не могли бы убедить ее, что любить Рара — дурно. Она думала о том, что не увидит его в Монтиле и что, быть может, он в эту самую минуту ей изменяет. Она знала, что он посещает продажных женщин почти так же часто, как судебных приставов, и видала его на скачках со старыми кокотками, которым он бросал пронзительные взгляды, подавая им бинокль или накидывая на них манто. Ибо бедный друг не мог отделаться от целой стаи докучливых личностей, державших его почему-то в зависимости, а почему, он никак ей толком не хотел объяснить. Г-жа де Бонмон была несчастна. Она вздохнула.

Аббат Гитрель размышлял о епископской кафедре в Туркуэне. Его соперник, аббат Лантень, был уничтожен. Он погибал среди развалин семинарии под тяжестью векселей, предъявленных мясником Лафоли. Но соискателей наследия монсеньера Дюклу было множество. Старший викарий одного из парижских приходов и один лионский священник, казалось, снискали благосклонность министра. Нунциатура же, как всегда, хранила молчание. Аббат Гитрель вздохнул.

Услыхав этот вздох, г-жа де Бонмон по доброте душевной устыдилась своих эгоистических мыслей. Она заставила себя заинтересоваться делами аббата Гитреля и спросила его весьма участливо, скоро ли он будет епископом.

— Вы хлопчете о туркуэнской епархии, — сказала она. — Но не наскучит ли вам этот маленький городок?

Аббат Гитрель заверил ее, что забота о пастве достаточно заполнит жизнь пастыря, и к тому же туркуэнское епископство — одно из самых старинных и обширных во всей Северной Галлии.

— Это кафедра блаженного Лупа, просветителя Фландрии, — добавил аббат Гитрель.

— Вот как? — сказала г-жа де Бонмон.

— Не надо смешивать, — продолжал аббат Гитрель, — святого Лупа, просветителя Фландрии, со святым Лупом, епископом лионским, святым Ле, или Лупом, епископом санским, и святым Лупом, еписко-

пом труаским. Этот последний, прожив семь лет в браке с сестрою епископа арльского, по имени Пиментола, оставил жену свою, чтобы, уединившись в Лерене, предаться подвигам благочестия и воздержания.

А г-жа де Бонмон размышляла:

«Он опять здорово продулся в баккара. С одной стороны, это хорошо для него, так как одно время он слишком много выигрывал в клубе и никто не хотел против него понтировать. А с другой стороны — очень неприятно. Придется платить».

Мысль о том, что придется платить долги за Рара, очень расстроила г-жу де Бонмон. Она и вообще-то неохотно платила, а кроме того, не любила давать Рара деньги как из принципа, так и из желания быть уверенной в том, что ее любят ради нее самой, а не ради ее денег. И все-таки она сознавала, что уплатить придется, стоит ей лишь увидеть своего Рара, мрачного и страшного, прикладывающего мокрую салфетку к разгоряченной голове, на которой сквозь реденеющие волосы уже начинала просвечивать кожа; стоит лишь услышать, как бедный друг, изрыгая ужасающие богохульства и проклятия, будет кричать, что ему остается только всадить пулю в свой «чердак». Ибо он был человеком чести, милый Рара. Он жил этой честью: секундант, дуэльный арбитр — такова была его профессия, с тех пор как он покинул армию. В известном, очень шикарном кругу без него не обходился ни один поединок. И баронесса сознавала, что опять придется платить. Хоть бы по крайней мере он всецело принадлежал ей, был нежен, неотлучен! Но возбужденный, обозленный, ошалевший, он всегда казался охваченным яростью битвы.

— Святой, о котором идет речь, баронесса, — сказал аббат Гитрель, — блаженный Луп, или Лупус, проповедовал евангельское учение во Фландрии. Его апостольские подвиги бывали подчас тягостны. В его житии приведена черта, которая, без сомнения, вас умилила своей наивной прелестью. Однажды, проходя по обледеневшей сельской местности, угодник остановился, чтобы погреться в доме сенатора. Сенатор, окруженный сотрапезниками, повел с ними, в его присутствии,

непотребные речи. Луп попытался прекратить этот разговор. «Дети мои, — сказал он, — разве вы не знаете, что в день Страшного суда вам придется нести ответ за всякое суетное слово?» Но те, презрев увещания святого отца, принялись еще пуще изощряться в непристойностях и кошунствах. Тогда, отряхнув прах от ног своих, праведник сказал им: «Я думал согреть у вашего очага свое бrenное тело. Но из-за ваших греховных речей я вынужден идти прочь, так и не успев отогреться».

Госпожа де Бонмон с грустью думала о том, что с некоторых пор Рара не переставал скрежетать зубами, свирепо вращать глазами и угрожать евреям смертью. Он всегда был антисемитом. Впрочем, она тоже. Но она предпочитала не касаться этого вопроса. И она считала, что, любя даму-католичку, еврейку по происхождению, Рара не должен бы говорить, что всем жидам надо выпустить кишки. Это тоже ее огорчало. Ей хотелось, чтобы в нем было больше мягкости и добродушия, чтобы помыслы его были более мирными, а желания более нежными. К ее же любовным помыслам примешивались только невинные грезы о поэзии и о каких-нибудь сластях.

— Апостольские труды блаженного Лупа, — продолжал аббат Гитрель, — не были бесплодны. Туркуэнские жители, принявшие от него святое крещение, единодушно провозгласили его епископом. Кончине его сопутствовали обстоятельства, которые несомненно поразят вас, баронесса. Однажды, в декабре месяце триста девяносто седьмого года, святой Луп, отягченный бременем лет и благочестивых подвигов, направился к дереву, окруженному терниями, у подножия которого он обычно творил молитвы; там воткнул он в землю два шеста, отмерив место по длине своего тела, и сказал ученикам своим, коих привел с собой: «Когда, по воле божьей, я покину юдоль мира сего, похороните меня здесь». И в первое воскресенье после того дня, когда он сам указал, где упокоить его тело, святой Луп отдал душу господу. Все было исполнено по его слову. Прибыл Бландий, чтобы предать земле тело подвижника, коего он призван был заместить в епископстве туркуэнском.

Госпожа де Бонмон была грустна и полна снисходительности. Она догадывалась о причине антисемитских буйств Рара и оправдывала его. В последнее время, чтобы восстановить репутацию и поддержать свое положение как человека чести, Рара взял на себя в клубе защиту армии, к которой прежде принадлежал в качестве кавалерийского офицера. Он упрочил узы, связывавшие его с этой великой семьей. Он даже дал пощечину какому-то еврею, спросившему в кофейне «Военный ежегодник».

Госпожа де Бонмон любила его и восхищалась им, но на счастлива она не была.

Она подняла голову, широко раскрыла свои красивые, как цветы, глаза и сказала:

— Апостольские труды блаженного Лупа... Продолжайте, господин аббат. Вы меня очень заинтересовали.

Госпоже Елизавете де Бонмон суждено было искать сладостных утех мирной любви в душах, мало пригодных для такой цели. Эта чувствительная дама всегда отдавала свое сердце отъявленным авантюристам. При жизни барона Жюля она нежно любила сына одного невидного сенатора, молодого Х., прославившегося тем, что он единолично, без всяких соучастников, ухитрился присвоить секретные ассигнования одного министерства за целый год. Затем она вверила свою любовь обольстительному человеку, который блистал в первых рядах правительственной прессы и вдруг был бесследно сметен огромной финансовой катастрофой. Этих двух она по крайней мере получила, так сказать, из рук самого барона. Женщину нельзя упрекать, когда она находит усладу для сердца в своем кругу. Но третьего, последнего, самого дорогого, единственного, Рауля Марсьена, она обрела не в окружении барона. Он не принадлежал к деловому миру. Она повстречалась с ним в провинции, в лучшем французском обществе, в среде почти монархической и почти клерикальной. Он сам был почти дворянином. Она была уверена, что уж на этот раз утолит свою жажду ласко-

вой и тихой близости и приобретет, наконец, рыцарственного друга с благородными и нежными чувствами, о котором мечтала.

И что же, — он оказался не лучше других: ледяной, сжигаемый страхами и бешенством, истерзанный тревогами, взбудораженный удивительными поворотами своей судьбы, построенной на плутнях и вымогательствах. Но насколько он был красочнее и занимательнее остальных! Его исключают из клуба, а он в этот самый час выступает в качестве секунданта в одном серьезном и деликатном деле чести; в одно и то же утро его награждают орденом Почетного легиона и вызывают в кабинет следователя по обвинению в мошенничестве! И всегда грудь колесом, кончики усов кверху, всегда он готов отстоять свою честь острием шпаги. Но за последние месяцы он терял хладнокровие, говорил слишком громко и слишком суетился, компрометировал себя из-за неумеренной мстительности, — ибо, заявлял он, его предали.

Елизавета с тревогой следила за гневными вспышками Рарà, усилившимися с каждым днем. Когда она приходила к нему по утрам, он был без пиджака и, уткнувшись головой по самую шею в старый офицерский сундучок, наполненный до отказа судебными актами, чертыхаясь, проклиная, рыча, весь багровый, кричал оттуда: «Негодяи, каналы, сволочь, мерзавцы!» — и грозился, что о нем еще услышат, и услышат нечто новенькое. Она урывала поцелуи среди проклятий. А он выпроваживал ее, неизменно повторяя, что пустит себе пулю в «чердак».

Нет, не такой представляла она себе любовь.

— Вы говорили, господин аббат, что блаженный Луп...

Но аббат Гитрель, склонив голову на плечо и скрестив руки на груди, дремал в своем кресле.

И г-жа де Бонмон, снисходительная и к себе и к другим, тоже задремала, думая о том, что Рарà, быть может, скоро справится со своими затруднениями, что ей, быть может, придется пожертвовать для этого лишь небольшой суммой и что, как-нибудь, она любима самым красивым мужчиной на свете.

— Дорогая, дорогая! — вскричала г-жа Орта, всевропейская дама, голосом зычным, как охотничий рог, и способным навести оторопь даже на самих турок. — Разве вы не ждете сегодня вечером господина Эрнеста?

Она произнесла это стоя, напоминая крупными чертами лица и всей своей особой воинственную валькирию, забытую лет двадцать тому назад среди реквизита Байрейтского театра *, грозную, препоясанную, облаченную стеклярусом и сталью, в окружении зарниц, молний и громов. По существу же она была очень доброй женщиной и многодетной матерью.

Внезапно разбуженная грохотом, исходившим из глотки милейшей г-жи Орта, словно из волшебного рога, баронесса ответила, что ее сын получил отпуск для поправки здоровья и уже сегодня должен быть в Монтиле. За ним на станцию выслали коляску.

Аббат Гитрель, потревоженный в своей дреме этой ночной фанфарой, поправил соскользнувшие очки и, облизнув языком губы для большей умиленности речи, пробормотал с небесной кротостью:

— Да, Луп... святой Луп...

— Я уже вижу вас в митре, с посохом в руках, с массивным перстнем на пальце, — сказала г-жа де Бонмон.

— Ничего еще неизвестно, — возразил аббат Гитрель.

— Что вы, что вы! Вас несомненно рукоположат.

И слегка наклонившись к аббату, г-жа де Бонмон тихо спросила:

— Скажите, господи аббат, у епископского перстня какая-нибудь особая форма?

— Установленной формы нет, сударыня, — ответил Гитрель. — Епископ носит перстень как символ своего духовного брака с церковью, а потому перстень должен в известном смысле выражать самим своим видом идею чистоты и строгой жизни.

— Вот как! — отозвалась г-жа де Бонмон. — А камень?

— В средние века, баронесса, щит у перстня бывал из золота, как и сам перстень, или же заменялся драгоценным камнем. Аметист, по-видимому, считается весьма

подходящим для украшения пастырского перстня. Его поэтому и называют епископским камнем. Сверкает он умеренным блеском. Он входил в число двенадцати камней, вправленных в нагрудник еврейского первосвященника. В христианской символике он означает скромность и смирение. Нарбодий, рейнский епископ одиннадцатого века, видит в нем эмблему сердец, распинающих себя на кресте Иисусовом.

— В самом деле? — спросила г-жа де Бонмон.

И решила поднести г-ну Гитрелю, когда его посвятят в епископы, пастырский перстень с большим аметистом.

Но трубный голос г-жи Орта снова загремел:

— Дорогая, дорогая моя, ведь мы увидим господина Рауля Марсьена? Не правда ли, мы увидим милого господина Марсьена?

Нужно было подивиться, как эта европейская дама, знавшая все общества земного шара, ухитрилась не перепутать их в своей голове. Ее мозг был каким-то ежегодником салонов всех столиц, и она не была лишена известного понимания света; ее благожелательность распространялась на весь мир. Если она помянула г-на Рауля Марсьена, то только по невинности душевной. Она была сама невинность. Она не ведала зла. Хотя слипинг-кар — спальный вагон на железнодорожных рельсах — и заменял ей семейный очаг, она была женщиной домовитого склада и притом хорошей женой и хорошей матерью. Под лифом, на котором стеклярус и сталь лучились молниями и шуршали, как град, она носила корсет из толстого серого полотна. Ее горничные не сомневались в ее добродетели.

— Дорогая, дорогая моя, вы знаете, господин Рауль Марсьен дрался на дуэли с господином Изидором Мейером.

И на своем жаргоне международного маршрутного агентства для путешественников г-жа Орта сообщила то, что уже хорошо было известно баронессе. Она рассказала, как г-н Изидор Мейер, еврей, довольно известный и очень уважаемый в финансовых кругах, вошел однажды утром в кофейню на бульваре Капуцинок, сел за столик и спросил «Военный ежегодник». Сын его был

в армии, и г-ну Мейеру хотелось знать имена офицеров, его однополчан. Он протянул руку, чтобы взять «Ежегодник», поданный официантом, когда Рауль Марсьен подошел к нему и сказал: «Сударь, я запрещаю вам прикасаться к золотой книге французской армии». — «Почему?» — спросил г-н Изидор Мейер. «Потому что вы единоведец предателя». Г-н Изидор Мейер пожал плечами, а г-н Рауль Марсьен дал ему пощечину. После этого дуэль была признана неизбежной, и противники обменялись двумя пулями без результата.

— Дорогая, дорогая моя, вы что-нибудь понимаете? Я ничего не понимаю.

Госпожа де Бонмон не ответила, г-н де Термондр и барон Вальштейн тоже молчали.

— Кажется, приехал Эрнест, — сказала г-жа де Бонмон, прислушиваясь к глухому шуму колес и топоту лошадиных копыт.

Лакей принес газеты. Г-н де Термондр развернул одну из них и рассеянно заглянул в нее.

— Опять «Дело», — пробормотал он. — Опять какие-то профессора протестуют. Что у них за зуд вмешиваться в то, что их не касается? Ведь совершенно справедливо, чтобы военные улаживали свои дела между собой, как это обычно делается. Мне кажется, что когда семь офицеров...

— Безусловно, — подтвердил аббат Гитрель. — Когда семь офицеров вынесли свое заключение, то неуместно, я сказал бы — дерзко, сомневаться в их приговоре. Это явное неприличие, это непристойность!

— Вы говорите о «Деле»? — спросила г-жа де Бонмон. — Так я вам могу подтвердить, что Дрейфус виновен. Мне сказала об этом лицо, очень хорошо осведомленное.

Она сказала и покраснела. Этим лицом был Рауль. В гостиную вошел Эрнест де Бонмон с насупленным и ехидным видом.

— Здравствуй, мама! Здравствуйте, господин аббат!

Он еле поклонился остальным и опустился в грудь подушек под портретом отца. Он очень походил на него. Это был барон, но уменьшенный, сокращенный, потуск-

невший, тот же кабан, только маленький, бледный и дряблый. Тем не менее сходство было поразительное, и г-н де Термондр заметил:

— Удивительно, господин де Бонмон, до чего вы похожи на портрет вашего отца.

Эрнест поднял голову и покосился на полотно Делоне.

— О-о! Папа был молодец. Я тоже молодец, но песенка моя спета. Как делишки, господин аббат? Ведь мы с вами друзья, не правда ли? Я попрошу вас немного погодя уделить мне минутку для разговора.

Затем он повернулся к г-ну де Термондру, державшему в руках газету.

— О чем там пишут? Вы понимаете, нам в полку не полагается иметь свое мнение. Это буржуазная роскошь — иметь о чем-либо свое мнение, хотя бы и дурацкое. И действительно, какое дело нам, солдатам, до важных шишек!

Бонмон хихикнул. Он всю развлекался в казармах. Очень хитрый и ловко скрывавший свою хитрость, молчаливый, осторожный, лукавый, он пускал в ход деморализующую силу, которой был наделен. Своротитель помимо воли, даже когда жадничал и скаредничал, он безумно хохотал безмолвным смехом в тот день, когда милостиво принял в подарок пенковую трубку от одного тщеславного бедняка-сотоварища. Он находил удовольствие в презрении и ненависти к начальникам, глядя, как одни готовы были продать ему душу, а другие, из страха себя скомпрометировать, отказывали ему не только в по블ажке, но даже в осуществлении самых законных прав, в чем не отказали бы любому сыну крестьянина.

Юный Эрнест де Бонмон, коварный и вкрадчивый, подсел к аббату Гитрелю.

— Вы часто бываете у Бресе, господин аббат? Вы близки с ними, не правда ли?

— Не думайте, сын мой, — отвечал аббат Гитрель, — что я близок с герцогом де Бресе. Это не так. Но все же мне часто представляется случай видеть его

в кругу семьи. В некоторые праздники я отправляю богослужение в часовне Бельфейской божьей матери, расположенной, как вы знаете, в Бресейском лесу. Это служит для меня, как я только что говорил вашей матушке, источником утешения и благодати. После мессы я завтракаю либо в доме причта, у местного священника, господина Травьеса, либо в замке, где, должен сказать, мне оказывают самый любезный прием. Герцог де Бресе безукоризненно прост в обращении, дамы де Бресе обходительны и ласковы. Они творят много добрых дел в округе, — творили бы еще больше, если бы не слепая вражда, вздорные предубеждения и озлобленность жителей...

— Не знаете ли вы, господин аббат, как была принята посудина, которую мама послала герцогине для часовни Бельфейской божьей матери?

— Какая посудина? Если вы имеете в виду, сын мой, золоченую дароносицу, то могу вас уверить, что господин и госпожа де Бресе были очень тронуты даром, столь скромно поднесенным вашей матушкой чудотворящей деве.

— Значит, это была хорошая идея, господин аббат? Так она принадлежит мне. Мама, как вы знаете, не очень изобретательна... О! я не ставлю ей этого в упрек... А теперь давайте поговорим серьезно. Вы меня очень любите, господин аббат, скажите искренно?

Аббат Гитрель обеими руками пожал руку молодому Бонмону.

— Сын мой, не сомневайтесь в моих чувствах к вам: они отеческие, скажу даже — они материнские, чтобы лучше выразить всю их силу и нежность. Я наблюдал за вами с умилением, дорогой Эрнест, с того теперь уже далекого дня, когда вы так благочестиво приняли первое причастие, и по сие время, когда вы выполняете благородный долг солдата в нашей прекрасной французской армии, которая, как я с удовольствием убеждаюсь, становится день ото дня все более христианской и религиозной. И я уверен, мое дорогое дитя, что среди развлечений и даже заблуждений юного возраста вы сохранили веру. Ваши поступки свидетельствуют об этом. И знаю, что вы всегда почитали для себя за честь

содействовать богоугодным делам. Вы — мое любимое чадо.

— В таком случае, господин аббат, окажите услугу моему чаду. Скажите герцогу де Бресе, чтоб он дал мне пуговицу.

— Пуговицу?

— Да, охотничью пуговицу герцогов де Бресе.

— Охотничью пуговицу! Но, сын мой, это касается вопросов охоты, а я не такой великий ловец перед господом, как священник Травьес. Я гораздо больше служил святому Фоме, чем святому Губерту *. Охотничью пуговицу! Что это, фигуральное выражение, метафора, означающая совместную охоту? Словом, сын мой, вы хотите получить приглашение на охоту господина де Бресе?

Эрнест де Бонмон вскочил:

— Не путайте, господин аббат. Я говорю не о том... совсем не о том. Я вполне уверен, что получу приглашение на охоту к Бресе в воздаяние за посудину.

— Дароносицу, дароносицу, *siborium*. Я тоже думаю, сын мой, что герцог и герцогиня будут рады послать приглашение, если узнают, что это может быть приятно вам и вашей матушке.

— Еще бы им не послать. Раз они приняли серебряную посудину... Но можете им передать, что я не буду в восторге от их приглашения. Плесневеть на каком-нибудь перепутье, откуда ничего не видно, подставлять рожу под грязь, когда мчится охотничья ватага, нарываться на выговор от какого-нибудь псаля за то, что затоптал след, — спасибо, я не любитель такого сорта развлечений. Бресе могут оставить при себе свое приглашение.

— В таком случае, сын мой, я не улавливаю вашей мысли.

— Но она яснее ясного, господин аббат. Я не хочу, чтобы эти Бресе ставили меня ни во что, — вот моя мысль.

— Объяснитесь, пожалуйста.

— Так вот, господин аббат, вообразите, мне отведут место на Королевском перепутье в обществе сельского врача, жены жандармского ротмистра и старшего

писца господина Ирвуа. Нет, это не дело! А если я получу пуговицу, то буду охотиться со всей командой. И они увидят, что хотя я иной раз и смахиваю на мокрую курицу, но все же я не такой олух, чтобы ударить лицом в грязь. Итак, ваше преподобие, вы можете раздобыть мне пуговицу. Бресе вам не откажут. Вам стоит только попросить ее во имя Бельфейской божьей матери.

— Не вмешивайте, сын мой, прошу вас, Бельфейскую божью мать в дела, не имеющие к ней никакого касательства. Чудотворица бресейская и без того свершает немало дел, даруя благодать вдовам, сиротам и нашим дорогим солдатикам на Мадагаскаре *. Но неужели, мой милый Эрнест, эта пуговица дает какие-либо важные преимущества? Разве это уж такой ценный талисман? Вероятно, с ее обладанием связаны особые привилегии. Расскажите мне о них. Я отнюдь не презираю древнейшего и благороднейшего искусства звериной травли. Кроме того, я принадлежу к клиру епархии, особенно преданной псовой охоте. Пожалуйста, просветите меня.

— Вы балагурите, господин аббат, и строите из меня шута. Вам ведь отлично известно, что пуговица означает право носить цвета охоты... Буду говорить с вами начистоту, я откровенен, мои средства мне это позволяют. Я добиваюсь пуговицы Бресе, потому что это шикарно, а я люблю шик. Я хочу этого из снобизма, ибо я сноб. Из честолюбия, ибо я честолюбив. Я хочу этого, потому что мне лестно обедать у Бресе в день святого Губерта. Думаю, что пуговица Бресе будет мне под стать! Не скрою, мне этого сильно хочется. У меня нет ложного стыда... Впрочем, нет и настоящего. Выслушайте меня, господин аббат: мне нужно сказать вам нечто очень серьезное. Вам следует знать, что, прося для меня пуговицу у герцога де Бресе, вы требуете только должного... именно... должного. Я здесь владею землями. Сам я не бью у себя оленей, я пропускаю охотников через свои владения, позволяю травить зверя на своей земле: это заслуживает признательности и хорошего отношения. Господин де Бресе просто обязан дать эту пуговицу своему молодому соседу Эрнесту де Бонмону.

Аббат ничего не ответил; видимо, он противился, не хотел идти навстречу. Эрнест продолжал:

— Мне незачем говорить вам, господин аббат, что, если бы Бресе потребовали платы за пуговицу, я не постоял бы за ценой.

Аббат Гитрель сделал протестующий жест:

— Это предположение не может иметь места, дитя мое. Оно не вяжется с характером герцога де Бресе.

— Возможно, господин аббат. Пуговица — даром, пуговица — за деньги, это зависит от состояния и от взглядов. Есть охоты, которые обходятся владельцам в восемьдесят тысяч франков в год; есть такие, которые приносят им тридцать тысяч дохода. Я говорю это не в порицание тем, кто берет деньги за пуговицу. Я лично сам поступил бы именно так. По-моему, это справедливо. И кроме того, есть районы, где охота стоит так дорого, что, как бы ни был богат владелец, он не в состоянии один покрыть расходы. Предположите, господин аббат, что у вас есть охотничьи угодья в окрестностях Парижа. Могли бы вы покрыть из своего кармана все разорительные издержки и возместить крестьянам убытки? Но я тоже думаю, как и вы, что в Бресе нет платных пуговиц. Герцог не такого склада человек, чтоб извлекать выгоду из своей охоты. Ну-с, так значит, вы получите для меня пуговицу даром, господин аббат, — и деньги будут целы!

Прежде чем ответить, аббат пораскинул умом. И это мудрое молчание встревожило Эрнеста Бонмона.

Наконец Гитрель изрек:

— Сын мой, я сказал и еще раз повторяю: я вас люблю всем сердцем. Я хотел бы быть вам полезным или хотя бы приятным. Я приложу все старания, чтобы при случае оказать вам услугу. Но, право же, я не такая влиятельная особа, чтобы испросить для вас то светское отличие, которое вы именуете пуговицей. Представьте себе, что, выслушав от меня вашу просьбу, герцог де Бресе сделает какие-либо возражения, сошлется на трудности, — я перед ним окажусь бессильным и безоружным. Какими средствами может бедный преподаватель красноречия провинциальной духовной семинарии отвести возражения, устранить трудности,

вырвать согласие, так сказать, насильно? Во мне нет ничего такого, чтобы заставить со мной считаться, чтобы импонировать великим мира сего. Я не могу, я не должен впутываться даже в такие мелочи, раз я не уверен в успехе.

Эрнест де Бонмон удивленно и с некоторым восхищением взглянул на аббата Гитреля и сказал:

— Понимаю, господин аббат. Это невозможно теперь. Но когда вы будете епископом, вы подцепите мне пуговицу, как кольцо на карусели... Не так ли?

— Можно предположить, — серьезно подтвердил г-н Гитрель, — что если бы охотничью пуговицу попросил для вас епископ, господин де Бресе не ответил бы отказом.

IV

Вечером этого дня г-н Бержере после упорной работы чувствовал себя усталым. Он совершал обычную прогулку по городу в обществе г-на Губена, своего любимого ученика после измены г-на Ру, и, размышляя о сделанном за день, спрашивал себя, подобно многим другим, какие плоды пожинает человек от трудов своих. Г-н Губен обратился к нему с вопросом:

— Считаете ли вы, учитель, что Поль-Луи Курье * хорошая тема для докторской диссертации?

Господин Бержере не ответил. Проходя мимо писчебумажной лавки г-жи Фюзелье, он остановился перед витриной, где были выставлены натуры для рисования, освещенные газовыми рожками, и стал с интересом рассматривать Геркулеса Фарнезского*, который выпячивал свои мускулы среди всякого школьного товара.

— Я питаю к нему симпатию, — сказал г-н Бержере.

— К кому? — спросил г-н Губен, протирая стекла пенсне.

— К Геркулесу, — отвечал г-н Бержере. — Он был славный малый. «Судьба предначертала мне путь, — говорил он сам, — исполненный трудов и направленный к возвышенной цели». Он много потрудился на этой земле, прежде чем был вознагражден смертью, являющейся в сущности единственной наградой за

жизнь. У него не было досуга для раздумья; длительные размышления не подтачивали его бесхитростной души. Но он испытывал грусть, когда наступал вечер и когда если не умом, то своим великим сердцем он постигал тщету усилий и неизбежный удел даже лучших людей — одновременно с добром творить и зло. Этот могучий человек отличался необычайной кротостью. Ему, как это бывает и со всяким из нас, когда мы отдаемся какой-либо деятельности, приходилось, не делая различия, убивать невинных наряду с виновными, слабых наряду с насильниками, а потому он должен был чувствовать некоторое раскаяние. Может статься, что он даже жалел злосчастных чудовищ, уничтоженных им для блага людей: бедного критского быка, бедную лернейскую гидру, бедного льва, который, умирая, оставил ему в наследство такой теплый плащ. Не раз, вероятно, после трудов, на склоне дня, его палица казалась ему непомерно тяжелой.

Господин Бержере с напряжением приподнял зонтик, словно то было увесистое оружие, и продолжал свою речь:

— Он был силен и был слаб. Мы любим его за то, что он похож на нас.

— Геркулес? — спросил г-н Губен.

— Да, — ответил просто г-н Бержере. — Подобно нам, он родился несчастным; сын бога и смертной женщины, он унаследовал от этого сочетания печаль мыслящей души и терзания ненасытного тела. Всю жизнь он исполнял прихоти взбалмошного царя. А мы? Разве мы тоже не дети Зевса и злополучной Алкмены и не рабы Эрисфея * Я завишу от министра народного просвещения, который может послать меня в Алжир, как Геркулес был послан к насамонам.

— Уж не покидаете ли вы нас, дорогой учитель? — спросил с тревогой г-н Губен.

— Взгляните, как он печален! — продолжал г-н Бержере. — Как устало опирается он на свою палицу и свесил руку! Склонив голову, он думает о понесенных им тяжелых трудах. Геркулес Фарнезский восходит к статуе Лисиппа *. Сам Лисипп, до того как стать скульптором, был подмастерьем в кузнице,

и силач-ваятель, изобразивший силача-героя, создал тип Геркулеса.

Еще раз протерев носовым платком стекла пенсне, г-н Губен попытался разглядеть в витрине черты фигуры, которую описывал учитель. Но в самый разгар его усилий г-жа Фюзелье, хозяйка лавки, услышав, что часы пробили девять, погасила газ перед мигающими глазами ученика, сразу даже не понявшего, почему он ничего не видит, ибо близорукость отделяла его от того воображаемого мира, в котором копошится большинство людей.

А так как г-н Бержере продолжал свою прогулку и свои речи, то Губен пошел за ним на голос, ибо руководствовался преимущественно слухом на всех земных тропах, на которые позволяла ему вступать его осторожная молодость.

— Сила порождала в нем слабость, — продолжал преподаватель филологического факультета. — Он был под ярмом у собственной силы, подчиняясь требованиям своего могучего тела, заставлявшего его целиком пожинать баранов, осушать полные амфоры густого вина и делать глупости ради ничтожных женщин. Герой, своей палицей водворявший на земле благословенный мир и высокое правосудие, сын Зевса, засыпал иногда на меже, как простой пьянчуга, или жил неделями и месяцами у какой-нибудь девки на положении друга сердца. Отсюда его меланхолия. Можно было опасаться, что, обладая такой бесхитростной, податливой, алчущей справедливости душой, такими крепкими мускулами, он никогда не будет не чем иным, как отличным воякой, сверхжандармом. Но его слабости, его злополучные испытания, его ошибки расширили кругозор его души, отверзли ему глаза на многообразие жизни и пропитали кротостью его грозную доброту.

— Не думаете ли вы, дорогой учитель, — спросил г-н Губен, — что Геркулес — это солнце, что его двенадцать подвигов — это знаки зодиака, а пылающее одеяние, подаренное ему Деянирой *, олицетворяет облака, озаренные пламенем заката?

— Возможно, — отвечал г-н Бержере, — но я не хочу этому верить. Я представляю себе Геркулеса

таким, каким во времена мидийских войн его представлял себе любой фиванский цирюльник или элевсинская знахарка. И я считаю такое представление о Геркулесе более ярким, более образным и животрепещущим, чем все системы сравнительной мифологии. Он был славный малый. Отправляясь за кобылицами Диомеда, он проходил через Феры и остановился перед дворцом Адмета. Тут он сперва потребовал, чтобы ему дали попить и поесть, наорал на слуг, никогда не выдавших такого неотесанного гостя, увенчал голову миртами и принялся истреблять напитки самым неумеренным образом. Не будучи гордым от природы, он спьяну захотел, чтобы виночерпий непременно составил ему компанию. Тот, возмущенный такого рода манерами, строго ответил, что сейчас не время веселиться и пьянствовать, когда царицу, добрую Алкесту, предали погребению. Она посвятила себя Танатосу * вместо мужа своего Адмета. То была, следовательно, не обычная смерть, а чародейство. Добряк Геркулес, тотчас же протрезвившись, спросил только, куда отнесли Алкесту. Она покоилась за городом, по Ларисской дороге, в мраморной гробнице. Он бросился туда. Когда Танатос в черном пеплуме явился отведать от орошенных кровью жертвенных лепешек, герой, притаившись подле погребального покоя, набросился на царя теней, стиснул его в кольцо своих объятий и, искалечив, заставил отдать ему Алкесту, которую отвел обратно во дворец Адмета, безмолвную и прикрытую фатою. На сей раз он отказался от угощения. Он торопился. У него оставалось лишь считанное время на то, чтобы раздобыть кобылиц Диомеда.

Это чудесный подвиг. Но походжение с керкопами * мне, пожалуй, больше нравится. Слыхали ли вы о двух братьях керкопах, господин Губен? Одного звали Андолом, другого Атлантом. У них были обезьяньи морды. Судя по названию их племени, у них должны были быть и хвосты, как у обезьян мелкой породы. Отъявленные проныры, они занимались тем, что обкрадывали плодовые сады. Мать неоднократно предостерегала их, чтобы они опасались героя-мелампига. Как вы знаете, Геркулеса в просторечии звали мелампигом, или чернозадым, потому что его кожа не отличалась белизной.

Но неосторожные братья пренебрегли мудрым советом. Застав однажды мелапига спящим на мшистом берегу ручья, они подкрались к нему, чтобы украсть у него палицу и львиную шкуру, но герой, внезапно проснувшись, схватил обоих, подвесил их за ноги к отломанному от дерева суку и, перекинув его через плечо, побрел своей дорогой. Керкопам, конечно, было не по себе, и они опасались за свою судьбу. Но так как тела у них были юркие, а души беспечные и все служило им предметом для забавы, то они развлекались разглядыванием того, что представлялось их взорам, то есть той самой части тела, которая заслужила герою прозвище мелапига. Атлант указал на нее Андолу, а он ответил, что, по-видимому, их поймал тот самый герой, о котором говорила им мать. И оба, вися, как косули на охотничьей рогатине, перешептывались: «мелапиг, мелапиг» — и сопровождали это слово смешками, напоминая крик удода в лесу. Геркулес был очень вспыльчив и не терпел над собой издевок; но не все причиняло уколы его самолюбию, и он не притязал, подобно бедному маленькому Гиласу *, на то, что кожа у него с головы до ног белая. Прозвище мелапига, напротив, показалось ему почетным и вполне пристойным для силача, шествовавшего по дорогам и совершавшего подвиги. Он был простодушен и охотно смеялся по всякому поводу. Болтовня обоих керкопов рассмешила его до того, что он согнулся в три погибели, и, положив свою дичь на землю, присел на краю дороги, чтобы дать волю раскатам своего геройского хохота. Долго гудела долина от веселого гоготанья его расхрипевшей глотки. Солнце, закатывавшееся на горизонте, уже заливало пурпуром облака, и в отблесках его сверкали вершины гор, а герой все еще хохотал, сидя под черными соснами и косматыми лиственницами. Наконец он встал, отвязал обоих человеко-обезьянок, затем, отчитав их, отпустил на свободу, а сам зашагал во мраке по горе, продолжая свой тяжелый путь. Как видите, он был славный малый.

— Позвольте мне задать вам вопрос, дорогой учитель, — сказал г-н Губен. — Считаете ли вы, что Поль-Луи Курье хорошая тема для докторской диссертации? Потому что, как только я получу степень лиценциата...

В букинистическом углу книжной лавки Пайо зашел как-то разговор о «Деле», и г-н Бержере, отличавшийся умозрительным мышлением, высказал суждения, идущие вразрез с общими взглядами.

— Разбирательство при закрытых дверях — возмутительная процедура, — сказал он.

И когда г-н де Термондр возразил ему, ссылаясь на государственные соображения, он отвечал:

— У нас нет государства. У нас есть ведомства. То, что мы называем государственными соображениями, в действительности соображения бюрократические. Нам твердят о высокому их значении, а на самом деле они позволяют администрации скрывать свои промахи и усугублять их.

Господин Мазюр торжественно произнес:

— Я республиканец, якобинец, террорист... и патриот. Я не возражаю против того, чтобы гильотинировали генералов, но не позволю оспаривать решения военного суда.

— Вы правы, — отозвался г-н де Термондр, — ибо, если уж вообще существует какое-либо правосудие, достойное уважения, то именно это. Зная армию, могу вас уверить, что нет более снисходительных и сострадательных судей, чем военные.

— Рад слышать это от вас, — отвечал г-н Бержере. — Но армия это такое же ведомство, как ведомство земледелия, финансов или народного просвещения, и нельзя понять, почему существует военный суд, когда нет ни суда земледельческого, ни суда финансового, ни суда университетского. Всякий специальный суд противоречит принципам современного права. Военные превентальные суды * будут казаться нашим потомкам такими же средневековыми и варварскими учреждениями, какими представляются нам суды сеньориальные * и суды официалов *.

— Вы шутите, — сказал г-н де Термондр.

— Так всегда говорили тем, кто прозревал будущее, — ответил г-н Бержере.

— Но посягать на военный трибунал, — воскликнул г-н де Термондр, — это означает конец армии, конец стране!

Господин Бержере дал такой ответ:

— Когда аббаты и бароны лишились права вешать вилланов, то так же казалось, что наступило светопреставление. Но вскоре установился новый порядок, лучше старого. Я предлагаю, чтобы в мирное время солдат был подсуден обычному суду. Что же, по-вашему, со времен Карла Седьмого или даже Наполеона во французской армии не было более серьезных перемен, чем эта?

— Я — старый якобинец, — сказал г-н Мазюр. — Я считаю, что надо сохранить военные трибуналы и подчинить генералов Комитету общественного спасения. Нет лучшего средства, чтобы заставить их одерживать победы.

— Это другой вопрос, — заметил г-н де Термондр, — я возвращаюсь к предмету нашего разговора и спрашиваю господина Бержере, действительно ли он полагает, что семь офицеров могли ошибиться.

— Четырнадцать! — воскликнул г-н Мазюр.

— Пусть четырнадцать, — согласился г-н де Термондр.

— Полагаю, — отвечал г-н Бержере.

— Четырнадцать французских офицеров! — вскричал г-н де Термондр.

— Да будь они швейцарцами, бельгийцами, испанцами, немцами или голландцами, они точно так же могли бы ошибиться, — сказал г-н Бержере.

— Немыслимо! — воскликнул г-н де Термондр.

Книгопродавец Пайо покачал головой в знак того, что тоже считает это невыносимым. А приказчик Леон взглянул на г-на Бержере с удивлением и возмущением.

— Неизвестно, удастся ли вам когда-либо узнать правду об этом деле, — продолжал примирительно г-н Бержере. — Очень сомневаюсь, хотя все возможно на этом свете, даже торжество истины.

— Вы имеете в виду пересмотр, — сказал г-н де Термондр. — Никогда! Пересмотра вы не добьетесь. Это

равносильно войне. Такое мнение высказали мне три министра и двадцать депутатов.

— Поэт Бушор *, — отвечал г-н Бержере, — учит нас, что лучше претерпеть бедствия войны, чем совершить несправедливый поступок. Но вы, господа, вовсе не стоите перед такой альтернативой, и вас запугивают ложью.

В тот момент, когда г-н Бержере произносил эти слова, на площади раздался сильный шум. Это проходила кучка мальчишек с криками: «Долой Золя! Смерть жидам!» Они шли бить стекла у сапожника Мейера, которого считали евреем, и обыватели поглядывали на них с благосклонностью.

— Славные мальчуганы! — воскликнул г-н де Термондр, когда манифестанты миновали лавку.

Господин Бержере, уткнувшись в толстую книгу, медленно произнес:

— «За свободу стояло лишь незначительное меньшинство образованных людей. Почти все духовенство, генералитет, невежественная и фанатичная чернь жаждали властелина».

— Что вы такое говорите? — спросил взволнованно г-н Мазюр.

— Ничего, — отвечал г-н Бержере. — Я читаю главу из испанской истории. Картина общественных нравов в эпоху реставрации при Фердинанде Седьмом *.

Тем временем сапожника Мейера избili до полу-смерти. Он не подал жалобы из опасения быть избитым до смерти, а еще и потому, что правосудие толпы в сочетании с правосудием военным внушало ему немое восхищение.

VI

Господин Бержере не ведал грусти, ибо обладал подлинной независимостью, живущей внутри нас. Душа его была свободна. Кроме того, он наслаждался глубокой радостью уединения после отъезда г-жи Бержере и в ожидании своей дочери Полины, которую должна была вскоре привезти из Аркашона мадемуазель Бержере, его сестра. Г-н Бержере представлял себе, как он

приятно заживет с дочерью, похожей на него особым складом ума и речи и льстившей его самолюбию, так как ему по поводу нее расточали комплименты. Ему была приятна мысль свидеться с сестрой своей Зоей, старой девой, которая никогда не отличалась красотой и сохранила природную прямоу, усугубленную тайной склонностью никому не угождать, но не была при том лишена ни ума, ни сердечности.

А пока что г-н Бержере был поглощен устройством новой квартиры. Он развешивал на стенах своего кабинета, над книжными полками, старинные виды Неаполя и Везувия, доставшиеся ему по наследству. Из всех занятий, которым может посвящать себя порядочный человек, вколачивание гвоздей в стену доставляет ему, пожалуй, наиболее безмятежное удовольствие. Граф де Кэйлюс *, знавший толк во всякого рода наслаждениях, ставил превыше всего распаковывание ящиков с этрусской керамикой.

Итак, г-н Бержере вешал на стену старинную гуашь, изображавшую на фоне синего ночного неба Везувий с султаном из пламени и дыма. Эта картина напоминала ему часы детства с его неожиданностями и очарованиями. Он не был грустен. Он не был и весел. У него были денежные заботы. Неприглядные стороны бедности были ему знакомы. *Χρήματ' ἀνὴρ* «деньги делают человека», как сказал Пиндар (Истмийские эпиникии *, II).

Чувство симпатии не связывало его ни с коллегами, ни с учениками. Чувство симпатии не связывало его и с жителями города. Не умея чувствовать и воспринимать, как они, он был отрезан от человеческой общины, и обособленность лишала его тех сладостных связей с людьми, которые проникают даже сквозь стены домов и сквозь запертые двери. Уже тем самым, что он мыслил, он всем казался существом странным, беспоконным, подозрительным. Он смущал даже книгопродавца Пайо. И букинистический угол, его пристанище и убежище, перестал служить ему надежным приютом. Тем не менее он не грустил. Он расставлял книги на еловых полках, сколоченных в его присутствии столяром, и с удовольствием перебирал эти маленькие памятники своей скромной и созерцательной жизни.

Он устраивался с усердием, а когда уставал развешивать картины и устанавливать мебель, то погружался в какую-нибудь книгу, и хотя всякая книга была творением человеческого и он не рассчитывал получить от нее удовольствие, он все же в конце концов получал его. Он прочел несколько страниц из сочинения «О прогрессе, достигнутом современным обществом», и подумал:

«Будем смиренны. И не будем считать себя превосходящими созданиями, ибо это не так. Вникая в себя, постигнем нашу сущность, столь же грубую и буйную, как и сущность наших предков, и так как мы пользуемся по сравнению с ними преимуществом длительного опыта, признаем по крайней мере преемственность и непрерывность нашего невежества».

Так размышлял г-н Бержере, устраиваясь в новом жилище. Он не был грустен. Он не был и весел, думая о том, что всегда будет испытывать тщетное влечение к г-же де Громанс, и не понимая, что она дорога ему лишь желанием, которое внушала. Но смятение чувств не позволяло ему постичь с достаточной ясностью эту философскую истину. Он не был красив, не был молод, не был богат — и не был грустен, потому что мудрость приближала его к блаженному покою духа, хотя он и не достигал его. И он не был весел, потому что у него была чувственная душа, не свободная от желаний и иллюзий.

Служанка Мария, создав в доме атмосферу трепета и ужаса и выполнив тем свое назначение, получила расчет. Г-н Бержере нанял взамен ее добрую женщину из местных горожанок, которую он называл Анжеликой, а лавочники и крестьяне на базаре величали госпожой Борниш.

Она была некрасива, и муж ее, Никола Борниш, отличный кучер, но забулдыга, бросил ее еще тогда, когда она была молода. Она нанялась в служанки, работала у разных господ. От прежнего своего положения она сохранила известного рода гордость, подчас докучную, и некоторую властность. Вообще же травница, знахарка и немножко колдунья, она наполняла дом приятным запахом трав. Обуреваемая искренним усердием, она вечно терзалась потребностью любить и

нравиться. С первого же дня она полюбила г-на Бержере за благородство ума и мягкость обхождения. Но с тревогой ожидала она приезда мадемуазель Бержере. Предчувствие подсказывало ей, что она не понравится аркашонской сестре. Зато она вполне удовлетворяла г-на Бержере, обретшего мир в доме и наслаждавшегося благословенной свободой.

Свои книги, некогда подверженные презрению и гонению, он расставил на длинных полках в просторной и светлой комнате. Здесь он безмятежно работал над своим «*Virgilius nauticus*» и предавался безмолвным оргиям размышлений. Молодой платан плавно шевелил перед окном вырезными листьями, а в отдалении контрфорс церкви св. Экзюпера выдавался своим выщербленным коньком, из которого росло вишневое дерево — дар какой-нибудь птицы.

Однажды утром, когда г-н Бержере, сидя за столом у окна, перед которым колыхались листья платана, доискивался, каким образом струги Энея превратились в нимф, он услышал царапанье в дверь и тотчас же увидел старую служанку, которая, подобно двутрубке, несла на животе сосунка, высывавшего черную голову из ее подобранного передника, как из сумки. Она постояла минутку неподвижно с выражением тревоги и надежды на лице, затем положила маленькое существо на ковер у ног хозяина.

— Что это такое? — спросил г-н Бержере.

Это был песик неопределенной породы, помесь терьера — красивая мордочка, гладкая короткая шерсть темно-рыжего цвета и какой-то огрызок вместо хвоста. Тельце у него было еще мягкое, щенячье, и он ковылял, обнюхивая ковер.

— Анжелика, отнесите это животное хозяевам, — сказал г-н Бержере.

— У него нет хозяев, господин Бержере, — ответила Анжелика. Г-н Бержере молча взглянул на собачку, она обнюхивала его туфли и приятно посапывала. Г-н Бержере был филологом. Может быть, поэтому он и задал бесполезный при данных обстоятельствах вопрос:

— Как ее зовут?

— Никак, господин Бержере.

Этот ответ, казалось, раздосадовал г-на Бержере. Он посмотрел на собаку с грустью и унынием.

Тут она положила обе передние лапы на туфлю г-на Бержере и, обняв ее таким образом, принялась незлобиво покусывать ее носок. Внезапно умилившись, г-н Бержере взял на колени безыменного зверька. Собака посмотрела на него. И этот доверчивый взгляд растрогал г-на Бержере.

— Красивые глаза! — сказал он.

Действительно, у собаки были красивые глаза: карие, с золотистым отливом и миндалевидными кремовыми белками. И взгляд этих глаз отражал простые и таинственные мысли, вероятно общие для всех умных животных и для простодушных людей, населяющих землю.

Но, устав, по-видимому, от умственного усилия, затраченного на общение с человеком, щенок закрыл свои красивые глаза и широким зевком разверз розовую пасть, обнаруживая завиток язычка и строй сверкающих зубов.

Господин Бержере положил ему палец в рот. Щенок лизнул руку. А старая Анжелика, ободренная, улыбнулась.

— До чего ласковы эти зверюшки, — сказала она.

— Собака — животное религиозное, — отвечал г-н Бержере. — В диком состоянии она поклоняется луне и отблескам, колышущимся на воде. Это ее боги, и она вызывает к ним по ночам протяжным воем. Став ручной, она старается снискать ласками благоволение людей — могущественных гениев, располагающих благами жизни. Она чтит их и во славу им исполняет обряды, унаследованные от предков: лижет им руки, жметя к ногам, а когда видит, что они сердятся, подползает к ним на животе в знак смирения, дабы умиловить их гнев.

— Не все собаки друзья человека, — сказала Анжелика. — Иные кусают руку, которая их кормит.

— Это собаки нечестивые и исступленные, — возразил г-н Бержере, — это безумцы, подобные Аяксу, сыну Теламона, ранившему в руку золотую Афродиту.

Такие святотатцы погибают неестественной смертью, либо влачат жалкую бездомную жизнь. Не так обстоит дело с собаками, участвующими в распрях своего бога и воюющими с соседним богом, с богом-врагом. Это — герои. Такова собака мясника Лафоли, которая вцепилась острыми клыками в икру бродяге Подорожнику. Ведь боги собак ведут такую же войну между собой, как и боги людей. И курносый Турка вступается за своего бога Лафоли против богов-бродяг, как Израиль вступился за Иегову, чтобы низвергнуть Хамоса и Молоха *.

Тем временем щенок, убедившись, что речи г-на Бержере неинтересны, подогнул лапы и вытянул мордочку, чтобы заснуть на приютивших его коленях.

— Где вы его нашли? — спросил г-н Бержере.

— Не нашла, сударь, а мне дал его повар господина Делиона.

— Словом, — сказал г-н Бержере, — мы взяли на себя, заботу об этой душе?

— Какой душе? — удивилась старуха Анжелика.

— Об этой собачьей душе. Собака, в сущности, это душа. Не скажу — бессмертная. Однако, сравнивая положение, занимаемое во вселенной этим бедным зверьком, с моим, я признаю и за ним и за собой одинаковое право на бессмертие.

После долгого колебания старая Анжелика выговорила с болезненным усилием, от которого верхняя ее губа поднялась и обнаружила два последних уцелевших зуба:

— Если, сударь, вы не хотите собаки, я верну ее повару господина Делиона. Но ее можно оставить, ручаюсь вам. Ее не будет ни видно, ни слышно.

Не успела она договорить, как маленькая тварь встрепенулась на коленях г-на Бержере от грохота проезжавшей по улице подводы и залилась звонким и продолжительным лаем, от которого задребезжали стекла.

Господин Бержере улыбнулся.

— Это сторожевая собака, — сказала как бы в извинение Анжелика. — Сторожевые собаки самые преданные из всех.

— Вы ее накормили? — осведомился г-н Бержере.

— А как же, — отозвалась Анжелика.

— Что она ест?

— Вы же знаете, сударь, — собаки едят овсянку.

Господин Бержере, несколько уязвленный, возразил довольно необдуманно, что она, быть может, в попытках слишком рано отняла щенка от материнских сосков. Но его еще раз посрамили, так как собака была явно полугодовалая. Г-н Бержере спустил щенка на ковер и оглядел с интересом.

— Красив! — залюбовалась служанка.

— Нет, некрасив, — ответил г-н Бержере. — Но симпатичен, у него хорошие глаза. То же самое говорили про меня, — добавил профессор, — когда я был втрое старше его и даже наполовину не так умен. Конечно, с тех пор я обзрел мир более глубоким взглядом, чем это когда-либо ему удастся. Но по сравнению с абсолютной истиной можно сказать, что мои познания так же ничтожны, как и его. Они тоже лишь геометрическая точка в бесконечности. — И обращаясь к бедному зверьку, обнюхивавшему корзину для бумаг, он продолжал: — Да, нюхай, нюхай, внюхивайся, втягивай в себя из внешнего мира все познания, которые твой несложный мозг способен воспринять при помощи кончика твоего носа, черного, как трюфель. Этот мир я тоже разглядываю, сравниваю, изучаю, но ни ты, ни я никогда не узнаем, что мы здесь делаем и зачем мы здесь. Что мы здесь делаем, ну-ка, скажи?

А так как он при этом несколько повысил голос, то песик посмотрел на него с тревогой. Г-н Бержере вернулся к мысли, занимавшей его раньше, и сказал служанке:

— Надо дать ему кличку.

Сложив руки на животе, она ответила смеясь, что это нетрудно.

Господин Бержере мысленно возразил, что все просто для простаков, но изощренные умы, рассматривающие явления с различных и многих сторон, недоступных для толпы, лишь с трудом принимают решения

даже в мельчайших делах. И он стал приискивать кличку для этого крошечного создания, покусывавшего тем временем бахрому ковра.

«Все собачьи имена, — размышлял он, — сохранившиеся в трактатах наших старых ловчих, вроде Фуйю, и в стихах таких сельских поэтов, как Лафонтен, — Фино, Миро, Брифо, Раво, — относятся к охотничьим собакам, аристократии псарни, рыцарству собачьего общества. Собаку Улисса звали Аргус. Она тоже принадлежала к охотничьей породе. Гомер повествует нам об этом:

В ранние годы она гоняла зайчат на Итаке,
Ныне, на старости лет, травить уже зверя не в силах.

В данном случае все это не годится. Скорее подошли бы клички, которые старые девы обычно дают своим моськам, если бы эти клички не были по большей части такими претенциозными и дурацкими. Азор — звучит нелепо».

Так размышлял г-н Бержере и перебирал множество собачьих имен, не находя ни одного, которое пришлось бы ему по душе. Он решил было придумать сам, но у него не хватало воображения.

Наконец он спросил:

— Какой у нас сегодня день?

— Четверг, — отвечала Анжелика, — четверг, девятое число.

— Так почему бы нам не назвать его Четвергом, как Робинзон назвал своего слугу Пятницей по той же причине? — предложил г-н Бержере.

— Как прикажете, сударь, — отвечала служанка, — но это не очень красиво.

— Так сами придумайте имя своему детенышу, потому что в конце концов ведь вы привели сюда этого пса, — сказал г-н Бержере.

— О! Где уж мне. Мне не придумать, — отозвалась Анжелика. — Когда я увидела его на соломе в кухне, я позвала его: «Рике», — он бросился ко мне и стал тереть мои юбки.

— Вы назвали его — Рике! — воскликнул г-н Бержере. — Что же вы не сказали? Он Рике, и Рике он

останется. Дело решенное. А теперь ступайте вместе со своим Рике и не мешайте мне работать.

— Сударь, — сказала Анжелика, — я пока оставлю вам собаку, а когда вернусь с рынка, заберу ее.

— Вы отлично можете взять ее с собой на рынок, — возразил г-н Бержере.

— Но я, сударь, пойду еще в церковь.

Анжелика действительно собиралась зайти в ризницу св. Экзюпера заказать обедню за упокой души своего мужа. Она делала это неизменно раз в год, хотя и не была оповещена о смерти Борниша, о котором вообще не получала никаких вестей, после того как он покинул ее. Но в голове старушки прочно засела мысль, что Борниш умер. В силу этого она уже могла быть покойной, что он не явится отнимать у нее ее крохотные сбережения, и, насколько позволяли ее средства, старалась облегчить ему пребывание на том свете, лишь бы он оставил ее в покое на этом.

— Так заprite ее в кухне, — сказал г-н Бержере, — или в любом другом подходящем месте и не бес...

Он не закончил фразы, заметив, что Анжелика уже ушла. Она не без умысла оставила Рике у хозяина, притворившись, будто не слышит его последних слов. Она хотела приучить их друг к другу и дать приятеля бедному г-ну Бержере, у которого приятелей не было. Закрыв за собой дверь, она проскользнула в коридор и спустилась вниз.

Господин Бержере снова принялся за работу и ушел с головой в своего «*Virgilius nauticus*». Занятие это было ему приятно. Это был отдых мысли, своего рода игра в его вкусе, игра, в которую играешь сам с собой, развлекаясь раскладыванием карт. Ибо перед ним на столе стояли ящики с изрядной колодой карточек. И вот, в то время как он аккуратно разносил флот Энея по отдельным частям на отдельные карточки, он почувствовал, что его словно кто-то колотит по ноге кулачками. Рике, про которого он забыл, Рике, стоя на задних лапах и виляя куцым хвостиком, похлопывал его по колену передними лапами. Утомившись, Рике соскользнул вниз по брюкам, затем снова стал на задние лапы и опять принялся за похлопывания.

Г-н Бержере, отведя голову от своей бумажной науки, увидел два карих глаза, смотревшие на него с симпатией.

«Этим собачьим взглядам, — думал он, — придает человеческую красоту смена веселой живости и серьезного спокойствия, а также то, что в них находит немое выражение маленькая душа, душа созерцательная, мысли которой не лишены устойчивости и глубины. Мой отец любил кошек, и я любил их по его примеру. Он заявлял, что кошки лучшие сотоварищи ученого, так как уважают его труд. Баязет, его ангорский кот, проводил ночи, лежа четыре часа подряд на углу его стола, великолепный в своей неподвижности. Я помню агатовые глаза Баязета; но в этих глазах-самоцветах, глазах с затаенной мыслью, в этом взгляде совы было столько холода, и жестокости, и вероломства! Куда милее мне влажный взгляд собаки!»

Тут Рике отчаянно заработал в воздухе передними лапками. А г-н Бержере, жаждавший вернуться к своим филологическим развлечениям, сказал ему добрым, но строгим голосом:

— Рике, ступайте на место!

В ответ на это Рике ткнулся мордой в дверь, через которую вышла Анжелика. Там он постоял некоторое время, изредка нарушая тишину смиренным повизгиванием. Затем он стал топтаться на месте, и когти его производили на паркете легкое цирканье. Потом опять слабый визг, и опять цирканье. Г-н Бержере, потревоженный в своих занятиях этими перемежающимися звуками, сказал повелительно:

— Рике, смирно!

Рике окинул г-на Бержере долгим, несколько грустным взглядом своих карих глаз. Затем он сел на задние лапы, снова взглянул на г-на Бержере, встал, повернулся к двери, обнюхал порог и опять стал повизгивать, жалобно и покорно.

— Хочешь выйти? — спросил г-н Бержере.

И положив перо, хозяин покинул кресло, направился к двери и приоткрыл ее на три-четыре пальца. Тогда Рике, убедившись, что ему ничто не грозит, пролез в открытый перед ним проход и удалился со спокойствием, почти невежливым.

Господин Бержере, отличавшийся щепетильностью, призадумался над этим на обратном пути к своему столу:

«Я готов был уже поставить в упрек этому псу то, что он ушел, не поблагодарив и не простившись, готов был ждать от него извинений перед уходом. Эту глупость внушил мне его прекрасный человеческий взгляд. Я отнесся к нему, как к существу мне подобному».

После такого размышления г-н Бержере снова погрузился в метаморфозы Энеевых кораблей, прелестную народную сказку, быть может слишком наивную для такого высокого стиля. Но это не смущало г-на Бержере. Он знал, что нянюшкины сказки дают поэтам почти весь материал для их эпического творчества, что Вергилий благоговейно собрал в своей поэме загадки, каламбуры, грубые побасенки и ребячьи вымыслы предков, а Гомер, учитель Вергилия и учитель всех певцов, только пересказал то, что рассказывали до него в течение тысячи и более лет старые ионийские женщины и рыбаки с островов. Но для Бержере это было сейчас второстепенным делом. Его тревожило совсем другое. В одном очаровательном рассказе о метаморфозах ему попалось выражение, смысл которого ускользал от него. И это его смущало.

— Бержере, друг мой, — сказал он себе, — вот где надо смотреть в оба и доказать свою проницательность. Подумай о том, что Вергилий очень пунктуален, когда касается техники какого-либо мастерства. Помни, что он занимался судоходством в Байях, что он был сведущ в кораблестроении и, следовательно, в данном месте выразился совершенно точно.

Господин Бержере тщательно сопоставил множество текстов, чтобы установить смысл малопонятного ему слова, требовавшего объяснения. Он уже добился некоторой ясности или по крайней мере обнаружил какие-то проблески, когда за дверью послышалось царапанье когтей, впрочем не заключающее в себе ничего устрашающего. Вскоре к этому шуму присоединилось пронзительное и звонкое повизгивание, и г-н Бержере, оторвавшись от филологических изысканий, предположил без труда, что эти назойливые звуки производит Рике.

Действительно, тщетно поискав Анжелику в квартире, Рике почувствовал желание снова увидеть г-на Бержере. Он настолько же тяготился одиночеством, насколько дорожил обществом людей. Как для прекращения шума, так и из затаенного желания вновь взглянуть на Рике г-н Бержере покинул кресло и пошел открыть дверь. Рике так же спокойно вернулся в кабинет, как и вышел из него. Но как только дверь закрылась за ним, он загрустил и стал бродить по комнате как неприкаянный. То он вдруг принимался с любопытством искать что-то под мебелью и шумно сопеть, то шнырял без цели или смиренно усаживался в углу, как нищий на церковной паперти. Наконец он залаял на гипсового Гермеса, стоявшего на камине.

Тогда г-н Бержере обратился к нему со следующей речью, полной справедливых упреков:

— Рике, эта бесцельная суетливость, это сопение и этот лай более уместны в конюшне, чем в кабинете профессора. Твои предки, по-видимому, ютились вместе с лошадьми и разделяли с ними их подстилку. Я не ставлю тебе этого в упрек: вполне естественно, что вместе с их гладкой шерстью, их телом колбаской и их удлинненной мордой ты унаследовал их нравы и наклонности. Не стану говорить о твоих карих глазах, ибо мало найдется людей и даже мало собак, которые смотрели бы на белый свет такими прекрасными глазами. Но в остальном, мой милый, ты конюх, конюх с головы до пят, коротконожка и раскоряка. Скажу еще раз: я не презираю тебя за это. Я говорю это, дабы ты знал, что если ты хочешь жить со мной, то должен бросить свои конюшенные повадки и усвоить манеры scholar'a¹, то есть соблюдать спокойствие и молчание и уважать труд по примеру Баязета, который по ночам четыре часа подряд, не пошевелившись, следил за тем, как перо моего отца бегало по бумаге. Баязет был замкнутое и сдержанное существо. Явная противоположность тебе, друг мой! С тех пор как ты вступил в эту посвященную науке комнату, твой хриплый голос, твои неуместные посапывания, твой визг, похожий на свисток

¹ Ученика, ученого (англ.).

паровой машины, звуки, которые ты производишь когтями скрипящими, как шарикоподшипники и цепи, трепетание всего твоего маленького механизма беспрестанно путают мои мысли, прерывают мои размышления. И вот сейчас благодаря твоему лаю от меня ускользнул смысл одного важного места из Сервия о кормовой части Энеева корабля. Знай же, друг мой Рике, что здесь обиталище молчания и приют раздумья. И если ты хочешь здесь жить, то превратись в библиотекаря. Храни молчание!

Так говорил г-н Бержере. Рике, выслушав эту речь до конца с безмолвным вниманием, приблизился к хозяину и умоляющим жестом положил робкую лапу на его колено, как бы воздавая ему поклонение по древнему обычаю. Г-н Бержере благожелательно взял его за загривок и положил позади себя на подушку глубокого кресла. Рике трижды перевернулся в этом маленьком пространстве и улегся. Он лежал молча, спокойно. Он был счастлив. Г-н Бержере был ему за это признателен. И, роаясь в книге Сервия, он иногда проводил рукой по короткой шерсти, хотя и не тонкой, но гладкой и приятной на ощупь. А Рике, погруженный в полудремоту, сообщал хозяину приятную теплоту, мягкий отрадный жар одушевленных существ. Г-н Бержере работал теперь над своим «*Virgilius nauticus*» с большим удовольствием, чем обычно.

Он установил в своем кабинете еловые полки, доходившие до потолка и заполненные обдуманно расставленными книгами. Он охватывал их все одним взглядом, — всё, что дошло до нас от латинской мысли, было у него под рукой. Греки теснились на средних полках. В укромном и удобном для пользования уголке стояли: Рабле, превосходные рассказчики «Ста новых новелл», Бонавентура Десперье, Гийом Буше, все старинные французские повествователи, которые, по мнению г-на Бержере, были ближе человечеству, чем высокоумные авторы, и которых он охотнее всего читал в часы досуга. Их произведения имелись у него лишь в современных и ходовых изданиях, но по его заказу скромный местный переплетчик обклеил эти экземпляры листками из книги антифонов, и ему доставляло удовольствие смотреть

на этих вольнословов, облаченных в «Requiem»¹ и «Miserege»². Это была единственная роскошь, единственная прихоть в его строгой библиотеке. Прочие книги были в бумажных обложках или же в простых потрепанных переплетах. Дружелюбное и бережное обхождение с ними хозяина придавало им приятный вид инструментов, аккуратно расставленных в мастерской трудолюбивого ремесленника. Сочинения по археологии и искусству были устроены на самой верхней полке, разумеется не из презрения, а за меньшей надобностью.

И вот в то время как г-н Бержере разделял кресло с Рике и работал над своим «Virgilius nauticus», ему по воле случая, понадобилось разрешить неожиданное затруднение и порыться в «Малом справочнике» Готфрида Мюллера, стоявшем под самым потолком.

Чтобы добраться до него, г-ну Бержере не нужна была одна из тех высоких лестниц на колесиках с балюстрадой и площадкой, что имелись в городской библиотеке и были в ходу в XVII, XVIII и XIX веках у прославленных библиофилов, из коих некоторым суждено было свалиться с этих лестниц и умереть достойной смертью, как описано в трактате, озаглавленном: «О библиофилах, умерших от падения с лестниц». Нет, конечно, у г-на Бержере не было надобности в таком сооружении. Его вполне удовлетворила бы складная стремянка в пять-шесть ступенек. Однажды у краснодеревца Клерамбо на улице Жозд ему попалась подобная лесенка, которая в сложенном виде выглядела довольно недурно, с гладко отесанными боковыми подпорками и с прорезом в форме трилистника для просовывания руки.

Господину Бержере очень хотелось приобрести эту стремянку. Однако он отказался из-за стесненного состояния своих дел. Никто на свете не знал лучше его, что денежные раны не смертельны; но это ничего не меняло: стремянки у него не было. Он пользовался вместо нее старым плетеным стулом, полукруглая спинка

¹ Requiem (лат.) — Даруй им, господи, вечный покой... — зауспокойная католическая молитва.

² Miserege (лат.) — Смилуйся... — покаянное церковное песнопение.

которого, некогда сломанная у верхушки, представляла собой два рога или две клешни, доставлявшие при пользовании этим предметом больше затруднений, чем удобства. Поэтому их спилили до уровня сидения, так что стул превратился в табуретку. Означенная табуретка была мало пригодна для нужд г-на Бержере, и это по двум причинам. Во-первых, в камышовом сидении от долгого пользования образовалась впадина, и нога не имела прочной опоры. Во-вторых, табуретка была слишком низка: встав на нее и подняв руки, можно было лишь с трудом дотянуться кончиками пальцев до верхней полки. И по большей части при доставании книг несколько томов падало на пол, где они валялись с поврежденными углами, если были в переплетах, а не в обложках, либо лежали раскрытые наподобие веера или гармоники.

И вот, намереваясь достать «Справочник» Готфрида Мюллера, г-н Бержере покинул кресло, где сидел вместе с Рике. Рике, который дремотно нежился в тепле, свернувшись комочком и уткнувшись головой в живот, приоткрыл упоенный наслаждением глаз и тотчас же сомкнул его. Г-н Бержере вытащил табуретку из темного угла, переставил ее на требуемое место, влез на нее и, став на цыпочки и вытянув по возможности руки, ухитрился одним, а затем двумя пальцами прикоснуться к корешку книги, которую счел за ту, что была ему нужна. Большой палец при этом не достал до полки, и пользы от него не было никакой. Испытывая крайнее неудобство при извлечении книги, г-н Бержере пришел к выводу, что человеческая рука ценное орудие именно из-за большого пальца, противостоящего четырем остальным, и что людям не были бы доступны искусства, если бы у них было четыре ноги и не было рук.

«Только своей руке, — размышлял он, — мы обязаны тем, что стали конструкторами машин, живописцами, книжниками — словом, научились манипулировать всякими предметами. Если бы большой палец не отстоял от остальных, люди были бы в таком же затруднении, как я теперь, и не смогли бы изменить лица вселенной. Безусловно, форма руки обеспечила человеку власть над миром».

Но почти тотчас же г-н Бержере подумал о том, что у обезьян четыре руки и они тем не менее не создали искусств и не приспособили землю к собственным потребностям. И он вычеркнул в своем мозгу теорию, которую только что начертал. Тем временем он, как мог, орудовал двумя пальцами. Надо заметить, что «Малый справочник» Готфрида Мюллера состоит из трех томов и атласа. Г-ну Бержере нужен был первый том. Он извлек сперва второй том, затем атлас, потом третий том и, наконец, первый. Он взял этот том. Ему оставалось только спуститься, когда камышовое сидение не выдержало, и нога г-на Бержере провалилась. Потеряв равновесие, он упал на пол, однако же не так стремительно, как можно было опасаться, потому что замедлил падение, ухватившись за стенку стеллажа.

Во всяком случае, он, к удивлению своему, очутился на полу со вздетым на ногу продырявленным стулом, испытывая тупую боль во всем теле, вскоре ставшую более резкой в локте и в левом бедре, на которые он упал. Но так как его органы не были особенно повреждены, то он пришел в себя и уже собрался вытащить правую ногу из табурета, так злополучно ее обувшего, и приподняться по возможности на правом боку, который не болел. Он даже принялся это осуществлять, когда почувствовал теплое дыхание на своей щеке. Взглянув в эту сторону расширенными от боли и страха глазами, он увидал подле своего лица мордочку Рике.

При шуме падения Рике соскочил с кресла и бросился к своему несчастному хозяину. Охваченный смятением, он юлил подле г-на Бержере, подбегал, отступал. То он приближался, влекомый сочувствием, то отскакивал, страшась таинственной опасности. Он отлично понимал, что случилась беда, но ум его не обладал такой рассудительностью, чтобы осознать ее причины: это и заставляло его тревожиться. Преданность влекла его к страждущему другу, осторожность удерживала на краю рокового места. Наконец, ободренный восстановившейся тишиной и спокойствием, он обнял дрожащими передними лапами шею г-на Бержере и стал смотреть на него испуганным любящим взором. Поверженный хозяин улыбнулся, а собака лиз-

нула ему кончик носа. Это очень ободрило г-на Бержере; он высвободил правую ногу, встал и направился к креслу, прихрамывая и улыбаясь.

Рике уже успел занять свое место. Глаза его сверкали сквозь узкую щель полусомкнутых век. Он, казалось, больше не думал о происшествии, причинившем им обоим такое волнение. Маленькое существо жило текущим моментом, не заботясь о минувших временах; происходило это не от недостатка памяти, — ибо Рике помнил не только свое прошлое, но и отдаленное прошлое своих предков и его голова, величиной с кулак, была богатым складом всяких полезных познаний, — а потому, что он не находил услады в воспоминаниях и память не была для него, как для г-на Бержере, божественной музыкой.

Проводя рукой по короткой гладкой шерсти своего приятеля, г-н Бержере изрек следующие сердечные слова :

— Пес! Ты поступил своим покоем, который должен быть тебе дорог, и пришел ко мне, когда я был повержен и потрясен. Ты не рассмеялся, как сделал бы на твоём месте всякий молодой индивид моей породы. Правда, тебе не свойственно чувство смешного, и природа представляется тебе либо в радужном, либо в страшном виде, но отнюдь не в комическом. И именно благодаря этому, благодаря твоей наивной серьезности, ты являешься самым надежным со товарищем, какого можно найти. Сперва я внушал тебе доверие и восхищение, а теперь внушаю жалость.

Пес! Когда мы встретились в этой жизни, мы шли из отдаленных, очень отдаленных исходных пунктов мироздания. Мы принадлежали к двум различным видам существ. Я говорю это не для того, чтобы кичиться своим превосходством, а, напротив, из чувства вселенского братства. Мы знакомы с тобой менее двух часов. Рука моя не кормила тебя. Откуда взялось затаенное милосердие, вспыхнувшее в твоей крохотной душонке? Твоя симпатия — дивная тайна. Я не отталкиваю ее. Спи, друг, на месте, облюбленном тобой!

Произнеся такую речь, г-н Бержере стал перелистывать «Справочник» Готфрида Мюллера, который он, руководясь каким-то довольно странным инстинктом,

не выпустил из рук во время своего падения и после него. Итак, он перелистал книгу, но не нашел того, что искал.

Между тем от движений боль возобновилась.

«Вероятно, — подумал он, — я ушиб бок, и у меня кровоподтек на левом бедре. Подозреваю также, что сильно ободрал правую ногу. А в левом локте я чувствую острую боль. Но вправе ли я жаловаться на страдания, благодаря которым обрел друга?»

Так размышлял он, когда старая Анжелика, потная и запыхавшаяся, вошла в кабинет. Она сперва отворила дверь, а затем постучалась. Она никогда не входила без стука. Если она не стучала раньше, она стучала потом, ибо соблюдала благопристойность и знала, к чему обязывает приличие. Итак, она вошла, постучала и сказала:

— Сударь, я пришла за собакой.

Господину Бержере эти слова заметно не понравились. Он еще не успел разобраться в своих правах на Рике. Выходило, что у него не было никаких прав, и он опечалился при мысли, что г-жа Борниш может разлучить его с этим животным. Ибо в конце концов Рике принадлежал г-же Борниш. Он отвечал с напускным безразличием:

— Он спит, дайте ему поспать.

— Я даже не вижу его, — сказала Анжелика.

— Он тут, в глубине кресла, — ответил г-н Бержере.

Старая Анжелика, сложив руки на толстом животе, улыбнулась и сказала с добродушной насмешкой:

— Не пойму, сударь, какое удовольствие этому животному спать за вашей спиной?

— Это его дело, — возразил г-н Бержере.

Но так как он обладал критическим умом, то тотчас же стал искать мотивы, которыми руководился Рике, и, найдя их, поведал служанке с присущей ему искренностью:

— Я согреваю его, и мое присутствие разгоняет его страхи. Этот маленький приятель — ручной и зябкий зверек.

И г-н Бержере добавил:

— Знаете, Анжелика... Я куплю ему ошейник.

VII

Ректор, г-н Летерье, служитель абсолютной истины и философ-спиритуалист, никогда не питал особой симпатии к критическому уму г-на Бержере. Но одно достопамятное обстоятельство сблизило их. Г-н Летерье высказался по поводу «Дела». Он подписал протест против приговора, который по совести считал незаконным и ошибочным. Это тотчас навлекло на него общественный гнев и презрение.

В городе, насчитывавшем сто пятьдесят тысяч жителей, было помимо него только четыре лица, разделявших его мнение о «Деле»: г-н Бержере, его коллега по факультету, два артиллерийских офицера и г-н Эзоб Буле. Но даже из этих четырех лиц офицеры хранили полное молчание, а г-н Эзоб Буле, главный редактор «Маяка», был вынужден, в силу профессиональных интересов, ежедневно высказывать с остервенением взгляды, противоречившие его собственным, поносить г-на Летерье и восстанавливать против него порядочных людей.

Господин Бержере написал своему ректору поздравительное письмо. Г-н Летерье сделал ему визит.

— Не думаете ли вы, — сказал г-н Летерье, — что истина заключает в себе силу, которая рано или поздно делает ее непобедимой и обеспечивает ей окончательное торжество? Такого мнения придерживался прославленный Эрнест Ренан, и такое же мнение было высказано недавно словами, достойными быть вырезанными на бронзе *.

— Я думаю иначе, — отвечал г-н Бержере. — Напротив, по-моему, истине чаще всего суждено бесславно гибнуть, вызывая лишь презрение и нападки. В доказательство я могу привести множество случаев. Примите в расчет, что истина занимает невыгодное положение сравнительно с ложью и принуждена отступать перед нею. Во-первых, она едина; она едина, как говорит аббат Лантень, который восхищается этим ее свойством. А восхищаться тут решительно нечем. Ибо ложь многообразна, и на ее стороне численное превосходство. Это не единственный недостаток истины. Истина инертна. Она неспособна меняться; она не идет

ни на какие сделки, которые позволили бы ей легко подчинить себе сознание людей или людские страсти. Ложь, напротив, располагает чудесными возможностями. Она податлива, она гибка. Более того, скажем смело, — она естественна и нравственна. Она естественна потому, что представляет собой продукт наших чувств, служащих источником и вместилищем иллюзий; она нравственна, поскольку согласуется с привычками людей, которые, ведя совместную жизнь, создали свои представления о добре и зле, свои божественные и человеческие законы, исходя из самых древних, самых святых, самых нелепых, самых возвышенных, самых варварских и самых неверных толкований всевозможных явлений природы. Ложь составляет у людей основу всякой добродетели и красоты. И действительно, мы видим, что их дворцы, их сады и их храмы украшены крылатыми фигурами и изображениями сверхъестественных существ. Они любят слушать только вымыслы поэтов. Что побуждает вас изгонять ложь и искать истину? Только любопытство слабосильных, только преступная дерзость интеллигентов может внушить подобную затею. Это — покушение на нравственную природу человека и на общественный строй. Это — оскорбление, нанесенное как душевным склонностям, так и добродетелям народов. Если бы развитие этого зла можно было ускорить, оно повлекло бы за собой роковые последствия. Оно разрушило бы все. Но мы видим, что в действительности оно очень незначительно и очень медлительно и что истина никогда не причиняет лжи большого ущерба.

— Вы, по-видимому, не имеете в виду научных истин. Их прогресс стремителен, неудержим и благотворен, — сказал г-н Летерье.

— К сожалению, несомненно, — возразил г-н Бержере, — что научные истины, дойдя до толпы, погружаются в нее, как в болото, тонут в ней, не проявляя себя и совершенно бессильны побороть заблуждения и предрассудки.

Лабораторные истины, пользующиеся над вами и надо мной высшей властью, не господствуют над народными массами. Приведу только один пример. Си-

стема Коперника и система Галилея совершенно несовместимы с христианской физикой. Вы, однако, видите, что она проникла во Францию и во всем мире даже в начальные школы, ни на йоту не изменив богословских понятий, которые должна была разрушить. Совершенно очевидно, что сравнительно с системой мира какого-либо Лапласа древняя иудейско-христианская теория происхождения вселенной представляется столь же ребяческой, как планисфера на циферблате часов, которую смастерил какой-нибудь швейцарский ремесленник. Между тем, хотя теория Лапласа ясно изложена уже около ста лет тому назад, еврейские и халдейские сказки о сотворении мира, занесенные в священные христианские книги, не утратили своей власти над людьми. Наука никогда не наносила ущерба религии, и сколько бы вы ни доказывали бессмысленность какого-нибудь религиозного обряда, вы не сократите числа лиц, которые будут его исполнять.

Для толпы научные истины непривлекательны. Народы, сударь, живут мифологией. Они извлекают из мифа все познания, нужные им для жизни. Они не требовательны, и нескольких безобидных выдумок достаточно, чтобы позолотить существование миллионам. Короче сказать, истина не подчиняет себе людей. Да и это было бы прискорбно, ибо она противна как их духу, так и их интересам.

— Вы напоминаете греков, господин Бержере, — сказал ректор. — Вы сочиняете прекрасные софизмы, и ваши размышления звучат как мелодии на флейте Пана. Но я верю вместе с Ренаном, вместе с Эмилем Золя, что у истины есть сила убеждения, которой не обладают ни ошибки, ни ложь. Я говорю «истина», и вы меня, конечно, понимаете, господин Бержере. Ибо эти прекрасные слова «истина» и «справедливость» незачем определять, для того чтобы постигнуть их вечный смысл. Они сами в себе заключают сверкающую красоту и небесное сияние. А посему я верю в торжество истины. Это поддерживает меня в испытаниях, которые в данный момент выпали мне на долю.

— Хотелось бы, чтобы вы были правы, господин ректор, — отвечал Бержере. — Но вообще говоря, я

думаю, что наше представление о фактах и о людях редко соответствует самим людям и фактам; мыслительные средства, позволяющие нам судить об этих соответствиях, несовершенны и недостаточны и, если со временем устанавливаются кой-какие новые соответствия, то еще больше их разрушается. На мой взгляд, г-жа Ролан *, сидя в тюрьме, обнаружила несколько наивную веру в человеческую справедливость, когда с таким мужеством и твердостью духа взывала к беспристрастию потомства. Потомство беспристрастно только тогда, когда оно равнодушно. И оно предаёт забвению то, что его больше не интересует. Оно отнюдь не судья, как полагала г-жа Ролан. Оно — толпа, слепая, изумленная, жалкая и яростная, как всякая толпа. Оно любит, но главным образом ненавидит. У него свои предрассудки; оно живет настоящим. Оно не знает прошлого. Суд потомства не существует.

— Однако же, — сказал г-н Летерье, — бывают также часы праведного суда и воздаяния.

— Считаете ли вы, — спросил г-н Бержере, — что такой час когда-либо пробьет для Макбета?

— Для Макбета?

— Для Макбета, сына Финлега, короля шотландского. Легенда и Шекспир, два великих властителя умов, сделали из него преступника. А я уверен, сударь, что он был отличным человеком. Он оградил сынов простого народа и сынов церкви от насилий знати. Он был бережливым королем, справедливым судьей, другом ремесленников. Так утверждает хроника. Он не убивал короля Дункана. Его жена вовсе не была злобной. Она звалась Грюох. У нее были поводы для целых трех вендетт в отношении к роду Малькольмов. Ее первый муж был заживо сожжен в своем замке. У меня здесь на столе в одном английском журнале имеется достаточно материала, чтобы доказать добродетель Макбета и невиновность леди Макбет. Думаете ли вы, что, обнаружив эти доказательства, я изменю всеобщее мнение?

— Не думаю, — ответил г-н Летерье.

— Я тоже не думаю, — вздохнул г-н Бержере.

В этот момент на городской площади раздались выкрики. Это горожане, согласно усвоенной ими при-

вычке, шли бить стекла у сапожника Мейера — из уважения к армии.

Они кричали: «Смерть Золя! Смерть Летерье! Смерть Бержере! Смерть жидам!» И так как ректор обнаружил при этом некоторую печаль и некоторое негодование, г-н Бержере заметил ему, что нужно правильно осмыслить энтузиазм толпы.

— Эта кучка, — сказал он, — идет бить стекла к сапожнику. Она выполнит это без труда. Полагаете ли вы, что такая же толпа сумеет столь же легко вставить стекла или провести звонки у генерала Картье де Шальмо? Конечно, нет. Энтузиазм толпы не созидателен. Он по существу разрушителен. На сей раз он хочет сокрушить нас. Но не следует придавать данному частному случаю слишком большое значение. Лучше заняться общими законами, которые здесь проявляются.

— Пожалуй, — согласился г-н Летерье, представлявший собою олицетворение кротости. — Но все происходящее меня потрясает. Можем ли мы без прискорбия наблюдать, как восстает против справедливости и правды тот самый народ, который был для Европы и всего мира глашатаем прав и поучал законности всю вселенную?

VIII

Председатель суда г-н Касиньоль, скончавшийся на девяносто втором году жизни, был отвезен в церковь согласно его воле в катафалке для бедных. Это завещательное распоряжение было молчаливо осуждено всеми. Вся погребальная процессия втайне сочла себя обиженной этим, как знаком презрения к богатству, предмету всеобщего уважения, и как явным отказом от привилегии буржуазного класса. Вспоминали, что г-н Касиньоль всегда достойно содержал свой дом и до глубокой старости соблюдал строжайшую опрятность в одежде. Хотя все знали, что он постоянно был занят делами католических благотворительных учреждений, однако никто не применил к нему слов одного христианского оратора, сказавшего про кого-то: «Он так любил бедняков, что уподоблялся им». Поступок

г-на Касиньоля объясняли не избытком человеколюбия, а приписывали его парадоксальной гордыне и холодно взирали на такое высокомерное смирение.

Жалели также о том, что покойный, будучи кавалером ордена Почетного легиона, распорядился не оказывать ему никаких воинских почестей. Состояние умов, взбудораженных националистическими газетами, было таково, что вполне открыто выражалось сожаление об отсутствии на похоронах солдат. Генерал Картье де Шальмо, явившийся в штатском, был с почетом встречен депутацией адвокатов. Многочисленные представители судебного ведомства и духовенства теснились перед домом усопшего. И когда под звон колоколов медленно двинулся к собору катафалк, предшествуемый крестом и церковным пением и сопровождаемый по бокам двенадцатью монахинями в белых чепцах, а позади — мальчиками и девочками из конгрегационных школ, все уяснили себе смысл этой долгой жизни, посвященной торжеству католической церкви. Весь город толпой следовал за гробом. Г-н Бержере шел в хвосте шествия. Архивариус Мазюр, приблизившись, шепнул ему на ухо:

— Я знал, что этот старый Касиньоль был при жизни завзятым палачом. Но я не думал, чтобы он был таким ханжой. Он выставлял себя либералом!

— Он им и был, — отвечал г-н Бержере. — Он должен был им быть, потому что домогался власти. Разве те, кто добиваются владычества, не ссылаются на требования свободы? Но вы умиляете меня, господин Мазюр.

— Чем? — спросил архивариус.

— Тем, что вы наравне с толпой постоянно обнаруживаете трогательное свойство поддаваться надувательству и усердно маршируете в процессии торжествующих простофиль.

— О! Если вы имеете в виду «Дело», — энергично возразил г-н Мазюр, — то предупреждаю вас, что мы не споемся...

— Бержере, вы хорошо знаете этого священника? — спросил доктор Форнероль.

И он взглядом указал на проворного и жирного патера, протискивавшегося в толпе.

— Аббата Гитреля? — проговорил г-н Бержере. — Да кто же не знает Гитреля и его служанки! Им приписывают похождения, некогда рассказанные Лафонтемом и Боккаччо. На самом же деле служанка господина Гитреля достигла канонического возраста. Мне говорили, что этот священник, собирающийся вскоре стать епископом, как-то обронил фразу, которую я могу вам передать. Он сказал: «Если восемнадцатый век следует назвать веком преступления, то девятнадцатый может быть назван веком искупления». Гм!.. а может быть, аббат Гитрель и прав.

— Нет, — отвечал архивариус. — Число эмансипированных умов растет с каждым днем. Свобода совести завоевана раз и навсегда. Царство науки покоится на прочном основании. Но я боюсь контратаки клерикалов. Обстоятельства благоприятствуют реакции. Меня это тревожит. Я отношусь ко всему не так дилетантски, как вы. Я люблю республику тревожной и страстной любовью.

За такими разговорами они подошли к соборной огаде. Над лысыми, седыми, черными головами витали, несясь из теплого мрака сквозь широко открытый портал, звуки органа и благовоние ладана.

— Я не пойду внутрь, — сказал архивариус.

— А я войду на минутку, — отозвался г-н Бержере. — Я люблю церковные обряды.

Когда он вошел, в соборе гудели величественные строфы «*Dies iræ*»¹. Г-н Бержере стал позади г-на Лапра-Теле. На левой стороне от алтаря, отведенной для женщин, он увидел г-жу де Громанс; темное платье оттеняло белизну ее кожи, ее глаза походили на цветы. В них не было даже проблеска мысли, и от этого она казалась г-ну Бержере особенно желанной. По обширному приделу разнесся голос певчего, возгласившего зауспокойный гимн:

Qui latronem exauidisti
Et Mariam absolvistis,
Mihi quoque spem dedisti.

¹ «*Dies iræ*» (лат.) — День гнева, католический покаянный гимн.

— Слышите, Форнероль, — сказал г-н Бержере. — «*Qui latronem exaudisti...*» «Ты, что внял разбойнику и простил грешницу, ты и мне подал надежду». Надо несомненно обладать известным душевным величием, чтобы вложить в уста целому скопищу людей подобные слова. Заслуга эта принадлежит тем суровым и кротким духовидам Абруцских гор, тем нищим прислужникам нищих, которые отреклись от богатства, дабы избежать ненависти, порождаемой богатством. Эти приверженцы святого Франциска были плохими экономистами! Господин Мелин * отнесся бы к ним с величайшим презрением, если бы ему довелось услышать о них.

— О! — заметил доктор. — Значит, приверженцы святого Франциска предугадали состав сегодняшних посетителей собора!

— «*Dies iğæ*», насколько мне помнится, был сочинен в тринадцатом веке в одном францисканском монастыре, — сказал г-н Бержере. — Надо будет расспросить об этом моего любезного друга, командора Аспертини.

Тем временем панихида подошла к концу.

Следуя за колесницей, отвозившей на кладбище тело судьи, г-н Мазюр, доктор Форнероль и г-н Бержере продолжали беседу.

Когда они проходили мимо «дома королевы Маргариты», архивариус Мазюр сказал:

— Купчая подписана. Отныне Термондр собственник древнего обиталища Филиппа Трикульера и размещает там свои коллекции с тайным намерением продать их когда-нибудь городу втридорога и прослыть благодаря этому его благодетелем. Кстати, Термондр наконец решился: он выставляет свою кандидатуру в Сейи от прогрессивных республиканцев, но всякому ясно, к какого рода прогрессу он направит республику. Это «присоединившийся».

— Разве правительство его не поддерживает? — спросил г-н Бержере.

— Его поддерживает префект, а супрефект его топтит, — отвечал Мазюр. — Супрефектом Сейи руководит премьер-министр. А префект Вормс-Клавлен следует инструкциям министра внутренних дел.

— Видите эту лавку? — спросил доктор Форнероль.
— Лавку вдовы Леборнь, красильщицы? — отозвался Мазюр.

— Ее самой, — сказал доктор Форнероль. — Муж ее умер полтора месяца тому назад каким-то диковинным образом. Он умер в буквальном смысле от страха, остолбенев при одном виде собаки, которая показалась ему бешеной, а была не более бешеной, чем я.

Доктор Форнероль принялся рассказывать о смертях разных мужчин и женщин, к которым его призывали для врачебной помощи.

Господин Мазюр был вольнодумцем, но испытал при мысли о смерти большое желание обладать бессмертной душой.

— Я не верю ни единому слову из того, чему учат различные церкви, поделившие ныне между собой духовное владычество над народами, — сказал он. — Мне превосходно известно, как вырабатываются догмы, как они образуются и преобразуются. Но разве не может существовать внутри нас некое мыслящее начало и разве оно должно непременно погибнуть вместе с сочетанием органических элементов, которое именуется жизнью?

— Мне бы хотелось, — сказал г-н Бержере, — спросить вас, что такое мыслящее начало, но боюсь поставить вас в затруднительное положение.

— Нисколько, — ответил г-н Мазюр. — Я имею в виду причину мысли или, если хотите, самую мысль. Почему бы мысли не быть бессмертной?

— Да, почему? — спросил в свою очередь г-н Бержере.

— Это предположение вовсе не абсурдно, — сказал ободренный г-н Мазюр.

— А почему бы, — спросил г-н Бержере, — какому-нибудь господину Дюпону не жить в доме номер тридцать восемь по улице Тентельри? Это предположение вовсе не абсурдно. Фамилия Дюпон — рядовая фамилия во Франции, а в доме, о котором я говорю, три корпуса.

— Вы всё шутите, — сказал г-н Мазюр.

— Я тоже по-своему спиритуалист, — вмешался в разговор доктор Форнероль. — Спиритуализм — терапевтическое средство, которым нельзя пренебрегать при нынешнем состоянии медицины. Все мои пациенты верят в бессмертие души и не любят шуток на этот счет. Добрые люди как на улице Тентельри, так и везде хотят быть бессмертными. Их огорчит, если им сказать, что они, может статься, вовсе не бессмертны. Видите вон там госпожу Пешен, которая выходит из овощной лавки с помидорами в плетенке? А ну-ка, скажите ей: «Госпожа Пешен, вы будете наслаждаться небесным блаженством в продолжение миллиардов лет, но вы не бессмертны. Вы проживете дольше звезд и будете жить еще и тогда, когда туманности превратятся в солнца и когда солнца потухнут, и на непостижимом протяжении этих времен вы будете утопать в уладах и сиянии. Но вы не бессмертны, госпожа Пешен!» Если вы ей так скажете, она отнюдь не примет это за приятное сообщение. А если, паче чаяния, вы подтвердите свои речи достаточно убедительными для нее доказательствами, бедная старушка будет огорчена, впадет в уныние и будет вкушать свои помидоры, приправляя их слезами.

Госпожа Пешен хочет быть бессмертной. Все мои пациенты хотят быть бессмертными. Вы, господин Мазур, и вы сами, господин Бержере, хотите быть бессмертными. И скажу вам еще, что неустойчивость — это основная черта всех сочетаний, из которых возникает жизнь. Жизнь... хотите, чтобы я определил ее научно? Это — неизвестное, которое испаряется черт его знает куда.

— Конфуций, — сказал г-н Бержере, — был человек рассудительный. Когда ученик его, Ки-Лу, спросил однажды, как надо служить Духам и Гениям, учитель ответил: «Если человек еще не в состоянии служить человечеству, то как может он служить Духам и Гениям?..» — «Позвольте мне, — продолжал ученик, — спросить вас, что такое смерть». И Конфуций отвечал: «Как нам знать, что такое смерть, когда мы не знаем, что такое жизнь?»

Процессия, двигавшаяся по Национальной улице,

проходила мимо гимназии. Доктор Форнероль вспомнил дни своего отрочества и сказал:

— Здесь я учился. Это было давно. Я много старше всех вас. Мне исполнится через неделю пятьдесят шесть лет.

— Так действительно госпожа Пешен хочет жить вечно? — спросил г-н Бержере.

— Она не сомневается в своем бессмертии, — ответил доктор Форнероль. — Если бы вы стали ее разубеждать, она рассердилась бы на вас и не поверила бы.

— И ее несколько не удивляет, — продолжал г-н Бержере, — что ей суждено бесконечное существование, несмотря на то, что все в мире преходяще? Как может она питать такие безмерные надежды? Должно быть, она недостаточно вдумывалась в природу вещей и в свойства жизни.

— Не все ли равно, — возразил доктор. — Чему же тут удивляться, дорогой господин Бержере? У этой доброй особы есть вера. Это, пожалуй, даже единственное, что у нее есть. Она католичка, так как родилась в католической стране. Она верит в то, чему ее учили. Это же естественно.

— Доктор, вы говорите, как Заира *, — сказал г-н Бержере. — «Когда бы я жила у Гангских берегов...» Впрочем, вера в бессмертие души — обычное явление в Европе, Америке и в части Азии. Она проникает и в Африку вместе с бумажными тканями.

— Тем лучше, — заметил доктор, — ибо она необходима для цивилизации. Без нее несчастливцы не примирились бы со своей судьбой.

— Однако китайские кули работают за мизерную плату, — возразил г-н Бержере. — Они терпеливы и безропотны, но несколько не спиритуалисты.

— Потому что они желтокожие, — сказал доктор Форнероль. — Белые люди не так покорны своей доле. Они носят в себе некий идеал справедливости и возвышенные надежды. Генерал Картье де Шальмо прав, когда говорит, что армии необходима вера в загробную жизнь. Эта вера также очень полезна с точки зрения

общественных нравов. Если бы люди не боялись ада, на свете было бы меньше честности.

— А вы, доктор, верите в то, что воскреснете? — спросил г-н Бержере.

— Ко мне это не относится, — ответил доктор. — Мне не надо верить в бога, чтобы быть честным человеком. В вопросах религии я, как ученый, не верю ни во что, а как гражданин, верю во все. Я государственный католик. Я считаю, что религиозные идеи служат нравственности и внедряют в простой народ гуманные чувства.

— Это очень распространенное воззрение, — сказал г-н Бержере. — И оно не внушает мне доверия именно из-за своей популярности. Общеизвестных взглядов никто не критикует. Если бы их обсуждать, большинство из них пришлось бы отвергнуть. Это напоминает рассказ о том театральном, который в течение двадцати лет проходил во Французскую Комедию, режиссированная контролером: «Покойный Скриб» *. Такая мотивировка не выдержала бы критики, но никто ее не критиковал. Как можно считать, что религиозные идеи служат проводником нравственности, когда вся история христианских народов соткана из войн, резни и пыток? Вы, вероятно, не требуете, чтобы миряне были благочестивее монахов. А между тем монахи всех оттенков — белые и черные, пегие и серые — запятнали себя самыми отвратительными преступлениями. Соратники инквизиции и иереи Лиги были благочестивы и в то же время жестоки. Я не говорю о папах, потопивших мир в крови, так как неизвестно, верили ли они в загробную жизнь. Вся суть в том, что люди — зловередные животные и остаются зловередными, даже твердо надеясь перейти из этого мира в другой, что уж совсем неразумно, если только вдуматься. Тем не менее не заключайте из этого, доктор, что я отказываю госпоже Пешен в праве считать себя бессмертной. Могу даже привести в ее пользу еще тот довод, что она не испытывает разочарования, покидая эту жизнь: длительная иллюзия обладает всеми атрибутами правды, и никогда не чувствуешь себя обманутым, если тебя не вывели из заблуждения.

Передние ряды процессии уже вступили на кладбище. Трое собеседников замедлили шаг.

— Если бы вы, господин Бержере, как я, каждое утро посещали десятка два больных, вы поняли бы, в чем сила священников. Да сами вы разве не ловите себя иногда пускай не на вере в бессмертие, так на желании стать бессмертным?

— В этой области, доктор, я разделяю взгляд госпожи Дюпон-Деланьо, — отвечал г-н Бержере. — Госпожа Дюпон-Деланьо была глубокой старухой, когда мой отец был еще очень молод. Она весьма любила его и охотно с ним беседовала. Благодаря ей он как бы проникал в восемнадцатый век. Из его уст я почерпнул некоторые суждения этой дамы, и в том числе следующее.

Когда она однажды заболела у себя в имении, священник посетил ее и заговорил с ней о будущей жизни. Она ответила, презрительно сжав губы, что не питает доверия к загробному миру. «Вы утверждаете, — добавила она, — что его создал тот, кто создал и наш мир. Так можете сами судить о качестве его работы». Я, доктор, питаю по меньшей мере такое же недоверие, как и госпожа Дюпон-Деланьо.

— Но неужели вы никогда не мечтали о бессмертии, завоеванном для нас наукой, о бессмертии среди небесных светил? — спросил доктор.

— Возвращаюсь к мысли, высказанной госпожой Дюпон-Деланьо, — ответил г-н Бержере. — Очень боюсь, что система Альтаира * или Альдебарана * ничуть не лучше солнечной и я ничего не выгадаю от перемены местожительства. А в отношении того, чтобы возродиться на этом шарике, — увольте, доктор!

— Так вам в самом деле не хочется, как госпоже Пешен, быть бессмертным в том или ином виде? — спросил доктор Форнероль.

— По зрелом размышлении, — отвечал г-н Бержере, — я вполне удовлетворен тем, что я вечен, действительно вечен как вещество. Что же касается сознания, которым я наделен, то оно — случайность, доктор, минутное явление, подобное пузырьку в воде.

— Согласен, — сказал доктор. — Но говорить так но следует.

— Почему? — спросил г-н Бержере.

— Потому что эти взгляды не приновлены для широкого большинства, и раз уж вы не можете думать заодно с толпой, то будьте с нею заодно по крайней мере в своих высказываниях. Ведь общность верований и есть то, что создает силу народов.

— Правда лишь то, — отвечал г-н Бержере, — что люди, воодушевленные общей верой, прежде всего бросаются истреблять тех, кто думает иначе, особенно если разница во взглядах не так уж велика.

— Нам предстоит выслушать три речи, — заметил г-н Мазюр.

Но г-н Мазюр ошибся. Было произнесено пять речей, причем никто ничего не слышал. Когда проходил генерал Картье де Шальмо, его сопровождали возгласы: «Да здравствует армия!» Г-на Летерье и г-на Бержере преследовало улюлюканье националистической молодежи.

IX

В сырой майский вечер дамы де Бресе вязали в большой гостиной фуфайки для детей бедняков. Престарелая г-жа де Куртре, стоя спиной к камину и подобрав платье, грела себе ноги. Г-н де Бресе, генерал Картье де Шальмо и г-н Лерон беседовали в ожидании виста.

Господин де Бресе развернул вчерашнюю газету, валявшуюся на столе.

— Серьезные военные действия между Испанией и Америкой еще не начались, — сказал он. — Чем, по-вашему, кончится война, генерал? Любопытно бы знать мнение такого выдающегося военного деятеля, как вы.

— О да, генерал, — поддержал его г-н Лерон, — было бы чрезвычайно важно познакомиться с тем, как вы расцениваете соотношение сил, которым предстоит столкнуться на Антильских островах и в китайских водах.

Генерал Картье де Шальмо провел рукой по лбу, открыл рот и после довольно долгой паузы произнес авторитетным тоном:

— Объявив войну Испании, американцы совершили неосторожность, которая может им дорого обойтись. Не располагая ни сухопутной армией, ни военно-морскими силами, они едва ли выдержат борьбу с хорошо обученной армией и опытными моряками. У них есть кочегары и механики, но кочегары и механики — это еще не военный флот.

— Вы верите, генерал, в успех испанцев? — спросил г-н Лерон.

— Вообще говоря, — ответил генерал, — успех кампании зависит от обстоятельств, которые невозможно предвидеть; но мы можем уже теперь констатировать, что американцы не подготовлены к войне. А война требует долгой подготовки.

— Так скажите же нам, генерал, — воскликнула г-жа де Куртре, — что эти бандиты американцы будут побеждены!

— Победа их маловероятна, — отвечал генерал. — Скажу даже, что она была бы парадоксальна и дерзко нарушила бы всю систему взглядов, которая в ходу у подлинно военных наций. Действительно, победа Соединенных Штатов явилась бы наглядным опровержением принципов, принятых во всей Европе самыми крупными военными авторитетами. Такого исхода нельзя ни ожидать, ни желать.

— Какое счастье! — воскликнула г-жа де Куртре, похлопывая себя костлявыми руками по старческим бедрам и потряхивая седой жесткой шевелюрой, напоминавшей меховую шапку. — Какое счастье, наши друзья испанцы победят. Да здравствует король!

— Генерал, — сказал г-н Лерон, — я придаю вашим словам величайшее значение. Военный успех наших соседей будет встречен во Франции с одобрением; и почем знать, не вызовет ли он и у нас подъем роялистского и религиозного движения?

— Позвольте, — сказал генерал, — я ничего не предсказываю. Успех кампании, повторяю, зависит от обстоятельств, которые невозможно предвидеть. Я рассматриваю только факторы, которые сейчас имеются налицо. И с этой точки зрения преимущество бесспорно

на стороне Испании, хотя она и не располагает достаточным количеством морских единиц.

— Судя по некоторым признакам, — заметил г-н де Бресе, — американцы как будто начинают раскаиваться в своей смелости. Передают, что они в ужасе. Они ждут со дня на день появления испанских броненосцев у берегов Атлантики. Жители Бостона, Нью-Йорка и Филадельфии массами бегут в глубь страны. Царит всеобщая паника.

— Да здравствует король! — вскричала г-жа де Куртре со злобой радостью.

— А как маленькая Онорина? — спросил г-н Лерон. — По-прежнему Бельфейская божья мать благосклонно является ей в видениях?

Вдовствующая герцогиня де Бресе ответила с замешательством:

— Да, по-прежнему.

— Было бы очень желательно, — заявил бывший товарищ прокурора, — запротоколировать показания этой девочки о том, что она видит и слышит во время экстазов.

На это пожелание не последовало никакого ответа по той причине, что, взявшись однажды записать карандашом откровения, которые Онорина приписывала святой деве, г-жа де Бресе почти тотчас же прекратила запись: девочка выражалась непристойными словами. Вдобавок священник Травьес, выслеживая каждую ночь кроликов в Ленонвильских лесах, слишком часто натыкался на Изидора и Онорину, лежавших вдвоем на ворохе сухих листьев, и не было сомнений, что эти дети круглый год предавались тому, чему животные вокруг них предаются в определенные месяцы. Г-н Травьес был немножко браконьером. Но он не грешил ни в отношении добрых нравов, ни в отношении веры. Исходя из этих повторных наблюдений, он признал невероятным, чтобы святая дева являлась Онорине.

Он поведал обо всем дамам в замке, которых его сообщение хотя и не убедило, но очень смутило. Поэтому, когда г-н Лерон осведомился о подробностях последних экстазов Онорины, они перевели разговор на другую тему.

— Мы можем сообщить вам последние новости из Лурда *, — сказала вдовствующая герцогиня.

— Племянник пишет мне о множестве чудес, совершающихся в пещере, — добавил г-н де Бресе.

— Я тоже, — заявил генерал, — слышал об этом от одного из моих офицеров, очень достойного молодого человека. Он вернулся из Лурда совершенно пораженный тем, что там видел.

— А знаете, генерал, — сказал г-н де Бресе, — врачи, состоящие при водоеме, подтвердили эти чудесные исцеления.

— Чтобы верить в чудеса, свидетельство ученых совершенно не нужно, — заметила герцогиня де Бресе с ясной улыбкой. — Я больше доверяю святой деде, чем врачам.

Затем заговорили о «Деле». Удивлялись наглости, которую безнаказанно проявлял синдикат изменников. Г-н де Бресе с большой убежденностью выразил свою мысль:

— После того как два военных трибунала вынесли свой приговор, в чем же тут сомневаться!

— Вы слышали, — сказала герцогиня, — ясновидящая нашего города, мадемуазель Денизо, узнала из уст святой Радегунды о том, что Золя намерен перейти в итальянское подданство и больше не вернется во Францию.

Это вызвало всеобщее удовлетворение.

Лакей принес газеты.

— Нет ли свежих известий о войне? — сказал г-н де Бресе, развертывая листок.

И среди общего молчания он громко прочел:

— «Коммодор Дьюи уничтожил испанский флот в Манильском порту. Американцы не потеряли ни одного человека».

Эта депеша подействовала на всех подавляюще. Только г-жа де Куртре, не колеблясь, объявила:

— Неправда!

— Депеша из американского источника, — заметил г-н Лерон.

— Да, — отозвался г-н де Бресе. — Надо остерегаться ложных сообщений.

Все с этим согласились. Однако души их были удручены: перед ними витал призрак флота, который получил благословение папы, плавал под штандартом католического короля, украсил свои корабельные носы именами богородицы и разных святых, а теперь был побежден, разнесен вдребезги, пущен на дно орудиями этих свиноголовцев и фабрикантов швейных машин, еретиков, без короля, без принцев, без прошлого, без родины, без армии.

Х

Господин Бержере тревожился о состоянии своих дел и боялся впасть в немилость, когда неожиданно получил уведомление, что он назначен ординарным профессором. Назначение застало его после переезда в новое жилище на площади св. Экзюпера в такой момент, когда он меньше всего его ожидал. Он испытал большую радость, чем, казалось, позволяло стоическое спокойствие духа, которое он так успешно стал было усваивать. Его обуяли смутные и радужные надежды, и он улыбался широкой улыбкой, когда г-н Губен, самый его любимый ученик после измены г-на Ру, как всегда, зашел за ним вечером, чтобы сопровождать его в кофейню «Комедия».

Ночь сверкала звездами. Г-н Бержере, ступая по острым камням мостовой, глядел на небо. И так как он питал пристрастие к занимательной астрономии, то концом трости указал г-ну Губену на красивую красную звезду в направлении созвездия Близнецов.

— Это Марс, — сказал он. — Хорошо было бы изобрести такой сильный телескоп, чтоб можно было видеть обитателей этой планеты и чем они занимаются!

— Да вы же сами недавно говорили мне, дорогой учитель, — ответил г-н Губен, — что планета Марс не населена, что небесные миры необитаемы и жизнь, по крайней мере такая, как мы ее себе представляем, — это болезнь, присущая только нашей планете, плесень на поверхности нашей растленной земли.

— Разве я так говорил? — удивился г-н Бержере.

— Конечно, говорили, дорогой учитель, — ответил г-н Губен.

Он не ошибся: после измены г-на Ру Бержере решительно заявил, что органическая жизнь — это плесень, разлагающая поверхность нашего больного светила. Он выразил также надежду, что, к чести мироздания, жизнь в отдаленных мирах проявляется нормально в геометрических формах кристаллизации. «Если бы не так, — присовокупил он, — мне не доставляло бы никакого удовольствия созерцать по ночам звездное небо». Но теперь он придерживался противоположного мнения.

— Вы меня удивляете, — сказал он г-ну Губену. — Есть некоторые основания предполагать, что все эти солнца, сияющие нам с небес, освещают и согревают вокруг себя чью-то жизнь и чью-то мысль. Даже на земле жизнь облекается иногда в приятные формы, а мысль — божественна. Мне было бы любопытно побольше узнать об этой сестре земли, плавающей вокруг солнца в невесомом эфире. Она наша соседка, нас отделяют всего каких-нибудь четырнадцать миллионов миль, это очень немного для небесных пространств. Я хотел бы знать, красивей ли и умнее ли нас обитатели Марса.

— Этого нам никогда не узнать, — отозвался г-н Губен, протирая стекла пенсне.

— Во всяком случае, — ответил г-н Бержере, — астрономы изучили конфигурацию этой красной планеты, насколько позволяют сильные телескопы, и пришли к единодушному выводу, что там имеются бесчисленные каналы. В конечном счете совокупность гипотез, которые, поддерживая и дополняя друг друга, образуют великую науку о мироздании, заставляет нас думать, что эта соседняя планета древнее земли, а потому мы вправе считать, что ее обитатели, будучи старше нас, тем самым и разумнее.

Эти каналы, прорезая обширные материки, придают им сходство с Ломбардией. В сущности, мы не видим ни воды, ни берегов, а только окаймляющую их растительность, которая представляется наблюдателю в виде неясной, смутной линии, то более бледной, то более

темной, смотря по времени года. Они сосредоточены главным образом у экватора планеты. Мы даем им земные названия: Ганг, Еврип *, Физон *, Нил, Орк *. Это оросительные каналы, вроде тех, которые проводил Леонардо да Винчи, обнаруживая, говорят, талант превосходного инженера. Их направление всегда прямое: круглые водоемы, в которые они впадают, ясно свидетельствуют о том, что это искусственные сооружения и плод геометрической мысли. Природа тоже геометр, но иного рода. Марсианский канал, именуемый у нас на земле Орком, — чудо из чудес: он проходит через маленькие круглые озера, расположенные на равном расстоянии друг от друга, что придает ему сходство с четками. Каналы Марса несомненно прорыты мыслящими существами.

Так г-н Бержере населял мир пленительными образами и возвышенными идеями. В это утро он заполнял пустоты небесных глубин, потому что его назначили ординарным профессором. Он был преисполнен мудрости, но он был человек.

Вернувшись домой, он нашел у себя такое письмо:

«Милан...

Милостивый государь и дорогой друг!

Вы переоценили мои знания. К сожалению, не могу удовлетворить вашу любознательность в отношении вопроса, возникшего у вас, как вы говорите, на похоронах г-на Касиньоля.

Я занимаюсь нашими старинными литургическими песнопениями лишь в той мере, в какой они так или иначе соприкасаются с дантовской литературой, а потому не могу сообщить вам о заупокойном гимне ничего такого, чего бы вы не знали.

Самое раннее упоминание о нем встречается у Бартоломео Пизано до 1401 года. Марони приписывает «*Dies iŕe*» Франджипани Малабранка Орсини, посвященному в сан кардинала в 1278 году. Ваддинг, историк серафического ордена, считает автором гимна фра Томазо да Челано, *qui floruit sub anno 1250*¹.

¹ ...который был знаменит около 1250 года (*лат.*).

Искаженный текст римского требника пострадал еще больше в XVII веке. На мраморной плите, сохранившейся в мантуанской церкви Сан-Франческо, уцелел более старинный и лучше сохранившийся вариант гимна. Если вам угодно, я велю списать для вас текст, которым украшен этот *marmor mantuanum*¹. Вы доставите мне удовольствие, располагая мной в данном случае, как и во всех прочих. Для меня нет ничего приятнее на свете, чем оказать вам услугу.

Взамен не откажите в любезности списать для меня письмо Мабильона *, хранящееся в библиотеке вашего города, вклад Жолиета, папка Б, номер 3715⁸, лист 70. Интересующий меня отрывок этого письма относится к «*Anecdota*»² Муратори. Список будет для меня еще ценнее тем, что я получу его от вас.

Скажу вам кстати, что Муратори не верил в бога. Мне давно уже хочется написать книгу о богословах-безбожниках, число которых довольно значительно. Простите, что утруждаю вас этими розысками в библиотеке. Пусть вознаградит вас за это встреча со златокудрой нимфой-привратницей, которая внимает зардевшимися ушками любовным речам, раскачивая на концах пальцев огромные ключи от ваших старинных сокровищ. Эта нимфа напоминает мне о том, что дни любви для меня прошли и наступила пора посвятить себя изысканным порокам. Жизнь поистине была бы слишком печальной, если бы розовый рой игривых мыслей не служил иногда утехой старости для добропорядочных людей. Могу поделиться с вами этим мудрым выводом, — ваш редкий ум способен его понять.

Если вы побываете во Флоренции, я покажу вам музу, которая охраняет дом Данте и может потягаться с вашей нимфой. Вы придете в восторг от ее рыжих волос, черных глаз, роскошного бюста и признаете, что ее нос — настоящее чудо. Он средней величины, прямой, тонкий, с трепещущими ноздрями. Я отмечаю это особо, так как носы редко удаются природе и, не

¹ Мантуанская плита (*лат.*).

² Неизданные тексты (*греч.*).

умея их формировать, она частенько портит самые престелные лица.

То письмо Мабильона, с которого я прошу вас снять копию, начинается словами: «Ни старческое утомление, сударь...» Простите мою назойливость и позвольте, любезный друг, выразить вам искреннее уважение и живейшую симпатию вашего покорного слуги

Карло Аспертини.

P. S. Почему французы упрямо не желают признать бесспорной юридической ошибки, которую им так легко исправить без ущерба для кого бы то ни было? Я тщетно стараюсь найти причину их упорства. Все мои соотечественники, вся Европа, весь мир разделяют мое недоумение. Мне было бы любопытно узнать ваш взгляд на это удивительное дело.

К. А.»

XI

Ясным утром на казарменном дворе суетились дневальные, подметая землю и чистя лошадей. В глубине двора рядовой Бонмон в грязной блузе и холщовых штанах, стоя перед котлом с водой, чистил картошку вместе с рядовыми Коко и Брикбалем. То и дело какой-нибудь взвод под командой унтер-офицера вырывался потоком с лестницы, распространяя на своем пути неудержимое веселье молодых существ. Но что было у них самым замечательным, так это шаг, тяжелый и выработанный шаг людей, обученных маршировке, поступь сокрушительная и звонкая. Один за другим проносились важные каптенармусы, держа в руках пачки многочисленных и самых разнообразных реестров, больших и малых. Рядовые Бонмон, Коко и Брикбаль чистили картошку и бросали ее в котел. При этом Коко и Брикбаль изредка перекидывались словами и высказывали самые невинные мысли в самых грубых выражениях. А рядовой Бонмон был погружен в задумчивость.

Вокруг него, за решетками, окаймлявшими двор монументальных казарм, простиралась цепь холмов,

где в лучах утреннего солнца сверкали белые виллы сквозь лиловые ветви деревьев, в них ютились актрисы и кокетки, которых привлек туда рядовой Бонмон. Целый сонм женщин вольного поведения, букмекеров, спортивных и военных хроникеров, маклаков, сводников, сводниц и шантажистов обосновался вокруг казарм, где отбывал воинскую повинность богатый солдатик. Чистя картошку, он мог бы похвастаться тем, что так далеко от Парижа собрал столь специфически парижское общество. Но он знал жизнь и людей, и эта слава не льстила ему. К тому же он был мрачен и озлобчен. Его угнетало честолюбивое желание — раздобыть охотничью пуговицу Бресе. Он стремился к ней с алчностью, унаследованной от отца, с такой же силой, какую великий барон проявлял при захвате вещей, тел и душ, — но уже без того ясного и глубокого понимания, без того размаха, который был присущ его великому родителю. Он сам чувствовал, что его богатство ему не по плечу; это мучило его и озлобляло.

Он рассуждал:

«Не одним же герцогам и пэрам дают они свою охотничью пуговицу. В семье Бресе немало американок и евреек. Чем я хуже этой семейки?»

Он с озлоблением бросил в котел очищенную картофелину. Солдат Коко смачно выругался, смачно захохотал и крикнул Бонмону:

— Эй, повар! Бульон опрокинешь, чтоб тебя разорвало!

Эта шутка развеселила Брикбаля, простодушного малого, к тому же довольного тем, что срок его службы приходил к концу. Он радовался, что скоро увидит дом своего отца, шорника в Кайе.

«Этот старый ханжа Гитрель ничего для меня не сделает, — думал тем временем рядовой Бонмон. — Он ловкий пройдоха, ловчее, чем я думал. Как он поставил свои условия! — пока не будет епископом, не станет говорить со своими друзьями де Бресе. Ну и бестия!»

— Бонмон, — крикнул Брикбаль, — не швыряй очистки в котел!

— Это не по правилам, — заметил Коко.

— Я не дежурный, — возразил Бонмон.

Так перекидывались словами эти три человека, чьих служб уравнила.

А Бонмон продолжал свои размышления:

«Обойдусь отлично и без Гитреля. На нем свет клином не сошелся, достанем охотничью пуговицу как-нибудь иначе. Прежде всего Термондр. Он бывает у Бресе. Он из хорошей семьи, благонамерен... но не солиден. Термондр — тряпка, жалкая тряпка... без всякого влияния. Пообещает все, не сделает ничего.

Не обращаться же мне к священнику Травьесу, который охотится в компании браконьера Ривуара. Есть еще генерал Картье де Шальмо... Ему стоило бы только раскрыть рот... Но эта старая развалина меня терпеть не может...»

Так полагал рядовой Бонмон, и не без основания. Генерал Картье де Шальмо не любил его. Он обычно говаривал: «Будь этот молокосос Бонмон под моим началом, он бы ходил у меня по струнке». А генеральша Картье де Шальмо преследовала его своим негодованием, с тех пор как однажды на балу он сказал при ней: «Когда дело не касается нежных чувств, то маму ничем не раскачать». Бонмон не ошибался. Ему нечего было ждать одолжения ни от генерала, ни от генеральши.

Он порылся в своей памяти, перебирая, кто бы мог оказать ему услугу, в которой отказал Гитрель. Господин Лерон? Слишком осторожен. Жак де Куртре? Он на Мадагаскаре. Бонмон тяжело вздохнул. Но когда он дочисал последнюю картофелину, его вдруг осенила мысль:

«А что, если я сам поставлю Гитреля епископом? Вот была бы штука!..»

В тот момент, когда это пришло ему на ум, над его ухом раздались проклятия.

— Черти! Дьяволы! Что за свинство! — заорали в один голос солдаты Брикбаль и Коко под внезапным ливнем сажи, падавшим на них, вокруг них и в котел, пачкая им мокрые пальцы и загрязняя картофелины, перед этим белые, как шары из слоновой кости.

Они подняли головы, чтобы обнаружить причину напасти, и сквозь струи черного потока увидели на крыше однополчан, которые, сняв длинную дымовую

трубу, старательно вытряхивали скопившуюся там сажу. При виде этого Коко и Брикбаль оба заорали:

— Эй, вы там верхотурщики! Скоро вы кончите?

И они осыпали товарищей на крыше всеми бранными словами, какие только могут извергать наивные и чисто-сердечные души. Эта невинная ругань, выразившая искреннее негодование, залила двор казармы гулкими звуками пикардийского и бургундского наречия. Но вдруг на краю крыши появилось лицо с короткими усиками, и среди наступившего молчания пронзительный голос сержанта Лафиля гаркнул вниз:

— Обоих на три дня! Слышали?

Брикбаль и Коко замерли, подавленные ударами судьбы и закона. А рядовой Бонмон, их ровня, думал: «Я и сам могу сделать епископа. Стоит мне только поговорить с Юге».

Юге был тогда председателем совета министров. Он возглавлял умеренный кабинет, который пользовался поддержкой правых. Составляя его, Юге успокоил опасения капиталистов и сам обрел ясность духа, уверенность в себе и некоторую гордость. Он оставил за собой в своем кабинете портфель министра финансов, и его поздравляли с тем, что он упрочил кредит казны, поколебленный его предшественником радикалом.

Юге не всегда был государственным деятелем такого направления. Радикал и даже революционер в дни молодости и нужды, он нанялся в секретари к покойному барону де Бонмону, по поручению которого писал книги и руководил газетами. Он был в ту пору демократом и мистиком в области финансов. Барону такого и нужно было: великий барон старался привлечь на свою сторону передовые фракции парламента, и ему нравилось слыть непредубежденным человеком, даже до некоторой степени мечтателем. Он называл это про себя «расширять поле действия». Он способствовал избранию своего секретаря депутатом от Монтиля. Юге был обязан ему всем.

И рядовой Бонмон, знавший об этом, говорил себе: «Мне достаточно поговорить с Юге».

Так он пытался рассуждать, но, по правде говоря,

без особой уверенности. Ибо он все же знал, что Юге, председатель совета министров, тщательно избегает всяких встреч с солдатом Бонмоном и не любит, чтобы ему напоминали о прежних связях с великим финансистом, который, потеряв популярность, умер весьма вовремя среди глухого гула назревшего скандала.

И рядовой Бонмон благоразумно рассудил:

«Надо изобрести что-нибудь другое».

Чтобы поразмыслить на досуге, он уселся на землю подле насоса и вскоре погрузился в глубокое раздумье. Все лица, способные, как ему казалось, распоряжаться посохом и митрой, потянулись длинной вереницей на зов его воображения. Перед ним проходили монсеньер Шарло, г-н де Гуле, префект Вормс-Клавлен, г-жа Вормс-Клавлен, г-н Лакарель и многие другие, а за ними еще и еще. От этих мыслей его отвлек солдат Жуванси, кандидат прав, пустивший в ход насос и плеснувший ему воды за шиворот.

— Жуванси, — спросил его серьезным тоном Бонмон, вытирая затылок, — в каком министерстве Луайе?

— Луайе? Министр народного просвещения и культур, — отвечал Жуванси.

— Это он назначает епископов?

— Да.

— Наверняка?

— Да. А тебе зачем?

— Так... — сказал Бонмон.

И воскликнул про себя:

«Черт побери, нашел... госпожа де Громанс!»

ХП

В этот вечер г-н Летерье зашел к г-ну Бержере. Только лишь раздался звонок ректора, Рике соскочил с кресла, которое разделял с хозяином, и, глядя на дверь, свирепо залаял. А когда г-н Летерье вошел в кабинет, пес встретил его враждебным рычаньем. Эта объемистая фигура, это серьезное полное лицо, окаймленное седой бородой, были ему незнакомы.

— И ты, пес! — кротко пробормотал ректор.

— Извините его, — сказал г-н Бержере. — Рике — домашнее животное. Когда люди, воспитывая эту звериную породу, формировали ее характер, они сами считали, что чужой — это враг. Они не внушали собакам человеколюбия. Идея вселенского братства не проникла в душу Рике. Он представитель древней стадии социального строя.

— О! очень древней, — заметил ректор. — Потому что теперь, как всякому очевидно, среди людей царят мир, согласие и справедливость.

Так иронизировал ректор. Этот тон не был свойственен его уму. Но с некоторых пор у него появились новые мысли и новые слова.

Тем временем Рике продолжал лаять и рычать. Он явно старался остановить пришельца грозным взглядом и голосом. Тем не менее он пятился по мере того, как противник наступал. Он преданно сторожил дом, но все же соблюдал осторожность.

Потеряв терпение, хозяин приподнял его с земли за загривок и щелкнул раза два в мордочку.

Рике тотчас же перестал лаять, ласково заюлил и, высунув завиток язычка, лизнул карающую руку. Теперь его прекрасные глаза излучали грусть и кротость.

— Бедняжка Рике! — вздохнул г-н Летерье. — Вот награда за усердие.

— Надо вникнуть в его мысли, — ответил г-н Бержере, загнав Рике за кресло. — Теперь уж он знает, что не должен был встречать вас таким образом. Ему понятен только один вид зла — страдание, и только один вид добра — отсутствие страдания. Он до такой степени отождествляет преступление с наказанием, что для него дурной поступок это тот, за который наказывают. Когда я по неосторожности наступаю ему на лапу, он признает себя виновным и просит у меня прощения. Вопрос о справедливости и несправедливости не смущает его непогрешимого ума.

— Эта философия избавляет его от тревог, которые мы сейчас переживаем, — сказал г-н Летерье.

С тех пор как г-н Летерье подписался под так называемым «протестом интеллигентов», он жил в постоян-

ном недоумении. Он изложил свои взгляды в письме, адресованном в местные газеты. Ему была непонятна точка зрения противников, ругавших его жидом, пруссаком, интеллигентом и продажной душонкой. Его удивляло также и то, что Эзоб Буле, редактор «Маяка», ежедневно называл его дурным гражданином и врагом армии.

— Поверите ли? — воскликнул он. — В «Маяке» осмелились напечатать, что я оскорбляю армию! Оскорбляю армию! Я, у которого сын под знаменами!

Оба профессора долго толковали о «Деле». И г-н Летерье, обладавший кристальной душой, добавил:

— Не могу понять, почему к этому вопросу пристегают политические соображения и борьбу партий. Он стоит выше и тех и других, потому что это вопрос морали.

а Несомненно, — отвечал г-н Бержере. — Но вы бы не удивлялись и не поражались, если бы подумали о том, что толпе присущи лишь сильные и простые страсти; рассуждение ей недоступно; очень немногие люди способны в сложных случаях руководствоваться разумом, а для обнаружения истины в этом деле нам с вами понадобилось напряженное внимание, упорство изощренного ума, привычка рассматривать факты методически и пронизательно. Из-за этих преимуществ и из-за удовольствия познать истину стоит, право же, вытерпеть несколько жалких оскорблений!

— Когда это кончится? — спросил г-н Летерье.

— Может быть, через полгода, может быть, через двадцать лет, а может быть, никогда, — ответил г-н Бержере.

— Как далеко они зайдут? — продолжал спрашивать г-н Летерье. — *Scelere velandum est scelus*¹. Это уморит меня, друг мой, это меня уморит.

И он говорил правду. Крепкий организм этого высоко нравственного существа был подточен. У него была лихорадка и боли в печени. В сотый раз он изложил доказательства, которые собирал так тщательно и ревностно. Он установил причины ошибки, которая от-

¹ Покрывать злодейство — есть злодейство (*лат.*).

ныне явственно проглядывала сквозь ворох наброшенных на нее туманных покровов. И зная свою правоту, убежденно воскликнул:

— Что можно на это возразить!

В этот момент их беседы оба профессора услышали сильный шум, доносившийся с площади.

Рике поднял голову и огляделся с тревогой.

— Что там еще? — спросил г-н Летерье.

— Ничего, — отвечал г-н Бержере, — это Пекус¹.

И действительно, это была толпа обывателей, издававшая громкий рев.

— Кажется, они кричат: «Долой Летерье!» — сказал ректор. — Они, вероятно, узнали, что я у вас.

— Вероятно, — подтвердил г-н Бержере, — и я полагаю, они скоро начнут кричать: «Долой Бержере!» Пекус вскормлен вековой ложью. Его способность заблуждаться доходит до огромных размеров. Не умея рассеять разумом наследственные предрассудки, он бережно хранит басни, доставшиеся ему от предков. Этот вид мудрости предохраняет от оплошностей, которые могут оказаться для него слишком вредными. Он придерживается проверенных заблуждений. Он подражатель: это проявлялось бы еще отчетливее, если бы он невольно не искажал того, что копирует. Такие искажения и принято называть прогрессом. Пекус не размышляет. Поэтому нельзя говорить, что он обманывается. Но все его обманывают, и он несчастен. Он никогда не сомневается, ибо сомнение — это плод размышлений. А все-таки идеи его постоянно меняются. И он иногда переходит от отупения к ярости. В нем нет ничего выдающегося, так как все выдающееся немедленно от него отделяется и перестает ему принадлежать. Но он мечется, он томится, он страдает. Он достоин глубокой и скорбной симпатии. Надлежит даже его почитать, потому что от него исходит всяческая добродетель, всяческая красота, всяческая человеческая доблесть. Бедный Пекус!

Так говорил г-н Бержере. Вдруг камень, брошенный с силой, пробил стекло и упал на пол.

¹ Скот (лат.).

— Вот вам и аргумент, — сказал ректор, поднимая камень.

— Он ромбоидальный, — отозвался г-н Бержере.

— На камне нет никакой надписи, — заметил ректор.

— Жаль, — отвечал г-н Бержере. — Командор Аспертини нашел в Модене камни для пращей, которые в сорок третьем году до нашей эры солдаты Гирция и Пансы * метали в сторонников Октавия. На этих камнях имелись надписи, указывавшие, в кого надо попасть. Господин Аспертини показал мне один, предназначенный для Ливии *. Предоставляю вам догадываться по духу этих воинов, в каких выражениях было составлено их послание.

Тут голос его был заглушен криками: «Долой Бержере!» «Смерть жидам!» — доносившимися с площади.

Господин Бержере взял камень из рук ректора и положил его на стол, как пресс-папье. Затем, лишь только можно было снова расслышать его голос, он продолжал нить своих рассуждений:

— После поражения обоих консулов Антония под Моденой имели место ужасные жестокости. Нельзя отрицать, что с тех пор нравы сильно смягчились.

Между тем толпа ревела, и Рике отвечал ей героическим лаем.

ХШ

Юный Бонмон, находясь в Париже в отпуску по болезни, посетил автомобильную выставку, устроенную в углу Тюильрийского сада, вдоль террасы Фельянов. Проходя по одной из боковых галерей, отведенной под детали и разные принадлежности, он безучастным, уже заранее пресыщенным взором рассматривал карбюратор «Плутон», мотор «Пчелу» и автоматическую масленку «Альфонс» для смазывания подшипников и шатунов. Он то и дело отвечал отрывистым кивком или приветственным движением руки на поклоны робких молодых людей и заискивающих старцев. Отнюдь не гордый, не заносчивый, простой в обращении и даже несколько вульгарный, он был силен только выражением ровной и спокойной злости, так помогавшей ему в обра-

щении с людьми. Приземистый, плотный, еще крепкий, хотя уже подточенный болезнью, он, слегка сгорбившись, шел по террасе. Сойдя со ступенек и ознакомившись с марками различных масел, служащих для очистки втулок, он наткнулся по дороге на садовую статую под холщовым навесом, окруженную загородкой из сурового полотна. Это было изваяние во французском классическом стиле: бронзовый герой, академическая нагота которого свидетельствовала о мастерстве ваятеля, разил палицей чудовище, стоя в позе, строго соответствовавшей канонам жанра. Введенный, вероятно, в заблуждение мнимым спортивным видом этой скульптуры и не думая о том, что статуя могла стоять в саду еще до открытия выставки, Бонмон инстинктивно попытался связать ее с автомобильным туризмом. Ему представлялось, что чудовище в виде змея, действительно походившее на пожарную кишку, изображает пневматическую шину. Но подумал он об этом очень неопределенно и смутно. И почти тотчас же отведя недоуменный взгляд, он прошел в огромный зал, где возвышавшиеся на стендах машины назойливо выставляли напоказ тяжеловесность и неуклюжесть своих рудиментарных форм, еще не достигших законченности, и в кичливом самодовольстве так и лезли в глаза посетителям.

Выставка не развлекала юного Бонмона, ибо ничто его не развлекало. Тем не менее он вдыхал бы без неудовольствия запах резины, жирных масел и разогретой смазки, носившийся в воздухе, и рассматривал бы без раздражения автомобили, автомобильчики и автомобильки, но в этот момент мысли его были сосредоточены на одном. Он думал об охоте герцога де Бресе. Желание получить охотничью пуговицу завладело его душой. Он унаследовал от своего отца упорную волю. Жар, с которым он добивался охотничьей пуговицы де Бресе, соединился в его жилах с лихорадочным жаром начинающейся чахотки и сжигал его. Он хотел пуговицу с нетерпением ребенка, — ибо сохранил много ребяческого, — и хотел ее с изворотливым упорством расчетливого честолюбца, — ибо знал людей, и хоть еще мало жил, но в жизни повидал немало.

Он знал, что, несмотря на свою французскую фамилию и римский титул *, он оставался для герцога де Бресе евреем Гутенбергом. Он знал также силу своих миллионов и знал о власти денег побольше, чем когда-либо будут знать народы и их министры. А потому он не питал иллюзий и не приходил в уныние. Обладая ясным умом, он отчетливо представлял себе положение. Антисемитская кампания велась очень яростно в этом земледельческом департаменте, где, вообще говоря, евреев не было, но было много духовенства. Последние происшествия и газетные статьи сбили с толку слабую голову герцога де Бресе, лидера католической партии в этом департаменте. Конечно, Боумоны придерживались таких же убеждений, как и потомки эмигрантов, и были пропитаны старинным вандейским благочестием, будучи такими же правоверными католиками, как и де Бресе. Но для герцога раса была главное. Он был прост и упрям. Юному Бонмону это было известно. Он снова обозрел всю ситуацию, пока разглядывал омнибусы Дюбуа-Лакий с керосиновым мотором, и пришел к убеждению, что верный способ получить охотничью пуговицу был только один — добиться епископского посоха для аббата Гитреля.

«Мне необходимо поставить его в епископы, — размышлял он, — это, вероятно, совсем нетрудно, только бы знать, как это делается».

И он прибавил про себя, жалея, что уже нет в живых отца:

«Будь только жив папа, он знал бы, что мне посоветовать. Ему-то уж, конечно, приходилось выпекать епископов во времена Гамбетты».

Хотя он и не обладал даром обобщения, но все же пришел к мысли, что всего в этом мире можно достигнуть с помощью денег. Это наполнило его уверенностью в успехе предприятия. Додумавшись до этого, он поднял голову и увидел в нескольких шагах от себя юного Гюстава Делиона, стоявшего перед желтым автомобилем.

В то же мгновение и Делион заметил Бонмона. Он притворился, будто не видит его, и укрылся за кузов машины. Он уже давно занял деньги у Бонмона, а в

этот момент совершенно не был в состоянии расплатиться.

От одного взора голубых глаз своего приятеля у Делиона стало сосать под ложечкой. Бонмон умел одним лишь взглядом и молчанием наводить трепет на задолжавших ему друзей. Делион знал эту повадку. А потому он был чрезвычайно удивлен, когда «бычок», как он его называл, последовал за ним в его убежище между желтым открытым автомобилем и холщовой перегородкой, дружески протянул ему руку и спросил с добродушной улыбкой:

— Как здоровье? Недурной брэк? Немного длинен, но хорош, не правда ли? Как раз то, что вам нужно для Валькомба, дорогой Гюстав! Одно удовольствие колесить на этой пыхтелке от Валькомба до Монтиля.

Механик, стоявший на стенде рядом с автомобилем, счел нужным вмешаться в разговор и осведомить господина барона, что машину можно, смотря по надобности, превращать то в шестиместный брэк, то в четырехместный фэтон. И, заметив, что имеет дело со знатоками, он пустился в технические объяснения:

— Двигатель состоит из двух горизонтальных цилиндров; каждым поршнем приводится в движение мотыль, отклоненный на сто восемьдесят градусов от соседнего мотыля...

Он толково изложил преимущества этой конструкции. Затем, отвечая на вопрос Делиона, пояснил, что карбюратор автоматический и его налаживают один раз навсегда, перед пуском машины. Он умолк, и оба молодых человека, тоже молча, сосредоточили свое внимание на машине. Наконец Гюстав Делион, ткнув тростью между спицами колес, сказал:

— Видите, Бонмон, машиной управляют посредством ломаной оси.

— Мягкое управление, — вмешался механик.

Гюстав Делион любил автомобили, и любил их не так, как Бонмон, уже заранее пресыщенной любовью. Он разглядывал машину, которая, несмотря на сухость современных форм, походила на животное, и не на какое-либо необычайное чудовище, а на заурядное,

обыденное чудовище, с зачатком головы, выпучившей два огромных глаза-фонаря.

— Неплохая пыхтелка, — тихо сказал юный Бонмон своему приятелю. — Купите ее.

— Купить? Разве можно что-либо себе позволить, когда у тебя, на несчастье, имеется папаша? — тихо возразил Гюстав. — Вы себе не представляете, сколько семья доставляет неприятностей... и затруднений.

Он прибавил с напускной самоуверенностью:

— Кстати, дорогой Бонмон, это напомнило мне, что я должен вам кое-какую мелочишку...

Ладонь дружеской руки опустилась ему на плечо и прервала его речь. Он с удивлением увидел подле себя русого человечка, с головой, втянутой в плечи, плотного, коренастого, слегка сутуловатого, совсем простого в обращении, который улыбался ему доброй улыбкой с необычайным выражением кротости в голубых глазах.

— Вздор! — заявил коротыш, походивший на славного молоденького бизона, который оставляет клочья шерсти на кустах.

Гюстав не узнавал своего Бонмона. Он был растроган и удивлен. А маленький барон, вскочив в брэк, принялся вертеть руль под благожелательными взорами механика.

— Бонмон! Вы правите машиной? — спросил почти тельно Гюстав.

— Иногда, — отвечал юный Бонмон.

И держа руку на руле, рассказал об автомобильной поездке по Турени, во время одного из своих лечебных отпусков, после которых возвращался еще более больным. Он делал сорок километров в час. Правда, дорога была сухая и в хорошем состоянии. Но встречались коровы, дети и пугливые лошади, способные причинить неприятности. Нужно было зорко смотреть, а в особенности приходилось следить за тем, чтобы сосед не трогал руля. Он рассказал несколько случаев из своей поездки. Особенно забавным казалось ему приключение с молочницей.

— Вижу: впереди едет какая-то старуха и загораживает мне дорогу своей тележкой и лошадьё, — рас-

сказывал он. — Даю гудок, старуха не сторонится. Тогда я направляю машину прямо на нее. Она не знала этого трюка. Она сворачивает и так сильно дергает лошадь, что та падает на кучу камней: лошаденка, тележка, молочница, крынки с молоком — все летит вверх тор-машками, а я несусь дальше.

И юный Бонмон, выскакивая из машины, закончил так:

— Несмотря на шум и пыль, автомобиль все же очень приятный способ передвижения. Испытайте, дорогой мой.

«А ведь он очень мил!» — подумал с восхищением Гюстав Делион. И его восторг еще усилился, когда Бонмон, увлекая его за руку к проходу, ведущему в большой зал, сказал ему:

— Вы правы. Не покупайте этой машины, я одолжу вам свою трясучку. Она мне сейчас не нужна. Мне пора вернуться на службу: отпуск кончается, — да и сам я тоже кончаюсь... Кстати, не знаете ли вы, госпожа де Громанс в Париже?

— Думаю, что здесь, но наверняка не скажу, — отвечал Гюстав, — я давно ее не видел.

Это была рыцарственная ложь, так как накануне в семь часов десять минут вечера он расстался с г-жой де Громанс в номере гостиницы, где обычно происходили их свидания.

Бонмон ничего не ответил. Остановившись перед двуязычной надписью «Курить не разрешается», он устремил на нее задумчивый взгляд, который придавал еще больше значительности его молчанию. Гюстав, тоже умолкший, спохватился, что неосторожно обрывать разговор с таким собеседником, и потому добавил:

— Но мне, вероятно, скоро снова представится случай встретиться с ней... Если угодно, я могу даже узнать...

Маленький барон посмотрел ему в глаза и сказал:

— Хотите доставить мне удовольствие?

Гюстав ответил утвердительно с готовностью услужливой души и со смятением человека, внезапно втянутого в трудное предприятие. Он действительно мог

доставить удовольствие Эрнесту де Бонмону, и тот не преминул указать ему способ:

— Если вы хотите доставить мне удовольствие, дорогой Гюстав, убедите госпожу де Громанс пойти к Луайе и попросить его, чтобы он назначил аббата Гитреля епископом.

И он добавил:

— Прошу вас об этом как о настоящей услуге.

На такую просьбу Гюстав ответил бессмысленным молчанием и растерянными взглядами, не потому, чтобы намеревался отказать, а потому, что ничего не понял. Бонмону пришлось еще дважды повторить те же слова и объяснить, что Луайе, как министр культов, назначает епископов. Бонмон был терпелив, и Гюстав мало-помалу освоился с его замыслом и даже безошибочно повторил то, что ему говорили:

— Вы хотите, чтобы госпожа де Громанс пошла к Луайе, министру культов, и попросила его назначить Гитреля епископом?

— Епископом в Туркуэне.

— Туркуэн... Это во Франции?..

— Разумеется.

— Гм... — буркнул Гюстав.

И он призадумался.

У него возникли довольно серьезные сомнения, и он изложил их, рискуя показаться недостаточно любезным. Но дело, по-видимому, было не из пустячных, и он не хотел впутываться в него очертя голову. Робко, застенчиво он высказал первое, самое общее сомнение.

— А вы не шутите? — спросил он.

— Какие там шутки! — сухо ответил Бонмон.

— Правда? Вы в самом деле не дурачите меня? — повторил Гюстав свой вопрос.

Он все еще колебался. Но взгляд маленького блондина, взгляд, полный презрения, заставил его решиться.

Тогда он объявил уже совершенно твердо:

— Раз это всерьез, то можете рассчитывать на меня. В серьезных делах я серьезен.

Он умолк, но, как только умолк, в его душу опять проникли сомнения. Он спросил вкрадчиво и боязливо:

— Уверены ли вы, что госпожа де Громанс настолько близко знакома с министром, чтобы обращаться к нему... с просьбами о... о таком деле? Она, видите ли, никогда не говорила мне о Луайе.

æ Вероятно, потому, что у нее есть другие темы для беседы с вами, — возразил маленький барон. — Я не говорю, что она бредит этим Луайе, но она считает его добрым и неглупым старикашкой. Они познакомились три года тому назад на трибуне при освящении статуи Жанны д'Арк. Луайе старается быть приятным госпоже де Громанс. Уверяю вас, что он не так уж противен. Когда он облачается в новый сюртук, он похож на старого учителя фехтования, удалившегося на покой в деревню. Ей вполне удобно прийти к нему: он будет с ней мил... и уж, конечно, он не опасен.

— Значит, — сказал Гюстав, — она должна попросить его, чтобы он назначил Гитреля епископом?

— Да.

— Епископом этого, как его?..

— Епископом Туркуэна, — ответил Эрнест де Бонмон. — Лучше я запишу вам на клочке бумаги.

И, взяв с ближайшего столика карточку фабриканта машин «Королева лилипутов», он написал золотым карандашиком: «Назначить Гитреля епископом туркуэнским».

Гюстав взял карточку. Поручение, казавшееся ему сперва таким странным и необычайным, он находил теперь простым и естественным. Он мысленно освоился с ним. И, кладя карточку в карман, он сказал Бонмону самым непринужденным тоном:

— Гитреля — епископом туркуэнским, отлично. Можете рассчитывать на меня.

Таким образом оправдывались слова г-жи Делион, которая имела обыкновение отзываться о своем сыне так: «Гюстав заучивает с трудом, но то, что он заучил, он помнит. Это, пожалуй, даже преимущество».

— Будьте спокойны, — серьезно прибавил Эрнест, — я ручаюсь вам, что из Гитреля выйдет очень хороший епископ.

— Тем лучше, — отвечал Гюстав, — потому что... Он не договорил своей мысли.

Тем временем они подошли к выходу.

— Я пробуду в Париже до конца недели, — сказал Бонмон. — Заходите ко мне и держите меня в курсе дела. Времени терять нельзя: назначения будут подписаны на днях. Нам еще надо потолковать об авто.

Под навесом подъезда, где торжественно развевались знамена, он пожал Гюставу руку и, удерживая ее в своей, произнес:

— Предупреждаю вас об одном, дорогой Делион, и это очень важно. Никто не должен — слышите? — никто не должен знать, что госпожа де Громанс обратится к Луайе по вашей просьбе. Ясно?

— Ясно, — отвечал Гюстав, усердно пожимая руку своего друга.

В тот же вечер, в восемь часов, зайдя ненадолго к матери, с которой видался редко, но поддерживал хорошие отношения, Эрнест де Бонмон застал ее в будуаре, где она заканчивала туалет.

Пока горничная ее причесывала, она отвела глаза от зеркала и, взглянув на сына, сказала:

— У тебя плохой вид!

С некоторых пор здоровье Эрнеста тревожило ее. Рарà был для нее причиной более тяжелых горестей, но и о сыне она тоже беспокоилась.

— А твое здоровье, мама?

— Превосходно.

— Вижу.

— Знаешь ли ты, что у твоего дяди Вальштейна был легкий удар?

— Что ж тут удивительного! Он кутит. В его возрасте это нездорово.

— Твой дядя еще не стар. Ему пятьдесят два года.

— Пятьдесят два года — это уже не отрочество. Кстати, как Бресе?

— Бресе? А что?

— Поблагодарили они тебя за дароносицу?

— Они прислали мне несколько строк на визитной карточке.

— Не густо.

— А чего ты, собственно, ждал, мой мальчик?

Она встала и, чтоб оправить в волосах бриллиантовую ветку, подняла над головой обнаженные руки, которые образовали как бы две ослепительные ручки у амфоры ее очаровательно округлого тела. Под гроздьями прозрачных плодов, пропускавших электрический свет, ее плечи сверкали, и по их золотистой белизне сбегали к груди тонкие голубые жилки. Щеки ее были нарумянены, губы подкрашены. Но лицо, отражавшее любовные вожеления и здоровье, сохраняло молодость, а пышность тела скрадывала складки на шее, которые могли бы выдать возраст.

Эрнест де Бонмон внимательно посмотрел на мать и вдруг сказал:

— А что, мама, если бы и ты тоже зашла к Луайе замолвить слово за аббата Гитреля?

XIV

Госпожа де Бонмон, которая предпочла всем другим Рауля Марсьена и любила его нежной любовью, наконец-то, вот уже несколько недель, могла гордиться своим избранником и считать себя счастливой. Действительно, в мировом порядке произошла чудесная перемена. Рауль, некогда презираемый или вызывавший опасения во всех слоях общества, удаленный из полка, отвергнутый друзьями, поссорившийся с семьей, выгнанный из клуба, известный во всех судах, где нагромождались против него обвинения в мошенничестве, внезапно оказался омытым от всех позорных пятен и очищенным от всякой скверны.

Нельзя сказать, что его перестали считать негодяем, но при тогдашнем состоянии «Дела» было весьма важно, чтобы Рауль Марсьен (быть может, фигурировавший в истории под другим именем, чем в «Аметистовом перстне») оказался чист, а еврей виновен. Не вдаваясь здесь в объяснения, которых у меня не просят, сообщу только, что обелить Рауля Марсьена было крайне необходимо. Военные суды выносили в связи с этим одно решение за другим. И публично и втихомолку министры,

депутаты, сенаторы утверждали, что безопасность, могущество, слава Франции зависят от невиновности этого субъекта. Все погибло бы, если бы Марсьен оказался под подозрением. А потому все добрые граждане лезли из кожи вон, чтобы восстановить его честь, связанную с национальными интересами. Г-жа де Бонмон, видя, что ее друг внезапно стал примером и образцом для французов, испытывала радость, смешанную с тревогой. Она была создана для скромных утех и интимных наслаждений, и эта популярность удивляла ее, ей было не по себе. В обществе Рауля она испытывала утомление, словно безвыходно жила в каком-то лифте.

Доказательства уважения, получаемые им, удивляли простодушную Елизавету своим количеством и высокопарностью. Это были сплошные поздравления, лестные заверения, свидетельства о добропорядочности, приветствия, похвалы. Они притекали из городов и сел, от всех утвержденных корпораций и всех национальных обществ. Они притекали из судебных учреждений, из казарм, из архиепископств, из мэрий, префектур, замков. Они били ключом из мостовых в дни уличных волнений, они звенели в фанфарах гимнастов, возвращавшихся домой при свете факелов. Теперь честь его сверкала, честь его горела огнями над всей страной, как горит в ночном небе грандиозный орденский знак праздничной иллюминации. Во Дворце правосудия, в Мулен-Руж толпа провожала его овациями. И особы королевской семьи добивались возможности пожать ему руку.

Тем не менее Рауль не был спокоен. Он продолжал быть мрачным и буйным в маленькой, обитой небесно-голубым шелком квартирке на антресолях, служившей приютом для его любовных встреч с г-жой де Бонмон. Хотя даже и здесь вместе с городским шумом до его слуха доходили восхваления и восторженные клики, а грохот колес омнибуса, сотрясавший стены, и пронзительный рожок трамвая напоминали ему, что в этот момент по улице катят защитники и хранители его чести, он все же оставался погруженным в горькие и мрачные думы. Он носился с зловещими замыслами. Хмура брови и скрежеща зубами, он бормотал прокля-

тия, он пережевывал, как матрос жвачку, свои обычные угрозы: «Негодяи, подлецы! Я им распорю брюхо!..» Как это ни странно, но он почти не слышал славословий целой толпы людей, зато ему мерещилось, что перед ним стоят и угрожают ему его немногочисленные обвинители, которых все уже считали рассеявшимися, уничиженными, поверженными в прах, — и его желтые глаза расширялись от ужаса. То была всего лишь горсточка людей, но он чувствовал, что они не выпустят добычи.

Его бешенство повергало в уныние ласковую Елизавету, которая подстерегала поцелуи и слова любви на его устах, а вместо этого только и слышала, как они извергают хриплые крики ненависти и мщениия. И она была тем более удивлена и смущена, что угрозы смертоубийства, исходившие от ее возлюбленного, относились без разбора и к друзьям и к недругам. Ибо, когда он грозился «распороть брюхо», он не проводил особого различия между своими защитниками и своими противниками. Его мысль, гораздо более обширная, охватывала всю родину и все человечество.

Он проводил ежедневно долгие часы, расхаживая, как лев или пантера в клетке, по двум комнатам, которые г-жа де Бонмон распорядилась обить голубым шелком и обставить мягкой мебелью для совсем других целей. Он ходил крупными шагами и бормотал:

— Я выпущу им кишки!

Она же, сидя на краю шезлонга, следила за ним робким взглядом и с тревогой ловила его слова. Не то, чтобы выражаемые им чувства она считала зазорными для своего избранника: подчиняясь инстинкту, покорная природе, она восхищалась силой во всех ее проявлениях и льстила себя смутной надеждой, что человек, способный на такую неистовую резню, окажется в другое время способным на неистовые объятия. И примостившись на краю голубого шезлонга, полузакрыв глаза, с тихо вздымающейся грудью, она ждала, когда же Рауль найдет другое применение своему пылу. Она ждала напрасно. Все то же неизменное рычание заставляло ее вздрагивать.

— Мне надо укокошить кого-нибудь из них!

Иногда она робко пыталась его умиротворить. Она

говорила ему, голосом, таким же бархатистым, как и ее грудь:

— Но ведь тебе отдают справедливость, друг мой!.. Ведь все признают, что ты человек чести!

Если отрок Давид, худой и темнолицый, успокаивал ярость Саула звуками пастушеской арфы, более слабыми, чем стрекотание кузнечика, то Елизавета была менее удачлива и тщетно пыталась своими вздохами венской певицы и великолепными складками своего бело-розового тела доставить Раулю забвение от мук. Не осмеливаясь взглянуть на него, она все же осмелилась сказать ему:

— Не понимаю тебя, дорогой друг. Раз ты посрамил своих клеветников, раз этот добрый генерал поцеловал тебя прямо на улице, раз министры...

Ей не удалось докончить.

Его прорвало:

— Поговори еще об этих гусаках!.. Они спят и видят, как бы отделаться от меня. Они хотели бы, чтобы я был на сто футов под землей. И это после всего, что я для них сделал! Но пусть поберегутся. Я расщелкаю и этот орешек!..

И он возвращался к своей излюбленной мысли:

— Мне надо укокошить кого-нибудь из них!

Он делился с ней своей мечтой:

— Я хотел бы очутиться в огромном белом мраморном зале, полном народа, и колотить палкой, колотить дни и ночи, колотить до тех пор, пока плиты пола станут красными, стены — красными, потолок — красным.

Она не отвечала и молча разглядывала на своем лифе букетик с фиалками, который купила для него и не решалась ему дать.

Он не дарил ей больше доказательств любви. Все было кончено. Самый жестокий человек сжалился бы, глядя на это прекрасное и ласковое существо, на эти пышные формы, на это молочно-розовое тело, этот великолепный мясистый и теплый большой цветок, заброшенный, забытый, оставленный без внимания и забот.

Она страдала. А так как она была благочестива,

то старалась найти в религии целебное средство от своих страданий. Она подумала, что беседа с аббатом Гитрелем могла быть очень полезной Раулю, и решила свести его со священником у себя дома.

XV

Прежде чем одеться, Гюстав Делион раздвинул оконные занавески и увидел во мраке, усыпанном огнями, фонари экипажей, пробегавших по оживленной улице. Минутку-другую он с удовольствием развлекался этим видом: уже целых два часа он был отделен здесь, в комнате, от внешнего мира.

— Что вы там разглядываете, крошка? — спросила из глубины смятой постели г-жа де Громанс, собирая распутившиеся волосы. — Дайте немного свету. Ничего не видно.

Он зажег свечи, стоявшие на камине в маленьких медных канделябрах по обе стороны позолоченных часов, украшенных пастушками. Мягкий свет заиграл на зеркале шкафа и на палисандровом карнизе. Отблески трепетали по всей комнате, на простынях и разбросанной одежде, мягко замирая в складках занавесок.

Это был номер в очень приличной гостинице на одной из улиц по соседству с бульваром Капуцинок. Г-жа де Громанс сделала благоразумный выбор, отклонив менее осторожную затею Гюстава Делиона, снявшего для свиданий с нею небольшую квартиру в первом этаже на пустынной улице Клебера. Она считала, что женщина, у которой есть дела, не касающиеся других, должна обдѣлывать их в самом сердце шумного Парижа, в гостинице пристойного вида, где бывает множество путешественников, иностранцев разных национальностей. Она жила в Париже только два месяца в году, но наезжала туда часто и виделась с Гюставом совершенно свободно, что было бы немислимо в провинции.

Она села на край постели, подставляя под ласковые лучи свои светлые пушистые волосы, молочную кожу покатых плеч и красивой, немного низкой груди. Она сказала:

— Наверно, я опять опоздаю. Посмотри, крошка, который час. Только не ошибись, это важно.

Он ответил довольно угрюмо:

— Почему вы всегда зовете меня «крошкой»? Десять минут седьмого...

— Десять минут седьмого, вы не ошиблись?.. Я зову вас «крошкой» по дружбе. А как же мне вас звать?

— Я зову вас Клотильдой. Вы могли бы хоть изредка называть меня Гюставом.

— Я не люблю называть людей по имени.

Он ответил желчно:

— Это другое дело! Не смею посягать на ваши привычки...

Она подняла чулки с ковра, вытянувшись всем телом, как кошка, хватаящая мышь.

— Чего, собственно, ты хочешь? Мне просто не пришлось в голову называть тебя по имени, как я зову мужа, брата или кузенов.

Он отвечал:

— Хорошо! Хорошо! Подчиняюсь обычаю.

— Какому еще обычаю?

Держа чулки в руках, она в одной сорочке, ступая на голые пятки, подошла к нему, чтобы поцеловать его в шею.

Он не был догадлив, но не был и доверчив. Его тревожила одна мысль: он подозревал, что г-жа де Громанс избегает имен при любовной встрече, чтобы не перепутать их в момент экстаза, когда она, по своей натуре, способна была забыть обо всем.

Нельзя сказать, чтобы Гюстав Делион был ревнив, но он был человек самолюбивый. Если бы он узнал, что г-жа де Громанс ему изменяет, его тщеславие было бы задето. С другой стороны, он стремился к обладанию этой хорошенькой женщиной лишь потому, что она другим казалась желанной. Он не вполне был уверен, что следовало быть любовником г-жи де Громанс. Роман со светской женщиной был не так уж обязателен. Его близкие друзья не заводили таких романов. Они предпочитали автомобиль. Г-жа де Громанс ему нравилась. Он был не прочь стать ее возлюбленным, если так принято. А если не принято, то он не видел причины

упорствовать одному в этом отношении. Глубокий инстинкт мужчины и требования этикета еще не успели в нем согласоваться. А ум его не был способен примирить такие противоречия. Из-за этого его разговоры носили печать чего-то неясного и незаконченного, что, впрочем, нисколько не смущало г-жу де Громанс, избегавшую откровенных объяснений и вообще всякой определенности. Эта обаятельная женщина говорила ему при случае: «Я принадлежала только тебе одному», но говорила это не столько из желания его убедить, сколько ради красоты слога и цельности впечатления. А так как это бывало в те самые минуты, когда он меньше всего рассуждал, то его не тревожили огромные трудности, какие надо преодолеть, чтобы поверить подобным словам. Сомнения возникали позже, когда начинал действовать рассудок. Он высказывал их ироническими и жестокими словами, старался озадачивать ее неясными намеками. На этот раз он был менее угрюм, чем обыкновенно, не слишком язвителен и не так ревнив и недоверчив. Он проявил ровно столько дурного настроения, сколько естественно обнаруживать после удовлетворения желаний. А г-же де Громанс следовало именно сегодня опасаться самых мрачных проявлений досады и неприязни. Ведь именно сегодня, то насильно, то лаской, пустив в ход свое природное чутье и богатый опыт, она добилась от него более щедрых доказательств любви, чем он обычно считал возможным допускать. Она заставила его выйти из границ умеренности. А этого он ей легко не прощал, так как заботился о своем здоровье и старался быть в форме для спортивных упражнений. Всякий раз как г-жа Громанс заставляла его нарушить меру, он мстил ей злобными словами или еще более злобным молчанием. Она не сердилась, так как любила любовные наслаждения и так как по опыту знала, что мужчины становятся неприятными после того, как утолят свой ныл. А потому она спокойно ждала упреков, которые считала заслуженными. Но ожидания ее не оправдались. Гюстав спокойно изрек мысль, свидетельствующую о ровной безмятежности его духа:

— Мой бельевщик — осел!

В то же время он аккуратно оправлял костюм перед

зеркалом и предавался глубоким размышлениям. После нескольких минут сосредоточенности он спросил г-жу де Громанс отнюдь не кислым тоном:

— Вы, кажется, знакомы с Луайе?

Госпожа де Громанс, светлая, сияющая и свежая на фоне глубокого кресла, обитого темным бархатом, застегивала ботинки. Голая, в одной только смятой сорочке, она наклонилась грудью над своими скрещенными ножками и опустила головку, залитую светом; в этом живописном ракурсе, еле прикрытая соскальзывающей тонкой тканью, она походила на аллегорическую фигуру с какого-нибудь венецианского плафона. Гюстав не заметил этого сходства. Он повторил свой вопрос:

— Вы знакомы с Луайе?

Она приподняла голову и, держа крючок на весу на кончиках пальцев, сказала:

— С Луайе? С министром? Да, знакома.

— Близко?

— Не близко, но знакома.

Этот Луайе, сенатор, министр юстиции, министр культов, был старый холостяк, невзрачный на вид, довольно честный, пока дело не касалось политики, отчасти знакомый с правоведением, философ, посевший в любовных шашнях с горничными и за холостяцкими разговорами. Войдя на закате лет в общение со светскими дамами, он пожирал их глазами сквозь золотые очки.

Хорошо сохранившийся для шестидесяти лет, он по достоинству оценил г-жу де Громанс, когда она предстала перед ним в гостиных префектуры. С тех пор прошло семь лет. Луайе приезжал в город г-на Вормс-Клавлена на открытие памятника Жанне д'Арк. Тогда-то он произнес пресловутую речь, великолепно заканчивавшуюся параллелью между Орлеанской девой и Гамбеттой, «равно преображенными», как выразился оратор, «дивным светом патриотизма». Консерваторы, уже втайне сочувствовавшие финансовой политике республики, были благодарны министру за то, что он связывал их с господствовавшим режимом еще и почетными узами благородного чувства.

Господин де Громанс пожал ему руку и сказал: «Старый шуан в моем лице благодарит вас, господин

министр, за Жанну и за Францию». Министр прогуливался ночью с г-жой де Громанс при свете венецианских фонарей по обширным садам префектуры, под деревьями, посаженными в 1690 году силейскими бенедиктинцами, как будто для того, чтобы спустя два века г-жа Вормс-Клавлен могла наслаждаться их тенью. Узнав перед тем, что «старый шуан» занимал первое место среди рогоносцев департамента, Луайе шепнул несколько гривуазностей в розовое ушко молодой женщины. Он был бургундцем и похвалялся тем, что он бургундец «с перцем». Тем не менее, увлеченный красотой этой исторической ночи, он сказал, прощаясь с г-жой де Громанс: «Такие иллюминации переносят нас в царство мечты». Луайе отнюдь не был неприятен г-же де Громанс. Она впоследствии даже обращалась к нему за несколькими мелкими услугами по части земледелия и местных дорог, и старик оказывал их ей, не требуя ни малейшего вознаграждения, довольствуясь тем, что похлопывал по рукам и по плечам прелестную союзницу и спрашивал ее фривольным тоном, как поживает «старый шуан».

У нее не было поэтому никакой надобности скрывать свои отношения с Луайе, который опять получил портфель министра культов в новом радикальном кабинете.

— Я знакома с Луайе, как бывают знакомы с людьми другого круга. Почему ты спрашиваешь?

— Спрашиваю потому, что если ты в хороших отношениях с Луайе, то попроси его кой о чем.

— Уж не хочешь ли ты получить академический значок, как господин Бержере?

— Нет, — ответил серьезным тоном Гюстав. — Тут дело поважнее. Ты должна оказать мне услугу и отрекомендовать этому министру аббата Гитреля.

Она изумленно выпрямилась. Между ее черными чулками и сорочкой сверкала полоска ослепительной кожи. Удивление даже придало ее лицу какую-то наивность. Она спросила:

— Зачем?

Гюстав старательно повязывал галстук.

— Чтобы Луайе назначил его епископом.

— Епископом!

Это слово вызвало у г-жи де Громанс многочисленные и наглядные представления.

В течение ряда лет она видела, как по праздничным дням служил в соборе архиепископ Шарло, толстый и приземистый, весь сверкающий золотом митры и мантии, краснолицый, бесформенный, величественный. Она очень часто обедала с ним и даже угощала его у себя. Вместе с прочими дамами прихода она восхищалась остроумными ответами кардинала-архиепископа и его красивыми икрами в красных чулках. Она была знакома и с многими другими епископами, все людьми весьма почтенными. Но она никогда не задумывалась над порядком, установленным для возведения священников в епископский сан. И ей казалось странным, что симпатичный, но банальный и гривуазный господин вроде Луайе обладает властью создавать таких прелатов, как монсеньер Шарло. Ее охватило раздумье, она обвела своими прекрасными, лишенными мысли глазами все помещение от неубранной постели до столика с бисквитами и бутылкой малаги, от стула, где валялись ее панталоны и корсет, до фарфорового прибора, стоявшего в беспорядке на туалете, и в то же время представляла себе кружевные стихари, посохи, наперсные кресты, аметистовые перстни. И не вполне понимая, она переспросила:

— Ты в самом деле думаешь, что так делают епископов?

Он уверенно ответил:

— Да, именно так.

Застегивая корсет, она задумчиво сказала:

— Так ты полагаешь, крошка, что если я попрошу Луайе назначить аббата Гитреля епископом...

Он заверил ее, что старый ловелас Луайе не откажет в такой просьбе хорошенькой женщине.

Она пристегнула свои розовые фуляровые панталоны к шелковому корсету. А так как Гюстав продолжал настаивать, чтобы она обратилась с просьбой к министру, то ее охватило некоторое недоверие и сильное любопытство. Она спросила:

— Но зачем тебе нужно, крошка, чтобы аббат Гитрель стал епископом? Зачем?

— Чтобы доставить удовольствие маме. И кроме того, этот священник меня интересует. Он умен, он способный человек. Таких не так уж много. Право, он идет в уровень с веком. Это священник в духе римского папы. И потом, мама будет так довольна.

— Так почему же ей самой не пойти к Луайе с этой маленькой просьбой?

— Прежде всего, дорогая, это не одно и то же. А кроме того, мои родители сейчас в прохладных отношениях с министерством. Отец, как председатель союза горнозаводчиков, протестовал против новых тарифов. Вы не можете себе представить, с какими раздорами связаны эти экономические вопросы.

Но она видела, что он ее обманывает и вмешивается в церковные дела не из-за сыновней любви.

В розовых фуляровых панталонах, быстрая и подвижная, она ходила по комнате, нагибаясь, выпрямляясь, вновь нагибаясь, в поисках нижней юбки, затерявшейся среди надушенных принадлежностей ее туалета, разбросанных в разных местах.

— Крошка, дай мне совет.

— Относительно чего?

Долго провозившись над завязыванием галстука перед зеркалом, он закурил папироску и развлекался тем, что следил за движениями г-жи де Громанс в одеянии, подчеркивавшем всю женственность этого женского тела. Он не мог решить, изящно это или смешно. Он не мог решить, надо ли считать это зрелище просто некрасивым или находить в нем некоторую долю художественного удовольствия. Его нерешительность была вызвана воспоминанием о долгой дискуссии, поднятой на эту тему прошлой зимой у его отца. Дискуссия происходила после обеда, в курительной комнате, между двумя старыми знатоками: г-ном де Термондром, находившим, что нет ничего очаровательнее хорошенькой женщины в корсете и панталонах, и Полем Фленом, утверждавшим, напротив, что женщина в такой момент выглядит весьма неязычной. Гюстав следил за этим интересным спором. Он не знал, на чью сторону склониться. Термондр обладал опытом, но был старозаветен и слишком артистичен; Поль Флен был несколь-

ко глуповат, но очень шикарен. Из чувства недоброжелательности и руководствуясь своими вкусами, Гюстав уже склонялся в пользу Поля Флена, когда г-жа де Громанс надела розовую юбку в розовых цветах.

— Дай мне совет, крошка. В этом году носят платья, сплошь отделанные выдрой. Что ты скажешь о платье из красного сукна... такого насыщенно красного цвета, рубинового... с жакеткой из выдры... а к этому шапочку из выдры с букетиком пармских фиалок?

Он продолжал пребывать в задумчивости, выражая свою точку зрения только кивками головы. Наконец, вместо ответа, он пустил струю папиросного дыма.

Она продолжала, погруженная в свои грезы:

— ...Со старинными пуговицами в драгоценных камнях. Рукава совсем узкие в облегающая юбка.

Он наконец заговорил:

— Облегающая юбка. Как будто неплохо!

Тут она вспомнила, что он ровно ничего не понимал ни в юбках, ни в лифах. При этом она набрела на мысль, которую тут же стала развивать:

— Это просто удивительно! Мужчины, не признающие женщин, интересуются женскими туалетами. А мужчины, любящие женщин, даже не замечают, как те одеты. Я уверена, что ты, например, не можешь сказать, в каком платье я была в субботу у твоей матери. А вот этот птенчик Сюке, у которого, как известно, особые вкусы, отлично разбирается и в белье и в женских тряпках. Он родился модисткой и портным. Как ты это объясняешь?

— Долго рассказывать.

— Крошка, ты сидишь на моей юбке. Да, кстати, чтобы не забыть: Эммануэль жалуется, что ты им пренебрегаешь. Вчера он ждал тебя, чтобы показать лошадей, которую хочет купить... А ты не пришел. Он недоволен.

При этих словах Гюстав разразился бранью:

— Твой муж осточертел мне на скачках. Он идиот, шут. И вдобавок — прилипала. Согласись, что торчать по целым дням в его конюшне, на его псарне и на его огороде — потому что этот слабоумный еще к тому же помешан на земледелии, — разглядывать собачью овсянку, шприц для лошадей и фосфатные удобрения

по системе Брем-Дюкорне — это занятие не для меня. Я считаю бестактностью, что при наших с тобой отношениях твой муж ходит за мной по пятам. Из-за его глупости все уже начинают что-то подозревать. Клянусь тебе: это всем бросается в глаза.

Она ответила ласково и серьезно, надевая юбку:

— Не говори дурно о моем муже. Раз необходимо иметь мужа, то еще хорошо, что он у меня такой. Подумай, крошка, ведь могло быть и хуже.

Но Гюстав не унимался:

— И к тому же он любит тебя, скотина!

Она сделала гримаску и слегка пожала плечами, что означало: где ему!

Так по крайней мере ее понял Гюстав. И он подчеркнул смысл ее слов:

— По одной его физиономии видно, что он не из чемпионов в любовных делах. Но есть вещи, о которых даже думать противно.

Госпожа де Громанс посмотрела на Гюстава прекрасным, счастливым и спокойным взглядом, призывавшим отбросить тягостные мысли, и собралась запечатлеть на его губах поцелуй, великолепный, как королевская печать из алого воска.

— Осторожно — папироса! — сказал он.

Теперь, уже одевшись в скромное платье песочного цвета, она оправляла под шляпкой пушистые волосы. Вдруг она расхохоталась. Гюстав спросил, что ее рассмешило.

— Так, ничего...

Он все же захотел знать.

— Я думала о том, что твоей матери, когда она... в свое время... ходила на свидания... доставляли, должно быть, немало неудобств ее волосы, если она каждый раз сооружала такую сложную прическу, как на портрете в гостиной.

Шокированный этой шуткой и не зная, как к ней отнестись, он ничего не ответил. Она продолжала:

— Ты, надеюсь, не сердись? Скажи, ты меня любишь?

Нет, он не сердился. Он любил ее. Тогда она вернулась к прежней мысли.

— Смешно. Сыновья верят в добродетель своих матерей. Дочки тоже, но меньше. А между тем, если у женщины есть дети, это вовсе не означает, что у нее не было любовников.

Она призадумалась и продолжала:

— Жизнь все-таки сложная штука, когда о ней подумаешь. Прощай, крошка. Я едва успею дойти до дому пешком.

— Почему пешком?

— Во-первых, это полезно для здоровья. А кроме того, объясняет, почему я обошлась без своей коляски. Да и не скучно.

Она осмотрела себя в зеркало сперва в три четверти, затем сбоку и, наконец, со спины.

— В этот час за мной, конечно, увяжется куча приставал.

— Почему?

— Потому что у меня неплохая фигура.

— Я хочу сказать: почему вы уверены, что именно в этот час?

— Потому что уже вечер. Вечером, перед обедом, большой наплыв публики.

— Но кто к вам пристаёт? Что за люди?

— Чиновники, светские люди, франты, мастеровые, священники. Вчера меня провожал негр. Цилиндр его блестел как зеркало. Он был очень мил.

— Он говорил с тобой?

— Да. Он сказал: «Сударыня, не угодно ли вам сесть со мной в экипаж? Или вы боитесь себя скомпрометировать?»

— Как глупо!

Она серьезно заметила:

— Есть такие, что говорят еще большие глупости. Прощай, крошка. Сегодня мы крепко любили друг друга.

Она уже взялась за дверной ключ, но он остановил ее:

— Клотильда, обещай мне, что ты пойдешь к министру Луайе и скажешь ему самым милым образом: «Господин Луайе, у вас есть вакантная епархия. Назначьте аббата Гитреля. Лучшего выбора вы сделать не можете. Это священник совсем в духе папы».

Она покачала хорошенькой головкой:

— Пойти к Луайе на дом? Ну, нет! Я не полезу в клетку к горилле! Надо найти случай встретиться с ним у друзей.

— Но дело спешное, — возразил Гюстав. — Луайе может с минуты на минуту подписать назначение на свободные епархии. Их несколько.

Она подумала и после некоторых усилий мысли сказала:

— Ты, наверное, ошибаешься, крошка. Епископов назначает вовсе не Луайе, а папа, уверяю тебя, или же нунций. Да вот тебе доказательство — Эммануэль говорил на днях: «Нунцию следовало бы побороть скромность господина Гуле и предложить ему епископство».

Он попытался ее разубедить и пустился в объяснения:

— Слушай меня: министр выбирает епископов, а нунций утверждает выбор министра. Это называется конкордатом. Ты скажешь Луайе: «У меня есть на примете священник, умный, либеральный, сторонник конкордата, совсем в духе...»

— Знаю.

Она широко раскрыла глаза.

— А все-таки, крошка, ты просишь у меня о таких необычайных вещах...

Удивление ее происходило оттого, что она была набожна и уважала святыни. Гюстав, пожалуй, был не так набожен, как она, но зато, быть может, более щепетилен. В душе он признавал, что это действительно было довольно необычайно; тем не менее он был заинтересован в успехе дела, а потому постарался успокоить г-жу де Громанс:

— Я не прошу у тебя ничего такого, что было бы противно религии. Наоборот.

Но к ней вернулось ее первоначальное любопытство. Она спросила:

— Почему, крошка, тебе так хочется, чтобы господин Гитрель стал епископом?

Он смущенно заметил, что уже объяснил ей это.

— Мама этого хочет. И другие тоже.

— Кто?

— Многие... Бонмоны...

— Бонмоны? Да ведь они евреи!

— Ничего не значит. Есть евреи даже среди духовенства.

Узнав, что тут замешаны Бонмоны, она почуяла какую-то интригу. Но, обладая нежным сердцем и покладистой душой, она обещала переговорить с министром.

XVI

Аббата Гитреля, кандидата на епископскую кафедру, ввели в кабинет нунция. Монсеньер Чима поражал с первого взгляда крупными чертами бледного лица, которое годы изнурили, но не состарили. В сорок лет у него был вид больного юноши. А когда он опускал глаза, то становился похожим на мертвеца. Он жестом попросил посетителя сесть и, готовясь выслушать его, принял в кресле привычную позу. Поддерживая правый локоть левой рукой и подперев щеку, он был овеян какой-то кладбищенской грацией и напоминал знакомые фигуры античных барельефов. В минуты покоя черты его были подернуты меланхолией. Но стоило ему улыбнуться, и лицо его превращалось в комическую маску. Однако взгляд его прекрасных темных глаз производил тягостное впечатление, и в Неаполе говорили, что у него дурной глаз. Во Франции он слыл тонким политиком.

Аббат Гитрель счел дипломатичным лишь вскользь намекнуть на цель своего визита.

Пусть церковь в премудрости своей располагает им по своему усмотрению. Все его чувства к ней сливаются в едином чувстве беспрекословной покорности.

— Монсеньер, — сказал он, — я священник, иначе говоря — солдат. Я ищу для себя славы только в повиновении.

Монсеньер Чима, одобрительно склонив голову, спросил аббата Гитреля, знал ли он покойного епископа туркуэнского господина Дюклу.

— Я знавал его в Орлеане, когда он был священником.

— В Орлеане. Приятный город. У меня там есть дальние родственники. Господин Дюклу был в преклонных летах. От какой болезни он умер?

— От каменной болезни, монсеньер.

— Таков удел многих старцев, хотя за последние годы наука значительно облегчила этот страшный недуг.

— Действительно, монсеньер.

— Я встречался с господином Дюклу в Риме. Он был моим партнером по висту. Вы бывали в Риме, господин Гитрель?

— Этого утешения я до сих пор не удостоился, монсеньер. Но я часто пребывал там мысленно. Если не телом, то душою я переносился в Ватикан.

— Так, так... Папа будет рад вас видеть. Он любит Францию. Лучшее время для пребывания в Риме — весна. Летом малярия свирепствует в окрестностях и даже в некоторых городских кварталах.

— Я не боюсь малярии.

— Отлично, отлично... К тому же, если принять меры предосторожности, можно уберечь себя от лихорадки. Не надо выходить вечером без верхнего платья. Иностранцы должны особенно избегать прогулок в открытом экипаже после заката солнца.

— Говорят, монсеньер, что вид Колизея при лунном освещении просто великолепен.

— Воздух там опасен. Надо также избегать садов виллы Боргезе, где очень сыро.

— Вот как, монсеньер?

— Да!.. Да!.. Хотя я сам уроженец Рима и родители мои римляне, но я плохо переношу римский воздух. Куда лучше в Брюсселе. Я пробыл там год. Что может быть приятнее этого города? У меня там есть родные... Скажите, Туркуэн очень большой город?

— В нем сорок тысяч жителей. Город промышленный.

— Знаю, знаю. Господин Дюклу говорил мне в Риме, что находит у своих прихожан только один недостаток: они пьют пиво. Он говорил мне так: «Если бы они пили орлеанское вино, они были бы безупречными христианами. А вот пиво нагоняет на них уныние, неподобающее христианину».

— Монсеньер Дюклу шутил весьма остроумно.

— Он не любил пива и очень удивился, узнав от меня, что пристрастие к этому напитку теперь весьма распространено в Италии. Есть немецкие пивные во Флоренции, в Риме, в Неаполе, во всех городах. Любите ли вы пиво, господин Гитрель?

— Не брезгаю, ваше высокопреосвященство.

Нунций дал священнику поцеловать свой перстень, и Гитрель почтительно откланялся.

Нунций позвонил:

— Попросите господина Лантеня.

Ректор духовной семинарии приложился к перстню нунция. Ему было предложено сесть и изложить свое дело.

Он сказал:

— Монсеньер, я принес в жертву папе и соображениям необходимости свою преданность королевской династии. Я отрекся от дорогих для моего сердца надежд. Но этим я исполнил свой долг перед главой истинно верующих, ради единства церкви. Если его святейшество поставит меня епископом в Туркуэне, я буду управлять там по его предначертаниям и ко благу христианской Франции. Епископ — это правитель. Ручаюсь вам за свою твердость.

Монсеньер Чима, одобрительно склонив голову, спросил у Лантеня, знал ли он покойного епископа туркуэнского господина Дюклу.

— Я мало встречался с ним, — отвечал Лантень, — да и то задолго до возведения его в епископский сан. Помнится, мне случалось уступать ему проповеди, если у меня бывали лишние.

— Он уже был немолод, когда мы его потеряли. От какой болезни он умер?

— Не знаю.

— Я знавал господина Дюклу в Риме. Он был моим партнером по висту. Вы бывали в Риме, господин Лантень?

— Никогда, ваше высокопреосвященство.

— Надо побывать. Папа будет рад вас видеть. Он любит Францию. Но будьте осторожны, римский климат неблагоприятен для иностранцев. Летом малярия сви-

репствует в окрестностях и даже в некоторых городских кварталах. Лучшее время для пребывания в Риме — весна. Хотя я сам уроженец Рима и родители мои римляне, но я предпочитаю Риму Париж или Брюссель. Брюссель очень приятный город. У меня там есть родные. Скажите, Туркуэн очень большой город?

— Это одно из самых древних епископств Северной Галлии, ваше высокопреосвященство. Туркуэнская епархия прославилась длинным рядом святых епископов, начиная от блаженного Лупа и до монсеньера де ля Трюмельера, непосредственного предшественника монсеньера Дюклу.

— А какое население в Туркуэне?

— Вера там прочная, ваше высокопреосвященство, а по доктрине они ближе к духу католической Бельгии, чем Франции.

— Знаю, знаю. Незабвенный епископ туркуэнский господин Дюклу сказал мне однажды в Риме, что знал за своими прихожанами только один непростительный грех: они пьют пиво. Он говорил: «Если бы они пили орлеанское вино, они были бы лучшей паствой на свете. К сожалению, пиво передает им свою горечь и нагоняет на них уныние».

— Монсеньер, позвольте сказать вам: епископ Дюклу был ограничен умом и слаб характером. Он не сумел должным образом направить энергию этих крепких людей Севера. Он был не плохим человеком, но недостаточно ненавидел зло. Нужно, чтобы туркуэнская община озаряла своим светом весь католический мир. Если его святейшество сочтет меня достойным занять кафедру блаженного Лупа, я берусь в десять лет уловить все сердца с помощью святой силы подвижничества, отбить все души у врага, установить во всей моей области единство веры. Франция в своих тайных глубинах — страна христианская. Нашим католикам не хватает только энергичных руководителей. Мы умираем от бессилия.

Монсеньер Чима встал, подставил аббату Лантену для поцелуя свой золотой перстень и сказал:

— Надо побывать в Риме, господин аббат, надо побывать в Риме.

XVII

Гостиная в тусклом квартале Батиньоль была очень скромна и украшена лишь гравюрами из Луврской калографии и фигурами, вазами, часиками, севрскими блюдами — посредственными произведениями, свидетельствовавшими о связях хозяйки дома с чиновниками республики. Г-жа Шейраль, урожденная Луайе, была сестрой министра юстиции и культов. После смерти мужа, комиссионера с улицы Отвиль, не оставившего ей ничего, она поселилась со своим братом как из-за материальных соображений, так и из властного материнского чувства и управляла старым холостяком, который сам управлял страной. Она заставила его назначить правителем канцелярии ее сына Мориса, который нелегко мог найти себе применение и преуспевал только на чиновничьих должностях.

У Луайе была еще одна комната в небольшой квартирке на улице Клиши, и он переезжал туда всякий раз, как начинал страдать головокружениями и сонливостью, что случалось каждую весну, потому что его одолевала дряхлость. Но как только он чувствовал, что голова и ноги становились крепче, он возвращался на свой чердак, где проживал уже почти полвека; отсюда ему были видны деревья Люксембургского сада, и туда полиция империи дважды приходила его арестовывать. Он хранил там трубку Жюля Гриви.

Трубка была, пожалуй, самым ценным сокровищем этого старика, пережившего в парламенте период краснорайства и период делячества, распорядившегося секретными фондами министерства внутренних дел в трех кабинетах, несовратимого совратителя, подкупившего для своей партии немало совестей. Он был безмерно снисходителен к служебным злоупотреблениям своих друзей, но сам, стоя у кормила власти, щеголял своей бедностью, почти что издевательской, немного циничной, упорной, закоренелой и полной достоинства.

Взгляд его погас, ум обленился, и, лишь изредка обретая прежнюю изворотливость и находчивость, Луайе посвящал остатки сил бильярду и политике

концентрации *. Ограниченная и малосообразительная г-жа Шейраль держала в руках этого хитрого, спокойного, угрюмого и игривого старца, который уже в шестой раз занимал министерский пост в кабинетах, сменивших клерикальный, но покорно предоставлял своему племяннику Морису бестолково и беззастенчиво выполнять неопределенные обязанности правителя канцелярии. Луайе, конечно, несколько удивился, обнаружив у своего племянника реакционные и клерикальные симпатии. Но он был слишком склонен к аполексии, чтобы пререкаться с сестрой.

Госпожа Шейраль в этот день сидела дома. Она очень радушно приняла г-жу Вормс-Клавлен, нарочно приехавшую к ней попозже, когда уже можно было не ожидать других визитеров.

Они любезно прощались. Жена префекта возвращалась на другой день к себе в префектуру.

— Уже, моя милочка!

— Пора, — отвечала г-жа Вормс-Клавлен, выглядевшая кроткой простушкой под черными перьями своей шляпки.

Это был ее обычный туалет для визитов — то, что она называла «нарядиться похоронной лошадью».

— Вы отобедаете с нами, милочка; вас не так уже часто можно видеть в Париже... Совсем по-домашнему. Брат вряд ли придет. Он последнее время так занят, так поглощен работой! Но Морис, вероятно, будет. Молодые люди теперь остепенились: не то, что раньше. Морис проводит со мной целые вечера.

Она стала уговаривать г-жу Вормс-Клавлен с вкрадчивой слащавостью гостеприимной особы.

— Без церемоний. Туалета менять не надо. Ведь я же говорю вам, что все будет по-семейному!

Госпожа Вормс-Клавлен добилась у министра внутренних дел ордена Почетного легиона четвертой степени для своего мужа, а у Луайе, министра юстиции и культов, — обещания включить аббата Гитреля, претендента на туркуэнскую епархию, в список, представляемый папе и перечислявший духовных особ, предназначенных для замещения шести епископских или архиепископских кафедр. Ничто больше не удерживало ее

в Париже. Она намеревалась в тот же вечер уехать в префектуру.

Она отговаривалась, ссылаясь на «кучу дел», но г-жа Шейраль оказалась настойчивой. Так как супруга префекта упорствовала, г-жа Шейраль вдруг заговорила кислым тоном и поджала губы, что было знаком неудовольствия. Г-же Вормс-Клавлен не хотелось ее рассердить. Она согласилась.

— Ну и отлично! Повторяю, обед будет без церемоний.

Он и был без церемоний. Луайе не приехал. Напрасно ждали и Мориса. Но пришла дама, содержательница табачной лавки, и старик, пользовавшийся весом в школьных кругах. Разговор носил серьезный характер. Г-жа Шейраль, интересовавшаяся только своими личными делами и питавшая неприязнь только к своим близким приятельницам, перечислила лиц, которых считала достойными занять места в сенате, в палате депутатов или в академии, не потому, что занималась политикой, науками или литературой, но потому, что, как сестра министра, считала своим долгом судить обо всем, что касается интеллектуального и морального величия страны. Г-жа Вормс-Клавлен внимала с прелестной кротостью, все время сохраняя тот наивный вид, который напускала на себя в обществе, где ей было неинтересно. Она усвоила особую манеру опускать глаза, чем возбуждала пожилых мужчин, и привела в смятение седого вершителя судеб национальной грамматики и гимнастики. Он искал под столом ее ножку. А она уже обдумывала, как дойти до трамвая, чтобы проехать от улицы Клиши к Триумфальной арке, где на перекрестке проспектов, расходящихся как бы лучами огромной орденовой звезды, помещался ее family-house¹.

Войдя в гостиную под руку с пожилым господином, оказавшим такие значительные услуги начальному образованию, она застала там молодого Мориса Шейраля, который, задержавшись в министерстве после заседания, пообедал в кабачке и заехал домой, чтобы переодеться и затем отправиться в театр. Он с интересом оглядел

¹ Семейная гостиница (англ.).

г-жу Вормс-Клавлен и уселся рядом с ней на старом материнском диване, под огромным северским блюдом, расписанным в неокитайском стиле и висевшим на стене в синей бархатной рамке.

— Госпожа Клавлен! Мне как раз нужно было поговорить с вами.

Госпожа Вормс-Клавлен была некогда худощавой брюнеткой. В таком виде она не претила мужчинам. Со временем она стала полной блондинкой. И в этом новом виде она тоже не претила мужчинам.

— Вы видели вчера моего дядю?

— Да. И он был со мной очарователен. Как он чувствует себя сегодня?

— Устал, очень устал... Он передал мне список.

— Какой список?

— Список кандидатов на свободные епископства. Вы очень стоите за то, чтобы назначили аббата Гитреля, не правда ли?

— Этого желает мой муж. Ваш дядя сказал мне, что исход дела будет благоприятен.

— Дядя... Вы полагаетесь на то, что говорит дядя... Он министр, — откуда же ему что-нибудь знать! Его обманывают. И кроме того, от него не добьешься откровенного слова. Почему вы не обратились ко мне?

Госпожа Вормс-Клавлен тихо ответила с прелестной стыдливостью:

— Ну, так я обращаюсь к вам.

— Вот это хорошо, — отвечал правитель канцелярии. — И тем особенно хорошо, что ваше дело не двинется вперед, а двигаться ему или не двигаться — зависит от меня. Дядя сказал вам, что представит папе шесть кандидатов?

— Да.

— Ну-с, так они уже давно представлены. Я это знаю. Я сам посылал представление. Я особенно интересуюсь церковными делами. Дядя принадлежит к старой школе: он не понимает значения религии. Я же пропитан ею насковозь. Положение таково: шесть кандидатов были предложены папе. Святой отец одобрил только четверых. Что касается двух остальных — господина Гитреля и господина Морю, — то он не

ответ их категорически, но заявил, что мало о них осведомлен.

Морис Шейраль покачал головой.

— Он мало осведомлен. А осведомится получше, так еще неизвестно, что он скажет. Между нами, сударыня, Гитрель производит на меня впечатление плута. А епископов надо назначать с большим отбором. Епископат — сила, на которую дальновидное правительство должно умело опираться. Это уже начинают понимать.

— Совершенно правильно, — подтвердила г-жа Вормс-Клавлен.

— С другой стороны, — продолжал правитель канцелярии, — ваш ставленник умен, образован и человек с широкими взглядами.

— В таком случае?.. — спросила г-жа Вормс-Клавлен с восхитительной улыбкой.

— Дело деликатное! — отозвался Шейраль.

Шейраль был не очень умен. Он мог охватить одновременно лишь небольшое количество фактов и решал вопросы по столь легковесным соображениям, что их трудно было уловить. А потому считали, что, несмотря на юный возраст, он уже обладает самостоятельными взглядами. В данный момент он только что познакомился с книгой г-на Энбера де Сент-Аман о Тюильри в эпоху Второй империи; он был поражен, читая о великолепии блестящего двора, и размечтался о жизни, в которой, подобно герцогу де Морни *, он сочетал бы удовольствия с политикой и наслаждался бы властью во всех отношениях. Он посмотрел на г-жу Вормс-Клавлен таким взглядом, что она отлично поняла его значение. Она молчала, опустив глаза.

— Дядя предоставляет мне полную свободу действий в этом вопросе, который его вовсе не интересует, — продолжал Шейраль. — Я могу поступить двояко. Или предложить теперь же лишь четырех кандидатов, одобренных в Риме... или же заявить нунцию, что список епископов не будет представлен на подпись президенту республики, пока папская курия не утвердит всех шестерых кандидатов. Я еще не пришел к определенному решению, но я был бы счастлив поладить с вами в этом деле. Я буду ждать вас послезавтра в пять часов, в за-

крытой карете у решетки парка Монсо, на углу улицы Виньи.

«Риск невелик», — подумала г-жа Вормс-Клавлен. И ответила одними глазами, слегка их сощуриив.

XVIII

Госпоже де Бонмон нетрудно было устроить у себя встречу Рауля Марсьена с аббатом Гитрелем. Свидание оказалось таким, как можно было ожидать. Аббат Гитрель был сама елейность, а Рауль был сама светскость и выказывал должное почтение к церкви.

— Господин Гитрель, — сказал он, — я принадлежу к семье солдат и священников. Я сам служил в армии, и тем самым...

Он не закончил. Аббат Гитрель протянул ему руку и ответил с улыбкой:

— По-видимому, мы олицетворяем здесь союз сабли и кропила...

И тотчас же с прежней священнической внушительностью добавил:

— Союз, благословенный свыше и вполне естественный. Мы ведь тоже солдаты. Лично я очень люблю военных.

Госпожа де Бонмон благожелательно взглянула на аббата, который продолжал:

— Мы открыли в моем приходе кружки, где молодые солдаты могут читать хорошие книги, покуривая сигару. Под покровительством монсеньера Шарло это начинание процветает и приносит немало пользы. Не будем несправедливы к нашему веку: много творится теперь дурного, но много и доброго. Мы участвуем в великой битве. Это, быть может, лучше, чем жить среди тех вялых душ, которым один великий христианский поэт не отводит места ни в раю, ни в аду.

Рауль согласился с этим, но ничего не отвечал. Не отвечал потому, что у него не было никакого мнения на этот счет, а еще потому, что был всецело поглощен мыслью о трех обвинениях в мошенничестве, возбужденных против него за последнюю неделю, и такая мысль

лишала его всякой способности следить за абстрактными и обобщенными идеями.

Госпожа де Бонмон не знала ничего достоверного о причине этого молчания, а г-н Гитрель — тем более. Стараясь оживить разговор, он спросил у г-на Марсьена, знает ли тот полковника Гандуена.

— Это человек замечательный во всех отношениях, — добавил священник, — он служит превосходным образцом христианина и солдата и пользуется в нашем приходе всеобщим уважением среди порядочных людей.

— Знаю ли я полковника Гандуена! — воскликнул Рауль. — Слишком хорошо знаю. Вот он где у меня сидит. Я еще сведу с ним счеты!

Эти слова огорчили г-жу де Бонмон и удивили аббата Гитреля: ни она, ни он не знали, что полковник Гандуен с шестью другими офицерами четыре года тому назад приговорил капитана Марсьена к исключению из полка за недостойное поведение. Полковой совет ограничился этим мотивом, хотя мог сослаться на много других.

Кроткая Елизавета не ждала уже больших благ от этой встречи, которую устроила, чтобы умиротворить Рауля, отвлечь его от буйных помыслов и направить его мысли на любовные утехы. Но все же она дала выход своим чувствам и сказала голосом, в котором слышались слезы:

— Ведь правда, господин аббат, если человек молод, если ему предстоит блестящая будущность, он не должен предаваться отчаянию и тоске? Он должен, напротив, отгонять от себя черные мысли, не так ли?

— Безусловно, баронесса, безусловно, — отвечал аббат Гитрель. — Никогда не надо поддаваться отчаянию и беспричинной тоске. Добрый христианин, баронесса, не должен питать черных мыслей, это несомненно.

— Слышите, господин Марсьен? — сказала г-жа де Бонмон.

Но Рауль не слышал, и разговор прекратился.

Со всегдашней благожелательностью г-жа де Бонмон, несмотря на глубокую печаль, подумала о том, чтобы доставить маленькое удовольствие г-ну Гитрелю.

— Так ваш любимый камень, господин аббат, это аметист? — спросила она.

Священник, угадав ее намерение, ответил ей строго и даже с некоторой суровостью:

— Оставьте это, сударыня, пожалуйста оставьте.

XIX

Встав рано утром, г-н Бержере, профессор римской литературы, отправился за город вместе с Рике. Они сердечно любили друг друга и были неразлучны. У них были одинаковые вкусы, и оба они вели жизнь спокойную, ровную и простую.

Во время прогулок Рике внимательно следил глазами за хозяином. Он боялся потерять его из виду даже на мгновение, потому что нюх у него был слабо развит и он не мог бы нагнать хозяина по следу. Но этот прекрасный, преданный взгляд привлекал к нему симпатию. Он семенял подле г-на Бержере с забавной важностью. Профессор римской литературы шел то быстрее, то медленней, повинуюсь прихоти своих мыслей.

Опередив его на несколько шагов, Рике всегда оборачивался и ждал, задрав мордочку, приподняв согнутую лапу, с внимательным и настороженным видом. Какой-нибудь пустяк забавлял их обоих. Рике порывисто вбегал в подворотни и в магазины и мигом выскакивал обратно. В этот день, перемахнув одним прыжком через порог лавки угольщика, он очутился прямо перед огромным, ослепительно белым голубем. Голубь взмахнул в полумраке своими сверкающими крыльями, и Рике в ужасе пустился наутек. По своей привычке он подбежал рассказать глазами, лапками и хвостом свое приключение г-ну Бержере, и тот стал подшучивать:

— Да, мой бедный Рике, какая ужасная встреча; мы чуть не стали добычей когтей и клюва крылатого чудовища. Этот голубь был страшен.

И г-н Бержере улыбнулся. Рике знал эту улыбку. Он отлично понимал, что хозяин смеется над ним. А этого он не любил. Он перестал вилять хвостом и поплелся,

опустив голову, выгнув спину и раскорячив ноги — явный признак неудовольствия.

И г-н Бержере добавил:

— Бедняга Рике, твои предки проглотили бы эту птицу живьем, а ты ее боишься. Ты не так голоден, как они, а потому и не так отважен. Утонченная культура сделала из тебя труса. Еще большой вопрос, не ослабляет ли цивилизация у людей вместе с жестокостью и храбрость. Но культурные люди притворяются смелыми для соблюдения человеческого достоинства и создают искусственную доблесть, быть может, более прекрасную, чем природная. Ты же не стыдишься своего страха.

Неудовольствие Рике, по правде говоря, было не очень-то глубоко. И не очень длительно. Все было забыто, когда человек и собака подошли к Жоздскому лесу в тот час, когда трава была еще влажна от росы и легкий туман стлался над откосами оврагов. Господин Бержере любил лес. Он погружался в нескончаемые грезы перед какой-нибудь былинкой. Рике тоже любил лес. Запах сухих листьев доставлял ему таинственные радости. Оба они задумчиво шли под зеленым сводом дороги, которая ведет к Стрекозиному перекрестку, когда им повстречался всадник, возвращавшийся в город. То был г-н де Термондр, член департаментского совета.

— Здравствуйте, господин Бержере, — сказал он, останавливая коня. — Ну, как — обдумали вы мои вчерашние доводы?

Накануне у книготорговца Пайо г-н де Термондр объяснял, почему он стал антисемитом.

Впрочем, г-н де Термондр был антисемитом лишь в провинции, главным образом в охотничий сезон. Зимой же в Париже он обедал у еврейских финансистов, которых достаточно любил, чтобы выгодно сбывать им картины. Он был националистом и антисемитом в департаментском совете, из уважения к чувствам, господствовавшим в главном городе департамента. Но так как евреев в городе не было, то антисемитизм выражался преимущественно в нападках на протестантов, составлявших небольшое, строгое и замкнутое общество.

— Да, значит, мы с вами противники, — продолжал г-н де Термондр, — мне очень жаль, так как вы

умный человек, а далеки от социального движения. Вы не принимаете участия в общественной жизни. Если бы вы варились в этом соку, как я, вы тоже стали бы антисемитом.

— Вы мне льстите, — ответил г-н Бержере. — Семиты, населявшие некогда Халдею, Ассирию, Финикию и основавшие города на побережье Средиземного моря, состоят теперь из евреев, разбросанных по всему свету, и многочисленных арабских племен Азии и Африки. Мое сердце недостаточно обширно, чтобы вместить столько ненависти. Старик Кадм * был семитом. Ведь не могу же я быть врагом старика Кадма.

— Вы шутите, — сказал г-н де Термондр, осаживая лошадь, которая обгладывала ветви кустарников. — Вы же знаете, что антисемитизм направлен только против французских евреев.

— Значит, мне пришлось бы ненавидеть восемьдесят тысяч человек, — ответил г-н Бержере. — Все еще слишком много: мне не по силам.

— Вас и не просят ненавидеть, — сказал г-н де Термондр. — Но французы и евреи несовместимы. Антагонизм неустраним. Это расовая проблема.

— А я, напротив, думаю, — возразил г-н Бержере, — что евреи исключительно легко ассимилируются и что они самая пластичная и податливая порода людей на свете. Как некогда племянница Мардохея пошла в гарем Ассуря *, так же охотно и теперь дочери еврейских финансистов выходят замуж за наследников самых знатных имен христианской Франции. После этих браков уже поздно говорить о несовместимости двух рас. А кроме того, я считаю вредным делать в стране различие между расами. Отечество не определяется расой. Нет в Европе ни одного народа, который не состоял бы из множества слившихся и смешавшихся рас. Когда Цезарь вступил в Галлию, она была населена кельтами, галлами, иберийцами — народами различного происхождения, разной веры. Племена, соорудившие дольмены *, отличались по крови от тех, которые чтили бардов и друидов *. Благодаря нашествиям к этому человеческому месиву прибавились еще германцы, римляне, сарацины, и все это составило один народ, народ

героический и очаровательный — Францию, которая еще недавно учила Европу и весь мир справедливости, свободе, философии. Вспомните прекрасные слова Ренана; мне хотелось бы привести их со всею точностью: «Память о великих деяниях, сообща совершенных в прошлом, и желание совершать их в будущем — вот в чем единство народа».

— Отлично, — сказал г-н де Термондр, — но у меня нет никакой охоты совершать великие деяния сообща с евреями, — так что я остаюсь антисемитом.

— Уверены ли вы, что можете быть антисемитом в полной мере? — спросил г-н Бержере.

— Не понимаю вас, — сказал г-н де Термондр.

— В таком случае объясню, — ответил г-н Бержере. — Можно установить неизменный факт: всякий раз, как нападают на евреев, находится немало евреев, которые становятся на сторону нападающих. Так именно случилось во времена Тита *.

В этом месте разговора Рике сел посреди дороги и покорно посмотрел на хозяина.

— Вы согласитесь, — продолжал г-н Бержере, — что между шестьдесят седьмым и семидесятым годами нашей эры Тит проявил себя достаточно заядлым антисемитом. Он захватил Иотапату и истребил всех жителей. Он овладел Иерусалимом, сжег храм, превратил город в груды пепла и развалин, которая уже не имела имени и несколько лет спустя была названа Элиа-Капитолина. Он велел отправить в Рим священный семи-свечник для своего триумфального въезда. Не в обиду вам будь сказано, я думаю, что вам никогда не удастся достигнуть таких пределов антисемитизма. Так вот! Тит, разрушитель Иерусалима, сохранил множество друзей среди евреев. Береника * была к нему нежно привязана, и вы знаете, что разлучились они против своей воли. Иосиф Флавий * был ему предан всей душой, а он был отнюдь не последним среди своих единоплеменников. Он происходил от царей асмонейских, жил как суровый фарисей и довольно правдиво писал по-гречески. После разрушения храма и священного города он последовал за Титом в Рим и вошел в доверие к императору. Он получил право гражданства,

звание римского всадника и пожизненное содержание. И не думайте, сударь, что он считал себя предателем иудаизма. Напротив, он оставался верен закону и тщательно собирал национальные древности. Одним словом, он был по-своему правоверным евреем и в то же время другом Тита. И такие Флавиусы во все времена водились в Израиле. Как вы сказали, я живу в отдалении от света и от людей, которые в нем копошатся. Но я был очень удивлен, если бы евреи и на этот раз не раскололись и изрядное число их не оказалось в вашем лагере.

— Некоторые действительно присоединились к нам, — подтвердил г-н де Термондр. — Это служит к их чести.

— Так я и думал, — сказал г-н Бержере. — И, вероятно, среди них есть ловкачи, которые построят свое благополучие на антисемитизме. Лет тридцать тому назад передавали остроту одного сенатора, чело- века очень умного, который восхищался способностью евреев преуспевать и приводил в пример одного придворного священника из евреев: «Вот видите, — говорил он, — еврей получил священство и пролезет в пре- освященство». Не будем воскрешать варварских пред- рассудков. Не будем доискиваться, еврей ли этот чело- век, или христианин, а лучше спросим, честен ли он и полезен ли для страны.

Лошадь г-на де Термондра зафыркала, и Рике, подойдя к хозяину, пригласил его умоляющим и крот- ким взглядом продолжать начатую прогулку.

— Не думайте, во всяком случае, — сказал г-н де Термондр, — что я осуждаю всех евреев без разбора. У меня есть среди них отличные друзья. А антисемит я — из патриотизма.

Он протянул руку г-ну Бержере, припустил лошадь и спокойно продолжал свой путь. Но профессор фило- логического факультета окликнул его:

— Э, дорогой господин де Термондр, послушайтесь совета: раз уж отношения испортились, раз уж вы и ва- ши друзья поспорились с евреями, то по крайней мере не оставайтесь перед ними в долгу и верните им бога, которого вы у них взяли. Ведь вы у них взяли их бога!

— Иегову? — спросил г-н де Термондр.

— Иегову. На вашем месте я бы ему не доверял. Он был по духу евреем. Почему знать, может быть, он таким и остался? Почему знать, не мстит ли он за свой народ в эту минуту? Все, что мы видим, эти откровения, подобные ударам грома, эту отверстую глотку, эти знамения, исходящие отовсюду, этот синклит красных мантий, которому вы не могли воспрепятствовать, когда вы были в силе, почему знать, не он ли вершит все эти странные дела? Они совсем в его библейском духе. Я, кажется, узнаю его хватку.

Лошадь г-на де Термондра скрылась за ветвями на повороте дороги, и Рике с довольным видом засеменял по траве.

— Остерегайтесь! — повторил г-н Бержере. — Не оставляйте у себя их бога.

XX

— Попросите господина Гитреля, — сказал Луайе.

Министр весь утопал в бумагах, среди папок, скопившихся на столе в его кабинете. Маленький старичок в очках и с семью усами, простуженный, со слезящимися глазами, насмешник и ворчун, он был славный малый, сохранивший среди почестей и могущества манеры университетского наставника. Он снял очки, чтобы их протереть. Ему любопытно было взглянуть на этого аббата Гитреля, кандидата в епископы, который являлся к нему, предшествуемый блестящей вереницей женщин.

Первой пришла к министру в конце декабря хорошенькая провинциалка, г-жа де Громанс. Она без обиняков сказала ему, что надо назначить аббата Гитреля епископом туркуэнским. Старик министр, еще любивший аромат женщины, долго держал в руках ручку г-жи де Громанс и ласкал пальцем то место запястья между перчаткой и рукавом, где кожа над голубыми жилками особенно бархатиста. Но он не пошел дальше, потому что с годами все становилось для него затруднительным, а также из самолюбия, чтобы не показаться смешным. Зато в речах его сквозила эротика. Он спросил, по обыкновению, г-жу де Громанс, как поживает

«старый шуан». Так он фамильярно называл г-на де Громанса. Он смеялся всеми морщинками вокруг глаз, так что даже прослезился под синеватыми стеклами своих очков.

Мысль о том, что «старый шуан» был рогносцем, доставляла министру юстиции и культов непомерное наслаждение. Рисуя себе это обстоятельство, он смотрел на г-жу де Громанс с большим любопытством, интересом и удовольствием, чем, быть может, она того заслуживала. Но на обломках своих любовных ощущений он строил теперь рассудочные забавы, из коих самая острая заключалась в том, чтобы представлять себе супружеские злоключения г-на де Громанса и смотреть при этом на сладострастную их виновницу.

В течение полугода, когда он был министром внутренних дел в прежнем, радикальном кабинете, он требовал от префекта Вормс-Клавлена конфиденциальных донесений о чете Громансов, а потому был осведомлен обо всех любовниках Клотильды, и ему нравилось, что их так много. Словом, он оказал самый любезный прием прекрасной просительнице и согласился внимательно ознакомиться с делом Гитреля, но не связал себя никакими обещаниями, так как был честным республиканцем и не допускал воздействия женских капризов на государственные дела.

Затем на вечерах в Елисейском дворце просила за аббата Гитреля баронесса де Бонмон, обладательница самых красивых плеч в Париже. Наконец заезжала хорошенькая г-жа Вормс-Клавлен, супруга префекта, чтобы замолвить словечко в пользу доброго аббата.

Луайе было любопытно взглянуть собственными глазами на священника, который привел в движение столько юбок. Он предполагал, что перед ним предстанет один из тех юных и рослых молодчиков в сутане, которых за последние годы церковь направляет в общественные собрания и даже в палату депутатов, — молодцов плечистых и речистых, благочестивых сельских проповедников, темпераментных и прожженных, властвующих над простецами и над женщинами.

Аббат Гитрель вошел в кабинет министра, склонив голову к правому плечу и держа шляпу обеими руками

на животе, У него была достойная внешность, но желание нравиться и почтение перед властями предержаниями нанесли некоторый ущерб пастырской внушительности, о которой он так заботился.

Луайе заметил, что у него тройной подбородок, заостренная голова, большой живот, узкие плечи и елейные повадки. И притом он старик.

«Что в нем находят женщины?» — подумал министр.

Сперва они обменялись незначительными фразами. Но, задав г-ну Гитрелю несколько вопросов относительно церковного управления, он убедился, что этот толстяк говорит ясно и судит толково.

Он вспомнил, что директор департамента культов г-н Мостар не возражал против назначения аббата Гитреля на туркуэнскую кафедру. Правда, г-н Мостар не представил обстоятельных доводов. С тех пор как клерикальные министерства чередовались с антиклерикальными, директор департамента не вмешивался в назначение епископов. Такого рода дела становились слишком щепетильны. У г-на Мостара был дом в Жуанвиле, он был завзятым садоводом и рыболовом. Заветной его мечтой было написать историю театра Бобино, который он знал в дни его расцвета. Он старел и становился мудрым. Он перестал отстаивать свои мнения. Накануне он дословно сказал своему министру: «Предлагаю аббата Гитреля, но аббат Гитрель или аббат Лантень — это люди из одного теста или, как говорил мой дядя, одного поля ягоды». Так полагал директор департамента культов. Но Луайе, старый законник, умел делать различия.

Ему казалось, что аббат Гитрель не лишен здравого смысла и не отличается чрезмерным фанатизмом.

— Вам не безызвестно, господин аббат, — сказал он, — что господин Дюклу, покойный епископ туркуэнский, под старость впал в нетерпимость и этим доставил немало хлопот государственному совету. Каково ваше мнение?

— Увы! — со вздохом ответил аббат Гитрель, — действительно монсеньер Дюклу на исходе дней своих и сил, спеша вкусить вечное блаженство, вызвал не совсем приятные осложнения. Но сама ситуация была тогда слож-

ной. Теперь она изменилась, и его преемник может успешно заняться умиротворением умов. Главное, надо добиться искреннего примирения. Путь к этому проложен. Следует твердо вступить на него и идти до конца. Фактически ни школьные, ни военные законы не создают никаких препятствий. Остается, господин министр, только вопрос о монахах и государственной казне. Вопрос этот, надо признать, особенно важен в такой епархии, как туркуэнская, сплошь, если можно так выразиться, усеянной всякими религиозными организациями. Я изучил его очень тщательно и могу поделиться с вами своими наблюдениями.

— Монахи не любят платить. В этом все дело, — сказал Луайе.

— Никто не любит платить, господин министр, — возразил аббат Гитрель. — Но у вас, ваше высокопревосходительство, большой опыт в области финансов, и вы знаете, конечно, что есть тем не менее способ стричь налогоплательщика так, чтобы он не вопил. Почему не применить этого способа в отношении бедных монахов? Разве такие хорошие французы не могут быть и хорошими налогоплательщиками? Заметьте, господин министр, что с них, во-первых, взыскивают всеобщий налог...

— Естественно, — сказал Луайе.

— Во-вторых, налог с неотчуждаемого имущества...

— И вы на это жалуетесь? — спросил министр.

— Нисколько, — отвечал аббат. — Я просто подсчитываю. Счет дружбы не портит. В-третьих, четырехпроцентный налог с доходов от движимого и недвижимого имущества. И, в-четвертых, налог на приращение, установленный законами от двадцать восьмого декабря тысяча восемьсот восьмидесятого года и двадцать девятого декабря тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года. Только этот последний налог, как вам известно, господин министр, и вызвал в провинции возражения у разных конгрегаций, которые протестовали в некоторых епархиях вместе со своими пастырями. Возбуждение еще не везде улеглось. По поводу этого пункта, господин министр, я и позволю себе изложить мысли, которыми буду руководствоваться в своей деятельности, если удостоюсь чести воссесть на престол святого Лупа.

Министр, приготовившись слушать дальше, повернул свое кресло в сторону аббата Гитреля, который продолжал:

— В принципе, господин министр, я осуждаю дух возмущения и считаю недопустимыми шумные и настойчивые требования. Тем самым я только подчиняюсь энциклике * «*Diuturnum illud*», в которой Лев Тринадцатый, по примеру святого Павла, предписывает духовенству повиновение светской власти. Это — в отношении принципа. Теперь перейдем к фактам. Факты показывают, что монахи туркуэнской епархии находятся в отношении казны в самом различном положении, и это весьма затрудняет для них какие бы то ни было совместные выступления. В самом деле, в этом церковном округе имеются конгрегации утвержденные и неутвержденные, конгрегации, посвященные бесплатной помощи бедным, старикам и сиротам, и конгрегации, целью которых является чисто духовная и созерцательная жизнь. Они подлежат различному налоговому обложению в соответствии с их разными целями. Таким образом, различие их интересов препятствует их сопротивлению, если только сам епископ не свяжет в один пучок всех претензий, от чего я, конечно, воздержался бы, если бы стал их духовным главой. Ради упрочения мира между церковью и республикой, господин министр, я позабочусь о том, чтобы в моей епархии черное духовенство оставалось разобщенным и неорганизованным. Что же касается моего белого духовенства, — добавил священник твердым голосом, — я отвечаю за него, как генерал отвечает за свою армию.

Закончив речь, г-н Гитрель извинился за то, что так долго развивал свою мысль и злоупотребил драгоценным временем его высокопревосходительства.

Старик Луайе не ответил. Но он наклонил голову в знак одобрения. Он находил, что для скуфейника Гитрель достаточно умен.

XXI

Госпожа Вормс-Клавлен, раскрыв зонтик, шла в темноте, под дождем, твердой и решительной походкой, насколько не расслабленной провинциальными мостовыми,

как это обыкновенно бывает. Дверцы фиакра, ожидавшего у решетки парка Монсо, слегка приоткрылись, а затем широко распахнулись. И г-жа Вормс-Клавлен спокойно уселась в экипаже рядом с молодым правителем канцелярии, который спросил ее, как она поживает. На это она ответила:

— Как всегда, — хорошо.

И добавила:

— Ну, и погода!

Вода струилась по стеклам экипажа. Все шумы города тонули во влажном воздухе, и слышен был только легкий шорох водяных капель.

Когда звук колес сделался глуше, она спросила:

— Куда мы едем?

— Куда хотите.

— Мне все равно... Лучше по направлению к Нельи.

Отдав распоряжение кучеру, Морис Шейраль сказал супруге префекта:

— Рад вас уведомить, что о назначении аббата Гитреля (Иоахима) епископом в Туркуэне будет сообщено завтра в «Правительственном вестнике». Не хочу хвастать, но, уверяю вас, задача была не из легких. Нунций большой мастер на оттяжки. Эти люди необычайно инертны... Словом, дело сделано!

— Как хорошо! — ответила г-жа Вормс-Клавлен, — я убеждена, что вы оказали услугу республиканской прогрессивной партии и что умеренные будут удовлетворены новым епископом.

— Итак, вы довольны? — сказал Морис Шейраль. И после долгого молчания он продолжал:

— Знаете, я не спал всю ночь. Я думал о вас. Мне не терпелось вас увидеть.

Как ни странно, а он говорил правду: ожидание этого простого приключения взволновало его. Но говорил он шутливым тоном, растягивая фразы, так что казалось, будто он лжет. К тому же у него не было апломба и решительности.

Госпожа Вормс-Клавлен рассчитывала выйти из этого экипажа без ущерба. Она приняла серьезный и кроткий вид и сказала ласковым голосом:

— Благодарю вас, милый господин Шейраль.

Пожалуйста, остановите здесь экипаж. Привет матушке.

И она протянула ему руку, свою маленькую коротенькую руку, в очень грязной перчатке. Но он удержал ее. Самолюбие и чувственность сделали его настойчивым и нежным. Тогда она приготовилась к неизбежному.

— Я грязна, как барбос, — сказала она в тот момент, когда он уже предпринял действия, чтоб самому убедиться в этом.

Пока он шел к своей цели, несмотря на препятствия, сопряженные с местом и обстоятельствами, она вела себя просто, не нарушая хорошего тона. С превосходным тактом устранила все, что могло шокировать и походило на слишком затянувшееся сопротивление или на слишком быструю капитуляцию. А когда успехи Мориса стали ощутимы и неоспоримы, она воздержалась как от выражения иронического равнодушия, так и от активного содействия. Она была безупречна. Она, впрочем, не питала никакого неприязненного чувства к юному государственному деятелю, столь невинному, хотя и мнившему себя развратником; и она даже в душе пожалела о том, что недостаточно позаботилась о своем белье для такого случая. Она вообще обращала мало внимания на свое белье. Но в последние годы ее небрежность стала в самом деле недопустимой. Главная ее заслуга была в том, что она воздерживалась от всякой напыщенности и крайностей.

Достигнув поставленной цели, Морис внезапно стал спокоен, равнодушен и даже угрюм. Он заговорил о предметах, очень далеких от их теперешних отношений, и глядел сквозь стекло на мутные очертания улиц. Казалось, что фиакр катил по дну аквариума. Сквозь водяную завесу виднелись только газовые рожки, а местами стеклянные шары в аптечных витринах.

— Какой ливень! — вздохнула г-жа Вормс-Клавлен.

— Погода испортилась еще с неделю тому назад, — сказал Морис Шейраль. — Сплошная слякоть. А в ваших краях?

— Наш департамент самый дождливый во Франции, — отвечала г-жа Вормс-Клавлен с очаровательной ласковостью. — Но на песчаных аллеях в саду префек-

туры никогда не бывает грязи. А кроме того, мы, провинциалки, носим деревянные калоши.

— Представьте себе, — сказал Шейраль, — я совершенно не знаю вашего города.

— У нас прелестные места для прогулок, — отвечала г-жа Вормс-Клавлен, — и можно устраивать приятные поездки за город. Приезжайте к нам. Муж будет очень рад.

— Он доволен своим департаментом?

— Да, доволен. Дела у него идут хорошо.

Прильнув к стеклу, она в свою очередь пыталась что-либо рассмотреть сквозь густой мрак, пронизанный убегающими огнями.

— Где мы? — спросила она.

— Где-нибудь очень далеко, — ответил он с торопливой услужливостью. — Куда прикажете вас отвезти?

Она попросила сесть на остановке фиакаров. Морис не скрывал своего желания с ней расстаться.

— Мне необходимо заглянуть в палату депутатов, — сказал он, — я не знаю, что там сегодня творилось.

— А! — промолвила она. — Было заседание?

— Да, кажется, но ничего важного, — ответил Морис. — Повышение тарифов. Впрочем, никогда нельзя знать. Я заверну туда по дороге.

Они расстались с дружеской непринужденностью. Когда г-жа Вормс-Клавлен садилась в фиакар на бульваре Курсель, около укреплений, газетчики выкрикивали вечерний выпуск и мчались мимо нее с развернутыми газетами. Она разглядела огромный заголовок и прочла: «Падение министерства».

Госпожа Вормс-Клавлен с минуту следила взглядом за этими людьми и прислушивалась к голосам, терявшимся во влажном мраке. И она подумала о том, что если сегодня вечером Луайе действительно уведомил президента республики о своей отставке, то он, вероятно, не поместит в завтрашнем «Правительственном вестнике» сообщения о назначении епископов. Она подумала еще о том, что и министр внутренних дел также не упомянет о своих последних распоряжениях относительно ордена ее мужа и что она зря провела полчаса за синими занавесками фиакара. Не то чтобы она сожа-

лела о случившемся, но она не любила делать что-либо впустую.

— В Нельи, — сказала она кучеру, — бульвар Бино, монастырь сестер Крови Иисусовой.

И она в задумчивости одна уселась в карету. Выкрики газетчиков проникали сквозь стекла. Ей пришлось на ум, что известие в самом деле могло быть верным. Но газеты она тем не менее не купила, из недоверия и презрения ко всему, что печатается в прессе, и из своего рода самолюбия, чтобы не быть обманутой даже на одно су. Она размышляла о том, что, если министерство действительно пало в тот момент, когда она была так мила с его представителем, то это довольно разительный пример иронии судьбы и того коварства жизни, которое все время реет вокруг нас, подобно легкому дыханию. Она спрашивала себя, не знал ли правитель канцелярии уже у решетки парка Монсо новость, оглашаемую теперь газетными крикунами. При этом подозрении кровь прилила у нее к щекам, словно посягнули на ее целомудрие и обманули ее доверие. Ибо в таком случае выходило, что Морис Шейраль посмеялся над ней. А этого она допустить не могла. Но здравый смысл и деловой опыт привели ее к выводу, что незачем беспокоиться о том, что пишут в газетах. Она без тревоги думала об аббате Гитреле и была довольна, что способствовала по мере сил своих возведению этого превосходного священника на кафедру блаженного Лупа. В то же время она оправляла свой туалет, чтобы явиться в пристойном виде в приемную сестер Крови Иисусовой, у которых воспитывалась ее дочь.

На пустынных улицах низменного и сырого предместья Нельи туман был бледней и прозрачней. И под поредевшим дождем большие голые деревья возносили свои изящные и мощные очертания. Г-жа Вормс-Клавлен разглядела тополя и вспомнила о деревне, которую с каждым днем все больше и больше любила.

Она позвонила у решетчатых ворот, увенчанных каменным гербом с изображением сосуда, куда Иосиф Аримафейский собрал святую кровь Спасителя. По ее просьбе сестра-привратница послала за мадемуазель Клавлен. Супруга префекта вошла в светлую прием-

ную, обставленную стульями с волосяными сидениями. Там перед бело-голубой девой, разверзавшей благодатные руки, г-жа Вормс-Клавлен почувствовала, что ее охватывает глубокое и сладостное религиозное настроение. Чтобы стать христианкой, ей не хватало только крещения. Но она окрестила свою дочь и воспитывала ее в католической вере. Вместе с республикой она питала склонность к благочестию. В искреннем сердечном порыве опустилась она на колени перед доброй девой в лазоревом шарфе, к которой прибегали в своих нуждах светские дамы. С мистическим пылом, не нашедшим удволения в иудействе, она, перед этой Марией с разверстыми руками, возблагодарила провидение за блага, ниспосланные ей в жизни. Она благодарила бога за то, что, родившись среди монмартрской нищеты и в детстве истоптав продранными подошвами грязную мостовую внешних бульваров, она жила теперь в самом лучшем обществе, принадлежала к господствующему классу, принимала участие в управлении страной, и за то, что, обращаясь к чужой помощи (ведь жизнь трудна, и без помощи не обойдешься), она по крайней мере всегда имела дело только со светскими людьми.

— Здравствуй, мама!

Госпожа Вормс-Клавлен прежде всего подвела дочь к лампе, чтобы посмотреть ее зубы. С этого она всегда начинала. Затем она проверила, не бледны ли края век от малокровия, прямо ли держится дочка, не грызет ли ногтей. И только успокоившись на этот счет, она осведомилась о занятиях и поведении. В своих заботах она руководилась верным чутьем и отличным знанием жизни. Она была превосходной матерью.

И когда, наконец, задребезжал звонок, призывавший к вечерним занятиям, и надо было расстаться, г-жа Вормс-Клавлен извлекла из кармана коробочку с шоколадными лепешками. Коробочка была вся измята, раздавлена, перекошена и зверски сплюснута.

Мадемуазель Клавлен взяла ее и заметила с иронией:

— Она точно побывала в сражении, мама.

— Ужасная погода! — сказала г-жа Вормс-Клавлен, пожимая плечами.

В тот же день, после обеда, она нашла на столе в салоне family-house'a номер большой вечерней газеты, сообщения которой заслуживали доверия. Она узнала, что министерство не пало и даже не поколебалось. Правда, в начале заседания за него голосовало меньшинство, но всего лишь по вопросу о порядке дня. А затем по основному пункту оно получило большинство в сто пять голосов.

Она была рада и подумала о своем муже: «Люсьену будет приятно узнать, что Гитрель назначен епископом».

XXII

Отослав собственную карету, г-жа де Бонмон села в фиакр и велела ехать на улицу Европейского квартала, где в маленькой квартирке она предавалась своей любви с Рарà под громыхание ломовиков и свистки машин. Она предпочла бы сады, но любовь не всегда ютится под миртами, у журчащих ручейков. Проезжая по улицам, на которых в вечерних сумерках начинали зажигаться фонари, она грустно задумалась. Правда, Гитреля назначили епископом туркуэнским. Она была рада. Но радость эта не заполняла ее души. Рарà приводил ее в отчаяние своей мрачностью и свирепыми замыслами. Она не иначе как с трепетом отправлялась теперь на свидания, хотя некогда так страстно ждала их, нетерпеливо предвкушая сладостный час. От природы доверчивая и спокойная, она стала бояться и за него и за себя, бояться несчастья, катастрофы, скандала. Душевное состояние ее друга, и без того не блестящее, внезапно еще ухудшилось. После самоубийства полковника Анри * ее Рарà стал просто страшен. Испорченная кровь, словно серная кислота, развела его кожу, покрыв лоб, веки, щеки как бы налетом дыма, серы и огня. По каким-то тайным причинам, которых она не могла постигнуть, милый друг уже две недели не возвращался на свою квартиру против Мулен-Руж, где он официально проживал. Он распорядился направлять ему письма в квартирку на антресолях, снятую г-жой де Бонмон для других целей; там же он принимал посетителей.

Медленно, печально поднялась она по лестнице. Но на пороге в ее сердце прокралась надежда застать там прежнего, очаровательного Рарà первых дней их любви. Увы! Надежда обманула. Ее встретили горькими упреками:

— Зачем ты пришла? Ты тоже меня презираешь. Она запротестовала.

И в самом деле, она не презирала его, она восхищалась им всей своей душой, душой влюбленной козочки. Она прильнула к усам друга накрашенными, впрочем, свежими губами и, рыдая, поцеловала его. Но он оттолкнул ее и принялся бешено снова по обеим голубым комнатам.

Она бесшумно развязала свой пакетик с пирожными и спросила тусклым, безнадежным голосом:

— Хочешь бабу с вишневой настойкой, твою любимую?

И она протянула ему пирожное, держа его двумя липкими от сахара пальчиками.

Но, не глядя и не слушая, он продолжал свое однообразное яростное хождение.

Тогда она, с блестящими от слез глазами, с вздымающейся от вздохов грудью, приподняла густую черную вуалетку, прикрывавшую ей как маской верх лица, и от нечего делать принялась молча за шоколадный эклер.

Потом, не зная, что сказать, что предпринять, она достала из кармана футляр, только что взятый ею у ювелира, открыла его и, показывая Рарà лежавший там епископский перстень, робко сказала:

— Взгляни на перстень господина Гитреля. Правда, красивый камень? Это венгерский аметист. Как ты думаешь, господин Гитрель останется доволен?

— Плевать мне на него, — отвечал Рарà.

Огорчившись, она поставила футляр на туалетный столик.

Он же вернулся к своему обычному ходу мыслей и воскликнул:

— Как пить дать: уюкошу одного из них!

Она взглянула на него недоверчиво, зная, что он только собирается убить всех на свете и не убивает никого.

Он угадал ее мысли. Разразилась гроза.

— Я знал, что ты меня презираешь!

Он был готов побить ее. Она долго плакала. Парá смягчился и нарисовал ей ужасную картину своих денежных затруднений.

Она встревожилась, но не обещала крупной суммы, во-первых, потому, что не в ее принципах было давать деньги любовнику, и, во-вторых, из опасения, как бы он не уехал, если раздобудет нужные средства.

Она вышла из голубой квартирки в таком душевном смятении, что забыла аметистовый перстень на туалетном столике.

XXIII

— Вы занимаетесь, дорогой учитель? Я вам помешал? — спросил г-н Губен, входя в кабинет своего профессора.

— Нисколько, — отвечал г-н Бержере. — Я развлекался. Я переводил греческий текст александрийской эпохи, недавно найденный в Филах *, в одной из гробниц.

— Буду вам весьма обязан, если вы познакомите меня с вашим переводом, дорогой учитель, — сказал г-н Губен.

— С удовольствием, — отозвался г-н Бержере.

И он стал читать:

«О Геркулесе Атмосе.»

Профаны обычно приписывают одному и тому же Геркулесу подвиги, совершенные разными героями, носившими это имя. То, что Орфей сообщает нам о Геркулесе Фракийском, больше напоминает бога, чем героя. Я не буду на этом останавливаться. Тирийцы знают другого Геркулеса, совершившего, по их преданиям, подвиги, которые кажутся маловероятными. Менее известно то, что Алкмена произвела на свет двух близнецов, очень похожих друг на друга и носивших, оба имя Геркулеса. Один был сыном Юпитера, другой Амфитриона. Первый за свои заслуги удостоился пить за одним столом с богами из кубка Гебы, и мы считаем

его богом. Второй вовсе не был достоин похвал и потому прозван Геркулесом Атимосом¹.

То, что мне известно о нем, я почерпнул из рассказа одного элевсинского жителя, человека осмотрительного и мудрого, собравшего много старинных сказаний. Вот что мне поведал этот человек.

Геркулес Атимос, сын Амфитриона, возмужав, получил от отца лук и стрелы, изготовленные Вулканом и разившие насмерть людей и животных. Однажды, охотясь на склонах Киферона за перелетными журавлями, он повстречал волопаса, который сказал ему:

— Сын Амфитриона, какой-то недобрый человек крадет ежедневно несколько волов из нашего стада. Ты блещешь юностью и силой. Если тебе удастся настичь этого похитителя волов и поразить его твоими божественными стрелами, то ты удостоишься великих похвал. Но его нелегко догнать, ибо ноги его больше, чем у других людей, и очень быстрые.

Атимос обещал волопасу наказать разбойника и пошел своей дорогой. Углубившись в горные ущелья, он заметил вдали на тропинке человека, показавшегося ему злодеем. Решив, что это похититель волов, он убил его своими стрелами. Но пока свежая кровь этого человека еще стекала на дикие анемоны, Афина Паллада, светлокожая богиня, спустилась с Олимпа и предстала в горах перед Атимосом, который ее не узнал, так как она приняла образ престарелого слуги царя Амфитриона. И богиня обратилась к нему с такими словами:

— Божественный сын Амфитриона, тот, кого ты убил, не разбойник, не похититель волов. Это честный человек. Ты легко распознаешь виновного по следам его ног в пыли. Ибо ступни его длиннее, чем у других людей. Умерший жил праведно. Поэтому ты должен слезно умолять божественного Аполлона, чтобы он вернул ему жизнь. Аполлон не откажет тебе в твоей просьбе, если ты с мольбой будешь простирать к нему руки.

Но разгневанный Атимос отвечал:

¹ Презренным (*греч.*).

— Я наказал этого человека за его злодейство. Неужели ты думаешь, старец, что я лишен рассудка и бью куда попало? Замолчи, безумец, беги прочь! Или я заставлю тебя раскаяться в твоей дерзости.

Юные пастухи, игравшие со своими козами на склоне Киферона, услышали слова Атимоса и наградили его такими звонкими хвалами, что от них загудела гора и закачались древние сосны. А Афина Паллада, светлоокая богиня, снова вознеслась на снежный Олимп.

Между тем Атимос, продолжая путь, вскоре попал на след похитителя волов, а затем увидел и его самого. Он легко узнал его по следам на песке. Ибо следы эти были много больше, чем у прочих людей.

И герой рассудил про себя:

«Надо, чтоб этого человека признали невиновным: тогда все поверят, что я убил виновного, и слава моя загремит среди людей».

Рассудив так, он подозвал этого человека и сказал ему:

— Друг, уважаю тебя за то, что ты безупречен и питаешь праведные мысли.

И вынув из колчана одну из стрел, выкованных Вулканом, он дал ее человеку и торопливо проговорил:

— Возьми эту стрелу, сделанную Вулканом. Все, кто увидит ее в твоих руках, будут чтить тебя и думать, что ты удостоился дружбы героя.

Так он сказал. Злодей взял стрелу и удалился. А божественная Афина, светлоокая богиня, сошла со снежного Олимпа. Она приняла образ величавого пастуха и, подойдя к Атимосу, сказала ему:

— Сын Амфитриона, прощая этого виновного, ты вторично убил того невинного. И этот поступок не принесет тебе славы среди людей.

Но Атимос не узнал многочистимой богини и, приняв ее за пастуха, свирепо крикнул:

— Заячий хвост, винный бурдюк, собака, я вышибу из тебя дух!

И он занес над Афиной Палладой сделанный Вулканом деревянный лук, который был тверже железа».

— Конец утерян, — сказал г-н Бержере, кладя листы на стол.

— Жаль, — заметил г-н Губен.

— Действительно, жаль! — ответил г-н Бержере. — Я с удовольствием перевел этот греческий текст. Полезно иногда отвлечься от нашего времени.

XXIV

Уже начинались вечерние сумерки, когда г-жа де Бонмон со стесненным сердцем ехала в наемном экипаже повидаться с Рарà и забрать аметистовый перстень. Но ее тяготило предчувствие беды. Когда фиакр, миновав Европейский мост, остановился у дверей милого друга, г-жа де Бонмон увидела, что у входа черным-черно от шляп и сюртуков. Происходило какое-то движение, напоминавшее не то переезд на другую квартиру, не то похороны. Какие-то люди складывали в коляску папки и связки бумаг. Кто-то нес сверху небольшой чемодан, и г-жа де Бонмон узнала старый походный сундучок, полный гербовых бумаг, в который Рарà столько раз свирепо засовывал свою побагровевшую голову и мохнатые руки.

Она оледенела от ужаса, когда растрепанная привратница шепнула ей на ухо:

— Не входите! Бегите скорее! Там судья и комиссар с полицейскими. Они забрали бумаги вашего приятеля и везде наложили печати.

Экипаж умчал потрясенную г-жу де Бонмон. Но и тут, падая в бездну после крушения своей любви, она все же вспомнила:

«А перстень монсеньера Гитреля! Тоже опечатан...»

XXV

Уже три месяца говорили об этом. У г-на Бержере были в Париже друзья, которых он никогда не видел; такие друзья — самые надежные. Они действуют только по побуждениям духовного, высшего и абсолютного порядка, и когда они дают благоприятный отзыв, то

с этим считаются. Друзья г-на Бержере решили, что ему место в Париже. Стали думать о его переводе туда. Г-н Летерье сделал все, что от него зависело. И наконец это осуществилось.

Господину Бержере поручили курс в Сорбонне. Выйдя на улицу от декана Торке, уведомившего его в надлежащих выражениях о назначении, г-н Бержере увидал черепичные крыши, стены из пористого камня, столько раз им виденные, таз для бритья, раскачивающийся над дверью цирюльника, рыжую корову на вывеске молочника, маленького тритона, выплевывающего струю воды на повороте к предместью Жозд. И эти привычные предметы внезапно показались ему необычными. Ноги его вдруг отвыкли от мостовых, по которым он так часто и так долго ходил — то отяжелевшим шагом, когда был грустным или усталым, то более легкой поступью, когда думал о чем-нибудь приятном или забавном. Город, вздымавший в серое небо свои купола и колокольни, казался ему чужим городом, уже далеким, полуреальным, не столько городом, сколько миражем города. И этот мираж все сокращался. Люди и предметы представлялись ему далекими и маленькими. Почтальон, две хозяйки, протоколист суда, попавшиеся ему навстречу, прошли мимо него, словно на экране кинематографа, настолько казались они ему нереальными, живущими в какой-то другой жизни.

Поддавшись на несколько минут этим странным ощущениям, он опомнился, так как у него был рассудительный ум и дар самонаблюдения. В них он находил неиссякаемый источник удивления, иронии и жалости.

«Ну вот, — подумал он на этот раз, — город, где я прожил пятнадцать лет, вдруг показался мне чужим, потому что я собираюсь отсюда уехать. Более того: он как бы утратил для меня свою реальность. Он больше не существует, поскольку перестал быть моим городом. Он пустое видение. И причина в том, что находящиеся здесь многочисленные и существенные предметы интересовали меня лишь в той мере, в какой они меня касались. Как только я отдалился от них, они вышли из круга моего восприятия. Словом, этот многолюдный город, расположенный на холме у берега большой реки,

этот древний галльский *Oppidum*¹, эта колония, где римляне воздвигли цирк и капища, эта крепость, выдержавшая три памятных осады, служившая местопребыванием двух церковных соборов, некогда украшенная базиликой, — от которой уцелел склеп, — кафедральным собором, филиальной церковью, более чем шестнадцатью приходскими церквями, более чем шестьюдесятью часовнями, ратушей, рынком, больницей, дворцами, издревле включенная в королевские владения и ставшая столицей обширной провинции, так что еще поныне на фронтоне губернаторского дворца, превращенного в казарму, виднеется герб, окруженный эмблемами доблести и львами, — этот город, где имеются епископское подворье, филологический факультет, естественный факультет, суд первой инстанции, судебная палата, этот центр богатого департамента, — весь целиком я ставил в связь только с одним собой, населял одним собой и считал существующим только для меня одного. И если я уеду, он испарится. Я не подозревал, что мой разум доходит до такого безумия в своей субъективности. Не знаешь сам себя и можешь быть чудовищем, даже не подозревая этого».

Так анализировал себя г-н Бержере, обнаруживая примерную искренность. Проходя мимо церкви св. Экзюпера, он остановился под порталом с барельефами Страшного суда. Он всегда любил эти старинные повествовательные скульптуры, развлекался этими сказаниями, высеченными в камне. Особенно нравился ему некий дьявол с собачьей головой на плечах и человеческим лицом на сиденье. Дьявол этот тащил вереницу скованных друг с другом грешников, и оба его лица выражали истинное удовлетворение. Был там также монашек, которого ангел подтягивал за руки к небу, а черт тащил за ноги книзу. Все это очень нравилось г-ну Бержере, но никогда еще он не рассматривал с таким интересом эти изображения, как теперь, когда собирался расстаться с ними.

Он не мог оторвать от них глаз. Его умиляло это наивное представление о вселенной, выраженное масте-

¹ Укрепленный пункт, город (лат.).

рами, умершими более пятисот лет тому назад. Оно казалось ему очаровательным в своей нелепости. Он сожалел, что раньше не изучил его лучше и не присматривался к нему с достаточным интересом. Он подумал о том, что пройдет еще немного времени, и он уже больше не будет лицезреть портал со Страшным судом, который он видел позолоченным лучами солнца или поглубевшим от луны, ликующим при ярком летнем свете и потемневшим зимою.

Тут он почувствовал, что связан со всем этим невидимыми узами, которые не так легко порвать, и внезапно проникся глубоким благоговением к своему городу. Он обожал старые камни и старые деревья. Он свернул со своего пути на городской вал, чтобы взглянуть на огромный вяз, который особенно любил. Под ним он часто сживал летом на склоне дня. Прекрасное дерево, теперь лишенное листьев, обнаженное и черное, простирало под куполом неба свои могучие и изящные очертания. Г-н Бержере долго смотрел на него. Великан стоял спокойно — ни колыхания, ни шороха. Тайна его мирного существования погрузила в глубокие думы человека, собиравшегося начать новую жизнь.

Так г-н Бержере познал, что любил землю своей родины и город, где испытывал треволнения и вкушал тихие радости.

XXVI

Монсеньер Гитрель, епископ туркуэнский, обратился к президенту республики со следующим письмом, текст которого полностью был напечатан в «Религиозной неделе», в «Истине», в «Хоругви», в «Изысканиях» и в другой периодике епархии:

«Господин президент!

Прежде чем представить на ваше усмотрение справедливые жалобы и вполне обоснованные притязания, позвольте мне хотя бы на краткий миг усладить душу сознанием, что мы с вами совершенно согласны в одном пункте, который не может нас не объединять; разрешите мне, понимая те чувства, какие должны были вол-

новать вас в эти долгие дни испытания и утешения, присоединиться к вам в порыве патриотизма. О! как должно было стенать ваше сердце, когда кучка заблудших людей бросила оскорбление армии под предлогом защиты справедливости и правды, словно какая-либо правда и справедливость могут существовать в противовес общественному порядку и иерархии власти, установленной на земле самим господом богом. И какою радостью преисполнилось ваше сердце при зрелище нации, целиком, без различия партий, поднявшейся, дабы приветствовать нашу храбрую армию, армию Хлодвига *, Карла Великого и Людовика Святого, Готфрида Бульонского *, Жанны д'Арк и Баярда *, и, став на ее сторону, отомстить за нанесенные ей оскорбления! О, с каким удовлетворением вы созерцали бдительную мудрость нации, расстроившую козни спесивцев и злопыхателей!

Конечно, нельзя отрицать, что честь столь достойного поведения принадлежит всей Франции, но взор ваш, господин президент, слишком прозорлив, чтобы не усмотреть заслуг церкви и ее правоверных сынов, явившихся оплотом порядка и власти. Они были в первых рядах среди тех, кто с уважением и доверием приветствовал армию и ее вождей. И разве не там надлежало быть служителям того, кто избрал для себя имя «бога воинств» и кто тем самым — по яркому выражению Боссюэ — приобщил воинства к своей святости? А потому вы неизменно найдете в нас самую верную поддержку порядка и власти. Послушание, в коем мы не отказывали даже нашим царственным гонителям, неистошимо. Пускай же со своей стороны ваше правительство смотрит на нас дружественным взглядом и поступает так, чтобы послушание было нам приятно. Сердца наши ликуют, когда мы смотрим на эту военную машину, возбуждающую к нам уважение чужеземцев, и когда видим вас на вашем почетном посту в окружении блестящего генерального штаба, по примеру славного своей смелостью и добродетелями царя Саула, который приближал к своей особе храбрейших из воинов. «И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе» (I кн. Царств, XIV, 52).

О, как бы я хотел закончить это письмо тем, чем его начал, словами радости и удовлетворения, и как мне было бы приятно, господин президент, назвать ваше уважаемое имя, говоря о создании мирных отношений с церковью, подобно тому как я только что назвал его, говоря о победе, одержанной на наших глазах духом власти над духом раздора! Но, увы! Этому не суждено быть. Я вынужден указать вам на одно весьма печальное обстоятельство и огорчить вашу душу прискорбным зрелищем. На мне лежит неотвратимая обязанность напомнить вам о кровоточащей язве, которую необходимо исцелить. Я заинтересован в том, чтобы высказать вам горестные истины, а вы заинтересованы в том, чтобы их выслушать. Мой пасторский долг обязывает меня говорить. Удостоившись, по милости его святейшества, занять престол блаженного Лупа и стать преемником стольких святых проповедников и стольких бдительных пастырей, мог ли бы я считаться законным наследником их высоких деяний, если б не дерзнул их продолжать? «Другие трудились, а вы вошли в труд их» (Иоан. IV, 38). А потому мой слабый голос должен возвестись и дойти до вас. Вам также должно со вниманием внять моим словам, ибо затронутый мною предмет достоин размышлений главы государства: «Владыка помыслит то, что достойно владыки» (Исаия, XXXII, 8).

Но как приступить к этому вопросу без того, чтобы тотчас не впасть в глубокую скорбь? Как описать вам без слез положение монахов, коих я являюсь духовным главою? Ибо речь идет о них, господин президент. Какое душераздирающее зрелище представилось моим взорам, когда я прибыл в свою епархию! На пороге благочестивых учреждений, посвященных воспитанию детей, исцелению больных, призрению старцев, подготовке наших будущих священнослужителей, размышлению о таинствах, я увидел только озабоченные лица и горестные взгляды. Там, где некогда царили невинная радость и мирный труд, угнездилась теперь мрачная тревога. Вздохи воздымались к небу, и из всех уст вырывался крик отчаяния: «Кто призрит наших старцев и больных? Что станет с нашими малыми детьми? Где

нам молиться?» Так сокрушались у ног своего пастыря, целуя ему руки, монахи и монахини туркуэнского епископства, у которых отняли их достояние, то есть средства на содержание бедных, вдов и сирот, на пропитание клириков, на поддержку миссионеров. В столь трогательных жалобах выражали затворники свою скорбь перед угрозой разорения, ожидая, что агенты фиска, насильно ворвавшись в обители наших девственниц и в наши святилища, наложат печати на священные сосуды алтарей.

В такое состояние приведены наши религиозные общины благодаря применению законов о налоге на приращение и законов об абонементном налоге, если только назвать законами такие бессмысленные и преступные предписания. Эти слова, господин президент, не покажутся слишком резкими, если присмотреться к положению монахов, созданному грабительскими мероприятиями, которым предполагают придать силу закона. Достаточно минуты внимания, чтобы согласиться с моим мнением. Действительно, поскольку конгрегации подлежат общему обложению, то недопустимо облагать их другими налогами. Вот первая несправедливость, бросающаяся в глаза. Укажу еще и на другие. Но позвольте мне, господин президент, заявить уже по этому пункту столь же настоятельный, сколь почтительный протест. Я не облечен достаточными полномочиями, чтобы говорить от имени всей церкви. Однако я уверен, что не отклонюсь от истинной доктрины, если в качестве основного принципа права выставлю утверждение, что церковь не обязана платить налоги государству. Она согласна их платить, она платит по своей доброй воле, но платить не обязана. Древнее право, освобождающее ее от обложения, вытекает из ее суверенности, ибо суверен не платит. Она может всегда, в любой момент, когда ей заблагорассудится, потребовать восстановления этого права. Но отказаться от этой привилегии она принципиально не может, как не может отказаться от своих прав и своих обязанностей владыки. На деле она проявляет поразительную самоотверженность. Вот и все. Покончив с этими оговорками, вновь перехожу к дальнейшему изложению.

Конгрегации в финансовом отношении подлежат: во-первых, общему обложению, как я уже упоминал; во-вторых, налогу с неотчуждаемого имущества; в-третьих, четырехпроцентному налогу с доходов (законы 1880 и 1884 годов);

в-четвертых, налогу на приращение, чудовищные результаты которого пытались якобы исправить введением так называемого абонементного налога, каковой правительство взимает ежегодно по предположительной оценке с доли имущества, переходящей к конгрегации от умерших членов.

Правда, выказывая мнимую снисходительность, являющуюся, в сущности, утонченной несправедливостью и лицемерием, закон оговаривает, что странно-приимные и учебные заведения могут быть в силу их полезности освобождены от этих тягот, словно обители, где наши благочестивые девы молят господа простить прегрешения Франции и даровать прозрение слепым ее правителям, не столь же и даже не более полезны, чем пансионы и госпитали!

Вводя неравное обложение, стремились разбогачить интересы конгрегаций. Таким путем надеялись расшатать сопротивление. С той же целью установили годовой налог на движимое и недвижимое имущество в тридцать сантимов со ста франков для утвержденных конгрегаций, а для неутвержденных — в сорок сантимов, так что эти последние, не имея права владеть имуществом, обязаны тем не менее платить и даже платить больше других.

Резюмирую сказанное. К общему обложению, и без того тяжкому для наших конгрегаций, присоединяется еще налог с неотчуждаемого имущества, четырехпроцентный налог с доходов и так называемый налог на приращение, заменяемый абонементным налогом, но не к облегчению, а еще к большему отягощению. Разве это терпимо? Где во всем мире можно найти пример такого отвратительного грабежа? Нет, господин президент, вы должны согласиться, что нигде.

А потому, когда монахи моей епархии спросили меня, своего пастыря, как им поступить в том положении, до которого их довели, то мог ли я ответить им иными

словами, чем сказав: «Сопротивляйтесь! Ваше право и ваш долг — воспротивиться несправедливости. Сопротивляйтесь. Скажите: «Мы не можем. Non possumus».

Они на это решились, господин президент, и все наши конгрегации, как утвержденные, так и неутвержденные, воспитательные, больничные, предназначенные для нужд религиозного созерцания и для приюта духовных лиц или подготовляющие миссионеров для других стран, — все, несмотря на неравенство обложения, решились на единодушный отпор. Они поняли, что налог, которым в различной форме их облагают ваши так называемые законы, одинаково несправедлив и надо действовать совместно для общей защиты. Решение их непоколебимо. Сам его подготовив и поддерживая его, я убежден, что не нарушаю должного повиновения правителю и законам, каковое я всецело готов оказывать вам согласно требованиям религии и совести. Я убежден, что не подаю вам повода заподозрить меня в непризнании вашей власти, каковая может проявлять себя только в справедливых деяниях. «Вот царь будет царствовать по правде» (Исаия, XXXII, 1).

Его святейшее Лев XIII безоговорочно заявил в своей энциклике «*Diuturnum illud*», что верующие не обязаны подчиняться светским властям, когда те издают распоряжения, противоречащие естественному и божественному праву. «Если кто, — говорится в этом замечательном послании, — окажется перед альтернативой нарушить веления господина или повеления властителя, он должен последовать заветам Иисуса Христа и ответить по примеру апостолов: «Лучше повиноваться господу, чем людям». Поступая так, он не заслужит упрека в неповиновении, ибо властители, когда их воля противоречит воле и законам божества, превышают свою власть и грешат против справедливости. С этого момента их власть бессильна, ибо там, где она несправедлива, она не существует».

Поверьте, что только после долгих размышлений я решился поощрить монахов моей епархии к необходимому сопротивлению. Я отдал себе отчет в том, какие

мирские испытания могут выпасть на их долю. Это не установило меня. Когда мы скажем вашим мытарям: «Non possumus», вы попытаетесь сломить наше упорство силой. Но как вы это сделаете? Опишете имущество утвержденных конгрегаций? Дерзните ли? Неутвержденных? — Сможете ли!

Хватит ли у вас прискорбного мужества продать наш домашний скарб и церковную утварь? А если тем не менее ни скудость первого, ни святость второй не уберегут их от вашей алчности, то да будет вам ведомо и да будет ведомо женам и детям ваших пособников, что такая продажа повлечет за собой отлучение, ужасные последствия коего устрашают даже самых законренелых грешников. И да будет ведомо тем, кто решится покупать что-либо на этой незаконной распродаже, что и они подвергнутся той же каре.

И даже если у нас отберут наше имущество, если нас выгонят из наших обиталищ, то не мы, а вы понесете от этого ущерб, ибо опозорите себя неслыханным поступком. Бы можете подвергнуть нас самым жестоким утеснениям. Никакая угроза нас не оставит. Мы не страшимся ни узилища, ни оков. Ведь своими руками, закованными в цепи, наши первосвященники и исповедники освободили церковь. Что бы ни случилось, мы платить не будем. Мы не должны, мы не можем. Non possumus.

Прежде чем дело дойдет до такой крайности, я счел своим долгом, господин президент, ознакомить вас со всеми обстоятельствами в надежде, что вы рассмотрите их с тем искренним рвением и с той душевной твердостью, которые ниспосылает господь всем, кто на него уповает из сильных мира сего. Да поможет он вам отвратить невыносимое зло, которое я вам обрисовал! Да будет угодно богу, господин президент, да будет угодно богу, чтобы, расследуя несправедливость казны в отношении наших схимников, вы судили по собственному разумению, а не под влиянием ваших советчиков! Ибо, если верховенствующий и выслушивает чьи-либо мнения, то руководствоваться он должен лишь своим собственным. Согласно мудрому слову Соломона: «Помыслы в сердце человека — глубокие воды» (Книга

притчей Соломоновых, XX, 5). Благоволите принять, господин президент, выражение глубочайшего почтения.

Иоаким,
епископ туркуэнский».

Письмо его преосвященства епископа туркуэнского было опубликовано 14 января.

Тридцатого того же месяца агентство Гавас поместило в газетах следующую информацию:

«Совет министров заседал вчера в Елисейском дворце.

Постановлено: уполномочить министра культов войти в государственный совет с представлением касательно превышения власти монсеньером Гитрелем, епископом туркуэнским, по поводу его письма к президенту республики».

ГОСПОДИН БЕРЖЕРЕ
В ПАРИЖЕ

Перевод *Г. И. Ярхо*
под редакцией *В. А. Дынный*

I

Господин Бержере сидел в столовой за своим неприхотливым ужином; Рике лежал у его ног на вышитой подушке. Душа у Рике была благочестивая, и он оказывал человеку божеские почести. Он считал своего хозяина в высшей степени добрым и великим. Но особенно осознавал он могущество этой доброты и этого величия, когда видел г-на Бержере за столом. Если всякая пища казалась ему достойной внимания и ценной, то человеческую пищу он считал царственной. Столовую он чтил как храм, а обеденный стол как алтарь. Во время трапез он безмолвно и неподвижно занимал свое место у ног хозяина.

— Вот молоденькая курочка, — сказала старая Анжелика, подавая блюдо к столу.

— Очень хорошо! Пожалуйста, разрежьте, — попросил г-н Бержере, плохо справлявшийся с застольным оружием и совершенно неспособный исполнять обязанности столбника.

— Охотно, — сказала Анжелика, — но разрезать птицу — это не женское, а мужское дело.

— Я не умею.

— А следовало бы, сударь.

Такой обмен репликами не был новостью; он повторялся всякий раз, как жареная птица появлялась на столе. Не по забывчивости и, конечно, уж не по лени

предлагала она хозяину поварской нож, а как знак должного почета. В крестьянской среде, из которой она происходила, и в среде мелкой буржуазии, где ей доводилось служить, полагалось по обычаю разрезать жаркое самому хозяину. Уважение к традициям крепко укоренилось в ее преданной душе. Она с неодобрением относилась к тому, чтобы г-н Бержере их нарушал, перелагая на нее почетные функции, и за столом уклонялся от выполнения того, что являлось его долгом, раз уж он не был таким важным вельможей, как герцог де Бресе, Бонмоны и другие городские господа и помещики, пользовавшиеся услугами дворецкого. Она знала, к чему почтенного буржуа обязывает его честь, и старалась при всяком случае вернуть г-на Бержере к исполнению его обязанностей хозяина.

— Нож сейчас наточен. Совсем нетрудно, сударь, отрезать крылышко, когда цыпленок такой нежный. Надо только нащупать сустав.

— Анжелика, пожалуйста, разрежьте эту птицу.

Она с сожалением повиновалась и, немного смущенная, отправилась разрезать курицу на углу буфета. В отношении человеческой пищи ее воззрения были более точны, но не менее почтительны, чем воззрения Рике.

Тем временем г-н Бержере мысленно обсуждал причины предрассудка, побуждавшего эту славную женщину верить, что право разделять на части мясо принадлежит исключительно главе семьи. Он не приписывал этих причин обходительности и благожелательству мужчин, принимающих на себя утомительный и непривлекательный труд. Действительно, можно отметить, что самые тяжелые и неприятные домашние работы возлагались искони на женщин по единодушному согласию всех народов. Напротив, он связывал обычай, охраняемый старой Анжеликой, с древним представлением, согласно которому мясо животных, приготовленное в пищу человеку, является столь драгоценным, что только глава семьи может и должен разрезать его и распределять. И он вспомнил «о свинопасе богоравном», Эвмее *, принимавшем в своем хлеву Улисса, которого он не узнал, но которому оказал все почести как гостю, посланному Зевсом. «Эвмей приподнялся, дабы оделить

всех пищею, так как обладал справедливой душой. Он разделил все на семь частей. Одну сохранил для нимф и Эвмея, сына Майи *, остальные же роздал каждому из сотрапезников. А дабы почтить гостя своего, он предложил ему всю хребтовую часть свињи. Хитроумный Одиссей, очень довольный этим, сказал: «Эвмей! Да будет к тебе навеки многомилостив прародитель Зевс за то, что почтил ты меня, каков я есть, лучшим куском!» И подле этой старой служанки, дщери кормилицы-земли, г-н Бержере почувствовал себя перенесенным в античные времена.

— Пожалуйста, сударь.

Но г-н Бержере не обладал, подобно божественному Улиссу и гомеровским царям, героическим аппетитом. За обедом он читал газету, лежавшую перед ним на столе. Эту повадку служанка тоже не одобряла.

— Рике, хочешь цыпленка? — спросил г-н Бержере. — Великолепная штука.

Рике не ответил. Когда он пребывал под столом, он никогда не просил пищи. Как бы приятен ни был аромат блюд, он никогда не требовал своей доли. Он даже не осмеливался притронуться к тому, что ему предлагали. Он отказывался столоваться в столовой для людей. Г-н Бержере по своей сердечности и отзывчивости охотно разделил бы трапезу со своим сотоварищем. Сперва он пытался подсунуть ему несколько маленьких кусочков. Он обращался к нему приветливо, но тем тоном превосходства, который нередко сопутствует благодеяниям. Он говорил ему: «Лазарь *, возьми крохи со стола доброго богача, так как для тебя по крайней мере я добрый богач».

Но Рике постоянно отказывался: Величие места пугало его. А может статься, он в прошлом получил урок, научивший его уважать пищу господина.

Однажды профессор Бержере проявил больше настойчивости, чем обыкновенно. Он долго держал перед носом своего приятеля кусок превосходнейшего мяса. Рике отвернулся и, выйдя из-под скатерти, поглядел на хозяина своими прекрасными, смиренными, полными кротости и упрека глазами, которые говорили: «Господин, зачем искушаешь меня?»

И, опустив хвост, подогнув лапы, ползя на животе в знак самоуничужения, он печально удалился к двери. Там он просидел до конца трапезы. И г-н Бержере восхищался святым терпением своего маленького черного друга.

Таким образом он был осведомлен о чувствах Рике. Вот почему он на этот раз и не стал настаивать. Ему, впрочем, было небезызвестно, что Рике после обеда, на котором он почтительно присутствовал, отправится в кухню, чтобы там под раковиной с жадностью проглотить овсянку, пыхтя и посапывая в свое удовольствие. Успокоившись на этот счет, г-н Бержере вернулся к прежнему ходу мыслей.

«Еда, — размышлял он, — была немаловажным делом для героев: Гомер не преминул нам рассказать о том, что во дворце златовласого Менелая Этеон, сын Боэта, разрезал мясо и делил его. Достоин похвал был тот царь, за столом которого всякий получал справедливую долю жаркого. Менелай чтит обычай. Бело-рукая Елена стряпала со своими прислужницами. И Этеон многочтимый разрезал мясо. Величие этого благородного занятия сияет и поныне на бритых физиономиях наших метрдетелей. Нас связывают с прошлым глубокие корни. Но у меня нет аппетита, я плохой едок. И это тоже ставит мне в вину Анжелика Борниш, первобытная женщина. Она уважала бы меня больше, если бы я обладал прожорливостью какого-нибудь Атрида * или Бурбона».

Господин Бержере дошел до этого места в своих рассуждениях, когда Рике, вскочив с подушки, с лаем кинулся к дверям.

Поступок его был достоин внимания, ибо был необычен. Собака никогда не покидала подушки, прежде чем хозяин не вставал со стула.

Рике уже лаял несколько мгновений, когда старая Анжелика, просунув в приоткрытую дверь расстроенное лицо, объявила, что «барышни» приехали. Г-н Бержере понял, что она говорила о сестре его Зое и дочери Полине, которых он не ждал так рано. Но ему было известно, что Зоя всегда действовала решительно и внезапно. Он встал из-за стола. Между тем при звуке ша-

гов, раздававшихся теперь в коридоре, Рике поднял тревогу отчаянным лаем. Врожденная осторожность дикаря, не поддавшаяся мягкому воспитанию, побуждала его видеть врага во всяком постороннем лице. Он уже чуял великую опасность, страшное вторжение в столовую, угрозу разгрома и опустошения.

Полина бросилась на шею к отцу. Г-н Бержере, не выпуская салфетки из рук, поцеловал дочь, затем несколько отступил, чтобы разглядеть эту молодую девушку, таинственную, как все молодые девушки, которую он не узнавал после года разлуки, которая представлялась ему одновременно очень близкой и очень чуждой, была с ним связана незримыми нитями родства и ускользала от него благодаря искрящейся силе своей молодости.

— Здравствуй, папа!

Голос — и тот изменился, звучал не так высоко и более ровно.

— Как ты выросла, дочка!

Она казалась ему премоилой: тонкий носик, умные глаза, насмешливый рот. Он испытал удовольствие. Но удовольствие это тотчас же было испорчено мыслью, что на земле нет покоя и молодые существа в поисках счастья пускаются в неверные и трудные предприятия. Он торопливо поцеловал Зою в обе щеки.

— А ты, милая Зоя, совсем не изменилась... Я не ждал вас сегодня. Но я так рад, что опять вижу вас обеих.

Рике недоумевал, почему хозяин оказывает такой радужный прием этим чужакам. Он скорее понял бы, если б тот силой выгнал их из дому, но он уже привык не понимать многого в поведении людей. Предоставив г-ну Бержере поступать как ему угодно, Рике выполнял свой долг. Он лаял изо всей мочи, чтобы прогнать лиходеев. Затем он принялся испускать из глубины глотки рычание, полное ненависти и гнева. Безобразно ощерившись, он скалил белые зубы и, пятясь, угрожал недругам.

— У тебя собака, папа? — заметила Полина.

— Вы должны были приехать только в субботу, — сказал г-н Бержере.

— Ты получил мое письмо? — спросила Зоя.
— Да, — ответил г-н Бержере.
— Нет, второе?
— Я получил только одно.
— Здесь такой шум, что ничего не слышно.
Действительно, Рике заливался вовсю.
— Сколько пыли на буфете! — сказала Зоя, кладя на него муфту. — Неужели твоя служанка совсем не убирает?

Рике не стерпел такого покушения на буфет. Питал ли он особое нерасположение к мадемуазель Зое, или считал ее главной персоной, но его лай и рычание были преимущественно направлены против нее. Когда он увидел, что она прикоснулась рукой к хранилищу человеческой пищи, он залаял с такой пронзительностью, что стаканы зазвенели на столе. Мадемуазель Зоя, порывисто повернувшись к нему, произнесла иронически:

— Уж не хочешь ли ты меня съесть?

Рике отбежал в испуге.

— Папа, твоя собака злая?

— Нет. Она умная и не злая.

— Не думаю, чтобы она была умна.

— Однако это так. Она не понимает всех наших мыслей, но и мы не понимаем всех ее мыслей. Души непроницаемы друг для друга.

— Ты, Люсьен, плохо разбираешься в людях, — возразила Зоя.

Господин Бержере обратился к Полине:

— Ну-ка, дай мне на тебя посмотреть. Я тебя совсем не узнаю.

Рике осенила мысль. Он решил разыскать в кухне добрую Анжелику и предупредить ее о бесчинствах, творящихся в столовой. Только на нее надеялся он теперь, чтоб восстановить порядок и прогнать вторгшегося врага.

— Куда ты повесил портрет отца? — спросила мадемуазель Зоя.

— Садитесь и кушайте, — сказал г-н Бержере. — Есть цыпленок и разные другие блюда.

— Папа, правда ли, что мы переезжаем в Париж?

— В будущем месяце, дочка. Ты рада?

— Да, папа. Но я охотно жила бы и за городом, будь у меня там сад.

Она перестала есть цыпленка и сказала:

— Папа, я восхищаюсь тобой. Я горжусь тобой. Ты великий человек.

— Так думает и собачка Рике, — ответил г-н Бержере.

II

Обстановку профессора упаковали под наблюдением мадемуазель Зои и отправили на станцию железной дороги.

В дни переезда Рике грустно бродил по пустой квартире. Он недоверчиво поглядывал на Полину и Зою, появление которых предшествовало лишь на несколько дней разгрому некогда столь мирного жилища. Слезы старой Анжелики, плакавшей в кухне по целым дням, еще усугубляли его грусть. Самые любимые его привычки были нарушены. Незнакомые, плохо одетые люди, бранчливые и суровые, нарушали его покой и вторгались даже в кухню, где толкали ногами его миску с овсянкой и плошку со свежей водой. У него отнимали стулья один за другим, едва только он успевал на них лечь, и неожиданно выдергивали из-под его злополучного зада ковры, так что он уже не знал, куда деваться в своем собственном доме.

Скажем к его чести, что он сперва пытался оказать сопротивление. Когда выносили кадку, он обляя врагов самым свирепым образом. Но никто не подоспел на его призыв. Он не чувствовал поддержки ни с чьей стороны, и даже, по всей видимости, его самого преследовали. Мадемуазель Зоя сухо сказала ему: «Замолчи же наконец». А мадемуазель Полина добавила: «Рике, ты смешон».

Отказавшись с тех пор от бесполезных предостережений и от борьбы в одиночку за общее благо, он молча сокрушался о разорении дома и бродил из комнаты в комнату, тщетно ища хотя бы капли покоя. Когда перевозчики проникли в помещение, куда он забирался, он осмотрительно прятался под стол или под комод,

которых еще не успели вывезти. Но эта предосторожность приносила ему больше вреда, чем пользы, так как мебель над ним вскоре начинала колебаться, подниматься, падала обратно с грохотом и грозила его раздавить. Он убегал в полной растерянности, ошетиная шерсть, и отыскивал другое убежище, столь же ненадежное, как и первое.

Но все эти неудобства и даже опасности были ничто по сравнению с муками его сердца. Сильнее всего в нем было задето то, что мы называем духом. Мебель в квартире представлялась ему не безжизненными предметами, но живыми и доброжелательными существами, благосклонными гениями, отсутствие которых предвещало жестокие беды. Все кухонные божества: блюда, сахарницы, сковородки, кастрюли; все идолы домашнего очага, его лары и пенаты; кресла, ковры, подушки — все исчезло. Он представить себе не мог, чтобы удалось когда-либо исправить такое огромное бедствие. И это приносило ему столько горя, сколько могла вместить его маленькая душа. По счастью, проходя на человеческую душу, она легко отвлекалась и быстро забывала страдания. Во время продолжительных отлучек беспокорных перевозчиков, когда метла старой Анжелики вздымала древнюю пыль паркета, Рике вдыхал мышинный запах, следил за бегом паука, и это развлекало его легковесную мысль. Но вскоре он снова впадал в грусть.

В день отъезда, когда положение час от часу все ухудшалось, он пришел в отчаяние. Особенно зловещим показалось ему то, что в темные сундуки укладывали белье. Полина весело и усердно упаковывала свою корзину. Он отвернулся от нее, словно она творила дурное дело. И, прижавшись в угол, подумал: «Вот самое худшее! Это конец всего!» Потому ли, что он считал существующим только то, на что он смотрел, или потому, что попросту избегал тягостного зрелища, но он отводил глаза от Полины. Судьбе было угодно, чтобы Полина, расхаживая взад и вперед, заметила позу Рике. Эта поза, явно печальная, показалась ей комичной, и она рассмеялась. При этом она позвала: «Сюда, Рике! Пойди сюда!» Но он не вышел из своего угла и не повернул головы. В эту минуту ему было не до того,

чтобы приласкаться к своей молодой хозяйке, и, руководимый каким-то скрытым инстинктом, каким-то предчувствием, он боялся приблизиться к зияющей корзине. Полина позвала его несколько раз. А так как он не откликался, то она подошла к нему и взяла его на руки: «Ах, какие мы несчастные! какие жалкие!» — сказала она. Тон у нее был иронический. Рике не любил иронии. Мрачно и неподвижно лежал он на руках у Полины и притворялся, будто ничего не видит и не слышит. «Рике, взгляни на меня!» Трижды повторила она это приказание, и все напрасно. Тогда, притворившись сильно рассерженной, она воскликнула: «Исчезни, глупое животное!» и, швырнув его в корзину, захлопнула над ним крышку. В этот момент тетка позвала ее, и Полина вышла из комнаты, оставив Рике в его узилище.

Его охватило ужасное беспокойство. Он был далек от мысли, что его посадили в корзину по веселой прихоти и ради шутки. Считая свое положение и без того достаточно опасным, он старался не ухудшать его какими-либо неосмотрительными поступками. А потому он несколько мгновений оставался неподвижен, затаив дыхание. Затем, не усматривая никакой новой невзгоды, он счел нужным обследовать свою темную тюрьму. Он ощупал лапками юбки и сорочки, на которые низвергся таким плачевным образом, и стал искать лазейку, чтобы выбраться оттуда. Он уже в течение двух-трех минут пытался это сделать, когда г-н Бержере, собиравшийся выйти из дому, позвал его:

— Рике! Рике! Поди сюда. Нам надо проститься с книгопродавцем Пайо... Рике, где же ты?

Голос г-на Бержере сразу же ободрил его. В ответ он принялся шумно и неистово скрести когтями ивовую стенку корзины.

— Где же собака? — спросил г-н Бержере у Полины, возвращавшейся со стопкой белья.

— Она в корзине, папа.

— Почему она там?

— Потому что я ее туда упрятала.

Господин Бержере приблизился к корзине и сказал:

— Так и ребенок Комат, который играл на флейте, сторожа овец своего господина, был заключен в лукошко.

Пчелы Муз кормили его там медом. Но ты, Рике, умер бы с голоду в этом лукошке, ибо ты не дорог бессмертным Музам.

С этими словами г-н Бержере освободил своего друга. Рике сопутствовал ему до передней, виляя хвостом. Тут его осенила мысль. Он вернулся в квартиру, бросился к Полине и, стоя на задних лапах, прижался к ее юбкам. И только после того как он суетливо приластался к ней, нагнал он своего хозяина на лестнице. Он уклонился бы, по его мнению, от правил мудрости и религии, если бы не выразил своего обожания особе, могущество которой повергло его в глубокую корзину.

Господину Бержере лавка Пайо показалась жалкой и безобразной. Пайо был занят с приказчиком «оформлением» заказов коммунальной школы. Это помешало ему проститься с профессором надлежащим образом. Он никогда не был экспансивен, а с годами мало-помалу утрачивал дар речи. Ему надоело торговать книгами, он считал дело гиблым и торопился поскорей покончить со своей лавкой, чтобы переселиться в загородный домик, где он проводил воскресные дни.

Господин Бержере по обыкновению забрался в букинистический угол и снял с полки XXXVIII том «Всеобщей истории путешествий». Книга на этот раз опять раскрылась на страницах 212-й и 213-й, и на этот раз он опять прочел:

«...искать проход на север. «Именно этой неудаче, — сказал он, — мы обязаны тем, что имели возможность вновь посетить Сандвичевы острова и обогатить путешествие открытием, которое, хотя и было по времени последним, по-видимому, во многих отношениях окажется наиболее значительным из открытий, до сих пор сделанных европейцами на всем протяжении Тихого океана». Счастливым предположениям, о которых, казалось, возвещали эти слова, к сожалению, не суждено было осуществиться».

В сотый раз он перечитывал эти строки, напоминавшие ему столько часов его неприглядной и многотрудной жизни, скрашенной, впрочем, богатой работой мысли, — строки, смысла которых он никогда не доискивался; но на этот раз они вызвали в нем тоску и уныние,

словно заключали в себе символ тщеты всех наших чаяний и выражение ничтожества всего сущего. Он закрыл книгу, которую столько раз открывал, а отныне уж никогда больше не должен был открыть, и печально вышел из лавки книгопродавца Пайо.

На площади св. Экзюпера он в последний раз окинул взглядом «дом королевы Маргариты». Лучи заходящего солнца скользили по его изукрашенным балкам, и в резкой игре света и тени гордо красовался геральдический щит Филиппа Трикульера с великолепным гербом, красноречивой эмблемой, выставленной как бы в укор и поучение этому бесплодному городу.

Вернувшись в пустынную квартиру, Рике погладил лапками ноги хозяина, поднял на него взгляд своих прекрасных печальных глаз, и взгляд этот говорил: «Ты, недавно еще столь богатый и могущественный, неужели ты обеднел? Неужели, о господин мой, ты обессилел? Ты позволяешь людям в жалких лохмотьях вторгаться в твою гостиную, в твою спальню, в твою столовую, набрасываться на твою мебель и вытаскивать ее оттуда, вытаскивать на лестницу твое глубокое кресло, наше с тобой кресло, где мы отдыхали друг подле друга каждый вечер, а зачастую и утром. Я слышал, как стонало в руках оборванцев это кресло, этот великий фетиш и добрый дух. Ты не препятствовал разорителям. Если тебя покинули гении, наполнявшие твой дом, если ты лишился тех маленьких божеств, что ты надевал по утрам, выходя из постели, этих туфель, которые я ласково покусывал, если ты убог и несчастен, то что же, о господин мой, станется тогда со мною!»

— Люсьен, нам надо торопиться, — сказала Зоя. — Поезд отходит в восемь, а мы еще не обедали. Придется пообедать на вокзале.

— Завтра ты будешь в Париже, — сказал г-н Бержере своему другу Рике. — Это знаменитый и великодушный город. Его великодушие, по правде говоря, не проявляется всеми жителями. Напротив, им обладает лишь незначительное число горожан. Но целый город, целая нация олицетворены несколькими лицами, мысли которых отличаются силой и справедливостью. Осталь-

ные в счет не идут. То, что именуется гением нации, сосредоточено в крохотном меньшинстве. Они редки повсюду, эти умы, достаточно независимые, чтобы отбросить пошлые страхи и обнажить скрытое лицо истины.

III

По приезде в Париж г-н Бержере поселился с сестрой Зоей и дочерью Полиной в доме, который подлежал сносу и пришелся ему по душе, поскольку он достоверно знал, что не останется там долго. Но он еще не знал, что ему при всех обстоятельствах предстояло покинуть дом сразу по истечении первого квартального срока, ибо так решила про себя мадемуазель Бержере. Она сняла это помещение только для того, чтобы на досуге найти более удобное, и противилась каким-либо тратам на отделку временной квартиры.

То был дом на улице Сены, которому минуло добрых сто лет, который и всегда был некрасив, а под старость стал совсем безобразен. Ворота между мастерской сапожника и конторой упаковщика вели на сырой, неприглядный двор. Г-н Бержере жил на третьем этаже, и его соседом по площадке лестницы был реставратор картин. Когда дверь реставратора приоткрывалась, то можно было видеть маленькие полотна без рамок, висевшие вокруг фаянсовой печи, пейзажи, старинные портреты и спящую красавицу с янтарным телом, возлежащую в тенистой роще под изумрудным небом. Деревянная лестница, выложенная кафельными плитками на поворотах, была довольно светлая и в углах покрыта паутиной. По утрам там валялись листья салата, выроненные из сеток хозяйками. Все это не очаровывало г-на Бержере, Тем не менее ему было грустно при мысли, что и эти предметы умрут для него, как умерли многие другие, сами по себе не ценные, но составлявшие своим чередованием ткань его жизни.

Каждый день после работы он отправлялся на поиски квартиры. Он предпочел бы остаться на левом берегу Сены, где жил когда-то его отец и где все, казалось, дышало мирной жизнью и серьезными занятиями. Осо-

бенно затрудняло его поиски плачевное состояние вновь пролагаемых улиц с их глубокими траншеями и буграми, а также непригодных для хождения и навеки обезображенных набережных. Действительно, как известно, тогда, в 1899 году, весь Париж был перевернут вверх дном, потому ли, что новые условия потребовали производства обширных работ, или потому, что предстоявшее в ближайшем времени открытие Всемирной выставки * сразу пробудило у всех чрезмерную активность и внезапный прилив предприимчивости. Г-на Бержере огорчал этот сумбур, необходимость которого он не вполне улавливал. Но, будучи мудрым, он пытался утешить себя и ободрить размышлениями, и, когда он проходил по своей прекрасной набережной Малакэ, так нещадно разгромленной безжалостными инженерами, он, скорбя о выкорчеванных деревьях, об изгнанных букинистах, думал не без некоторого душевного величия:

«Я лишился своих друзей, и все, что мне нравилось в этом городе, его покой, его грация и красота, его изысканная старина, его благородный исторический облик — все это насильственно сметено. Тем не менее разум должен восторжествовать над чувством. Незачем цепляться за тщетные сожаления о прошлом и скорбеть о досаждающих нам переменах, ибо перемены — основа жизни. Может статься, такая ломка необходима, и, может статься, этот город должен утратить свою традиционную красоту, дабы существование большинства его обитателей стало менее тягостным и суровым».

И г-н Бержере, наблюдая вместе с зеваками-мальчишками из пекарни и равнодушными полицейскими, как землекопы рыли почву на прославленном берегу, продолжал говорить сам с собой:

«Я вижу здесь эскиз будущего города; самые высокие здания пока отмечены только глубокими ямами; эти ямы заставляют поверхностных людей думать, что рабочие, строящие город, который нам не суждено увидеть, роют пропасти, тогда как на самом деле они, быть может, воздвигают обитель благоденствия, приют мира и радости».

Таким образом, г-н Бержере в силу своей доброжелательной натуры сочувственно относился к работе по сооружению идеального города. Труднее было г-ну Бержере приспособиться к работам в реальном городе, так как ему грозила в каждом шагу опасность провалиться по рассеянности в какую-нибудь дыру.

Он продолжал искать квартиру, но руководился при этом игрой своей фантазии. Особенно привлекала его улица Жи-ле-Кер. Иногда он обнаруживал там объявление о сдаче внаймы, помещенное рядышком с маскаронном на замковом камне, над дверью, за которой виднелась лестничная площадка и кованые железные перила. В сопровождении грязной привратницы он взбирался по ступенькам смрадной лестницы, пропитанной крысиным зловонием, накопленным веками, и согретой на каждом этаже испарениями из нищенских кухонь. Мной раз переплетные и картонажные мастерские примешивали ко всему этому ужасающий запах испорченного клея. И г-н Бержере удалялся оттуда печальный и обескураженный.

Возвращаясь домой, он сообщал за обедом сестре Зое и дочери Полине о плачевных результатах своих поисков. Мадемуазель Зоя слушала его совершенно безучастно. Она твердо решила искать сама. Своего брата она считала человеком высшего порядка, но неспособным ни на какую разумную мысль в практической жизни.

— Я смотрел одну квартиру на набережной Конти. Не знаю, что вы обе о ней скажете. Из окон виден двор с колодцем, плющом и замшелой, искалеченной статуей Флоры, хотя и безголовой, но продолжающей плести гирлянду из роз. Я посетил также небольшое помещение на улице Шез; из него виден сад с громадной липой, которая будет влезать своими ветками в окно моего кабинета, когда распускаются листья. Полина получит большую комнату, и от нее самой будет зависеть сделать ее очаровательной при помощи нескольких метров кртона в цветочках.

— А моя комната? — спросила мадемуазель Зоя. — Ты никогда не заботаешься о моей комнате. Впрочем...

Она не договорила, так как сообщениям брата не придавала никакой цены.

— Быть может, нам придется поселиться в новом доме, — сказал г-н Бержере, отличавшийся благоразумием и привыкший подчинять свои желания рас-судку.

— Боюсь, что так, папа, — отвечала Полина. — Но будь спокоен, мы найдем для тебя дерево, которое будет смотреть к тебе в окно. Обещаю тебе.

Она благодушно следила за ходом его поисков, без какой-либо личной заинтересованности, как всякая молодая девушка, не пугающаяся перемены, смутно сознающая, что судьба ее еще не определилась, и живущая как бы в ожидании чего-то.

— Новые дома оборудованы лучше старых, — продолжал г-н Бержере. — Но я их не люблю, может быть потому, что, глядя на их расчетливую роскошь, яснее чувствую, как тривиальна жизнь при ограниченных средствах. Не скажу, чтобы мой скудный бюджет меня особенно огорчал, даже из-за вас. Но мне претят банальность и пошлость. Вам это, вероятно, покажется бессмысленным.

— О нет, папа.

— В новых домах меня коробит однообразное рас-положение и слишком явное членение квартир, бросаю-щееся в глаза даже снаружи. Уже давно горожане жи-вут друг на друге. И так как твоя тетка и слышать не хочет о домике в пригороде, то я готов согласиться и на четвертый или пятый этаж, но все же с болью в сердце отказываюсь от старых домов. Благодаря их разнообразной структуре скученность становится не такой невы-носимой. Проходя по какой-нибудь новой улице, я постоянно ловлю, себя на мысли, что нагромождение семейных очагов в современных зданиях отличается просто смешным однообразием. Эти крохотные столовые, устроенные одна над другой, с их одинаковыми окнами и медными висячими лампами, зажигающимися одно-временно, эти карликовые кухни с грязнейшими слу-жанками и с висячими шкафчиками для провизии за окнами, выходящими во двор; эти гостинные с пианино, одно над другим... словом, эти новые дома с их точной планировкой вскрывают передо мной повседневные функции заключенных в них существ с такой ясностью,

как если б полы были стеклянные. А эти человеческие особи, симметрично обедающие одна под другой, музизирующие одна под другой, спящие в комнатах, расположенных одна под другой, являют собою, когда вдумаешься, комичное и унижительное зрелище.

— Жильцов это мало трогает, — возразила мадемуазель Зоя, твердо решившая поселиться в новом доме.

— Да, — задумчиво сказала Полина, — это действительно комично.

— Кое-где мне попадались помещения, которые мне нравятся, — продолжал г-н Бержере. — Но за них просят слишком дорого. Мой эксперимент с квартирами заставляет меня сомневаться в правильности принципа, выдвинутого замечательным человеком, Фурье, по мнению которого разнообразие вкусов таково, что, если бы между людьми царил социальная гармония, то лачуги были бы в таком же спросе, как и дворцы. Правда, такой гармонии нет. Иначе мы все завели бы себе цепкие хвосты, чтобы висеть на деревьях, как обезьяны. Фурье сам подтвердил это. Человек такой же доброты, кротчайший князь Кропоткин, заверял нас, уже в недавнее время, что наступит день, когда мы сможем даром получить на фешенебельных проспектах особняки, покинутые их владельцами, потому что не найдется больше челяди для уборки таких обширных помещений. Владелец, говорил этот добрейший князь, доставит удовольствие раздавать их простым женщинам, которые согласятся иметь кухню в полуподвале. А пока что жилищный вопрос — это жгучая и сложная проблема. Зоя, будь добра, сходи посмотреть помещение на улице Конти, о котором я тебе говорил. Оно в довольно запущенном состоянии, так как тридцать лет служило складом фабриканту химических изделий. Домохозяин не хочет его ремонтировать, предполагая сдать его под товарный склад. Окна там наподобие слуховых. Однако из этих окон видна стена с плющом, замшелый колодец и статуя Флоры, хотя без головы, но все еще дарящая улыбки. Это не так уж часто попадаетея в Париже.

IV

— Сдается, — сказала мадемуазель Зоя, останавливаясь у ворот. — Сдается, но мы ее не снимем. Слишком велика. И к тому же...

— Нет, мы ее не снимем. Но не хочешь ли зайти? Мне любопытно еще раз посмотреть ее, — робко ответил г-н Бержере своей сестре.

Они колебались. Им казалось, что, войдя иод глубокий и темный свод, они вступят в царство теней.

Расхаживая по городу в поисках квартиры, они случайно забрели на узенькую улицу Великих августинцев, сохранившую отпечаток старого режима и грязную, никогда не просыхающую мостовую. Им припомнилось, что в одном из домов этой улицы они провели в детстве шесть лет. Отец их, профессор университета, поселился там в 1856 году, после того как в течение четырех лет вел бродячее и скудное существование, будучи в немилости у министра, который гонял его из города в город. И это помещение, где Зоя и Люсьен увидели свет и впервые ощутили вкус жизни, теперь отдавалось внаймы, как о том свидетельствовало объявление, трепещущее на ветру.

Проходя через ворота иод свод массивного переднего корпуса, они испытали необъяснимое чувство, грустное и благоговейное. Сырой двор был обнесен стенами, которые туманы Сены и дожди постепенно застилали плесенью со времен малолетства Людовика XIV. Направо от входа примостилась пристройка, служившая помещением для привратницы. Там в амбразуре стеклянной двери висела клетка с попрыгуньей-сорокой, а в глубине комнаты за цветочными горшками сидела и вышивала женщина.

— Это в третьем этаже сдается квартира, окнами на двор?

— Да. Хотите посмотреть?

— Хотелось бы.

Привратница повела их, захватив ключ. Они молча последовали за ней. Хмурая древность этого дома в бездонное прошлое уносила воспоминания, которыми веяло на брата и сестру от почерневших камней. Они с мучи-

тельным волнением поднялись по каменной лестнице и, когда привратница открыла двери, застыли на пороге, боясь войти в эти комнаты, где, как им мерещилось, воспоминания младенчества тянулись рядами детских могил.

— Можно войти. Квартира пустует.

Сперва нежилой вид огромных комнат и новые обои расхолодили их чувства, и они удивлялись, что испытывают такую отчужденность по отношению к этим некогда столь близким предметам.

— Вот здесь кухня... — сказала привратница. — Здесь столовая, здесь гостиная.

Чей-то голос крикнул со двора:

— Мадам Фалампен!

Привратница высунула голову в одно из окон гостиной, затем извинилась и, кряхтя, расслабленной походкой спустилась с лестницы.

Брат и сестра отдались воспоминаниям.

Перед ними начали возникать неповторимые часы, невыразимо прелестные дни детства.

— Вот наша столовая, — сказала Зоя. — Буфет стоял здесь, у стены.

— Буфет красного дерева, по выражению отца, «потрепанный долгими странствованиями» в ту пору, когда министр, ставленник декабрьского переворота, гонял бедного профессора с семьей и обстановкой с севера на юг, с востока на запад. Здесь, искалеченный и хромоногий, буфет отдыхал несколько лет.

— Вот фаянсовая печь в нише.

— Трубу сменили.

— Ты думаешь?

— Да, Зоя. Наша была увенчана головой Юпитера Трофония *. В те отдаленные времена у печников из переулка Дракона было в обычае украшать фаянсовые трубы изображением Юпитера Трофония.

— Ты уверен?

— Неужели ты не помнишь этой головы с бородой клином и с диадемой?

— Нет.

— Впрочем, это не удивительно. Ты всегда была равнодушна к форме предметов. Ты ничего не замечаешь.

— Я наблюдательнее тебя, мой бедный Люсьен. Это ты ничего не замечаешь. Недавно, когда Полина завила себе волосы, ты даже внимания не обратил. Если бы не я...

Зоя не закончила фразы. Она обводила взглядом своих зеленых глаз пустую комнату и поворачивала во все стороны кончик острого носа.

— Вон в том углу подле окна сидела мадемуазель Верпи, положив ноги на грелку. По субботам был день портнихи. Мадемуазель Верпи не пропускала ни одной субботы.

— Мадемуазель Верпи, — вздохнул Люсьен. — Сколько лет было бы ей теперь? Она была уже старухой, когда мы были детьми. Она рассказывала нам тогда историю о пачке спичек. Я запомнил ее и могу пересказать слово в слово: «Это было тогда, когда ставили статуи на мосту Святых отцов. Стоял такой свирепый мороз, что пальцы леденели. Возвращаясь домой с покупками, я засмотрелась на рабочих. Корзинка висела у меня на руке. Какой-то хорошо одетый господин сказал мне: «Мадемуазель, вы горите!» Тут я чувствую запах серы и вижу, что у меня корзинка дымит. Загорелась моя пачка спичек в шесть су». Так рассказывала это приключение мадемуазель Верпи, — добавил г-н Бержере. — Она рассказывала его часто. Быть может, оно было самым значительным во всей ее жизни.

— Ты пропустил самую важную часть рассказа, Люсьен. Вот в точности слова мадемуазель Верпи: «Какой-то хорошо одетый господин сказал мне: «Мадемуазель, вы горите!» Я ответила ему: «Идите своей дорогой и не беспокойтесь обо мне». — «Как вам будет угодно, мадемуазель». Тут я чувствую запах серы...»

— Ты права, Зоя; я исказил текст и опустил существенное место. Своим ответом мадемуазель Верпи, которая была горбата, показала, что она девица осторожная и добродетельная. Эту черту не следовало забывать. Да и вообще, мне помнится, она была особой чрезвычайно целомудренной.

— Покойная мама страдала манией починок. Сколько у нас в доме перечинили всякой всячины!

— Да, она была рукодельница. Но особенно очаро-

вательно было в ней то, что перед тем, как сестра за вышивку в столовой, она ставила рядом с собой на краю стола, в самом освещенном месте, фаянсовый кувшин с пучком левкоев или маргариток или же блюдо с плодами, лежащими на листьях. Она говорила, что смотреть на румяные яблоки так же приятно, как и на розы; я не помню, чтобы кто-либо больше ее ценил красоту персика или грозди винограда. Когда ей показывали в Лувре картины Шардена *, она признавала, что они очень хороши. Но чувствовалось, что она предпочитает свои натюрморты. И с какой убежденностью она говорила: «Смотри, Люсьен, может ли что-либо быть красивее этого пера, выпавшего из крыла голубя!» Не думаю, чтобы кто-нибудь любил природу с большей искренностью и простотой.

— Бедная мама! — вздохнула Зоя. — При всем этом она отличалась удручающим вкусом в отношении туалетов. Однажды она выбрала мне у Пти-Сен-Тома голубое платье. Цвет назывался «голубенький с искрой» и был просто ужасен. Это платье было несчастьем моего детства.

— Ты никогда не была кокеткой.

— Вы полагаете? Так разубедитесь. Мне доставило бы большое удовольствие быть хорошо одетой. Но надо было экономить на туалетах старшей сестры, чтобы шить форменные куртки маленькому Люсьену. Это было необходимо.

Они перешли в узкую комнату, походившую на коридор.

— Кабинет отца, — сказала Зоя.

— Его как будто разделили перегородкой на две части? Мне кажется, он был больше.

— Нет, он был такой же, как теперь. Вот здесь стоял папин письменный стол. А над ним висел портрет господина Виктора Леклера *. Почему ты не сохранил этой гравюры, Люсьен?

— Как! Неужели здесь умещались беспорядочные толпы его книг, целые племена поэтов, философов, историков? Еще совсем ребенком я прислушивался к тому, как они молчали, оглушая мне уши жужжанием славы. Наверное, такое именитое сборище раздвигало

стены. У меня осталось воспоминание, как об обширном зале.

— Комната была набита битком. Отец запрещал нам наводить порядок в его кабинете.

— Так, стало быть, здесь работал наш отец, сидя в старом красном кресле со своей кошкой Зобеидой, лежавшей на подушке у его ног! Отсюда, значит, глядел он на нас со своей мягкой улыбкой, которую сохранил и во время болезни, до последнего часа. Я видел, как он шел навстречу смерти, с такой же тихой улыбкой, с какой шел навстречу жизни.

— Уверяю тебя, Люсьен, ты ошибаешься. Отец не сознавал, что умирает.

Господин Бержере задумался на минуту и затем сказал:

— Странно: в моих воспоминаниях он представляется мне не усталым и убеленным сединой, а совсем молодым, таким, как он был в моем раннем детстве. Я представляю его себе гибким и стройным, с черными взъерошенными волосами. Эти пряди волос, словно развеванные ветром, были вполне уместны на головах энтузиастов тысяча восемьсот тридцатого и тысяча восемьсот сорок восьмого годов. Я отлично знаю, что щетка играла тут главную роль. Но тем не менее казалось, что они живут среди бурь на горных вершинах. Мысли их были возвышенней и благороднее наших. Отец верил в наступление социальной справедливости и всеобщего мира. Он возвещал торжество республики и гармоничное возникновение объединенных государств Европы. Какое жестокое разочарование испытал бы он, если бы вернулся к нам!

Господин Бержере продолжал говорить, а мадемуазель Зои уже не было в кабинете. Он последовал за ней в пустую и гулкую гостиную. Тут они оба вспомнили кресло и диван гранатового цвета, с помощью которых они в своих детских играх возводили стены и крепости.

— О! Осада Дамьеты! * — воскликнул г-н Бержере. — Помнишь, Зоя? Мама, не любившая, чтобы что-либо пропадало зря, собирала серебряные бумажки от шоколада. Однажды она подарила мне целый ворох, который я принял как роскошнейший подарок. Я сма-

стерил из них каски и кирасы, наклеив их на листы из старого географического атласа. Как-то вечером к нам пришел обедать двоюродный брат Поль; я дал ему доспехи сарацина, а сам облекся в доспехи Людовика Святого. И те и другие должны были представлять собою стальную броню. Собственно говоря, ни сарацины, ни христианские бароны не носили такого вооружения в тринадцатом веке. Но подобное обстоятельство нас не смущало. И я взял Дамиету.

Этот случай напоминает мне о самом жестоком унижении, испытанном мною в жизни. Овладев Дамиетой, я взял в плен Поля, связал его прыгалкой и толкнул его с такой силой, что он упал носом вниз и, несмотря на свое мужество, стал испускать отчаянные крики. Мама прибежала на шум и, увидев на полу связанного и плачущего Поля, подняла его, отерла ему слезы, поцеловала его и сказала мне: «Как тебе не стыдно, Люсьен, бить маленького!» И это была правда: кузен Поль, и теперь не очень рослый, был тогда совсем крошкой. Я не возразил ничего и был глубоко пристыжен. И мне стало стыдно вдвойне, когда кузен с плачем, но великодушно сказал: «Я не ушибся». О, дивная гостиная наших родителей! — вздохнул г-н Бержере. — Постепенно я узнаю ее под этой новой оклейкой. Как уютны были наши дрянные обои с разводами! Какую сладостную тень бросали ужасные занавески из темно-красного репса и как хорошо они сохраняли тепло! На камине Спартак, скрестив руки, метал с верхушки часов негодующий взгляд. Его цепи, которые я дергал от безделья, однажды остались у меня в руке. Чудесная гостиная! Мама иногда звала нас туда, когда принимала старых друзей. И мы шли поцеловать мадемуазель Лалуэт. Ей было за восемьдесят. Щеки ее были какие-то землистые и мшистые. С подбородка свисала заплесневелая борода. Между почерневшими губами торчал большой желтый зуб. В силу какого наваждения образ этой маленькой безобразной старушонки обладает теперь для меня притягательным очарованием? Какой магнит тянет меня воскрешать этот странный и далекий образ? Мадемуазель Лалуэт содержала себя и своих четырех кошек на пожизненную

пенсию в полторы тысячи франков, из коих тратила половину на издание брошюр о Людовике Семнадцатом *. Она всегда носила с собой в сумке дюжину таких брошюр. Эта добрейшая девица страстно стремилась доказать, что дофин ускользнул из Тампля в чреве деревянного коня. Помнишь, Зоя, как она однажды потчевала нас завтраком в своей комнате на улице Вернэй. Там под вековым слоем грязи таились чудесные богатства: золотые тавлинки и вышивки.

— Да, — отвечала Зоя, — она показывала нам кружева, принадлежавшие Марии-Антуанетте.

— У мадемуазель Лалуэт были превосходные матери, — продолжал г-н Бержере. — Она говорила хорошим языком. Даже сохранила старинное произношение. Она выговаривала: «булевар», «кошемар». Ей я обязан тем, что соприкоснулся с эпохой Людовика Шестнадцатого. Мама звала нас здороваться и с господином Маталеном; он был не в таком преклонном возрасте, как мадемуазель Лалуэт, но поражал своим ужасным лицом. Никогда более нежная душа не ютилась в более безобразной оболочке. Это был священник, попавший под интердикт *; отец встречал его в тысяча восемьсот сорок восьмом году в клубах и уважал за республиканские взгляды. Еще менее состоятельный, чем мадемуазель Лалуэт, он лишал себя пищи, как и она, чтобы печатать брошюры. Его брошюры преследовали цель доказать, что солнце и луна вращаются вокруг земли и что в действительности они не больше кружка сыра. Такого же мнения придерживался и балаганный Пьерро; но господин Матален дошел до этого только путем тридцатилетних размышлений и вычислений. Эти брошюры еще иногда попадают в лавчонках букинистов. Господин Матален страстно радел о благоденствии людей, которых сам он отпугивал своим ужасным безобразием. Из орбиты своего милосердия он исключал только астрономов, приписывая им самые черные замыслы. Он говорил, что они хотят его отравить, и сам готовил для себя кушанья столько же из предосторожности, сколько и по бедности.

Таким образом, г-н Бержере, уподобляясь Улиссу в стране киммерийцев, призывал к себе тени в пустыне

ном помещении. Он задумался на минуту и затем сказал:

— Одно из двух, Зоя: либо во времена нашего детства было больше безумцев, чем теперь, либо отец принимал их в большем количестве, чем надо было. Видимо, он их любил. Жалость ли привлекала его к ним, или он находил их более занимательными, чем людей со здравым рассудком, но у него был их целый штат.

Мадемуазель Бержере покачала головой:

— Родители принимали людей вполне разумных и достойных. Скажи лучше, Люсьен, что невинные причуды некоторых стариков тебя поразили и ты сохранил о них живое воспоминание.

— Нет, Зоя, не может быть никакого сомнения в том, что мы выросли среди людей, отличавшихся необычным, не банальным складом ума. У мадемуазель Лалуэт, у аббата Маталена, у господина Грий мозги были не совсем в порядке, — это бесспорно. Помнишь господина Грий? Рослый, полный, с багровым лицом, с сивой, коротко подстриженной бородой, он и зимой и летом носил одежду из полосатого тика, после того как оба его сына погибли в Швейцарии при восхождении на глетчер. По отзывам отца, он был тонким эллинистом. Он чутко воспринимал поэзию греческих лириков. Легко и уверенно подходил он к затрепанному толкователями тексту Феокрита. Его помешательство было тем для него благотворно, что он не верил в совершенно несомненную смерть обоих своих сыновей. Поджидая их с безрассудным упорством, он жил, облаченный в свой карнавальный наряд, в возвышенном общении с Алкеем и Сафо.

— Он приносил нам леденцы, — промолвила мадемуазель Бержере.

— То, что он говорил, было всегда мудро, изящно и красиво, — продолжал профессор, — и это нас пугало. В безумии страшнее всего — это рассудительность.

— Вечером, по воскресеньям, гостиная принадлежала нам, — сказала мадемуазель Бержере.

— Да, — ответил ей брат. — Там после обеда забавлялись всякими играми. Играли в «цветы» и во «мне-ния», и мама вытягивала фанты. О, невинность, о, исчез-

нувшая простота! О, наивные развлечения! О, прелесть стародавних нравов! Кроме того, ставили шарады. Мы опустошали твои шкафы, Зоя, чтобы рядиться в разные костюмы.

— Один раз вы отцепили занавески с моей кровати.

— Да, Зоя, чтобы одеться друидами для сцены с омой. Загадали слово: «Филомела» *. Мы замечательно разыгрывали шарады. А каким превосходным зрителем был папа! Он не слушал, но зато улыбался. Думаю, что я мог бы играть хорошо. Но взрослые затирали меня. Они всегда сами хотели говорить.

— Не обольщайся, Люсьен. Ты был совершенно неспособен исполнять какую-либо роль в шараде. У тебя нет находчивости. Я первая готова признать твой ум и твой талант. Но ты не импровизатор. И тебя не надо отрывать от твоих книг и бумаг.

— Я себя не переоцениваю, Зоя, и знаю, что не обладаю красноречием. Но когда играли с нами Жюль Гино и дядя Морис, то нельзя было вставить слово.

— У Жюля Гино был подлинный комический талант и неистощимая живость воображения, — возразила мадемуазель Зоя.

— Он изучал тогда медицину, — сказал г-н Бержере. — Это был красивый юноша.

— Да, так говорили.

— Мне кажется, что ты ему очень нравилась.

— Не думаю.

— Он ухаживал за тобой.

— Это другое дело.

— А затем он внезапно исчез.

— Да.

— Ты не знаешь, что с ним случилось?

— Нет... Пойдем отсюда, Люсьен.

— Пойдем, Зоя. Здесь мы во власти теней.

И, не оборачиваясь, брат и сестра вышли за порог старого жилища, где протекало их детство. Они молча спустились вниз по каменной лестнице. А когда они снова очутились на улице Великих августинцев среди фиакров, повозок, хозяек и ремесленников, их так оглушили шум и суета жизни, словно они перед тем долго прожили в уединении.

Глаза у г-на Панетона де ла Барж выпирали наружу, душа тоже. А так как кожа у него лоснилась, то и душа его, вероятно, тоже оплыла жиром. Он был беззащитен, спесив и, казалось, не боялся наскутить своим чванством. Г-н Бержере догадался, что этот человек пришел к нему просить о каком-нибудь одолжении.

Они познакомились еще в провинции. Профессор часто видел во время прогулок на зеленом откосе у берега ленивой реки черепичную крышу замка, в котором жил г-н де ла Барж со своей семьей. Значительно реже виделся он с самим г-ном де ла Барж, который вращался среди местной знати, но сам был недостаточно знатен, чтобы принимать незнатных людей. В провинции он входил в общение с г-ном Бержере только в критические дни, когда один из его сыновей должен был держать экзамен. На этот раз, в Париже, он хотел быть учтивым и прилагал к тому все усилия.

— Дорогой господин Бержере, считаю прежде всего непременно долгом поздравить...

— Ах, что вы, прошу вас... — отвечал г-н Бержере с уклончивым жестом, который г-н де ла Барж напрасно приписал его скромности.

— Позвольте, господин Бержере, но кафедра в Сорбонне — это очень завидное положение... и вполне заслуженное вами.

— Как поживает ваш сын Адемар? — спросил г-н Бержере, вспомнив это имя, носитель которого, кандидат в бакалавры, вынужден был, за весьма слабыми успехами в науках, искать высокого покровительства всех властей — гражданских, духовных и военных.

— Адемар? Хорошо, очень хорошо. Немножко покупает. Что вы хотите? Ему нечего делать. В некоторых отношениях было бы предпочтительнее, чтоб он чем-нибудь занялся. Но он еще очень молод. Время терпит. Он пошел в меня: остепенится, когда найдет свое призвание.

— Он, кажется, принимал некоторое участие в манифестации в Отейле? — сказал добродушно г-н Бержере.

— В честь армии, в честь армии, — ответил г-н Панетон де ла Барж. — И признаюсь вам, у меня не хватило духа пожурить его за это. Что поделаешь? Я связан с армией через своего тестя, через свояков, через двоюродного брата, майора...

Он скромно умолчал о своем отце, старшем из четырех братьев Панетонов, который тоже был связан с армией, по интендантским делам. За поставку сапог с картонными подошвами подвижным частям восточной армии, маршировавшим по снегу, он был приговорен в 1872 году судом исправительной полиции к легкому наказанию с порочащей мотивировкой. Он умер десять лет спустя среди богатства и почета в своем замке де ла Барж.

— Мне с детства прививали культ армии, — продолжал г-н Панетон де ла Барж. — Еще в младенчестве я почитал мундир. Такова была семейная традиция. Не скрываю, я человек старого режима. Это сильнее меня, это у меня в крови. Я прирожденный монархист, сторонник единовластия. Я роялист. Армия — это все, что осталось нам от монархии. Это единственное, что уцелело от славного прошлого. Она утешает нас в отношении настоящего и подает надежду на будущее.

Господин Бержере мог бы сделать несколько возражений исторического порядка, но он их не сделал, и г-н Панетон де ла Барж закончил:

— Вот почему я считаю преступниками тех, кто нападает на армию, безумцами тех, кто задевает ее.

— Желая похвалить одну из пьес Люса де Ланси-валя *, — ответил профессор, — Наполеон назвал ее трагедией штаб-квартиры. Позволю себе сказать, что ваша философия — это философия генерального штаба. Но поскольку мы живем при режиме свободы, то, может быть, следовало бы усвоить его нравы. Когда общаешься с людьми, привыкшими пользоваться даром речи, надо научиться выслушивать все. Не надейтесь на то, что отныне можно будет запретить во Франции обсуждение какого-нибудь вопроса. Примите также во внимание, что армия не есть нечто неизменное; на свете нет ничего неизменного. Все людские организации постоянно видоизменяются. За время своего существования армия

испытала столько перемен, что ей, вероятно, суждено еще сильно измениться в будущем, и вполне возможно, что лет через двадцать она будет совсем другой, чем теперь.

— Предпочитаю вам тотчас же сказать, — возразил г-н Панетон де ла Барж, — когда дело касается армии, я не желаю ничего слушать. Повторяю, ее нельзя задевать. Она — секира. Не задевайте секиры. На последней сессии департаментского совета, председателем которого я имею честь состоять, радикал-социалистское меньшинство высказывалось за двухгодичный срок воинской повинности. Я воспротивился этому антипатриотическому предложению. Мне нетрудно было доказать, что двухгодичная служба — это конец армии. Нельзя в два года выработать пехотинца. А тем более кавалериста. Тех, кто требует двухгодичной службы, вы, быть может, назовете реформаторами; я называю их разрушителями. И это относится ко всем подобным реформам. Это орудия, направленные против армии. Было бы честнее, если бы социалисты признались, что они хотят заменить ее большой национальной гвардией.

— Социалисты, восстающие против всяких захватнических попыток, — ответил г-н Бержере, — предлагают организовать милицию только в целях обороны страны. Они этого не скрывают; они открыто это высказывают. И эти идеи, быть может, заслуживают внимания... Не опасайтесь их быстрого претворения в жизнь. Всякий прогресс неустойчив и медлителен и по большей части сменяется движением вспять. Путь — к лучшему порядку — это неопределенный и туманный путь. Несметные, глубоко укоренившиеся силы, связывающие человека с прошлым, побуждают его придерживаться заблуждений, предрассудков, суеверий и варварства, потому что он видит в них драгоценный залог безопасности. Всякое благотворное новшество его пугает. Он — подражатель из осторожности и не осмеливается покинуть колеблющийся кров, который служил пристанищем для его пращуров и грозит обрушиться на него. Разве вы с этим не согласны, господин Панетон? — добавил профессор с очаровательной улыбкой.

На это г-н Панетон де ла Барж ответил, что он защищает армию. Он утверждал, что армию не признают, преследуют, осыпают угрозами. И продолжал с возрастающим воодушевлением:

— Эта кампания в пользу предателя, эта настойчивая и яростная кампания ведет, независимо от намерений ее участников, к несомненным, явным и неоспоримым последствиям. Она ослабляет армию, она задевает авторитет ее руководителей.

— Я выскажу вам сейчас несколько очень простых мыслей, — ответил г-н Бержере. — Если армия задета в лице некоторых своих руководителей, то вина за это ложится не на тех, кто требует правосудия, а на тех, кто в нем отказывает; виноваты не те, кто хотел пролить свет на это дело, а те, кто с безграничной тупостью и жестокой злобой упорно этому противился. И, наконец, раз преступления совершены, то зло заключается не в том, что их предали гласности, а в том, что они имели место. Их чудовищность и безобразия служили им завесой. Их трудно было распознать. Они проплыли над людскими массами, как темные тучи. Неужели вы думали, что эти тучи никогда не разорвутся? Неужели вы думали, что солнце больше не засияет над классической страной правосудия, над страной, которая была глашатаем права для Европы и вселенной?

— Не будем говорить о «Деле», — возразил г-н де ла Барж. — Я его не знаю и знать не хочу. Я не прочел ни строчки из материалов судебного расследования. Мой двоюродный брат, майор де ла Барж, заверил меня, что Дрейфус виновен. Этого заверения с меня достаточно... Я пришел, дорогой господин Бержере, попросить у вас совета. Речь идет о моем сыне Адемаре, положение которого меня беспокоит. Год военной службы — и то уже немалый срок для молодого человека из хорошей семьи. Но три года — уже настоящая катастрофа. Надо найти какое-нибудь средство освободить его от этого. Я подумал о филологическом факультете; боюсь только, что сыну будет слишком трудно. Адемар развит, но у него нет склонности к литературе.

— Ну что ж! — сказал г-н Бержере, — попытайтесь устроить его в Высшую школу коммерческих наук,

или в Коммерческий институт, или же в Коммерческую школу. Не знаю, дает ли Школа часовщиков в Клузе право на освобождение. Мне говорили, что там нетрудно получить диплом.

— Но не может же Адемар чинить часы, — конфузливо заметил г-н де ла Барж.

— В таком случае обратитесь в Школу восточных языков, — участливо промолвил г-н Бержере. — Во времена ее основания там было превосходно поставлено дело.

— С тех пор она сильно сдала, — вздохнул г-н де ла Барж.

— Ну, найдется и там кое-что хорошее. Возьмите, например, тамульский язык*.

— Тамульский! Вы думаете?

— Либо мальгашский*.

— Пожалуй, мальгашский.

— Есть также один полинезийский язык, на котором в начале столетия говорила только одна желтолицая старуха. Эта женщина умерла, оставив попугая. Один немецкий ученый записал несколько слов этого наречия, так сказать, с клюва попугая. Он составил словарь. Возможно, что этот словарь изучают в Школе восточных языков. Очень советовал бы вашему сыну навести справки.

Получив такой совет, г-н Панетон де ла Барж откланялся и удалился в задумчивости.

VI

События пошли тем путем, каким и должны были пойти. Г-н Бержере искал квартиру; его сестра ее нашла. Так практический разум одержал победу над умозрительным. Надо признать, что мадемуазель Бержере сделала удачный выбор. У нее не было недостатка ни в жизненном опыте, ни в трезвом понимании житейских возможностей. В качестве учительницы она побывала в России и путешествовала по Европе. Она наблюдала разные нравы. Она знала мир, — это помогло ей узнать Париж.

— Вот здесь, — сказала она брату, останавливаясь перед новым домом, выходящим окнами в Люксембургский сад.

— Лестница прилична, но немного крута, — заметил г-н Бержере.

— Не говори этого, Люсьен. Ты еще достаточно молод, чтобы, не утомляясь, одолеть какие-нибудь пять этажей.

— Ты полагаешь? — ответил польщенный Люсьен.

Она не преминула также обратить его внимание на то, что ковер доходил до самого верха.

Господин Бержере с улыбкой упрекнул ее в тщеславии.

— Впрочем, возможно, — добавил он, — что я сам был бы немного уязвлен, если бы ковер кончился этажом ниже моего. Стараешься быть мудрым, а в чем-нибудь да остаешься тщеславным. Это напомнило мне, что я видел вчера, после завтрака, проходя мимо одной церкви.

Ступени паперти были застланы красной дорожкой, помятой многолюдным шествием свадебных гостей, покидавших храм после венчания. Какая-то скромная, бедная пара со своими скромными спутниками ждала очереди войти в церковь, когда удалится вся пышная свадьба. Они улыбались при мысли, что им предстоит взойти по ступеням, обтянутым этим неожиданным пурпуром. Молоденькая невеста даже ступила белыми башмачками на край дорожки. Но привратник жестом заставил ее сойти. Служители бюро свадебных церемоний медленно свернули почетную ткань, и только тогда, когда она превратилась в объемистый валик, скромной свадьбе было позволено подняться по голым ступеням. Я присмотрелся к славной компании, которую это происшествие, по-видимому, очень позабавило. Маленькие люди удивительно легко мирятся с социальным неравенством, и Ламенне вполне прав, утверждая, что общество целиком покоится на покорности бедняков.

— Пришли, — объявила мадемуазель Зоя.

— Я совершенно запыхался, — сказал г-н Бержере.

— Потому что ты не переставал говорить, — ответила ему сестра. — Нельзя рассказывать всякие истории, подымаясь по лестнице.

— В конце концов, — сказал г-н Бержере, — судьба всех мудрецов жить под самой крышей. Наука и размышления по большей части ютятся на чердаке. И если как следует вдуматься, то нет такой мраморной галереи, которая стояла бы мансарды, украшенной высокими мыслями.

— Эта комната вовсе не мансарда, — заявила мадемуазель Бержере, — в ней прекрасное окно, которое дает много света. Ты устроишь здесь свой кабинет.

Услыхав эти слова, г-н Бержере с ужасом окинул взором четыре стены, и у него был вид человека, очутившегося на краю пропасти.

— Что с тобой? — с тревогой спросила мадемуазель Зоя.

Но он не ответил. Эта маленькая квадратная комната, оклеенная светлыми обоями, представилась ему омраченной тенями неведомого будущего. Он вступил в нее боязливими и медленными шагами, словно проникал в темную обитель рока. И, вымеривая на полу место для письменного стола, он произнес:

— Я устроюсь здесь. Не следует проявлять такую чувствительность, представляя себе прошлое и грядущее. Это абстрактные идеи, которые прежде были чужды человеку и которые он усвоил с трудом и на свое несчастье. Идея прошлого сама по себе довольно мучительна. Полагаю, что никто не согласился бы снова начать жизнь, переживая все пройденные этапы. Бывают отрадные часы и дивные мгновения, — не стану отрицать. Но это жемчужины, драгоценные камни, скупо разбросанные по суровой и мрачной ткани наших дней. Поток лет, несмотря на краткость, течет с безотрадной медлительностью, и если иной раз сладостно предаваться воспоминаниям, то это потому, что мы можем сосредоточить свое внимание лишь на немногих моментах. Да и то такая отрада болезненна и печальна. А на мрачном лице будущего начертано столько угроз, что на него вообще страшно глядеть. И когда ты сказала мне, Зоя: «Здесь будет

твой кабинет», — я увидел себя в будущем, а это невыносимое зрелище. Мне мнится, что я обладаю известным мужеством в жизни, но я человек, который размышляет, а размышление сильно вредит неустрашимости.

— Самое трудное было найти квартиру с тремя спальнями, — сказала Зоя.

— Несомненно, что человечество, — продолжал г-н Бержере, — в период своей юности имело другое представление о будущем и прошедшем, чем мы. А между тем эти пожирающие нас идеи не обладают реальностью вне нас. Мы ничего не знаем о жизни; ее эволюция во времени — чистейшая иллюзия. И только из-за несовершенства наших чувств «завтра» не является нам таким же осуществленным, как «вчера». Легко можно вообразить себе существа, которые, в силу своей организации, одновременно воспринимают явления, кажущиеся нам отделенными друг от друга значительным периодом времени. Да и сами мы не воспринимаем во временной последовательности явлений света и звука. Взглянув на небо, мы охватываем взглядом объекты далеко не одновременные. Мерцания звезд, сочетавшиеся в наших глазах, смешивают менее чем в секунду столетия и тысячелетия. Будь у нас другие органы, чем те, которыми мы обладаем, мы могли бы видеть себя мертвыми еще в разгаре нашей жизни. Ибо, если время фактически не существует и последовательность явлений только мираж, то все явления существуют одновременно, и нашему будущему не предстоит совершаться. Оно уже совершилось. Мы его только обнаруживаем. Понимаешь ли ты теперь, Зоя, почему я оцепенел на пороге комнаты, где мне предстоит жить? Время — это только плод мысли. А пространство так же мало реально, как и время.

— Возможно, — сказала Зоя. — Но в Париже пространство стоит очень дорого. Ты мог убедиться в этом, когда искал квартиру. Тебе, вероятно, не очень любопытно поглядеть на мою комнату. Пойдем! Комната Полины тебя больше заинтересует.

— Посмотрим и ту и другую, — ответил г-н Бержере, который покорно перемещал свое земное естество

по квадратным комнатам, оклеенным обоями в цветочках.

При этом он не прерывал хода своих мыслей.

— Дикари, — сказал он, — не делают различия между настоящим, прошедшим и будущим. Язык, являющийся безусловно самым древним памятником человечества, позволяет нам проникнуть в эпохи, когда племена, от которых мы ведем свое происхождение, еще не проделали этой метафизической работы. Господин Мишель Бреаль в прекрасном исследовании, только что напечатанном, доказывает, что глагол, так разнообразно определяющий теперь выполненное действие, не имел первоначально никаких форм для выражения прошедшего, и что для этого применяли удвоение настоящего.

Излагая эти мысли, г-н Бержере вернулся в свой будущий кабинет, пустое пространство которого показалось ему населенным тенями неизъяснимого будущего.

Мадемуазель Бержере открыла окно.

— Посмотри, Люсьен.

И г-н Бержере увидел обнаженные верхушки деревьев. Он улыбнулся.

— Эти черные ветки, — сказал он, — станут лиловыми под робкими лучами апрельского солнца; затем они вдруг опустятся нежной зеленью. И это будет прелестно. Зоя, ты мудрая и добрая женщина, ты достойная домоправительница и любезнейшая сестра. Дай я тебя поцелую.

И, поцеловав свою сестру Зою, г-н Бержере добавил:

— Да, ты предобрая.

На это мадемуазель Зоя ответила:

— Родители у нас были оба добрые.

Господин Бержере хотел вторично обнять сестру, но она сказала:

— Ты растреплешь мне прическу, Люсьен; я этого терпеть не могу.

Господин Бержере, глядя в окно, протянул руку:

— Видишь, Зоя: на месте этих безобразных построек

был Королевский питомник. Там, как рассказывали мне пожилые люди, аллеи переплетались лабиринтом среди кустарников и зеленых трельяжей. Там прогуливался в молодости отец. Он читал философию Канта и романы Жорж Санд, сидя на скамейке позади статуи Велледы *. Погруженная в раздумье Велледа, обнимая руками свой мистический серп, стояла, скрестив ноги, которыми восхищалась воодушевленная благородными мыслями молодежь. У ее пьедестала студенты толковали о любви, о справедливости и свободе. В то время они еще не были сторонниками лжи, несправедливости и тирании. Империя уничтожила питомник. Она поступила дурно. Предметы обладают душой. Вместе с этим садом погибли и возвышенные мысли молодого поколения. Сколько красивых слов, сколько обширных надежд зародилось перед романтической Велледой, изваянной Мендроном. У наших студентов теперь дворцы с бюстом президента республики на камине актовом зала. Кто возвратит им извилистые аллеи питомника, где они беседовали о том, как установить на земле мир, счастье и свободу? Кто возвратит им сад, где, вдыхая весенний воздух, они повторяли под певний птиц благородные высказывания своих учителей Кине и Мишле? *

— Безусловно, — сказала мадемуазель Бержере, — тогдашние студенты были восторженной молодежью. Но в конце концов они превратились в лекарей и нотариусов у себя в провинции. Надо мириться с заурядностью жизни. Ты сам отлично знаешь, что жить нелегко и нельзя к людям предъявлять слишком большие требования. Так ты доволен своей квартирой?

— Да. И я уверен, что Полина будет в восторге. У нее хорошая комната.

— Несомненно. Но молодые девушки никогда не бывают в восторге.

— Полина не чувствует себя несчастной, живя с нами.

— Конечно, нет. Она очень счастлива. Но она этого не осознает.

— Я схожу на улицу Сен-Жак, — сказал г-н Бержере, — и закажу Рупару полки для кабинета.

VII

Господин Бержере любил и высоко ставил рабочих людей. Не производя у себя больших переделок, он не нанимал рабочих по нескольку человек, но когда брал одного на работу, то старался завязать с ним беседу, рассчитывая узнать от него что-либо полезное.

А потому он был весьма обходителен со столяром Рупаром, который пришел однажды утром устанавливать полки в его кабинете.

В это время Рике, прикорнув, по своему обыкновению, в глубине хозяйского кресла, почивал мирным сном. Но неизгладимая память об опасностях, угрожавших их диким прадедам в лесах, придает чуткость сну домашних собак. Надо также сказать, что эта наследственная способность к внезапному пробуждению поддерживалась у Рике сознанием долга, Рике считал себя сторожевой собакой. Твердо убежденный в том, что в его обязанности входит охранять дом, он испытывал приятную гордость.

По несчастию, он представлял себе дома такими, как они бываю в деревнях и в банях Лафонтена, с двором и садом, так что их можно обегать кругом, обнюхивая почву, пропитанную запахом скотины и навоза. В его голове не укладывался план квартиры, которую его хозяин занимал на шестом этаже доходного дома. Не зная границ своих владений, он не отдавал себе точного отчета в том, что он должен охранять. А Рике был свирепым сторожем. Полагая, что этот незнакомец в синих заплатанных штанах, пахнувший потом и тащивший доски, являлся угрозой для жилища, он соскочил с кресла и принялся лаять на пришельца, отступая перед ним с геройской медлительностью. Г-н Бержере приказал ему замолчать, и он повиновался с сожалением, — удивленный и огорченный тем, что его преданность не оценили, а предостережениями пренебрегли. Его глубокий взгляд, обращенный к хозяину, казалось, говорил: «Ты соглашаешься принять этого анархиста вместе с его адской машиной, которую он волочит за собой. Я исполнил свой долг; будь что будет».

Он вернулся на свое обычное место и снова задремал. Г-н Бержере, оторвавшись от толкователей Вергилия, вступил в беседу со столяром. Сперва он задал ему несколько вопросов относительно обделки, распилки, полировки дерева и сборки досок. Он любил поучаться и ценил меткость народных выражений.

Рупар, стоя лицом к стене, давал краткие ответы, прерываемые долгими минутами молчания, когда он производил обмеры. Беседа шла о разных способах отделки и сборки полок.

— Ежели доски хорошо пригнаны, так на клею куда лучше держатся, чем на шинах.

— Есть еще, кажется, рубка в лапу? — спросил г-н Бержере.

— Это по-мужицки, так больше не работают, — ответил столяр.

Таким образом профессор поучался, слушая мастерового. Покончив с частью работы, столяр повернулся к г-ну Бержере. Морщинистое лицо с крупными чертами, смуглый цвет кожи, прилипшие к вискам волосы и козлиная борода, посеревшая от пыли, придавали ему сходство с бронзовой фигурой. Он улыбнулся смущенной, ласковой улыбкой, обнажившей его белые зубы, и сразу как-то помолодел.

— А я вас знаю, господин Бержере.

— Вот как?

— Да, да, я вас знаю... Вы все-таки сделали, господин Бержере, такое, что не всякий сделает... Вы не осудите, если я вам скажу?

— Нисколько.

— Да, не всякий это сделает. Вы откололись от своей братии и не пошли за защитниками сабли и кропила.

— Ненавижу фальсификаторов, друг мой, — ответил г-н Бержере. — Это позволительно филологу. Я не скрывал своих взглядов. Но я их не очень и распространял. Откуда вы их знаете?

— Сейчас скажу: немало видишь всякого народа в мастерской на улице Сен-Жак. Видишь и таких и сяких, и толстых и тощих. Строгаю я как-то доски и слышу — Пьер говорит: «Эх, и каналья этот Бержере!»

А Поль спрашивает: «Неужели ему не расквасят рожу?» Ну я и понял, что вы по-честному смотрите на «Дело». Немного таких людей в вашем пятом районе.

— А что говорят ваши друзья?

— Социалистов тут не очень-то много, да и те меж собой не согласны. В прошлую субботу собралась нас горсточка в «Социалке», четверо лысых и один плешивый, да и вцепились друг другу в волосы. Товарищ Флешье, стреляный воробей, фронтовик семидесятого года, коммунар, отбывший ссылку, настоящий человек, взшел на трибуну и сказал нам: «Граждане, не шумите! Буржуи-интеллигенты такие же буржуи, как и военные. Пускай капиталисты грызутся между собой. Скрестите руки, не связывайтесь с антисемитами. Пока что они палят из картонных ружей и размахивают деревянными саблями. Но когда дело дойдет до экспроприации капиталистов, то не вижу, почему бы не начать с евреев». А товарищи давай хлопать в ладони. Но я вас спрашиваю: так, что ли, должен говорить старый коммунар, честный революционер? Я не такой грамотей, как гражданин Флешье; он всю науку по книгам Маркса одолел. А тут он все же криво толкует, — я сразу смекнул. И я так думаю, что социализм — это истина, он же и справедливость, он же и благо, и все справедливое и благое от него родится, как яблоко от яблони. И еще я думаю, что борются с несправедливостью — значит работать на нас, на пролетариев, на которых вся несправедливость валится. По-моему, все, что справедливо, то и ведет к социализму. Жорес так думал *, и я так думаю; кто заодно с защитниками насилия и лжи, тот повернулся спиной к социальной революции. Для меня нет ни евреев, ни христиан, а есть только люди, и я не делаю между ними никакого иного различия, как то, что одни справедливы, а другие несправедливы. Будь он еврей, будь он христианин — богачу трудно быть справедливым. Но когда законы станут справедливыми, то и люди станут такими. Уже и теперь коллективисты и анархисты готовят будущее тем, что борются против тирании и внушают народам ненависть к войне и любовь к роду человеческому.

Уже и теперь мы можем сделать кое-что хорошее. А это значит, что мы не умрем в отчаянии и со злобой в сердце. Конечно, мы не увидим торжества наших идей, и когда во всем мире установится коллективизм, меня уже задолго до того вынесут из моего чулана ногами вперед. Но я тут разболтался, а время бежит.

Он вынул часы и, увидав, что уже одиннадцать, надел куртку, собрал инструменты, глубоко нахлобучил картуз и сказал, не оборачиваясь:

— Ясно, буржуазия прогнила насквозь. Да и из дела Дрейфуса это видно.

И отправился завтракать.

Потому ли, что какое-то сновидение во время легкой дремоты вспугнуло отуманенную душу Рике, потому ли, что он, пробудившись, подстерегал отступление врага, или же, как предположил его хозяин, его привело в ярость произнесенное имя, но домашний страж вдруг воспользовался преимуществами своего положения и ринулся с разверстой пастью, взъерошенной шерстью и огнемечущими глазами по следам Рупара, прожоя его бешеным лаем.

Оставшись один на один с Рике, г-н Бержере обратился к нему с ласковым и грустным увещанием:

— Ты тоже, бедное, крохотное, черное существо, такое слабое, несмотря на глубокую пасть и острые зубы, которые, напоминая о силе, выставляют твою слабость в смешном свете и делают твою трусость забавной, ты тоже поклоняешься земному величию и исповедуешь религию исконного неравенства. Ты тоже чтешь несправедливость из уважения к социальному порядку, обеспечивающему тебе твою конуру и овсянку. Ты тоже признал бы правильным незаконный приговор, опирающийся на ложь и обман. Ты тоже игрушка лживой видимости. Ты тоже бессилен перед соблазнами лжи. Ты питаешься грубыми баснями. Твой омраченный ум упивается мраком. Тебя обманывают, и ты от всей души поддаешься обману. Ты тоже пропитан расовой ненавистью, жестокими предрасудками, презрением к несчастным.

И так как Рике обратил на него взгляд, обличавший глубокую ненависть, г-н Бержере продолжал еще более ласково:

— Я знаю: ты обладаешь бессознательной добротой, добротой Калибана *. Ты набожен, у тебя свое богословие и своя нравственность, ты уверен в своей правоте. И, кроме того, ты пребываешь в неведении. Ты стережешь дом, стережешь его даже от тех, кто его защищает и украшает. Мастер, которого ты пытался прогнать, высказал в своей простоте прекраснейшие мысли. А ты его не слушал. Твои мохнатые уши слушают не того, кто вернее говорит, а того, кто громче кричит. И страх, природный страх, советчик твоих и моих предков в пещерный период, страх, породивший богов и преступления, отвращает тебя от несчастных и отнимает у тебя жалость. И ты не хочешь быть справедливым. Ты глядишь на светлый лик Справедливости, словно он для тебя чужой, и пресмыкаешься перед старыми богами насилия и страха, такими же черномазыми, как ты сам. Ты преклоняешься перед грубой силой, так как считаешь ее силой верховной и не знаешь, что она сама себя пожирает. Ты не знаешь, что одна справедливая мысль в состоянии разорвать все оковы. Ты не знаешь, что истинная сила зиждется на мудрости и только ей нации обязаны своим величием. Ты не знаешь, что славу народов создают не дуррацкие крики на городских площадях, а царственная мысль, которая ютится в мансарде и когда-нибудь, распространившись по свету, изменит его облик. Ты не знаешь, что славу родины создают те, кто во имя справедливости претерпел заключение в тюрьме, изгнание и поругание... Ты этого не знаешь!

VIII

Господин Бержере беседовал у себя в кабинете со своим учеником г-ном Губеном.

— Я наткнулся сегодня, — сказал он, — в библиотеке моего друга на редкую и, быть может, даже уникальную книжечку. Потому ли, что Брюне * ее не

знал, или потому, что пренебрегал ею, он не упоминает о ней в своем «Справочнике». Это маленький томик в двенадцатую долю листа, озаглавленный: «Описание людей и нравов стародавних времен». Он был напечатан на высокоумной улице Сен-Жак в тысячу пятьсот тридцать восьмом году.

— А кто автор? — спросил г-н Губен.

— Это некий сьер Николь Ланжелье, парижанин, — ответил г-н Бержере. — Он пишет не так приятно, как Амио *, но все же ясно и толково. Я с удовольствием прочитал его труд и списал оттуда одну весьма любопытную главу. Хотите ее послушать?

— Охотно, — ответил г-н Губен.

Господин Бержере взял со стола лист и прочел заглавие:

*«О трублионах *, объявившихся в государстве».*

Господин Губен осведомился, кто были эти трублионы. Г-н Бержере ему ответил, что, вероятно, он узнает об этом в дальнейшем и что всегда лучше ознакомиться с текстом, а потом его комментировать. Он прочел следующее:

«В ту пору появились в городе люди, испускавшие громкие крики, и получили те люди прозвание «трублионы» по имени некоего их вожака Трублиона, человека знатного родом, наукой не умудренного и по младости лет к делам не пригодного. И был у трублионов еще другой вожак, по имени Тинтиннабул, и он преизрядно витийствовал и отменно стихоплетствовал. Его презалостно удалили из государства по закону и обычаю изгнания. И, правду сказать, действовал вышеупомянутый Тинтиннабул во всем наперекор Трублиону. Коль один тянул вниз, другой тянул вверх. Но трублионы на это не смотрели, ибо были безумцами, не ведавшими, куда идут.

И проживал в те годы некий поселянин, по имени Робен Медоточивый, уже совсем седой наподобие куницы либо барсука, превеликий мастер в притворстве, который помышлял управлять городом с помощью тех трублионов, всячески их обхаживал и, дабы привлечь их к себе, насвистывал им сладчайшим, как флейта,

голосом, согласно обычаю пташников, что приманивают птиц на свистульку. Добрый же Тинтиннабул был тем ошеломлен и огорчен и крепко боялся, чтобы Робен Медоточивый не переманил у него его гусят.

При оных вожаках: Трублионе, Тинтиннабуле и Робене Медоточивом — состояли военачальниками в рати трублионской:

3 злоехидных клобучника,

21 марран,

свыше двух дюжин нищенствующих монахов,

8 альманашников,

55 мисоксенов, ксенофобов, ксеноктонов и ксенофагов*, а кроме того шесть четвериков дворян, особливо приверженных к богоматери Бурдской, что в Наварре.

Так верховодили трублионами разные и меж собой несогласные водители. И были те трублионы истым змеиным отродьем, и подобно тому как Гарпии, о коих повествует нам Вергилиус, сидели на деревьях, преустрашительно кричали и гадили на все, что было под ними, так и означенные каверзные трублионы забирались на карнизы и шпили хором и церквей, дабы задирать, оглушать и обдавать фекалиями и уриной смиренных горожан.

Они нарочито избрали некоего старого полковника, по имени Гелгополь, самого никудышного вояку, какого могли сыскать, лютейшего врага всякой справедливости и попирателя высочайших законов, и, сотворив себе из него кумир и образец, стали ходить по городу и горланить: «Многая лета старому полковнику!» А вслед за ними школяры-лоботрясы визжали им в спину: «Многая лета старому полковнику!» Сходились оные трублионы на частые сходбища и сборища, на которых возглашали здравие старому полковнику столь велегласно, что воздух застывал, а птахи, летавшие над их головами, падали наземь оглушенные и умерщвленные. То было поистине гнусное наваждение и страшное беснование.

Полагали помянутые трублионы, будто для того, чтобы хорошо служить городу и удостоиться гражданского венца из дубовых листьев, самого почетного

из всех венцов, надлежит изрыгать дикий рев и глупословные речи и что те, кто ходят за плугом, и те, кто косят и жнут, те, кто пасут стада и прививают черенки к своим грушевым деревьям в сей блаженной стране виноградников, пшеничных полей, зеленых лугов и плодовых садов, не служат городу, а равно не служит ему рабочий люд, обтесывающий камни и строящий в городах и деревнях дома с кровлями из красной черепицы и тонкого шифера, ни ткачи, ни стекольщики, ни каменоломы, корпящие в чреве Кибелы *, ни те ученые мужи, что трудятся в своих замкнутых кабинетах и многотомных библиотеках над познанием дивных тайн природы, ни матери, кормящие своих сосунков, ни добрейшая старушка, что сидит за прялкой у огня и рассказывает внучатам сказки, — а лишь они, трублионы, служат городу, ревя, как ослы на ярмарке.

А так как не было у них ничего, кроме тумана в голове и ветра во рту, то и орали трублионы изо всех сил во имя народного блага и общей пользы.

И не только кричали они: «Многая лета старому полковнику!», но кричали еще без устали о любви своей к городу. Тем самым наносили они превеликую обиду другим гражданам, давая им понять, что те, кто не кричат, не любят родного своего народа и сладостного места своего рождения. А сие есть ложь наглая и поношение нестерпимое, ибо люди с молоком матери всасывают эту естественную любовь, и всякому радостно вдыхать родной воздух.

Было же в ту пору в городе и округе немало добропорядочных и просвещенных людей, каковые любили свой город и государство более крепкой и чистой любовью, нежели помянутые трублионы. Ибо то добропорядочные люди хотели, чтобы город их остался таким же просвещенным, как они, чтобы цвел он красою и добродетелями, неся достоподобным образом в своей деснице золотой жезл, на который опирается рука Правосудия, и был бы он радостным, миролюбивым и свободным, а не грозным, мерзким и жалко подвластным старому полковнику Гелгополю и тому Тинтиннабулу, как этого хотели им наперекор оные

трублионы, державшие в руках освященные четки для бормотанья молитв и толстые дубины, чтобы дубасить добрых горожан. Ибо в самом деле вознамерились они подчинить город черноризцам, лицемерам, лжеправедникам, пустосвятам, очковтирателям, подзаборникам, юбочникам, оклобученным, окуколенным святошам, бритоголовым и босоногим, ханжам, панихидникам, христорадникам, обдувалам, присвоителям наследств, каковые там кишмя кишели и воровски завладели домами и лесами, полями и лугами, отхватив с добрую треть французской земли. И тщились они (означенные трублионы) придать всей стране вид грубый и неотесанный, ибо питали отвращение и омерзение к мышлению, философии, всякому доказательству, приведенному на основе здравого смысла и тонкого разума, и признавали одну только силу, да и то лишь тогда, когда была она самая скотская. Вот как любили они свой город и родину, эти трублионы...»

Читая, г-н Бержере намеренно не произносил всех лишних букв, которыми по моде эпохи Возрождения был нашпигован этот старинный текст. Он чутко воспринимал красоту родного языка. К орфографии он относился с пренебрежением, не видя в ней особого смысла, но зато чтит старое произношение, такое легкое и плавное, к сожалению отяжелевшее в наши дни. Г-н Бержере читал текст, придерживаясь этой устной традиции. Его дикция возвращала старинным словам свежесть и новизну. И потому смысл их был ясен и прозрачен для г-на Губена, который обронил следующее замечание:

— Что мне нравится в этом отрывке, — так это язык. Он наивен.

— Вы находите? — отозвался г-н Бержере.

И он продолжал чтение:

— «Трублионы говорили, будто защищают полковников и ратников города и государства, что было чистой издевкой и глумлением, ибо полковники и ратники, вооруженные множеством пищалей, мушкетов, пушкарских снарядов и иных прегрозных орудий, сами призваны защищать горожан, а не искать защиты у безоружных обывателей, да и трудно было себе

представить, чтобы нашлись в городе такие безумцы, которые бы напали на собственных заступников, тем более что добропорядочные люди, враждовавшие с трублионами, требовали лишь того, чтобы полковники с должным уважением подчинялись чтимым и священным законам города и государства. Однако же помянутые трублионы продолжали кричать и не желали внимать голосу разума, ибо скупая природа лишила их разумения.

Превеликую ненависть питали трублионы к чужеземным народам. При одном имени тех народов или племен глаза у них пребезобразно лезли на лоб, словно у морских раков, и они махали руками, как мельницы крыльями. И не было среди них ни единого писаря или колбасного подмастерья, который бы не собирався послать вызов на поединок королю или королеве, или императору какого-нибудь большого государства, и самый последний шляпник или кабатчик хорохорился, как будто готов был во всякий час выйти на бранное поле. Однако же кончал тем, что сидел дома.

И поелику справедливо, что во все времена малоумные, более многочисленные, нежели разумные, сбегаются на суетное бряцание кимвалов, люди убогого знания и разумения (коих находится немало и среди бедных и среди богатых) пришли к согласию с теми трублионами и трублионствовали вместе с ними. И пошла в городе такая страшная трескотня, что восседавшая в своем храме премудрая девственница Минерва, дабы не быть оглушенной этими кастрюльщиками и расходившимися попугаями, залепила себе уши воском, принесенным ей в дар ее многолюбивыми гиметскими пчелами, давая тем самым понять своим верноподанным, — книжным людям, философам и добрым законодателям города, — что напрасный труд вступать в ученый диспут и в состязание умов с этими трублионами, трублионствующими и тинтиннабульствующими. Некоторые в государстве, не из последних, оглушенные таким грохотаньем, полагали, что эти малоумные готовы низвергнуть государственный строй и перевернуть все вверх дном в благородном и славном

городе, что было бы прежалостным событием. Но настал день, когда трублионы лопнули, потому что были надуты ветром...»

Господин Бержере положил лист на стол. Чтение кончилось.

— Эти старинные книги, — сказал он, — забавляют и развлекают ум. Они заставляют нас забывать о настоящем.

— Да, действительно, — ответил г-н Губен.

И он улыбнулся, что не входило в его обыкновение.

IX

Во время отпуска г-н Мазюр, департаментский архивариус, отправился на несколько дней в Париж, чтобы похлопотать в министерских канцеляриях о пожаловании ему ордена Почетного легиона, произвести исторические изыскания в Национальном архиве и побывать в Мулен-Руж. Прежде чем отдаться этим трудам, он навестил на другой день по приезде, около шести часов вечера, г-на Бержере, который радушно принял его. А так как дневная жара томила людей, вынужденных оставаться в городе под раскаленными крышами и на покрытых едкой пылью улицах, то г-ну Бержере пришла в голову счастливая мысль: он повез г-на Мазюра в Булонский лес, в ресторанчик, где под деревьями на берегу неподвижного пруда были расставлены столики.

Там, под прохладной и мирной сенью листвы, вкушая изысканный обед, они вели непринужденную беседу, толкуя попеременно о серьезной научной работе и о различных видах любви. Затем, без всякой преднамеренности, повинувшись неизбежному влечению, они заговорили о «Деле».

Господин Мазюр испытывал по этому поводу большую тревогу. Якобинец по убеждениям и по темпераменту, патриот в духе Барера и Сен-Жюста, * он вдруг оказался в толпе националистов своего департамента и стал орать заодно со своими заклятыми врагами, роялистами и клерикалами, ссылаясь на

высшие интересы родины, на единство и неделимость республики. Он даже вступил в лигу, возглавляемую Панетоном де ла Барж; но так как эта лига решила обратиться с петицией к королю, то он стал сомневаться в ее сочувствии республике и опасаться относительно ее принципов. Что же касается самого процесса, то, умея обращаться с текстами и направлять свою мысль при критических исследованиях средней трудности, он невольно совестился поддерживать систему этих фальсификаторов, которые, ради гибели невинного, проявили в изготовлении и подделке материалов невиданную до той поры беззастенчивость. Он чувствовал, что его окружает обман, но тем не менее не признавал, что ошибся. На такое признание способны только умы высшего порядка. А г-н Мазюр, напротив, утверждал, что он прав. Справедливо, однако, указать, что сплоченная масса сограждан окружала его, сжимала, стискивала, держала его в тесном кольце ложных представлений. Сведения о следственном материале и о спорах по поводу документов еще не докатились до этого города, приятно раскинувшегося на зеленых откосах лениво текущей реки. В общественных и судебных учреждениях истину заслонял целый сонм политиканов и клерикалов, которых еще недавно г-н Мелин укрывал под фалдами своего деревенского сюртука и которые преуспевали теперь в сознательном пренебрежении правдой. Эта верхушка избранных поддерживала беззаконие ссылками на интересы родины и религии и внушала к нему уважение всем, вплоть до радикал-социалиста аптекаря Мандара.

От проникновения даже самых достоверных сведений о фактах департамент был огражден тем надежнее, что во главе его стоял префект-еврей. Уже потому, что г-н Вормс-Клавлен сам был евреем, он считал себя обязанным служить интересам антисемитов подведомственного ему округа с большим рвением, чем любой префект-католик в подобном же случае. Быстрой и твердой рукой задушил он в департаменте зародившуюся партию сторонников пересмотра «Дела». Он оказал покровительство благочестивым лгунам и так усердно способствовал их процветанию, что граждане

Франсис де Пресансе, Жан Псикари, Октав Мирбо и Пьер Кийар, прибывшие в город, чтобы высказать там свое независимое мнение, почувствовали себя так, словно попали в XVI столетие. Они нашли одних только изуверов-папистов, которые испускали кроваво-жадные крики и не прочь были их укокошить. И так как г-н Вормс-Клавлен со времени приговора 1894 года убедился в невинности Дрейфуса, а после обеда, за сигарой, даже не делал из этого тайны, то националисты, сторону которых он держал, могли считать, что он, оказывая им помощь, проявляет образцовое беспристрастие.

Эта твердая позиция департамента, архивом которого он ведал, сильно импонировала г-ну Мазюру. Хотя он был пламенным якобинцем и личностью, способной на геройство, но, подобно полчищу героев, мог маршировать только под барабанный бой. Г-н Мазюр не был тупым животным. Делиться своими мыслями он считал своим долгом по отношению к себе и по отношению к другим. После супа, в ожидании форели, он облокотился о стол и сказал:

— Мой дорогой Бержере, я патриот и республиканец. Виновен Дрейфус или невиновен, я не знаю. Я не хочу это знать, мне нет до этого дела. Но дрейфусары безусловно виновны. Высказав собственное мнение в противовес приговору республиканского правосудия, они совершили величайшую дерзость. Более того, они привели в волнение всю страну. От этого страдает торговля.

— Посмотрите, какая красивая женщина, — сказал г-н Бержере, — высокая, стройная, гибкая, как молодое деревцо.

— Фу! — кукла, — отозвался г-н Мазюр.

— Это поверхностное суждение, — возразил г-н Бержере. — Живая кукла — это доказательство великого могущества природы.

— Не интересуюсь ни этой, ни другими женщинами, — сказал г-н Мазюр. — Может быть, потому, что моя жена хорошо сложена.

Так он говорил и старался этому верить. На самом же деле он был женат на старой служанке, сожитель-

нице двух архивариусов, своих предшественников. В продолжение десяти лет буржуазное общество сторонилось ее. Но когда муж ее примкнул к националистским лигам департамента, перед ней тотчас же раскрылись двери лучших гостиных в городе. Генеральша Картье де Шальмо появлялась вместе с нею, а полковница Депотер была с нею неразлучна.

— Особенно я ставлю в вину дрейфусарам, что они ослабили, поколебали национальную оборону и уронили наш престиж за границей, — добавил г-н Мазюр.

Последние пурпурные лучи заката скользили между черными стволами деревьев. Г-н Бержере счел своим долгом ответить:

— Примите во внимание, мой дорогой, что если процесс какого-то безвестного капитана стал событием национального значения, то вина падает не на нас, а на министров, которые поддержали ошибочный и незаконный приговор и превратили это в принцип государственного управления. Если бы министр юстиции исполнил свой долг и приступил к пересмотру дела, как только ему доказали необходимость этого, то частные лица не проронили бы ни слова. Они подняли свой голос в связи с плачевным бездействием суда. Что же взволновало страну, что же нанесло ей ущерб и внутри и вовне? А то, что власть упорствовала, покровительствуя чудовищному беззаконию, разбухавшему с каждым днем благодаря лжи, которой силились его прикрыть.

— Но как же, по-вашему, я должен был отнестись к этому вопросу? — ответил г-н Мазюр. — Ведь я патриот и республиканец.

— Если вы республиканец, — сказал г-н Бержере, — то должны чувствовать себя чужим и одиноким среди своих сограждан. Во Франции осталось очень немного республиканцев. Республика не сумела их создать. Республиканцев создает абсолютизм. Любовь к свободе оттачивается на точильном камне монархии и цезаризма, а в стране свободной, или, вернее, воображающей себя свободной, она притупляется. Не в обычае у людей любить то, что у них есть. Да и, по правде говоря, действительность не очень достойна

любви. Надо обладать мудростью, чтобы ею довольствоваться. Можно сказать, что сейчас во Франции нет республиканцев моложе пятидесяти лет.

— Но те, кто моложе, не монархисты.

— Нет, они не монархисты. Если люди часто и не любят того, что у них есть, так как то, что есть, часто недостойно любви, то, с другой стороны, они опасаются всяких перемен, поскольку перемены таят в себе неизвестность. Неизвестность пугает больше всего. Она вместилище и источник всех тревог. Это видно на всеобщем избирательном праве: бог весть, к чему приводило бы голосование, не будь этой боязни перед новшествами, которая налагает на него пуги. В этом праве таится сила, способная творить чудеса добра или зла. Но страх перед неизвестностью, связанной с переменами, сдерживает его, и чудовище подставляет шею под недоуздок.

— Не прикажете ли персиков в мараскине? — спросил метрдотель.

Голос его звучал вкрадчиво и убедительно, а взгляд борзо скользил по расставленным столикам. Но г-н Бержере не ответил ему: он увидел на усыпанной песком дорожке даму в шляпе из рисовой соломки в стиле Людовика XVI, со множеством роз, и в белом муслиновом платье с свободным лифом, перехваченным на талии розовым поясом. Белый рюш, закрывая шею, топорщился наподобие крылышек у ее ангельской головки. Г-н Бержере узнал г-жу де Громанс, которая своим очаровательным видом уже не раз волновала его при встречах среди убийственного однообразия провинциальных улиц. Она пришла в сопровождении элегантного молодого человека, слишком корректного, чтобы не казаться скучающим.

Этот молодой человек остановился подле столика по соседству с тем, где сидели архивариус и профессор. Но г-жа де Громанс, оглядев ресторан, заметила г-на Бержере. Лицо ее выразило досаду, и она увлекла своего спутника подальше на лужайку, под тень большого дерева. При виде г-жи де Громанс г-н Бержере испытал ту жгучую сладость, которую внушает чувственным душам красота живых форм.

Он спросил у метрдотеля, знает ли он, кто этот господин и эта дама.

— И знаю и не знаю, — ответил метрдотель. — Они часто сюда приходят, но кто они — сказать не могу. Мы видим столько народу! В субботу я подавал счета и туда, на траву, и сюда, под деревья, вплоть до живой изгороди, замыкающей лужайку.

— Вот как? Под все эти деревья? — сказал г-н Бержере.

— И на террасу и в беседку.

Господин Мазюр, занятый раскалыванием миндаля, не заметил белого муслинового платья. Он осведомился, о какой женщине идет речь. Но г-н Бержере предпочел оставить за собой преимущество быть хранителем тайны г-жи де Громанс и ничего не ответил.

Тем временем спустилась ночь. На потемневшем газоне и под темной листвою свет, смягченный белой и розовой кружевной бумагой, выделял то здесь, то там столики ресторана и позволял различать зыбкие образы в ореоле лучей. В одном из этих уютных световых кругов пучок белых перышек на соломенной шляпке мало-помалу приближался к лоснящемуся черепу пожилого господина. В соседнем круге вырисовывались две молодые головки, более эфирные, чем ночные мотыльки, порхавшие вокруг. И все это довершала луна, выставляя на фоне побледневшего неба свой белый и круглый лик.

— Не прикажете ли подать еще что-нибудь? — осведомился метрдотель.

И, не дожидаясь ответа, озабоченно устремил дальше свои шаги.

А г-н Бержере сказал с улыбкой:

— Взгляните на этих людей, обедающих в благотельном полумраке. На эти белые перышки и там, в глубине, под большим деревом — на розы, украшающие сооружение из рисовой соломки. Здесь пьют, едят, любят. А для этого человека все они только счета. У них есть инстинкты, желания, может быть даже мысли. И все это — счета. Какая сила духа и языка! Этот служитель чрева поистине велик.

— Мы очень приятно пообедали, — сказал, вставая из-за стола, г-н Мазюр. — Здесь чертовски шикарная публика.

— Все эти черты, вероятно, не очень крупного калибра, — возразил г-н Бержере. — Есть, впрочем, довольно франтоватые. Признаюсь, однако, что я с меньшим удовольствием смотрю на элегантных людей с тех пор, как некие махинаторы привели в движение дряблый фанатизм и легкомысленную жестокость бедных, крохотных умишек. «Дело» вскрыло нравственную болезнь, заразившую наше общество, — подобно тому, как вакцина Коха определяет поражения, произведенные в организме туберкулезом, К счастью, под этой серебристой накипью есть бурные глубины человеческого океана. Но когда же, наконец, моя родина освободится от невежества и ненависти?

X

Вдова великого барона, мать маленького барона, баронесса де Бонмон, ласковая Елизавета, лишилась своего друга Рауля Марсьена при известных нам обстоятельствах. У нее было слишком доброе сердце, чтобы жить в одиночестве. Да это было бы и жаль. Случилось так, что в некую летнюю ночь между Булонским лесом и площадью Звезды она приобрела нового друга. Надлежит сообщить об этом событии личной жизни, ибо оно связано с общественными делами.

Баронесса де Бонмон, проведя июнь месяц в Монтеле, на берегу Луары, проезжала через Париж по дороге в Гмунден. Но дом ее был закрыт, и она поехала в Булонский лес пообедать в ресторане со своим братом бароном Вальштейном, с супругами де Громанс, г-ном де Термондром и юным Лакрисом, тоже находившимся проездом в Париже.

Все они принадлежали к хорошему обществу, а потому все были националистами. Барон Вальштейн не менее других. Австрийский еврей, обращенный в бегство венскими антисемитами, он обосновался во

Франции, где финансировал крупную юдофобскую газету, и примостился под крылышком церкви и армии. Г-н де Термондр, худородный дворянин и захудалый помещик проявлял ровно столько склонности к военщине и клерикализму, сколько нужно было, чтобы не отставать от высшей земельной аристократии, среди которой он вращался. Чета Громансов была слишком заинтересована в восстановлении монархии, чтобы не желать этого от всего сердца. Их денежные дела были в плачевном состоянии. Г-жа де Громанс, красивая, хорошо сложенная и располагавшая полной свободой в своих поступках, еще кое-как изворачивалась. Но Громанс, который уже не был молод и приближался к возрасту, когда люди нуждаются в покое, обеспеченности, уважении, вздыхал о лучших временах и с нетерпением ждал возвращения короля. Он твердо надеялся, что Филипп после Реставрации пожалует ему звание пэра Франции. Это право на кресло в Люксембургском дворце он основывал на своей принадлежности к «присоединившимся» и причислял себя к республиканцам г-на Мелина, которых король будет вынужден оплачивать, чтобы привлечь их на свою сторону. Юный Лакрис был секретарем союза роялистской молодежи в том департаменте, где у баронессы были земли, а у Громансов долги.

Сидя под листвою вокруг накрытого столика, при свечах под розовым абажуром, привлекавших бабочек, эти пятеро людей чувствовали себя спаянными одной и той же идеей, которую Жозеф Лакрис удачно выразил так:

— Надо спасти Францию!

То было время широких замыслов и крылатых надежд. Правда, монархисты потеряли президента Фора и министра Мелина, из которых первый во фраке, в бальных туфлях и гордый, как павлин, а второй в деревенском сюртучишке, в грубых, подбитых гвоздями башмаках и с семенящей походкой, старались загнать в гроб республику вместе с правосудием. Мелин лишился своего поста, а Фор лишился жизни в самый разгар успехов. Правда, похороны президента-националиста не дали того, чего от них ожидали,

и попытка «похоронного переворота» кончилась провалом. Правда, после того, как продавили цилиндр президенту Лубе, социалисты помяли кулаками цилиндры господ из «Белой гвоздики» и из «Василька». Правда, сформировалось республиканское министерство и обеспечило себе большинство. На стороне реакции были: духовенство, магистратура, армия, земельная аристократия, промышленность, коммерция, часть палаты и почти вся пресса. И, как правильно заметил юный Лакрис, если бы министр юстиции попытался произвести обыски в штаб-квартирах роялистских и антисемитских комитетов, он не нашел бы во всей Франции ни одного полицейского комиссара, для того чтобы конфисковать компрометирующие бумаги.

— Надо признать, — заметил г-н де Термондр, — что этот бедный Фор оказал нам немалые услуги.

— Он любил армию, — вздохнула г-жа де Бонмон.

— Несомненно, — ответил г-н де Термондр. — А кроме того, он своими роскошествами приучил народ к монархии. После него король не покажется обременительным, а его выезды не вызовут насмешки.

Госпоже де Бонмон захотелось услышать подтверждение того, что король торжественно въедет в Париж в карете, с шестеркой белых лошадей в упряжке.

— Прошлым летом, проходя однажды по улице Лафайет, — продолжал г-н де Термондр, — я увидел вереницы остановившихся экипажей, группы полицейских в разных местах и шеренги прохожих вдоль тротуаров. Я спросил у какого-то малого, что все это значит, и он ответил мне внушительно, что уже час как ожидают прибытия в Елисейский дворец президента, возвращающегося из Сен-Дени. Я стал присматриваться к этим почтительным ротозеям и к добрейшим буржуа, которые выжидательно и терпеливо сидели в остановившихся фиакрах, держа свертки в руках и умиленно пренебрегая опозданием на поезд. И я с удовольствием убедился в том, что все эти люди покорно осваивались с нравами монархии и что парижане вполне готовы приветствовать своего государя.

— Париж уже больше не республиканский город. Все идет отлично, — подтвердил Жозеф Лакрис.

— Тем лучше, — сказала г-жа де Бонмон.

— А ваш батюшка разделяет эти надежды? — осведомился г-н Громанс у молодого секретаря союза роялистской молодежи.

Он спросил это потому, что мнением мэтра Лакриса, адвоката, защищающего дела конгрегаций, отнюдь не следовало пренебрегать. Мэтр Лакрис работал вместе с генеральным штабом и готовил реннский процесс *. Он составлял для генералов текст их свидетельских показаний и репетировал с ними их выступления на суде. Его причисляли к националистским светилам адвокатуры, но подозревали, что он питает мало доверия к успешному исходу монархических заговоров. Старик в свое время работал на графа Шамбора и на графа Парижского. Он знал по опыту, что республику не так-то легко вышвырнуть за дверь и что она не такая уж покладистая девица, какой выглядит. Он не доверял сенату. Но, недурно зарабатывая во Дворце правосудия, он примирился с тем, что ему приходится жить во Франции в условиях монархии без монарха. Он не разделял надежд своего сына Жозефа, однако обладал достаточной терпимостью, чтобы осуждать пыл восторженной молодежи.

— Отец действует в своей сфере, я — в своей. Но цель у нас одна, — ответил Жозеф Лакрис.

И, наклонившись к г-же де Бонмон, он добавил вполголоса:

— Мы сделаем свое дело во время реннского процесса.

— Помогай вам бог, — произнес г-н де Громанс со вздохом искреннего благочестия. — Пора спасать Францию.

Было очень жарко. Мороженое ели молча. Затем беседа возобновилась, но тусклая, неживленная и вертелась вокруг личных дел и банальных тем. Г-жа де Громанс и г-жа де Бонмон завели речь о туалетах.

— Говорят, что в зимнем сезоне будут носить платья «простушка», — сказала г-жа де Громанс, глядя на баронессу и не без удовольствия представляя себе ее фигуру, отяжеленную пышной юбкой.

— Вы ни за что не угадаете, где я сегодня был, — сказал г-н де Громанс. — Я был в сенате. Заседания

не было. Лапра-Теле показал мне дворец. Я видел все: залу, галерею бюстов, библиотеку. Это прекрасное здание.

Но он не поведал ничего о том, что в амфитеатре, где должны были заседать пэры после реставрации короля, он ощупал бархатные кресла и выбрал для себя место в центре. А перед уходом он спросил у Лапра-Теле, где помещается касса. Этот осмотр палаты будущих пэров снова оживил его вожеления. Он с полной искренностью повторил:

— Спасем Францию, господин Лакрис! Спасем Францию! Время пришло.

Лакрис брался за это. Говорил он очень уверенно и прикинулся большим конспиратором. Он уверял, что все готово. Придется, вероятно, раздробить скулы префекту Вормс-Клавлену и двум-трем другим дрейфусарам в его департаменте. И он добавил, проглотив кусок засахаренного персика:

— Все совершится само собой.

Тогда заговорил барон Вальштейн. Он говорил долго, дал почувствовать, что прекрасно во всем ориентируется, сделал кое-какие предложения и рассказал несколько венских анекдотов, казавшихся ему забавными. Под конец он добавил с неистребимым немецким акцентом:

— Все это очень хорошо, все очень хорошо. Но надо признать, что вы промахнулись на похоронах президента Фора. Если я так говорю, то потому, что я вам друг. Не делайте второй такой ошибки, — иначе за вами больше никто не пойдет.

Он взглянул на свои часы и, увидев, что едва поспеет в Оперу до окончания спектакля, зажег сигару и встал из-за стола.

Жозеф Лакрис был сдержан; к этому его обязывало положение конспиратора. Но, с другой стороны, он охотно подчеркивал свое могущество и влияние. А потому он извлек из кармана синий сафьяновый бумажник, который носил на груди у самого сердца, вынул оттуда письмо и, передав его г-же де Бонмон, сказал с улыбкой:

— Пусть делают обыск в моей квартире. Я все ношу с собой.

Госпожа де Бонмон взяла письмо, прочла его про себя и, порозовев от почтительного волнения, отдала его слегка дрожащей рукой Жозефу Лакрису. А когда это августейшее письмо, вернувшись в синий сафьяновый бумажник, заняло свое место на груди секретаря союза роялистской молодежи, баронесса Елизавета направила на эту грудь долгий, увлажненный слезами, пылающий взгляд. Юный Лакрис представился ей внезапно в сиянии героической красоты.

Сырость и прохлада ночи понемногу пронизывали сотрапезников, засидевшихся под деревьями ресторана. Розовые огни, озарявшие цветы и бокалы, угасали один за другим на опустевших столиках. По просьбе г-жи де Громанс и баронессы Жозеф Лакрис вторично достал из бумажника письмо короля и прочел приглушенным, но внятным голосом:

«Дорогой Жозеф!

Весьма рад патриотическому воодушевлению, которое наши друзья проявили под вашим влиянием. Я видел П. Д. Он настроен бодро.

Всегда к Вам благосклонный *Филипп*».

Прочитав это письмо, Жозеф Лакрис вложил его обратно в синий сафьяновый бумажник, который покоился у него на груди под белой гвоздикой, украшавшей его петлицу.

Господин де Громанс пробормотал несколько одобрительных слов:

— Прекрасно! Так должен изъясняться глава, настоящий глава.

— Я того же мнения, — отозвался Жозеф Лакрис. — Истинная радость исполнять распоряжения такого повелителя.

— И какой сжатый язык, — продолжал г-н де Громанс. — Герцог Орлеанский словно унаследовал тайну эпистолярного стиля у графа Шамбора. Вам, сударыня, конечно, небезызвестно, что никто на свете не писал таких чудесных писем, как граф Шамбор. Он мастерски владел пером. Совершенно бесспорно, что письма ему особенно удавались. Что-то напомина-

ющее его импозантную манеру есть и в записке, которую нам только что прочитал господин Лакрис. Пожалуй, у герцога Орлеанского даже больше живости, больше юношеского пыла... Какая великолепная внешность у этого молодого принца! Настоящий сын Марса и истый француз! Он привлекает, он пленяет. Меня уверяли, что он почти популярен в предместьях, — ему там дали прозвище Солдатский Котелок.

— Да, массы все больше и больше склоняются на его сторону, — сказал Лакрис. — Булавки для галстуков с изображением короля, которые мы обильно раздаем, начинают проникать на заводы и в мастерские. У короля больше здравого смысла, чем принято думать. Мы приближаемся к цели.

Господин де Громанс ответил благожелательным и авторитетным тоном:

— При таком рвении, такой осторожности и преданности, как у вас, господин Лакрис, можно питать любые надежды. И я убежден, что вы добьетесь победы, не вызывая слишком много жертв. Ваши противники сами толпами придут к вам.

Причастность к партии «присоединившихся» не мешала г-ну Громансу желать восстановления монархии, но и не позволяла открыто одобрять те насильственные мероприятия, которые предлагал Жозеф Лакрис за десертом. Г-н де Громанс, посещавший балы префектуры и флиртовавший с г-жой Вормс-Клавлен, деликатно хранил молчание, когда молодой секретарь союза роялистской молодежи высказался за необходимость расправиться с жидовским префектом, но приличие отнюдь не препятствовало ему хвалить письмо принца и дать понять, что он готов на любые жертвы для спасения страны.

Господин де Термондр отличался не меньшим патриотизмом и с не меньшим удовольствием смаковал слог Филиппа. Но, завзятый собиратель редкостей и ярый любитель автографов, он прежде всего подумал о том, как бы ему заполучить у юного Лакриса королевское письмо — в обмен ли, даром ли, или, так сказать, заимообразно. Он раздобыл такими способами письма некоторых лиц, замешанных в процессе

Дрейфуса, и составил интересное собрание. Теперь он подумывал о том, чтобы собрать коллекцию материалов о «Заговоре» и включить в нее в качестве наиболее ценного документа письмо принца. Он сознавал, что дело будет нелегким, и весь погрузился в обдумывание своего замысла.

— Приезжайте ко мне, господин Лакрис, — сказал он — приезжайте ко мне в Нельи: я пробуду там еще несколько дней. Я покажу вам любопытные автографы, и мы еще поговорим об этом письме.

Госпожа де Громанс выслушала с должным вниманием записку короля. Она была светской дамой. Ей очень хорошо было известно, к чему обязывает этикет в отношении августейших особ. Она склонила голову при словах, начертанных Филиппом, как сделала бы реверанс, если бы имела честь присутствовать при церемониальном выходе короля, шествующего в обеденный зал. Но она не испытывала ни энтузиазма, ни благоговения. А кроме того, она доподлинно знала, что представляют собой подобные августейшие особы. Она видела на самом близком расстоянии одного из родичей герцога. Это случилось однажды днем в укромном доме близ Елисейских полей. Сказали друг другу все, что можно было сказать, но свидание не имело продолжения. Его высочество был корректен, однако не проявил широты натуры. Безусловно она оценила оказанную ей честь, но не видела в этой чести ничего из ряда вон выходящего. Она уважала принцев; она любила их при случае, но не мечтала о них. И письмо не вызвало в ней никакого волнения. Что же касается юного Лакриса, то в ее симпатии к нему не было ничего пылкого или захватывающего. Она понимала, одобряла этого маленького русого молодого человека, немало шуплого, довольно милого, который не был богат и выбивался из сил, чтобы свести концы с концами и придать себе весу. Она знала из личного опыта, что нелегко вести широкую жизнь при небольших средствах. Оба они подвизались в высшем обществе. Это могло служить поводом для доброго согласия. Помочь друг другу при случае, — с удовольствием! Но и только!

— Поздравляю, господин Лакрис! Примите мои наилучшие пожелания, — сказала она.

Насколько чувства баронессы Елизаветы были рыцарственнее и нежнее! Ласковая венка всем сердцем отдалась элегантному заговору, которому служила эмблемой белая гвоздика. Она к тому же так обожала цветы. Причастность к заговору дворян в пользу короля давала ей возможность войти и окунуться в общество родовитого французского дворянства, проникнуть в самые аристократические гостиные и вскоре, быть может, попасть ко двору. Она была растрогана, восхищена, смущена. Но нежность преобладала в ней над честолюбием; со всею искренностью своего легко распахивающегося сердца она уловила поэзию в письме принца. И она простодушно высказала то, что думала:

— Господин Лакрис, это письмо поэтично.

— Да, верно, — подтвердил Жозеф Лакрис.

И они обменялись долгим взглядом.

Ничего достопамятного не было произнесено больше в ту летнюю ночь за маленьким столиком ресторана, уставленным свечками и цветами.

Настал час разъезда. После того как баронесса встала из-за стола и Жозеф Лакрис накинул на ее пышные плечи мантию, она протянула руку г-ну де Термондру, который попрощался со всеми. Он решил идти пешком в Нельи, где временно снимал квартиру.

— Это совсем близко отсюда, всего в пятистах шагах. Уверен, сударыня, что вы не знаете Нельи. Я открыл в Сен-Жаме остатки старинного парка с группой Лемуана* в решетчатой беседке. Надо вам как-нибудь ее показать.

И его рослая, сильная фигура тотчас же углубилась в аллею, залитую синим светом луны.

Баронесса предложила супругам Громанс отвезти их домой в клубной карете, которую прислал за ней ее брат Вальштейн.

— Садитесь, мы вполне уместимся втроем.

Но Громансы были люди тактичные. Они крикнули фиакр, стоявший у решетки ресторана, и так быстро в нем скрылись, что баронесса не успела их удержать.

Она осталась одна с Жозефом Лакрисом перед открытой дверцей экипажа.

— Довезти вас, господин Лакрис?

— Боюсь вас стеснить.

— Нисколько. Где вас ссадить?

— На площади Звезды.

Они покатали среди безмолвия ночи по голубой дороге, окаймленной темной зеленью деревьев... И неизбежное свершилось.

Когда карета остановилась, баронесса спросила тихим голосом, будто очнувшись от сна:

— Где мы?

— Увы, уже на площади, — ответил Жозеф Лакрис.

Он сошел, а баронесса поехала в одиночестве по проспекту Монсо в похолодевшей карете, держа памятную белую гвоздику в руках без перчаток, с полузакрытыми веками и полуоткрытыми губами. Она все еще трепетала от жгучих и нежных объятий, которые, приближая к ее груди королевское письмо, слили в ее душе сладость любви с гордостью славы. Она испытывала сознание, что это письмо приобщило ее интимное приключение к национальному величию и к многославной истории Франции.

XI

Это происходило на улице Бэри, в глубине двора, в квартирке на антресолях, куда с трудом проникал свет, такой же унылый, как и камни, по которым он скользил. Сын герцога Жана, Анри де Бресе, председатель исполнительного комитета, сидя за своим бюро, превращал на листе белой бумаги чернильную кляксу в азростат, пририсовывая к ней сетку, канаты и гондолу. Позади него на стене висела большая фотография принца, который выглядел на ней молодым, но очень дряблым, разбухшим и вульгарно торжественным. Портрет окружали трехцветные знамена с геральдическими лилиями. По углам комнаты стояли развернутые флаги с золотыми эмблемами и монархическими девизами, вышитыми вандейскими и бретонскими

дамами. В глубине комнаты на панели развешаны были кавалерийские сабли с картонной полоской, на которой красовалась надпись: «Да здравствует армия!» Под ними — припиленное булавками карикатурное изображение Жозефа Рейнака * в виде гориллы. Всю обстановку этой комнаты, одновременно интимной и административной, составляли конторский шкаф и негораемая касса, вместе с диваном, четырьмя стульями и бюро черного дерева. Вдоль стен были навалены кипы пропагандистских брошюр.

Жозеф Лакрис, секретарь департаментского комитета союза роялистской молодежи, стоя у камина, молча проверял членские списки. Сидя верхом на стуле, устремив взгляд в одну точку и морща лоб, Анри Леон, вице-председатель юго-западных роялистских комитетов, развивал свои взгляды. Он слыл за дерзкого и брюзгливого человека, видевшего все в мрачном свете. Но его наследственные финансовые способности придавали ему вес в глазах сообщников. Он был сыном Леон-Леона, банкира испанских Бурбонов, обанкротившегося во время краха «Всеобщего объединения».

— Нас теснят; что ни говорите, а нас теснят. Я чувствую это с каждым днем. Тиски сжимаются. При Мелине нам было где развернуться, нам было приволье, полное приволье. Мы чувствовали себя свободно, и никто нас не стеснял.

Он раздвинул локти и сделал жест проталкивающегося вперед человека, как бы для того, чтобы дать представление о той легкости, с которой можно было двигаться в счастливые, ныне отошедшие времена. И он продолжал:

— При Мелине у нас было все. Мы, роялисты, пользовались поддержкой правительства, армии, суда, администрации, полиции.

— У нас и теперь есть все это, — возразил Анри де Бресе. — А общественное мнение более чем когда-либо стоит за нас, с тех пор как министры потеряли популярность.

— Нет, теперь совсем не то. При Мелине мы были официальной организацией, державшей сторону пра-

вительства и консервативной. Самое благоприятное положение для устройства заговоров. Не заблуждайтесь: француз в массе консервативен. Он домосед. Переезды его пугают. Мелин оказал нам крупнейшую услугу: он придал нам безвредный вид, безобидный вид, — да, безобидный, такой же, как у него самого. Он утверждал, что республиканцы — это мы, и народ верил ему. Глядя на его лицо, нельзя было заподозрить, что он шутит. Он способствовал тому, что общественное мнение нас признало. Услуга не маленькая!

— Мелин был порядочным человеком! — вздохнул Анри де Бресе. — Надо отдать ему справедливость.

— Это был патриот, — сказал Жозеф Лакрис.

— При этом министре, — продолжал Анри Леон, — у нас было все, мы представляли собой все, нам было доступно все. Нам даже не к чему было скрываться. Мы не стояли вне республики, мы стояли над ней. Мы господствовали над ней с высоты нашего патриотизма. Мы были всем, мы были Францией. Я не питаю нежных чувств к этой потаскушке-республике, но надо признать, она бывает порой славной девчонкой. При Мелине полиция была чудесна, просто пленительна. Да, я не преувеличиваю — просто пленительна! Во время роялистской манифестации, которую вы, Бресе, премило организовали, я кричал до хрипоты: «Да здравствует полиция!» И кричал от чистого сердца. Полицейские с увлечением дубасили республиканцев!.. Жиро-Ришара упрятали в кутузку за то, что он крикнул: «Да здравствует республика!» Мелин устроил нам слишком легкую жизнь. Ну, прямо добрая нянюшка! Он нас баюкал, он нас укачивал. Да, да, сам генерал Декюир сказал: «Раз у нас есть все, чего мы желаем, то зачем нам громить лавочку с риском опозориться!» О, блаженные времена! Мелин водил хоро-вод. Националисты, монархисты, антисемиты, плебисцитники — все мы дружно плясали под его деревенскую скрипку.

Все — поселяне! Все — блаженные! Уже при Дюпюи * я был менее доволен; при нем дело шло не так открыто. Мы были не так спокойны. Безусловно он не желал нам зла. Но его нельзя было назвать настоящим

другом. Это уже не был добрейший деревенский скрипач, который заправлял свадебным хороводом. Это был толстый извозчик, который тряс нас напропалую в своей коляске. Вез он ни так ни сяк, то и дело застревая — вот-вот опрокинет. Рука у него была неловкая. Вы скажете, что он притворялся ротозеем. Но притворное ротозейство сильно смахивает на настоящее. А кроме того, он сам не знал, куда везти. Бывают такие трепалы-извозчики, которые не знают вашей улицы и тащат вас без конца и края по невозможным дорогам, хитро прищуривая глаз. Это действует на нервы!

— Я не защищаю Дююю, — сказал Анри де Бресе.

— А я вовсе не нападаю на него; я рассматриваю его, изучаю, определяю. И я отнюдь не ненавижу его. Он оказал нам большую услугу. Не надо это забывать. Без него нас бы уже упрятали под замок. После провала на похоронах Фора в великий день параллельного выступления наша песенка была бы уж спета, милые мои ягнятки.

— Не нас он щадил, — отозвался Жозеф Лакрис, уткнувшись носом в список.

— Знаю. Он сразу понял, что ничего не может нам сделать, что тут замешаны генералы, что заварилась слишком густая каша. Тем не менее мы должны поставить ему толстую свечу.

— Ба! — сказал Анри де Бресе. — Нас так же оправдали бы, как Дерулета.

— Возможно. Но он дал нам помаленьку оправиться после похоронной катастрофы, и, признаюсь, я ему благодарен за это. С другой стороны, он нас сильно подвел, хотя, вероятно, невольно и без злобных намерений. Вдруг, в самый неожиданный момент, этот толстяк притворился, что мечет против нас громы и молнии. Он прикинулся защитником республики. Знаю, что положение дел обязывало его. Знаю, что это не было всерьез. Но создалось дурное впечатление. Я опять и опять повторяю вам: наша страна консервативна. Дююю не говорил, как Мелин, что консерваторы — это мы, что республиканцы — это мы. Да если б он и сказал, ему бы никто не поверил. Ему никогда

не верили. Во время его министерства мы отчасти утратили наш авторитет в стране. Нас перестали считать правительством. Нас перестали считать безвредными. Мы внушили тревогу записным республиканцам. Это было почетно, но опасно. Дела наши обстояли хуже при Дюпюи, чем при Мелине; они еще хуже при Вальдек-Руссо *, чем были при Дюпюи. Такова правда, горькая правда.

— Несомненно, — заметил Анри де Бресе, покручивая ус, — совершенно несомненно, что министерство Вальдека — Мильерана питает дурные намерения; но, повторяю, оно непопулярно, оно не продержится.

— Оно непопулярно, — продолжал Анри Леон, — но уверены ли вы в том, что оно не продержится достаточно долго, чтобы нам повредить? непопулярные правительства держатся столь же долго, как и другие. Прежде всего, популярных правительств вообще не бывает. Править — значит возбуждать недовольство. Мы здесь между своими, нам незачем говорить заведомые глупости. Неужели вы думаете, что мы будем популярны, когда станем правительством? Неужели вы думаете, Бресе, что народ заплачет от умиления, глядя на ваш камергерский мундир с ключом у поясицы? А вы, Лакрис, неужели вы полагаете, что, когда будете префектом полиции, предместья в день стачки встретят вас триумфальными кликами? Взгляните в зеркало и скажите сами, похожи ли вы на народного кумира! Незачем обманывать самих себя. Мы говорим, что правительство Вальдека состоит из идиотов. Вполне разумно так говорить. Но неразумно в это верить.

— Для нас утешительно то, что правительство слабо и ему не будут повиноваться, — заметил Жозеф Лакрис.

— У нас уж давненько слабые правительства, — сказал Анри Леон. — А все они нас били.

— У правительства Вальдека нет ни одного надежного комиссара, — возразил Жозеф Лакрис. — Ни одного!

— Тем лучше, — сказал Анри Леон, — потому что одного было бы достаточно, чтобы сцапать всех нас троих. Говорю вам, тиски сжимаются. Поразмыслите

над изречением философа, оно того стоит: «Республиканцы плохо управляют, но хороню обороняются».

Между тем Анри де Бресе, склонившись над бюро, превращал вторую чернильную кляксу в жука, пририсовывая к ней голову, два усика и шесть лапок. Он бросил довольный взгляд на свое произведение, поднял голову и сказал:

— У нас еще есть недурные козыри в нашей игре: армия, духовенство...

Анри Леон прервал его:

— Армия, духовенство, суд, буржуазия, молодцы из мясной — словом, весь удешевленный воскресный поезд. И он катит... и будет катить, пока машинист его не остановит.

— Ах! — вздохнул Жозеф. — Если бы Фор был еще президентом...

— Феликс Фор, — продолжал Анри Леон, — держал нашу сторону из тщеславия. Он был националистом, чтобы охотиться у Бресе. Но он обрушился бы на нас, как только бы увидел, что у нас есть шансы победить. Восстановление монархии было не в его интересах. И действительно, какого черта! Что бы дала ему монархия? Мы ведь не могли бы предоставить ему шпагу коннетабля. Пожалеем о нем: он любил армию; всплачем о нем, но не будем безутешны из-за этой утраты. А кроме того, он не был машинистом. Лубе * тоже не машинист. Ни один президент республики, каким бы он ни был, не управляет паровозом. Самое ужасное, друзья мои, то, что ведет республиканский поезд лишь призрак машиниста. Его не видно, а локомотив катит. Вот что меня положительно пугает!

— Есть еще и другое, — продолжал Анри Леон. — Это всеобщая дряблость. Приведу вам по этому поводу глубокомысленное изречение гражданина Бисоло. Это было тогда, когда мы устраивали вместе с антисемитами внезапные манифестации против Лубе. Наши банды проходили по бульварам с криком: «Панама! В отставку! Да здравствует армия!» Было чудесно. Малыш Понтье и оба сына генерала Декюира шли впереди, — восемь бликов на цилиндре, белые гвоздики в петлицах, в руках тросточки с золотым

набалдашником. А цвет роялистских молодчиков составлял колонну. Охотников было много: плата хорошая, а риска никакого. Их заела бы досада, если бы они упустили такой праздничек. Зато какие глотки, какие кулаки, какие дубинки!

Контрманифестация не заставила себя ждать. Отряды, менее многочисленные и менее блестящие, чем наши, но все же решительные и закаленные, двигались нам навстречу с криком: «Да здравствует республика! Долой попов!» Изредка из рядов противников раздавался выкрик: «Да здравствует Лубе!», выкрик, как бы сам удивлявшийся тому, что огласил воздух. Именно этот необычный клич, прежде чем замереть, возбуждал озлобление полицейских, которые как раз в этот час выстраивались шеренгой вдоль бульвара, подобно мрачному бордюру из черной шерсти на цветистом ковре. Но вскоре этот бордюр по собственному почину ринулся на авангард контрманифестации, которую другой отряд полицейских уже обрабатывал с хвоста. Таким образом полиции быстро удалось разнести в клочки приверженцев господина Лубе и уволочь неузнаваемые остатки в роковые глубины мэрии на улице Друо. Таков был распорядок этих беспокойных дней. Находился ли господин Лубе, сидя в своем Елисейском дворце, в неведении относительно приемов, какие пускала в ход его полиция, чтобы поддержать на бульварах авторитет главы государства? Или, осведомленный о них, он не мог, не хотел ничего изменять? Не знаю. Понял ли он, что даже сама его непопулярность, несмотря на свою прочность и непоколебимость, почти что рассеивалась, испарялась при этом приятном и необычайном зрелище, ежевечерне предлагаемом остроумному народу? Не думаю. Ибо в таком случае этот человек был бы страшен: он был бы гениален, и я больше не верил бы, что буду спать этой зимой в Елисейском дворце, на пороге королевского покоя. Нет, я думаю, что и на сей раз, к счастью для себя, он был бессилен что-либо предпринять. Во всяком случае несомненно, что полицейские, действуя совершенно инстинктивно, усердствуя как бы по наитию и внушая симпатию к репрессиям, окружили вступле-

ние президента на его пост некоторой атмосферой народной радости, которой оно было совершенно лишено. Тем самым, если вдуматься, они причинили нам больше зла, чем добра, так как успокоили публику, тогда как в наших интересах было усилить всеобщее недовольство.

Как бы то ни было, а в одну из последних ночей этой знаменательной недели, когда намеченный маневр выполнялся со всею точностью и контрманифестация оказалась атакованной с фронта и тыла полицией, а с фланга нами, я увидел, как гражданин Бисоло отделился от авангарда елисейцев, находившегося под угрозой, и огромными шагами, судорожно корчась всем своим крохотным телом, перемахнул на угол улицы Друо, где я стоял в то время с дюжиной королевских молодчиков, кричавших по моей команде: «Панама! В отставку!» Уютное местечко. Я отбивал такт, а моя команда отчеканивала по слогам: «Па-на-ма!» Это было аранжировано поистине со вкусом. Бисоло прикорнул у моих ног. Он меня меньше боялся, чем шпиков, и был прав. В течение двух лет гражданин Бисоло и я сталкивались лицом к лицу на всех манифестациях, при входе и выходе на собраниях, во главе всех шествий. Мы обменялись всеми политическими ругательствами: «Скуфейник, наймит, поддельщик, предатель, убийца, враг родины!» Это сблизает, порождает взаимную симпатию. А кроме того, меня забавляло, что социалист, почти анархист, вступается за Лубе, который скорее принадлежит к умеренным. Я подумал: «А президент-то, наверно, здорово сердится, что его прославляет этот Бисоло, карлик с громовым голосом, требующий на публичных собраниях национализации капитала. Он предпочел бы, этот буржуй, чтобы его поддерживал другой буржуй, вроде меня. Черта с два. «Панама! В отставку! Да здравствует армия! Долой жидов! Ура королю!» Все это способствовало тому, что я принял Бисоло с величайшей учтивостью. Мне стоило только крикнуть: «Э, да вот Бисоло!», и мои двенадцать молодчиков тотчас бы его изувечили. Но мне это было не нужно. Я ничего не сказал. Мы мирно стояли друг подле друга и наблю-

дали за маршем пленных сторонников Лубе, которых безо всяких церемоний гнали в полицейский участок на улицу Друо. Предварительно избитые до бесчувствия они по большей части висли на руках полицейских агентов, как тряпичные куклы. Среди них был депутат-социалист, красавец мужчина с окладистой бородой. Ему оборвали рукава... Мальчишка из мастерской заливался слезами и кричал: «Мама! мама!..» Тут же — редактор какой-то бездарной газетки с подшибленным глазом и носом, из которого кровь била искристым фонтаном. И подите же! Марсельеза! «И кровью вражьей нивы оросим...» Особенно бросился мне там в глаза один — более почтенный по виду и более несчастный, чем другие. Нечто вроде профессора, человек пожилой и почтенный. Видимо, он хотел дать какие-то разъяснения, старался воздействовать на полицейских изысканными и убедительными словами. Иначе трудно было бы объяснить, почему они гвоздили ему ребра подкованными сапожищами и потчевали его звонкими тумаками в спину. А так как он был очень высок, очень худ, очень слаб и легок, то он комично подпрыгивал под ударами и делал какие-то движения, словно стремился взвониться на воздух. Его обнаженная голова вызывала жалость, у него был вид утопающего, — такой, какой бывает у близоруких, когда они теряют пенсне. Лицо его выражало бесконечную муку существа, для которого наносимые ему удары увесистых кулаков и подбитых гвоздями сапог составляли единственную связь с внешним миром.

Во время шествия этих злополучных пленников гражданин Бисоло, несмотря на то, что находился на вражеской территории, не мог удержаться от вздоха и сказал:

— Как-никак, а все же странно, что в республике подобным образом расправляются с республиканцами.

Я вежливо ответил, что это действительно веселое зрелище.

— Нет, гражданин монархист, — продолжал Бисоло, — это совсем не веселое зрелище. Это грустное зрелище. Но не в нем главное несчастье. Главное несчастье я вам скажу в чем: во всеобщей дряблости.

Так говорил гражданин Бисоло с доверием, делавшим честь нам обоим. Я окинул взглядом толпу, и в самом деле она показалась мне размякшей и лишенной энергии. Из ее толщи временами вырывался крик, напоминавший взрыв детской петарды: «Долой Лубе! Долой воров! Долой жидов! Да здравствует армия!» Во всем этом довольно ясно сквозила сердечная симпатия к милейшим полицейским. Но ни искры электричества, ничего такого, что предвещало бы грозу. И гражданин Бисоло продолжал излагать свою меланхоличную философию:

— Настоящее зло, главное зло — это дряблость публики. Сегодня от этого страдаем мы, республиканцы, мы, социалисты и анархисты. А завтра от этого будете страдать вы, господа монархисты и цезаристы. И вы в свою очередь узнаете, что не заставишь пить осла, который пить не хочет. Арестовывают республиканца, и никто не шелохнется. Когда наступит очередь роялистов и их начнут арестовывать, тоже никто не шелохнется. Будьте уверены: толпа не поторопится освобождать ни вас, господин Анри Леон, ни вашего друга Деруледа.

Признаюсь, эти слова как бы озарили предо мной зловещую пропасть будущего. Тем не менее я довольно хвастливо ответил:

— Господин Бисоло, между вами и нами все же есть разница. Вы для толпы — кучка наймитов и врагов родины, а мы, монархисты и националисты, пользуемся общественным уважением, мы популярны.

В ответ на это гражданин Бисоло улыбнулся самым приятным образом и сказал:

— Конь оседлан, монсеньер, пожалуйста в стремя. Но, когда вы сядете на коня, он преспокойно уляжется на краю дороги и скинет вас на землю. Нет более дрянного коняги на свете, заверяю вас. Кто из таких всадников, скажите пожалуйста, за свою популярность не полатился собственными ребрами? Разве толпа была когда-либо в состоянии хоть отчасти прийти на выручку своим кумирам в минуту опасности? Вы не так популярны, господа националисты, как вы говорите, и ваш претендент Солдатский Котелок неизвестен

народу. Но если когда-либо толпа влюбленно заключит вас в свои объятия, вы скоро обнаружите ее безмерное бессилие и низость.

Я не мог удержаться, чтобы сурово не упрекнуть гражданина Бисоло в клевете на французский народ. Он мне ответил, опираясь на науку, что он занимается социализмом, опираясь на науку, что у него имеется шкатулка с собранием точно классифицированных данных, позволяющих ему методично произвести революцию. И он добавил:

— Суверенитет принадлежит науке, а не народу. Глупость, повторенная тридцатью шестью миллионами ртов, не перестает быть глупостью. Большинство чаще всего обнаруживало чрезвычайную склонность к подчинению. У слабых слабость растет в соответствии с ростом их численности. Толпы всегда инертны. У них появляется некоторая крупинка силы лишь тогда, когда они дохнут с голоду. Я в состоянии вам доказать, что еще утром десятого августа тысяча семьсот девяносто второго года население Парижа было на стороне короля. Я уже десять лет как выступаю с речами на публичных собраниях, и на мою долю пришлось немало тумачков. Воспитание народа еще только в зародыше, и это чистая правда. В мозгу рабочего, в том месте, где у буржуа ютятся бессмысленные и жестокие предрассудки, зияет провал. Его надо заполнить. Это удастся сделать. Но времени потребуется немало. А пока что лучше иметь голову ничем не наполненную, чем наполненную жабами и змеями. Все это научно, все это у меня в шкатулке. Все это соответствует законам эволюции. Но тем не менее всеобщая расхлябанность мне отвратительна. А будь я на вашем месте, она бы меня пугала. Взгляните на своих сторонников, на приверженцев сабли и кропила. До чего они рыхлы, до чего студенисты.

Он изрек это, вытянул руки, бешено заревел: «Да здравствует социальная революция!», нырнул, пригнув голову, в огромную толпу и исчез в ее волнах.

Жозеф Лакрис, выслушав это длинное повествование без всякого удовольствия, спросил, не считать ли гражданина Бисоло просто неотесанным дураком.

— Напротив, — возразил Анри Леон, — это умный человек, и его хорошо иметь соседом по имению, как сказал Бисмарк про Лассалья. Бисоло был более чем прав, говоря, что не заставишь пить осла, который пить не хочет.

XII

Госпожа де Бонмон представляла себе любовь — как бездну, напоенную блаженством. После обеда в «Мадриде», облагороженного чтением королевского письма, и волнующей поездки по Булонскому лесу она сказала Жозефу Лакрису в карете, еще теплой от исторического объятия: «Это будет навеки», — и ее слова, которые покажутся безосновательными, если принять во внимание непостоянство элементов, служащих субстанцией любовных эмоций, свидетельствовали тем не менее о подобающей вере в бытие духа и о благородном влечении к бесконечному. «О да!» — ответил Жозеф Лакрис.

Две недели истекло после этой ночи, полной возвышенных чувств, две недели, в течение которых секретарь департаментского союза роялистской молодежи посвящал свое время заботам о заговоре и о своей любви. Баронесса, в суконном костюме, с белой кружевной вуалеткой на лице, приехала в назначенный час в квартиру, помещавшуюся во втором этаже незаметного дома на улице лорда Байрона, — три комнаты, которые она сама обставила со всей деликатностью своего сердца и приказала обить таким же небесно-голубым шелком, как и тогда, когда она предавалась в обществе Рауля Марсьена любовным радостям, ныне уж забытым. Она застала там Жозефа Лакрису, корректного, гордого и даже немного сурового, обаятельного, молодого, но все еще не совсем такого, каким бы она его хотела видеть. Его нахмуренные брови, его тонкие, сжатые губы, пожалуй, напомнили бы ей Рара, если бы она не обладала благословленным даром полностью забывать прошлое. Она знала, что если он был озабочен, то не без причины. Она знала, что он участвует в заговоре, что на его

долю выпало поручение «прихлопнуть» prefecta первого класса и республиканских главарей одного густо населенного департамента и что он рискует в этом предприятии своей свободой, своей жизнью ради трона и алтаря. Она и полюбила его сперва за то, что он был заговорщиком. Но теперь она предпочла бы, чтобы он был радостнее и нежнее. Он принял ее неплохо. Он сказал ей: «Видеть вас — опьянение. Вот уже две недели я хожу, как в зачарованном сне, клянусь вам». И добавил: «Вы восхитительны». Но он почти не взглянул на нее и тотчас же направился к окну. Он приподнял уголок занавески и стоял в течение десяти минут, что-то разглядывая.

Затем он сказал, не оборачиваясь:

— Я же предупреждал вас, что нам нужно два выхода. Вы не хотели мне верить... Хорошо еще, что тут окна со стороны фасада. Но дерево загоразивает мне вид.

— Акация, — вздохнула баронесса, медленно развязывая вуалетку.

Перед фасадом дома, изрезанным нишами, был палисадник, усаженный акациями и кустами бересклета и обнесенный решеткой с вьющимся плющом.

— Да, акация, если угодно.

— На что вы смотрите, мой друг?

— На человека, который стоит столбом у противоположной стены.

— Что это за человек?

— Не имею никакого понятия. Смотрю, не один ли это из моих шпииков. Меня выслеживают. С тех пор как я в Париже, за мной ходят по пятам два агента. В конце концов это надоедает! Я думал, что на сей раз мне удалось их сбить с толку.

— А почему вы не подадите жалобы?

— Кому?

— Не знаю... Правительству...

Он не ответил и продолжал еще некоторое время свои наблюдения. Затем, убедившись, что этот человек не был одним из его шпииков, Жозеф вернулся к баронессе несколько успокоенный.

— Как я вас люблю! Вы сегодня еще красивее,

чем всегда. Уверяю вас. Вы очаровательны. А вдруг их мне сменили, моих филеров... Это Дюпюи меня наградила ими. Один был большой, другой маленький. Большой носил дымчатые очки. У маленького был клюв попугая вместо носа и раскосые птичьи глаза. Я знал их. Они были не очень опасны. Тертые молодцы. Когда я бывал у себя в клубе, каждый из моих друзей, входя, говорил мне: «Лакрис, я видел ваших детективов у дверей». Я посылал этим добрым малым сигары и пиво. Иногда я подумывал, не приставил ли их Дюпюи ко мне, чтобы меня охранять. Он был вспыльчив, своенравен, взбалмошен, но все же он был патриот. Я не сравню его с теперешними министрами. С ними надо быть начеку. А вдруг они сменили моих филеров, негодяи!

Он снова подошел к окну.

— Нет!.. Это извозчик, который курит трубку. Я не заметил его жилета с желтыми полосами. Страх искажает предметы, это несомненно... Признаюсь, я испугался — за вас, конечно. Я не могу допустить, чтобы вы были скомпрометированы из-за меня. Вы такая очаровательная, такая прелестная...

Он вернулся к ней, заключил ее в объятия и осыпал бурными ласками. Вскоре ее костюм пришел в такой беспорядок, что стыдливость, помимо всякого другого чувства, заставила бы ее снять его.

— Елизавета, скажите: вы любите меня?

— Мне кажется, что если бы я вас не любила...

— Слышите эти тяжелые, ровные шаги на улице?

— Нет, друг мой.

И действительно, погруженная в сладостное небытие, она не прислушивалась к шумам внешнего мира.

— На этот раз никаких сомнений. Это он, мой филер, коротыш, птичья рожа. Всю жизнь буду помнить его шаги. Я отличу их среди тысячи.

И он опять направился к окну.

Эта необходимость быть начеку приводила его в нервное состояние. После поражения, постигшего монархистов 23 февраля, он утратил свою радужную самоуверенность. Он стал думать, что дело затягивает-

ся и усложняется. Большинство его соратников пришло в уныние. Он становился мрачен. Все его раздражало.

На свое несчастье Елизавета сказала ему:

— Не забудьте, мой друг, что вы, по моей просьбе, приглашены завтра на обед к моему брату, барону Вальштейну. Это даст нам случай увидеться.

Он вышел из себя:

— А! ваш брат, барон Вальштейн! Поговорим-ка о нем. Достойный отпрыск своего племени, нечего сказать! Анри Леон предложил ему на этой неделе интересное дело: пропагандистскую газету, которую мы бы безвозмездно распространяли в неограниченном количестве по деревням и рабочим центрам. Он сделал вид, что не понял. Он стал давать советы Леону, хорошие советы. Что же, он думает, ваш брат, что нам нужны от него одни лишь советы?

Елизавета была антисемитка. Она почувствовала, что нарушит хороший тон, если вступится за своего горячо любимого брата барона Вальштейна из Вены. Она промолчала.

Лакрис принялся вертеть в руках маленький револьвер, который перед тем положил на ночной столик.

— Если придут меня арестовывать... — сказал он.

Бешеный прилив гнева затуманил ему мозг. Он воскликнул, что всех этих евреев, протестантов, франкмасонов, свободомыслящих, парламентариев, республиканцев, приспешников правительства надо выпороть публично на площади и вкатить им промывательное из купороса. Он стал красноречив, заговорил благочестивым языком писак из газеты «Крест»:

— Жида и франкмасоны пожирают Францию. Они разоряют нас и губят. Но погодите! Дайте дожить до реннского процесса, и вы увидите, как мы пустим им кровь, прокоптим им окорока, нашпигуем их, подвесим их за шею перед колбасными лавками!.. Все готово. Восстание вспыхнет одновременно в Ренне и в Париже. Дрейфусаров мы истолчем в порошок на мостовой. Лубе поджарим в горящем Елисейском дворце. И давно пора.

Госпожа де Бонмон представляла себе любовь — как бездну, напоенную блаженством. Забыть весь

мир в этой небесно-голубой комнате один только раз на этот день — ей было мало. Она попыталась навести своего друга на более кроткие мысли и сказала:

— У вас красивые ресницы.

И она осыпала его веки мелкими поцелуями.

Когда она в истоме снова раскрыла глаза, вызывая в душе воспоминания о бездонном счастье, в которое погрузилась на мгновение, она увидела Жозефа, озабоченного и, казалось, очень далекого от нее, хотя она одной рукой, красивой, утомленной и безвольной, еще привлекала его к себе. Голосом, нежным, как вздох, она спросила его:

— Что с вами, мой друг? Мы только что были так счастливы!

— О да, — ответил Жозеф Лакрис. — Но я думаю о том, что мне нужно, еще до ночи, отправить три шифрованных депеши. Это и сложно и опасно. Одно время нам даже казалось, что Дюпюи перехватил наши телеграммы от двадцать второго февраля. Там было написано достаточно, чтобы упрятать всех нас за решетку.

— Но он их не перехватил, друг мой?

— Вероятно, нет, раз нас не потревожили. Однако у меня есть основание полагать, что последние две недели правительство следит за нами. И пока мы не задавим потаскушку, я не буду спокоен.

Тогда, нежная и лучезарная, она обвила ему шею руками, словно благоуханной гирляндой цветов, устремила на него влажные сапфиры своих глаз и сказала с улыбкой, игравшей вокруг ее чувственного, свежего рта:

— Перестань тревожиться, друг мой. Не терзай себя. Вы добьетесь успеха, я в том уверена. Она погибла, их республика. Разве она в силах устоять перед тобой? Никто больше не хочет парламентариев. Их не хотят, я это знаю. Не хотят больше франкмасонов, свободомыслящих и всех этих скверных людей, которые не верят в бога, у которых нет ни религии, ни отечества. Потому что религия и отечество ведь это одно и то же, не правда ли? Подъем духа сейчас необыкновенный. По воскресеньям, за обедней, церковь

полна. И там бывают не одни только женщины, как уверяют республиканцы. Там бывают мужчины, мужчины из общества, офицеры. Поверь мне, мой друг, вам все удастся, А кроме того, я буду ставить за вас свечи в часовне святого Антония.

Он ответил задумчиво и внушительно:

— Да, мы покончим со всем в первых числах сентября. Настроение публики благоприятное. Население сочувствует нам и поощряет нас. В чем другом, а в симпатиях у нас нет недостатка.

Она неосторожно спросила его, чего же им не хватает.

— Чего нам не хватает или по крайней мере может не доставать, если кампания затянется, это денег, черт возьми! Деньги — нерв войны. Нам их дают. Но нужно много. Три дамы высшего света принесли нам триста тысяч франков. Его высочество был умилен этой чисто французской щедростью. Не правда ли, в этом подношении, сделанном королевской власти женщинами, есть что-то очаровательное, утонченное, напоминающее старорежимную Францию, старорежимное общество?

В это время баронесса приводила себя в порядок перед зеркалом и, казалось, не слушала.

Он уточнил свою мысль:

— А теперь они катятся, они катятся, эти триста тысяч франков, поднесенные белыми руками. Его высочество сказал нам с рыцарской изысканностью: «Истратйте эти триста тысяч, истратйте их до последнего су». Если бы еще какая-нибудь прелестная ручка принесла нам сто тысяч франков, она заслужила бы благословение. Она вложила бы свою лепту в спасение Франции. Открывается почетная вакансия среди амазонок банковского чека, в эскадроне прекрасных сторонниц Лиги. Обещаю, не боясь быть дезавуированным, обещаю четвертой жертвовательнице собственноручное письмо принца и более того — табурет при дворе * этой зимой.

Однако баронесса, почуяв, что у нее вымогают деньги, испытывала тягостное ощущение. Это был не первый случай. Но она не могла привыкнуть. И она

считала совершенно бесполезным способствовать своими деньгами восстановлению трона. Безусловно она любила этого молодого принца, такого красивого, такого румяного, с такой прекрасной бородой, русой и шелковистой. Она горячо жаждала его возвращения, ей не терпелось увидеть его торжественный въезд в Париж и его помазание. Но в то же время она думала о том, что при двух миллионах дохода он не нуждался ни в каких подношениях, кроме любви, пожеланий и цветов. Она пробормотала, глядя в зеркало:

— Господи, как я растрепана!

Затем, приведя в порядок костюм и прическу, она достала из портмоне стеклянный медальон, оправленный позолоченным ободком и украшенный клевером о четырех листочках. Она протянула его своему другу и сказала прочувствованным тоном:

— Он принесет вам счастье. Обещайте мне хранить его вечно.

Жозеф Лакрис первым вышел из голубой квартирки, дабы отвлечь на себя внимание полицейских агентов, если за ним следили. На площадке лестницы он пробормотал со злобной гримасой:

— Вот уж истая Вальштейн! Даром что крещена... Горбатого могила исправит.

ХIII

Озаренный теплыми, сверкающими лучами заката, Люксембургский сад был как бы запорошен золотой пылью. Г-н Бержере сидел на террасе между г-ном Дени и г-ном Губеном у подножья статуи Маргариты Ангулемской.

— Господа, — сказал он, — я хотел бы прочитать вам статью, появившуюся сегодня утром в «Фигаро». Не стану называть автора. Думаю, что вы и сами угадаете. Раз судьбе так угодно, я охотно буду читать перед статуей этой милой женщины, которая имела вкус к подлинной науке и питала уважение к мужественным людям, а за свою ученость, искренность, терпимость и сострадательность и за попытку вырвать жерт-

вы из рук палача вызвала против себя возмущение всех монастырщиков и лай всех сорбоннщиков. Они подзудили сорванцов Наваррского коллежа оскорбить ее, и, не будь она сестрой французского короля, они зашили бы ее в мешок и бросили в Сену. У нее была нежная, глубокая и радостная душа. Не знаю, выглядела ли она при жизни такой лукавой и кокетливой, как эта мраморная статуя, изваянная малоизвестным скульптором: его звали Лекорне. Несомненно по крайней мере, что этого лукавства и кокетливости мы не обнаруживаем в сухих и точных карандашных рисунках учеников Клуэ, оставивших нам ее портрет. Я скорее подумал бы, что грусть нередко заволакивала ее улыбку и скорбная складка легла у ее губ, когда она сказала: «Я вынесла на своих плечах большее бремя печали, чем то, которое обычно выпадает на долю высокородных людей». Она не была счастлива в личной жизни и видела вокруг себя торжество негодяев, ликовавших под рукоплескания невежд и трусов. Мне кажется, она с сочувствием прослушала бы то, что я собираюсь прочесть, если бы уши ее не были из мрамора.

И г-н Бержере, развернув газету, прочел следующее:

«Канцелярия

Для того чтобы разобраться во всем этом деле, необходимо было с самого начала проявить известное старание и найти некий критический метод, располагая притом возможностью его применить. И действительно, мы видим, что истину первыми постигли те, кто, благодаря своим умственным дарованиям и характеру своих занятий, оказались способнее других справляться со сложными изысканиями. А дальше уже потребовались здравый смысл и внимание. Теперь же достаточно и одного здравого смысла.

Нечего удивляться, что толпа долгое время не хотела признавать очевидную истину, — удивляться вообще не надо ничему. На все имеются свои причины. Наше дело их обнаруживать. В данном случае даже не требуется особенно ломать себе голову, чтобы заметить, что публика была обманута в полной мере и что ее трогательной доверчивостью злоупотребили. Печать

много способствовала успеху обмана. Большинство газет пришло на помощь фальсификаторам и публиковало главным образом лживые или поддельные данные, ругань и враки. Но надо признать, что это чаще всего делалось в угоду желаниям публики и настроениям читателя. И совершенно несомненно, что противодействие истине оказывали инстинкты толпы.

Толпа — я имею в виду толпу людей, неспособных к самостоятельному мышлению, — не поняла; она и не могла понять. Толпа составила себе упрощенное представление об армии. Для нее армия — это парады, марши, смотры, маневры, мундиры, сапоги, шпоры, эполеты, пушки, знамена. А также — призыв новобранцев, ленты на шляпах и литры дешевого вина, казармы, учения, караульня, карцер, солдатская столовая. Это также — народный лубок, маленькие лоснящиеся картинки наших баталистов, изображающих мундиры такими свеженькими, а битвы — такими чистенькими. Это, наконец, символ силы и защиты, чести и славы. Как поверить, что военачальники, гарцующие на конях со шпагой в руке, среди молний стали и огней золота, под звуки музыки, под бой барабанов, могли только что перед этим, запершись в комнате, согнувшись над столами, наедине с прожженными агентами полицейской префектуры подчищать скребком, тереть резинкой или присыпать сандараком, стирать или вставлять чье-либо имя на документе, братья за перо для того, чтобы подделать подписи и загубить невинного, или же могли обдумывать гаерские переодевания для таинственных встреч с изменником, которого им надо было спасти?

Эти преступления казались толпе неправдоподобными уже потому, что от них не веяло свежим воздухом, утренним маршем, учебным полем и что они были пропитаны какой-то затхлой атмосферой, запахом канцелярий; в них не было ничего военного. Действительно, все махинации, пущенные в ход, чтобы замазать судебную ошибку 1895 года, вся эта бесчестная писанина, это низкое и гнусное сутяжничество отдают канцелярией, зловонной канцелярией. Все нелепые выдумки и дурные мысли — все, что четыре оклеенные зелеными

обоями стены, дубовый стол, фарфоровая чернильница с обкладкой из губки, самшитовый нож, графин на камине, конторский шкаф, подушка для гемороиков могут внушить этим сидням, этим «пригвожденным», которых воспел поэт, этим стрикулистам, интригующим и ленивым, рабелепствующим и заносчивым, пустословящим даже при отправлении своих пустых обязанностей, завидующим друг другу и кичащимся своей канцелярией, — все, что можно сделать подлого, лживого, вероломного и глупого при помощи бумаги, чернил, злости и скудоумия, вышло из одного угла этого здания, с барельефами, изображающими военные трофеи и дымящиеся гранаты.

То, что было сделано там в течение четырех лет, чтобы задним числом поставить в вину осужденному данные, которых не удосужились предъявить до приговора, и чтобы обелить виновного, хотя все подтверждало его вину да и сам он ее признал, — отличается чудовищностью, не укладывающейся в мозгу уравновешенного француза, и трагическим шутовством, не вызывающим одобрения в стране, где литература отвергает смешанные жанры. Нужно вплотную подойти к этим документам и следственным материалам, чтобы допустить возможность таких интриг и столь исключительных по своей дерзости и нелепости ухищрений, и я вполне могу понять, почему публика, невнимательная и плохо осведомленная, отказалась поверить в них даже после разоблачений.

А между тем абсолютно достоверно, что в глубине министерских кулуаров, на тридцати квадратных метрах вошеного паркета, несколько бюрократов в военных кепи, одни ленивые и плутоватые, другие суетливые и шумные, обошли правосудие и обманули целый великий народ своей коварной и жульнической бумажной манипуляцией. Но если это дело, состряпанное главным образом Мерсье и его канцелярией, вскрыло отвратительные нравы, то оно, с другой стороны, дало благородным характерам возможность себя проявить.

В той же самой канцелярии нашелся человек, несколько не походивший на этих людей. Он обладал ясным, острым, дальновидным умом, широкой натурой,

терпимой, глубоко гуманной душой, неиссякаемой сердечностью. Его с полным основанием считали одним из самых развитых офицеров армии. И хотя эти свойства, которыми отличаются существа весьма редкого склада, могли бы оказаться ему во вред, он был первым из офицеров его возраста произведен в подполковники, и все предрекало ему в армии блистательное будущее. Другьям была известна его несколько насмешливая снисходительность и надежная доброта. Они видели, что он одарен высоким пониманием красоты, чутко воспринимает музыку и литературу, живет в эфирных сферах идей. Подобно всем людям, живущим глубокой и содержательной внутренней жизнью, он развивал свои умственные и духовные способности в одиночестве. Это умение сосредоточиться в самом себе, эта естественная простота, дух самоотречения и самопожертвования и эта редкая нравственная чистота, иногда сохраняющаяся словно благодатный дар в душах, глубоко познавших зло мира, уподобляли его одному из тех солдат, которых видел или угадал Альфред де Виньи, спокойных повседневных героев, придающих незначительным своим поступкам свойственное им самим благородство и проникнутых при исполнении будничных обязанностей близкой их сердцу поэзией жизни.

Однажды этот офицер, прикомандированный ко второй канцелярии, обнаружил, что Дрейфус был осужден за преступление, которое совершил Эстергази. Он осведомил об этом своих начальников. Они попытались сперва уговорами, затем угрозами отвлечь его от дальнейших розысков, которые, доказав невиновность Дрейфуса, разоблачили бы их промахи и преступления. Он чувствовал, что губит себя своим упорством, однако упорствовал. Со спокойной, неторопливой, уверенной рассудительностью, с хладнокровной отвагой служил он делу правосудия. Его отстранили. Его под вымышленным предлогом послали в Габес и на триполитанскую границу, с единственной целью, чтобы его умертвили там арабские головорезы.

Оказавшись не в состоянии его убить, попытались лишить его чести, утопить в море клеветы. Думали, что вероломными посулами помешают ему говорить на

процессе Золя. Однако он говорил. Говорил со спокойствием праведника, с ясностью души, не ведавшей страха и вожелений. Ни малодушия, ни преувеличений не было в его словах. Тон человека, выполняющего свой долг в этот день, как и во все прочие, ни минуты не думающего, что на этот раз ему нужно проявить особое мужество. Ни угрозы, ни уговоры не поколебали его ни на одно мгновение.

Некоторые лица говорили, что для выполнения своей задачи, для доказательства невинности еврея и виновности христианина он был вынужден преодолеть клерикальные предрассудки, побороть антисемитские тенденции, укоренившиеся в его сердце с раннего возраста на эльзасской и французской земле, где он вырос, чтобы посвятить себя затем служению армии и родине. Те, кто общался с ним, знают, что это неправда, что ему чужд какой бы то ни было фанатизм, что мысли его очень далеки от всякого сектанства, что его высокий разум стоит выше ненависти и пристрастия, что он человек свободомыслящий.

Эту внутреннюю свободу, самую ценную из всех, преследователи не могли у него отнять. В тюрьме, в которую его заключили и камни которой, как выразился Фернан Грег *, послужат цоколем для его статуи, он был свободен, более свободен, чем они. Углубленное чтение книг, спокойные и благожелательные высказывания, его письма, изобилующие высокими и ясными мыслями, свидетельствуют — я это знаю — о независимости его духа. Не он, а они, его преследователи и клеветники, были узниками своей лжи и своих преступлений. Свидетели видели его за замками и решетками невозмутимым, улыбающимся, снисходительным. В то время, когда происходило это великое возбуждение умов, когда устраивали общественные собрания, привлекавшие тысячи ученых, студентов и рабочих, когда листы с петициями покрывались подписями, требовавшими прекращения этого скандального ареста, он сказал Луи Аве, пришедшему его навестить: «Я хладнокровнее вас». Думаю, однако, что он страдал, думаю, что он жестоко страдал от всех этих низостей и подкопов, от этой чудовищной несправедливости, от

этой эпидемии преступности и безумия, от этого возмутительного неистовства людей, обманывавших толпу, и от простительного неистовства толпы, которую держали в неведении. И он тоже видел старушку, несшую в простоте душевной вязанку хвороста для костра невинного человека *. И как мог бы он не страдать, убеждаясь в том, что люди много хуже, чем ему верилось, и что они менее мужественны и менее рассудительны в час испытания, чем полагают психологи в своих кабинетах. Думаю, что он страдал внутренне, страдал в глубине своей молчаливой души, прикрытой плащом стоицизма. Но я постыдился бы жалеть его. Я побоялся бы, чтобы этот шепот людской жалости не достиг его ушей и не оскорбил законную гордость его сердца. И я не только очень далек от того, чтобы жалеть его, но я еще скажу, что он был счастлив, счастлив оттого, что в день неожиданного испытания он оказался подготовленным и не проявил ни малейшей слабости, счастлив оттого, что внезапные обстоятельства позволили ему обнаружить величие его души, счастлив оттого, что он вел себя героически и просто, как подобает честному человеку, счастлив оттого, что служит достойным примером солдатам и гражданам. Жалость надо приберечь для тех, кто смалодушествовал. Полковником Пикаром * можно только восхищаться».

Окончив чтение, г-н Бержере сложил газету. Статуя Маргариты Наваррской вся порозовела. Небо на западе, суровое и блестящее, облачалось как бы в доспехи их облаков, похожих на пластины красной меди.

XIV

В тот же вечер г-н Бержере принимал у себя в кабинете своего коллегу Жюмажа.

Альфонс Жюмаж и Люсьен Бержере родились в один и тот же день, в один и тот же час от двух матерей-подруг, для которых это обстоятельство послужило в дальнейшем неисчерпаемой темой для бесед. Они выросли вместе. Люсьен не видел ничего достойного внимания в том, что вступил в жизнь в тот же момент,

как и его товарищ. Альфонс, более сосредоточенный, упорно думал об этом. Он усвоил привычку сравнивать судьбу этих двух начавшихся одновременно существований и мало-помалу пришел к убеждению, что было бы справедливо, правильно и желательно, чтобы они шли нога в ногу.

Он ревниво наблюдал за этими двумя карьерами-близнецами, посвященными педагогической деятельности, и, сопоставляя свою судьбу с чужой, доставлял себе постоянные напрасные волнения, затуманивавшие природную ясность его души. И то, что г-н Бержере стал профессором университета, меж тем как он был лишь учителем грамматики в пригородном лицее, казалось Жюмажу оскорбительным для зеркала божественной справедливости, хранившегося в его сердце. Он был слишком порядочным человеком, чтобы ставить это в упрек г-ну Бержере. Но когда тому предоставили кафедру в Сорбонне, Жюмаж огорчился исключительно из симпатии к своему другу.

Довольно странным результатом сравнительного изучения обеих жизней было то, что Жюмаж приучил себя думать и поступать во всех случаях обратно тому, как поступал г-н Бержере: искренность и честность не были ему чужды, но непреоборимая подозрительность заставляла его полагать, что, очевидно, не все чисто у человека, делающего карьеру, более удачную и блестящую, чем делает он, а следовательно, незаслуженную. Таким образом, опираясь на уважительные причины, которые он сам измышлял, и на желание быть во всех отношениях антагонистом г-на Бержере и его вторым «я», ополчившимся против него, он примкнул к националистам, как только узнал, что профессор Сорбонны стал сторонником пересмотра «Дела». Он записался в лигу «Французское национальное движение» и выступал там с речами. Соответственно этому он становился в оппозицию к своему другу по всем вопросам, будь то система экономого отопления или же правила латинской грамматики. А так как в конечном счете г-н Бержере был не всегда неправ, то и Жюмаж не всегда был прав.

Эти противоречия, превратившиеся с годами в точный, обоснованный метод, нисколько не омрачили дружбы, возникшей еще в детские годы. Жюмаж искренне огорчался неудачам, постигшим г-на Бержере на протяжении его нередко мучительной жизни. Он навещал его при всяком несчастье, о котором узнавал. Это был друг для тяжелых минут.

Когда он в тот вечер здоровался со своим старым товарищем, на его раскрасневшемся от радости и грусти лице, так хорошо знакомом Люсьену, выражались смущение и смятение.

— Как поживаешь, Люсьен? Я тебе не помешал?

— Нет. Я читал «Тысячу и одну ночь» в недавно появившемся переводе доктора Мардрюса: * рассказ о носильщике и молодых девушках. Это точный перевод и он совсем не похож на «Тысячу одну ночь» нашего старика Галана *.

— Я зашел навестить тебя... потолковать с тобой... Впрочем, ничего важного, — сказал Жюмаж. — Так ты читал «Тысячу и одну ночь»?

— Да, — ответил г-н Бержере. — И читал впервые, потому что почтенный Галан не дает об этих сказках никакого представления. Он превосходный повествователь, старательно исправивший арабские нравы. Его Шахразада, как и Эсфирь Куапеля *, имеет свою ценность. Но тут перед нами Аравия со всеми своими ароматами.

— Я принес тебе статью, — продолжал Жюмаж. — Впрочем, я уже говорил, — ничего важного.

Он извлек из кармана газету. Г-н Бержере медленно протянул за ней руку. Жюмаж сунул газету обратно. Г-н Бержере опустил руку. Тогда Жюмаж дрожащими пальцами положил газету на стол.

— Еще раз повторяю, это неважно. Но я подумал, что, может быть, лучше... может быть, лучше, чтобы ты знал... У тебя есть враги, много врагов.

— Лыстец! — заметил г-н Бержере.

И, взяв газету, он прочел строчки, отчеркнутые синим карандашом:

«Жалкий педель из дрейфусаров, интеллигент Бержере, плесневевший в провинции, получил кафедру в

Сорбонне. Студенты филологического факультета энергично протестуют против назначения этого антифранцузского протестанта. И нас нисколько не удивило известие, что многие из них решили по заслугам встретить свистками этого грязного немецкого жида, которого министр народного просвещения имел дерзость навязать им в профессора».

И когда Бержере дочитал статью, Жюмаж порывисто заявил:

— Не читай! Право, не стоит. Это мелочи.

— Мелочи, согласен с тобой, — возразил г-н Бержере. — И тем не менее не надо отнимать у меня этих мелочей, служащих скромным и слабым, но почетным и несомненным доказательством того, что я сделал в тяжелые времена. Сделал я немного. Но все же и я подверг себя риску. Декан Стапфер был уволен за то, что над чьей-то могилой произнес речь о правосудии. Господни Буржуа * был в то время вершителем судеб преподавательского персонала. А мы знавали и похуже дни, чем те, которые уготовил нам господин Буржуа. Если бы не великодушная стойкость моих начальников, я был бы удален из университета неразумным министром. Тогда я не думал об этом. Но, подумавши теперь, считаю себя вправе потребовать награду за свои действия. А какой награды более достойной, более яркой и разительной, более великой могу я ждать, чем брань со стороны врагов справедливости? Я мог бы пожелать, чтобы автор статьи, против своей воли воздавший мне должное, выразил бы свою мысль в более достопамятных словах. Но нельзя требовать слишком многого.

После этого г-н Бержере просунул лезвие своего ножа из слоновой кости между страницами «Тысячи и одной ночи». Он любил разрезать новые книги. Будучи мудрецом, он доставлял себе наслаждение, приличествовавшее его званию. Суровый духом Жюмаж позавидовал ему в этом невинном развлечении и, дернув его за рукав, произнес:

— Слушай, Люсьен. Я не разделяю ни одного из твоих взглядов на процесс. Я осуждал твое поведение. Осуждаю его и теперь. Боюсь, что оно может иметь губительные последствия для твоего будущего. Настоя-

шие французы никогда тебе не простят. Но считаю нужным сказать, что я решительно против тех полемических приемов, какие применяли некоторые газеты по отношению к тебе. Я их порицаю. Надеюсь, ты в этом не сомневаешься.

— Нисколько не сомневаюсь.

После минутного молчания Жюмаж продолжал:

— Заметь, Люсьен, что тебя оклеветали в отношении твоей служебной деятельности. Ты вправе привлечь клеветника К ответственности перед судом присяжных. Но не советую. Его оправдают.

— Это можно предвидеть, — ответил г-н Бержере. — Разве только, что я явлюсь в зал суда в шляпе с султаном и со шпагой на боку, в сапогах со шпорами и в сопровождении двадцати тысяч наемных крикунов. Ибо тогда судьи и присяжные обсудили бы мою жалобу. Когда им представили сдержанное письмо Золя, обращенное к президенту республики, которому оно было не по уму, присяжные Сенского департамента осудили автора, да и как же иначе! — ведь они совещались под нечеловеческой вой, в обстановке безобразнейших угроз и невыносимого бряцания доспехами, среди призраков заблуждения и лжи, справляющих свой шабаш! В моем распоряжении нет такой грозной аппаратуры. А потому вполне вероятно, что моего клеветника оправдают.

— Но не можешь же ты вовсе не реагировать на оскорбления! Как ты намерен поступить?

— Никак. Я считаю себя удовлетворенным. Я в равной мере доволен и поношениями прессы и ее похвалами. В газетах торжеству правды противники ее содействовали в такой же мере, как и друзья. Когда, к чести Франции, горсточка людей разоблачила мошенническое осуждение невинного, правительство и молва обошлись с ними, как с врагами. Однако они не умолкали. И голос их восторжествовал. Большинство газет вело против них, как ты знаешь, бешеную кампанию. Но газеты эти невольно послужили делу истины и, опубликовав фальшивые документы...

— Не так уж много было фальшивых документов, Люсьен...

— ... и, опубликовав фальшивые документы, смогли установить их подложность. Ложь была разбита, и уже невозможно было спаять воедино ее обломки. В конечном счете сохранилось то, в чем была связь и последовательность. Истина обладает силой сцепления, которой нет у лжи. Оскорбления и ненависть перед ней бессильны, она выковала цепь, которую ничем не разорвать. Свободе печати и ее безнравственности обязаны мы торжеством нашего дела.

— Но ваше дело вовсе не восторжествовало, а мы вовсе не побеждены! — воскликнул Жюмаж. — Совсем напротив. Общественное мнение страны высказалось против вас. Должен, к твоему огорчению, сказать, что тебя и твоих друзей единодушно ненавидят, поносят, оплевывают. Мы побеждены?! Ты шутишь. Вся страна за нас.

— Вы побеждены изнутри. Если бы я судил по одной только внешности, я мог бы счесть вас победителями и поставить крест на правосудии. Преступники не наказаны; должностные преступления и лжесвидетельство признаны достойными поступками. Я вовсе не надеюсь на то, что противники истины признаются в своей ошибке. На такой шаг способны лишь величественные души.

Настроение умов мало изменилось. Публика осталась почти такой же неосведомленной. Не произошло никаких резких, потрясающих переворотов в умах. Не случилось ничего заметного или поразительного. А все-таки уже прошли те времена, когда какой-нибудь президент республики принижал до уровня своей душонки правосудие, честь родины, внешнюю политику государства, когда могущество министра покоилось на сговоре с врагами тех основ, охрана которых на него возложена; прошло время грубых посягательств и лицемерия, когда презрение к интеллекту и ненависть к справедливости управляли и общественным мнением и государственной доктриной, когда власти покровительствовали субъектам, орудуя дубинкой, когда считалось преступлением воскликнуть: «Да здравствует республика!» Эти времена уже далеки от нас, они как бы упали в бездну прошлого, канули во мрак варварских веков.

Они могут вернуться; мы пока не отделены от них ничем сколько-нибудь прочным или по крайней мере ясным и определенным. Они развеялись, как и облака заблуждения, которыми они порождены. Малейшее дыхание ветра может еще вернуть эти тени. Но если бы даже все на свете сговорилось вас поддержать, вы тем не менее безнадежно погибли. Вы побеждены изнутри, и это поражение непоправимо. Когда вас поражают снаружи, вы еще можете продлить сопротивление и надеяться на реванш. Но ваша гибель — внутри вас. Неизбежные последствия ваших ошибок и преступлений дают себя знать помимо вашей воли, и вы с удивлением видите, что пошли ко дну. Неправедные и действующие насилем, вы гибнете от собственной неправедности и насилия. И вот вся огромная партия сторонников беззакония, хотя она и осталась безнаказанной, хотя ее окружили уважением, хотя ее боятся, падает и рушится сама собой.

Стоит ли считаться с тем, что формальное признание этого факта запаздывает или совсем отсутствует? Естественное и подлинное правосудие заключено в самих последствиях деяния, а не во внешних определениях, зачастую недостаточно полных, а иногда и произвольных. К чему сетовать на то, что преступники ускользают от закона и продолжают пользоваться презренными почестями? Это для нашего социального строя так же несущественно, как в эпоху юности земли несущественно было то, что по исчезновении гигантских ящеров первобытных океанов, уступивших место животным более красивым по форме и с более развитыми инстинктами, еще оставалось несколько чудовищ, последышей обреченной породы, увязших на илистом побережье.

Выйдя от своего друга, Жюмаж встретил у решетчатой ограды Люксембургского сада г-на Губена.

— Я иду от Бержере, — сказал Жюмаж. — Его состояние меня удручает. Я застал его угнетенным, подавленным. Процесс сокрушил его.

Анри де Бресе, Жозеф Лакрис и Анри Леон собрались в помещении исполнительного комитета на улице Бэри. Они покончили с текущими делами. Затем Жозеф Лакрис обратился к Анри де Бресе:

— Дорогой председатель, я хочу попросить у вас префектуру для одного искреннего роялиста. Уверен, что вы мне не откажете, когда узнаете, кто такой мой кандидат. Его отец, Фердинанд Делион, горнозаводчик в Валькомбе, со всех точек зрения достоин благоволения короля. Это хозяин, пекущийся о физическом и моральном благополучии своих рабочих. Он снабжает их лекарствами и наблюдает за тем, чтобы они ходили по воскресениям к обедне, посылали своих детей в конгрегационные школы, голосовали за кого надо и не вступали бы в профессиональные союзы. К сожалению, ему чинит препятствия депутат Котар, а супрефект Валькомба не оказывает ему должной поддержки. Сын его Гюстав — один из наиболее активных и способных членов моего департаментского комитета. Он энергично провел антисемитскую кампанию в нашем городе и подвергся аресту во время манифестации против Лубе в Отейле. Вы не откажете, дорогой председатель, в префектуре Гюставу Делиону.

— В префектуре!.. — пробормотал Бресе, перелистывая список чиновников. — В префектуре... У нас остались только Гере и Драгиньян. Хотите Гере?

Жозеф Лакрис слегка улыбнулся и сказал:

— Но, дорогой председатель, Гюстав Делион — мой сотрудник. В назначенный день он, под моим руководством, поможет силой устранить префекта Вормс-Клавлена. Было бы справедливо, если бы он занял его место.

Анри де Бресе, уставившись в список, ответил, что это невозможно. Преемник Вормс-Клавлена уже назначен. Его высочеству угодно было на этот пост определить Жака де Када, одним из первых поставившего свою подпись при сборе пожертвований в пользу вдовы Анри.

Лакрис возразил, что Жак де Кад был для департамента чужим человеком. Анри де Бресе напомнил, что

повеления короля пересмотру не подлежат, и спор грозил стать довольно бурным, когда Анри Леон, сидя верхом на стуле, протянул руку и заявил не допускающим возражений тоном:

— Преемником Вормс-Клавлена не будет ни Жак де Кад, ни Гюстав Делион. Им будет Вормс-Клавлен. Лакрис и Бресе единодушно возмутились.

— Им будет Вормс-Клавлен, — повторил Леон. — Вормс-Клавлен, который не станет дожидаться вашего прихода, а водрузит на крыше префектуры королевский флаг, так что министр внутренних дел, назначенный королем, тут же распорядится по телефону и оставит его во главе департаментской администрации.

— Вормс-Клавлен — префект при монархии! Это не укладывается в голове, — презрительно заявил Бресе.

— Это действительно могло бы шокировать, — ответил Анри Леон, — но если префектом будет назначен шевалье де Клавлен, то возразить будет нечего. Не будем создавать себе иллюзий. Лучшие места король отдаст не нам. Неблагодарность — первое правило монархов. Ни один из Бурбонов от него не отказывался. Я говорю это в похвалу французскому королевскому дому.

Вы всерьез думаете, что король составит свое правительство из членов «Белой гвоздики», «Василька» и «Розы Франции», что он наберет министров из Жокей-клуба, из Пюто *, а Христиани * будет назначен оберцеремониймейстером? Сильно ошибаетесь! «Роза Франции», «Василек» и «Белая гвоздика» останутся внизу, в тени, где ютятся фиалки. Христиани будет освобожден, вот и все. Он будет на дурном счету за то, что продал цилиндр Лубе. И совершенно правильно!.. Лубе, являющийся теперь для нас гнусным панамистом, превратится в нашего предшественника, когда мы его заменим. Король усядется в его кресло на отейльских скачках и тогда будет считать, что Христиани создал дурной прецедент, а уж награждать Христиани во всяком случае не станет. Да и сами мы, нынешние заговорщики, подпадем под подозрение. При дворах не любят заговорщиков. Я говорю это затем, чтобы изба-

вить вас от горьких разочарований. Жить без иллюзий — вот рецепт счастья. Я лично не стану жаловаться, если о моих услугах забудут и отнесутся к ним с пренебрежением. Политика не руководствуется чувством. И я слишком хорошо знаю, к чему будет вынуждено его величество, после того как мы поможем ему воссесть на трон его предков. Прежде чем вознаграждать бескорыстную преданность, хороший король оплачивает продажные услуги. Не сомневайтесь в этом. Самые высокие почести и самые прибыльные должности достанутся республиканцам. Из одних только «присоединившихся» составитя треть административного персонала, и они подоспеют к кассе раньше нас. Но это будет справедливо. Громанс, старый шуан, «присоединившийся» при республике Мелина, определяет свое положение без всяких обиняков, когда говорит нам: «Я теряю из-за вас кресло в сенате. Вы должны дать мне кресло в палате пэров». Он его и получит. Да в сущности он этого и заслуживает. Но что там доля, которую урвут «присоединившиеся», по сравнению с долей истых республиканцев, которые изменяют только в последнюю минуту! Вот кому достанутся портфели и шитые мундиры, и титулы, и дотации. Знаете, где сейчас находятся первые из наших будущих министров и добрая половина будущих пэров Франции? Не ищите их ни в комитетах, где мы ежечасно рискуем быть схваченными, как какие-нибудь мошенники, ни при бродячем дворе страдальца-изгнанника, нашего юного и прекрасного короля. Вы найдете их в прихожих радикальных министров, и в гостиных Елисейского дворца, и у всех окошек касс, где платит республика. Вы, что же, никогда не слышали о Галейране * и о Фуше? * Не изучали истории, хотя бы по книгам господина Энбера де Сент-Аман? Не эмигранта, а царубийцу назначил Людовик Восемнадцатый министром полиции в тысяча восемьсот пятнадцатом году. Наш юный король, конечно, не так хитер, как Людовик Восемнадцатый. Но не надо думать, что он лишен рассудительности, — это было бы непочтительно и, пожалуй, слишком строго. Когда он станет королем, он отдаст себе отчет в требованиях момента. Всех лиде-

ров республиканской партии, которые не окажутся убитыми, изгнанными, сосланными или неподкупными, придется вознаградить. Иначе вся эта обширная и могучая партия перестроится и ополчится против него. И сам Мелин превратится в ярого противника.

А раз уж я назвал Мелина, то скажите сами, Бресе, что будет выгоднее королевской власти: чтобы председательствовал в палате пэров ваш отец или же Мелин, герцог Ремирмонтский, князь Вогезский, кавалер ордена Почетного легиона первой степени, орденов Агрикультуры, Лилии и святого Людовика? Не может быть никаких колебаний: герцог Мелин обеспечит короне больше сторонников, чем герцог де Бресе. Вас, по-видимому, надо учить азбуке реставраций!

Нам достанутся только звания и должности, которыми пренебрегут республиканцы. Расчет будет на нашу бескорыстную преданность. Нашего недовольства бояться не будут, считая нас безобидными шавками. Никому не придет в голову, что мы можем стать в оппозицию.

Так нет же! Они ошибутся. Мы будем вынуждены стать в оппозицию, и мы так и сделаем. Это будет полезно и вовсе не трудно. Конечно, мы не примкнем к республиканцам: во-первых, это безвкусица, а во-вторых, наша лояльность нам это запрещает. Мы не можем быть меньше монархистами, чем сам монарх, но больше — пожалуйста. Его высочество герцог Орлеанский не демократ, надо отдать ему справедливость. Ему нет дела до положения рабочих. Он старорежимного склада. Но хотя он и обедает в коротких штанах и бретонском жилете, со всеми орденами на шее, а все-таки, когда у него будут либеральные министры, он тоже будет либералом. Никто нам тогда по помешает стать ультрароялистами. Мы будем тянуть вправо, в то время как республиканцы будут тянуть влево. Мы окажемся опасными, и к нам начнут относиться милостиво. И почему знать, не спасут ли на этот раз монархию именно ультрароялисты? У нас есть совершенно редкостная армия. Армия в данный момент религиознее духовенства. У нас есть совершенно редкостная буржуазия, буржуазия антисемитская, кото-

рая думает так, как думали в средние века. У Людовика Восемнадцатого не было ничего подобного. Дайте мне портфель министра внутренних дел, и я берусь, при наличии таких превосходных элементов, продлить абсолютную монархию на десяток лет. Потом придет социальная революция. Но и десять лет — недурной срок.

После этих слов Анри Леон закурил сигару. Жозеф Лакрис, не расстававшийся со своею мыслью, попросил Анри де Бресе посмотреть, не найдется ли все-таки какой-нибудь хорошей префектуры. Но председатель ответил, что нет ничего, кроме Гере и Драгиньяна.

— Что ж, оставим Драгиньян за Гюставом Делионом, — сказал со вздохом Лакрис. — Он будет недоволен. Но я объясню ему, что это только для начала.

XVI

Баронесса де Бонмон пригласила всю титулованную, промышленную, финансовую знать, владевшую окрестными замками, на благотворительный праздник, который она устраивала 29-го числа в прославленном дворце Монтиль, воздвигнутом в 1508 году Барнаром де Пав, генерал-фельдцейхмейстером при Людовике XII, для Николетты де Восель, своей четвертой супруги, и купленном после французского займа 1871 года бароном Жюлем. Г-жа де Бонмон была настолько тактична, что не послала приглашений еврейским замкам, хотя у нее были там и друзья и родственники. Крестившись после смерти мужа и перейдя во французское подданство пять лет тому назад, она посвятила себя религии и отечеству. Подобно своему брату барону Вальштейну из Вены, она благородно отличалась от прежних своих единоверцев искренним антисемитизмом. При всем том она не была честолюбива, и природные наклонности влекли ее к тихим радостям. Она удовлетворилась бы скромным положением в обществе христианской аристократии, если бы сын не принуждал ее к пышному образу жизни. Это он, молодой барон Эрнест, толкнул ее на то, чтобы завязать знакомство с де Бресе. Это он

включил весь гербовник провинции в список приглашенных на праздник. Это он привез в Монтиль для участия в спектакле маленькую герцогиню де Мозак, заявлявшую, что она достаточно родовита, чтобы позволить себе ужинать у цирковых наездниц и напиваться с кучерами.

Программа развлечений включала спектакль «Джокондо» * при участии великосветских любителей, благотворительный базар в парке, венецианский праздник на пруду, иллюминацию.

Наступило уже 17-е. Приготовления шли со страшной спешкой и среди невероятного сумбура. Маленькая труппа репетировала пьесу в длинной галерее эпохи Возрождения, под сенью плафона, в кессонах которого с удивительным разнообразием композиции повторялось изображение геральдического павлина Бернара де Пав, привязанного за лапу к лютне Николетты де Восель.

Господин Жермен аккомпанировал певцам на рояле, в то время как плотники звонкими ударами деревянных молотков приколачивали задники к киоскам в парке. Режиссировал Ларжийер из Комической оперы.

— Прошу вас, герцогиня.

Жермен снял все кольца, кроме одного — на большом пальце, и опустил руки на клавиатуру.

— Ла, ла...

Но герцогиня, принимая бокал из рук Эрнеста де Бонмона, сказала:

— Дайте допить коктейль.

Когда с этим было покончено, Ларжийер повторял:

— Начнем, герцогиня:

О миг победный!
Сбылся мой сон...

И руки г-на Жермена, без золота и камней, за исключением одного аметиста на большом пальце, снова опустились на клавиши. Но герцогиня не запела. Она с интересом разглядывала аккомпаниатора:

— Мой дорогой Жермен, я люблюсь вами. Вы отрастили себе грудь и ляжки! Поздравляю! Вам это удалось, честное слово! А я! смотрите...

Герцогиня провела руками сверху вниз по своему суконному костюму:

— А я все спустила.

Она сделала полуоборот:

— Ничего не осталось! Все ушло. А тем временем появилось у вас. Забавно в самом деле. О! убыли нет. Все уравновесилось.

В это время Рене Шартье, игравший Джокондо, стоял неподвижно, вытянув шею трубою и думая только о бархатистости и жемчужных переливах своего голоса, серьезный и даже несколько мрачный. Он потерял терпение и сухо заявил:

— Мы никогда не подготовимся! Это просто несчастье.

— Вернемся к квартету, — сказал Ларжийер. — Начинайте!

О миг победный!
Сбылся мой сон.
Джокондо бедный,
Ты побежден!

— Выходите, господин Катрбарб.

Жерар Катрбарб был сыном епархиального архитектора. Его стали принимать в обществе с тех пор, как он выбил стекла у г-на Мейера, подозреваемого в том, что он еврей. У него был красивый голос, но он вступал не вовремя. И Рене Шартье бросал на него разъяренные взгляды.

— Герцогиня, вы не на месте.

— О! конечно, не на месте.

Рене Шартье, страдаемый горечью, подошел к Эрнесту де Бонмону и сказал ему на ухо:

— Прошу вас, не давайте больше коктейлей герцогине. Она провалит спектакль.

Ларжийер тоже жаловался. Хор пел вразброд, и ансамбля не получалось, Тем не менее приступили к трио.

— Господин Лакрис, вы не на месте.

Жозеф Лакрис не был на месте. И нужно сказать, что это было не по его вине. Г-жа де Бонмон то и дело увлекала его в укромные уголки и шептала:

— Скажите, что вы меня еще любите. Если вы меня больше не любите, я чувствую, что умру.

Она расспрашивала его также о том, как обстоят дела у заговорщиков. А так как они обстояли плохо, то эти вопросы его раздражали.

Он также не мог ей простить, что она не дала денег на предприятие. Он направился решительным шагом к хору, в то время как Рене Шартье вдохновенно заливался:

Огнем любви палимый,
Бежишь от ласк любимой.

Молодой барон подошел к матери:

— Мама, не доверяйся Лакрису.

Ее передернуло. Но сейчас же она напустила на себя небрежность:

— Что ты хочешь этим сказать?.. Он серьезный молодой человек, более серьезный, чем бывают в его возрасте; он занят важными делами; он...

Маленький барон Эрнест пожал сутулыми атлетическими плечами.

— Говорю тебе: не доверяйся. Он хочет подковать тебя на сто тысяч франков. Он просил, чтобы я помог ему выудить у тебя чек. Но пока обстоятельства не переменятся, я не вижу в этом особой нужды. Я стою за короля, но сто тысяч франков — это кругленькая сумма.

Рене Шартье пел:

Неверный, легкокрылый,
Спешишь от милой к милой.

Лакей подал баронессе письмо. Оно было от де Бресе: будучи вынуждены уехать до 29-го, они приносили извинение в том, что не могут присутствовать на благотворительном базаре, и посылали свою лепту.

Она протянула письмо сыну, который, злобно улыбувшись, спросил:

— А Куртре?

— Они извинились вчера, так же как и генеральша Картье де Шальмо.

— Чучела!

— Будут Термондры и Громансы.

— Еще бы! Это их хлеб — бывать у нас.

Они обсудили положение. Дело обстояло плохо. Термондр вопреки его обыкновению не обещал пригласить к ним своих кузин и теток, весь выводок мелкопоместных дворяночек. Даже крупная промышленная буржуазия, казалось, колебалась и искала предлога, чтобы увильнуть. Маленький барон подвел итог:

— Твой базар пошел прахом, мама! Нас засадили в карантин. Это яснее ясного.

Слова сына огорчили кроткую Елизавету. Ее красивое лицо, всегда озаренное улыбкой влюбленной женщины, омрачилось.

На другом конце зала, перекрывая бесчисленные шумы, возносился голос Ларжийера:

— Не то!.. Мы никогда не справимся.

— Слышишь! — сказала баронесса. — Он говорят, что мы не справимся к сроку. Не отложить ли празднество, раз оно не удалось?

— Ты, мама, у меня действительно рохля!.. Я не упрекаю тебя. Это в твоей натуре. Ты незабудка и незабудкой останешься. Я создан для борьбы. Я силен. Правда, я дышу на ладан, но...

— Дитя мое...

— Пожалуйста, без слез. Я дышу на ладан, но буду бороться до конца.

Голос Рене Шартье журчал, как чистый ручеек:

Всегда, всегда мечтаешь
О той, по ком сгораешь,
Вкусить желаешь вновь
Ту первую лю...

Аккомпанемент неожиданно прекратился, и раздался страшный шум. Г-н Жермен гнался за герцогиней, которая убегала, схватив с рояля кольца аккомпаниатора. Она укрылась в монументальном камине, где на анжуйском шифере рельефом выделялись любовные забавы нимф и метаморфозы богов. И оттуда, ука-

зывая на маленький кармашек своего лифа, она кричала:

— Здесь они, ваши кольца, моя старая Жермена. Приходите за ними... Вот вам щипцы Людовика Тринадцатого, чтоб их достать...

И она звякала под носом у музыканта огромными каминными щипцами.

Рене Шартье, свирепо вращая белками, бросил партитуру на рояль и заявил, что отказывается от роли.

— Не думаю, чтобы и Лизанкуры приехали, — со вздохом сказала сыну баронесса.

— Не все еще потеряно. У меня есть идея, — сказал маленький барон. — Надо уметь приносить жертву, когда это может быть полезно. Не говори ничего Лакрису.

— Не говорить Лакрису?

— Да, не говори ничего обязывающего. И представь мне действовать.

Он отошел от матери и направился к шумной группе хористов. Герцогине, попросившей у него еще коктейль, он спокойно ответил:

— Отстаньте.

Затем он уселся подле Жозефа Лакрису, погрузившегося в размышления вдали от других, и некоторое время о чем-то тихо говорил с ним. Вид у него был серьезный и убежденный.

— Это действительно так, — сказал он секретарю комитета роялистской молодежи. — Вы совершенно правы. Надо свергнуть республику и спасти Францию. А для этого нужны деньги. Моя мать того же мнения. Она предлагает внести аванс в размере пятидесяти тысяч франков в шкатулку короля для расходов на пропаганду.

Жозеф Лакрис поблагодарил от имени короля.

— Его величество будет счастлив узнать, — сказал он, — что ваша матушка присоединила свой патриотический дар к приношению трех французских дам, проявивших истинно рыцарскую щедрость. Будьте уверены, — добавил он, — что его величество засвидетельствует свою благодарность собственноручным письмом.

— Не будем об этом говорить, — сказал молодой барон.

И после краткого молчания добавил:

— Дорогой Лакрис, когда вы увидите Бресе и Куртре, скажите им, чтобы они приехали на наш маленький праздник.

XVII

Наступил первый день нового года. Воспользовавшись тем, что ненадолго стих проливной дождь, г-н Бержере и дочь его Полина выбрались из дому и пошли по улицам, покрывшимся свежей коричневой грязью. Они отправились с новогодними поздравлениями к тетке с материнской стороны, которая была еще жива, но жива только для себя, и то еле-еле, ютясь на улице Русле, среди перезвона монастырских колоколов, в тесном жилище, напоминавшем келью и выходившем на огород. Полина была весела без всякой причины, только потому, что в эти праздничные дни, отмечавшие бег времени, она ярче ощущала очарование своей расцветающей молодости.

Госпожина Бержере не покидала в этот торжественный день его обычная снисходительность, ибо, не ожидая больше ничего особенно хорошего от людей и жизни, он знал, подобно г-ну Фагону *, что надо многое прощать природе. Нищие, выстроившиеся вдоль улиц, как канделябры или переносные алтари во время крестного хода, составляли украшение этого общественного празднества. Все они, все наши бедняки, члены нищенского братства, христарадники, жалкие и изможденные, кликуши-побирушки, калеки и бродяги, лохмотники, воры-попрошайки, пришли украсить собой буржуазные кварталы. Но, подчиняясь всемирному потускнению жанров и приспособляясь ко всеобщему измельчанию нравов, они не выставляли напоказ, как во время *великого коэсра* *, чудовищное уродство и ужасающие язвы. Они не обвязывали окровавленными тряпками свои искалеченные руки или ноги. Они были примитивны, демонстрировали только безобидные увечья. Один из них, ковыляя с удивительным провор-

ством, довольно долго преследовал г-на Бержере. Затем он остановился и снова прирос, как фонарный столб, к краю тротуара.

Тогда г-н Бержере сказал дочери:

— Я только что совершил дурной поступок: я подал милостыню. Подав два су Колченожке, я испытал постыдную радость унижить своего ближнего, я поддержал отвратительный сговор, увековечивающий силу за сильным и слабость за слабым, скрепил своей печатью древнюю несправедливость, содействовал тому, чтобы этому человеку оставили лишь полдуши.

— Ты сделал все это, папа? — недоверчиво спросила Полина.

— Почти все, — ответил г-н Бержере. — Я продал своему брату Колченожке братскую любовь, обвесил его. Я унизил себя, унизив его. Ибо милостыня одинаково позорит того, что берет, как и того, кто дает. Я поступил дурно.

— Не думаю, папа, — сказала Полина.

— Не думаешь, потому что не обладаешь философским мышлением, — возразил г-н Бержере, — и не умеешь извлекать из невинного на взгляд поступка бесчисленные последствия, которые в нем заложены. Этот Колченожка заставил меня впасть в грех милостыни. Я не мог устоять против назойливости его жалобного голоса. Я проникся состраданием к его тощей шее без ворота, к коленям, которым развихлявшись от долгого ношения штаны придали унылое сходство с коленями верблюда, к ногам в башмаках, похожих на двух уток с раскрытыми клювами. О искуситель! О опасный Колченожка! Колченожка великолепный! Благодаря тебе мое су породило какую-то частицу низости, частицу позора. Благодаря тебе я при помощи одного су создал еще одну крупицу зла и безобразия. Вручая тебе этот крохотный символ богатства и могущества, я в насмешку сделал тебя капиталистом и без всяких почестей приобщил тебя к пиршеству общества, к празднику цивилизации. И тотчас же я почувствовал, что я могущественная персона в твоих глазах, богач по сравнению с тобой, мой кроткий Колченожка, чудесный побирушка, льстец! Я возрадовался, я возгордился, я самовлюб-

ленно утопал в своем богатстве и величии. Живи, Колченожка! *Pulcher hymnus divitiarum pauper immortalis*¹.

Гнусный обычай милостыни! Сердобольное варварство подаяния! Ветхозаветное заблуждение буржуа, который, подав грош, думает, что творит добро, и считает, что расквитался со своими братьями при посредстве самого бесславного, самого неудачного, самого смехотворного, самого глупого, самого жалкого средства, какое только может быть применено в целях лучшего распределения богатств. Этот обычай подавать милостыню противоречит понятию благодеяния и противен милосердию.

— Неужели? — спросила Полина с искренним интересом.

— Милостыня, — продолжал г-н Бержере, — имеет так же мало общего с благодеянием, как гримаса обезьяны с улыбкой Джоконды. Благодеяние так же изобретательно, как милостыня тупоголова. Оно наблюдательно, оно соразмеряет свои усилия с нуждами. Этим-то я и пренебрег в отношении моего брата Колченожки. В век философов самое слово «благодеяние» возбуждало отраднейшие представления в чувствительных душах. Полагали, что это слово было изобретено добрейшим аббатом де Сен-Пьером *. Но на самом деле оно древнее и встречается уже у нашего первого Бальзака *. В шестнадцатом веке говорили: «благодарение». Это то же самое слово. Признаюсь, я не чувствую в слове «благодеяние» его первоначальной красоты; оно опошлено для меня фарисеями, которые им злоупотребляли. У нас в ходу много благотворительных учреждений, ссудных касс, попечительств, обществ взаимного страхования. Некоторые из них полезны и оказывают действительные услуги. У них один общий недостаток: они — порождение того самого социального неравенства, которое призваны исправлять, и следовательно, представляют собой лекарство, несущее в себе заразу. Всеобщая благотворительность заключается в том, чтобы каждый жил своим трудом, а не чужим. Все,

¹ Прекрасный гимн божеству, о бессмертный бедняк (*лат.*).

кроме взаимобмена и солидарности, гадко, постыдно бесплодно. Участие всех в производстве и в распределении продукции — вот где человеческое милосердие.

Оно — справедливость, оно — любовь, и беднякам оно доступнее, чем богачам. Кто из богачей когда-либо осуществлял его с такой полнотой, как Эпиктет * или Бенуа Малон! * Истинное милосердие — это передача всем людям того, что сделал каждый, это доброта во всей ее красе, это гармоническое движение души, наклоняющейся подобно амфоре с драгоценным нардом и изливающейся благодеяния, это Микеланджело, расписывающий Сикстинскую капеллу, или же депутаты Национального собрания ночью четвертого августа *, это дары, поднесенные в блаженном изобилии, деньги, текущие вперемешку с любовью и мыслью. У нас нет никакого достояния, кроме нас самих. По-настоящему даешь только тогда, когда отдаешь свой труд, свою душу, свое дарование. И это великолепное подношение всего себя всему человечеству обогащает дарителя в такой же мере, как и всю общину.

— Но не мог же ты дать Колченожке любовь и красоту? — возразила Полина. — Ты дал ему то, что ему больше всего подходило.

— Правда, Колченожка оскотинился. Из всех благ, могущих порадовать человека, он ценит только алкоголь. Я сужу об этом по тому, что от него разлило водкой, когда он ко мне приблизился. Но таков, каков он есть, он создан нами. Наше неравенство было ему отцом, наша гордыня — матерью. Он — скверный плод наших пороков. Всякий человек, живущий в обществе, должен давать и получать. Этот малый, вероятно, дал недостаточно, потому что недостаточно получил.

— Быть может, он лентяй, — сказала Полина. — Господи, как же нам сделать так, чтобы не было больше ни бедных, ни слабых, ни ленивых? Разве ты не думаешь, что люди добры от природы и лишь общество делает их злыми?

— Нет. Я не думаю, чтобы люди были добры от природы, — ответил г-н Бержере, — напротив, я вижу, что люди лишь с трудом и мало-помалу выходят из состояния первородного варварства и с большими

усилиями создают ненадежную справедливость и зыбкую доброту. Далеко еще то время, когда они будут ласковы и благожелательны друг к другу. Далеко еще то время, когда они перестанут воевать между собой и когда батальные картины будут упрятаны с глаз долой, как безнравственные и зазорные. Думаю, что царство насилия продлится еще долго, что еще долго народы будут драться между собой по пустым поводам, что еще долго граждане одной и той же страны будут остервенело вырывать друг у друга необходимые блага жизни, вместо того чтобы произвести справедливое распределение. Но я думаю также, что люди менее свирепы, когда они менее несчастны, что прогресс промышленности способствует постепенному смягчению нравов, и я слышал от одного ботаника, что боярышник, пересаженный из сухой почвы в более тучную, меняет шипы на цветы.

— Видишь, папа, ты оптимист! Я так и знала! — воскликнула Полина, остановившись посреди тротуара, чтобы устремить на отца мгновенный взгляд серых, как рассвет, глаз, напоенных мягким сиянием и утренней свежестью. — Ты оптимист. Ты от всей души трудишься над постройкой дома будущего. Да, это хорошо! Хорошо строить новую республику с людьми, которые стремятся к добру.

Эти слова надежды и взгляд ясных глаз заставили г-на Бержере улыбнуться.

— Да, — сказал он, — было бы хорошо создать новое общество, где каждый получил бы полную цену за свой труд.

— Не правда ли, это так будет?.. Но когда? — простосердечно спросила Полина.

А г-н Бержере ответил кротко, но не без грусти:

— Не требуй от меня прорицаний, дитя мое. Древние не без причины считали способность заглядывать в будущее самым зловещим даром для человека. Если бы мы могли предвидеть то, что произойдет, нам осталось бы только умереть, и мы, может статься, пали бы, сраженные молнией скорби и ужаса. Над созданием будущего надо работать так, как ковровщики работают над шпалерами, — не глядя.

Так беседовали по дороге отец с дочерью. Перед сквером на Севрской улице они увидели попрошайку, прочно угнездившегося на тротуаре.

— У меня больше нет мелочи, — сказал г-н Бержере. — Нет ли у тебя десяти су, Полина? Эта протянутая рука загораживает мне дорогу. Даже на площади Согласия она загородила бы мне всю площадь. Протянутая рука нищего — это преграда, через которую я не в силах перешагнуть. Не могу преодолеть своей слабости. Подай этому оборвышу. Тут нет еще большого преступления. Не надо преувеличивать зло, которое делаешь.

— Папа, мне не терпится узнать, как ты поступишь с Колченожкой в своей республике? Ты ведь не предполагаешь, что он станет жить плодами своего труда?

— Полагаю, дочка, — ответил г-н Бержере, — что он согласится исчезнуть. Он уже и сейчас съезжился. Лень, склонность к покою располагают его к окончательному исчезновению. Он с легкостью перейдет в небытие.

— Напротив, я думаю, что он привязан к жизни.

— Конечно, у него есть свои радости. Он безусловно с наслаждением поглощает кабацкое зелье. Он испарится вместе с последним трактирщиком. В моей республике не будет виноторговцев. Не будет ни покупателей, ни продавцов. Не будет ни богатых, ни бедных. Каждый будет пользоваться плодами своего труда.

— Мы все станем счастливы, папа.

— Нет, так как одновременно со страданием погибло бы и чувство святого милосердия, являющееся красой души. Этого не случится. Подобно тому как дни будут сменяться ночами, моральное страдание и физическое страдание, то и дело вытесняемые, будут то и дело чередовать свое господство на земле с радостью и со счастьем. Страдание необходимо. Оно вытекает из того же глубокого источника природы, как и радость, и одно не иссякнет без другого. Мы счастливы только потому, что мы несчастны. Страдание — сестра радости, и дыхание этих близнецов, касаясь наших душевных струн, заставляет их звучать гармонически.

Дыхание одного только счастья издавало бы монотонный и скучный звук, равноценный безмолвию. Но к неизбежным страданиям, к тем одновременно низким и величественным страданиям, которые присущи человеческой природе, уже не присоединятся страдания искусственные, порожденные природой нашего социального строя. Людей больше не будет уродовать непосильный труд, от которого они не столько живут, сколько умирают. Рабы освободятся из смиренных домов, а фабрики не будут больше пожирать тела миллионов людей.

Этого освобождения я жду от самой машины. Машина, разговаривая столько народу, придет постепенно и великодушно на помощь слабому человеческому телу. Машина, прежде суровая и жестокая, станет доброй, благожелательной, дружелюбной. Как же она изменит свою душу? Слушай. Это чудо совершит искра, сверкнувшая из лейденской банки, воздушная звездочка, представшая в прошлом столетии перед взорами изумленного физика. Незнакомка, давшая себя победить, но не назвавшая себя, таинственная, но пленная сила, схваченная руками, послушная молния, заключенная в банку и растекающаяся по бесчисленным нитям, сеть покрывающим землю, — словом, электричество понесет свою энергию, свою помощь туда, где это понадобится: в дома, в комнаты, к очагу, подле которого усядутся отец, мать и дети, теперь уже никем не разлучаемые. Злобная машина, измолвившая на фабриках тела и души, станет ручной, родной и близкой. Но все это не приведет ни к чему, не приведет решительно ни к чему, если блоки, шестерни, шатуны, рычаги, салазки, маховые колеса очеловечатся, а человеческие сердца останутся железными.

Мы шлем свои пожелания, свои призывы навстречу еще более чудесному превращению. Наступит день, когда предприниматель, нравственно преображаясь, станет в ряды освобожденных рабочих, когда обмен благами заменит заработную плату. Крупная промышленность, как и родовая аристократия, которую она сменила и которой подражает, переживет свое четвертое августа. Она откажется от оспариваемых прибылей

и от привилегий, находящихся под угрозой. Она будет великодушной, когда почувет, что время этого требует. А что нынче говорит предприниматель? Что он — душа и мысль и что без него армия рабочих была бы телом без разума. Так вот! Если он олицетворяет мысль, то пусть и ограничится этой честью и этим удовольствием. Если он мысль и разум, то следует ли из этого, что он должен захлебываться в богатствах? Когда великий Донателло * отливал со своими учениками какую-нибудь бронзовую статую, он был душой творения. Плату, полученную от герцога и от горожан, он клал в корзину, которую вздергивал на блоке к потолочной балке мастерской. Каждый ученик поочередно отвязывал веревку и брал из корзинки соразмерно своим надобностям. Разве не достаточно самого удовольствия творить при помощи разума и разве это преимущество освобождает старшего мастера от обязанности делиться заработком со своими скромными помощниками? Но в моей республике не будет ни прибылей, ни заработной платы, и все будет принадлежать всем.

— Папа, ведь это же коллективизм, — спокойно сказала Полина.

— Самые драгоценные блага, — ответил г-н Бержере, — принадлежат всем людям и всегда им принадлежали. Воздух и солнце составляют общее достояние всех, кто дышит и кто видит дневной свет. После вековых ухищрений эгоизма и жадности и вопреки всем яростным стремлениям отдельных личностей захватить и удержать сокровища — те личные блага, которые принадлежат наиболее богатым из нас, ничтожно малы в сравнении с тем, что составляет общее достояние. И разве ты не видишь, что даже в нашем обществе все самые милые человеку и великолепные блага: дороги, реки, прежние королевские леса, библиотеки, музеи — принадлежат всем? У меня такое же право на старый дуб в Фонтенебло или на картину в Лувре, как у любого богача. И даже они больше — мои, чем его, если я лучше умею ими наслаждаться. Коллективная собственность, которой все страшатся, как чудовища, грозящего откуда-то издали, уже окружает нас в тысячах привычных форм. Пугаются вести о гря-

душем ее приходе, а сами уже сейчас пользуются ее преимуществами.

Позитивисты, собирающиеся в доме Огюста Конта вокруг почтенного Пьера Лафита, не торопятся стать социалистами. Но один из них вполне правильно заметил, что собственность — социального происхождения. И мысль эта в высшей степени справедлива, ибо всякая собственность, приобретенная личным усилием, может возникнуть и существовать только благодаря содействию всего общества. А раз частная собственность происходит из социального источника, то разве мы пренебрегаем ее происхождением или извращаем ее суть, распространяя ее на все общество и передавая государству, от которого она непременно зависит?

Мадемуазель Бержере поторопилась ответить на этот вопрос:

— Государство, милый папа, это насупленный и неучтивый господин, сидящий за служебным окошечком. Ты понимаешь, что ради него никто не станет расставаться со своими пожитками.

— Понимаю, — с улыбкой ответил г-н Бержере. — Я всегда стремился понимать и затратил на это немало драгоценной энергии. Убеждаюсь с опозданием, что непонимание — великая сила. Оно иногда позволяет завоевать целый мир. Если бы Наполеон был так же умен, как Спиноза, он написал бы четыре тома, весь век просидев в какой-нибудь мансарде. Да, я понимаю. Но этому насупленному и неучтивому господину, сидящему за окошечком, ты доверяешь, Полина, свои письма, которых не доверила бы агентству Трикош *. Он управляет частью твоего имущества, и далеко не самой ничтожной и не самой малоценной. Лицо его кажется тебе угрюмым. Но когда он будет всем, он будет ничем. Или, точнее, он будет лишь нами самими. Уничтоженный своей всеобщностью, он перестанет казаться букой. Нельзя быть злобным, дочка, когда ты превратился в ничто. Неприятно в данный момент, что он обглаживает личную собственность, запуская в нее свои когти и зубы, и охотней вгрызается в тощих, чем в тучных. Это делает его невыносимым. Он алчен. У него есть потребности. В моей республике он будет

без желаний, подобно богам. У него будет все и не будет ничего. Мы перестанем его ощущать, потому что он сольется с нами и сотрется всякое отличие. Он будет таким, как если бы его не было. По-твоему, личность я приношу в жертву государству, а жизнь — отвлеченной мысли. Напротив, абстракцию я подчиняю реальности, уничтожаю государство, отождествляя его со всей социальной деятельностью людей.

Если бы даже такой республике не суждено было никогда осуществиться, мне все же радостно было бы лелеять эту мысль о ней. Не возбраняется возводить постройки на острове Утопии. И даже сам Огюст Конт, похвалявшийся тем, что он опирается только на данные позитивной науки, поместил Кампанеллу * в месяцеслов великих людей.

Мечта философов во все времена вдохновляла людей действия, и те трудились над ее осуществлением. Наша мысль создает будущее. Государственные мужи работают по плану, достоящимся им в наследство после нашей смерти. Они наши каменщики и чернорабочие. Нет, дочка, я не возвожу построек на острове Утопии. Моя мечта, которая принадлежит не только мне и в данный момент витает перед тысячами и тысячами душ, — мечта правдивая и пророческая. Всякое общество, органы которого не соответствуют больше своему назначению и члены которого не получают питания в меру производимой им работы, умирает. Глубокие потрясения, внутренние беспорядки предшествуют его кончине и предвещают ее.

Феодальное общество было построено прочно. Но когда духовенство перестало быть носителем знания, а дворянство перестало защищать хлебопашца и ремесленника своим мечом, когда эти два сословия стали разбухшими и вредными частями тела, все тело погибло; нежданная, но необходимая революция принесла смерть больному. Кто станет утверждать, что в современном обществе органы соответствуют своему назначению и все части тела получают питание в меру производимой работы? Кто станет утверждать, что богатства распределены справедливо? Кто, наконец, может верить, что неравенство будет вечно?

— А как уничтожить его, папа? Как изменить мир?

— Словом! Нет ничего могущественнее слова, дитя мое. Веские доводы в соединении с возвышенными мыслями представляют собой цепь, которую невозможно разорвать. Слово, как праща Давида, разит насильников и повергает долу могучих. Это непобедимое оружие. Без него мир стал бы достоянием вооруженных скотов. Кто же их сдерживает? Одна только мысль, безоружная и нагая.

Мне не доведется увидеть царство будущего. Все перемены в социальном строе, как и в строе природы, происходят медленно и почти незаметно. Вдумчивый геолог Чарльз Лайель доказал, что эти страшные следы ледникового периода, эти гигантские скалы, сброшенные в долины, эти мохнатые животные и эта флора холодных стран, сменившие флору и фауну жарких стран, эти отпечатки катаклизмов являются фактически результатом многих и длительных процессов и что великие перемены, произведенные с милосердной медлительностью силами природы, не были даже замечены бесчисленными поколениями живых существ, присутствовавших при этом. Социальные преобразования происходят так же незаметно и медленно. Робкий человек страшится катаклизмов будущего, не сознавая, что эти катаклизмы начались еще до его рождения, происходят на его глазах незаметным для него образом и обнаружатся только спустя столетие.

XVIII

Господин Феликс Панетон медленным шагом шел вверх по проспекту Елисейских полей. Направляясь к Триумфальной арке, он подсчитывал шансы своей кандидатуры на выборах в сенат. Ее пока еще не представляли. И г-н Панетон думал, как Бонапарт: «Действовать, взвешивать, действовать...» Два списка уже были предложены департаментским избирателям. Четыре выбывавших сенатора — Лапра-Теле, Гоби, Маннекен и Ледрю баллотировались вновь. Националисты выставляли кандидатами герцога де Бресе, полковника

Депотера, г-на Лерона, судейского в отставке, и мясника Лафоли.

Трудно было предугадать, который из двух списков одержит верх. Выбывавшие сенаторы снискали доверие мирного населения департамента благодаря своему долгому опыту в области законодательной власти и как хранители тех традиций, одновременно либеральных и авторитарных, которые восходили ко времени основания республики и были связаны с легендарным именем Гамбетты. Они снискали доверие благодаря разумно оказанным услугам и щедрым обещаниям. За них стояла многочисленная и дисциплинированная клика. Эти общественные деятели, современники великих эпох, оставались верны своим убеждениям со стойкостью, выставлявшей в выгодном свете некоторые их вынужденные жертвы общественному мнению. Старые оппортунисты, они называли себя теперь радикалами. В эпоху «Дела» все четверо проявили глубокое уважение к военным судам, и один из них проявлял его даже с умилением. Бывший стряпчий Гоби говорил о военном правосудии не иначе как со слезами. Старейший по годам, республиканец героических дней, участник великих боев, Лапра-Теле высказывал свое мнение о национальной армии в таких нежных и прочувствованных выражениях, которые в другие времена были бы скорее уместны по отношению к бедной сиротке, нежели к столь многолюдному учреждению, обладавшему столькими миллиардами. Эти четыре сенатора голосовали за закон о кассации, а в департаментском совете выразили пожелание, чтобы правительство приняло крутые меры к обузданию тех, кто требовал пересмотра «Дела». Таковы были дрейфусары департамента. А так как других не было, то они подвергались бешеным нападкам со стороны националистов. Маннекену ставили в упрек то, что он приходился зятем члену кассационного суда. Что же касается Лапра-Теле, возглавлявшего избирательный список, то его ругали напрапалую, в него плевали, да так, что ослюнявили весь список. За ним числилось дело, прекращенное по недостатку улик, и было доподлинно известно, что он занимался спекуляцией. Помнили время, когда, скомпрометированный

в Панамском процессе, он, находясь под угрозой ареста, отрастил себе седую бороду, придававшую ему благообразный вид, и заставлял свою благочестивую супругу и дочку, одетую под монашку, возить его в кресле для паралитиков. В сопровождении этой свиты, от которой веяло смирением и святостью, он появлялся каждый день под вязами в городском саду; бедный паралитик грелся на солнышке, чертя наконечником трости по пыльной земле, в то время как его изворотливый ум готовил доводы для защиты. Но защита оказалась излишней: судебное преследование было прекращено. С тех пор он опять поднял голову. Однако националисты яростно взъелись на него. Он был панамистом — его сделали дрейфусаром. «Этот человек, — говорил Ледрю, — провалит весь список». Он поделился своими опасениями с Вормс-Клавлеником:

— Господин префект, Лапра-Теле оказал крупные услуги республике и стране, но нельзя ли дать ему понять, что его час пробил и пора ему вернуться к частной жизни?

Префект ответил, что надо дважды подумать, прежде чем обезглавить республиканский список.

Между тем газета «Крест», распространявшаяся в департаменте стараниями г-жи Вормс-Клавлен, вела бешеную кампанию против выбывающих сенаторов, «Крест» поддерживал умело составленный список националистов. Герцог де Бресе объединял довольно многочисленных роялистов в департаменте. Г-н Лерон, бывший судейский, ныне адвокат конгрегаций, снискал симпатии духовенства; полковник Депотер, сам по себе невидный старец, представлял честь армии; он ратовал похвалы фальсификаторам и участвовал в подписке в пользу вдовы Анри. Мясник Лафоли нравился рабочим предместья, остававшимся в сущности полукрестьянами. Уже появились основания предполагать, что список Бресе получит более двухсот голосов и может, пожалуй, пройти. Г-н Вормс-Клавлен испытывал беспокойство. Он окончательно встревожился, когда «Крест» опубликовал воззвание националистских кандидатов. Это воззвание поносило президента республики, сравнивало сенат со скотным двором и свиарни-

ком, называло кабинет — министерством измены. «Если эти люди пройдут, мне какюк!» — подумал префект. И он втихомолку сказал жене:

— Напрасно, моя дорогая, ты содействовала распространению «Креста» в департаменте.

На это г-жа Вормс-Клавлен ответила:

— Чего ты хочешь? Как еврейка, я должна была преувеличивать свои католические симпатии. До сих пор это нам очень помогало.

— Конечно, — возразил префект. — Но мы, быть может, пересолили.

Правитель канцелярии префектуры г-н Лакарель, которого сходство с Верцингеториксом предрасполагало к национализму, подсчитывал шансы, какими располагал список Бресе. Префект Вормс-Клавлен, погруженный в мрачные думы, забывал на локотниках кресел свои обусленные и непогашенные сигары.

Именно в ту пору к нему зашел г-н Феликс Панетон. Г-н Феликс Панетон, младший брат Панетона де ла Барж, был поставщиком интендантства. Нельзя было заподозрить его в нелюбви к армии, которую он обувал и снабжал фуражками. Он был националистом, но националистом государственного пошиба. Он был националистом, поддерживавшим Лубе, националистом, поддерживавшим Вальдека-Руссо. Он не скрывал этого, а когда ему говорили, что так невозможно, он отвечал:

— Почему невозможно? Наоборот — даже очень просто. Надо только додуматься.

Панетон-националист оставался сторонником правительства. «Можно во всякое время отречься от него, — размышлял он, — но все, кто ссорился с ним слишком рано, жалели потом об этом. Недостаточно учитывают, что даже уже поверженное правительство еще может лягнуть вас и раздробить вам челюсть».

Это мудрое рассуждение являлось плодом его светлого ума и основывалось на том, что как поставщик интендантства он зависел от министерства. Он отличался честолюбием, но старался удовлетворить его без вреда для своих дел и удовольствий, каковые заключались для него в картинах и в женщинах. Вообще же он был человек деятельный, непрерывно кочевавший между

своими заводами и Парижем, где снимал три-четыре квартиры.

Однажды ему пришло на ум втиснуть свою кандидатуру между списками радикалов и крайних националистов, и, явившись к префекту Вормс-Клавлену, он сказал ему:

— То, что я хочу вам предложить, господин префект, может быть вам только приятно. Я заранее уверен в вашем одобрении. Вы желаете успеха списку Лапра-Теле. Это ваш долг. Я уважаю ваши чувства в этом отношении, но не могу их поддержать. Вы боитесь успеха списка Бресе. Что ж, вполне законно. Вместе с тремя друзьями я составляю список кандидатов-националистов. Этот департамент — националистский, но умеренно националистский. Моя программа будет и националистской и республиканской. Против меня ополчатся конгрегации. Но меня поддержит епархия. Не нападайте на меня. Соблюдайте по отношению ко мне благожелательный нейтралитет. Я отниму очень мало голосов у партии Лапра, но зато очень много у партии Бресе. Не скрою от вас, что надеюсь восторжествовать только на третьем туре. Но этим я ведь тоже сыграю вам на руку, так как крайние правые лягут костями.

Префект Вормс-Клавлен ответил:

— Господин Панетон, вы давно пользуетесь моей личной симпатией. Благодарю вас за интересное сообщение, которое вы любезно мне сделали. Я обдумаю его и поступлю так, как того требует польза республики, считаясь при этом с намерениями правительства.

Он предложил г-ну Панетону сигару и затем дружески спросил его, не из Парижа ли он сейчас и не видал ли новой пьесы в Варьете. Он задал этот вопрос, так как знал, что Панетон содержал актрису из этого театра. Феликса Панетона считали большим женолюбом. Это был толстый человек, лет пятидесяти, лысый, с остатками черных волос на висках, сутулый, некрасивый и слывший за остряка.

Несколько дней спустя после встречи с префектом Вормс-Клавленом он шел вверх по Елисейским полям, размышляя о своей кандидатуре, шансы кото-

рой рисовались в довольно благоприятном свете и которую надлежало выдвинуть возможно скорее. Но в тот самый момент, когда предстояло обнародовать список, возглавляемый Панетоном, один из кандидатов, г-н де Термондр, уклонился. Г-н де Термондр был слишком умеренным, чтобы решиться порвать с крайними правыми. Он вернулся к ним, когда они усилили свои крики.

«Так и знал! — рассуждал г-н Панетон. — Но беда невелика. Возьму Громанса вместо Термондра. Громанс вполне подойдет. Громанс — помещик. У него нет ни одного гектара земли, который не был бы заложен. Но это повредит ему только в его округе. Он в Париже. Зайду к нему».

Но когда он дошел до этого пункта своих размышлений и своей прогулки, он увидел г-жу де Громанс в манто из американской куницы, ниспадавшем до самых пят. Ее фигура не теряла своей грации и стройности под пышным мехом. Она показалась ему в этом виде особенно очаровательной.

— Счастлив вас встретить, сударыня. Как поживает господин де Громанс?

— Хо...ро...шо...

Когда ее спрашивали о муже, она всегда опасалась иронии дурного тона.

— Позвольте мне немного пройтись с вами, сударыня. Мне нужно поговорить о серьезном деле... сперва.

— Говорите.

— Ваше манто придает вам свирепый вид, вид престелстной молоденькой дикарки...

— Это, по-вашему, серьезное дело?..

— Перехожу к нему. Необходимо, чтобы господин де Громанс выставил свою кандидатуру в сенат. Этого требуют интересы родины. Господин де Громанс националист, не правда ли?

Она взглянула на него с некоторым негодованием:

— Разумеется, не интеллигент же!

— И республиканец.

— Бог мой, конечно! Я вам сейчас объясню. Он роялист... И вы понимаете...

— О сударыня! Такие республиканцы самые лучшие. Мы поместим его имя на видном месте в списке республиканцев-националистов.

— И вы думаете, что Дьедоне пройдет?

— Думаю, сударыня. За нас епархия и много сенатских избирателей; они националисты по убеждению и по чувству, но связаны с правительством службой и личными интересами. А в случае неудачи, которая может быть только почетной, господин де Громанс вправе рассчитывать на признательность администрации и правительства. Скажу вам под большим секретом: Вормс-Клавлен на нашей стороне.

— В таком случае не вижу никаких препятствий к тому, чтобы Дьедоне...

— Вы ручаетесь, что он согласится?

— Поговорите с ним сами.

— Он слушается только вас.

— Вы думаете?

— Уверен.

— В таком случае решено.

— Нет, еще не решено. Есть некоторые очень delicate детали, и нельзя их уточнить здесь, на улице... Навестите меня. Я покажу вам своих Бодуэнов *. Приходите завтра.

И он шепнул ей на ухо номер дома на одной из пустынных, сонных улиц Европейского квартала. Там, на почтительном расстоянии от его официальной просторной резиденции на Елисейских полях, у него был небольшой особняк, некогда выстроенный для одного светского живописца.

— Разве это так спешно?

— О, очень спешно! Подумайте, сударыня: нам не остается и трех недель для нашей предвыборной кампании, а Бресе обрабатывает департамент уже полгода.

— Но так ли необходимо, чтобы я непременно у вас побывала?

— А мои Бодуэны... Крайне необходимо.

— Вы думаете?

— Выслушайте и судите сами, милая госпожа де Громанс. Ваш супруг пользуется известным престижем —

не стану этого отрицать — у сельского населения, в особенности в тех кантонах, где он мало известен. Но не могу также скрыть, что, когда я предложил включить его в наш список, я встретил некоторое сопротивление. Оно еще не улеглось. Дайте мне силу его побороть. Необходимо, чтобы я почерпнул в вашей... в вашей дружбе ту непреодолимую волю, которая... Словом, я чувствую, что, если вы не наградите меня всем вашим расположением, у меня не хватит нужной энергии, чтобы...

— Но это не очень прилично пойти смотреть ваших...

— О! в Париже!..

— Если я приду, то только ради родины и ради армии. Надо спасать Францию.

— Я того же мнения.

— Сердечный привет госпоже Панетон.

— Не премину передать, сударыня. До завтра.

XIX

В маленьком особняке г-на Панетона есть большая комната, прежде служившая мастерской светскому живописцу, а теперь обставленная новым владельцем с великолепием, достойным богатого любителя редкостей, и с умением опытного знатока женщин. Г-н Панетон расположил там со вкусом и определенным расчетом канапе, софы, диваны разных форм.

При входе взгляд, переходя справа налево, прежде всего наткнулся на маленькое канапе, обитое голубым шелком, с локотниками в виде лебединых шей, напоминавшими о временах, когда Бонапарт в Париже, подобно Тиберию * в Риме, исправлял нравы; дальше — другое канапе, пошире со спинкой и прислонами, обтянутыми бовейским штофом *, затем кушетка с тройным шелковым сидением; за ней — деревянная софа-капуцин, обитая турецкой тканью; потом большая софа золоченого дерева, крытая ярко-малиновым узорчатым бархатом, принадлежавшая мадемуазель Дамур; наконец поместительный низкий мягкий диван с обивкой из пунцового атласа. А уж дальше вид-

нелась только груда пуховых подушек на очень низком восточном диване, который был погружен в розовый полумрак и непосредственно примыкал к комнате налево, где висели Бодуэны.

Так как еще при входе можно было охватить взором все эти сидения, то каждой посетительнице предоставлялась возможность выбрать то, которое больше всего соответствовало ее душевному складу и настроению минуты. Панетон присматривался к новым подругам с первого же их шага, следил за их взглядами, умел угадывать их вкусы и старался, чтобы они уселись там, где им хотелось сидеть. Более застенчивые направлялись прямо к маленькому голубому канапе и клали левую руку на лебединую шею. Имелось там даже высокое позолоченное кресло, крытое генуэзским бархатом, некогда служившее тронем герцогине моденской и пармской; оно предназначалось для гордячек. Парижанки спокойно усаживались на бовейское канапе. Иностранные титулованные особы направлялись обычно к одной из двух соф. Пользуясь этим хитрым расположением салонной мебели, Панетон тотчас угадывал, как ему надлежало поступить. Он имел возможность тщательно соблюдать приличия, избегая слишком резких переходов от одной из неизбежных стадий к другой и избавляя посетительницу и себя самого от излишних длинных пауз между первым обменом учтивостями и осмотром Бодуэнов. Благодаря этому его приемы приобретали уверенность и мастерство, делавшие ему честь.

Госпожа де Громанс тотчас же обнаружила такт, за который Панетон был ей признателен. Даже не взглянув на Пармский и моденский трон и пройдя мимо лебединой шеи эпохи консульства, она, как парижанка, сразу направилась влево и опустилась на бовейское канапе. Клотильда долго коснела среди мелкопоместного дворянства департамента, изредка заводя романы с никчемными, плохо воспитанными молодыми людьми. Но постепенно она приобретала жизненный опыт. Денежные затруднения заметно обострили ее ум, и она начала постигать сущность общественного долга. Панетон не был ей очень противен. Этот влюб-

ленный апоплектик, пучеглазый и лысый, с прилипшими на висках черными прядями, вызывал в ней легкое желание рассмеяться и соответствовал комической жилке, которую она проявляла в любовных делах. Разумеется, она предпочла бы великолепного красавца, но неприязнительная шутовость была ей по душе, а приперченные остроты и даже некоторая доля безобразия в мужчине доставляли ей удовольствие. После первого момента естественной неловкости она почувствовала, что ничего страшного и даже слишком скучного тут не будет.

И действительно: все сошло очень хорошо. Переход от бовейского канапе на кушетку и с кушетки на большую софу совершился самым приличным образом. Сочли излишним задерживаться на восточных подушках и прямо перешли в комнату Бодуэнов.

Когда Клотильда вздумала, наконец, на них взглянуть, по всей комнате, как на картинах этого эротического художника, были разбросаны принадлежности женского туалета и тонкое белье.

— А, вот они, ваши Бодуэны! У вас их два.

— Да.

У него был «Галантный садовник» и «Опустевший колчан», две маленькие гуаши, которые стоили ему по шестьдесят тысяч франков каждая на аукционе Годара, а благодаря своеобразному применению обходились ему чем дальше, тем дороже и дороже.

Теперь он глазом знатока, совсем уже спокойно и даже слегка меланхолично, рассматривал тонкую, изящную и гибкую фигуру этой женщины; ее красота щекотала его самолюбие, и все сильнее по мере того как она, облекаясь в свои одежды, восстанавливала и свой общественный облик.

Она осведомилась, из кого состоит список кандидатов.

— Панетон, промышленник; Дьедоне де Громанс, помещик; доктор Форнероль; Мюло, путешественник.

— Мюло?

— Мюло-сын. Он делал долги в Париже. Мюло-отец отправил его в кругосветное путешествие. Дезира Мюло, путешественник. Кандидат-путешественник —

это превосходно. Избиратели надеются, что он откроет новые рынки сбыта для их продукции. А главное — им лестно.

Госпожа де Громанс превращалась опять в деловую женщину. Она пожелала ознакомиться с содержанием декларации, обращенной к сенатским выборщикам. Панетон вкратце изложил ее, приводя некоторые места наизусть.

— Прежде всего мы обещаем умиротворение. Бресе и крайние националисты недостаточно настаивали на умиротворении. Затем мы клеймим безыменную партию.

— Что такое безыменная партия?

— Для нас это партия наших противников. Для противников это наша. Здесь не может быть места для недоразумений... Мы клеймим изменников и тех, кто продался. Мы ополчаемся против власти денег. Это наш козырь в отношении разорившегося дворянства. Враги всякой реакции, мы отвергаем политику авантюры. Франция решительно желает мира. Но в день, когда она извлечет шпагу из ножен... и так далее. Родина с гордостью и нежностью обращает взоры на свою превосходную национальную армию... Эту фразу придется немного изменить.

— Почему?

— Потому что она буквально повторяется в двух других декларациях: у националистов и у врагов армии.

— И вы мне обещаете, что Дьедоне пройдет.

— Дьедоне или Гоби.

— Как? Дьедоне или Гоби?! Если вы не были уверены, то должны были меня предупредить... Дьедоне или Гоби!.. Если вас послушать, то можно подумать, что это одно и то же.

— Это не одно и то же. Но в обоих случаях Бресе провалится.

— Вы знаете, что Бресе наш друг.

— И мой тоже! В обоих случаях, повторяю вам, Бресе провалится со своим списком, а господин де Громанс, содействуя его поражению, приобретет право на благодарность со стороны префекта и правительства.

После выборов, независимо от их результатов, вы опять придете посмотреть на моих Бодуэнов, и я сделаю вашего мужа... чем вы захотите?

— Послом.

На выборах 27 января кандидаты списка националистов: граф де Бресе, полковник Депотер, отставной судейский Лерон, мясник Лафоли — получили в среднем по сто голосов. Список республиканцев-прогрессистов: Феликс Панетон, Дьедоне де Громанс, помещик, Мюло-путешественник, доктор Форнероль — в среднем по сто тридцать голосов. Лапра-Теле, скомпрометированный в Панамском процессе, мог собрать только сто двадцать голосов. Трое прочих — выбывшие сенаторы, республиканцы-радикалы — набрали в среднем по двести голосов.

Во втором туре Лапра-Теле отпал, получив лишь шестьдесят голосов.

В третьем туре оказались избранными: Гоби, Маннекен, Ледрю, выбывшие сенаторы-радикалы, а также Феликс Панетон.

XX

— Взгляните на это зрелище, — сказал г-н Бержере, стоя на ступеньках Трокадеро *, своему ученику г-ну Губену, протиравшему стекла пенсне. — Вот купола, минареты, шпили, колокольни, башни, фронтоны, крыши — соломенные, шиферные, стеклянные, черепичные, деревянные, из поливанных изразцов и из звериных шкур, террасы итальянские и террасы мавританские, дворцы, храмы, пагоды, киоски, лачуги, хижины, шатры, водяные и огненные каскады, контрасты и гармония человеческих жилищ, феерия труда, чудесная игра промышленности, гигантская забава современного гения, пересадившего сюда искусства и ремесла всего мира.

— Полагаете ли вы, — спросил его г-н Губен, — что Франция извлечет какие-нибудь выгоды из этой грандиозной выставки? *

— Она может добиться большой пользы, — ответил г-н Бержере, — если только не поддастся бесплодной и зловредной кичливости. Ведь это лишь декорации и наружная оболочка. Более глубокое исследование позволит сделать выводы относительно обмена и обращения продукции, потребления по доступным ценам, роста заработной платы и занятости в производстве, эмансипации рабочих. И разве вас не поражает, господин Губен, один из первых результатов Всемирной выставки? Ведь она тотчас же обратила в бегство Жана Петуха и Жана Барана. Где они, Жан Петух и Жан Баран? О них — ни слуху ни духу. А прежде, куда ни глянь, они тут как тут. Жан Петух шел впереди, хвост трубой, ноги тетивой. Жан Баран шагал позади, курчавый и жирный. По всему городу звенели их «ку-куреку» и «бе-бе-бе», ибо они были велеречивы. Я слышал однажды этой зимой, как Жан Петух говорил:

— Надо объявить войну. Правительство своим низким поведением сделало ее необходимой.

А Жан Баран отвечал:

— Я ничего не имею против морской войны.

— Конечно, — сказал Жан Петух, — наумахия * воодушевила бы национальные чувства. А почему бы нам не вести войны на море и на суше? Кто нам мешает?

— Никто, — отвечал Жан Баран. — Хотел бы я посмотреть на того, кто нам в этом помешает! Но прежде надо истребить изменников и продажных тварей, жидов и франкмасонов. Это необходимо.

— Я того же мнения, — заявил Жан Петух. — Я не пойду на войну, прежде чем родная земля не будет очищена от всех наших противников.

Жан Петух пылок, Жан Баран мягок. Но оба они слишком хорошо знают, как усилить националистическую прыть и как ухитриться всеми возможными способами обеспечить родине блага гражданской войны и войны с иноземцами.

Жан Петух и Жан Баран республиканцы. Жан Петух голосует на всех выборах за кандидата из приверженцев императорской власти. Жан Баран — за кандидата из приверженцев королевской власти; но оба они сторонники плебисцитной республики, ибо

считают, что лучший способ установить угодное им правительство — воспользоваться игрой случая на шумных голосованиях с неведомым исходом. Это показывает, что они люди смысленные. В самом деле, разве вам не выгодно, владея домом, поставить его при игре в кости против охапки сена; ведь вы в таком случае можете выиграть свой собственный дом, а это уж не такое плохое дело.

Жан Петух не набожен, а Жан Баран не клерикал, хотя и не вольнодумец; но и тот и другой чтут и блюдут монашествующую братию, которая наживается на чудесах и сочиняет поносные, вводящие в соблазн и клеветнические бумажки. А вам ли не знать, что черноризы кишмя кишат на нашей земле и ее пожирают!

Жан Петух и Жан Баран патриоты. Вы тоже считаете себя патриотом и чувствуете себя связанным со своей страной невидимыми и сладостными узами любви и разума. Но это заблуждение, и раз вы хотите жить в мире со всем миром, значит, вы приспешник иноземщины. Жан Петух и Жан Баран докажут вам это, отдубасив вас узловатой дубинкой под боевой клич: «Франция для французов!» И поделом вам. «Франция для французов!» — таков девиз Жана Петуха и Жана Барана. И так как эти три слова точно определяют положение великого народа среди других народов, устанавливают необходимые условия его существования, закон мирового торгового оборота, взаимообмен идеями и произведениями труда — короче говоря, заключают в себе глубокую философию и широкую экономическую доктрину, то Жан Петух и Жан Баран, дабы обеспечить Францию за французами, решили закрыть ее для иностранцев и пришли к гениальной мысли — распространить на человеческие существа систему, которую господин Мелин применил к продуктам земледелия и промышленности на радость кучке земельных собственников. И эта идея, возникшая в уме Жана Петуха, — запретить доступ на отечественную почву людям иностранных наций, — привела в восхищение своей суровой красотой целую толпу мещан и содержателей кофеен.

Жан Петух и Жан Баран люди не злонравные.

Если они враги рода человеческого, то лишь по простоте душевной. У Жана Петуха больше горячности, а у Жана Барана больше склонности к меланхолии. Но оба они наивны и верят в то, что говорит их газета. Тут-то особенно выявляется их наивность. Ибо тому, что говорит их газета, нелегко поверить. Взываю к вам, прославленные шарлатаны, фальсификаторы всех времен, записные вралю, знаменитые обманщики, непревзойденные мастера небылиц, заблуждений и бредней, к вам, чье почтенное жульничество обогатило светскую литературу и литературу духовную столькими поддельными книгами, к вам, авторы греческих, латинских, еврейских, сирийских и халдейских апокрифов, столь долго злоупотреблявшие доверием невежд и знатоков, к вам, лже-Пифагор, лже-Гермес-Трисмегист, лже-Санхониафон, к вам, подделыватели орфической поэзии и сивиллиных книг, к вам, лже-Енох, лже-Ездра, псевдо-Климент и псевдо-Тимофей *, и к вам, сенюры аббаты, состряпавшие в царствование Людовика Девятого вымышленные хартии от имени Клотария и Дагобера * для закрепления за собой земель и привилегий; и к вам, доктора канонического права, обосновавшие претензии папского престола на целом ворохе священных декреталий *, вами самими сочиненных; и к вам, оптовые изготовители исторических мемуаров — Сулави, Куршан, Тушар-Лафос, подделыватель Вебер и Бурьен-подделыватель; к вам, мнимые палачи и мнимые полицейские, гнусно смастерившие мемуары Сансона * и мемуары господина Клода *; и к тебе, Врен-Люка *, собственноручно начертавший послание Марии Магдалины и грамотку Верцингеторикса, — к вам взываю; взываю и к вам, чья жизнь была сплошным притворством, лже-Смердисы *, лже-Нероны, самозванные орлеанские девственницы, введшие в заблуждение даже братьев самой Жанны д'Арк, лже-Димитрий, лже-Мартин Герр * и лже-герцоги Нормандские; взываю к вам, чародеи, чудотворцы, обольщавшие толпу, Симон Волхв *, Аполлоний Тианский *, Калиостро *, граф де Сен-Жермен *; взываю к вам, путешественники, которые, вернувшись из дальних стран, могли беззастенчиво врать и всю этим поль-

зовались; к вам, кто говорил, что видел циклопов и листригонов, магнитную гору, птицу Рок, рыбу-епископа; и к тебе, Жан де Мандевиль *, повстречавший в Азии дьяволов, изрыгающих пламя; и к вам, сочинители превосходных сказок, басен и шванков *, о Матушка Гусыня *, о Тиль Уленшпигель *, о барон Мюнхгаузен *, и к вам, испанцы, несусветные бахвалы, рыцари и пикаро *, — взываю ко всем вам: удостоверьте, что вы все, вместе взятые, на протяжении многих веков не нагромоздили столько лжи, сколько помещает за один день лишь одна из газет, которые читают Жан Петух и Жан Баран. Как после этого удивляться, что в голове у них сплошная фантазмагория!

XXI

Замешанный в дело о заговоре против республики, Жозеф Лакрис принял меры, чтобы охранить от опасности свою особу и свои бумаги. Полицейский комиссар, которому поручено было наложить арест на переписку роялистского комитета, был слишком светским человеком, чтобы не предупредить заблаговременно господ членов о своем посещении. Он уведомил их за сутки, сочетав таким образом учтивость с естественной заботой о личных интересах, так как разделял общее мнение, что республиканское министерство будет в скором времени опрокинуто и заменено министерством Мелина или Рибо *. Когда он явился в помещение комитета, все папки и ящики были пусты. Он наложил на них печати. Он печатал также «Справочник Ботена» * за 1897 год, каталог автомобильного заводчика, фехтовальную перчатку и пачку папирос, лежавшую на мраморном выступе камина. Таким образом он соблюдал предписанную законом форму, с чем надлежит его поздравить: соблюдать предписанную законом форму надо всегда. Его звали Жонкий. Он был заслуженный чиновник и остроумный человек. В молодости он сочинял песенки для кафешантанов. Одно из его произведений, «Тараканы в хлебе», пользовалось большим успехом на Елисейских полях в 1885 году.

Оправившись от удивления, вызванного неожиданным преследованием, Жозеф Лакрис перестал тревожиться. Он быстро убедился, что при существующем режиме участвовать в заговоре было менее опасно, чем при Первой империи и при легитимистской монархии, что Третья республика не отличалась кровожадностью. Он стал меньше уважать ее из-за этого, но зато почувствовал большое облегчение. Одна только г-жа де Бонмон смотрела на него как на жертву. Она еще больше полюбила его, ибо была сердобольна, и доказывала ему свою любовь слезами, рыданиями и нервными припадками, так что он провел с ней в Брюсселе две незабываемые недели. В этом и состояло все его изгнание. Он был одним из первых, в отношении которых верховный суд прекратил преследование за отсутствием улик. Я лично против этого не возражаю, и, если бы меня послушали, верховный суд не осудил бы никого. Раз не осмелились преследовать всех виновных, то было бы не очень благородно выносить приговор только тем, кого меньше всего опасались, и карать за действия, ничего или почти ничего не прибавлявшие к тому, за что уже было понесено наказание. Наконец, странно выглядело бы то, что в военном заговоре замешаны одни только штатские.

На это весьма достойные люди ответили мне:

— Каждый защищается, как может.

Жозеф Лакрис отнюдь не утратил энергии. Он был готов снова скрепить порванные нити заговора; но вскоре признали, что это неосуществимо. Хотя по большей части полицейские комиссары, получившие ордер на обыск, поступили по отношению к предупрежденным роялистам с такой же деликатностью, как и г-н Жонкий, но, из-за коварства ли судьбы, или оплошности заговорщиков, в руках полиции против ее воли оказалось достаточно документов, чтобы раскрыть прокурору республики сокровенные тайны комитета. Дальнейшая конспиративная работа стала небезопасной, и всякая надежда увидеть с первыми ласточками возвращение короля была окончательно потеряна.

Госпожа де Бонмон продала шесть белых лошадей, которых купила с намерением подарить королю для

его парадного въезда в Париж через Елисейские поля. Она уступила их, по совету своего брата Вальштейна, г-ну Жильберу, директору Национального цирка в Трокадеро. Ей не пришлось потерпеть убыток от этой продажи. Такого огорчения она не испытала. Напротив, она даже получила некоторую прибыль. Но все же из ее прекрасных глаз катились слезы, когда эти шесть белых, как лилии, коней покинули ее конюшню, чтобы больше никогда туда не вернуться. Ей казалось, что их впрягли в катафалк той самой монархии, чью триумфальную колесницу они должны были везти.

Тем временем верховный суд, не проявлявший особой любознательности при расследовании дела, продолжал бесконечно заседать.

Однажды у г-жи де Бонмон юный Лакрис отдал дань естественному желанию осыпать проклятиями судей, которые хоть его и оправдали, но нескольких обвиняемых еще держали иод арестом.

— Этакie бандиты! — воскликнул он.

— Ах! — вздохнула г-жа де Бонмон, — сенат на откупе у министерства. У нас ужасное правительство. Господин Мелин никогда не допустил бы подобного процесса. Он был республиканец, но порядочный человек. Останься господин Мелин министром, король был бы уже во Франции.

— Увы! Король теперь от нее очень далеко, — сказал Анри Леон, никогда не питавший больших иллюзий.

Жозеф Лакрис, соглашаясь с ним, кивнул головой. Воцарилось долгое молчание.

— Вам, Лакрис, это, быть может, и на руку.

— Каким образом?

— Я хочу сказать, что для вас в некотором отношении выгодно, чтобы король оставался в изгнании. Вы даже должны быть от этого в восторге, разумеется если не принимать во внимание ваши патриотические чувства.

— Не понимаю.

— А между тем это очень просто. Будь вы, как я, финансистом, монархия могла бы принести вам выгоду. Взять хотя бы коронационный заем... Король

сделал бы этот заем вскоре после своего возвращения, ибо ему, нашему дорогому монарху, понадобились бы деньги, чтобы царствовать. Я крупно нажился бы на этом деле. Но что вам, адвокату, принесла бы реставрация? Префектуру? Подумаешь, какое счастье! Вы как роялист добьетесь гораздо большего при республике. Вы отличный оратор. Пожалуйста, не отрекайтесь. Ваша речь течет плавно и изящно. Вы один из двадцати пяти или тридцати молодых адвокатов, которых национализм выдвинул на видное место. Можете мне поверить, я вам не лщу. Человек, умеющий хорошо говорить, должен только выгадать от того, что король не вернется. Как только Филипп прибудет в Елисейский дворец, вас заставят управлять и руководить. Это ремесло быстро подтачивает человека. Встанете на защиту народных интересов — король будет недоволен и вас прогонит. Проявите преданность королю — начнет роптать публика, и король вас уволит. Он ли сделает промах, или вы промахнетесь, а накажут вас и в том и в другом случае. Популярны вы или непопулярны, вы неизбежно пойдете ко дну. Но пока король находится в изгнании, вы не можете совершить никаких промахов. Вы не имеете никакой власти, вы не несете ответственности. Это превосходное положение. Вам нечего бояться ни популярности, ни непопулярности: вы стоите выше той и другой. Что бы вы ни сказали, вы не можете провалить дела: защитник безнадежного дела не может ничего провалить. Адвокат несчастья всегда красноречив. Нет никакой опасности быть монархистом при республике, когда дело монархии безнадежно. Надо стать в безвредную оппозицию к власти; сделаться либералом; привлечь симпатии всех врагов существующего режима и снискать уважение правительства, с которым борешься, но при этом не причиняешь ему вреда. Служитель павшей монархии, вы благоговейно будете припадать к стопам вашего короля; это придаст еще больший ореол благородству вашего характера и позволит вам, не унижая себя, расточать его величеству сколько угодно славословий. И, наоборот, вы можете, также без стеснения, отчитывать короля, говорить ему все с резкой прямоотой,

упрекать за заграничные связи, за то, что он отрекся от власти, за выбор приближенных советников, сказать ему, например: «Дозвольте вам, ваше величество, почтительно доложить, что вы водитесь со всякой шушерой». Газеты подхватят эти благородные слова. Слава о вашей преданности от этого возрастет, величие души позволит вам господствовать над вашей партией. Как адвокат, как депутат, вы можете великолепно жестикулировать и в суде и на трибуне палаты; вы неподкупны... Да и отцы духовные к вам благоволят. Не упускайте своего счастья, Лакрис.

Лакрис сухо ответил:

— Может быть, то, что вы говорите, и очень смешно, но я этого не нахожу. И сомневаюсь, чтобы ваши шутки были очень уместны.

— Я не шучу.

— Нет, шутите. Вы скептик. Я питаю отвращение к скептицизму. Это отрицание действия. Я стою за действие, всегда и наперекор всему.

Анри Леон запротестовал:

— Уверяю вас, что я говорю серьезно.

— В таком случае должен вам, к сожалению, сказать, что вы не имеете ни малейшего представления о духе нашей эпохи. Вы нарисовали тут какого-то дядюшку в стиле Берье *, смахивающего на старинный фамильный портрет, на потускневшее трюмо. При Второй империи он мог бы еще быть фигурой, этот ваш роялист. Но теперь, поверьте мне, он показался бы устаревшим, дурачки старомодным. В двадцатом веке придворный короля-изгнанника был бы просто смешон. Кто терпит поражение, сам виноват: слабые всегда неправы. Вот наша мораль, любезнейший. Разве мы симпатизируем Польше, Греции, Финляндии? Нет и нет! Мы не играем на такой гитаре. Простаков больше не найдешь!.. Мы кричали: «Да здравствуют буры!» * Это верно. Но мы знали, что делали. Нам нужно было досадить правительству, чтобы осложнить его отношения с Англией, и, кроме того, мы рассчитывали, что буры победят. Впрочем, я не пал духом. Я надеюсь, что мы свергнем республику с помощью республиканцев. То, чего мы сами не можем сделать, мы сделаем

вместе с националистами всех оттенков. При их содействии мы удавим потаскуху. И прежде всего нам надо заняться муниципальными выборами.

XXII

Жозеф Лакрис правильно охарактеризовал себя, сказав, что он человек действия. Праздность тяготила его. Перестав быть секретарем бездействующего роялистского комитета, он вошел в националистский комитет, действующий очень энергично. Там царил дух неистовства. Все там дышало истребительным патриотизмом и ненавистнической любовью к Франции. Комитет организовывал весьма угрожающие манифестации то в театрах, то в церквах. Жозеф Лакрис становился во главе этих манифестаций. Когда они происходили в церквах, г-жа Бонмон, особа набожная, являлась туда в темном туалете. *Domus mea dormis orationis*¹. Однажды после богослужения в соборе г-жа де Бонмон и Лакрис демонстративно присоединились к националистам, смешались на площади с людьми, выражавшими свой патриотизм бешеными и дружными криками. Лакрис слил свой голос с голосом толпы, а г-жа де Бонмон воодушевляла всеобщую отвагу влажными улыбками своих голубых глаз и пунцовых губок, ярко выделявшихся под вуалеткой.

Вой был величественный и оглушительный. Он все возрастал, когда по приказу префектуры отряд блюстителей порядка двинулся на манифестантов. Лакрис невозмутимо смотрел на его приближение и, как только отряд оказался на достаточно близком расстоянии, крикнул: «Да здравствует полиция!»

Энтузиазм его, продиктованный осторожностью, был в то же время искренен. Узы дружбы завязались между бригадами префектуры и манифестантами-националистами еще, если позволительно так выразиться, с незабвенных времен министра-земледельца, который предоставлял дубиноносцам убивать на мостовых мирных

¹ Дом мой — дом молитвы (*лат.*).

республиканцев. И это называл он: проявлять умеренность! О кроткие земледельческие нравы! О первобытная простота! О счастливые дни! Кто вас не знал — тот не жил! О простодушие этого жителя полей, который говорил: «У республики нет врагов. Где вы видите роялистских заговорщиков и мятежных монахов? Таких не существует». Он спрятал их всех под своим длиннополым праздничным сюртуком. Жозеф не забыл этих благословенных времен. И полагаясь на древний союз бунтовщиков-роялистов с полицией, он приветствовал черные бригады. Находясь в первых рядах сторонников Лиги, он размахивал в знак миролюбия шляпой, которую нацепил на кончик трости, и раз двадцать прокричал: «Да здравствует полиция!» Но времена были уже не те. Равнодушные к этой дружеской встрече, глухие к лестным выкрикам, полицейские ринулись в атаку. Натиск был стремительный. Толпа националистов дрогнула и подалась. О возмездие судьбы! Г-ну Жозефу Лакрису, прекратившему свои приветствия и снова накрывшему голову, продавили шляпу ударом кулака. Возмущенный оскорблением, он сломал свою трость о голову полицейского. И если бы друзья не бросились ему на помощь и не отстояли его, он попал бы в участок и был бы избит как социалист.

Представителя власти, которому проломили черен, отнесли в больницу, где сам префект вручил ему серебряную медаль. Жозефа Лакрису комитет националистов квартала Грандз'Экюри выставил кандидатом на муниципальных выборах, назначенных на 6 мая.

На предыдущих выборах комитет намечал г-на Колинара, консерватора, но его забаллотировали, и он снял теперь свою кандидатуру. Председатель комитета, колбасник Боно, ручался за избрание Жозефа Лакрису. Выбывавший член муниципального совета Ремонден, радикал-республиканец, добивался возобновления полномочий. Но он утратил доверие избирателей. Он восстановил всех против себя и пренебрег интересами квартала. Он даже не выхлопотал трамвая, на проведении которого настаивали уже двенадцать лет, и его обвиняли в том, что он сделал кое-какие поблажки дрейфусарам. Квартал был отменный. Вся прислуга сочув-

ствовала националистам, а купцы строго отзывались о министерстве Вальдека — Мильерана. Имелись и евреи, но они были антисемитами. Многочисленные и рогатые конгрегации должны были присоединиться. Особенно можно было рассчитывать на патеров, освятивших незадолго перед тем часовню св. Антония. Успех был обеспечен. Только бы г-н Лакрис не высказывался слишком ясно и не прибегал к роялистской терминологии, чтобы не отпугнуть мелких коммерсантов, боявшихся перемены режима, особенно во время выставки.

Лакрис воспротивился. Он был роялистом и не собирался прятать свое знамя в карман. Г-н Боно настаивал. Он знал своего избирателя. Он знал, на кого расставляет сети и какая нужна приманка. Г-н Лакрис должен был выступить в качестве националиста, и тогда Боно брался его провести. В противном случае дело было безнадежно.

Жозеф Лакрис был в нерешительности. Он думал написать королю. Но время не позволяло. А кроме того, мог ли король на расстоянии быть хорошим судьей в своих делах? Лакрис обратился за советом к друзьям.

— Наша сила в наших принципах, — ответил Анри Леон. — Монархист не может выдавать себя за республиканца, хотя бы и во время выставки. Но никто и не требует от вас, чтобы вы называли себя республиканцем, дорогой Лакрис. Вас даже не просят говорить, что вы республиканец-прогрессист или республиканец-либерал, что совсем другое, чем просто республиканец. От вас только хотят, чтобы вы провозгласили себя националистом. Вы можете это сделать с высоко поднятой головой, ибо вы действительно питаете националистические чувства. Колебаться нечего. От этого зависит ваш успех, а правое дело требует, чтобы вы были избраны.

Жозеф Лакрис уступил из патриотизма. И он написал королю, чтобы изложить ему положение и завещать ему в своей преданности.

Пункты программы были установлены без всяких затруднений. Защищать национальную армию от банды оголтелых. Борьба с врагами национализма. Поддерживать права отцов семейств, задетые правительствен-

ным законопроектом об университетском стаже. Предотвратить опасность коллективизма. Связать трамвайной линией квартал Грандз'Экюри с выставкой. Высоко держать знамя Франции. Улучшить работу водопровода.

О плебисците ничего не говорилось. О нем не имели никакого понятия в квартале Грандз'Экюри. Таким образом, Жозефу Лакрису не к чему было утруждать себя и согласовывать свою доктрину, опиравшуюся на божественное право, с плебисцитной доктриной. Он любил Деруледа и восхищался им, но не шел за ним слепо.

— Я закажу трехцветные воззвания, — сказал он, обращаясь к Боно. — Это будет эффектно. Не надо ничем пренебрегать, чтобы поразить умы.

Боно одобрил. Но выбывавший член муниципального совета Ремонден, добившись в последнюю минуту прокладки линии городской железной дороги от Грандз'Экюри к Трокадеро, широковещательно объявлял о достигнутом им успехе. Он восхвалял армию в своих письмах к избирателям и превозносил чудеса выставки, которую называл славой Парижа, триумфом промышленного и коммерческого гения Франции. Он становился опасным соперником.

Почувствовав, что борьба будет ожесточенной, националисты удвоили энергию. На бесчисленных собраниях они обвиняли Ремондена в том, что он уморил голодом свою старуху мать и голосовал за муниципальную подписку на книгу дрейфусара Урбена Гойе. Каждую ночь они бесчестили Ремондена, называя его жидовским кандидатом и панамистом. Чтобы поддержать Жозефа Лакрису, образовалась группа республиканцев-прогрессистов, которая выпустила следующее письмо к избирателям:

«Господа избиратели!

Переживаемые нами серьезные обстоятельства обязывают нас требовать от кандидатов на муниципальных выборах отчета об их взглядах на общую политику, от которой зависит будущее страны. В час, когда заблудшие лица преступно дерзают вести вредную аги-

тацию, способную ослабить наше дорогое отечество; в час, когда коллективизм, беззастенчиво ставший у власти, угрожает нашей собственности, священным плодам труда и сбережений; в час, когда правительство, оказавшееся у кормила правления вопреки воле народа, готовит тиранические законы, голосуйте единодушно за

господина Жозефа Лакриса,

адвоката при апелляционном суде,
кандидата сторонников свободы совести и безупречной Республики.

Социалисты-националисты квартала сперва думали выставить собственного кандидата и передать его голоса Жозефу Лакрису при втором туре. Но неминуемая опасность побуждала к единению. Социалисты-националисты Грандз'Экюри поддержали кандидатуру Лакриса и выпустили воззвание к избирателям:

«Граждане!

Рекомендуем вам истинно республиканского, социалистического и националистического кандидата

гражданина Лакриса.

Долой предателей! Долой дрейфусаров! Долой панамистов! Долой жидов! Да здравствует социал-националистическая Республика!»

Патеры, у которых в квартале была часовня и крупная недвижимость, воздержались от вмешательства в избирательную борьбу. Они находились в слишком безропотном подчинении у его святейшества, чтобы послушаться его распоряжений, да и забота о богоугодных делах держала их вдали от мирской суеты. Но миряне, из числа их друзей, весьма кстати изложили в воззвании мысль добрых отцов. Вот содержание этого воззвания, распространявшегося по всему кварталу Грандз'Экюри:

«Христолюбивое общество св. Антония для разыскания утерянных предметов, драгоценностей, денег и

вообще всякой подвижности и неподвижности, а равно для возвращения сердечных чувств, привязанностей и пр. и пр.

Милостивые государи!

Во время выборов дьявол особенно старается смущать души. Для достижения этой цели он прибегает к бесчисленным ухищрениям. Увы! Разве не находится в его распоряжении вся армия франкмасонов? Но вы сумеете расстроить козни врага. Вы с ужасом и отвращением отвергнете кандидата поджигателей храмов, подстрекателей и прочих дрейфусаров.

Только поставив у власти честных людей, вы сможете прекратить гнусные гонения, так жестоко свирепствующие в этот час, и лишить недостойное правительство возможности накладывать руку на деньги бедных. Голосуйте все за

господина

Жозефа Лакриса,

адвоката при апелляционном суде,

кандидата св. Антония.

Не причиняйте, милостивые государи, доброму св. Антонию незаслуженного огорчения увидеть неудачу его кандидата.

Подписи: *Рибагу, адвокат. Вертгеймер, публицист. Флоримон, архитектор. Беш, капитан в отставке. Молон, рабочий».*

Из этих документов можно усмотреть, на какую интеллектуальную и моральную высоту вознес национализм обсуждение муниципальных кандидатур Парижа.

XXIII

Жозеф Лакрис, националистский кандидат, очень энергично вел кампанию в квартале Грандз'Экюри против выбывавшего члена муниципального совета Ансельма Ремондена, радикала. Он тотчас же освоился с обстановкой публичных собраний. Будучи адвокатом и крайним невеждой, он говорил без удержу, и ничто его не могло остановить. Он изумлял избирателей

быстрым потоком слов и привлекал их симпатии скудным подбором и незатейливостью своих мыслей и тем, что всегда говорил лишь так, как они сказали бы сами или по крайней мере хотели сказать. Он явно одерживал верх над Ансельмом Ремонденом. Он непрерывно твердил о своей честности и о честности своих политических друзей, повторял, что надо выбирать честных людей и что его партия была партией честных людей. А так как это была новая партия, то ему верили.

Ансельм Ремонден возражал на своих собраниях, что он честен, и очень честен; но так как он выступал с этими заявлениями после своего противника, то они вызывали скуку. Кроме того, он уже занимал муниципальную должность и был замешан в разных делах, а потому трудно было поверить в его честность, тогда как Жозеф Лакрис сверкал блеском невинности.

Лакрис был молод, подвижен и походил на военного. Ремонден был мал ростом, толст и носил очки. Этого не могли не заметить в такой момент, когда национализм вдохнул в муниципальных избирателей присутствующий ему род энтузиазма и даже поэзии и идеал красоты, доступный мелким коммерсантам.

Лакрис не имел ни малейшего представления ни о вопросах городского управления, ни о круге деятельности муниципальных советов. Это неведение шло ему на пользу. Оно позволяло его красноречию свободно парить. Ансельм Ремонден, напротив, увязал в деталях. Он приобрел деловую складку, привычку к техническому подходу, пристрастие к цифрам, манию документации. И хотя он знал свою публику, но питал некоторые иллюзии относительно культурности своих избирателей. Он их все еще немножко уважал, не осмеливался угощать их слишком явными враками и пускаться в объяснения. А потому он казался холодным, непонятным, скучным.

Он отнюдь не был простаком. Он понимал свои интересы и разбирался в вопросах мелкой политики. Глядя на то, как националистские газеты, националистские прокламации, националистские брошюры затопляли в продолжение двух лет его квартал, он сказал самому себе, что в нужный момент тоже сумеет промыш-

лять национализмом и что не так уже трудно обзывать своих врагов предателями и приветствовать национальную армию. Он недооценил своих противников, полагая, будто всегда сумеет заговорить тем же языком, что и они. В этом он ошибался. Жозеф Лакрис изобрел для выражения националистской идеологии неподражаемый трюк. Он придумал фразу, которая часто пускалась им в ход и выглядела всегда прекрасной и всегда новой, а именно: «Граждане, подыдемся все на защиту нашей восхитительной армии против горсти отщепенцев, поклявшихся уничтожить родину». Это было как раз то, что надо было говорить избирателям Грандз'Экюри. Эти перлы красноречия, ежевечерне повторяемые, вызвали величественный и потрясающий энтузиазм у всего собрания. Ансельм Ремонден не умел найти ничего, хотя бы отдаленно столь прекрасного. И даже тогда, когда вдохновение подсказывало ему патриотические слова, он брал не тот тон, и эффекта не получалось.

Лакрис покрывал стены трехцветными прокламациями. Ансельм Ремонден тоже заказал прокламации в три цвета. Но оттого ли, что краска на них была недостаточно густой, или же оттого, что они выгорали на солнце, они казались полинявшими. Все ему изменяло, все его покидало. Он терял уверенность, казался смиренным, осторожным, маленьким. Он исчезал, становился невидим.

И когда в зале какого-нибудь питейного заведения, разукрашенного для пирушки, Ремонден поднимался, чтобы произнести речь, он походил на бледный призрак, и слабый голосок его тонул в трубочном дыме и в рокоте шумевших граждан. Он напоминал о своем прошлом. Называл себя старым борцом. Говорил, что защищал республику. Но и такие слова текли бледной струей и не рождали звонкого отклика. Ибо избиратели Грандз'Экюри желали, чтобы республику защищал Лакрис, тот самый Лакрис, который устраивал против нее заговоры. Это они крепко втемяшили себе в голову.

На собраниях не бывало дискуссий. Только раз Ремондена пригласили к националистам. Он пошел. Но говорить ему не удалось: его лишили слова при

голосовании повестки дня в суматохе и в темноте, так как хозяин погасил газ, едва только начали ломать скамьи. Собрания в Грандз'Эжюри проходили, как и во всех других кварталах Парижа, с умеренным шумом. Обе стороны прибегали только к вялым актам насилия, характерным для этого времени и типичным для наших политических нравов. Националисты, по традиции, пускали в ход монотонную брань, но от всех их ругательств — «продажная душа», «предатель», «мерзавец» — отдавало бессильем и дряблостью. Крики, раздававшиеся там, свидетельствовали о крайней физической и моральной расслабленности, о смеси смутного недовольства с полным отупением и неспособностью продумать самую простую мысль до конца. Много ругани и мало драк. Каждую ночь — не больше двух-трех раненых и контуженных с обеих сторон. Лакрисовцев относили к Делапьеру, аптекарю-националисту, помещавшемуся рядом с манежем, а ремонтновцев — к г-ну Жобу, аптекарю-радикалу, помещавшемуся напротив рынка. В полночь на улицах уже было пусто.

В воскресенье 6 мая, в шесть часов, Жозеф Лакрис, окруженный друзьями, дожидался исхода выборов в пустой лавке, увешанной плакатами и флагами. Тут помещался комитет. Г-н Боно, колбасник, пришел известить Лакриса о его избрании двумя тысячами тремястами девятью голосами против тысячи пятисот четырнадцати, поданных за Ремондена.

— Гражданин, — сказал ему Боно, — мы все очень довольны. Для республики это победа.

— И для честных людей, — ответил Лакрис.

Затем он добавил с благоволением, полным достоинства:

— Благодарю вас, господин Боно, и прошу вас передать мою благодарность нашим мужественным друзьям.

И, повернувшись к Анри Леону, стоявшему подле него, он шепнул ему на ухо:

— Леон, сделайте мне одолжение: телеграфируйте сейчас же его величеству о нашем успехе.

А с улицы в это время доносились радостные крики:

— Да здравствует Дерулед! Да здравствует армия! Да здравствует республика! Долой предателей! Долой жидов!

Под шум оваций Лакрис стремительно уселся в коляску. Толпа заграждала улицу. Еврей барон Гольсберг стоял у дверцы экипажа. Он схватил за руку нового члена муниципального совета.

— Я голосовал за вас, господин Лакрис. Слышите, я голосовал за вас. Потому что, я вам скажу, антисемитизм — это чепуха, — я это знаю, и вы тоже знаете, — чистейшая чепуха! а социализм — это-таки серьезно.

— Да, да. Прощайте, господин Гольсберг.

Но барон не отпускал его.

— Социализм! Не дай бог! Господин Ремонден завел шуры-муры с коллективистами. Так что мне было делать? Я голосовал за вас, господин Лакрис.

Тем временем толпа редела:

— Да здравствует Дерулед! Да здравствует армия! Долой дрейфусаров! Долой Ремондена! Смерть жидам!

Кучеру удалось прорваться сквозь гущу напиравших избирателей.

Жозеф Лакрис застал г-жу де Бонмон дома, одну, взволнованную и торжественную.

Она уже знала.

— Избран! — сказала она ему, возводя глаза к небу и раскрывая объятия.

И это слово «избран» приняло в устах столь набожной дамы мистический смысл.

Она обвила его своими прекрасными руками.

— Особенно я счастлива тем, что ты обязан мне своим избранием.

Она не раскошенилась для этого ни на грош. В деньгах, правда, недостатка не было, и кандидат-националист черпал их из очень многих источников. Но все же нежная Елизавета не дала ничего, и Жозеф Лакрис не понимал, что она хотела сказать. Она пояснила:

— Я каждый день ставила свечку святому Антонию. Вот почему ты получил большинство. Святой Антоний делает все, о чем его попросят. Отец Адеодат меня в этом заверил, и я сама несколько раз убеждалась.

Она осыпала его поцелуями. В ее голове мелькнула мысль, которая показалась ей красивой и напоминавшей рыцарские обычаи. Она спросила:

— Не правда ли, друг мой, члены муниципалитета носят перевязи? Они с шитьем, скажи?.. Я тебе вышью...

Он очень устал. В изнеможении бросился он в кресло.

Опустившись перед ним на колени, она прошептала:

— Люблю тебя!

И одна только ночь слышала остальное.

В тот же вечер узнал о результате выборов и Ансельм Ремонден в своей квартирке, которую он называл «жилищем сына квартала». В столовой на столе красовалась дюжина бутылок и холодный пирог. Провал позорил Ремондена.

— Так и знал! — проговорил он.

И сделал пируэт. Но сделал его неудачно и подвернул ногу.

— Сам виноват, — сказал ему как бы в утешение доктор Мофль, председатель комитета, старый радикал с лицом Силены. — Ты позволил националистам отравить квартал, у тебя не хватило мужества с ними бороться. Ты ничего не сделал, чтобы разоблачить их враки. Напротив, ты так же, как и они, и вместе с ними затуманивал мозги. Ты знал истину и не осмелился вовремя вывести избирателей из заблуждения. Ты вел себя как трус. Ты провалился, так тебе и надо.

Ансельм Ремонден пожал плечами.

— Ты старый ребенок, Мофль. Ты не понимаешь сути этих выборов. А между тем она ясна. Причина моего поражения заключается в одном: в недовольстве мелких лавочников, попавших в тиски между большими магазинами и кооперативными обществами. Они страдают; они заставили меня заплатить за свои страдания. Вот и все. — И с бледной улыбкой он добавил: — Они здорово попадутся!

XXIV

Встретив в аллее Люксембургского сада своих учеников, Губена и Дени, профессор Бержере сказал:

— Могу сообщить вам, господа, приятную новость. Мир в Европе не будет нарушен. Сами трублионы подтвердили мне это.

И вот что сообщил г-н Бержере:

— Я встретил на выставке Жана Петуха, Жана Барана, Жана Орленка и Жилия Мартышку, которые глазели на поскрипывающие мостики. Жан Петух подошел ко мне и изрек следующие строгие слова:

— Вы сказали, что мы хотим войны и собираемся воевать, что я высажусь в Дувре, введу вместе с Жаном Бараном войска в Лондон, а затем захвачу Берлин и другие столицы. Вы так сказали; я это знаю. Вы сказали это со злым умыслом, желая нам повредить, дабы уверить французов в нашей воинственности. Так знайте же, сударь: это ложь! Мы не выказываем никаких воинственных наклонностей, а только военные наклонности, — и это совсем не одно и то же. Мы хотим мира, и когда мы установим во Франции республику во главе с императором, мы воевать не будем.

Я ответил Жану Петуху, что готов ему поверить, что я убедился в своей ошибке и она совершенно очевидна, поскольку Жан Петух, Жан Баран, Жан Орленок, Жиль Мартышка и вообще все трублионы достаточно доказали свое миролюбие, так как поостереглись отправиться в Китай * и лишь других призывали туда красивыми белыми объявлениями о наборе.

— С тех пор, — добавил я, — мне удалось почувствовать всю изысканность ваших воинских чувств и всю силу вашей привязанности к отечеству. Вы не в силах расстаться с родной землей. Пожалуйста, примите мои извинения, господин Петух. Рад видеть, что вы так же миролюбивы, как и я.

Жан Петух посмотрел на меня взглядом, способным привести в трепет вселенную:

— Я миролюбив, господин Бержере. Но, слава богу, не на ваш лад. Мир, которого я добиваюсь, не

похож на ваш. Вы трусливо довольствуетесь миром, который навязан нам в данное время. У нас слишком возвышенные души, чтобы выносить его терпеливо. Этот жиденький, спокойный мир, который удовлетворяет вас, жестоко оскорбляет наши гордые сердца. Когда мы станем господами положения, мы установим другой мир. Мы установим мир страшный, звенящий шпорами, гремящий трубами, звякающий подковами. Мы установим мир беспощадный и суровый, мир угрожающий, ужасающий, пылающий и достойный нас, грохочущий, извергающий громы, мечущий молнии, рассыпающий искры, мир, более устрашительный, чем самая устрашительная война, мир, который скует земной шар ледящим страхом и погубит англичан с помощью оградительных мер. Вот, господин Бержере, вот какими миролюбцами мы будем. Через два-три месяца вы увидите, как вспыхнет наш мир и воспламенит вселенную.

Прослушав эту речь, я был вынужден признать миролюбие трублионов и таким образом постиг правдивость прорицания, начертанного панзустской сивиллой * на листе древней сикоморы:

О трублион, о чем хлопочешь?
Напрасно глотки не труди —
Коль мирный дух восславить хочешь,
Так сам войною не смерди.

XXV

Салон г-жи де Бонмон стал удивительно оживленным и блестящим со времени победы националистов в Париже и избрания Жозефа Лакриса в Грандз' Экюри. Вдова великого барона объединяла у себя цвет новой партии. Один старый раввин из предместья Сент-Антуан уверовал в то, что кроткая Елизавета привлекла врагов избранного народа по особому повелению бога Израиля. Длань, думал он, некогда приведшая племянницу Мардохея на ложе Ассура, пожелала собрать вождей антисемитизма и князей трублионских вокруг еврейки. Правда, баронесса

отреклась от веры отцов. Но кто может проникнуть в помыслы Иеговы? Художникам, которым, подобно Фремону, мерещились мифологические фигуры из немецких замков, ее пухлая красота венской Эригоны представлялась аллегорией националистского вертограда.

На ее обедах царил атмосфера веселья и могущества, и каждый ее завтрак носил поистине национальный характер. Так и в это утро за ее столом собралось несколько известных защитников церкви и армии: Анри Леон, вице-председатель юго-западных роялистских комитетов, перед тем поздравивший выбранных националистов Парижа; капитан де Шальмо, сын генерала Картье де Шальмо, и его молодая жена, американка, выражавшая свои националистские чувства таким щепетом, что, слушая ее, можно было подумать, будто птички в вольере принимают участие в наших раздорах; временно отрешенный от должности преподаватель пятого класса Сюлли г-н Тонелье, который произнес в присутствии своих юных учеников похвальное слово в честь покушения на особу президента республики, подвергся за это дисциплинарному взысканию и тотчас же был принят в лучшее общество, где держал себя чинно, если не считать пристрастия к каламбурам; бывший коммунар Фремон, инспектор по делам изящных искусств, который на склоне лет превосходно уживался с буржуазным и капиталистическим обществом, усердно посещал богатых евреев, хранителей сокровищ христианского искусства, и охотно подчинился бы даже диктатуре лошади, лишь бы ему была предоставлена возможность ласкать целый день своими холеными руками безделушки из ценных материалов тончайшей работы; престарелый граф Даван с крашеными волосами, нафиксатуренный, вылощенный, неизменно красивый, немного хмурый, живший воспоминаниями о золотом веке еврейства, когда он поставлял крупным роскошествующим финансистам мебель Ризенера и бронзы Томира. Некогда фактор великого барона, он раздобыл для него на пятнадцать миллионов предметов искусства и мебели. Теперь, разоренный неудачными спекуляциями, он жил среди

сыновей, жалея об отцах, угрюмый, желчный, наглейший паразит, знавший, что только таких и терпят. За столом баронессы был также Жак де Кад, один из инициаторов подписки в пользу вдовы полковника Анри; Гюстав Делион, Астольф де Куртре, Жозеф Лакрис, Гюг Шасон дез'Эг, председатель националистского комитета Сель-Сен-Клу; затем Серебряная Нога, в куртке и штанах из грубого холста, с белой нарукавной повязкой, затканной золотыми лилиями, с густыми волосами под круглой шапкой, с которой он никогда не расставался, так же как и с четками из косточек маслины. Это был Монмартрский песенник, по имени Дюпон, ставший шуаном и принятый в высшем свете. Он ел словно на ходу, держа между колен старое кремневое ружье, и пил без удержу. Со времени «Дела» во французском фешенебельном обществе произошла перетасовка.

Молодой барон Эрнест занимал хозяйское место на другом конце стола, против матери.

Беседа коснулась политики.

— Поверьте, — сказал Жак де Кад Гюставу Делиону, — напрасно, совершенно напрасно вы не практикуетесь в приеме отца Франсуа... Почем знать, что случится после выставки... А поскольку мы устраиваем публичные собрания...

— Во всяком случае несомненно, — вставил Астольф де Куртре, — что если мы хотим победить на выборах через год и восемь месяцев, то должны подготовиться к кампании. За себя ручаюсь, что буду готов. Я ежедневно упражняюсь в боксе и в фехтовании на палках.

— Кто ваш учитель? — спросил Гюстав Делион.

— Годибер. Он усовершенствовал французский бокс. Просто изумительно! У него бесподобные ножные удары, собственного изобретения. Это мастер высшей марки, который понимает всю важность тренировки.

— Тренировка — это все, — заметил Жак де Кад.

— Безусловно, — подтвердил Астольф де Куртре. — Годибер применяет замечательные методы тренировки, целую систему, основанную на опыте: массажи, растирания, диету, предшествующую усилен-

ному питанию. Его девиз: «Долой жир! Крепите мускулы». И за полгода, друзья мои, вы усваиваете такой эластичный кулачный удар, такой крылатый ножной удар...

Госпожа де Шальмо спросила:

— А почему вам не свергнуть это жалкое министерство?

И при одной мысли о кабинете Вальдека она с негодованием тряхнула своей хорошенькой семитической головкой.

— Не беспокойтесь, сударыня, — ответил Л а к р и с . — Это министерство будет заменено точно таким же.

— Другим республиканским министерством, таким же расточительным, — сказал г-н Тонелье. — Францию разорят.

— Да, — заметил Леон, — другим совершенно таким же министерством. Но новое покажется не столь неприемлемым: это уже не будет министерство «Дела». Нам придется во всех своих газетах вести против него кампанию по крайней мере полтора месяца, чтобы вызвать к нему ненависть.

— Были ли вы, сударыня, в Малом дворце? — спросил Фремон баронессу.

Она ответила, что была и видела там прелестные шкатулки и бальные записные книжечки.

— Эмиль Молинье, — продолжал инспектор по делам искусств, — организовал там замечательную выставку французского искусства. Средние века представлены ценнейшими памятниками. Восемнадцатому веку тоже отведено почетное место, но помещение позволяет вместить больше. Вы, сударыня, владеете сокровищами искусства, — не откажите в великодушии выставить там какой-нибудь шедевр.

Это соответствовало действительности: великий барон оставил своей вдове настоящие сокровища искусства. Граф Даван ограбил для него провинциальные замки, выудил во всех концах Франции, на берегах Соммы, Луары и Роны у усатых, невежественных и обнищавших дворян портреты их предков, историческую мебель, дары королей своим любовницам, величавые памятники монархии и славное наследие знат-

нейших родов. В ее монтильском замке и в ее доме на проспекте Марсо имелись творения самых прославленных французских краснодеревцев и величайших резчиков XVIII века — комоды, медальеры, секретеры, стоячие и каминные часы, подсвечники — и бесподобные тканые обои блеклых тонов. Но хотя Фремон, а перед ним Термондр — просили ее послать на историческую выставку какую-нибудь мебель, бронзу, гобелены, она всегда отказывалась. Обычно щеголяя своими сокровищами и охотно выставляя их напоказ, на этот раз она не захотела ничего послать. Жозеф Лакрис укреплял ее в этом решении: «Не давайте ничего на их выставку. Ваши вещи раскрадут, сожгут. Да и удастся ли им вообще организовать их международную ярмарку? Лучше не иметь дела с этими людьми».

Фремон, уже несколько раз получавший отказы, настаивал:

— Вы, сударыня, обладаете столькими прекрасными вещами и столь достойны ими обладать, будьте же щедрой и великодушной, выкажите себя истинной патриоткой, ибо дело идет о патриотизме. Пошлите в Малый дворец ваше ризенеровское бюро, украшенное севрским фарфором. С такой мебелью вам нечего бояться соперников. Равную ей можно найти разве только в Англии. Мы поставим на бюро ваши фарфоровые вазы, принадлежавшие великому дофину, эти два чудесных китайских сосуда с бледно-зеленой глазурью, которые Каффьери оправаив в бронзу. Это будет ослепительно!

Граф Даван прервал Фремона:

— Эта оправа не может быть работы Филиппа Каффьери, — произнес он тоном скорбной мудрости. — На ней имеется метка «С», увенчанная геральдической лилией. Это марка Кресана. Можно этого не знать. Но незачем утверждать то, что не соответствует истине.

Фремон продолжал упрашивать:

— Сударыня, покажите ваши перлы: присоедините к этому экспонату настенный ковер с лепренсовской «Московской невестой» *. И вы заслужите право на национальную признательность.

Она готова была уступить. Но, прежде чем согласиться, она вопросительно посмотрела на Жозефа Лакриса, который сказал ей:

— Пошлите им ваш восемнадцатый век, раз им его не хватает.

Затем из уважения к графу Давану она спросила, как ей поступить.

Он ответил:

— Поступайте, как хотите. Мне нечего вам советовать. Пошлете ли вы свою мебель на выставку, или не пошлете, это все равно. Из ничего ничего не выйдет, как говорил мой старый друг Теофиль Готье.

«Номер прошел! — подумал Фремон. — Сейчас извещу министерство, что выцарапал коллекцию Бонмонов. Это стоит орденской розетки».

И он внутренне улыбнулся. Не то, чтобы он был глупцом. Но он не презирал общественных отличий и находил пикантным, что осужденный коммунары может стать кавалером ордена Почетного Легиона.

— Мне еще надо подготовить речь для воскресного банкета в Грандз'Экюри, — сказал Жозеф Лакрис.

— О! — вздохнула баронесса. — Не трудитесь. Это лишнее. Вы так замечательно импровизируете!..

— А кроме того, мой милый, — заметил Жак де Кад, — вовсе нетрудно выступать перед избирателями.

— Нетрудно, если хотите, — отвечал избранник народа Лакрис, — однако дело во всяком случае деликатное. Наши противники кричат, что у нас нет программы. Это клевета; у нас есть программа, но...

— Охота на красных куропаток! Вот в чем программа, господа, — вмешался Серебряная Нога.

— Но избиратель, — продолжал Жозеф Лакрис, — сложнее, чем обычно себе представляют. Так, меня избрали в Грандз'Экюри монархисты, затем, разумеется, и бонапартисты, а также... как бы это выразиться?... республиканцы, которые не хотят республики, но все же остаются республиканцами. Такое умонастроение — не редкость среди мелких торговцев в Париже. Например, колбасник, председатель моего комитета, кричит об этом во всю глотку:

«Республика этих республиканцев, на черта она мне нужна! Если б я мог, я взорвал бы ее даже с риском самому взлететь на воздух. Но за вашу республику, господин Лакрис, я готов пожертвовать жизнью...» Конечно, есть почва для соглашения: «Объединимся вокруг знамени... Не дадим в обиду армию... Долой изменников, подкупленных иностранцами и подрывающих национальную оборону...» Чем это не почва для соглашения?

— Есть еще антисемитизм, — вставил Анри Леон.

— Антисемитизм, — ответил Жозеф Лакрис, — пользуется успехом в Грандз'Экюри, потому что в квартале много богатых евреев, которые заодно с нами...

— А антимаасонская кампания! — воскликнул Жак де Кад, который был религиозен.

— Все мы в Грандз'Экюри стоим за то, чтобы бороться с франкмасонами, — отвечал Жозеф Лакрис. — Те, кто посещает обедню, упрекают их в том, что они не католики. Социалисты-националисты упрекают их в том, что они не антисемиты. Каждое из наших сборищ заканчивается под тысячекратный крик: «Долой масонов!» В ответ на это гражданин Бисоло восклицает: «Долой поповщину!» Наши друзья тотчас же бьют его, опрокидывают наземь, топчут ногами, а полицейские волокут в участок. Дух в Грандз'Экюри превосходный. Но есть и ложные взгляды, которые надо искоренить. Мелкий буржуа еще не понимает, что одна только монархия в состоянии его осчастливить. Он еще не чувствует, что он морально вырастает, когда склоняет колени перед церковью. Лавочника отравили дурными книгами и дурными газетами. Он против злоупотреблений, приписываемых духовенству, и против вмешательства священников в политику. Многие из моих избирателей сами называют себя антиклерикалами.

— Вот как! — с грустью и удивлением воскликнула баронесса де Бонмон.

— В провинции, сударыня, происходит то же самое, — сказал Жак де Кад. — По-моему, это значит выступать против религии. Кто против клира, тот против веры.

— Незачем скрывать от себя, — добавил Лакрис, — нам остается еще многое сделать. Какими способами? Вот это надо решить.

— Я стою за насильственные способы, — отозвался Жак де Кад.

— За какие? — спросил Анри Леон.

Наступило молчание, и Анри Леон продолжал:

— Мы достигли поразительных успехов. Но Буланже тоже в свое время достиг поразительных успехов. А между тем он вышел из строя.

— Его вывели из строя, — сказал Лакрис. — Нам нечего опасаться, что и нас выведут из строя. Республиканцы отлично защищались против него и очень слабо против нас.

— Поэтому я боюсь не наших врагов, а наших друзей, — опять заговорил Леон. — У нас есть друзья в палате. А чем они занимаются? Они не сумели даже хорошенько попотчевать нас маленьким министерским кризисом вкупе с маленьким президентским кризисом.

— Это было желательно, — возразил Лакрис. — Но это было невозможно. А будь только возможно, Мелин бы это сделал. Надо быть справедливыми. Мелин делает, что может.

— В таком случае, — сказал Леон, — нам остается терпеливо ждать, чтобы республиканцы в сенате и в палате уступили нам место. Вы так это себе представляете, Лакрис?

— Ах! — вздохнул Жак де Кад, — я жалею о том времени, когда пускали в ход кулаки. Это было хорошее время.

— Оно может вернуться, — сказал Анри Леон.

— Вы думаете?

— Гм! если мы его вернем.

— Правильно.

— Мы — это количество, как сказал генерал Мерсье. Будем действовать.

— Да здравствует Мерсье! — гаркнул Серебряная Нога.

— Будем действовать, — продолжал Анри Леон. — Нечего терять время. А главное — не остыть. Национализм надо глотать горячим. Пока он кипит — это

крепительный эликсир. Остудите его — это аптечное пойло.

— Как «пойло»? — строго спросил Лакрис.

— Целительное пойло, радикальное средство, хорошее лекарство. Но больной проглотит его без всякого удовольствия и без всякой охоты... Не надо давать микстуре отстояться. Взбалтывайте перед употреблением, как предписывают ученые фармацевты. В данный момент наша националистская микстура хорошо взболтана, она обладает приятным розовым цветом, отрадным для глаз, и слегка кислотавым вкусом, ласкающим нёбо. Если мы не будем встряхивать бутылку, жидкость утратит в значительной мере и цвет и вкус. Она даст отстой. Самая полезная часть осядет; монархические и религиозные партии, входящие в ее состав, пойдут ко дну. Недоверчивый больной оставит большую часть снадобья в склянке. Взбалтывайте, господа, взбалтывайте!

— Что я вам говорил! — воскликнул де Кад.

— Взбалтывайте!.. Легко сказать. Взбалтывать надо умело, а не то рискуешь раздражить избирателей, — возразил Лакрис.

— О! Если вы рассчитываете на переизбрание... — заметил Леон.

— Кто вам говорит, что я на него рассчитываю? Я о нем и не думаю.

— Хорошо делаете. Не надо заранее думать о несчастье.

— Почему о несчастье? Вы предполагаете, что мои избиратели изменятся?

— Напротив, я боюсь, что они не изменятся. Они были недовольны, и они вас избрали. Они будут недовольны и через четыре года. И на этот раз — вами... Хотите совет, Лакрис?

— Что ж, пожалуйста.

— Вы получили две тысячи голосов?

— Две тысячи триста девять.

— Две тысячи триста девять... Нельзя удовлетворить две тысячи триста девять человек. Но дело не в одном количестве. Надо принять во внимание качество. Среди ваших избирателей есть довольно зна-

чительная группа антиклерикалов-республиканцев, мелких коммерсантов, низших чиновников. И это отнюдь не самые умные.

Лакрис, превратившийся в серьезного человека, ответил медленно и внушительно:

— Я вам объясню. Они республиканцы, но прежде всего они патриоты. Они голосовали за патриота, который думает иначе, чем они, который придерживается другого мнения, чем они, по вопросам, казавшимся им второстепенными. Их поведение было вполне достойным; надеюсь, что вы это подтвердите.

— Конечно, подтверждаю. Но, между нами говоря, они не блещут гениальностью.

— Не блещут гениальностью? — повторил с горечью Лакрис, — не блещут гениальностью? Я не говорю вам, что они так же гениальны, как...

Он стал искать в уме имя какого-нибудь гениального человека, но потому ли, что такого не было среди его друзей, потому ли, что неблагодарная память не подсказывала ему нужного имени, или потому, что природное недоброжелательство побуждало его умолчать о лицах, всплывавших в его мозгу, он не закончил фразы и продолжал с некоторой досадой:

— Словом, я не понимаю, за что вы их браните.

— Я их не браню. Я говорю только, что они глупее ваших монархических и католических избирателей, которые поддержали вас вместе с благочестивыми отцами. Вот эти знали, что делают. А значит, ваши интересы и ваш долг обязывают вас работать на них: во-первых, потому, что они думают, как вы, и затем потому, что благочестивых отцов не проведешь, как проведут олухов.

— Заблуждаетесь! Глубоко заблуждаетесь! — воскликнул Жозеф Лакрис. — Сразу видно, дорогой мой, что вы не знаете избирателя. А я-то его знаю! Олухов не легче обмануть, чем остальных. Они впадают в обман, это верно. Они впадают в обман на каждом шагу. Но обмануть их — это не так...

— Нет! Нет! Их можно обмануть; надо только знать, как за это взяться.

— Вот тут-то и загвоздка! — вырвалось у Лакриса.

Но сразу же он спохватился:

— Но я вовсе не хочу их обманывать.

— Кто советует вам их обманывать? Их надо удовлетворить. И вы можете это сделать без особых усилий. Вы недостаточно часто видите с отцом Адеодатом. Это хороший советчик, и до чего умеренный! Он скажет вам со своей тонкой улыбкой, засунув руки в рукава: «Господин член муниципалитета, обеспечьте за собой ваше большинство, удовлетворите его. Мы не будем в обиде, если в совете иной раз и проголосуют за незыблемость прав человека и гражданина или даже против вмешательства церкви в дела государственного управления. Думайте на публичных заседаниях о республиканских избирателях, а за нас будьте в комиссиях. Там-то, в покое и тишине, делают настоящие дела. Пусть большинство муниципального совета иногда выскажется в антиклерикальном духе; эту беду мы перенесем терпеливо. Но важно, чтобы главные комиссии были глубоко религиозны. Они будут сильнее самого совета, потому что активное и сплоченное меньшинство всегда одерживает верх над инертным и разрозненным большинством».

Вот, дорогой Лакрис, что скажет вам отец Адеодат. Он обладает бесподобным спокойствием духа и терпением. Когда кто-нибудь из наших друзей приходит к нему и с трепетом говорит: «О отец мой, какие безобразия затевают франкмасоны! Школьный стаж, статья седьмая, закон об ассоциациях, — страшно подумать!» — добрейший отец улыбается и ничего не отвечает. Он ничего не отвечает, но думает: «Мы и не то перевидали. Мы видели восемьдесят девятый и девяносто третий год, упразднение духовных общин и продажу церковного имущества. А разве некогда, при наихристианнейшей монархии, мы сберегли и увеличили свое имущество без усилий и борьбы? Кто так думает, плохо знает историю Франции. Наши изобильные аббатства, наши города и села, наши вилланы, наши пастбища и мельницы, наши леса и пруды, наши суды и право юрисдикции постоянно оспаривались могущественными врагами, сеньорами, епископами и королями. Нам приходилось отстаивать с оружием

в руках или же перед трибуналами — сегодня луг или дорога, завтра замок или лобное место. Чтобы оградить наши богатства от алчности светской власти, мы должны были ежеминутно предъявлять старинные хартии Клотария и Дагобера, подлинность которых оспаривает нечестивая наука, ныне преподаваемая в государственных школах. Десять веков вели мы тяжбу с королевскими чинами. А с республиканским правосудием мы ведем тяжбу всего лишь тридцать лет. И кое-кто думает, что мы устали! Нет, мы не испугались и не пали духом. У нас есть деньги и недвижимое имущество. Это казна бедных. Чтобы ее сохранить и умножить, мы рассчитываем на двоякую помощь, которая не покинет нас в беде: на покровительство небес и на парламентское бессилие». Таковы мысли, гармонично группирующиеся под лоснящимся черепом отца Адеодата. Лакрис, вы были ставленником отца Адеодата. Вы его избранник. Побывайте у него. Это испытанный политик. Он даст вам хорошие советы. Вы научитесь у него, как удовлетворить колбасника, сочувствующего республиканцам, и очаровать торговца зонтиками, который считает себя свободомыслящим. Побывайте у отца Адеодата. Побывайте у него не раз и не два, бывайте у него часто.

— Мне уже приходилось беседовать с ним, — ответил Жозеф Лакрис. — Он действительно очень умен. Эти праведные отцы разбогатели с поразительной быстротой. Они творят много добра в квартале.

— Очень много добра... — подтвердил Анри Леон. — Весь четырехугольный блок домов между манежем, улицей Грандз'Экюри, особняком барона Гольсберга и внешним бульваром принадлежит им. Они терпеливо осуществляют гигантский план. Они поставили себе задачей воздвигнуть в центре Парижа, — в вашем избирательном округе, дорогой мой, — второй Лурд, огромную базилику, которая будет привлекать ежегодно миллионы паломников. А пока что они застраивают свои обширные территории доходными домами.

— Слышал, — ответил Лакрис.

— Я тоже это слышал, — сказал Фремон. — Я знаком с их архитектором. Это Флоримон, необыкновенный человек. Вы знаете, что праведные отцы органи-

зуют паломнические экскурсии по Франции и за границу. Флоримон, с нечесаной шевелюрой и девственной бородой, сопровождает пилигримов при посещении соборов. Он стилизует свою наружность под мастера из цеха каменщиков тринадцатого века. Он взирает на башни и звонницы экстатическим взором. Дамам он объясняет строение стрельчатой арки и христианскую символику. Показывает в центральной розетке портала Марию — цветок древа Иесева. Вперемежку со слезами, вздохами и молитвами он вычисляет коэффициент давления свода на стены. Когда Флоримон приходит в трапезную, где собираются монахи и паломники, его лицо и руки еще серы от пыли старых камней, к которым он прикасался, и свидетельствуют о благочестии этого поденщика католицизма. Его мечта, как он говорит, «принести и свой камень, камень смиренного труженика, для построения нового святилища, которое будет стоять столько же лет, сколько будет стоять мир». И, вернувшись в Париж, он строит тошнотворные здания, доходные дома из дрянной извести и пустотелых кирпичей, жалкие постройки ребровой кладки, которые не продержатся и двадцати лет.

— Но им и незачем держаться двадцать лет, — сказал Анри Леон. — Ведь это именно те дома в Грандз' Экюри, о которых я вам говорил; они со временем уступят место грандиозной базилике святого Антония со всякими служебными постройками — целому церковному городу, который возникнет здесь через пятнадцать лет. А за пятнадцать лет праведные отцы завладеют всем кварталом, голосовавшим за нашего друга Лакриса.

Госпожа де Бонмон поднялась и взяла под руку графа Давана.

— Вы понимаете... я не люблю расставаться со своими вещами... Выпускать вещи из дому — значит подвергать их риску... Потом не оберешься неприятностей... Но раз этого требуют интересы страны... Родина прежде всего, — вы не откажетесь отобрать с господином Фремоном то, что должно пойти на выставку.

— Все равно, — сказал Жак де Кад, вставая из-за стола, — напрасно, Делион, совершенно напрасно вы не практикуетесь в приеме отца Франсуа.

Кофе пили в маленькой гостиной.

Серебряная Нога, певец-шуан, сел за рояль. Он перед этим присоединил к своему репертуару несколько роялистских песен эпохи Реставрации, рассчитывая стяжать ими изрядный успех в гостиных.

Он запел на мотив «Часового»:

На поле чести пал Баярд-герой,
Сраженный насмерть, полн одушевления!
Гордясь, что лег костями за край родной,
Величие души явил он в опьяненье:

«О, сколь завиден мой удел!
Венчаюсь я без ропота с могилой;
Пока мой дух не отлетел,
Без страха я служить умел
Монарху, родине и милой».

Шасон дез'Эг, председатель националистского комитета действия, подошел к Жозефу Лакрису.

— Так как же, господин Лакрис, организуем мы что-нибудь четырнадцатого июля?

— Совет не может провоцировать волнений, — с достоинством отвечал Лакрис. — Это не входит в его компетенцию. Но если произойдут внезапные манифестации...

— Время не терпит, опасность растет, — возразил Шасон дез'Эг, которому грозило исключение из клуба и на которого в суд была подана жалоба по обвинению в мошенничестве. — Надо действовать,

— Не нервничайте, — ответил Лакрис. — Мы сильны своей численностью, деньги в наших руках.

— Деньги в наших руках, — задумчиво повторил Шасон дез'Эг.

— Численность и деньги — этого достаточно, чтобы провести выборы, — продолжал Лакрис. — Через двадцать месяцев мы захватим власть и удержим ее за собой на двадцать лет.

— Да, но до тех пор... — вздохнул Шасон дез'Эг, и взгляд его округлившись глаз с беспокойством устремился в неизвестное будущее.

— До тех пор, — ответил Лакрис, — мы будем обрабатывать провинцию. Мы уже начали.

— Лучше покончить со всем сейчас же, — заявил Шасон дез'Эг тоном глубокого убеждения. — Мы не должны допускать, чтобы это изменническое правительство дезорганизовало армию и парализовало национальную оборону.

— Безусловно, — подтвердил Жак де Кад. — Следите за тем, что я вам скажу. Мы кричим: «Да здравствует армия!..»

— Ну, конечно, — прервал его Гюстав Делион. — Дайте досказать. Мы кричим: «Да здравствует армия!» Это наш боевой клич. Но если правительство начнет заменять националистских генералов республиканскими генералами, то мы уже не можем кричать: «Да здравствует армия!»

— Почему? — спросил Гюстав Делион.

— Потому что это значило бы кричать: «Да здравствует республика!» Кажется, ясно.

— Этого опасаться не приходится, — возразил Жозеф Лакрис. — Дух офицерства не оставляет желать ничего лучшего. Если даже изменническому министерству удастся провести одного республиканца на десять человек командного состава, то дальше этого оно и не пойдет.

— Но это было бы уже достаточно неприятно, — сказал Жак де Кад. — Потому что тогда мы были вынуждены кричать: «Да здравствуют девять десятых армии!» Это слишком длинно для боевого клича.

— Будьте покойны, — ответил Лакрис. — Когда мы кричим: «Да здравствует армия!» — всякий понимает, что это значит «Да здравствует Мерсье!»

Серебряная Нога пропел, сидя у рояля:

«За короля! За короля!» —
Таков наш клич в старинном флоте.
Среди обломков корабля
Моряк кричит в водовороте,
Свой пыл предсмертный утоля!
«За короля!»

— Тем не менее, — продолжал настаивать Шасон дез'Эг, — четырнадцатое июля подходящий день, чтобы

начать разгром. Толпа на улицах, толпа наэлектризованная, возвращающаяся с парада и приветствующая проходящие полки!.. Если действовать методически, то можно многое сделать в такой день. Можно взбудоражить народную гущу.

— Ошибаетесь, — возразил Анри Леон. — Вы не знаете физиологии толпы. Добронравный националист, направляясь домой после смотра, несет на руках грудного младенца и тащит за собой другого пискляка. За ним идет его жена, неся в корзине литр вина, хлеб и колбасу. Попробуйте-ка, взбудоражьте человека с двумя детенышами, женой и семейным завтраком!.. К тому же, извольте видеть, толпа руководствуется всегда простыми ассоциациями. Вы не заставите ее взбунтоваться в праздничный день. Цепь газовых рожков и бенгальские огни внушают толпе веселые и мирные мысли... Простолюдин глазеет на площадку перед кабачком, увешанную с четырех сторон китайскими фонариками, и на обитую кумачом эстраду для музыкантов и пускается в пляс. Чтобы поднять волнение на улицах, надо уловить психологический момент.

— Не понимаю, — заявил Жак де Кад.

— А между тем следовало бы понять, — сказал Анри Леон.

— Вы находите, что я не очень умен?

— Ну что вы!

— Если находите, можете сказать. Вы меня не обидите. Я не строю из себя умника. А кроме того, я заметил, что люди, которых считают умными, оспаривают наши идеи, наши верования и хотят истребить все, что мы любим. Поэтому мне было бы весьма тяжело оказаться тем, что называют умным человеком. Предпочитаю быть дураком и думать то, что я думаю, верить в то, во что верую.

— Вы совершенно правы, — сказал Леон. — Нам надо оставаться самими собой. И даже если мы не глупцы, то поступать надо так, как будто мы глупцы. Только глупость и преуспевает на свете. Умные люди всегда остаются в дураках, Они никогда не достигают того, чего хотят.

— Верно! очень верно то, что вы говорите, — воскликнул Жак де Кад.

Серебряная Нога запел:

«Да здравствует король!» — таков народный глас.
Лишь этот лозунг Франции достоин.

«Да здравствует король!» — в любом полку у нас
Три слова эти помнит каждый воин.

— Все равно, — сказал Шасон дез'Эг, — вам не следует отказываться, Лакрис, от методов восстания, — они самые лучшие.

— Вы просто дети, — ответил Леон. — У нас есть только один способ действия, один-единственный, но зато верный, могучий, эффективный. Это «Дело». Нас породило «Дело»; не забывайте этого, националисты! Мы росли и благоденствовали благодаря «Делу». Оно одно нас кормило, оно одно нас еще поддерживает. От него получаем мы наши соки и питание, оно доставляет нам живительную субстанцию. Если, оторвавшись от почвы, оно завянет и умрет, мы зачахнем и погибнем. Притворяйтесь, будто вы его выкорчевываете, а на самом деле растите его заботливо, питайте его, орошайте. Народ простодушен; он расположен в нашу пользу. Глядя, как мы работаем заступом, копаем и скребем вокруг этого растения, нашего кормильца, он подумает, что мы стараемся вырвать его с корнем. И он будет питать к нам нежность, благословлять наше рвение. Ему никогда не придет на ум, что мы выращиваем «Дело». Оно опять расцвело в самый разгар выставки. А бесхитростный народ не заметил, что порадели об этом мы.

Серебряная Нога пропел:

Уже наш brave генерал
К веселью подал нам сигнал.
Давайте ж пить напропалую!
Пусть в честь его, другим в пример,
Поет солдат и офицер:
«Я,
Тра-ля-ля,
Я — воин короля,
И я горжусь, и я ликую».

— Очень красивая песенка, — прошептала г-жа де Бонмон, закрывая глаза.

— Да, — подтвердил Серебряная Нога, встряхнув своей жесткой гривой. — Она носит название «Весельчак Бюте Забритый лоб, или Воин короля». Это маленький шедевр. Считаю, что я набрел на счастливую мысль, когда вздумал откопать эти старые песни роялистов времен Реставрации.

Я,
Гра-ля-ля,
Я — воин короля!

Тут он внезапно хлопнул огромной лапищей по крышке рояля в том месте, где положил свои четки и медали:

— Тысяча дьяволов, Лакрис! Не трогайте моих четок. Их освятил его святейшество папа.

— Все равно, — сказал Шасон дез'Эг, — мы должны манифестировать на улице. Улица принадлежит нам. Пусть это знают. Поедьте четырнадцатого в Лоншан!..

— Я с вами, — откликнулся Жак де Кад.

— Я тоже, — поддержал его Делион.

— Ваши манифестации — идиотизм, — сказал молодой барон, до тех пор хранивший молчание.

Он был достаточно богат, чтобы не принадлежать ни к какой политической партии.

Он добавил:

— Меня начинает тошнить от национализма.

— Эрнест! — произнесла баронесса с ласковой строгостью матери.

Молодой Делион, который был ему должен, и Шасон дез'Эг, собиравшийся взять у него в долг, не рискнули открыто ему перечить.

Шасон поднатужился, чтобы улыбнуться, словно был в восторге от острого словца, а Делион уступчиво ответил:

— Может быть, это и так. Но что же в наше время не тошнотворно?

Эта мысль навела Эрнеста на глубокие размышления, и, немного помолчав, он сказал с выражением искренней меланхолии:

— Верно! Все тошнотворно.

И задумчиво присовокупил:

— Вот хотя бы автопыхтелка; возьмет и завяжет на самом неподходящем месте. Досадно не то, что опаздываешь... Куда спешить? — везде одно и то же... Но, например, на днях я застрял на пять часов между Марвилем и Буле. Вы не знаете этого места? Это не доезжая Дре. Ни дома, ни деревца, ни пригорка. Все плоско, желто, кругло, какое-то дурацкое небо над тобою, похожее на стеклянный колпак для дыни. Можно состариться от одного лицезрения такой местности... Впрочем, плевать, попробую новую систему... семьдесят километров в час... и мягкий ход... Делион! Хотите прокатиться со мной? Я еду сегодня вечером.

XXVI

— Трублионы, — сказал г-н Бержере, — возбуждают во мне живейший интерес. А потому я с некоторым удовольствием обнаружил в небезытересной книге, написанной Николем Ланжелье, парижанином, вторую главу, посвященную этим людишкам. Вы помните первую, господин Губен?

Губен ответил, что знает ее наизусть.

— Хвалю, — заявил Бержере. — Ибо эта книга своего рода требник. Я сейчас прочту вам вторую главу, которая понравится вам не меньше предыдущей.

И маститый ученый прочел следующее:

«О сумятице и великом переполохе, учиненном трублионами, и об отменной речи, которую держал перед ними Робен Медоточивый.

В оные дни учинили трублионы превеликую трескотню в старом и новом городе и на левобережной стороне, ударяя каждый чумичкой по «трублию», что означает железную сковороду или кастрюлю, и была эта музыка весьма сладкозвучна. И шли они, возглашая: «Смерть изменникам и марранам!»* Вешали они на стенах, а равно в потайных и ретирадных местах хорошие маленькие геральдические щиты с таковыми надписями: «Смерть марранам! Не покупайте у жидов

и у ломбардцев! Долгая лета Тинтиннабулу!» И вооружались они огнестрельным и холодным оружием, ибо были дворянами. Однако же сопровождала их также Тетушка Дубинка, и в снисходительности своей пускали они в ход кулаки, не гнушаясь мужицкой забавы. Речи вели они только о том, чтобы крошить и раскрошить, и говорили на своем языке и наречии, — отменно приспособленном, весьма уместном и мысли их соответственном, — что хотят людям «опорожнить коробочку»; сие же в собственном смысле означало «вытряхнуть мозги из черепной коробки», где они покоятся согласно закону и предначертанию Природы. И делали, как говорили, всякий раз, когда представлялся случай. А поелику были они разумом весьма просты, то воображали, будто они одни хороши и кроме них никто не хорош, напротив того, все плохи, — а сие есть положение удивительно ясное, определение превосходное и для боевых целей великолепное.

И были среди них прекрасные и высокородные дамы, отменно разодетые, каковые прельстительным образом, всякими улецеаниями и жеманством подстрекали оных любезных трублионов разносить, колошматить, протыкать, повергать и сокрушать всякого, кто не трублионствовал. Не дивитесь сему и признайте в этом естественную склонность дам к жестокостям и насилиям, их восхищение перед гордой отвагой и воинственной доблестью, как это можно усмотреть из древних историй, где говорится, что бог Марс был пламенно любим Венерой, а также другими богинями и смертными женщинами в несметном числе, а, напротив, Аполлон, хотя и сладкозвучно играл на струнах, видел лишь презрение от нимф и служанок.

И не проходило ни одно сходбище трублионов в городе, ни одно их шествие, ни пир, ни похороны без того, чтобы какие-нибудь бедные горожане — один, два, а то и больше — не были избиты ими и оставлены наполовину, на три четверти и даже совсем мертвыми на мостовой, что было достойно великого удивления. И повелся обычай: когда трублионы проходили по городу, то тех, кто отказался трублионствовать и был за то покалечен, сердобольно относили на носилках

в лавку или в лекарственный склад какого-нибудь аптекаря. По этой ли, или по другой причине стояли все аптекари в городе за трублионов.

Случилось в то время быть превеликой парижской ярмарке во Франции, знаменитой и более обширной, нежели ярмарки в Экс-ла-Шапель, во Франкфурте, в Сен-Дени и нежели прекрасное торжище в Бокере. Была она парижская ярмарка так богата и изобильна товарами, изделиями искусства и всяческими измышлениями, что некий сведущий человек, по имени Корнелий, который много повидал на своем веку и сам был неглуп, говорил, что, видя ее, посещая и созерцая, он даже утратил заботу о спасении собственной души и охоту к еде и питью. Чужеземные народы толпами повалили в город парижцев, чтобы повеселиться и порастрасти кошелек. Королей и корольков понаехала тьма, чем крепко чванились петухи и петушки, говоря: «Это великая для нас честь». Купцы от толстосума до лоточника, Наживай-Незевай и Ключ-Помалу, мастеровой и промысловый люд — все надеялись сбыть немало товара иноземцам, что съехались в их город на ярмарку. Торгаши и разносчики распаковывали тюки, трактирщики и кабатчики расставляли столы, весь город из конца в конец превратился поистине в обильный рынок и веселую трапезную. Надобно сказать, что названным купцам — не всем, но большей части — по нраву пришлись трублионы, коими они восторгались за страшную силу глотки и великий кулачный размах, и даже богатейшие купцы-марраны и менялы-марраны глядели на них с почтением и смиренным желанием не быть избитыми.

Итак, купцы и промысловый люд любили их, но, естественно, также любили и свой товар и свою выгоду и стали побаиваться, как бы помянутые молодчики бешеными выходками, внезапными набегами, наскоками, взрывчатыми жестянками и трублионствами не опрокинули их ларьки и прилавки на перекрестках, на бульварах и в садах и не испугали бы жестокими и неожиданными убийствами иностранцев, так что те утекли бы из города еще с полными кошельками. По правде сказать, опасность эта была не очень

велика. Трублионы грозились ужасно и преустрасительно. Но крушили они людей в малом числе — одного, двух, трех зараз, как уже говорилось, и всегда местных жителей; никогда они не набрасывались ни на англичанина, ни на немца, ни на других каких иностранцев, но всегда лишь на своих сограждан. Бесчинствовали в одном месте, а город был велик; так и сходило оно незаметно. Однако возможно было, что они войдут во вкус и пожелают развернуться еще шире. Казалось к тому же не вполне уместным, чтобы на этом вселенском торжище и раздольном пире ходили трублионы, скрежеща зубами, вращая горящими глазами, сжимая кулаки, раскорячивая ноги, испуская бешеный лай и истощное улюлюкание, и опасались парижийцы, как бы трублионы не принялись совсем некстати творить уже теперь то самое, что они могли совершать без помехи и препоны после празднества и ярмарки, то есть убивать то тут, то там какого-нибудь беднягу.

Тогда стали поговаривать горожане, что надо навести спокойствие, и вынесли согласное постановление, чтобы в городе царил мир. Но трублионы слушали это одним ухом и отвечали: «Однако жить, не нападая на врага или по крайности на незнакомца, разве это отрада? Если мы оставим в покое евреев, то не видать нам царствия небесного. Ужели нам сидеть сложа руки? Господь повелел в поте лица своего есть хлеб свой». И, взвешивая в уме глас народный и всеобщее постановление, пребывали в нерешительности.

Тогда один старый трублион, по имени Робен Медоточивый, собрал вокруг себя всех главарей трублионских. Его уважали, почитали и высоко ценили трублионы, знавшие, что был он мастер на всякие штуки и неистощим в хитростях и лукавстве. Разверзши рот, похожий на пасть старой щуки с поредевшими зубами, но все же еще достаточно зубастой, чтобы хватать мелких рыбешек, сказал он наисладчайшим голосом:

— Слушайте, друзья; слушайте все. Мы честные люди и добрые сотоварищи. Мы отнюдь не дураки. Будем требовать успокоения. Скажу больше: пожелаем сами успокоения. Успокоение — сладостная вещь. Успокоение — драгоценнейшая мазь, гиппократово сна-

добье и аполлониев бальзам. Это хорошая лекарственная настойка, это — липа, мальва, зинзивей. Это — сахар, это — мед. Это — мед, говорю вам, а разве я не Робен Медоточивый? Я питаюсь медом. Вернись Золотой век, и я буду лизать мед со стволов священных дубов. Заверяю вас. Хочу успокоения. Желайте же успокоения.

Услыхав такие слова Робена Медоточивого, начали трублионы строить злые рожи и перешептываться: «Неужели это Робен Медоточивый говорит нам такие речи? Он нас больше не любит. Он нам изменяет. Он ищет, как бы повредить нам, или у него зашел ум за разум». А наиболее трублионствующие говорили: «Чего хочет этот старый харкун? Ужели он думает, что мы побросаем наши палки, дубины, дреколье, кистени и славненькие маленькие огнестрельные трубочки, которые мы носим в карманах? Что мы такое во время мира? Ничто. Нас ценят, только пока мы деремся. Или хочет он, чтобы мы больше не дрались? Чтобы мы больше не трублионствовали?» И поднялся великий шум и ропот в собрании, и было сходбище трублионов подобно ревущему морю.

Тогда добряк Робен Медоточивый простер свои маленькие желтые руки над возбужденными головами наподобие какого-нибудь Нептуна, умиряющего бурю, и, вернув или почти вернув трублионский океан в его безмятежное и спокойное лоно, продолжал с великой учтивостью:

— Я ваш друг, мои милочки, и добрый советчик. Выслушайте, что я вам скажу, прежде чем сердиться. Когда я говорю: «Желайте успокоения», ясно, что я говорю об успокоении наших врагов, противников и всех противомыслящих, противоречащих и противодействующих. Очевидно и ясно, что я говорю об успокоении всех, кроме нас, об успокоении полиции и магистратуры, нам враждебной и противоборственной, об успокоении мирных гражданских чиновников, облеченных полномочиями и властью предупреждать, удерживать, обуздывать, укрощать всякое трублионство, об успокоении суда и закона, которые угрожают нам. Пожелаем им всем глубокого и непробудного успокоения; пожелаем, чтобы всякий, кто не труб-

лион, погрузился в бездну, в пропасть вечного покоя. Вечный покой даждь им, господи! Вот чего мы хотим. Мы не требуем нашего успокоения. Мы не успокоимся. Когда мы поем «да починут в мире», разве это для нас? У нас нет желания опочить. Если ты мертв, то уже надолго. Мы, живые, дадим мир не живым, а мертвым, не на этом, а на том свете. Это вернейший мир. Чтобы я хотел успокоения! Что я, олух? Или вы не знаете Робена Медоточивого? У меня, мои милочки, имеется еще не один фокус-покус про запас в фиглярской котомке. Или вы менее догадливы, мои ягнятки, чем сопляки и школьники-пострелята, которые, бегаючи вперегонки и играючи в салки, когда хотят захватить другого врасплох, кричат ему «чур чура» в знак передышки и перемирия, а сами, пользуясь его неосторожностью и доверчивостью, обгоняют его или саят и тем его посрамляют?

Таким же образом поступаю и я, Робен Медоточивый, доверенный короля. А если у меня, как это часто случается, есть бдительные и недоверчивые противники, действующие в совете, я говорю им: «Мир, мир, мир, господа. Мир вам!» — и тихонько кладу под их скамью натруску пороху, старые гвозди и хороший фитиль, конец которого держу в руке. Затем, притворившись мирно спящим, я в удобный миг подпаливаю фитиль. И если они не взлетают на воздух, то уже вина не моя. Значит, порох оказался лежалым. В таком случае — до другого раза.

Дорогие друзья мои, берите пример с главарей, руководителей и властителей. Разве вы не видите, что Тинтиннабул притих? В данное время он больше не тинтиннабульствует. Он выжидает удобного случая, чтобы вновь затинтиннабульствовать. А разве он успокоился? Вы, конечно, этого не думаете. А молодой Трублион? Хочет ли он успокоения? Нет. Он ждет. Поймите же хорошенько: для вас тоже полезно, выгодно и необходимо выказывать благожелательное, благодушное, смягчающее и очищающее душу стремление к миру. Что вам это стоит? Ничего. Вы же извлечете из этого большую пользу. Надо, чтобы вы, мятежники, казались мирными, а чтобы другие — те, кто не трублион-

ствуется, те, кто и в самом деле миролюбив, казались мятежными, сердитыми, сварливыми, взбешенными и упорствующими, неблагожелательными и враждебными столь желанному, столь любезному и долгожданному миру. Таким образом пойдет молва, что вы горите стремлением и любовью к благу и общественному покою, а противники ваши, наоборот, питают злостное намерение потрясти и разрушить весь город и окрестности. И не говорите мне, что это трудно. Все будет так, как вы хотите. Обморочите простой народ, как вам заблагорассудится. Народ поверит тому, что вы будете говорить. Он не заткнет ушей. Скажите им: «Хотим успокоения» — и все тотчас же поверят, что вы его хотите. Скажите это, дабы доставить им удовольствие. Это вам ничего не стоит, а между тем легче вам будет разбивать черепа вашим врагам и противоборцам, кои всегда жалостно блеяли: «Мир! мир!», ибо сами они кротки, как овцы, — это и оспаривать невозможно. И вы скажете: «Они не хотели мира — мы их убили. Мы хотим мира, мы его установим, когда будем полновластными господами. Миролюбиво воевать — что может быть похвальнее?» Кричите: «Мир! мир!» — и убивайте. Вот это по-христиански. «Мир! мир! Этот уже не встанет! Мир! мир! Я укокошил троих!» Намерение было мирное, а судить вас будут по намерениям вашим. Идите и говорите: «Мир!» — и бейте без пощады. Монастырские колокола будут заливаться вовсю, прославляя вас за миролюбие, а мирные граждане будут провожать вас лестными похвалами и, видя ваши жертвы, распростертые на мостовой с распоротым брюхом, скажут: «Вот это хорошо! Так и надо для мира. Да здравствует мир! Без мира — уж какая это жизнь!»

XXVII

Госпожа де Бонмон была знакома с выставкой, поскольку обедала там несколько раз. В этот вечер обед происходил в «Прекрасной шоколаднице», швейцарском ресторане, помещающемся, как известно, на

берегу Сены. Г-жу де Бонмон сопровождал цвет воинствующего национализма: Жозеф Лакрис, Анри Леон, Жак де Кад, Гюстав Делион, Гюг Шасон дез'Эг и г-жа де Громанс, очень походившая, как заметил Анри Леон, на хорошенькую служанку с той самой пастели Лиотара*, сильно увеличенная копия которой служила вывеской кабачку.

Госпожа де Бонмон была кротка и нежна. Только любовь, неумолимая любовь могла привести ее в стан воителей. Она принесла туда душу, созданную, как у Антигоны Софокла, не для ненависти, а для доброжелательства. Она питала жалость к жертвам. Жамон был самой трогательной из жертв, которые ей довелось обнаружить, и преждевременная отставка этого генерала вызывала у нее слезы. Она подумывала о том, чтобы вышить ему подушку, на которой он мог бы покоить свое увенчанное славой чело. Она охотно делала такие подарки, вся ценность которых заключалась в чувстве. Ее смешанная с восхищением любовь к члену муниципалитета Жозефу Лакрису оставляла ей некоторый досуг, чтобы умиляться над бедами национальной армии и кушать пирожные. Она сильно полнела и приобрела вид почтенной дамы. Молодая г-жа де Громанс придерживалась менее великодушного образа мыслей. Сначала она любила и обманывала Гюстава Делиона, а затем и совсем его разлюбила. И Гюстав, снимая с нее на террасе «Прекрасной шоколадницы» светлое мантио с розовыми цветами, шепнул ей на ухо лестные словечки: «Дрянь! шлюха!» — в присутствии метрдотеля, почтительно опустившего глаза. На ее лице не отразилось никакого ощущения. Но в глубине души она находила, что он мил, и чувствовала, что опять полюбит его. С своей стороны Гюстав призадумался и понял, что впервые в жизни произнес слова любви. И он направился к столу, где с сосредоточенным видом уселся рядом с Клотильдой. Обед, последний в этом сезоне, прошел невесело. Сквозила меланхолия разлуки и какая-то националистическая грусть. Конечно, еще не теряли надежды, — что я говорю! — питали огромную надежду! Но когда у вас есть все — и люди и деньги, прискорбно ожидать только от будущего,

от смутного будущего, удовлетворения ваших давних желаний и настойчивого честолюбия. Один только Жозеф Лакрис сохранял до некоторой степени душевную безмятежность; он считал, что достаточно сделал для своего короля, добившись того, что был избран республиканцами-националистами квартала Грандз'Эжюри в члены муниципалитета.

— В общем, — сказал он, — четырнадцатого июля в Лоншане все прошло отлично. Приветствовали армию. Кричали: «Да здравствует Жамон! Да здравствует Бугон!» Чувствовался известный энтузиазм.

— Конечно, конечно, — ответил Анри Леон, — но Лубе нетронутым вернулся в Елисейский дворец, и дела наши в этот день мало продвинулись вперед.

Гюг Шасон дез'Эг, большой бурбонский нос которого был украшен совсем свежим рубцом, сдвинул брови и горделиво изрек:

— Могу вам только сказать, что у каскада была жаркая схватка. Когда социалисты крикнули: «Да здравствует республика! Да здравствуют солдаты!», то мы...

— Полиция, — заметила г-жа де Бонмон, — не должна была бы разрешать такие крики...

— Когда социалисты крикнули: «Да здравствует республика! Да здравствуют солдаты!» — мы отвечали: «Да здравствует армия! Смерть жидам!» — «Белые гвоздики», спрятанные мною в чаше, присоединились к моему кличу. Они закидали отряд «Красного шиповника» целым градом железных кресел. Это было бесподобно. Но что поделаешь? Толпа их не поддержала. Парижане явились со своими женами, детьми, корзинами, сетками, полными припасов... А родственники, приехавшие из провинции, чтобы посмотреть выставку... старые земледельцы с окостенелыми ногами, которые глядели на нас рыбьим взглядом... и еще крестьянки в косынках, недоверчивые, как совы! Разве распалишь такой семейственный народ!

— Безусловно момент был выбран неудачно, — сказал Лакрис. — Кроме того, мы должны до известной степени соблюдать перемирие из-за выставки.

— Все равно, — продолжал Шасон дез'Эг, — мы здорово подрались у каскада. Я лично так хватил

гражданина Бисоло, что втиснул ему голову в горб. Он повалился наземь: ни дать ни взять — черепаха. А затем: «Да здравствует армия! Смерть жидам!»

— Конечно, конечно, — глубокомысленно произнес Анри Леон, — но «Да здравствует армия! Смерть жидам!» — это слишком утонченно... для толпы. Это, если разрешите так выразиться, слишком литературно, слишком классично и недостаточно действенно. «Да здравствует армия!» — это звучит красиво, благородно, корректно, но холодно... Да, холодно. А кроме того, позвольте вам сказать, есть только одно средство, одно-единственное, чтобы увлечь толпу: паника. Поверьте: чтобы раскачать безоружную массу, надо нагнать на нее страх. Надо бежать и кричать... ну, скажем... «Спасайся, кто может! К оружию!.. Измена!.. Французы, вас предали!» Если бы вы прокричали это или что-либо подобное зловещим голосом, на бегу посреди поляны, пятьсот тысяч человек бросились бы бежать скорее вас, и их нельзя было бы остановить. Это было бы великолепно и потрясающе. Вас сбили бы с ног, затоптали бы, превратили бы в кашу... Но переворот был бы совершен.

— Вы думаете? — спросил Жак де Кад.

— Не сомневайтесь, — продолжал Леон. — «Измена! Измена!» — вот испытанный клич для бунта, клич, который придает крылья толпе, придает одинаковую прыть храбрым и трусливым, вселяет мужество в сто тысяч сердец и возвращает ноги паралитикам. Эх, дорогой Шасон, если бы вы крикнули в Лоншане: «Нас предали!», ваша старая сова с крутыми яйцами в корзине и с дождевым зонтиком и ваш земледелец с одеревенелыми ногами пустились бы бежать, как зайцы.

— Пустились бы бежать? Куда? — спросил Жозеф Лакрис.

— Почему я знаю куда! Разве можно знать, куда побежит толпа во время паники? Да и знает ли она сама? Но не все ли равно? Толчок дан. Этого достаточно. В наше время не устраивают восстаний по системе. Занимать стратегические пункты — это было хорошо в давние времена Барбеса и Бланки. Теперь, при нали-

чии телеграфа, телефона или хотя бы полицейского на велосипеде, всякое заранее намеченное выступление немыслимо. Можете ли вы себе представить, чтоб Жак де Кад захватил полицейский участок на улице Грель? Нет. Возможны только сумбурные, огромные, шумные выступления. И только страх, всеобщий и трагический страх способен всколыхнуть многолюдные массы на народных празднествах и гуляниях. Вы спрашиваете меня, куда ринулась бы четырнадцатого июля толпа, возбуждаемая, словно громадным черным знаменем, зловещими криками: «Измена! измена! иностранцы! измена!» Куда бы она ринулась?.. Полагаю, что в озеро.

— В озеро? — повторил Жак де Кад. — Она бы утонула, вот и все.

— Так что ж! — продолжал Анри Леон. — Но тридцать тысяч утонувших граждан — это не пустяк! Неужели министерство и правительство не испытало бы после этого серьезных затруднений и реальной опасности? Разве это не был бы памятный денек?.. Признайте, что вы не политики. Нет в вас нужной закваски, чтобы опрокинуть республику.

— Вы увидите это после выставки, — сказал Жак де Кад с искренней верой. — Я для начала уложил одного в Лоншане.

— А! вы уложили одного? — осведомился с интересом Гюстав Делион. — Что за тип?

— Рабочий-механик... Лучше было бы уложить сенатора. Но в толпе больше шансов схватиться с рабочим, чем с сенатором.

— А что же делал этот ваш механик? — спросил Лакрис.

— Он кричал: «Да здравствуют солдаты!» Я его и уложил.

Тогда молодой Делион, подстрекаемый благородным соревнованием, сообщил, что он лично разбил морду одному социалисту-дрейфусару, кричавшему: «Да здравствует Лубе!»

— Все идет хорошо! — заявил Жак де Кад.

— Могло бы быть и лучше в некоторых отношениях, — сказал Гюг Шасон дез'Эг. — Нам еще рано

поздравлять друг друга. Четырнадцатого июля Лубе, и Вальдек, и Мильеран, и Андре благополучно вернулись к себе домой. Этого бы не случилось, если б меня послушали. Но никто не хочет действовать. Мы лишены энергии.

— Ну, нет! Энергии у нас хватит. Но сейчас не время для действий. Вот закроется выставка — и мы нанесем решительный удар. Наступит подходящий момент. Францию после праздника будет мутить с похмелья. Она будет в дурном расположении духа. Наступит крах и безработица. Тогда легче всего можно вызвать министерский и даже президентский кризис. Не так ли, Леон?

— Разумеется, разумеется, — ответил Леон. — Но не надо скрывать от себя, что через три месяца мы будем несколько менее многочисленны, а Лубе будет несколько менее непопулярен.

Жак де Кад, Делион, Шасон дез'Эг, Лакрис, все трублионы хором запротестовали, силясь криками заглушить такое зловещее пророчество. Но Анри Леон продолжал очень мягким голосом:

— Это фатально! Лубе с каждым днем будет терять свою непопулярность. Его ненавидели, потому что мы представили его в очень мрачном свете, но он постарается не оправдать полностью этой характеристики. Он недостаточно велик, чтобы уподобиться образу, созданному нами для устрашения масс. Мы изобразили Лубе гигантом, который покровительствует парламентским разбойникам и уничтожает национальную армию. Действительность покажется менее страшной. Увидят, что он не всегда покрывает воров и разлагает армию. Он будет присутствовать на смотрах. Это придаст ему вес. Он будет разъезжать в карете. Это импозантнее, чем ходить пешком. Будет раздавать ордена, щедро сыпать академическими значками. Те, кому он пожалует орден или значок, перестанут верить, что он намерен предать Францию иностранцам. Ему посчастливится найти удачные словечки. Не сомневайтесь в этом: удачные словечки — самые глупые. Стоит ему только пуститься в поездку по стране, и его будут встречать овациями. Крестьяне будут кричать на его пути:

«Да здравствует президент!», словно это еще тот добрый сыромятник, на которого мы умилялись за его горячую любовь к армии. А вдруг опять клюнет русский союз... У меня мурашки пробегают по коже... Вы увидите тогда, как наши друзья националисты будут впрягаться в карету Лубе. Не скажу, что этот человек — великий гений. Но он не глупее нас. Он старается улучшить свое положение. Это вполне естественно. Мы хотели пустить его ко дну; он нас берет измором.

— Нас? Измором? Пусть попробует! — вскричал Жак де Кад.

— Время и само нас изморит, — продолжал Анри Леон. — Как хорош был, например, наш парижский муниципальный совет в вечер выборов, который принес нам большинство! «Да здравствует армия! Смерть жидам!» — ревели избиратели, пьянея от радости, гордости и любви. И сияющие избранники отвечали им: «Смерть жидам! Да здравствует армия!» Но так как новый муниципальный совет не будет в состоянии ни освободить от воинской повинности сыновей избирателей, ни распределить между мелкими торговцами деньги богатых евреев или хотя бы избавить рабочих от бедствий безработицы, то он обманет огромные надежды и станет настолько же ненавистным, насколько был прежде желанным. Он рискует в скором времени утратить свою популярность в связи с вопросом о монополиях, о водопроводе, о газе, об омнибусе.

— Вы ошибаетесь, дорогой Леон! — воскликнул Лакрис. — Что касается возобновления монополий, то опасаться нечего. Нам достаточно будет сказать избирателю: «Мы вам даем дешевый газ», — и избиратель перестанет жаловаться. Парижский муниципальный совет, избранный на основе чисто политической программы, будет играть решающую роль в политическом и национальном кризисе, который разразится после закрытия выставки.

— Да, — сказал Шасон дез'Эг, — но для этого совету надо стать во главе демагогического движения. Если он окажется умеренным, сдержанным, разумным, сговорчивым, любезным, все пойдет к черту! Пусть

знает, что его выбрали для того, чтобы ниспровергнуть республику и разгромить парламентаризм.

— У-лю-лю! У-лю-лю! — крикнул Жак де Кад.

— Пусть там говорят мало, но толково, — продолжал Шасон дез'Эг.

— У-лю-лю! У-лю-лю!

Шасон дез'Эг пренебрежительно пропустил мимо ушей эти непрошенные выкрики.

— Надо, чтобы время от времени вносились требования, четкие требования, скажем вроде такого: «Привлечь к суду министров!»

Молодой де Кад заревел еще громче:

— У-лю-лю! У-лю-лю!

Шасон дез'Эг попытался его урезонить:

— Я в принципе ничего не имею против того, чтобы наши друзья улюлюкали на парламентариев. Но улюлюканье в собраниях — это последний аргумент меньшинства. Надо его приберечь для Люксембургского и Бурбонского дворцов. Прошу вас обратить внимание, друг мой, на то, что в муниципальном совете мы располагаем большинством.

Это соображение не утихомирило молодого де Када, который заорал еще пуще прежнего:

— Улюлю! Улюлю! Умеете вы трубить в рог, Лакрис? Если не умеете, я вас обучу. Это необходимо члену муниципалитета.

— Повторяю, — сказал Шасон дез'Эг с таким серьезным видом, словно метал банк в баккара, — первое требование совета: привлечь к суду министров; второе требование: привлечь к суду сенаторов; третье требование: привлечь к суду президента республики... После нескольких требований такого крепкого свойства правительство распускает совет. Совет противится и обращается с пламенным призывом к общественному мнению. Оскорбленный Париж поднимает восстание...

— И вы, Шасон, верите, — мирно спросил Леон, — вы верите, что оскорбленный Париж восстанет?

— Верю, — ответил Шасон дез'Эг.

— А я не верю, — сказал Анри Леон. — Вы знаете гражданина Бисоло, раз вы стукнули его по черепу четырнадцатого июля. Я тоже его знаю. Однажды но-

чью, на бульварах, во время одной из манифестаций, последовавших за избранием Лубе, гражданин Бисоло направился ко мне, как к самому постоянному и великодушному из своих противников. Мы обменялись несколькими словами. Все наши молодчики лезли из кожи вон. Крики «Да здравствует армия!» грохотали от площади Бастилии до церкви святой Магдалины. Гуляющие забавлялись этим и улыбались нам благожелательно. Горбун взмахнул своей длинной рукой, как косарь косою, по направлению толпы и сказал мне: «Я знаю ее, эту клячу. Сядьте на нее. Она вдруг повалится на землю, когда вы меньше всего этого ожидаете, и переломает вам ребра». Так говорил гражданин Бисоло на углу улицы Друо в тот день, когда Париж готов был стать на нашу сторону.

— Но он оскорбляет народ, ваш Бисоло! — воскликнул Жозеф Лакрис. — Он мерзавец.

— Он пророк, — возразил Анри Леон.

— Улюлю! Улюлю! Вот единственное средство! — пропел густым голосом молодой Жак де Кад.

Приложение

*Главы из «Современной истории»,
не включенные автором в окончательный текст*

ГОСПОДИН ПРЕФЕКТ

*(Глава из романа «Под городскими вязами»,
опубликованная в «Écho de Paris»
16 июня 1896 г.)*

Господин префект Вормс-Клавлен был вызван в Париж новым министром внутренних дел. Он проник в обширное здание присутственных мест на площади Бово через хорошо ему известную дверцу и без затруднений прошел секретными коридорами. Сторожа его любили. Он был груб с ними, как и со всеми низшими по рангу, но груб без всякой надменности, — как был бы любой из них самих, если бы вдруг поменялся с ним местами. Вот почему его повадки, не внушая к нему никакого почтения, не вызывали все же и ненависти. При виде его люди, украшенные цепью и галунами, подталкивали друг друга под локоть и перешептывались: «Жидовский префект явился». Они окидывали его взглядом, в котором можно было прочесть: «Хоть ты и неказист, да хитер!» Он им бурчал:

— Доложите обо мне. Не торчать же мне в прихожей!

Они давали ему пройти зал за залом, хотя и смутно чувствовали, что пропускают к министру в кабинет что-то непристойное. Как бы там ни было, г-н префект Вормс-

Клавлен не вызывал к себе антипатии в министерских коридорах.

Аудиенция прошла превосходно. Министр Альфонс Юге, депутат от самого бедного избирательного округа большого промышленного города, числился крайним радикалом. Но так как в здании на площади Бово он сменил министра-радикала, то вдруг стал умеренным. Его прошлое, говорил он, служит достаточной гарантией политики прогресса, так что демократия может быть спокойна, если на сей раз, в интересах республики, он прибегнет к политике примирения, единственно полезной в данных условиях и единственно возможной. Стоит ли, право, компрометировать дело прогресса неосторожной агитацией? Он полагал, что не стоит. На самом же деле ему нужны были двадцать голосов правой, и он был озабочен их приобретением. Поэтому социалистические газеты утверждали, что он продался Орлеанам.

Он встретил г-на Вормс-Клавлена с приятностью, выработанной десятилетним маклерством по делам страхования, которым он занимался в последние годы империи и при режиме «нравственного порядка».

— Рад вас видеть, господин префект. Хочу, чтобы вы вернулись к себе в департамент с твердым убеждением, что мы — сторонники порядка и прогресса.

Господину Вормс-Клавлену вспомнилось, что предшествующий министр говорил ему совершенно то же самое: «Прогресс при помощи порядка — вот наша цель!» Но он лишен был чувства иронии и был слишком серьезен, чтобы предаваться пустой игре философических сопоставлений.

Министр продолжал:

— Я уже не первый раз вижу вас на этом самом месте, господин префект.

Действительно, г-ну Альфонсу Юге, как известно, был отдан портфель внутренних дел в самом трудюбивом кабинете министров, какой приходилось составлять почтенному г-ну Карно во времена «скандалов».

— Да, на этом самом месте... Я рад снова вас видеть здесь. Я еще не вполне ознакомился со всей вашей

деятельностью, однако, насколько можно судить, вы успешно управляете своим департаментом, одним из самых, смею полагать, прекрасных и самых процветающих.

Таким образом, из уст г-на министра внутренних дел г-н префект Вормс-Клавен получил вознаграждение за свою мудрую предусмотрительность. Г-н Вормс-Клавен справедливо расценивал предыдущее министерство как недолговечное и осужденное на гибель. И своим хозяевам на час он оказывал не очень ревностное послушание и довольно небрежные услуги. Его метод и его правило и заключались в том, чтобы не слишком усердно служить каждому правительству, зная, что слабое усердие его к нынешней службе поправится завтрашним хозяевам.

Итак, сейчас он пожинал плоды своего превосходного поведения. Но пожинал их без всякой гордости. Он отнюдь не кичился своим умом. Его честолюбие больше тешили бы роскошь и богатство. Даже в ту самую минуту, как он наклонил голову, чтобы выразить признательность министру за благосклонное отношение, он подумал, что, отравив себе брюшко чуть поокруглей, недурно бы заняться настоящими делами. И он твердо надеялся, с драгоценной помощью Ноэми, бросить в конце концов управление департаментом и начать ворочать государственными финансами.

— Я знаю, — заметил министр, — вы высказали мысль, что следует выплачивать содержание священникам, лишенным его в административном порядке. Совершенно согласен с вами. Можете сообщить мое мнение всем, кто обращался к вам с ходатайством по этому поводу. К чему мелочные придирки? Чтобы управлять, необходима широта взглядов. Ведь в вашем департаменте не возникает клерикальный вопрос, не так ли?.. Ну, я разумею — в острой форме...

Господин префект ответил с той непосредственностью, которая подчас могла сойти за тонкую насмешку:

— Но, господин министр, кому, как не вам, знать, что клерикальный вопрос существует только в парламенте. У нас в провинции все вопросы сводятся к земледелию и промышленности. Жители моего депар-

тамента, едва успев немного позаняться обработкой земли, производством каких-нибудь продуктов, — отправляются на боковую, стараясь не плодить при этом слишком много детей. Ах, мой департамент не кишит народом!

И господин префект откинулся на спинку кресла. Мешки у него под глазами доходили до середины щек, нос свисал до самого рта, губа отвисла на подбородок, а подбородок — на галстук цвета бычьей крови. Воротник его черного сюртука был осыпан перхотью. Он скрестил ноги, облаченные в брюки верблюжьего цвета, слишком яркие и все в каких-то темных пятнах. От него несло дешевой сигарой.

Господин министр посмотрел на него, но не уловил в нем ничего особенного.

— Вопросы земледелия и промышленности — прежде всего. Я с вами согласен, — сказал министр. — Но нас интересует и вопрос финансовый. Как относятся налогоплательщики вашего департамента к налоговым реформам, подлежащим рассмотрению палат?

— Ах, боже мой, господин министр, вы ведь знаете наших налогоплательщиков. Как только соберешься посягнуть на их карман, они кричат, словно их режут. Кричат — и платят.

Министр расплылся в улыбке.

— Прямо-таки удивительная страна! — сказал он. — По эластичности своих финансовых ресурсов Франция — первое государство в мире. Об этом надо говорить, ведь это сушая правда!

— Ах, господин министр, когда это перестанет быть правдой, придется говорить об этом еще громче.

И, взглянув друг на друга, оба общественных деятеля почувствовали, что, пожалуй, им лучше переменить тему.

— С удовлетворением отмечаю, господин префект, что дух в вашем департаменте здоровый. Муниципальные и кантональные выборы прошли с превосходными результатами.

Префект поклонился.

— Действительно, господин министр, нам удалось восторжествовать над трудностями, причиненными рес-

публике этой ужасающей кампанией по диффамации, — а ведь в моем департаменте она проводилась с особенной яростью и вероломством.

Господин префект имел в виду скандалы, разразившиеся у него в департаменте и серьезно затронувшие одного сенатора, двух депутатов, двух инженеров на государственной службе и двух финансистов, — так что эти последние бежали, инженеры попали в тюрьму, а членам парламента угрожало судебное преследование.

Господин министр опустил глаза, с выражением мужественной стыдливости. Префект продолжал восхвалять себя. Ему удалось хорошо провести муниципальные выборы, он надеется и на выборы в сенат. Он опытен в административном управлении. Пользуется доверием у республиканской партии. К нему благосклонны и сторонники правительства, его уважают монархисты и «присоединившиеся», его боятся социалисты. Одно лишь недостает ему для расширения деятельности и вместе с тем для поднятия личного престижа — офицерского креста Почетного легиона. Если бы господин министр, по случаю национального праздника...

— Возьму на заметку, — сказал министр. — Конечно, не могу ничего обещать и хоть сколько-нибудь обнадеживать. Нас засыпают ходатайствами. Подали вы свое?.. Так. Хорошо, сделаю все, что возможно. Он встал.

— Только ради престижа, — сказал г-н префект Вормс-Клавен, откланиваясь. И вразвалку пошел к дверям, предоставляя обозрению министра свою курчавую голову, украшенную парюю ушей в виде ручек кофейника. Тут министр подумал: «Умный чиновник! Но его портит что-то... что-то неопределенное...»

УТЕШИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ

(Глава из романа «Господин Бержере в Париже», опубликованная в «Figaro» 17 января 1900 г.)

В этот день баронесса де Бонмон пригласила к пяти часам кое-кого из своих светских знакомых в связи с новым благотворительным начинанием. Собравшееся общество состояло из добрейшей г-жи Орта, Жозефа Лакриса, маленького барона и нескольких видных членов прежних роялистских комитетов, в том числе Анри Леона, молодого Гюстава и блестящего Лижье, офицера запаса и адвоката при апелляционном суде — того самого, что, выступая во время маневров по делу своих подзащитных, членов конгрегации, накинул на себя адвокатскую мантию, не сняв мундира офицера-артиллериста, и прямо-таки ослепил председателя Куакто. Все эти господа больше не участвовали в заговорах. И не потому, что побаивались верховного суда. Просто они подражали бездействию своего короля в ожидании лучших дней. Даже сам Жозеф Лакрис принял доктрину лояльной агитации.

Было решено, что благотворительное начинание, осуществляемое заботами баронессы де Бонмон, отнюдь не должно иметь политического характера и участвовать в нем могут все благомыслящие люди, за исключением только дрейфусаров, как недостойных. В самом начале заседания Жозеф Лакрис выступил с либеральной декларацией:

— Будут представлены все честные направления.

Лиже красноречиво изложил доводы в пользу благотворительной деятельности. Надо ведь как-то помогать несчастным и не уступать социалистам монополии на то, что они называют солидарностью, а мы именуем гораздо более красивым словом — милосердие.

— Нельзя отрицать, что бедняки отличаются склонностью помогать тем, кто еще беднее их самих, — сказал он, — тут нет ничего удивительного! Бедняк может без ущерба для себя отдать свое достояние другому. В сущности это совершенно естественно. Если те, что с трудом перебиваются со дня на день, чем-либо жертвуют, обычное их положение не меняется. Бедняки не расчетливы. Да и зачем им расчеты? А вот богатым людям надлежит действовать благоразумно. Помогать беднякам, имея состояние, — задача трудная и поистине сложная. Урезать разумно составленный бюджет, в котором учтена возможность даже неожиданных доходов, растратить частицу хорошо уравновешенного целого — вот что требует расчета и раздумий. Благотворительность богатых людей — да ведь это настоящее искусство, и весьма трудное. Чем больше у тебя денег, тем больше они любят счет.

— Как это верно! — вздохнула баронесса.

— Да еще, надо добавить, лишь только возникает вопрос об оказании кому-либо помощи, богатые люди сталкиваются с самыми ужасными проблемами. С тревогой вопрошают они себя, могут ли они следовать движению своего сердца, должны ли уступать велениям жалости, иначе говоря — имеют ли они право благотворительствовать. Надо признать за ними это право!

Было бы слишком жестоко его отрицать. Но в каких границах, при каких условиях оно осуществимо? Вопрос сложный. Всякий акт милосердия связан с тончайшими проблемами совести. Ибо в конце концов богатый человек несет огромную ответственность за свое имущество перед своими детьми, своей семьей, своей кастой, перед религией и обществом, перед всеми нашими устоями. Его деньги — сила, которую он не должен ни ослаблять, ни извращать. И вот спрашиваешь себя с тревогой: «Когда, в каких размерах, как, кому именно нужно помогать?» И тем не менее паше высшее общество столь милосердно, что, несмотря на все затруднения, дела благотворительности множатся и процветают в его лоне. Богатые щедро помогают бедным, хотя могли бы и воздержаться от этого, если бы посчитались с простейшим соображением экономики. Оно состоит в том, что и без всякой благотворительности богатые облегчают нужду: их траты на себя являются наилучшим подаванием. Когда вы, милостивые государины, покупаете себе шляпку, вы тем самым творите доброе дело. Заказывая себе новое платье, вы всякий раз протягиваете беднякам руку помощи. Представители блестящей школы экономистов скажут вам, что роскошь — наиболее действенный вид благотворительности. Платя своему портному, вы пускаете деньги в оборот, без опасений, что они послужат социализму и революции.

— Не уверен в этом! — воскликнул маленький барон. — Я познакомился на военной службе с сыном одного известного портного. Он питал отвращение к элегантным женщинам. Он жил среди рабочих. Был анархистом. И притом это умный и очень артистичный малый, музыкант: написал оперу под названием «Красный лебедь» — сплошное вольнодумство. Оригинальный тип этот портняжка!

— Аномалии всегда возможны, — заметил Лижье и продолжал свою речь. — Мы оказываем помощь, ибо мы христиане; мы подаем бедным, ибо мы милосердны. Но мы хотим, чтобы наша помощь была разумна и плодотворна. Вот почему мы и решили основать общество «Поощрительное вспоможение».

Пока я дам вам понятие об этом начинании лишь в самых главных чертах. Мы будем стремиться дисциплинировать нужду и упорядочивать пауперизм. С этой целью мы разделим наших бедняков на когорты. Каждая когорта будет состоять из пятидесяти человек. Те из бедняков, кто больше других проявит почтение к религии и общественным устоям, обнаружит склонность к предусмотрительности и бережливости, будут назначаться на годичный срок начальниками когорт. Каждый носящий это звание будет наблюдать за своей полусотней, сообщать нам о наиболее достойных и вообще исполнять обязанности низшего начальства. В смутные дни, которые последуют за Всемирной выставкой, эти бедняки, составляя надежные кадры, будут важнейшей подсобной силой капиталистического общества. Так мы упорядочим пауперизм. Перестанет существовать толпа — нечто безобразное. Вместо нее будет существовать армия — нечто прекрасное. Вот в чем состоит основной характер нашего общества «Поощрительное вспоможение».

Лижье закончил свою речь под одобрительный шепот аудитории.

— Полагаю, у нас не будет разногласий относительно самого принципа, — сказал Жозеф Лакрис.

— Идиотский принцип! — откровенно высказался маленький барон. — Ваши когорты, составленные из хромоногих, безногих и убогих, ни на что не годны, даже на то, чтобы кричать: «Да здравствует король!» В дни восстания десять тысяч таких побирушек не стоят и полусотни моих знакомцев грузчиков, ценою по пятифранковому на рыло!

— Но, Эрнест, ведь речь идет о благотворительности, — заметила баронесса.

— Превосходно! — сказал маленький барон. — Тогда я предлагаю открыть благотворительный бар.

Госпожа Орта испустила ужасный крик:

— Бар?! Бар?!

— Да, бар, — спокойно продолжал молодой Бонмон, — большой бар.

Некоторые из присутствующих упрекнули Бонмона в легкомыслии.

— Сначала выслушайте мой проект, а потом можете его разругать. Самый шикарный бар. За стойкой — светские дамы. Это привлечет разных болванов. Будут валить к нам толпою.

Лакрис заметил, что это несурезно:

— Ведь не могут же светские дамы все дни проводить за стойкой.

— Ну что ж, — сказал Бонмон, — светские дамы будут приходить по пятницам. А в скоромные дни в баре будут распоряжаться самые блестящие кокетки. Мама права: надо же что-нибудь делать для бедняков. Мы с Делионом основываем благотворительный бар. В день открытия коктейли будет смешивать герцогиня.

Тут взял слово Анри Леон:

— Я с сожалением убеждаюсь, милостивые государи, что вы все еще в плену у старых представлений.

— Но как же так, Леон, я думал, что благотворительный бар...

— Я имею в виду не ваш проект, дорогой мой Бонмон; но когда я слушал речь нашего друга Лижье, мне так и казалось, что это статьи Максима Дюкана об организации благотворительности в Париже. Речь Лижье была прекрасна, изысканна, но старомодна. В стиле Наполеона Третьего. Благотворительность в кринолине. Ваше «Поощрительное вспоможение» не достигнет цели, какую вы себе ставите. Ведь относительно цели мы все согласны между собою, — спор идет лишь о том, как ее достигнуть. Вы хотите пожертвовать частицей своих денег, чтобы надежней сохранить остальное. Так вот, предоставьте попрошайкам выпутываться как знают и основывайте просветительные общества для рабочих. Внедряйте в народ под видом социализма мысли о благодетельном значении частной собственности и убеждайте тех, кто страдает, что страдать — прекрасно.

Идите и учите. Ваше спасение зависит от успеха этой благотворительной миссии. В Париже, в провинции — повсюду основаны народные университеты, где гнусные интеллигенты совместно с рабочими изыскивают способы раскрепощения пролетариата. Так нужно и нам, капиталистам и националистам, повсюду осно-

вать свои университеты, чтобы наставлять народ в невежестве, призывать его к смирению и учить его удовлетворяться счастьем, уготованным ему на том свете. Пора! Будем сеять повсюду доброе семя! Объявим себя социалистами, чтобы народ нам верил, и станем на защиту капитала от его врагов. Народным университетам противопоставим наши университеты. Я уже придумал для них хорошее название.

— Какое?

— Народные университеты.

Комментарии

«СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

Все четыре романа, входящие в состав «Современной истории» А. Франса, впервые вышли отдельными книгами в издательстве Кальман-Леви: «Под городскими вязами» — в 1897 г., «Ивовый манекен» — в 1897 г., «Аметистовый перстень» — в 1899 г. и «Господин Бержере в Париже» — в 1901 г. Однако предварительно главы «Современной истории», за небольшими исключениями и порою в иных вариантах, публиковались периодической прессой. Так, роман «Под городскими вязами» печатался в газете «*Écho de Paris*» с 22 января 1895 г. по 8 сентября 1896 г., и лишь вставной рассказ «Товарищ прокурора», приписываемый в книге профессору Бержере, был опубликован журналом «*Revue da Paris*» 1 декабря 1894 г. «Ивовый манекен» печатался в газете «*Écho de Paris*» с 10 ноября 1896 г. по 6 июля 1897 г. В той же газете с 1 февраля по 30 августа 1898 г. были опубликованы почти все главы «Аметистового перстня». Роман «Господин Бержере в Париже» за исключением первой главы, вышедшей на страницах «*Écho de Paris*» 10 января 1899 г., весь был опубликован газетой «*Фигаро*» с 5 июля 1899 г. по 26 сентября 1900 г.

Каждая глава в этих предварительных публикациях носила особое название: так, гл. IV романа «Под городскими вязами» называлась «Г-н Гитрель», гл. V — «Удавленник»; гл. IX «Ивового манекена» — «Г-жа Бержере», гл. X — «Г-н Вормс-Клавлен»; гл. XIV «Аметистового перстня» — «Честь Рауля», гл. XXIII — «Старинные тексты, переведенные г-ном Бержере»; гл. VIII романа «Господин Бержере в Париже» называлась «Труб-

лионы», гл. XIII — «Канцелярия», гл. XXVI — «Умиротворение трублионов» и т. и. У отдельных же томов тетралогии особых заглавий еще не было. Правда, встречается уже заглавие «Аметистовый перстень», но оно отнесено лишь к публикации «Écho de Paris» 13 декабря 1898 г., содержащей отрывок из III главы романа, XVIII, XXII и XXIV главы. Равным образом 5 июля 1899 г. в публикации «Фигаро» появляется заглавие «Господин Бержере в Париже» в повторяется 12 и 26 июля и 9 августа, но относится оно лишь к материалу, вошедшему впоследствии в главы V, VII, IX и XIV. Зато заглавие «Современная история», объединившее потом все четыре книги, появляется уже в «Écho de Paris» 27 октября 1896 г., и во всех последующих публикациях оно нередко предшествует названиям отдельных глав.

Таким образом, хотя Франс печатал «Современную историю» по преимуществу в виде газетных фельетонов, следующих друг за другом с недельным промежутком, хотя многое ему пришлось впоследствии переработать и по-иному скомпоновать, — однако основной замысел всего этого монументального произведения был ясен автору, когда он еще только приступал к созданию «Ивового манекена», — уже тогда он задался целью написать художественную историю своей современности. На это он сам прозрачно намекает в особом «Предупреждении», сопровождающем отрывок «Ивового манекена» в «Écho de Paris» 23 марта 1897 г.:

«...моя современная история — это бесхитростная хроника в духе одного монаха, которого я избрал себе образцом. Он жил в году 1000 и звался Рауль Глабер. На плохом латинском языке он записывал события своего времени. Это были чаще всего чума и голод. Он составил таким образом книжицу, весьма краткую, бедную стилем и мыслью, полную детского простодушия, которому я стремился подражать. Утверждение, что я — второй Рауль Глабер, было бы для меня самой приятной похвалой».

Рауль Глабер не выдуман Франсом. Действительно, в первой половине XI в. был во Франции монах, носивший это имя и оставивший после себя хронику, которая охватывает события от 900 по 1046 г. Хроника эта — одно из самых сумбурных произведений средневековой французской литературы, беспорядочно изложенное, избыточное вопиющими историческими ошибками, самыми невежественными предрассудками и грубыми суевериями. Конечно, говорить о таком образце для подражания Франс мог только иронически. Внешне наивный тон повествования — одно

из изблюбленных средств его сатиры. Таким образом, здесь намечается не только современно-историческая тема будущей тетралогии, но и сатирическая направленность ее.

Злободневная социальная сатира заняла прочное место в творчестве Франса еще до появления «Современной истории», достигнув особенной остроты и полноты в двух книгах 1893 г. — «Харчевня королевы Гусиные Лапы» и «Суждения г-на Жерома Куаньяра». Многие страницы этих книг, воспроизводя события, бытовую обстановку и стиль XVIII в., вместе с тем представляли собою резкий памфлет на Третью республику конца 80-х — начала 90-х годов XIX в. Однако «Современная история» — принципиально новое явление в сатирическом творчестве Франса, хотя и подготовленное его предшествующими книгами. Нигде прежде социальная сатира не носила такого обобщающего, такого конкретного, такого активного характера.

Не мудрено поэтому, что французские буржуазные критики, каждый на свой лад, стремились сгладить остроту франсовской злободневной сатиры: одни, как, например, известный критик Эмиль Фаге, сводили содержание «Современной истории» к довольно разрозненным картинкам провинциального быта; другие, подобно критику Ж. Пелисье, — к «философской» грусти по поводу извечной глупости человечества; наконец, третьи, верно разглядев в новом произведении Франса политическую направленность, рассматривали ее как причуду писателя, как нечто инородное его дарованию и призывали его вернуться на путь «изысканного» творчества.

В этом плане характерен и разрыв автора «Современной истории» с газетой «Écho de Paris», занимавшей в 1899 г. крайне реакционные позиции; как было указано выше, роман «Господин Бержере в Париже», за исключением первой главы, печатался уже в газете «Фигаро», хотя и откровенно буржуазной, но, в противоположность «Écho de Paris», примкнувшей в те годы к оппозиции правительству Третьей республики. Правда, приступая к публикации романа, редакция «Фигаро» в особой заметке стремится сгладить углы и представить неуживчивого франсовского героя в более мягком свете, выделяя наиболее политически безобидные стороны его мышления: «Друзья г-на Бержере, — писала «Фигаро» 5 июля 1899 г., — с удовольствием узнают, что профессор-философ покидает свою провинцию и обосновывается в Париже. «Фигаро» сочла для себя необходимым установить дружеские отношения с этим очаровательным умом, простодушие и мягкий

скептицизм которого отличаются столь своеобразным и столь привлекательным привкусом).

Что касается передовых литературных кругов Франции, то они восприняли «Современную историю» как произведение своего единомышленника. «Двухнедельники» Шарля Пеги, поэта и публициста, выступавшего в те годы с резкой критикой капиталистических отношений, в своем выпуске 5 февраля 1900 г. перепечатывают, под заглавием «Клопинель» и «Вслед за Клопинелем», два фельетона из «Фигаро», объединенные впоследствии в гл. XVII «Господина Бержере я Париже», а также заключительную часть фельетона «Утешительное зрелище», не вошедшую в окончательный текст «Современной истории». По этому поводу следует напомнить, что в XVII гл. романа профессор Бержере после встречи с нищим Клопинелем (Колченожкой) излагает своей дочери самые заветные свои мечты о республике, где не будет прибыли и платы за труд, где все будет принадлежать всем, — на что собеседница совершенно резонно замечает: «— Папа, да ведь это же коллективизм».

Что касается фельетона «Утешительное зрелище», то в заключительной части он представляет собою плакатно-резкую характеристику псевдосоциалистов и разоблачение их предательской политики, — недаром один из самых ярких приверженцев монархической реакционной клики, Анри Леон, призывает здесь своих единомышленников: «Объявим себя социалистами, чтобы народ нам верил, и станем на защиту капитала от его врагов».

Таким образом, еще до выхода в свет романа «Господин Бержере в Париже» отдельною книгой «Двухнедельники» в своих перепечатках подхватили и подчеркнули именно то в его тематике, что было в политическом отношении наиболее острым и определенным и что в значительной степени обуславливало принципиальную новизну «Современной истории» Франса по сравнению с его предшествующими книгами.

Сама французская действительность последнего пятилетия XIX в. подтолкнула Франса на создание сатирической истории своего времени, вся литературная деятельность писателя подготовила его к осуществлению этой задачи.

Во второй половине 90-х годов завершается переход капиталистической Франции в стадию империализма. Политическая жизнь страны в этот период отличалась напряженностью и многообразием форм борьбы. То, что происходило в кабинетах министров и в залах заседаний, становилось злобою дня для самых

широких кругов французского народа, заставляло волноваться всю Францию. Народные массы, рабочий класс все больше втягивались в борьбу против реакции, о чем свидетельствовали стачки и демонстрации 1898—1899 гг. В эти годы высокой степени достигла политическая развращенность правящего буржуазного класса Франции. Особенно наглядно обнаружилось это в пресловутом «Деле» Дрейфуса. Вокруг «Дела» началась ожесточенная борьба, частный случай вопиющей судебной несправедливости послужил поводом для давно уже назревавшего во Франции резкого конфликта между монархистско-клерикальными и милитаристскими группировками, с одной стороны, и демократическими силами — с другой.

Анатоль Франс не остался чужд этому кипению мыслей и страстей. В годы, когда создавалась «Современная история», Франс становится одним из активнейших борцов прогрессивного лагеря. Эстетизм и скептицизм, неотъемлемые от всего художественного мировоззрения писателя, все меньше оказываются способными сглаживать для него остроту социальных проблем. Характерно уже то, что Франс расходится в это время со многими своими литературными друзьями, с которыми в чисто эстетическом плане у него было прежде немало точек соприкосновения. Так, он расходится с поэтом Х.-М. де Эредиа, с которым был связан еще со времен своей близости к поэтам-парнасцам и которому тогда посвятил свой сонет «Вдова». Расходится с Фредериком Плесси, кому некогда посвятил поэму «Коринфская свадьба». Расходится с Франсуа Коппе, кому посвятил восторженную статью в своей «Литературной жизни». Порывает с известным критиком Жюлем Леметром, который прежде импонировал Франсу своим отточенным стилем и скептицизмом. Порывает с новопровансальским поэтом Фредери Мистралем, вызывавшим прежде у него восхищение. Порывает с писателем-монархистом Морисом Барресом, с которым, правда, полемизировал еще на страницах «Литературной жизни», но полемизировал в стиле дружелюбном и отвлеченно философском. Эти бывшие друзья Франса приняли сторону политических мракобесов — и перестали для него существовать. С прежней своей снисходительностью в подобных вопросах Франс теперь покончил.

Перемены в общественных и литературных позициях писателя сказались и на идейно-художественных особенностях «Современной истории».

Прежде всего бросается в глаза, что многие из глав франсовской тетралогии первоначально появлялись в прессе как непосредственный публицистический отклик на события, волновавшие Францию в то время, — на различные эпизоды «Дела», перемены в правительстве, министерские постановления, общественные выступления и т. и. Так, в главе XIII романа «Господин Бержере в Париже» профессор Бержере читает вслух своим друзьям статью из «Фигаро» под названием «Канцелярия» — это статья самого Франса, опубликованная 16 августа 1899 г. по поводу недавних судебных показаний полковника Пикара, разоблачившего высоких покровителей шпиона Эстергази. Глава XIV представляет собой переработку фельетона, обнародованного в «Фигаро» 12 июля 1899 г. и написанного Франсом под свежим впечатлением от деятельности незадолго до того образованного кабинета министров во главе с Вальдеком-Руссо, и т. п.

Однако к такой подчеркнутой публицистичности не сводится новизна «Современной истории» как литературного произведения. Перелом в творчестве Франса конца 90-х годов повлек за собой существенные, глубокие перемены во всей жанровой природе франсовского романа, в его образах, композиции, стиле, языке.

Широта задачи, поставленной перед собою автором — дать историю своего времени, — обусловила и большой объем нового произведения, и разнообразие его тематики, и многочисленность персонажей. Хронологические рамки «Современной истории», конечно, гораздо меньше, чем в «Человеческой комедии» Бальзака или «Рюгон-Маккарах» Золя, — однако, по-своему продолжая художественную историю Франции XIX в., данную Бальзаком и Золя, Анатоль Франс примкнул к уже сложившейся французской традиции и тоже создал в «Современной истории» серию романов. Тяготение к более обширным формам, чем в первых своих произведениях, Франс обнаружил еще в 1893 г., посвятив аббату Куаньяру две книги, связанные между собою тематикой и некоторыми персонажами. Но, написанные в разной манере, они не сливались еще до такой степени в единое произведение, как сливаются четыре романа «Современной истории».

По сравнению с предшествующим творчеством Франса в его тетралогии обращает на себя внимание возросшая сложность, жизненная конкретность и богатство тематики. В этом плане «Современная история» превосходит книги об аббате Куаньяре. И дело не в образах XVIII в., к которым прибегал

в них Франс, но в том, что книги о Куаньяре можно было бы назвать лишь обозрением современности, ибо общественные явления даны там в обособленном виде, не прослеживается их связь между собою и закономерность их исторического развития. Не то — в тетралогии: это и обозрение и одновременно история Третьей республики. Злободневные темы тесно сплетаются здесь одна с другою. Церковные дела, связанные с борьбою за епископскую кафедру, происки финансистов, националистическая пропаганда, предвыборная агитация и комедия выборов, министерские махинации, жизнь прессы, бесконечные авантюры карьеристов всякого рода и политических интриганов, всевозможные виды одурачивания обывателей — все это сплетено между собою, все это дано в живой взаимной связи, осуществляемой не только сентенциями или рассуждениями Франса и его героя, но всем поведением и взаимоотношениями многочисленных персонажей.

Естественно, что такое многообразие персонажей и связей между ними не может уже вместиться в круг личного опыта профессора Бержере — персонажи приобретают больше самостоятельности, образы становятся более полнокровными и динамичными.

По сравнению с прежним творчеством Франса новыми особенностями отличается и сюжет «Современной истории». Правда, как и в прежних книгах Франса, повествование ведется здесь без особого стремления к стройности. По поводу некоторой беспорядочности развития сюжета «Современной истории» сам Франс писал в уже упомянутом «Предупреждении»: «Это отнюдь не луврская колоннада... Совершенно очевидно, что порою встречается небольшой беспорядок в этой еженедельной хронике французского городка... События в ней не всегда достаточно связаны между собою». Признавая наличие такого «беспорядка», Франс тут же замечает, что его можно найти и в «Дон Кихоте» или «Пантагрюэле». Однако существенно новою чертой следует признать больший удельный вес повествовательных элементов в «Современной истории».

Особенно сильные изменения претерпел в тетралогии давний изблюбленный герой Франса — благородный мыслитель-гуманист. Выйдя за пределы своего кабинета, вмешавшись в жизненную борьбу, постоянно сталкиваясь с разными людьми, следя за их судьбами, наблюдая их характеры и поведение, он становится в «Современной истории» разностороннее, живее, человечнее, чем был в более ранних произведениях. Анатолий Франс

уделяет теперь гораздо больше внимания бытовой обстановке, окружающей героя, его заботам, житейским встречам, удачам и неудачам его повседневного существования. Это не только придает образу больше конкретности, но позволяет придать ему и значительно большую эмоциональную насыщенность. Частная жизнь героя приобретает здесь такую достоверность, бытовую и психологическую, какой еще не было в предшествующих произведениях Франса, и теснее связывается с сюжетом. Если в более ранних книгах Франса критика справедливо отмечала некоторую абстрактность подобных персонажей, то к образу профессора Бержере наблюдение это не применимо.

Однако с особой силой новые черты франсовского героя проявляются не в его частной жизни, а в общественной его деятельности. Бержере уже не ограничивается теперь скептическими, ироническими сентенциями, он сближается с прогрессивными людьми Франции, он выступает в печати, рискуя и своим служебным положением и личной безопасностью. На страницах «Современной истории» происходит постепенное превращение гуманиста-мыслителя в гуманиста-борца.

Несомненно, что в идейной и психологической эволюции героя проявилась идейная и психологическая эволюция самого автора. Франс не только вкладывает в уста героя собственные мысли, как это он делал и прежде, но, рассказывая его историю, опирается на свой собственный опыт, местами давая в повествовании о Бержере как бы свою художественную автобиографию. Для многих читателей Франс и Бержере сливались в один образ, — чему способствовало отчасти и то, что Франс, при первоначальной публикации «Современной истории», как бы поручал Бержере составление своих фельетонов для газет, вкладывая, например, в его уста повествования о «трублионах» или о Геркулесе Атимосе, представляющие собою совершенно законченные «вставные» политические памфлеты. В жизни и в критической литературе нередко Франса стали называть господином Бержере. Участники митингов приветствовали Франса криками: «Да здравствует Бержере!» Это имя стало как бы вторым псевдонимом писателя.

Всем этим еще подчеркивается то особое значение, какое принадлежит «Современной истории» в творчестве французского сатирика.

Долго существовало, а на Западе до сих пор еще существует, ходячее мнение о том, что идеологические позиции Франса в конце

90-х годов неожиданно и резко меняются: спокойный скептик превращается в общественного борца. Внимательное ознакомление с его предшествующими книгами может убедить в том, что боевые ноты появились в творчестве Франса еще задолго до выхода в свет его романов о Бержере. Само «Дело», которому отводится в них столько внимания, нашло такой отклик в художественном мире Франса еще и потому, что в «Деле» беззастенчиво продемонстрировал себя союз всех обскурантских сил Третьей республики, издавна ненавистных писателю. Однако обострение борьбы, все более наглое наступление реакции, а с другой стороны — сближение Франса с социалистами, с Жоресом, встречи на митингах с рабочей аудиторией — все это должно было углубить социальную тематику Франса, подчеркнуть в ней то, что бывало иногда лишь намечено, подсказать новые темы.

Против «всемирного триумvirата священника, солдата и финансиста» — вернее, против каждого из членов этого триумvirата — Франс выступал и до «Современной истории». Но эти старые франсовские темы приобретают в тетралогии совершенно новую идейную и художественную трактовку. Так, религиозная пропаганда церковников подвергается здесь еще более резким нападкам, чем раньше; история ясновидающей девицы Денизо и Онорины, специализировавшейся на видениях девы Марии, пародирует ту фабрикацию чудес, к которой усиленно прибегала католическая реакция. Здесь чувствуется переключка с романом Э. Золя «Лурд», целиком посвященным этой теме. Но существенно новым для Франса является то, что в «Современной истории» впервые дается прямая политическая критика церкви: вопросы религии и церкви впервые непосредственно связываются с общественными отношениями Франции конца 90-х годов. Судьба аббата Гитреля, пробирающегося к епископской кафедре извилистыми путями салонных и административных интриг, — наглядный пример союза всех реакционных сил в Третьей республике.

Военная тема тоже трактуется в «Современной истории» полнее, острее и конкретнее, чем было это раньше. Все повествование профессора Бержере о трублионах (баламутах), о Жане Петухе и Жане Баране свидетельствует о проницательности Франса, понимавшего, что орда реакционеров, действовавшая при попустительстве республиканской власти — против самих основ республиканского строя, была угрозой и для других народов, создавала все растущую опасность военной агрессии. Недаром Жан Петух, собирательный образ обывателя-националиста, мечту

об «императорской республике» для Франции сочетает с мечтою о «мире» для других народов — «мире беспощадном и суровом, мире угрожающем, ужасающем, пылающем». Злободневность этого образа, как и коллективного образа трублионов, становится особенно ясной, если принять во внимание, что во второй половине 90-х годов укрепляется союз французской буржуазии с русским самодержавием (в 1896 г. Николай II посетил Францию, а в 1897 г. французский президент Феликс Фор посетил Петербург), что в это же время усиливается французская колониальная экспансия.

Наконец, тема финансиста никогда еще до «Современной истории» так широко не раскрывалась Франсом. По указке финансистов действуют и родовитые аристократы де Бресе, и префект Вормс-Клавен, и церковники, и сами министры. Баронесса-банкирша де Бонмон со своим сыном принимает самое деятельное участие в монархическом заговоре. Сын испанского банкира Анри Леон цинично говорит, вспоминая о министре Мелине: «При этом министре... у нас было все, мы представляли собою все, нам было доступно все».

Сатирические приемы Франса никогда еще не были так разнообразны, как в «Современной истории». Здесь можно найти все оттенки иронии — от забавного шаржа до злой карикатуры, от лукавого парадокса до гневной инвективы. Франс вводит в свое повествование и грубовато-игривые мотивы, которые также служат целям социальной сатиры. В этом дают себя знать, помимо традиций философских повестей Вольтера и романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», также и непосредственные традиции широко распространенного литературного жанра средневековья — фавлю, французских городских повестушек, которыми Франс восхищался.

«Современная история» временами превращается в подлинный политический памфлет. Этому способствует изображение, наряду с вымышленными персонажами, также и действительно существовавших современников Франса. Так, под именем Тинтинбула в повествовании о трублионах изображен Поль Дерулед, офицер-националист, глава «Лиги патриотов», который пытался в 1899 г. склонить войска к совершению государственного переворота; авантюрист-шпион Эстергази выведен дважды — под именем Рагá, возлюбленного баронессы де Бонмон, и в образе «похитителя волгов» во вставном рассказе о Геркулесе Атимосе; упоминаются в романе и другие участники «Дела» — несколько

министров и политических деятелей, как А.-Ф. Рибо, Л.-В. Буржуа, Э. Лубе. Министр Мелин выступает тоже в двойном изображении — и под собственным именем и, в повествовании о трублионах, под именем Робена Медоточивого (на французском языке эти имена близки по буквальному смыслу и созвучны между собой); один из «претендентов» на королевский престол, Филипп из семейства Орлеанов изображен в виде главного трублиона.

Углубление и обострение социальной критики сказалось и на языке «Современной истории». В сатирических целях используется речевая характеристика действующих лиц — напыщенное красноречие де Бресе, модный жаргон Бонмона, слащавые восклицания баронессы. Комически противопоставляя грубый язык Вормс-Клавлена елейным речам Гитреля, Франс еще резче подчеркивает внутреннюю близость между этими двумя пройдохами. Блестящий образец языковой стилизации дан в рассказе о трублионах: политически-злободневная тематика гротескно сочетается здесь со старофранцузским языком XVI в., чем еще усиливается сатирический эффект. В рассказе о трублионах непосредственно ощущается традиция Рабле. Франс высоко ценил Рабле, посвятил ему статью в «Литературной жизни», а впоследствии, в 1909 г., прочитал в Южной Америке целый цикл лекций о его жизни и творчестве. В «Современной истории» Франс виртуозно воспроизводит язык Рабле, свойственную ему игру словами, комические словообразования, имена-характеристики, бесконечные перечисления причудливых названий и т. д.

Автор «Современной истории» уже не ограничивается, как прежде, спокойными ироническими комментариями к своему времени; он выступает как убежденный враг капитализма, отсюда и возросшая резкость языка и всего тона повествования.

Ясное понимание лживой природы буржуазной демократии и отвращение к империализму не удержали Франса от ошибок, иногда очень серьезных, в оценке некоторых событий и явлений международной политической жизни на пороге XX в. Так, посвятив одну из глав «Современной истории» испано-американской войне 1898 г., он неверно оценил победу США над Испанией, не увидел, что «демократическая» Америка использовала освободительную борьбу кубинских повстанцев и филиппинского народа в своих захватнических целях. Через несколько лет в «Острове пингвинов» (1908) Франс проявит уже гораздо большую зоркость в своем отношении к Америке.

«Современная история», будучи прежде всего сатирой на Третью республику, интересна вместе с тем и положительными началами, какие Франс противопоставляет буржуазной реакции. Впервые он находит эти положительные начала в социализме. Столяр Рупар — социалист — совершенно новая фигура в творчестве Франса. Созданию этого образа несомненно способствовало то, что в конце 90-х годов Франс сближается с рабочим движением. И хотя это образ эпизодический и несколько схематичный, все же идейная значимость его в романе очень велика. Знаменательно, что идеи Рупара отчасти принимает и гуманист Бержере. Правда, для Бержере, как и для Рупара, социализм — понятие весьма отвлеченное. Рассуждая о социализме, оба собеседника рассматривают его главным образом в моральном плане, не связывают его с исторической ролью и боевыми задачами рабочего класса. К их взглядам на социализм, на социалистическое будущее примешивается немало и анархических представлений. В этом отразилась не только идейная незрелость Франса, но и общее состояние французского социалистического движения на пороге XX в.

Однако тема социализма уже вошла в творчество Франса и заняла там значительное место. Она еще не раз возникнет в последующих произведениях писателя, прежде всего — в книге «На белом камне», задуманной как социалистическая утопия.

Под городскими вязами

Стр. 7. *Пий IX* — папа римский с 1846 по 1878 г., ярый сторонник привилегий церкви, принципов абсолютизма и феодализма.

Лев XIII — папа римский с 1878 по 1903 г. Прибегал к более гибкой тактике, чем его предшественник Пий IX, и стремился использовать в интересах церкви буржуазный парламентаризм; с этой целью выступил в 1892 г. с посланием (энцикликой), предписывающим французскому духовенству и всем католикам Франции признать республику.

Стр. 11. *Григорий Турский* (ок. 540—594) — автор «Истории франков» на латинском языке, содержащей, в частности, материалы по истории церкви.

Стр. 13. *Мињяр Пьер* (1610—1695) — французский художник; его портреты придворной знати отличаются внешней эффектностью.

Менье — кондитерская фирма.

Стр. 14. ...будущего *Геру или Ренана* — Геру Адольф (1810—1872) — французский публицист, автор «Политических и религиозно-философских этюдов». Ренан Эрнест (1823—1892) — французский писатель, историк религии и философ. Получила широкую известность и стяжала Ренану ненависть церковников его книга «Жизнь Иисуса», где отвергается божественная природа Иисуса Христа. В своих политических взглядах Ренан проделал эволюцию от республиканского либерализма к монархизму. Философия Ренана проникнута субъективизмом, носит явные черты буржуазного декаданса.

Стр. 17. *Перипатетики* — от греч. слова *περιπατητικοί* (прогуливающийся) — наименование, полученное учениками и последователями Аристотеля, имевшими обыкновение, как и их учитель, обсуждать философские вопросы, прогуливаясь со своими собеседниками.

Стр. 20. *Тивериадское озеро* — озеро в Галилее, не раз упоминаемое в евангельских легендах о жизни и чудесах Иисуса Христа (например, о хождении Христа по водам).

Климент Александрийский — христианский проповедник II—III вв. В своих «Строматах» ставит вопрос об отношении христианства к язычеству и философии, пытается примирить веру и знание.

Стр. 21. *Лакордер* Жан-Батист-Анри (1802—1861) — французский священник и церковный проповедник, в молодости адвокат; после февральской революции 1848 г. призывал к примирению католической церкви с республикой. Был депутатом в Учредительном собрании 1848 г.

Гратри Огюст (1805—1872) — французский богослов и моралист; был противником догмата непогрешимости папы, за что подвергался преследованиям церкви.

Стр. 22. *Кальпурний* — Тит Кальпурний Сицилийский, римский поэт I в.

Стр. 27. *Конгрегации* — объединения католических монастырей, принадлежащих к одному и тому же монашескому ордену. Декретами 29 марта 1880 г. правительство Третьей республики предписало иезуитам закрыть их учебные заведения, а остальным конгрегациям предоставило трехмесячный срок для урегулирования вопроса об их существовании. В 1886 г. был издан закон, запрещавший учителям, связанным с конгрегациями, преподавать в государственных школах. Конгрегации отказались подчиниться правительству и были разогнаны, что не помешало им,

впрочем, в скором времени возобновить свою деятельность с помощью разных уловок в обход закону.

Стр. 28. *«Присоединившиеся»* — группа французских католиков-монархистов во главе с графом де Меном, заявившая о своем примирении с республиканским строем после издания в 1892 г. энциклики папы Льва XIII (см. прим. к стр. 7 — *Лев XIII*).

Стр. 31. *Эпоха декретов* — см. прим. к стр. 27 — *Конгрегации*.

Стр. 32. *Кoadьютор* — духовное лицо, состоящее при епископе или архиепископе в качестве его помощника.

Стр. 35. *Архиепископ Парижский Сибур*. — 3 января 1857 г. был убит во время торжественного богослужения католическим священником, отстраненным от исполнения своих обязанностей.

Фома Бекет (ок. 1118—1170) — архиепископ кентерберийский, боровшийся против английского короля Генриха II за светскую власть церкви; был убит на ступенях алтаря королевскими сторонниками.

Гелиодор — приближенный сирийского царя Селевка Филопатора, пытавшийся, согласно легенде, похитить сокровища из иерусалимского храма.

Стр. 38. *Базен Ашиль-Франсуа* (1811—1888) — французский маршал, покрывший себя позором во время франко-прусской войны, когда ему была поручена защита крепости Мец; он изменнически сдался в плен со своей армией, так как намеревался использовать ее для восстановления Наполеона III на императорском престоле, заручившись поддержкой Бисмарка.

Стр. 40. *Канробер* Сертен (1809—1895) — французский маршал; в битве при Сен-Прива (18 августа 1870 г.) французскими войсками под его командованием была разбита наголову прусская королевская гвардия.

Стр. 42. *Карно* Сади (1837—1894) — французский политический деятель, умеренный республиканец, избранный в президенты республики в 1887 г. и занимавший пост президента до 1894 г., когда он был убит в Лионе анархистом Казерио.

Стр. 44. *Правительство нравственного порядка*. — Так именовало себя реакционное французское правительство 1873—1874 гг., стремившееся сплотить все правые политические группы для активной борьбы с республиканцами.

Стр. 49. *Раймунд Великий* — Раймунд Луллий (1235—1315), испанский философ-мистик и богослов. Бержере и Лантень в «Современной истории» ошибочно приписывают ему мысли

Аверроэса, испано-арабского медика и философа XII в., с которыми, напротив, Раймунд боролся.

Стр. 55. *Жюль Симон* (1814—1896) — французский философ-спиритуалист и политический деятель; после провозглашения во Франции республики в 1870 г. — член Национального собрания, возглавивший самых правых республиканцев, заигрывавших с клерикалами. Поставленный президентом Мак-Магоном во главе министерства, навлек на себя его немилость тем, что под давлением республиканского большинства палаты депутатов допустил принятие резолюции против притязаний папы римского на светскую власть. 16 мая 1877 г. Мак-Магон, выступив против Ж. Симона в печати, принудил его подать в отставку.

Стр. 62. *Грети Жюль* (1807—1891) — правый буржуазный республиканец, президент Французской республики с 1879 по 1887 г.; вынужден был подать в отставку после того, как было установлено, что его зять Вильсон, пользуясь своими родственными связями с президентом, торговал орденами Почетного легиона и занимался другими аферами.

Стр. 69. *Тильмон Себастиан* (1637—1698) — французский историк.

Стр. 71. *Бодрикур* — вельможа, доставивший Жанне д'Арк возможность получить свидание с королем Карлом VII.

Стр. 72. *Фор Франсуа-Феликс* (1841—1899) — президент Французской республики (1895—1899). В дни Коммуны боролся на стороне версальцев; будучи президентом, поддерживал националистов, пользовавшихся борьбой вокруг дела Дрейфуса для нападков на республику. К нему обратил Э. Золя свое открытое письмо в защиту Дрейфуса «Я обвиняю».

Бернадетта Лурдская — см. прим. к стр. 405 — *Лурд*.

Стр. 74. *Площадь Бово* — то есть министерство внутренних дел (по местонахождению его здания).

Стр. 77. *...все обязательства, вытекающие из конкордата.* — Конкордат — договор между правительством какого-либо государства и католической церковью в лице папы относительно положения церкви в данном государстве. Здесь имеется в виду конкордат 1801 г., заключенный между Наполеоном и папой Пием VII и действовавший до конца 1905 г. Согласно этому конкордату глава французского правительства назначал во Франции епископов и архиепископов, которые должны были затем получить утверждение от папы и принести присягу в верности государству.

Стр. 78. *Общение между церковью торжествующей и церковью воинствующей вполне возможно...* — Церковью торжествующей аббат Гитрель согласно католической фразеологии называет умерших верующих, будто бы уже вкушающих небесное блаженство; церковью воинствующей — верующих, пребывающих на земле.

Стр. 79. *Мишле Жюль (1798—1874)* — известный французский историк и публицист; разрабатывал наименее изученную в его время область — историю народных движений, игнорируя, однако, их материальную основу; мелкобуржуазный республиканец и антиклерикал; после переворота 1852 г. отказался принести присягу Наполеону III (был лишен за это кафедры в Сорбонне); вместе с тем Мишле выступал как противник социализма.

Стр. 83. *Маргарита Шотландская (1424—1444)* — первая жена французского короля Людовика XI, дочь Якова Стюарта, короля Шотландии.

...с гербом Колеони Бергамского... — Колеони Бартоломео (1400—1475) — кондотьер (предводитель наемных войск), родился в городе Бергаме (Италия).

Стр. 86. *...первого издания третьей книги «Пантагрюэля».* — «Гаргантюа и Пантагрюэль» — сатирический роман знаменитого французского гуманиста Франсуа Рабле (ок. 1494—1553); третья книга «Пантагрюэля» (четвертая книга всего романа) вышла в 1552 г. и вскоре была осуждена духовной цензурой.

Меллен де Сен-Желе (1491—1558) — французский поэт, разрабатывавший преимущественно легкие жанры; большой поклонник поэзии итальянского Возрождения.

Стр. 93. *Мария-Амалия (1782—1866)* — жена французского короля Луи-Филиппа.

Стр. 95. *...нашего Фробейна, нашего Эльзевира, нашего Дебюра...* — Фробейн Иоганн (1460—1527) — известный немецкий гуманист и печатник. Эльзевир — фамилия семьи знаменитых голландских печатников XVI—XVII вв. Дебюр — фамилия семьи французских издателей и библиографов XVIII—XIX вв.

Фома Диафуарий — имя двух персонажей, отца и сына, в комедии Мольера «Мнимый больной», ставшее во Франции нарицательным для невежественных врачей, щеголяющих показной ученостью.

Стр. 98. *Мак-Магон Эдм-Патрис-Морис (1808—1893)* — французский политический деятель, маршал. Во время франко-прусской войны, командуя стотысячной армией, позорно сдался в плен при Седане. Вернувшись из плена, участвовал в подавлении

Парижской Коммуны. В 1873—1879 гг. — президент Французской республики, выдвинутый монархическим большинством Национального собрания. Вынужден был сложить свои полномочия в связи с ростом республиканского движения.

Правительство 16 мая — кабинет министров, сформированный герцогом де Бройлем из орлеанистов и бонапартистов после того, как 16 мая 1877 г. подал в отставку Жюль Симон (см. прим. к стр. 55).

Пор-Рояль. — Во Франции в XVII в. возникло религиозное течение янсенизм (по имени голландского богослова Корнелия Янсения), направленное против папства, церковной иерархии и клерикализма. Очагом янсенизма было аббатство Пор-Рояль, превратившееся в XVII в. в своеобразную общину вольномыслия и борьбы с иезуитами.

Стр. 99. *Фома* Аквинский (1225—1274) — средневековый богослов, типичный представитель церковной схоластики. С конца XIX в., по инициативе римских пап, учение Фомы («томизм») усиленно пропагандируется в качестве официальной философии католицизма, в настоящее время оно приобрело немало последователей среди политических мракобесов США.

Бароний Цезарь (1538—1607) — итальянский богослов, кардинал-библиотекарь Ватикана, автор «Церковных анналов» — многотомного труда по истории церкви.

...ни Римской, ни Батавской, ни Гельветической республики... — Римская республика — 1) одна из республик, существовавших в Италии (1798—1799) на территории Папской области во время оккупации Италии войсками французской Директории; 2) республика, существовавшая в Италии, в Папской области, в период революции 1848—1849 гг. Руководители республики во главе с Мадзини провели ряд реформ (отказ от признания светской власти папы, введение прогрессивного налога, светского образования и др.). Нерешительность, проявленная в отношении к пережиткам феодализма, и невнимание к интересам крестьянства ослабили силы республики и предрешили ее гибель в борьбе с интервентами — Францией, Австрией, Испанией и Неаполитанским королевством. Батавской республикой назывались Нидерланды с 1795 г., когда была свергнута власть штатгальтера Вильгельма V, отменены все дворянские звания и привилегии и провозглашены «права человека и гражданина». В 1806 г. Наполеон превратил Батавскую республику в Голландское королевство, посадив на голландский престол своего брата Людовика.

Гельветической республикой называлась Швейцария в 1798 г., когда швейцарскими революционерами с помощью французских войск было свергнуто олигархическое управление швейцарских кантонов и провозглашена единая государственная власть. В 1803 г., вскоре после того как французы вывели из страны свои войска, восставшими сторонниками старого строя было восстановлено кантонное управление в Швейцарии.

Стр. 100. *Всадник... имя которому то Сальманасар, то Навуходоносор, то Кир, то Камбиз, то Меммий, то Тит, то Аларих, то Атилла, то Магомет...* — Здесь перечисляются имена известных в древности жестоких завоевателей. Сальманасар — имя нескольких ассирийских царей IX—VIII вв. до н. э.; Навуходоносор (VII—VI вв. до н. э.) — вавилонский царь; Кир (VI в. до н. э.) — древнеперсидский царь; Камбиз (VI в. до н. э.) — древнеперсидский царь; Меммий — Гай Меммий (II—I вв. до н. э.), древнеримский полководец; Тит (I в.) — римский император; Аларих (IV—V вв.) — вестготский король; Атилла (V в.) — могущественный вождь племени гуннов; Магомет II (Махмед II, 1451—1481) — турецкий султан.

Вильгельм I — прусский король (с 1861 г.), при котором Франция потерпела поражение в франко-прусской войне 1870—1871 гг.; с 1871 по 1888 г. — германский император.

Стр. 101. *Национальное собрание в Бордо.* — Собрание, созванное французским правительством Национальной обороны в феврале 1871 г., было настолько реакционно по своему составу, что можно было серьезно опасаться за дальнейшее существование республики.

Церковь Сердца Иисусова — была выстроена на Монмартре по инициативе клерикалов и роялистов, которые провели при президенте Мак-Магоне закон, разрешавший необходимые для этого земельные отчуждения. В честь «Сердца Иисусова» устраивались многолюдные паломничества, во время которых толпа при участии правых депутатов Национального собрания распевала гимн «Спасите Рим и Францию во имя Сердца Иисусова!» Культ «Сердца Иисусова» был одним из видов пропаганды, направленной к восстановлению светской власти папы и легитимной монархии во Франции.

Церковь Фурвьерской богоматери е Лионе — место паломничества, организуемых католическим духовенством.

Шенлон Пьер-Шарль (1820—1899) — один из главарей французских роялистов.

Генрих Богоданный, — Так аббат Лантень называет графа Анри Шамбора, графа д'Артуа (1820—1883), внука французского короля Карла X, представителя старшей династии Бурбонов, свергнутой в результате революции 1830 г.

Стр. 104. *Гиппон* — древний нумидийский город, нынешний Бон (северо-восточная часть Алжира).

Стр. 106. *Дровосек в басне*. — В басне Лафонтена «Дровосек и смерть» дровосек, удрученный бедностью, призывал к себе смерть, но при ее появлении испугался и стал умолять ее помедлить.

Мантуанский аптекарь — бедняк-аптекарь, к которому в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» обращается Ромео с просьбой продать ему яд. Ссылка аптекаря на то, что за продажу такого яда ему, но Мантуанским законом, грозит смерть, удивляет Ромео, который не может понять, как это такой бедняк, измученный нуждой, может еще бояться смерти.

Стр. 107. *Эсквилин* — Эсквилинский холм, самый большой из семи холмов, на которых расположен Рим.

Жюль Леметр (1853—1914) — французский литературный и театральный критик и драматург.

Стр. 108. *Красно-желтые тогносоцы*, — Так Франс называет французских профессоров, которые, подобно французским судьям и адвокатам, надевали тогу при исполнении своих обязанностей.

Стр. 109. *Нирей* — один из героев древнегреческих сказаний о Троянской войне; после Ахилла самый красивый из греков, осаждавших Троию.

Фаге Эмиль (1847—1916) — французский литературовед, литературный и театральный критик, поклонник классицизма XVII в.; по своим политическим взглядам консерватор.

Думик Рене — французский литературовед и критик, социолог-электик; в 90-х годах XIX в. выступал против декадентства.

Пелисье Жорж (1852—1918) — французский критик и историк литературных движений XIX в.

Стр. 112. *Ультрамонтаны* (от лат. *ultra montes* — за горами, то есть за Альпами, в Риме) — сторонники расширения власти папы римского как в церковных, так и в светских делах. Главную роль в движении ультрамонтанов играли иезуиты.

Янсенизм — см. прим. к стр. 98 — *Пор-Рояль*.

Стр. 115. *Гам* — прим. к стр. 98 — французская крепость на р. Сомме, куда в 1840 г. был заключен Луи-Наполеон Бонапарт (впоследствии

французский император Наполеон III) после неудавшейся попытки свергнуть Луи-Филиппа и провозгласить себя императором. Из крепости Гам Луи-Наполеон бежал в 1846 г., переодевшись в платье каменщика Баденге (отсюда и насмешливое прозвище Баденге, которое дали Наполеону III).

Стр. 120. *Альфред Мори* (1817—1892) — французский историк средневековья.

Стр. 121. *Парис Франсуа* (1690—1727) — дьякон-янсенист; его могила на кладбище монастыря св. Медара стала местом, где так называемые «конвульсионеры» (фанатическая секта, возникшая на основе извращенного янсенизма) устраивали свои «чудеса».

Стр. 124. *Мональдески* — фаворит шведской королевы Христины, убитый по ее приказу в Фонтенебло в 1657 г.

Виоле ле Дюк Эжен-Эмманюэль (1814—1879) — французский археолог и архитектор, реставрировавший целый ряд памятников средних веков.

Мериме. — Имеется в виду писатель Проспер Мериме, близко знакомый Наполеону III через семью его жены, императрицы Евгении.

Брантом Пьер де Бурдель (ок. 1534—1614) — французский писатель-мемуарист. Книги его содержат в себе подробное и живое описание быта, характеров и нравов аристократического общества XVI в. Наиболее известные его произведения — «Жизнеописания великих полководцев», «Жизнеописания знаменитых дам» и «Жизнеописания галантных дам».

Стр. 129. *Французский институт* — высшее научное и художественное учреждение во Франции; в состав его входит пять отделений, называемых академиями: Французская академия, Академия надписей и литературы, Академия нравственных и политических наук, Академия точных наук, Академия изящных искусств.

Стр. 131. *Лакордер* — см. прим. к стр. 21.

Монталамбер Шарль, граф (1810—1870) — французский публицист и главарь католической партии ультрамонтанов; активно содействовал воцарению Наполеона III. Маркс называет Монталамбера «шефом иезуитов».

Луи Вейо (1813—1883) — французский католический публицист, яростный сторонник ультрамонтанства.

Стр. 133. *Вовенарг Люк де Клапье, маркиз* (1715—1747) — французский писатель-моралист, автор книги «Введение к познанию человеческого разума», а также «Размышления и максимы».

Стр. 137. *Гамбетта* Леон-Мишель (1838—1882) — французский политический деятель, умеренный республиканец. Стоял во главе республиканской оппозиции при Второй империи, участвовал в провозглашении республики в 1870 г., был членом правительства Национальной обороны во время франко-прусской войны после капитуляции Наполеона III и армии Мак-Магона, энергично организуя в провинции сопротивление немецким войскам. После подавления Парижской Коммуны стоял во главе республиканского блока. При президенте Жюле Гриви был председателем палаты депутатов (1879), в 1881 г. сформировал «великое министерство», обнаружившее свое полное бессилие в осуществлении демократизации страны. Типичный оппортунист, провозглашавший необходимость примирить интересы буржуазии и рабочих, Гамбетта к концу 70-х годов окончательно утратил популярность, которой он пользовался одно время как борец за республику при Наполеоне III и при маршале Мак-Магоне.

Стр. 139. *...или к его четвероногому сподвижнику.* — Согласно легендам об Антонии Отшельнике его всюду сопровождал кабан. Так Антоний изображен и на триптихе «Страшный суд» нидерландского живописца XV в. Рогира ван дер Вейдена.

Теперь, когда царь собирается посетить Францию... — В 1896 г. царь Николай II приезжал во Францию в целях укрепления русско-французских отношений.

Стр. 144. *Хромой бес* — персонаж одноименного романа французского писателя Лесажа (1668—1747), обещавший студенту Клеофасу «показать все, что происходит на свете», и снимавший крыши с домов Мадрида, чтобы можно было увидеть без всяких прикрас жизнь его обитателей. Под видом Испании Лесаж в этой книге изображает Францию, давая образцы блестящей социальной сатиры.

Стр. 145. *Бергамский кондотьер* — см. прим. к стр. 83 — *Колони*.

«Сто новых новелл» — первый сборник новелл на французском языке, написанный в середине XV в., один из ярких памятников раннего Возрождения. Сборник анонимен, приписывается Антуану де ла Саль.

Стр. 146. *Виремент.* — Здесь имеется в виду незаконное действие, заключающееся в использовании государственных кредитов по другой статье бюджета, чем та, которая была предусмотрена при вотировании этих кредитов.

Стр. 150. *Концентрационный кабинет* — кабинет министров, составляемый якобы на основе политики примирения между всеми парламентскими фракциями республиканского большинства.

И в о в ы й м а н е к е н

Стр. 155. *Тейбнеровские издания* — серийные критические издания литературных текстов (по имени известного издателя Тейбнера, XIX в.).

Стр. 156. *Катулл* — Гай Валерий Катулл, римский поэт-лирик I в. до н. э.

Петроний — Тит Петроний Арбитр, один из крупнейших римских сатириков (ум. в 66 г.), автор романа «Сатирикон», в котором изображены нравы римского общества I в.

Турн — легендарный царь рутулов, убитый Энеем («Энеида» Вергилия).

Стр. 157. *Деци* — два римлянина: Публий Деций Мус и его сын Публий Деций Мус, участники Самнитских войн (IV—III вв. до н. э.). Прославились любовью к отечеству и беззаветной готовностью принести ради его благополучия любые жертвы. Их имя стало нарицательным.

Битва при Марафоне — битва при городке Марафоне на восточном побережье Аттики, к северо-западу от Афин, между персидской армией и греческой (490 г. до н. э.), закончившаяся полной победой греков, их первой победой над персидской державой.

Кинегир — брат греческого трагика Эсхила, прославившийся героическими подвигами во время греко-персидских войн (V в. до н. э.).

Стр. 158. *Мильтиад Младший* — победитель персов при Марафоне.

Сервий Туллий — римский царь (VI в. до н. э.). Ему приписывается реформа, в результате которой наряду с патрициями к военной службе привлекались и плебеи, а следовательно, в их числе и переселившиеся в Рим чужестранцы.

Стр. 163. *...нашего полковника зовут Дюпон*. — Дюпон — чрезвычайно распространенная французская фамилия.

Розенкрейцер. — Розенкрейцеры — тайная масонская религиозно-политическая организация, возникшая в XVII в. в Европе и ставившая своей целью защиту феодальных порядков.

Стр. 165. *Лавиния* — персонаж «Энеиды» Вергилия, вторая жена Энея.

Стр. 166. *Муратори* Луиджи-Антонио (1672—1750) — итальянский археолог и историк, издатель материалов по истории средних веков.

Король Бомба — прозвище неаполитанского короля Фердинанда II (1810—1859), полученное им за жестокую расправу с революционерами Неаполя и Сицилии в 1848 г., во время которой были применены артиллерийские снаряды.

Стр. 167. ...*это движение было вызвано военным министром.* — Речь идет о политическом авантюристе и демагоге генерале Буланже, военном министре, пытавшемся произвести в 1889 г. государственный переворот и свергнуть республиканский режим. Заговор был раскрыт, и Буланже бежал в Бельгию.

Стр. 169. *Эгинское искусство* — древнейший вид греческой скульптуры, образцы которого обнаружены археологами в начале XIX в. на острове Эгине, расположенном в Эгинском заливе Эгейского моря.

Шанзи Антуан (1823—1883) — французский генерал, участник франко-прусской войны, потерпевший со своей армией поражение в бою при Мансе, главном городе в департаменте Сарты (в прошлом — в провинции Мен).

Стр. 171. ...*при Требиш, Тразимене и Каннах.* — В этих сражениях римские войска во время Второй пунической войны потерпели поражение от карфагенского полководца Ганнибала.

Фабий, по прозвищу Кунктатор (что означает Медлитель) — римский полководец (III в. до н. э.), во время Второй пунической войны измотавший силы карфагенского полководца Ганнибала своей тактикой искусного затягивания военных действий.

...*после Новары, после Лиссы, после Адуи.* — Новара — город в северо-западной Италии; в 1849 г. пьемонтская армия итальянцев была разбита под Новарой австрийскими войсками. Лисса — остров в Адриатическом море; у этого острова в 1866 г. итальянский флот потерпел поражение от австрийцев. Адуя — город в Абиссинии; в 1896 г. близ Адуи итальянская армия была разбита абиссинским негусом.

Стр. 172. *Декада.* — Декады — название некоторых произведений, состоящих из десяти глав или книг, например «Декады» Тита Ливия.

Стр. 173. ...*при Вейсенбурге и Рейсгофене...* — там французские войска потерпели поражение во время франко-прусской войны 1870—1871 гг.

Стр. 176. *Оливье Майяр* — французский проповедник XV в., в своих проповедях подчас впадал в грубовато-шутливый тон.

Стр. 177. *Квинтилиан* — руководитель риторической школы в Риме (I в. до н. э.), автор работы «Учение о красноречии».

Стр. 180. *Акциум* (Актий) — мыс и город в Акарнании, на берегу Западной Греции. Здесь в период гражданских войн после смерти Цезаря произошла битва между войсками Октавиана (Октавия) и войсками Антония и египетской царицы Клеопатры (31 г. до н. э.). В начале битвы Клеопатра обратилась на своем корабле в бегство, за ней последовал Антоний.

Стр. 181. *Проперций* — Секст Проперций, римский элегический поэт (I в. до н. э.).

Стр. 182. *Либурна* — легкое военное судно у древних римлян.

Агриппа — Марк Випсаний Агриппа (63—12 гг. до н. э.), зять и приближенный Октавиана, римский военачальник, прославившийся своей победой при Акциуме.

Стр. 191. *Там, где реют еще Адальберты и Эвды...* — Адальберт — католический святой, мученик (X в.). Эвд — герцог Французский и граф Парижский (ум. в 898 г.).

Малларме Стефан (1842—1898) — поэт, глава французского символизма.

Стр. 192. *Марциал* — Марк Валерий Марциал (43—104), римский поэт, автор эпиграмм, сатирически изображающих современные ему нравы.

Стр. 197. *Аттик* — декоративная стенка, расположенная над карнизом здания.

Стр. 198. *Габриэль Жак-Анж* — французский архитектор XVIII в.

Стр. 204. *...Нозлем и Шапселем.* — Нозль Жан-Франсуа-Мишель (1755—1841) и Шапсаль Шарль (1788—1858) — французские языковеды.

Стр. 208. *Графито* (или сграфито) — изображение, выцарапанное при помощи особого инструмента на стене, окрашенной светлой краской поверх темного цвета, который, обнажаясь, и образует требуемый рисунок. Графито впервые были введены в Италии в XVI в., Бержере употребляет это название, разумеется, иронически.

Стр. 209. *Палатин* — Палатинский холм, один из семи холмов, на которых расположен Рим.

Стр. 210. *...стул, покрытый ветхим обюссонским ковриком...* —

Обюссон — небольшой город во Франции, славящийся ковровым производством.

Стр. 212. *Ролан Шарль* (1661—1741) — французский ученый, автор «Римской истории».

Ораторианцы — религиозное общество, основанное в XVI в.; вели совместную жизнь в ораториях (молитвенных домах); занимаясь преподавательской деятельностью, пытались приспособить науки и философию к целям пропаганды католицизма. В XVII в. ораторианцы широко распространились во Франции..

...*Отена и Бордо*.. — *Оген* — французский город, родина латинского ритора Эвмена (260—311). *Бордо* — родина латинского поэта и ритора Авсония (IV в.).

Стр. 217. «*Гептамерон*» — сборник новелл Маргариты Наваррской (Ангулемский). Вышел в свет в 1558 г., после смерти автора.

Стр. 222. *Марк Аврелий* (121—180 до н. э.) — римский император, философ, последователь учения стоиков, автор книги размышлений «К себе самому», известной также под заглавием «Мысли».

Фаустина — *Анния Фаустина Младшая* (125—176), дочь римского императора Антонина, жена Марка Аврелия, которого она сопровождала в военных походах.

...*повестушки Увилля и Этрапеля*. — *Увилль Антуан* — французский новеллист и драматург XVII в. Под именем *Этрапеля* французский писатель XVI в. Ноэль дю Файль, автор «Деревенских шуточных бесед», вывел себя в качестве рассказчика в двух книгах: «Шутки Этрапеля» (1548) и «Сказки и новые речи Этрапеля» (1585). Имя Этрапель взято из греческого и означает «ловкий», «остроумный».

Деперьё Бонавентура (ум. ок. 1544 г.) — выдающийся французский писатель-гуманист. В 1537 г. выпустил книгу сатирических диалогов «Кимвал мира», представляющую собою один из блестящих образцов гуманистического свободомыслия XVI в. Является также автором сборника новелл «Новые развлечения и веселые дружеские разговоры» (издан посмертно в 1558 г.).

Шольер Никола де — французский писатель, автор повестовательно-диалогических сборников «Девять утр» (1585) и «После обеда» (1587).

Гильом Буше — французский книгопродавец и писатель (1513—1593), автор «Бесед после ужина».

Стр. 228. *Трошио* Луи-Жюль (1815—1896) — французский генерал, глава правительства Национальной обороны и парижский губернатор во время франко-прусской войны, своей пре-

ступной пассивностью при обороне осажденного Парижа содействовавший взятию французской столицы пруссаками.

Стр. 229. *Вите* Луи (1802—1873) — французский литератор и политический деятель.

Стр. 230. *Роулансон* Томас (1750—1827) — английский художник, прославившийся своими карикатурами на Наполеона I, мастер социально-бытовой карикатуры.

Стр. 231. *Монтессю* Франсуа (1804—1873) — французский художник.

Стр. 233. *Канея* — столица и главный порт о-ва Крит; в 1895 г., когда на Крите произошло восстание греков против власти Турции, Греция приняла сторону восставших и на помощь им направила в Канею эскадру. Европейские державы, в том числе Франция, стали на сторону Турции, и их военные суда обстреливали повстанцев.

Гимет — гора в Аттике, славившаяся мрамором и медом. Гиметский мед упоминается в мифах.

Стр. 236. *Торквемада* (1420—1498) — испанский инквизитор, отличавшийся особой жестокостью. В. Гюго изобразил его в одноименной драме (1882).

Стр. 237. *Митридат VI* Эвпатор — понтийский царь (I в. до н. э.); непримиримый враг Рима, вел с Римом три войны.

Лукулл — Лициний Лукулл (106—56 до н. э.), римский военачальник, участник похода против Митридата VI.

Стр. 240. *Авраам Босс* — французский гравер XVII в.

Делла Роббиа Лука (1437—1528) — флорентинский скульптор.

Стр. 242. *Жеан Фуке* — французский художник и миниатюрист XV в.

Стр. 243. *Тьер* Адольф (1797—1877) — один из вождей либерально-буржуазной оппозиции в период Реставрации, министр при Луи-Филиппе, организатор жестоких репрессий против восставших республиканцев в 1834 г.; руководитель реакционной «партии порядка» после зверской расправы с участниками июньского восстания в 1848 г.; в годы Второй империи — умеренный оппозиционер; руководитель кровавого подавления Коммуны 1871 г.; президент Французской республики с 1871 по 1873 г. Заклятый враг рабочего класса, демократии и социализма.

Стр. 245. *Сердцеед* — шутовское прозвище французского солдата.

Стр. 252. *Мазас* — тюрьма в Париже.

Стр. 254. *Бурбонский дворец* — местопребывание палаты депутатов.

Люксембургский дворец — местопребывание сената.

Стр. 256. *Фуке Никола* (1615—1680) — суперинтендант (то есть министр финансов) при Людовике XIV. Обкрадывая государство, он составил себе огромное состояние. В 1661 г. был арестован и после трехлетнего процесса подвергнут пожизненному тюремному заключению.

Стр. 260. *Аякс* — сын Теламона, в греческих сказаниях один из вождей греков в Троянской войне; в сражении с троянцами, когда боги прикрыли сражающихся облаками, чтобы облегчить троянцам бегство, Аякс воззвал к Зевсу, прося дать ему возможность умереть при свете дня.

Стр. 262. *Пестум* — древний город на юго-западном побережье Италии, славившийся памятниками древнегреческого искусства.

Фламарион Камилл (1842—1925) — известный французский астроном, автор книг: «Популярная астрономия», «Множественность обитаемых миров» и др.

Стр. 265. *Иосиф Аримафейский* — упоминаемый в евангелии последователь Христа, снявший его тело с креста и предавший его погребению.

Стр. 269. *Прагматическая санкция* Карла VII — государственное постановление, обнародованное в 1438 г. французским королем Карлом VII и устанавливавшее ряд ограничений для папской власти по отношению к католической церкви во Франции.

Стр. 272. *Ламенне* Фелисите де (1782—1854) — французский публицист, философ и политический деятель, развивавший идеи так называемого «христианского социализма». Первоначально правоверный католик, клерикал и монархист, в 1830 г. приветствовал июльскую революцию. В 1834 г. выпустил книгу «Речи верующего», в которой критиковал социальный и политический строй Франции. Книга была осуждена папой, и Ламенне порвал с католической церковью, выступив против нее в «Римских делах» (1836). За резкую критику Июльской монархии Ламенне был приговорен к тюремному заключению. В то же время выступал против коммунистических идей.

Стр. 273. *Иевфай* — по библейской легенде, правитель иудеев, давший перед битвой обет принести в жертву богу того, кто первым придет к нему после победы, и вынужденный, во исполнение обета, убить свою дочь.

Стр. 274. *Иоас* — по Библии, царь Иудеи, в детстве спасенный от жестокой смерти Иосавефой, женой первосвященника, и тайно воспитанный при храме. Этот сюжет использован в трагедии французского драматурга Жана Расина «Гофолия» (1691), откуда и взяты приведенные ниже стихи.

Хамос (Шамаш) — бог солнца у вавилонян и ассириян; считался также покровителем законов.

Стр. 278. *Мизены* — мыс и город в Кампании, стоянка древнеримского флота.

Бирема — древнеримское судно с двумя ярусами весел.

Два брата Елены — близнецы Кастор и Поллукс (греч. миф.); их именами названы две яркие звезды в созвездии Близнецов.

Сервий Мавр — римский грамматик IV в., комментатор Вергилия.

Стр. 279. *Мишель Бреаль* (1832—1915) — французский филолог, исследователь языка и мифологии.

Стр. 288. «*Злодейские законы*» — изданные во Франции в 1894 г. чрезвычайные законы против всех заподозренных в анархизме; отменяли по существу конституционные гарантии и на практике широко применялись против социалистов.

Белые всегда останутся белыми, а синие — синими... — Во времена французской революции XVIII в. белыми называли участников вандейского контрреволюционного восстания (их знаменем было белое знамя французских королей), синими — солдат революционной армии (они носили синюю одежду). Впоследствии в расширительном смысле белыми во Франции называли роялистов, а синими — республиканцев.

Стр. 290. *Юлиан* — Флавий Клавдий Юлиан, римский император в 361—363 гг.; автор ряда философских трактатов. Воспитанный в христианской вере, он впоследствии отказался от нее и пытался восстановить в Риме язычество. Отсюда его прозвище Отступник.

Стр. 292. *Тертуллиан* (160—240) — христианский писатель, уроженец Африки, много писавший по вопросам христианской нравственности, утверждавший, что в мирской жизни царит одно зло.

Стр. 293. «*Война мышей и лягушек*» — греческая пародия на «Илиаду», написанная неизвестным автором, вероятно в начале V в. до н. э.

Стр. 295. *Элевсинские празднества* — празднества в честь Деметры, греческой богини земли и плодородия, ее дочери Пер-

сефоны и мифического изобретателя земледелия Триптолема, имевшие своим центром Элевсин, город в древней Аттике, неподалеку от Афин. Впоследствии к этому культу присоединился и культ Диониса, юного бога вина.

Великий мантуанец. — Вергилий родился близ Мантуи.

Макробий — Амброзии Теодозий Макробий, римский писатель (395—423), автор «Сатурналий», бесед на научно-философские темы, и ученый комментатор.

Стр. 296. *Метапонт* — древний греческий город в Южной Италии. Греческий философ-идеалист Пифагор (VI в. до н. э.) основал там свою школу.

Стр. 297. *Сервий* Почтенный — римский ученый-грамматик конца IV в., комментатор Вергилия.

Донат Элий — римский ученый-грамматик IV в., комментатор произведений древнеримской литературы.

«Оаристис» — заглавие одной из идиллий (буколик) Феокрита, древнегреческого поэта III в. до н. э.

Аметистовый перстень

Стр. 311. *Давид д'Анже* Пьер-Жан (1788—1856) — французский скульптор и революционер, автор ряда портретных статуй, бюстов и медальонов, создатель громадного барельефа на фронтоне Пантеона в Париже, представляющего собою серию портретов знаменитых французских деятелей.

Стр. 312. *Шатобриан* Рене де (1768—1848) — французский писатель и политический деятель, глава реакционного романтизма.

Анри Мартен (1810—1883) — французский историк, автор девятнадцатитомной «Истории Франции», называвший себя «неисправимым кельтом» и развивавший мысль, что «новая Франция и старая Франция, Галлия, — одно и то же духовное явление».

Стр. 315. *Граф Шамбор* — см. прим. к стр. 101 — *Генрих Богоданный*.

Граф Парижский Луи-Филипп (1838—1894) — внук короля Луи-Филиппа Орлеанского, представителя младшей линии Бурбонов, свергнутого революцией 1848 г. Французские роялисты делились на легитимистов, строивших планы восстановления во Франции монархии в лице графа Шамбора (которого они именовали Генрихом V), и орлеанистов, поддерживавших притязания графа Парижского (а после его смерти — его сына Филиппа). Эти

«претенденты», изгнанные из Франции законами республики, имеют в стране свою агентуру.

Стр. 316. *Карл IX* — французский король с 1560 по 1574 г. Его царствование ознаменовалось четырьмя религиозными войнами во Франции. С его ведома была устроена резня Варфоломеевской ночи.

Стр. 317. *Боссюэ* Жак-Бенинь (1627—1704) — французский проповедник и духовный писатель, идеолог абсолютизма.

Стр. 323. *Клотарий II* — франкский король (584—628).

Стр. 324. *...исцелила от ран двух ардеищев.* — Ардеш — один из департаментов Франции.

Стр. 325. *Неемия* — согласно легенде еврей, виночерпий персидского царя Артаксеркса I, содействовавший восстановлению иерусалимского храма после вавилонского плена.

Стр. 327. *...члена Бордоского собрания 1871 года.* — После поражения Франции во франко-прусской войне 1870—1871 гг. и крушения Второй империи произведены были, в условиях немецкой оккупации, выборы во французское Национальное собрание, которое созвано было в Бордо в 1871 г.; большинство членов этого собрания составляли монархисты.

...уныние, навеянное недавними происшествиями. — Глава II «Аметистового перстня» была первоначально опубликована А. Франсом в газете «Écho de Paris» в конце 1897 г., так что, вероятно, под «недавними происшествиями» разумеются здесь общественные выступления 1896—1897 гг. по поводу дела Дрейфуса в связи с сообщениями начальника информационного бюро генерального штаба Пикара, установившими невиновность Дрейфуса и виновность шпиона Эстергази, а также в связи с возбуждением судебного дела против Эстергази со стороны брата невинно осужденного Дрейфуса.

Стр. 332. *Дюсерсо* — семья французских архитекторов XVI—XVII вв. Известны Жак Дюсерсо — архитектор и гравер, и его сын Батист Дюсерсо — строитель Нового моста в Париже.

Стр. 335. *Мифологическое яйцо.* — Из яйца, по некоторым греческим мифам, появилась на свет красавица Елена, дочь Леды и Зевса, принявшего образ лебедя. В греческой мифологии образ Елены иногда символизирует солнечное сияние.

Стр. 336. *Вобан* Себастиан (1633—1707) — французский маршал и военный инженер, осуществивший укрепление французской границы и постройку большого количества крепостей. На старости лет Вобан написал «Проект королевской десятины», где

развивал мысль о необходимости более справедливого взимания налогов, чем навлек на себя немилость короля Людовика XIV. *Себастиан Леклерк* (1637—1714) — французский гравер и рисовальщик.

Стр. 337. ...*аббата Мабли, Кондильяка...* — Аббат Мабли Габриэль Бонно де (1709—1785), брат известного философа-просветителя Кондильяка, французский публицист, автор «Исследований по истории Франции».

Рейналь Гийом, аббат — французский историк и философ (1713—1796). Точное заглавие упоминаемого Франсом сочинения Рейналя — «Философская и политическая история европейских учреждений и торговых в обеих Индия».

...*Грекура, Дора, Сен-Ламбера...* — Грекур Жан-Батист-Жозеф (1683—1743), Дора Клод-Жозеф (1734—1780), Сен-Ламбер Жан-Франсуа де (1716—1803) — французские поэты.

Мариё Клеман-Пьер (1740—1808) — французский рисовальщик и гравер.

«*Обеты отшельника*» — сочинение о наилучшей организации государственной власти, выпущенное в 1789—1791 гг. французским писателем Бернарден де Сен-Пьером (1737—1814), автором известной повести «Павел и Виргиния», последователем Ж.-Ж. Руссо.

Стр. 333. ...*д'Анктием, Гизо, Огюстеном Тьерри...* — Д'Анктиль Луи-Пьер, аббат (1723—1806) — французский историк, автор «Истории Франции», «Краткого очерка всеобщей истории» и мн. др. Гизо Франсуа-Пьер-Гийом (1787—1874) — французский буржуазный историк, реакционный политический деятель, автор «Этюдов по истории Франции», «Истории английской революции» и мн. др.; Огюстен Тьерри (1795—1856) — французский буржуазный историк, крупнейший представитель либеральной историографии периода Реставрации, автор «Истории завоевания Англии норманнами», «Писем по истории Франции» и мн. др.

Лагарп Жан-Франсуа Де (1739—1803) — французский драматург, поэт и критик, автор многотомного «Лицея, или курса древней и новой литературы»; догматически утверждал идеи отмиравшего французского классицизма.

«*Поэтическая Галлия*» *Маршанжи* — «Поэтическая Галлия, или История французов, рассмотренная в ее отношении к поэзии, красноречию и изящным искусствам» (1813) — довольно безвкусное, полное ложного пафоса произведение писателя-роялиста Луи-Антуана-Франсуа де Маршанжи (1782—1826).

Лэне Жозеф (1767—1835) — французский политический деятель, умеренный роялист, считался блестящим оратором.

Стр. 339. ...*вступившими в силу «Декретами»*... — Судя по контексту, вероятно, имеется в виду постановление об амнистии за политические преступления, изданное «умеренным» министерством Рибо в 1895 г.

Стр. 340. *Шамбор* — община во французском департаменте Луар-э-Шер, где расположен великолепный Шамборский замок, в 1821 г., во время Реставрации, отданный во владение герцогам Бордоским.

Стр. 344. *Эригона* — юная девушка, имя которой связано в греческом мифе с появлением виноградарства. Образ Эригоны символически обозначал виноградную лозу.

Стр. 345. *Черная банда* — организация спекулянтов, скупавших после французской революции XVIII в. старинные замки и другие памятники архитектуры.

Жорж — так обычно именовался Жорж Кадудаль, один из предводителей контрреволюционного вандейского восстания. В 1804 г. был казнен как заговорщик, покушавшийся на жизнь первого консула (Наполеона). После реставрации Бурбонов семья Кадудалья получила дворянство.

Стр. 347. *Мадридская «Армерия»* — коллекция старинного оружия, начало которой было положено еще в XVI в., при короле Филиппе II.

Стр. 348. *Лагерь Золотой парчи* — название, присвоенное местности в Па-де-Кале, где произошло в 1520 г. свидание французского короля Франциска I с английским королем Генрихом VIII, обставленное с необычайной роскошью.

Стр. 356. *Байрейтский театр* — театр близ баварского города Байрейта, специально построенный для постановки музыкальных драм Р. Вагнера.

Стр. 361. ...*больше служил святому Фоме, чем святому Губерту*. — Св. Фома — богослов Фома Аквинский. Св. Губерт считается у католиков покровителем охотников.

Стр. 362. ...*нашим дорогим солдатикам на Мадагаскаре*. — В 1895 г. французским правительством была послана на Мадагаскар военная экспедиция, осуществившая захват этого острова.

Стр. 364. *Поль-Луи Курье* (1772—1825) — французский либеральный публицист, автор памфлетов против режима Реставрации.

Геркулес Фарнезский — древнеримская копия древнегреческой статуи, изображающей отдыхающего Геракла. Хранится в Неаполе.

Стр. 365. *Эрисфей* (греч. миф.) — царь, по повелению которого Геркулес совершил свои двенадцать подвигов, чтобы согласно оракулу заслужить бессмертие.

Лисипп — греческий скульптор и литейщик (IV в. до н. э.).

Стр. 366. *Деянира* (греч. миф.) — супруга Геракла (Геркулеса), ставшая невольной виновницей его гибели: снедаемая ревностью, она послала Гераклу одежды, умащенные снадобьем, которое, по уверению враждебного Гераклу кентавра, обладало свойством укреплять супружескую любовь, а в действительности было смертоносным ядом; облекшись в эти одежды и почувствовав приближение смерти, Геракл возлег на костер и погиб, объятый пламенем.

Стр. 367. *Танатос* — бог смерти в греческой мифологии.

Керкопы — мифические жители о-ва Питекуза в Тирренском море, которые за насмешки над Юпитером были превращены в обезьян («Метаморфозы» Овидия),

Стр. 368. *Гилас* (греч. миф.) — сын царя Феодаманта, красивый мальчик, любимец Геркулеса, похищенный водяными нимфами.

Стр. 369. *Превотальный суд* — суд, выносивший свои решения, не стесняясь какими-либо юридическими формами. Решения превотальных судов не допускали апелляции. Учреждались во Франции в различные эпохи, особенно в начале реставрации Бурбонов, в 1815 г.

Сеньориальный суд — суд феодального владельца.

Суды официалов — духовные суды.

Стр. 371. *Бушор* Морис (1855—1929) — французский поэт, драматург, переводчик Шекспира.

Фердинанд VII (1784—1833) — испанский король, низложенный в 1808 г. Наполеоном и снова возведенный на престол в 1813 г. Его царствование было периодом феодальной и клерикальной реакции в Испании.

Стр. 372. *Граф де Кэлюс* (1692—1765) — французский археолог.

Эпиникии — торжественные хоры, прославлявшие в древней Греции победителей на спортивных состязаниях, в том числе и на «истмийских играх» в честь Нептуна, происходивших каждые два года на Коринфском перешейке, кратко называвшемся у греков Истмом (т. е. Перешейком). От поэта Пиндара (V в. до н. э.) осталось 45 эпиникиев.

Стр. 376. ...*низвергнуть Хамоса и Молоха*. — Хамос — см. прим. к стр. 274; Молох — в финикийской мифологии бог солнца; ему приносили человеческие жертвы.

Стр. 389. ...*словами, достойными быть вырезанными на бронзе*. — Имеется в виду открытое письмо Эмиля Золя в защиту Дрейфуса, адресованное французскому президенту Феликсу Форю и озаглавленное «Я обвиняю» (13 января 1898 г.).

Стр. 392. *Ролан Манон* — жирондистка, основательница политического салона; была гильотинирована в 1793 г. Оставила после себя «Мемуары».

Стр. 396. *Мелин Феликс-Жюль* (1838—1925) — французский политический деятель; в 1896—1898 гг. глава так называемого «однородного министерства», составленного исключительно из умеренных и поддерживаемого консерваторами. Мелин открыто покровительствовал клерикалам и финансовому капиталу.

Стр. 399. *Заира* — героиня одноименной трагедии Вольтера (1732).

Стр. 400. *Скриб Эжен* (1791—1861) — французский драматург, автор многочисленных комедий, популярных на буржуазной сцене.

Стр. 401. *Альтаир* — звезда первой величины, желтого цвета, в созвездии Орла.

Альдебаран — звезда первой величины, красного цвета, в созвездии Тельца.

Стр. 405. *Лурд* — город на юго-западе Франции, место паломничества, куда стекались богомольцы на поклонение Лурдской богоматери, якобы являвшейся в пещере неподалеку от Лурда деревенской девочке Бернадетте, как это утверждала легенда, сочиненная клерикалами в 1858 г. с благословения папы Пия IX. Лурдский источник был объявлен «чудодейственным».

Стр. 408. *Еврит* — пролив между островом Эвбеей (в Эгейском море) и материком.

Физон — в Библии одна из четырех рек, орошавших райский сад.

Орк (римск. миф.) — подземный мир, царство теней, а также бог подземного царства (Плутон).

Стр. 409. *Мабильон Жан* (1632—1707) — французский историк, монах-бенедиктинец, отличавшийся своей ученостью.

Стр. 418. ...*солдаты Гирция и Пансы*... — Консул Авл Гирций, друг Цицерона, и консул Гай Вибий Панса командовали в 43 г.

до н. э. войсками, сражавшимися при Мутине (ныне Модена, город в Северной Италии) вместе с легионами Октавиана (Гая Октавия) против Марка Антония.

Ливия Друзилла (род. ок. 56 г. до и. э.) — третья жена Октавиана.

Стр. 420. ...*несмотря на свою французскую фамилию и римский титул...* — Французская фамилия, которую присвоили себе бароны де Бонмон, буквально значит «Прекрасная гора», что является переводом их настоящей немецкой фамилии. Слово «барон» происходит от латинского «*baro*» (германского происхождения), означавшего свободного знатного человека, подчиненного только высшей власти.

Стр. 447. *Политика концентрации* — политика соглашения между фракциями республиканского большинства палаты депутатов, то есть между радикалами и умеренными (оппортунистами). На основе «политики концентрации» было организовано во Франции несколько кабинетов министров в 80-е и 90-е годы XIX века.

Стр. 450. *Герцог де Морни* Шарль (1811—1865) — побочный брат Наполеона III, один из основных участников декабрьского переворота 1851 г., председатель законодательного корпуса при Второй империи.

Стр. 455. *Кадм* (греч. миф.) — сын тирского царя Агепора, основатель Фив «семивратных», изобретатель греческого алфавита (на финикийской основе).

Как некогда племянница Мардохея пошла в гарем Ассура... — В Библии рассказывается, что иудейка Эсфирь, племянница Мардохея, стала благодаря своему дяде женою персидского царя Ассура и своим заступничеством перед царем предотвратила готовившееся истребление иудеев.

Дольмены (брегонское слово, буквально означающее «каменный стол») — древние сооружения из огромных каменных глыб и плит, по форме напоминающие столы; служили для погребения. Дольмены встречаются у разных народов. Здесь речь идет о бретонских дольменах.

...*бардов и друидов.* — Барды — народные певцы древних кельтов. Друиды — жрецы у древних кельтов.

Береника — дочь иудейского царя Агриппы I (род. в 28 г.). Здесь имеется в виду сюжет трагедии Жана Расина «Береника» (1670).

Иосиф Флавий (37 — ок. 100 г.) — еврейский историк, автор «Истории иудейской войны» и «Иудейских древностей».

Стр. 462. *Энциклика* папы Льва XIII — см. прим. к стр. 7.
Стр. 468. *Полковник Анри* — был уличен в изготовлении фальшивого документа, который должен был послужить окончательным доказательством виновности Дрейфуса в государственной измене. Анри признался в совершении этого подлога. Было ясно, что он являлся лишь исполнителем поручений высшего начальства. Анри был арестован и заключен в военную тюрьму Шерш-Миди, где на следующее утро его нашли в камере с перерезанным горлом.

Стр. 470. *Филы* — островок на реке Нил (ныне Джезирет-эль-Бирбе).

Стр. 477. *Хлодвиг I* — король франков (ок. 466—511), основатель франкской монархии.

Готфрид Бульонский (1058—1100) — герцог Нижней Лотарингии, предводитель первого крестового похода.

Баярд (ок. 1473—1524) — знаменитый французский полководец.

Господин Бержере в Париже

Стр. 488. *Эмей* — свинопас, верный слуга Улисса, то есть Одиссея («Одиссея»).

Стр. 489. *Майя* (греч. миф.) — дочь титана Атланта.

Лазарь убогий — персонаж евангелия, бедняк, питавшийся крохами со стола богачей.

Стр. 490. *Атриды* (греч. миф.) — потомки Атрея, отца героев Троянской войны Агамемнона и Менелая.

Стр. 499. *Всемирная выставка* в Париже была открыта 14 апреля 1900 г.

Стр. 504. *Юпитер Трофоний* — древнегреческое божество, которому был посвящен храм и оракул в Лебадии (Греция).

Стр. 506. *Шарден Жан-Батист* (1699—1779) — французский художник. Прославился своей бытовой живописью и натюрмортами.

Виктор Леклер (1789—1865) — французский ученый, переводчик Цицерона.

Стр. 507. *Дамиета* — крепость в Нижнем Египте, взятая французскими войсками в 1249 г., во время седьмого крестового похода.

Стр. 509. *Людовик Семнадцатый* — так после казни Людовика XVI французские роялисты именовали его второго сына Людо-

вика. Он умер от болезни в 1795 г, в тюрьме Тамплъ, но роялисты распространяли слух, что он был похищен из тюрьмы своими сторонниками. Эту роялистскую легенду пытались использовать несколько авантюристов-самозванцев, выдававших себя за Людовика Семнадцатого.

Стр. 509. *Интердикт* (лат. *interdictum* — запрещение). — Здесь исправительная мера, применяемая католической церковью в отношении к провинившимся священникам и заключающаяся в запрете совершать богослужение.

Стр. 511. *Филомела* — имя дочери афинского царя, превращенной в соловья (греч. миф.).

Стр. 513. *Люс де Лансиваль* (1764—1810) — французский поэт и драматург.

Стр. 516. *Тамульский язык*. — Тамулы, или тамилы — народ, живущий в южной части Индии и на севере Цейлона.

...*мальгашиский*. — Мальгаши, или мадегасы — группа народов и племен малайского происхождения, живущих в центральной и восточной части Мадагаскара.

Стр. 521. *Велледа* (I в.) — жрица германского племени бруктеров; была вдохновительницей восстания германцев против римлян. Впоследствии жила пленницей в Риме. В 1839 г. в Люксембургском саду была поставлена ее мраморная статуя работы французского скульптора Мендрона.

...*Кине и Мишле*. — Кине Эдгар (1803—1875) — французский историк и публицист; мелкобуржуазный демократ, противник бонапартистской империи (после государственного переворота 1852 г. жил в эмиграции до 1870 г.); был в то же время противником социализма и революционного метода политической борьбы. Мишле — см. прим. к стр. 79.

Стр. 524. *Жорес так думал...* — Жан Жорес в 1893 г. был одним из пятидесяти депутатов социалистической фракции французского парламента; в 1900-е годы возглавлял социалистическую партию Франции.

Стр. 526. *Калибан* — безобразное чудовище, олицетворение животных, низменных начал в природе («Буря» Шекспира). Здесь Калибан — герой одноименной философской драмы Ренана, где этот образ истолковывается как олицетворение народной массы.

Брюне Жак-Шарль (1780—1867) — знаменитый французский библиограф.

Стр. 527. *Амио* Жак (1513—1593) — французский ученый эллинист и писатель, прославившийся переводами Плутарха.

«О трублионах...» — Трублион — смутьян, баламут (название образовано Франсом от франц. слова, означающего «мутить», «смущать»).

Стр. 528. *Мисоксены, ксенофобы, ксеноктоны, ксенофаги* — различные обозначения поджигателей войны, противников мира (слова эти образованы Франсом от греческих корней).

Стр. 529. *Кибела* — в античной мифологии «великая мать богов», символ земли.

Стр. 532. *...патриот в духе Барера и Сен-Жюста...* — Барер Бертран (1755—1841) — политический деятель французской революции XVIII в., сначала жирондист, впоследствии якобинец. Сен-Жюст (1767—1794) — один из вождей якобинцев.

Стр. 541. *Реннский процесс* — процесс по пересмотру дела Дрейфуса военным судом в г. Ренне (Бретань), центре клерикальной и монархической реакции (1899).

Стр. 546. *Лемуан Жан-Батист* (1704—1778) — придворный скульптор французского короля Людовика XV.

Стр. 548. *Жозеф Рейнак* (1856—1920) — французский публицист и историк, принадлежавший к сторонникам пересмотра дела Дрейфуса. Автор семитомной «Истории дела Дрейфуса» (1902—1909).

Стр. 549. *Дююи Шарль* (1851—1923) — умеренный республиканец. Стоя во главе кабинета министров, был инициатором и настойчивым проводником чрезвычайных, «злодейских» законов против анархистов (1894). В 1898 г., образовав новый кабинет министров, принял решительные меры против пересмотра дела Дрейфуса.

Стр. 551. *Вальдек-Руссо Рене* (1846—1904) — умеренный республиканец. В 1899—1902 гг. — глава кабинета министров, в который входил в качестве военного министра генерал Галифе, организатор зверской расправы с коммунарами в 1871 г., и «социалист» Мильеран.

Стр. 552. *Лубе Эмиль* (1838—1929) — умеренный республиканец; после неудачной попытки Деруледа совершить в 1899 г. государственный переворот во время похорон президента республики Феликса Фора был избран президентом; националисты и монархисты, прибегая ко всяким демонстрациям, пытались заставить Лубе отказаться от поста президента, но не могли достигнуть своей цели.

Стр. 563. *Табурет при дворе* — право сидеть в присутствии короля и королевы без особого на то разрешения; при французском дворе им пользовались герцогини.

Стр. 569. *Фернан Грег* — французский лирический поэт; в 1903 г. выпустил манифест новой поэтической школы «гуманизма», направленный против символистов и парнасцев.

Стр. 570. ...*старушку, несущую, в простоте душевной, вязанку хвороста для костра невинного человека.* — Согласно преданию вождь чешского национально-освободительного движения Ян Гус (1369—1415), увидев, что какая-то старуха подбросила полено в костер, на котором его сжигали, воскликнул: «*Sancta simplicitas!*» («Святая простота!» — лат.)

Пикар Мари-Жорж (1854—1914). — Будучи полковником французского генерального штаба и руководя его контрразведкой, обнаружил и опубликовал документы, свидетельствовавшие о шпионской работе Эстергази и о невинности Дрейфуса; за это подвергся гонениям со стороны своего военного начальства, был отправлен в Африку, где был нарочито поставлен в тяжелые условия, угрожавшие его жизни, а затем заключен в тюрьму по обвинению в разглашении государственной тайны. В связи с начатым в 1899 г. пересмотром дела Дрейфуса был освобожден и реабилитирован.

Стр. 572. *Мардрюс* — опубликовал свой перевод собрания арабских сказок «Тысяча и одна ночь» в 1900 г.

Галан Антуан (1646—1715) — французский ученый, историк и филолог-ориенталист; известен своим прекрасным переводом сказок «Тысяча и одна ночь».

Куанель Антуан (1661—1722) — французский художник, пользовавшийся в свое время большой известностью, автор картин на мифологические и библейские сюжеты.

Стр. 573. *Буржуа* Леон-Виктор — в 90-е годы XIX в. многократно входил в состав кабинета министров. Впоследствии был председателем палаты депутатов (1902—1904); был представителем Франции в Совете Лиги наций.

Стр. 578. *Пюто* — старинный французский городок, недалеко от Парижа. Напротив Пюто, на Сене расположен живописный остров, в XIX в. перешедший в частную собственность к богачам Ротшильдам.

Христиани — авантюрист-монархист, совершивший в 1899 г. нападение на президента Лубе.

Стр. 579. *Талейран* Шарль-Морис (1754—1838) — видный французский дипломат, известный своей беспринципностью.

Фуше Жозеф (1763—1820) — продажный политик, ухитрявшийся делать карьеру при всех политических режимах своего

времени. Священник при старом режиме, во время первой французской буржуазной революции голосовал за казнь Людовика XVI; затем переметнулся в лагерь контрреволюции. Людовик XVIII назначил его министром полиции.

Стр. 582. *«Джокондо»* — «Джокондо, или Искатели приключений» — комическая опера Николо (либретто Этьена), впервые поставленная в 1814 г. и пользовавшаяся большой популярностью.

Стр. 587. *Фагон* Ги-Крессан (1638—1718) — лейб-медик Людовика XIV.

Великий коэвр (воровской жаргон XV в.) — своеобразный титул, который носили во Франции предводители сообществ бродяг, воров и нищих. Коэвры обучали нищих, находившихся под их началом, искусству подделывать на себе всевозможные раны, язвы, физические недостатки и уродства с той целью, чтобы более успешно выпрашивать милостыню.

Стр. 589. *Аббат де Сен-Пьер* Шарль-Ирене (1658—1743) — французский писатель и публицист-филантроп, автор многочисленных утопических проектов, в том числе знаменитой в свое время книги «Проект вечного мира» (1713) и филантропического проекта «В пользу бедных нищих». Ему приписывается введение во французский язык слова «bienfaisance» (благотворительность, благодеяние).

...у нашего первого Бальзака. — Имеется в виду писатель Гез де Бальзак Жан-Луи (1594—1654) — один из создателей французской художественной прозы XVII века; был прекрасным знатоком живого французского языка своего времени.

Стр. 590. *Этикет* — греческий философ-стоик I в., живший в Риме; вольноотпущенник.

Бенуа Малон (1841—1893) — французский социолог, мелкобуржуазный социалист, автор книги «Интегральный социализм».

4-го августа 1789 г. Учредительное собрание провозгласило в принципе ликвидацию феодального строя во Франции.

Стр. 594. *Донателло* (1386—1466) — один из крупнейших итальянских ваятелей эпохи Возрождения.

Стр. 595. *...свои письма, которых не доверила бы агентству Трикош.* — Во Франции почти до конца XVII в. наряду с королевской почтой существовали частные почтовые агентства. Говоря об «агентстве Трикош», Бержере имеет в виду деловое агентство, карикатурно изображенное в водевиле А. Мейлака и Л. Галеви «Трикош и Каколе» (1871).

Стр. 590. *Кампанелла* Фома (1568—1639) — итальянский философ-гуманист, автор утопии «Город солнца».

Стр. 603. *Я покажу вам своих Бодуэнов*. — Панетон говорит здесь о произведениях французского художника Пьера-Антуана Бодуэна (1723—1769), ученика Буше. Многие его картины посвящены фривольным сюжетам.

Стр. 604. *Тиберий* — римский император (с 14 по 37 г.), известный своей жестокостью.

Бовейский штоф — французский город Бове (департамент Уазы), издавна славился своими тканями.

Стр. 608. *Трокадеро* — дворец, возведенный в Париже для Всемирной выставки 1878 г. Назван так в память взятия французской армией испанского форта Трокадеро (1823).

...извлекает какие-нибудь выгоды из этой грандиозной выставки. — Бержере и Губен беседуют о Всемирной выставке, происходившей в Париже в 1900 г. Глава XX романа «Господин Бержере в Париже» была опубликована в газете «Фигаро» 18 апреля 1900 г.

Стр. 609. *Наумахия* (греч.) — морской бой.

Стр. 611. ...*лже-Пифагор, лже-Гермес Трисмегист, лже-Санхониафон... поддельватели орфической поэзии и сивиллиных книг... лже-Енох, лже-Ездра, псевдо-Климент и псевдо-Тимофей*... — Гермес Трисмегист — вымышленный автор религиозного учения, возникшего в первые века н. э. и представлявшего собой сочетание элементов египетского многобожия, греческой идеалистической философии и христианства. Санхониафон — древнефиникийский писатель. Орфическая поэзия — поэзия мистического религиозного философского братства орфиков в древней Греции, основанного, по преданию, певцом-мудрецом Орфеем. Сивиллины книги — книги, находившиеся в древнем Риме в ведении специальной жреческой коллегии, к которым обращались для гаданий в критических для государства случаях. С именем Еноха связана «Книга Еноха», одна из библейских апокрифических книг. Ездра — древнеиудейский священник (V в. до н. э.), которому приписывается составление книг, излагающих историю его деятельности во времена вавилонского пленения иудеев. Климент Римский (I в.) — христианский проповедник, которому ложно приписывается ряд сочинений, в том числе «Клементины» — памятник апокрифической литературы первоначального христианства. Тимофей — вероятно, имеется в виду Тимофей, епископ Эфесский, по преданию — ученик апостола Павла, проповедовавший вместе с ним христианство в странах Азии и в Греции.

...Клотария и Дагобера... — Клотарий — Клотарий II. Дагобер — Дагобер I, король франков с 628 по 638 г., сын Клотария II.

Декреталии — папские послания по вопросам религии и церкви.

Мемуары Сансона. — Имеется в виду опубликованная в XIX в. сенсационная книга воспоминаний палача, казнившего во время французской революции конца XVIII в. короля Людовика XVI. Эти мемуары оказались подложными.

Мемуары господина Клода. — Клод — начальник сыскной полиции во времена Второй империи. После его смерти было опубликовано десять томов его мемуаров, оказавшихся поддельными.

Врен-Люка — ловкий мошенник, подделавший в 60-е и 70-е годы XIX в. огромное количество всевозможных исторических документов, которые он продавал коллекционерам.

Смердис (VI в. до н. э.) — брат персидского царя Камбиза, умерщвленный по его приказанию. Так как его смерть держали в тайне, появилось несколько самозванцев, выдававших себя за Смердиса.

Мартин Герр (XVI в.) — гасконский дворянин, чье имя присвоил себе внешне похожий на него ловкий обманщик. Пользуясь долголетним отсутствием Мартина Герра и своим необычайным сходством с ним, он поселился в его замке, введя в заблуждение даже его жену. Лишь через много лет самозванец был уличен и казнен.

Симон Волхв (I в.) — основатель религиозно-мистической секты симониан, выдававший себя за верховное божество.

...*Аполлоний Тианский* (ум. в 97 г.) — философ ново-пифагорейской школы из малоазийского города Тианы. Жизнеописание его, составленное в III в. софистом Филостратом, приписывает Аполлонию пророческий дар и силу творить чудеса.

Калиостро — имя, которое присвоил себе Джузеппе Бальзамо (вторая половина XVIII в.), сын итальянского купца, авантюрист, выдававший себя за алхимика и чародея и пользовавшийся огромным успехом среди знати в разных европейских государствах.

Граф де Сен-Жермен — авантюрист и шарлатан (вторая половина XVIII в.). Приписывая себе невероятное долголетие, выдавал себя за современника французского короля Франциска I (XVI в.).

Стр. 612. *Жан де Мандевиль* (1300—1372) — путешественник; в приписываемой ему книге рассказывается о его путешествиях по Европе, Африке и Азии, о его пребывании у египетского султана и у китайского богдыхана. Однако эта книга — грубая фальсификация, составленная главным образом по книжным источникам.

Шванки — небольшие рассказы о забавных или невероятных происшествиях, один из любимых литературных жанров у немецкого городского люда в средние века.

Матушка Гусыня. — «Сказки Матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с моральными наставлениями» — заглавие вышедшего в 1697 г. сборника сказок Ш. Перро, приписавшего авторство этой книги своему сыну П. Дарманкуру.

Тиль Уленшпигель — лукавый бродяга, никогда не унывающий крестьянский сын, шутник и озорник, герой немецкой «народной книги», восходящей к концу XV в. Прототип героя этой книги жил в XIV в.

Мюнхгаузен Карл-Фридрих-Иероним — саксонский барон (1720—1797), прославился своей способностью к самым невероятным преувеличениям в рассказах о якобы подлинных событиях своей жизни. Рассказы Мюнхгаузена, вокруг которых выросло еще множество других, послужили основой для создания целой серии книг о Мюнхгаузене.

Пикаро (испанск. — плут) — любимый герой испанских авантюрно-бытовых повестей и романов XVI—XVII вв.

Рибо Александр-Феликс-Жозеф (1842—1923) — один из руководителей партии умеренных республиканцев, глава кабинета министров в 1892—1893 гг. и в 1895 г.; содействовал заключению франко-русского союза. В 1900—1905 гг. играл большую роль в правой оппозиции.

«*Справочник Ботена*» — широко распространенный во Франции торговый, промышленный и административный справочник.

Стр. 616. *Берье* Антуан (1790—1868) — французский роялист, сторонник старшей линии Бурбонов. Был одним из главных руководителей легитимистов в годы Второй империи, против которой систематически выступал.

Бурь — выходцы из Голландии, переселившиеся еще в XVII в. в Африку. Здесь речь идет об англо-бурской войне 1899—1902 гг., в результате которой африканские бурские республики Трансвааль и Оранжевая, несмотря на упорное сопротивление буров, были присоединены к английским владениям.

Стр. 628. ...отправиться в Китай... — В 1900 г. Франция вместе с другими европейскими державами и США участвовала в военном подавлении боксерского движения в Китае.

Стр. 629. *Панзустская сивилла* (Панзуйская сивилла) — персонаж романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», прорицательница, которую посещают Пантагрюэль и его спутника с целью узнать, стоит ли Панургу жениться.

Стр. 633. *Лепренсовская «Московская невеста»*, — Французский живописец и гравёр Жан-Батист Лепренс (1734—1781), работавший долгое время в России, создал целую серию произведений на темы из русской жизни.

Стр. 647. *Марраны* — средневековое название испанских евреев и мавров, принявших христианство.

Стр. 654. *Лиотар* Жан-Этьен (1702—1789) — швейцарский художник, писавший преимущественно пастелью. Наиболее известна его картина «Шоколадница» (1745).

В. А. Дынник

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| ПОД ГОРОДСКИМИ ВЯЗАМИ. Перевод И. С. Татариновой | 7 |
| ИВОВЫЙ МАНЕКЕН. Перевод И. С. Татариновой . . . | 155 |
| АМЕТИСТОВЫЙ ПЕРСТЕНЬ. Перевод Г. И. Ярхо | 305 |
| ГОСПОДИН БЕРЖЕРЕ В ПАРИЖЕ. Перевод Г. И. Ярхо . | 487 |
| Приложение. Перевод В. А. Дынник | 662 |
| Комментарии. В. А. Дынник | 675 |

АНАТОЛЬ ФРАНС
Собрание сочинений, т. 4

Редакторы *С. Брахман и Н. Хуцивили*
Оформление художника *Л. Зусмана*
Худож. редактор *Л. Калитовская*
Техн. редактор *Г. Архангельская*
Корректоры *З. Жигур и Л. Петрова*

*

Сдано в набор 17/ХІІ 1057 г.
Подписано к печати 12/ІІІ 1958 г.
Бумага 84X108/32 — 22,5 печ. л.
36,9 усл. печ. л. 35,59 уч.-изд. л.
+ 1 вклейка = 35,64 л. Тираж 240000 экз.
Заказ № 1087. Цена 13 р.

Гослитиздат

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ленинградский Совет народного хозяйства
Управление полиграфической промышленности
Типография № 1 «Печатный Двор»
имени А. М. Горького
Ленинград, Гатчинская, 26.